МЕТАЛОГ

Международный
литературно-художественный
и научно-публицистический журнал

№ 1

Пятигорск 2008

МЕГАЛОГ

№1

ISBN 978-5-89966-837-1

Учредители Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский государственный лингвистический университет», Северокавказский научно-исследовательский институт филологии Пятигорского государственного лингвистического университета

Главный редактор **А.М. Казиева** – директор Северокавказского НИИ филологии Пятигорского государственного лингвистического университета

Редакционный совет
А.П. Горбунов – сопредседатель
Ю.С. Давыдов – сопредседатель
Н.В. Барышников – зам. председателя
Ю.Ю. Гранкин – зам. председателя
З.А. Заврумов – зам. председателя

Редакционная коллегия В.В. Айрапетова, О.А. Алимурадов, У.М. Бахтикиреева, А.О. Бродзели, Л.В. Витковская, А.С. Куёк, А.В. Кузнецова, О.А. Куликова, М.И. Магомедов, И.А. Модебадзе, Ю.М. Тхагазитов, Ф.Т. Узденова.

Новый международный литературно-художественный и научно-публицистический журнал ставит своей целью знакомить читателей с современной литературой народов Российской Федерации, Северного Кавказа, стран СНГ, литературой северокавказских диаспор в переводах на русский язык, а также русскоязычной литературой национальных авторов. Журнал открыт для известных и пока неизвестных авторов, живущих в самых разных странах. Основная концепция журнала – сделать издание своеобразным культурным мостом, связывающим страны и континенты на основе русского языка. Для нас являются важными и вопросы истории, культуры, литературы, языка всех народов, проживающих на территории России и в странах постсоветского пространства. Поэтому особое внимание уделяется разделам, в которых будут опубликованы научные и публицистические материалы.

Планируется издавать два номера журнала «Мегалог» в год. Будут организованы подписка и розничное распространение журнала в разных странах.

Чтобы стать автором нашего издания, необходимо выслать свои рукописи по адресу: 357532, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9. Северокавказский НИИ филологии. Редакционная коллегия журнала «Мегалог».

Мы будем рады Вашим откликам, мнениям и пожеланиям.

Профессор Казиева Альмира Магометовна.
E-mail: kazieva@pglu.ru
Тел.: (8793) 400-220; (928) 911-40-41

Содержание

Слово о журнале 5

Проза и поэзия

Георгий ХАРАБАДЗЕ
Шатало 7
London … 9
Бусия 12
Акула… я? Акула?! 15

Ауэзхан КОДАР
Мисс Ноль 17

Ирена КЕСКЮЛЛЬ
Книга II. Украденная юность 21
Стихи 33

Алим ТЕППЕЕВ
Цинковый саркофаг для победителя 35
Три горсточки риса 43

Нестан КВИНИКАДЗЕ
Вращение диска, Аполло Парнасус и Джексоны 48
LEE 54

Любовь БАЛАГОВА
Сатинай 60

Заза БУРЧУЛАДЗЕ
Passive Attack 66

Дана ГИРЕЙ
Дневник российской чучмечки 74
Из записок для внуков 76

Танзиля БОТАШЕВА
Стихи 78

Мадина ХАКУАШЕВА
Вечеринка 79

Аминат МАГАЯЕВА-ГАППОЕВА
Стихи 85

Борис ЧИПЧИКОВ
Дворец мой в безлюдной степи 87
Меж крестом и полумесяцем 90

Алла ЧОТЧАЕВА
Стихи 97

Mohy I. QUANDOUR
The Last Hunt 99

Амир МАКОЕВ
Остров гнома 126
Натюрморт с чайкой 135

Мухамед ЕМКУЖЕВ
Ночь Кадара, или который справа 152
Елена ЗЕЙФЕРТ
Слепые лошади....164
Стихи 166
Юруслан БОЛАТОВ
Балкария: Гимны. 171
Алуа ТЕМИРБОЛАТ
Стихи 173
Эльдар ГУРТУЕВ
Серенада в ночи....174

Дебют

Диана КАРАКОВСКАЯ
Диалог с судьбой 183
Эгвина ФАТАЛЬ
Стихи 191
Анастасия ШАПОВАЛО
Стихи 193
Константин КАСПАРЯН
Первое марта 195

Из культурного наследия

Гамлет НАЗАРЬЯН
Этюды уходящего Ирана....202
Магжан ЖУМАБАЕВ
Прегрешение Шолпан....212

Эссеистика. Критика. Рецензии

Ауэзхан КОДАР
Исторические истоки диалога религий в Казахстане 222
Нурболат ДЖУАНЫШБЕКОВ
Контакты культур и мифологий древних тюрков и праславян....225
Ирина МОДЕБАДЗЕ
Заметки переводчика....238
Улданай БАХТИКИРЕЕВА
9 Территория мира, открытая gafu 246
Джамбулат КОШУБАЕВ
М.Ю. Лермонтов: опыт прочтения. Эссе....248
Улболсын АБИШЕВА
Провидец Дали (Поэзия А. Кодара в сборнике «Зов бытия»)....289

Драматургия

Мурадин ОЛЬМЕЗОВ
Тахир и Зухра....298
Стихи 307

Слово о журнале

Новое литературно-художественное и общественно-политическое издание ***«Мегалог»*** *вызвано к жизни необходимостью соотнесения и сближения процессов, заявляющих о себе на культурных пространствах Северного Кавказа, Российской Федерации, Стран Содружества и диаспоры.*

Уже первый номер журнала демонстрирует открытость «региональному», жанровому и уровневому (дебют молодых авторов) многообразию, что, с одной стороны, позволит выявить разные модели художественного миростроения, с другой – приблизиться к единству и преодолению самоизоляции культур «малых» народов. На этом пути открываются возможности установления новаций, которые привносит современность, и ценностей, которые настойчиво удерживает общество в ходе своего развития.

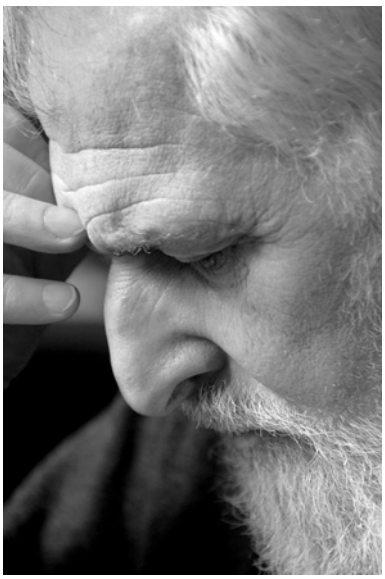
«Мегалог» *- русскоязычный журнал, включающий в себя оригинальные и переводные произведения, что прежде всего подразумевает опору на культурную величину, за которой важно увидеть не посылку отторжения, а универсальное средство взаимодействия. Как нам кажется, в таком подходе прочитывается не только попытка преодоления негативных этноцентрических тенденций, но и достижения объединяющего взгляда на те разрозненные явления, которыми отмечен сегодняшний день. Иными словами, художественное воспроизведение движущегося национального бытия в наше время снова обретает общезначимый и общечеловеческий смысл.*

Надо заметить, что в настоящее время в России существует только один журнал, проникнутый подобными идеями – это «Дружба народов». Однако он все еще остается мало доступным широкому кругу авторов. В определенном отношении ***«Мегалог»*** *стремится компенсировать данное обстоятельство.*

Доктор филологических наук
Ю.М. Тхагазитов

Проза и поэзия

Георгий ХАРАБАДЗЕ



«31-го марта 2003 года звезде девятой величины в созвездии Рака присвоено имя грузинского актера Георгия Харабадзе», – сообщает «Всемирный Каталог небесных тел».

А звездный путь начинался так.

В возрасте 21 года – первая главная роль в спектакле Георгия Кавтарадзе и Роберта Стуруа на сцене театра Руставели…

Через год – кинодебют в фильме Отара Иоселиани «Листопад»...

Затем около семидесяти ролей на сцене театра Шота Руставели и около двадцати пяти – в кинофильмах...

Звание народного артиста, Государственная премия и Премия имени Клдиашвили...

Затем создание «Телетеатра одного актера» – озвучивание грузинских классиков с телеэкранов и самая почетная национальная награда – Премия имени Шота Руставели...

И вдруг, в возрасте пятидесяти лет, в расцвете творческих сил - уход из театра без лишних слов и комментариев, ставший для всех необъяснимой тайной...

Затем основание нового театра, на сцену которого так и не ступила его нога... Ныне популярный «Театральный Подвал» передал молодежи, а сам, с высочайшего благословения Ильи II, впервые в христианском мире создал свою версию Нового Завета, оживил образы четырех Евангелистов...

А тут и новый век пожаловал…

«В предыдущем веке был актером – передавал чужие мысли, в новом – предпочел записывать свои», – скажет Георгий Харабадзе и представит на суд читателей пять книг, пять необыкновенных «синтаксических спектаклей».

Его появление в литературе было таким же «шумным и яростным», каким когда-то в театре и в кино...

«Ты прославился в театре и в кино, а сейчас обрел место в литературе как несравненный и самобытный писатель, все это, брат мой, является уникальным талантом»

Чабуа Амираджиби.

«Гоги Харабадзе – одно из самых значительных явлений в театральном мире, и писатель Харабадзе родился из этого же мира. Но он не просто любящий литературу актер с поэтической душой, он служитель двух муз, в натуре которого слились воедино две творческие стихии, и для меня обе они равно интересны и дороги»

Отар Чиладзе.

Шатало

Рассказ

Во времена моего детства в большой моде были походы на «шатало».

«Шатало» – это обычный прогул школьных уроков. Интересно, что почему-то все дети Грузии это столь увлекательное с точки зрения школьников занятие до сих пор называют производным от русского слова «шататься»...

Я лично «шатало» не очень-то и любил, потому что мне было хорошо в школе – с одноклассниками, старшеклассниками и, представьте себе, даже с учителями.

Но для поддержания своей «мужской» репутации, для доказательства собственного бесстрашия, в силу какого-то неписаного этикета, ходить на «шатало» хотя бы несколько раз в год было просто необходимо.

Вначале меня отдали учиться в Первую мужскую школу. Когда началось совместное обучение мальчиков и девочек, меня почему-то (может, опытные педагоги уже тогда увидели мое неравнодушие к противоположному полу?) перевели в бывшую Первую женскую, которую вскоре назвали 47-ой школой.

Во дворе школы рос огромный платан. Там же стояла закрытая, давно уже не действующая маленькая церквушка. Советские педагоги умудрялись с пользой использовать и то и другое: летом – в тени дерева, а зимой – в церкви проводились уроки физкультуры, которые я всегда пропускал. Может быть, мне невольно претили эти «руки – вверх», «руки – вниз» и игры с мячом в церковных стенах...

Вообще-то, надо признаться, физические упражнения никогда особенно меня не увлекали. Честно говоря, когда потом, уже через десятилетия, прочел слова Марины Цветаевой: «Физкультура – это трата времени на трату сил», совпадение наших мнений по этому поводу очень меня порадовало...

Школа, в которой я учился, располагалась на подъеме – на улице Читадзе, напротив теперешнего Министерства иностранных дел, а тогда – Партийной школы (*надеюсь, вопроса – какой именно партии была эта школа, пока ни у кого не возникает - ведь, к счастью или к несчастью, тогда только одна партия и была*).

Впоследствии это здание передали Институту кибернетики.

Было два пути, чтобы сбежать из школы: один наверх, на Мтацминду - гору Св. Давида («Святая Мтацминда, высоких раздумий гора...»[1]), другой вниз, на проспект Руставели.

Если идти на Мтацминду, то попадаешь прямо к церкви бывшего когда-то на этой горе монастыря Святого Давида, к расположенной у ее подножия усыпальнице А.С. Грибоедова с известной эпитафией Нины Чавчавадзе:

Ум и дела твои бессмертны в памяти русской,
Но для чего пережила тебя любовь моя!

История этой любви, так рано и трагически оборвавшейся, всем известна.

Там в темном гроте – мавзолей,
И – скромный дар вдовы –
Лампадка светит в полутьме,
Чтоб прочитали вы
Ту надпись и чтобы вам она
Напомнила сама –
Два горя: горе от любви
И горе от ума[2].

Там же находится и Пантеон бессмертных – место упокоения лучших сынов грузинской культуры. Входишь и видишь надгробия классиков грузинской литературы – Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела и Николоза Бараташвили...

[1]Строки из стихотворения Николоза Бараташвили «Сумерки на Мтацминде» в переводе Мих. Дудина (прим. пер.).
[2] Строки из поэмы Я.Н. Полонского «Нина Грибоедова» (прим. пер.).

Тут в двух шагах покоится Акакий,
И на печаль кладбищенской плиты
Ложатся тени, звезды и Цветы.
Бараташвили тут бродил... И зависть –
Лишь новой песни лебединой завязь[1].

Величайшего поэта нашего века – гениального Галактиона Табидзе, хоронили в тот год, когда мы заканчивали школу. Сбылись его слова, еще в 1915 году вырвавшиеся из самых глубин души:

...Как душой, привыкшей к бурям, понял – слог за слогом,
Что и смерть – поход в бессмертье розовой дорогой...[2]

В тот день тоже, конечно же, на «шатало» все были – наблюдали похоронную процессию с высот Мтацминды. Внушительное зрелище!.. Почти вся Грузия, полная скорби, шла за гробом, серпантином вилась по подъему...

Каким тяжелым оказался
След, незаметный вгорячах,
Когда он в гору поднимался
На наших сгорбленных плечах.
Входил в бессмертье, как решил он,
Вдруг оборвав свои пути...
И шел народ ошеломленный,
Обиженный его виной.
Галактика
Галактиона
Взошла в поэзии родной[3].

А если идти вниз, то вначале надо было пробежать под окнами кабинета Первого секретаря Коммунистической партии Грузии (*теперь в нем находится кабинет Министра безопасности*), потом – пройти между Дворцом пионеров и зданием Совета министров и лишь потом, уже в самом низу, ты упирался прямо в здание кинотеатра имени Руставели.

Там впервые я посмотрел все послевоенные «трофейные» фильмы, и не только их...

Билеты стоили всего тридцать копеек. Контролеры порой пропускали нас и вовсе без билетов...

Но, как и в старой доброй сказке, перед героем обязательно должны быть три дороги, так и у нас – третий путь тоже был. Если удирать через так называемую «заднюю дверь», со двора, то можно было оказаться в саду на улице Бесики. Сейчас в том садике стоит огромный памятник писателю, общественно-политическому и культурному деятелю XVII века – Сулхану-Саба Орбелиани.

Утро... Первый урок пропускаю.

Весна...

Ветерок с Мтацминды приносит аромат недавно зацветших миндальных и абрикосовых деревьев...

Тепло...

«Мацони[4]... мацони...» - мимо, нагруженная большими серыми самодельными брезентовыми сумками, прошла продававшая мацони крестьянка из Коджори[5]. Вижу ее не первый раз – каждое утро она здесь проходит, и лишь ее зазывный крик нарушает утреннее спокойствие...

Тишина...

Жители Мтацминды время от времени заходят в булочную за утренней выпечкой.

Мы, как сказочные три богатыря, сидим на развилке дорог.

---

[1] Строки из стихотворения Галактиона Табидзе «Луна Мтацминды» (прим. пер.).
[2] Строки из стихотворения Галактиона Табидзе «Луна Мтацминды» в переводе Ив. Квачахия (прим. пер.).
[3] Из стихотворения Михаила Луконина (прим. пер.).
[4] Мацони – разновидность простокваши (прим. пер.).
[5] Коджори – деревня, расположенная недалеко от Тбилиси (прим. пер.).

Сидим на длиной зеленой скамье и бездумно дымим...

Ничто не тревожит наш юный разум...

Самая сложная проблема, которую предстоит решать, – идти нам вниз или вверх?

Тишину и покой весеннего утра неожиданно разорвал истошный крик, а может быть, рев:

- Мой инструмент!.. Где мой инструмент?.. Убью!.. Верните мой инструмент, бессовестные!.. Люди вы или нет?..

- Это Жорик? – спросил Малхаз.

- Да, это он. Выпил, что ли? – Шота несколько растерян.

- Где успел так рано?..

Я Жорика не знаю. В моем представлении, «инструмент» – это обязательно скрипка, рояль или виолончель и поэтому, естественно, я ожидаю появления какого-нибудь известного композитора или, на худой конец, хотя бы студента консерватории.

За это время Жорик приблизился.

- Это кто? – спрашиваю. Но мне не успели ответить...

-Ребята, родные, помогите!.. Попросите – пусть вернут мой инструмент, пропаду без него!.. Ох, пропаду...

- Где инструмент, Жорик, где?

- Не знаю. Вчера здесь драка была, наши и сололакские[1]... Один ворвался ко мне... Из наших, мтацминдских... Лицо знакомое... Инструмент попросил одолжить... Как ушел – так и ушел... Всю ночь не спал – ждал его... Не принес... Сам стальную полосу резал, затачивал, рукоятку по руке своей подгонял, черной изолентой обмотана... Пропал я теперь! Пропал... С утра работать не могу!.. Нож мой унес, нож!.. Р е б я т а-а-а!!..

- Кто он, этот Жорик? – снова спрашиваю я.

- Да это же наш Жорик - сапожник, там на углу в будке сидит, не знаешь, что ли?..

Сидим дальше. Дымим...

Так в тот день и не решили, куда идти, какую дорогу избрать... К чему душа больше лежит...

Вверх – к Бессмертию и Славе. Или вниз – к активной общественно-политической жизни...

Или остаться здесь – в простой человеческой реальности.

Ну, ничего: жизнь впереди. Сама покажет, кому – куда.

Пер. с груз. И. Модебадзе

London...

Рассказ

Невозможно забыть Джона Драмонда!

Высокого, симпатичного, представительного мужчину. Директора Эдинбургского фестиваля.

Познакомились мы в Тбилиси после спектакля, во время застолья. Ему безумно понравилось джонджоли[2]. (Помнится, наши и в Эдинбург ему отвезли, в поллитровой банке.) Это был отличный парень, образованный, внимательный. Когда фестиваль закончился, он проводил нас на вокзал, поблагодарил. Извинился за то, что поезда, мол, у них нехорошие, просил не обижаться.

Только я подумал – что же может быть ленивей состава «Тбилиси – Ростов»? - как вошел в то, что у нас принято называть купе. Абсолютно все купе оказались двухместными, с широкими койками и белоснежным бельем.

Сопровождающего, по-нашему «проводника», одетого в униформу, можно было принять за маршала Советского Союза. «Чай, кофе, алкогольные напитки?». В Шотландии, как,

[1] Сололаки – название одного из старых центральных жилых районов Тбилиси (прим. пер.).

[2] Джонджоли – вид соленья, изготовляемого из цветов дерева с тем же названием.

впрочем, и повсюду, виски лучше чая, но из тех несчастных долларов, которые нам выдали, уже ничего не оставалось...

Словно в душу глядел проводник...

“Free, free...”.

«Ну, а если «фри», неси-ка, брат, скотч!».

Выпили!

Уснули!

Баюкал, укачивал поезд. Сквозь сладкий сон услышали осторожный стук в дверь:

”London”...

Оделись со скоростью, которой позавидовал бы и советский солдат. Неумытые, волоча за собой незавязанные шнурки, выскочили в коридор. Ну а там!.. Заслуженные и Народные артисты Республики с багажом, навьюченным за спины, опережая друг друга, наперегонки устремились в тамбур. Как настоящий «цыганский табор», мы вывалились из поезда.

Вокзальные часы показывали шесть часов утра.

Снаружи – абсолютный порядок, тишина и покой. Бурлящий как кипящая лава поток, состоявший из пятидесяти пяти грузин, вмиг затопил и заполнил все чемоданами, узлами, поклажей. Ничего особенного – вы же хоть один-то раз путешествовали вместе с грузинами, хотя бы тем же поездом «Тбилиси – Москва» или «Москва – Тбилиси»!?

Возгласы:

«Ничего не забыли?»

«Это действительно Лондон?»

«Кто его знает, на Шорапани[1] тоже похоже!»

«Скорей, а то поезд могут отогнать в депо!»

«Эй, парень, не отставай!»

«Все тут?»

«А где Робико? [2]», - тоном опекуна заботливо спросил кто-то!

И тут же, словно в ответ, раздался обреченный женский вопль: «Дети, дети, где же дети?».

Оказалось, что кричит наша пианистка, актриса и певица – Лейла Сикмашвили.

Дело в том, что в том путешествии Лейла совмещала вышеперечисленные таланты еще с одной функцией. Она опекала, заботливо пестовала, окружив, как это у нас принято, истинно материнской заботой двух малышей – царевичей Эдварда, он же Мамука Циклаури, и Ричарда – он же Мераб Нинидзе. Малолетним актерам, исполнявшим столь важные роли в спектакле «Ричард III», как и было положено, в то время едва ли исполнилось лет десять-двенадцать.

На секунду отвлеклась Лейла от своих материнских обязанностей и теперь, с расцарапанными от горя щеками, взывала ко всем о помощи в поисках пропавших детей. А дети в это время сладко спали в «некомфортабельном» купе пропитанного запахами кофе и бисквитов состава «Эдинбург – Лондон» и видели во сне своих родных матерей.

Встрепенулась, вздрогнула, сорвалась с места пятидесятипятичеловеческая лава и ворвалась в купе, в котором предполагала найти детей.

Видели бы вы эти беззащитные удивленные детские глаза, глаза детей, которые и так были переполнены «великими впечатлениями». Души, разум, даже тела их были уже переполнены шотландскими оркестрами «в юбках», уличными театрами, Princesse street-ом и собственным головокружительным успехом.

Их мысли все еще продолжали витать среди всего этого, и можете себе представить, в каком они оказались состоянии, когда их, едва проснувшихся, начали одевать одновременно сразу пятьдесят пять человек. От этой внезапно нахлынувшей на них энергии дети так перевозбудились, что младшего даже вырвало на нервной почве.

Наконец Эдварда и Ричарда спасли от трагической участи оказаться в депо и полуголыми вывели из поезда. Притихла, успокоилась лава!

---

[1] Шорапани – небольшой населенный пункт в Зап. Грузии (прим. пер.).

[2] Робико – Народн. артист СССР, Лауреат Госуд. премии, худ. руководитель и директор Академического Художественного Драматического театра им. Ш. Руставели.

Одно только я успел заметить – расширившиеся от удивления глаза, сопровождавшие нас из окон поезда. И про себя подумал: «В чем дело, грузин, что ли, не видели?».

Однако самым важным в ту минуту была миссис Элизабет, которая десять дней назад проводила нас в Эдинбург, пообещав: «Встречу вас на обратном пути и позабочусь о том, чтобы вы благополучно добрались до аэропорта».

Ну и где же наша Элизабет?

Где ты? Элизабет! Лизи! Лаиза! Лиза!

Погибаем. Опоздаем на самолет: «Лондон – Москва» летает лишь раз в неделю, а задерживаться здесь мы не можем! Нет, конечно, Лондон нам нравится, но денег, денег нет, не осталось уже и привезенного из Тбилиси запаса провизии. Все ведь не так просто – все заранее было рассчитано. На две недели, тютелька в тютельку. А потом, самое главное – это КГБ. Чтоб не обвинили нас в этой задержке, а то могут и ... кто знает, все возможно...

Нет, и все же не видно нигде миссис Элизабет!

Примирившись с судьбой, человеческая лава тихо-тихо начинает терять температуру кипения, успокаивается, затихает; кто присел на чемодан, кто как на временном бивуаке пристроился, а кто приступил к переработке остатков обернутой в «Известия», потерявшей свой цвет колбасы. Здесь ребята «Космос» курят, а мы, франтоватые парни, дымим еще в Тбилиси купленным «Мальборо». Дамы по очереди время от времени ходят в туалет. Одним словом, приспособились к ситуации.

А время безжалостно бежит. Семь, восемь, вот уже и девять часов. И когда уже обжились, свыклись с Лондонским вокзалом, словно с Хашурским[1], только тогда в дверях, наконец, показалась миссис Элизабет. Выше среднего роста, постукивая каблучками, с деревянной дощечкой, которую кокетливо держала в руках, англичанка приближалась спокойным шагом. На дощечке было написано:

Rustaveli Company

Эти два слова значат:

Тбилисский Государственный Академический театр имени Шота Руставели.

Вай, несчастная ты, Элизабет! Если б только знала, что тебя ожидает от этой компании!

Но поглядите-ка на Элизабет!

Она же еще и нападает?!

- Что вы здесь делаете, вас никто не терял и...

Бросились к ней все пятьдесят пять человек, невыспавшиеся, голодные, неумытые: артисты, осветители и рабочие сцены.

«Вы разве не этим поездом приехали?» – только и спросила несколько озадаченно и указала на привезший нас поезд.

Взглянули, и что же?! Стоит себе спокойно наш состав, стоит себе и пыхтит. И исходит от него теперь уже, кроме запаха кофе и бисквитов, аромат чая с лимоном и даже, кажется, с коньячком. Одетые в генеральские формы проводники безмятежно протирают ручки вагонов. И, так же спокойно, тщательно почистив зубы, умывшись и позавтракав, покидают поезд элегантные гости столицы, чтобы заняться своими делами. Жизнь у них начинается с девяти, и поезд послушно ждал до этого времени.

Вот и мы тоже послушно, как отара овец за вожаком, последовали за Элизабет, и лишь одна мысль не давала мне покоя. Как же это? Неужели у лондонцев нет депо?

Мое любопытство вскоре было удовлетворено.

Через год Rustaveli Company выступил с гастролями в лондонском “Раунд Хаузе”. Расположен он в здании бывшего депо.

Пер. с груз. И. Модебадзе.

[1] Хашури – город в Зап. Грузии.

Бусия

Рассказ

По наполовину пустому от надоевшего летнего зноя руслу лениво перекатывалась Квирила. Август достиг середины, но солнце и не собиралось сдавать свои позиции. Город Чиатура с нетерпением дожидался праздника Преображения Господня, после которого жара обычно спадала.

А пока...

От нестерпимого зноя жизнь в городе почти остановилась.

Никого не было видно даже на базарной площади, всегда многолюдной. Только несколько продавцов зелени томились у своих прилавков в ожидании покупателей и время от времени, чтобы не завял, обрызгивали водой свой товар, печально провожая взглядом редких прохожих – женщин, укрывающихся от яркого солнца выцветшими зонтами, или мужчин в глубоко надвинутых по самые глаза полотняных шапках.

И больше ничего...

Знойный покой маленького шахтерского городка нарушал только далекий грохот груженных марганцем вагонеток, подвешенных высоко в небе, и то лишь изредка...

Единственным, что в тот день не укрылось бы от взгляда бдительного наблюдателя, была трусившая по берегу реки, облезшая, с желтыми подпалинами на животе и лапах, серая беспородная псина. Высунув язык, она тяжело дышала и совсем по-человечески останавливала взгляд на черных водах реки, как бы размышляя, стоит ли пить эту воду. И даже умному человеку, несмотря на невыносимую жару и жажду, было бы сложно принять решение. Все остатки добытого марганца промывались в водах Квирилы, и от этого когда-то живые воды уподобились густому черному дегтю. Надвое разделяла похожий на театральную декорацию, элегантный город эта река верхней Имеретии*, и никто никогда не задумывался, не интересовался судьбами реки и тех людей, которые жили вдоль этой мертвой воды.

А пес все размышлял...

Потом, наконец, отвернулся от реки, перебежал мост. Подбежал к зданию гостиницы. Остановился неподалеку. Ждать долго не пришлось. На первом этаже гостиницы был ресторан, рядом – кладовка. Дверь открылась, вышел помощник повара, в обветшалом, когда-то бывшем белым, халате с кастрюлей в руках. Подставил кастрюлю под кран и начал мыть. Собака осторожно приблизилась и жалобно заскулила. Помощник посмотрел в ее сторону, но собачью просьбу оставил без внимания. Закончил мыть и направился к кладовой. Сделал несколько шагов... Приостановился... Воровато огляделся и, когда убедился, что никто не видит, вернулся. Открыл кран. Полилась вода. Ветхохалатный быстро повернулся и заслонил собой ресторанную дверь. Собака тоже оглядела все вокруг, убедилась, что все спокойно, подошла и начала жадно лакать воду. Напившись, подставила под холодную струю морду, потом от души отряхнулась и замерла у ресторанной двери.

Подъехал «Москвич» с фургоном. Из машины вышел пузатый лысый шофер: из-под воротника сорочки торчал край носового платка, спина и подмышки взмокли. Открыл фургон, со стоном вытащил два ящика почти вскипевшего лимонада и занес их в здание.

- Здравствуйте! Принимайте!
- Здравствуй. Два ящика?
- Снаружи стоит.
- Знаю.
- Выгони!
- Сам выгоняй, если смелый!
- Голодный, наверное... Разве кто-нибудь накормит?!
- Если такой сердобольный, вынеси ему костей!
- А где его крестный?

Не знаю, сегодня не видать.

* Имерети – один из регионов Западной Грузии (прим. пер.).

Крестным псины был Бусия. Высокий, подтаявший, как свеча, мужчина лет тридцати. Его ровные, разделенные пробором, вечно спутанные волосы свисали ниже плеч. На мир пророческим взглядом смотрели влажные глаза – свидетели пережитого. Одет он был всегда одинаково: рваные брюки и потертое грязное черное пальто на голое тело. Бусия так легко ступал никогда не знавшими обуви босыми ногами, как будто и вовсе не касался земли. Казалось, его не беспокоили ни зимний холод, ни летняя жара.

Бездомный, неприкаянный, вроде своего крестника. Никто так и не знал, откуда он взялся в этом затерявшемся среди гор городе. Ни у кого не нашлось времени поинтересоваться, где ночует бедолага. Он появлялся с рассветом. Любил бывать среди людей. На базаре. У театра. У ресторана. А вот к райкому или милиции – приблизиться не заставила бы никакая сила, может, сердце ему что-то такое подсказывало?!

Ничего не просил. Ни от кого ничего не хотел. Никто не знал и того, когда и что он ел. Будто воздухом питался. Нищим его народ не считал, но и сумасшедшим тоже. Во всех, даже в детях, он вызывал какое-то странное, смешанное со страхом уважение...

Такие, как он обычно становятся любимой мишенью проделок маленьких озорников: злят, насмехаются, мучают. Здесь было не так...

Бусию избегали. Никто над ним не издевался, не смел кидать ему нищенских подачек, но и своим тоже не признавали.

Вначале некоторые из особо любознательных пробовали, было, поговорить с ним, выведать побольше о его жизни, но у них так ничего и не вышло. На все, хорошее или дурное, ответом была улыбка – одинаковая, странная, не от мира сего, улыбка...

Слышали от него лишь одно слово. Может, от частого или излишнего употребления запомнилось, но именно этим словом звал он бродячую псину – самое близкое живое существо. И слово это было тем самым, которое наводило страх на весь мир и вот уже целый год не давало покоя партийному руководству Чиатуры!

Бусия звал псину «Сталин».

Впервые они появились в 46-ом, седьмого ноября, во время парада. После окончания войны в городе устраивался праздник и настроение было особо приподнятым. Партийное руководство выстроилось на сколоченной в центре города трибуне. Шли счастливые советские люди, с портретами вождя, гремела музыка, руки граждан украшали цветы, а лица - улыбки.

Бодрым шествием парад завершили увенчанные медалями шахтеры. И когда радужно настроенное общество уже расходилось, а первый секретарь райкома уже почти повернулся спиной к трибуне и народу, вот тогда-то на опустевшей уже площади и появился Бусия...

Появление странного незнакомца в городе, где мечты, надежды и даже сны советских граждан считались делом общественным, вызвало всеобщее замешательство. Даже начальство застыло...

Именно в этот момент стоявший посреди площади пришелец повернулся и позвал приотставшую было псину: «Сталин!, Сталин!, Сталин!». И пес не подвел. Подбежал и кинулся лапами на грудь своему крестному. Так и остались они стоять, слившись в одном порыве, но тех, кто был на трибуне, словно ветром сдуло...

С того дня прижились в городе незнакомец и «Сталин» и постепенно, волей-неволей, стали его частью. Поскольку пес по кличке «Сталин» с каждым днем все более усложнял всем жизнь, кто-то нашел выход – окрестил Бусию: «Бусия».

Ну кто посмел бы звать собаку «Сталин»? Кто бросил бы «Сталину» кусок хлеба? Кто погладил бы «Сталина» по голове? Кто прикрикнул бы на «Сталина»: «Пшел вон, пес»!?! Как только появлялась псина – вся Чиатура пряталась. Люди не знали, как вести себя с собакой по кличке «Сталин». А Бусия, громко окликая «Сталина», так и ходил с собакой и ни на что не обращал внимания.

Общество забеспокоилось, особенно его партийная часть, и как-то поздней ночью секретарь райкома назначил закрытое заседание бюро. Присутствовали только ответственные партийные работники района, первый секретарь комсомола и начальник КГБ. Каждый высказал свое мнение по вопросу, но наиболее приемлемым оказалось предложение первого секретаря комсомола:

- Вызовем председателя Союза охотников района и поручим ему ликвидацию собаки!

Послали человека к председателю Союза охотников. Через полчаса величавый потомок славного рода и знаменитый на весь район охотник, Силован Церетели, уже входил в зал заседаний. «Так вот и так, – говорят. – Поручаем ликвидацию собаки. Выведете за город, исполните и, во избежание эксцессов, закопаете, чтобы труп по улицам не таскали. Потом доложите о результатах». Силован какое-то время стоял, как громом пораженный. Потом отчаянно заявил:

- Я в Сталина стрелять не буду!!!

Начальник КГБ встал. Все головы сразу опустились. А через два дня Силован пошел охотиться на фазанов, и больше его никто так и не видел.

Ситуация все обострялась.

Наконец, вездесущий и обычно незаметный, как тень, начальник КГБ решил проявить инициативу и отправился в центр. «Все равно проведают, лучше их опередить», – посоветовала жена. Он и поехал. Говорят, в Тбилиси... «Так, мол, и так... Пса «Сталиным» кличут и что, мол, теперь делать? Рука на «Сталина» не поднимается, а не убьешь, то... До каких пор так беспризорным будет бегать?». Высокое начальство задумалось, в кабинете нависла тяжелая тишина...

Вскоре после этого в Чиатуру прибыло новое начальство. В центре о «Сталине» не предупредили, а в Чиатуре таких смельчаков отродясь не водилось. Вот и ходил он по городу, так ничего и не подозревая. Еще и удивлялся, оказывается, что за тишина такая поглотила весь город. В конце концов, как-то сам наткнулся перед базаром на полуголого человека, который, громко призывая «Сталина», шел за собакой. Провизия выпала из рук несчастного кагэбешника, который, не оглядываясь, бросился в сторону своего кабинета, где так и просидел взаперти до самого утра. «Сталин» сначала слизал с асфальта все разбитые яйца, потом добрался до мяса и, что больше всего возмутило опешившего служаку, пес даже огурцы с помидорами не обошел своим вниманием... Наутро после бессонной ночи он, наконец, показался на пороге своего кабинета, и, мутно поводя опухшими красными глазами, завопил: «Или я, или он в этом городе...». «Кто?» – спрашивают сотрудники. «Сталин» ведь не скажешь, он и умолк...

Дошло до Тбилиси, и прибыла, чтобы на месте во всем разобраться, комиссия в составе трех человек. Посовещались, и на следующий день, ранним утром у входа в марганцевый Трест нашли издыхающего «Сталина». Один только глаз был приоткрыт у несчастного ...

Постепенно на место происшествия собрался весь город. Лишь одно слово и было слышно: «Подыхает». И всем было ясно, о ком шла речь. В 1947-ом разве кто-нибудь мог произнести вслух «Сталин подыхает»? Вскоре на весь город опустилось зловещее молчание, а пес все не сдыхал... Никто не смел к нему прикоснуться... Стоял там и знаменитый на всю Грузию и Имерети кинолог Бердия Хурцидзе. Руки заламывал, глаза наполняли слезы, но к издыхающему псу даже он не смел приблизиться... Было уже за полдень, когда появился Бусия. Толпа раздалась и молча уступила дорогу. Крестный тяжелым медленным шагом подошел к «Сталину». Остановился и позвал: «Мцу... Мцу... Мцу... Сталин! Сталин!». Собака попыталась подняться, но передние лапы не послушались, подогнулись... Бусия кинулся к псу, подхватил его на руки и прижал к груди. Народ плакал. Плакали все: и большой и малый, женщины, мужчины... То там, то здесь слышались стоны терявших сознание женщин и крики мужчин: «Врача, врача!..». И протяжный вой сирен машин скорой помощи...

Бусия молча прокладывал дорогу среди возбужденной толпы. На плече юродивого спокойно лежала голова четвероногого друга, уже бездыханного.

Никто больше не видел «Сталина» и его крестного...

И, как ни странно, вместе с ними из города ушло нечто... Что-то такое, чего с тех пор всем так не хватает...

2005 год

Пер. с груз. И. Модебадзе

Акула… я? Акула?!

Рассказ

Первые гастроли театра Руставели за рубежом. 1966 год. Румынская Социалистическая Республика...

«Социалистической», конечно, называть ее можно было сколько угодно. Но все равно эта прекрасная страна (точно так же как и сегодня!) для нас, советских, была настоящей заграницей.

А тогда слово «заграница» означало нечто далекое, недостижимое.

Серго Закариадзе, руководитель нашего театра, в то время уже сыграл Георгия Махарашвили. И эта неслыханная по тем временам поездка, конечно же, всецело была его заслугой...

К гастролям все начали готовиться загодя. Готовились основательно! Продукты впрок запасали. Курильщики закупали сигареты. В театре царило «чемоданное оживление»: кто кипятильник ремонтирует, а кто - икру пытается достать. Ну и о внешнем виде не забывали, об обновках заботились...

Тогда в «Пиримзе»[1], на четвертом этаже, работал самый «модни партной» того времени - Андрей. Попасть к нему было практически невозможно - все известные дельцы Тбилиси у него обшивались. Кроме того, один только пошив у этого мастера стоил восемьдесят рублей. А моя месячная зарплата тогда составляла сорок рублей.

Ну, так или иначе, попытались... Смогли!.. Принарядились...

И вот, тщательно подготовившись, запасясь всем необходимым, одевшись по последней тбилисской моде, прибыли в Бухарест. Отвели нам прекрасный отель под названием «Амбассадор», то бишь, в переводе с ряда буржуазных языков, – «Посол».

В первую же ночь в великосветской гостинице приключился курьез. Часу в третьем, когда весь город спал спокойным сном, в одном из номеров отеля неожиданно раздались громкие выстрелы. Впрочем, в результате тщательно проведенного расследования ни криминальной полиции Бухареста, ни нам самим не удалось обнаружить никаких следов происшествия в виде жертв, расчлененных тел, следов крови и прочего.

Тем не менее – ночь все клиенты гостиницы провели на ногах. И встретили рассвет в ожидании. Чего? Неведомо!

Только в Тбилиси, через несколько лет, выяснилась «ужасная» тайна.

Кто-то из наших запасся консервированными «бадриджанами с орехом». В стеклянных банках. И, конечно же, собственного семейного производства. Среди ночи, когда в гостинице «Амбассадор» температуру воздуха в номерах повысили до приемлемого дипломатического уровня, температура банок, естественно, тоже поднялась. «Закипели» в румынском отеле грузинские бадриджаны! Металлические кустарные крышки кухонной закрутки не выдержали давления.

И с оглушительным «бах, бах...» пошли стрелять в потолок!

Но еще до ночного криминала не прошло и пятнадцати минут после нашего «заселения», как у сияющих солидных дверей гостиницы, приняв душ и нарядившись в костюмы «от Андрея», встали двое – я и Гоги Кавтарадзе.

С гордостью могу сообщить: я покуривал «Честерфилд»! Эдак небрежно. Из коричневой пластмассовой пачки. (Правда, купленной в Тбилиси, но все же – в «валютном баре»!).

Гоги «Честерфилдом» пренебрегал и попыхивал кубинской сигарой.

Ради чего мы стояли?

Сейчас объясню.

Представьте себе двоих молодых людей в возрасте около двадцати пяти лет, нарядных, в костюмах «от Андрея», воодушевленных, в ожидании...

Кого могли ожидать расфранченные, «вооруженные» «Честерфилдом» и кубинскими сигарами, полные чисто восточных страстей и энергии молодые люди?..

Естественно! Конечно же... Вы абсолютно правы!

[1] «Пиримзе» (досл. «солнцеликая») – крупнейший комбинат бытового обслуживания в центре Тбилиси, пользовавшийся большой популярностью населения столицы в 60-70 годы (прим. пер.).

Наверное, из Парижа, Рима, а может, и из Варшавы – короче, со всех сторон света должны, ну просто обязаны были немедленно сбежаться, а то и слететься, самые лучшие, несравненные красавицы – только для того, чтобы взглянуть на это чудо! А может, и не только взглянуть...

Мы, грузины, нарядные, ухоженные, как породистые племенные производители на какой-нибудь выставке, стоим на самом видном месте! Вы не только придете – сломя голову, сбежитесь, Прекрасные Дамы!..

Исполненные радужных ожиданий, мы с Гоги стояли перед гостиницей.

А прохожие все шли и шли мимо. По своим делам.

Бухарест никак не желал обращать внимания ни на нас, ни даже на шедевры Андрея – лучшего портного «Пиримзе». Левая ладонь у меня чесалась, да и сердце что-то дурное предчувствовало... Но надо признать: первым о нашем крахе догадался все-таки Гоги.

Пробормотал краткое: «Пошли!» и вернулся в гостиницу.

Через час нас, пьяных до беспамятства, ребята с трудом поволокли из бара в номер.

Из Бухареста театр прибыл в маленький городок редкой красоты. Долго потом, в Тбилиси, я искал на карте город Клуж. Но, увы – безрезультатно... В один из вечеров (конечно же, вновь вместе с Кавтарадзе) очутились в ночном клубе. После четырех бутылок втихаря пронесенного в бар «Енисели» Гоги вместе с одной симпатичной местной актрисой увлеклись отработкой редких па цыганских плясок.

А я в это время другой красавице-актрисе «мозги запудривал».

Мои усилия увенчались успехом: она выразила желание взглянуть на постельное белье в моем гостиничном номере. И ничего двусмысленного здесь нет: я и сам цветное постельное белье тогда впервые увидел!..

Подходим к гостинице. Ничего такого, просто на белье посмотреть!

Но в три часа ночи, если кто увидит... (Наших, конечно, имею в виду. Не КГБ, нет! – просто наших.). Тогда я пропал! «Морально неустойчив» сразу же и прилепят. Попрощайся тогда, дорогой мой Гоги, с путешествиями...

Осторожно прошли два этажа... На цыпочках пробираемся к номеру... И вдруг – раздается истошный грузинский крик:

«Акула – я? Акула?».

Вай ме, что же это? Что бы это значить могло? Акула?! Какая еще акула? Пароль, наверное! Засекли, пропал!!!

- Акула я???

Второй раз... Голос показался уже более спокойным. Может, не так уж и плохи дела? Может, договориться можно?..

- Акула, я???

Третий раз! В длинном коридоре полутемной гостиницы одна дверь слегка приоткрыта. Свет пробивается. Тихо подкрадываюсь к двери, заглядываю... И вот какая картина открылась.

Остатки ужина. На столе несколько пустых бутылок из-под тбилисской «Столичной». Четыре или пять (и тоже, конечно же, пустых, только немного масла осталось) коробок из-под кильки, шпрот, сайры, печени трески.

За столом один человек сидит... Присмотрелся: да это же дядя Гиголи. Бог ты мой! Хороший человек, добряк. Народный артист Грузии Гиголи Талаквадзе, с опущенной головой...

Батони Гиголи – сам родом из Аскани[1]. В Тбилиси проживал на Ватутинской, в восьмидесятом номере. В маленьком домике со своим маленьким виноградником, огородиком и палисадником. И вот он, выросший на этих натуральных продуктах уроженец Гурии, уже целый месяц на чужбине питается только взятыми из Тбилиси рыбными консервами!

А что делать? Как иначе на шестнадцать долларов семье, детям, внукам подарки купить?..

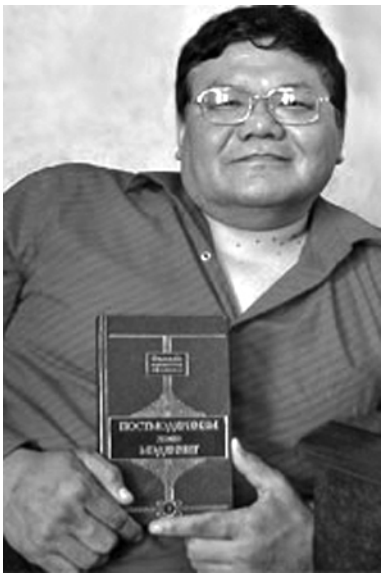
...У всех в этой сияющей вожделенной заграннице были свои проблемы.

Мне ведь тоже не легко было в Европе целый месяц на цветном белье одному спать!..

Пер. с груз. И. Модебадзе

[1] Аскани – деревня в Гурии. Западная Грузия (прим. пер.).

Ауэзхан КОДАР



Ауэзхан Абдираманович Кодар, известный писатель, культуролог, публицист, кандидат философских наук, академик Народной Академии Казахстана «Экология» (2000 г.). С 1988 г. – член Союза писателей СССР. С 1989 по 1996 гг. – редактор главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Казахстана. С 1994 г. – президент ассоциации по экологии культуры народов Казахстана «Золотой век». С 1999 г. – основатель и главный редактор журнала «Тамыр». С 1999 по 2001 г. – член Правления международного фонда Сорос-Казахстан. С декабря 2002 г. член Совета по СМИ при Президенте Республики Казахстан. С 2006 г. – советник генерального директора российско-казахстанского фонда «Институт евразийских исследований». Указом Президента Н.А. Назарбаева от 9 декабря 2006 года награжден орденом «Парасат».

Ауэзхан Кодар стал одним из инициаторов нового культурогенеза в Казахстане. Особенно активно проявил себя в конце 90-х. Организатор философско-эстетических исследований и семинаров «Проблемы этнической прессы в РК» (совместно с Фондом Ф.Эберта), «Культурные контексты Казахстана: история и современность» (совместно с Фондом «Сорос-Казахстан»), «Культура и СМИ: проблемы взаимодействия» (совместно с фондом Сороса).

Автор книг «Крылатый узор» (1991 г.), «Ана ат а анаты» (1994 г.), герменевтического сборника «Абай (Ибрагим) Кунанбаев» (1996 г.), трудов «Круги забвения» (1998 г.), «Очерки по истории казахской литературы» (1999 г.), монографии «Степное знание: очерки по культурологии» (2002 г.), книги стихов с параллельным английским текстом «Цветы руин» (2004 г.), Зов бытия» (2006 г.).

Мисс Ноль

Совершенномудрая мисс Ноль
Вошла в мою жизнь.
С этих пор, когда
Я, что ни день, меняю очки,
Не находя нужной диоптрии,
Она утверждает, что лучший цвет – белый.
И не нужно оттенков,
Поскольку они умножают соблазны.
Ее голос еле слышен в ночи,
А вместо плеч ее я ловлю пустоту.
Когда спорю с кем-нибудь
До боли в затылке,
Она посыпает мне голову пеплом
И ведет в пустыню,
Где Богом и людьми забытый дервиш
Стал частью пейзажа.
А вокруг валяются трупы волчат,
Подохших от голода.

* * *

Сумасбродная мисс Ноль
Ходит на тоненьких шпильках,
Оставляя следы дырокола
На девственном папирусе асфальта.
Но кому нужно это бесконечное досье,
На котором ни буковки, ни иероглифа?
Приходится констатировать исчезновение текста.
Нечего интерпретировать.
Игра значений изничтожилась
Под каблуками мисс Ноль.
Главное – нет адресата.
Только мертвый глаз старухи-луны
И ничего не выражающие ягодицы мисс Ноль.

* * *

Моя госпожа, мисс Ноль,
Рыжей лисицей прячется в осени.
Небо и память...
Верней, невозможность припомнить, объять.

Тяжелое чувство немочи мысли,
Вынужденное сопричастие
К царству ложных эффектов.
Возможно, я тот, кто склонен
К излишней аффектации.
А мою подругу зовут Зеро.
Существо без сущности.
Длинные ноги,
Шагающие в никуда.

Мисс Ноль,
Ты девушка или старуха?
Безносая
Или с носом?
А может быть, ты — это воздух?
Почему играешь в прятки со мной?
Ты мое прошлое иль настоящее?
Войлок – бесплотная плоть бытия,
Твой войлок имеет душу.
А я ее, как раз, теряю.
Я превращаюсь в войлок.
Спаси меня, мисс Ноль, если сможешь!
А впрочем, это я спасаю тебя.
Я умею вызывать из небытия твой образ.
Это умею я, твой колдун и околдованный,
Твой способ против немоты.
Ибо я говорю за обоих,
А ты умеешь слушать.
Разве этого мало?
Я – классик минимализма
Люблю все, что за кромкой смерти и безгласия.
Но ведь тело тоже безгласно.
А тело я люблю больше всего.
Ведь тело это и есть — ты.
Твое тело говорит всеми своими выпуклостями,
Изгибами, потаенностями.
Твое тело красноречивее слов.
Я пленник твоего тела.
Я Гулливер одновременно большой и малый.
Малый, потому что тебя для меня много.
Большой, потому что тебя для меня мало.
Я ненасытен, поверь.
Но есть одно средство – твой голос.
Это единственная музыка, в которой я
прозреваю смысл.
Как Шахерезада, которая жива, пока говорит,
Я жив, пока ты внимаешь мне.
Я тебе подарю не цветы, а мириады ушек,
Как лепестки внимания,
Неисчерпаемого, пока я жив.

* * *

Полог забвения беспросветнее ночи,
В нем нет даже звезд.
Он чернее квадрата Каабы —
Твой вечный опекун и тюремщик.
Как одинок ты в этом зиндане!
Только зренье твое, увы, бесполезное.
Только губы, забывшие о поцелуях;

Только усилие слуха;
Только кожа в пупырышках жалких
И безграничная возможность дышать,
Как и всегда, при тебе.
Как богат ты с телом своим,
Соперником ночи и хлада.

* * *

Мисс Ноль, предел понимания.
Стройная как единица,
Она по ту сторону жизни и смерти.
Она – Харон, сжегший стигийскую лодку,
Она – Орфей, забывший о Персефоне,
Она – «красный кирпич», знак запрета,
Тропа, обрывающаяся в пропасть.
Я жму на тормоза и поворачиваю обратно,
Но и там я вижу мисс Ноль,
Задорную, как стих Пастернака.

* * *

Мисс Ноль, чистый лист бумаги,
Новая страница истории,
Где историй сколько угодно,
А страницы все напрочь пикантны,
А бумага – лишь туалетная,
Но и в ней обитают Боги.

* * *

Мисс Ноль – это артель «напрасный труд».
Она пишет стихи,
Переводит поэмы английских авторов,
Создала свой веб-сайт,
На который никто не ходит.
Недавно ее стихи похвалил
Оживший именно для этого случая
Иосиф Бродский.
Говорят, он хлестал коньяк
И хватался за сердце,
А она хваталась за него,
Как за соломинку.
Но назавтра он исчез и, кажется, навсегда.
А наши кумысные патриоты предпочитают
читать
Миссис Десять Тысяч,
Хотя легче прочесть Гомера, Гесиода и
Овидия вместе взятых.
Там хоть восполнишь пробелы пушкинского
легкомыслия,
А у Миссис – ничего кроме пробелов.
Они самое светлое воспоминание от ее текста.

Это – единственный казус,
Где чтение – напрасный труд.
А что касается мисс Ноль,
Ее приятно касаться.

* * *

Мисс Ноль, моя подруга,
Или друг,
Точнее, милый андрогин,
Чья цельность равна ее отсутствию,
Вернее, вечному круговороту
Незакатного «Сегодня».
А я – господин Ничто,
Существующий прежде и после,
Но никогда в настоящем.
Я обнимаю все и прохожу через все,
Словно стержень и овал,
Причина вала и обвала.
Я – уничтожитель генетического кода,
Письма и Писания.
Я тот, кто сзади, но не позади.
Я – морская волна, бьющаяся об утес
И жующая одно и то же,
Стойкий минерал бытия,
Нестачиваемый за тысячелетия.
Я – Одно, бьющееся о Дно.
Я – высота, да не та.
Суета сует и всяческая суета.

* * *

Приют усталого раба – кирпичного цвета.
Снаружи он похож на замок,
Точнее, благодаря мансарде,
На маленький Париж
В запущенном саду из яблонь и орешника.
С бассейном из страны чудес,
Где Алиса всегда или больше, или меньше,
чем есть,
Как и все, что ее окружает.
Есть у нас и запретная территория,
Это подвал, где есть подземный ход к самому
Багдаду,
Логову змеиного царя,
Плененного ныне Кучерявым техасцем,
Самым крутым из всех ковбоев.
Что сказать еще о моем оазисе?
Там часто слышен звонкий безудержный хохот,
Это смеется мое сокровище, моя Алиса.
Смех и лазанье по деревьям –
.
Ее способы познания мира.
Она беспечно прыгает с ветки на ветку,
А я каждый раз волнуюсь,
Чтобы ее не поймали ловцы чужих снов
И гасители чужой радости,
Ковбои из Беслана или Техаса.
Моя обитель – вдали от обеих столиц,
И вообще, от столиц всего мира.
Здесь очень тихо, здесь настолько тихо,
Что тишина опрокидывает в себя
И начинаешь многое слышать,
Слышать и понимать.
Здесь я долго ворочаюсь,
Не могу заснуть.
Вот тогда и рождаются стихи,
Такие, как это судорожное стихотворение,
Кардиограмма, оформленная в текст.

* * *

Мисс Ноль – роса,
Я – слеза.
В чем разница между нами?
В послании этому миру?
Быть может, она – начало послания,
А я – ее завершение?
Роса – это слезы без горечи,
Слезы – роса из бутона души.
Они оба – не любители дневного света и
посторонних глаз.
Они оба из одного алмазного состава.
Путь вверх и вниз один и тот же.
Влага она и есть влага.
Она – одна.

* * *

Когда астеник попадает к хтоникам –
Это ошибка.
Это враждебные взгляды в спину,
Холодные, как укол шилом,
Растянутый в бесконечность.
Не только вампиров убивают ударом в сердце,
Чаще всего так убивают вампиры.
Высосут всю кровь, а потом еще и пришьют.
Так, для верности, для посмертного гербария.
Одному – бесприютно,
Но с ними – еще бесприютней.
И только мисс Ноль меня понимает,
Как понимала бы смерть.

Ирена КЕСКЮЛЛЬ

Кескюлль (в замужестве – Багдониене) Ирена Сергеевна. Родилась в Тбилиси. Бакалавр теологии, кандидат филологических наук по специальности русская литература (тема диссертации – «Апокалиптический жанр в символьной прозе Дмитрия Мережковского»). Стихи и прозу начала писать в 11 лет. Творческие искания привели к нахождению приоритетной направленности, сложившейся на основе творчества русских символистов, к которым, несомненно, тяготеет поэзия данного автора. Стихотворения, преимущественно сонеты, публиковались в альманахе молодых филологов-русистов «Лик», альманахе АБГ, переводы польской классической поэзии на русский язык - в журнале «Кавказская Полония»; пьеса «Духа», а также пьеса в стихах «Город искусств» и несколько поэтических циклов были опубликованы в литературном альманахе «На холмах Грузии». Автор нескольких научных публикаций, большинство из которых посвящено проблематике апокалиптики в творчестве русских модернистов. Лауреат поэтического конкурса им. З. Герберта в Варшаве, конкурса журналистов «Возврат к истокам» в Тарнове (Польша), в 2001 году пьесе «Духа», посвященной судьбе норвежской пианистки Дагны Юэль, была присуждена театральная премия «Хрустальный кубок», в 2005 году биографическая пьеса «Дом на бульваре Келлермана» о польской ученой Марии Кюри-Склодовской вошла в лонг-лист конкурса «Дебют» в номинации «драматургия».

Роман-сага в трех книгах «Тифлис обетованный» - это еще одно слово в списке множества литературных произведений, посвященных уже широко растиражированной в течение последних десятилетий теме сталинских репрессий. Однако книга примечательна тем, что главным действующим лицом в ней, по сути, является Тифлис. До сегодняшнего дня неизвестны или крайне малочисленны литературные свидетельства о страшной эпохе тридцатых в Грузии, тем более представленные в форме крупной художественной прозы. Роман основан на реальных событиях; в основе сюжета лежит история семьи тбилисских интеллигентов, в жилах которых течет шведская, польская и русская кровь и которые осуждены по пресловутой 58-ой статье. Семья бесследно исчезает из жизни города, родовое гнездо разорено, впереди – долгий путь на каторгу. В центре повествования образы двух женщин – одна из которых, Елена Линдберг, проходит Крестный путь Вишерских лагерей, а другая, Галина Волонская, жена ее брата, растрелянного спустя десять лет заключения, волею судьбы остается в Тбилиси. Обе героини, находящиеся по разные стороны колючей проволоки, объединены общей трагедией сломанных судеб, общим абсурдным временем: первая проходит через физический ад, изнеженной городской барышней попадая на лесоповал и работая «труповозом» в лагерном морге, вторая до конца жизни пребывает в аду моральном, вопреки всему сохраняя уже несбыточную любовь к «врагу народа».

В книге Тбилиси, по старой памяти именуемый героями Тифлисом, отождествляется с Землей Обетованной, в то время как годы лагерей – скитанием по Египетской пустыне. Единственной спасительной мечтой для Елены Линдберг, когда потеряно всё и все, остается возвращение в кажущийся отдаленным раем Тифлис, которое становится возможным только спустя полвека после ареста. Книга в некотором роде обладает композицией триады: город предстает в трех ипостасях – рая сотворенного, рая потерянного и рая возвращенного. Несмотря на некоторую упаднической описательность, являющуюся данью исторической канве произведения, она, вне всякого сомнения, представляет собой гимн человечности, сохраненной героями вопреки веянию времени. Красной нитью, в качестве некоего девиза, проходит через повествование псалом царя Давида:

«Скорби сердца моего умножились – выведи меня из бед моих.
Призри на страдание мое и изнеможение мое, и прости все грехи мои.
Посмотри на врагов моих, как много их и какою лютою ненавистью они ненавидят меня».

Книга II

Украденная юность

(отрывки из романа)

Почему лагерь – это слепок мира?

Тюрьма – это часть мира, нижний или верхний этаж – всё равно, с особыми правами и правилами, особыми законами, особыми надеждами и разочарованиями.

Лагерь же – мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве, социальном и духовном. Лагерные идеи только повторяют переданные по приказу начальства идеи воли. Ни одно общественное движение, кампания, малейший поворот на воле не остаются без немедленного отражения, следа в лагере. Лагерь отражает не только борьбу политических клик, сменяющих друг друга у власти, но культуру этих людей, их тайные стремления, вкусы, привычки, подавленные желания.

Варлам Шаламов. «Вишера».

За окном мерцало все то же, удивительно уютное тифлисское солнце, неумолимое даже в январе. Виктор уже не знал, какое сегодня число и какой месяц – счет времени был потерян много дней назад. Бессонные ночи легли на его лицо печатью безнадежной усталости, горевшая днем и ночью оголенная лампочка, казалось, сводила его с ума, - самым большим желанием (после свидания с Галей) было сменить одежду и уснуть где-нибудь в темной комнате, утонув с головой в подушке. Воспаленный от бессонных ночей мозг отказывался работать – еженощно за стенкой кого-то звучно били – и эти чудовищно мягкие удары, видимо, приходились в живот. Криков не было – позже Виктор узнал, что сосед его был немой полоумный чистильщик обуви с Михайловского проспекта, у которого пытались выбить признание по все той же 58-ой статье. Через три дня все стихло – то ли несчастный подписал собственный приговор, то ли все закончилось гораздо более печально.

Виктор ждал. От голода у него начались галлюцинации – ему казалось, что он дома, и ничего не произошло, что весь этот фарс – не более, чем страшный сон, который вот-вот закончится.

В то утро ему принесли 300 г хлеба и компот. Он удивился и понял – скоро. Через час его уже вели по окрашенному отвратительной краской коридору. Повсюду были эти проклятые голые лампочки, как та, что не давала ему спать. Зачем они надели на него наручники? Ведь он не настолько глуп, чтобы бежать через тройной кордон и колючую проволоку! Надо собраться. Сейчас начнется...

- Вашш имиа? – с сильным грузинским акцентом рявкнул комендант, подавшись вперед.

- Линдберг, Виктор Сергеевич.

- Нацционалност?

- Швед.

- Виддиш, Нодар? – обратился он к секретарю. – Съеводниа фсио нэмцы да нэмцы. – Заниатиа?

- Что? – переспросил Виктор.

Комендант, казалось, только и ждал удобного момента для того, чтобы перейти на крик.

- Род заниатиа, гавариу!

- Ах, да... Инженер.

- Возраст?

- Двадцать четыре года.

- Нодар, давай сиуда!

Молоденький стажер подскочил к начальнику с несколькими листами и копиркой.

- Падпиши здэс!

Его заскорузлый ноготь выдавил на бумаге полумесяц. Линдберг пробежал по ней глазами: «...измена Родине... секретные документы... шпионаж... чистосердечное признание...».

Это было не только обвинение в его адрес. Это был бы конец для всей его семьи. Он беспомощно поднял взгляд.

- Но я не могу. Это, вероятно, какая-то ошибка... я никогда бы не...

- Ма-алчать! – комендант шлепнул ладонью по столу. – У мэния фсиэ гаварят. И ты буддэш! Нодар, принэси карандаши и сными с нэво наручники!

Виктор остолбенел. Зачем? Какие карандаши? Секретарь освободил его затекшие руки, и Виктор с наслаждением растер запястья.

- Рукы на стол!

Виктор повиновался. Комендант быстро вставил карандаши меж его пальцев.

- Падпишэш?

- Нет.

Он с силой сжал руку Виктора, суставы захрустели, но заключенный смолчал, только веки плотно сжались, а на смертельно побледневшем лбу выступил пот.

- А тэпер?

Виктор накрыл другой рукой сломанные пальцы.

- Тем более...

Не будучи в силах уломать его, комендант начал допрос. Три с лишним часа на Виктора сыпались обвинения, одно противоречащее другому, – так, что в итоге он так и не смог понять, чьим шпионом он являлся – Германии или местных контрреволюционных организаций. Кисть распухала и синела. Виктор про себя усмехнулся тому, что подпись ставить теперь пришлось бы левой рукой.

Сегодня от него ничего не добились. Но он знал, что завтра все начнется по новой, что эти люди работают методом изощренных ловушек, дешевых средневековых сценариев, а поэтому он ни разу не позволил себе мягкой, благостной мысли об избавлении. Это было бы нелогичным попустительством самому себе. Ночью он задремал. Искалеченная рука все время мешала, он ощущал ее как чужеродный набухший рудимент, пульсирующий болью, как нерв в зубе.

Его снова повели через коридор, когда по его расчетам было около трех утра. Здание тюрьмы никогда не засыпало – оно и теперь было до краев полно возней, шорохами и чеченской подметок военных ботинок, которая звучала, как цоканье лошадиных подков.

Это была уже совсем другая комната, гулкая своей пустотой. И следователей было двое, с запечатанно-грустными лицами. Незнакомыми.

- Виктор Сергеевич, – с правильным русским ударением начал один. – Вы обвиняетесь по пункту шестому пятьдесят восьмой статьи Уголовного Кодекса Союза Советских Социалистических Республик – шпионаж с вредительской целью в пользу иностранного государства.

- Это какого именно? – Виктор улыбнулся углом рта.

- Германии, – истово напомнил второй. – Германии.

У него были такие искренние бессмысленные глаза, как целлулоидные пуговицы у плюшевого мишки. Виктору даже стало жаль огорчать его своим упрямством.

- Если вы отказываетесь в письменной форме признать свою вину, мы будем вынуждены пойти на крайние меры, – членораздельно произнес первый.

Виктор поднял онемевшую кисть с повисшими переломанными пальцами.

- Даже на более крайние?

- Ну так что, факсимиле на признании ставить будем?

- Не буду.

Следователь расстегнул кобуру и неспешно зарядил наган. Виктор молча следил за его методичными движениями, и только горло, как раз на уровне адамова яблока, постепенно зажимало спазмой.

Выстрелы раздались подряд, хлопающие и деликатные. «Глушитель» – успел подумать Виктор, сползая вниз по стене, и устало закрыл глаза. Наступило сонное забытье. Сколько оно длилось, Виктор не помнил. Но... не помнил, следовательно, мыслил... Cogito, ergo sum[1], -

[1] Я мыслю, следовательно, я существую (лат.).

всплыла откуда-то максима Декарта и остановилась в воздухе. Виктор ощупал свое тело и неуверенно поднялся, исподлобья глядя на экзекуторов. Волосы надо лбом взмокли совершенно, а весь окружающий мир казался двоящейся маслянистой литографией.

- Сегодня, товарищ Линдберг, патроны были холостые. Повезет ли вам в следующий раз, зависит исключительно от вас.

Его снова препроводили в прежний кабинет.

- Ну, и как вам русская рулэтка? – участливо спросил давишний комендант. – Нэ адумалис?

- Я не буду признаваться в том, чего не совершал.

Каждый вдох давался Виктору с трудом, и он панически боялся грохнуться перед этими людьми в обморок, словно закорсеченная девица на балу.

- Зриа ви так, Виктор Сэргээвич. Ваша вина даказана. Нэ атпирайтес. Ваш близки родственник паказал. Нодар, вызывай!

Виктор вскочил и отшатнулся к стене. Пара возгласов, что-то завозилось в коридоре, и в комнату втолкнули подобие человека. Один глаз его полностью заплыл, лицо вспухло от побоев, разорванный ворот грязной гимнастерки обнажал кровоподтеки различной свежести... И все же, все же это был Борис Михайлович Ельцов. Виктор рухнул на стул. Никто не виноват. То, что стояло перед ним, было уже мертвым, от смерти его отделяли часы. С его-то легкими...

- Узнаете? – с улыбкой спросил конвойный.

- Да. – Виктор опустил голову, чтобы нечаянно не встретиться с отчимом глазами.

- Витя, прости меня... – отчаянно захрипело привидение. - Я не помню, как сказал, не мог больше... Витенька, это не я... они еще *до* меня...

Его уволокли обратно. По коридору пронесся животный крик. Виктора передернуло. Несчастный... что они сотворили с ним! Они же добывают оговоры под пытками! Виктор начинал понимать, что отпираться больше нет смысла, что если он признается в несуществующей вине, то, может быть, удастся сохранить жизнь. Он медленно пододвинул к себе документ. С этого дня начался отсчет Крестного пути семьи Линдбергов.

* * *

Эта ночь навеки впечаталась в их память – кошмар, в который они никак не могли поверить, тешили себя надеждой, что помучают и выпустят, что ошибка, кому они нужны, Господи? – теперь вполне утвердился.

Лиля лежала в углу камеры, освещенной несколькими ослепительными лампами, и тщетно пыталась уснуть – под причитания старухи-крестьянки из противоположного угла – ей, которая вряд ли понимала, что власть сменилась еще в 17-ом, вменили все ту же 58-ю – контрреволюционная деятельность. На допросе, прижимая к животу мешок со шматом сырого мяса и бутылкой молока – тем, что удалось ухватить из ухоженного домика в зеленой Имеретии, – она силилась повторить это сложное словосочетание, но непривычный к русскому язык заплелся еще на первом слоге. «Контр... контр-р... rogor, genacvale? Zalian rTuli sityvaa..[1]» – с непосредственным деревенским лукавством щурилась она в лицо офицеру, уверенная – отпустят. И еще не пришло в голову ей, которая лучше всех в селе умела готовить имеретинский сыр, что кому-то очень и очень приглянулся этот ее ухоженный домик на холме, домик, которого она больше никогда не увидит. Корова еще двое суток промычит в хлеву, пока сосед не польстится на двести кило парной говядины, через неделю чужие люди займутся переделом ее хозяйства, а сама она, так и не успевшая изжарить шмат мяса, умрет сегодня от остановки перепуганного сердца прямо здесь, в следственном. И слава Богу, потому что у остальных впереди был долгий путь на каторгу.

А пока она причитала о своей незатейливой жизни – и певучие грузинские слова больно врезались в мозг Лили. Жажда, мигрень от постоянного света и прогорклой пищи, страх перед пытками не давали задремать ни на минуту. Она привстала и осоловело огляделась вокруг. Две цыганки похрапывали под окном, проститутка с одутловатым лицом безуспешно пыталась соорудить самокрутку, тараканы легонько шлепали суетливыми ножками по

[1] Как, дорогой? Слово очень трудное... (груз.).

крашеным стенам. Старуха перестала выть, с минуту молча смотрела на бледную осунувшуюся Лилю, и вдруг бросилась к ней со своим мешком, выхватила молоко и с какими-то невнятными возгласами, расплескивая, сунула девушке. Лиля заплакала, как маленькая, не прикрываясь.

К шести утра она задремала. Какие-то сбивчивые образы и целый лабиринт коридоров дрожали перед внутренним взором, смешивая сон с явью, не давая отдыха воспаленному сознанию. Ее разбудил лязг дверного засова. Кто-то поднял ее под локти, неуклюжую и отяжелевшую ото сна. Лиля услышала приглушенный смешок, непонимающе оглядела себя: батистовая сорочка с украинской вышивкой расползлась на груди, являя соблазнительное зрелище зефирно-белой плоти. В углу заворошилась проститутка – привстав, с минуту непонимающе моргала, затем швырнула Лиле какие-то лохмотья.

- Надень! А то раньше времени станешь как я! Ха-ха, чего вылупилась? Думаешь, вальсы танцевать приглашают?

Лиля молча натянула на себя вонючее подобие бушлата. Первой мыслью было – вши! Второй, уже перед самым кабинетом – все равно.

Сцепив руки от утреннего озноба, она стояла перед комендантом, опустив глаза. Ей никто не поверит. По дороге в Ортачальскую тюрьму они и умоляли, и доказывали. Первой замолчала Ольга, когда один из *mex*, в буденновках, ткнул ее в подбородок прикладом.

- Линдберг Елена Сергеевна, – пожилой дознаватель славянской наружности листал ее личное дело, иногда вскидывая на нее голубые водянистые глаза, в которых, казалось, была вся накопившаяся усталость человечества. – 58-я... А вы идите, – он кивнул конвоирам. – Разговор нам с... как?.. Еленой Сергеевной предстоит до-олгий, обсто-я-тель-ный. Итак, вы намерены отпираться?

Говорил он громко, зычно, то и дело подходя к железной, дурно покрашенной двери, украдкой оглядывая всю съежившуюся Лилину фигуру.

- Отпираться – от чего? – слова он угадал по артикуляции.

- Вы, должно быть, в игры со мной вздумали... Линдберг. Шпионаж у вас, причем с отягчающими – на службе. Каталог кадров домой забирали?

- К-кадров? Да, но я днем не успела заполнить, работала по ночам. Но все брали... я не понимаю...

- Все?! – он закричал так, что на шее вздулись плотные, как веревки, вены, и Лиля подумала, что его может хватить удар. – Кто все? Может, вы назовете? Я записываю! – он ринулся к письменному столу, дрожащим пером посадил кляксу на промокашку. – Говорите.

- Я... я не знаю... ничего я не знаю, – в горле заклокотало, она вонзила ногти в ладони, чтоб сдержаться.

- Мы будем вынуждены применить ужесточенные меры, - обратился он к дверному глазку. – Ты будешь давать показания, перемать, или...

Он притянул ее к себе, тяжело замахнулся, но глаза были прежние – утомленные и безразличные. Он произнес ей в лицо одними губами: «Кричи же! Не подводи себя и меня! Ну!».

Лиля пискнула. Из коридора донесся звук удаляющихся шагов. Дознаватель выпустил девушку и опустился на стул, прикрыв глаза рукой.

Лиля безумно смотрела на него, не понимая.

- Доченька, - сказал он обмякшим голосом. - Ты уж прости меня, старика. На вот, - он зашуршал чем-то в ящике бюро и извлек три крупных апельсина в оберточной бумаге. – Бери. На дорожку.

Он еще раз посмотрел на нее тем же неизменным взглядом, погладил ее по виску и вышел. Все последовавшие за этим днем годы каторги Лилю будут преследовать эти глаза уставшего от времени человека, который будет олицетворять для нее то редкое и штучное добро, которого ей так мало доведется встретить в дальнейшей жизни.

Дорога... Той ночью она не сомкнула глаз, сидя в углу и обхватив руками колени. В неосвещенной камере, куда ее привели в ту последнюю ночь, больше никого не было, лишь под утро засовы лязгнули, на пороге что-то завозилось, и темная фигура, осторожно ступая, скользнула внутрь.

- Кто здесь? – разводя руками мрак, Лиля стала пробираться навстречу, как вдруг кто-то зажал ей рот ладонью. Вырываясь, она задела незнакомку локтем в грудь, и вдруг, в ответ на сдавленное аханье, в Лилино сознание ударила бредовая догадка.

- Ма...

- Молчи... - Ольга горячо зашептала ей прямо в лицо. - Здесь ведь никто не знает... у нас фамилии разные... я ведь Ельцова. Может, посчастливится ехать вместе.

- Ехать? Боже мой, ехать, но как же...

- Тише, Лилечка. Ни слова больше... По имени-отчеству, на худой конец, можешь. Здесь стены живые, понимаешь?

-А *он*, как же *он*, Ольга Николаевна? – с ужасом выдохнула Лиля местоимение вместо «Виктор».

- Говорят, его уже здесь нет, увезли. Мужской состав отправили еще вчера.

- Отправили? Состав... Куда?

Последовала пауза, после которой овладевшая своим голосом мать отчеканила:

- На Урал.

Они молчали, сидя на полу поодаль друг от друга, и это безмолвие двух родных людей было страшнее любых слез. Неверный свет пасмурной, непохожей на тифлисскую, зари медленно вползал в помещение, и Лиля жадно вглядывалась в прояснявшиеся черты Ольги, в заученный профиль аристократки, пока та не обернулась к ней. Под тонкой кожей лба багровел налитый кровподтек.

- Упала в уборной, – отчетливо сказала Ольга Николаевна. – Скользко. А можно ли узнать ваше имя?

- Елена.

Невыносимо хотелось пить. Они разделили Лилины апельсины – теплые, только что из-за пазухи. Лиля облизала пальцы. Ольга было вскинулась, но потухла, только пододвинула к ней остатки.

- Кожура.

- Что кожура?

- Съешь. Теперь все по-другому.

* * *

Женщин построили в линейку на тесном плацу Ортачальской тюрьмы, и Лиля поразилась – какие они были разные – славянские черты мешались с картвельскими и вовсе неопределимыми. Комендант начал зачитывать список... боже мой, казалось, весь тифлисский интернационал был собран здесь сегодня... Авакян, Амиранашвили... Гольдштейн, Думбадзе, Дятлова... Ельцова – Лиля вздрогнула, когда мать коротким сухим шажком выступила вперед. Карапетян, Кварацхелиа... Лиговская... Линдберг... В тот момент Лиле показалось, что наступила вязкая тишина, окружающий мир замер, как в замедленной съемке, даже идущий изо рта пар завис в воздухе. Она машинально откинула застелившие глаза волосы, и как сквозь сон до нее донеслось:

- Линдберг, назад в строй!

Лиля попятилась назад, наступив на ногу благообразной леди, похожей на пушкинскую Пиковую даму.

- Прошу прощения...

- Не стоит.

Лиля ошеломленно посмотрела ей в лицо: оно было совсем молодым, только сбитая корона седых кудрей добавляла годов. Где-то она уже видела этот медальный профиль, и эти волосы...

- Маевская Екатерина Николав-вна, - услужливым шепотом подсказал профиль, и Лиля сдавленно ахнула – Боже мой, Маркиза, полька, соседка Галины... пасхальная утреня в Петропавловском костеле, тюльпаны, свет...

Она хотела что-то сказать, но линейка загомонила: зачитывался приказ об отправке вышеперечисленных по этапу на Север. Многим до последнего не верилось, некоторые

женщины заголосили, кто-то отрывисто выматерился, тотчас прерванный окриком охранника, – но все-таки это утро, такое негостеприимно холодное, с перистым ветреным небом, было их прощанием с Тифлисом.

Снег повалил внезапно, и им пришлось долго, мучительно долго добираться до Ортачальских тюрем. Добирались с эфемерной надеждой на чудо, которого – они знали – еще ни с кем не происходило.

* * *

Галина зябко прятала руки в прорванные карманы синего габардинового пальто. Тяжелый сверток с передачей – возможно, сегодня и не будут принимать – привалился к ее ногам. Тетя Нина с Женечкой стояли поодаль с символическим пакетом.

Текли часы. Галина не отрывала взгляда от зарешеченного оконца полуподвала – как будто за ним и находилась семья Линдберг – вся ее жизнь.

- Вот... сухари, – робко сказала Женечка, задевая ее за рукав пакетом.

- Что? Зачем сухари? – она даже не обернулась.

- Не знаю... Галя, почему ты до сих пор не можешь нас простить? Что бы изменилось, если бы мы тоже... ну, если бы вышли – тогда? Пришлось бы тебе и нам передачи носить. – Она криво улыбнулась спекшимися губами. Вмешалась мать, оттеснив Женю себе за спину.

- Галя, ты ведь знаешь – у Женечки талант. – Это слово она произносила надрывно, обособленно, с французским прононсом. – Талант. – Она заплакала в платок.

- Мне ваши мотивы неинтересны. – Галина гордо вскинула подбородок. – Но если бы я сказала, что не жена Виктору? Вы бы меня оправдали?..

- Ну-у, знаешь, это несравнимо.

- Я же не знала, что меня оставят.

- Хм, догадаться было нетрудно. Ведь Пирцхалава...

- Не смейте!

- Он к тебе давно подбирался, и если бы ты не строила глазки, то...

- Линдберг! – Эта фамилия, брякнувшая откуда-то сверху, прервала их перебранку.

- Что? - Галя вскочила и, не удержавшись, рухнула на колени в тонкий снег.

- Здесь их нет. Обращайтесь в Главное Управление внутренних дел, в Москву.

- В Мо... Как нет? Куда?

- Оставьте ваши паспортные данные.

- Тш-ш! – Тетя Нина ухватила невестку за локоть и потащила прочь, пришептывая и крестясь. – Молчи, слышишь? Молчи... Мало нам?

Сухари остались в снегу.

...В опустевшем доме Линдбергов все так же верещали настенные часы, но тяжким грузом давила тишина, останавливая ход времени на восьмом декабря тысяча девятьсот тридцать седьмого.

Не раздеваясь, Галина повалилась на их с Виктором кровать – двуспальный драндулет мореного дуба. Снег таял на пальто, теплом подтекая на простыни. Она пролежала так несколько часов, не зажигая света, не шевелясь. Казалось, дом был наполнен голосами призраков хозяев – они смеялись, шутили, перешептывались у нее над головой. Время. Оно уничтожает и исцеляет одновременно. Надо только набраться терпения, и боль притупится, станет сносной. Или убьет ее. Галина со стоном перевернулась на другой бок. Кто сказал, что физические страдания сильнее душевных? Неправда – внутри все так и рвется, особенно, когда она здесь, среди всех этих говорящих вещей.

Последние дни прошли в нездоровом угаре беготни по кабинетам, но финальным аккордом этого абсурда стал вчерашний день – Галина решила переночевать у родителей, на Квирильской улице – там, по крайней мере, не было так зябко и пусто, как в разоренном гнезде Линдбергов.

Она вошла с веранды, на ходу распахивая пальто, – пахло душным печным дымом, и на запотевших стеклах балконной двери танцевали отблески огня. В кресле, спиной к ней, сидел Вальдемар – о, этот знакомый силуэт, который ей всегда хотелось вырезать из черной

копировальной бумаги, настолько он был правилен. Осторожно заглянув ему через плечо, она увидела на его коленях кипу аккуратных лиловых тетрадок. Плавными движениями, не просматривая, он бросал их в пламя.

- Папа! – слабым голосом позвала Галина. – Что ты делаешь?

Как же хорошо знала она эти тетради!

Вальдемар поднял на нее свои очень светлые глаза – вокруг радужки пестрели капилляры. «От жара», – подумала Галина, боясь допустить, что...

- Вот, топлю, – он обезоруживающе развел руками.

- Но как же... это же стихи твои... Советский Союз... я помню, там про льдину в Ледовитом океане... про флаг.

Он швырнул в жерло свою последнюю жертву и, помолчав, стряхнул с брюк бумажную труху.

- Нет ничего, Галинка. Ни Союза, ни льдины. Никогда не было. Пусть горят. А щеглов я всех сегодня повыпускал. – Он указал вялой рукой на клетки. Пусть лучше замерзнут, а не дохнут тут у меня. В неволе.

- Ты же... ты же мундир белогвардейский когда-то вот так... жег... Когда коммунистом себя назвал. Беспартийным, – нерешительно напомнила Галя. – Ошибался, так ведь?

- И сейчас, может быть, ошибаюсь. Но не надо мне – ни Союза, ни Империи. Все ложь. Все лгали.

- Я... я домой.

В расстегнутом пальто, разрумянившись, Галина спустилась во двор. Город был погружен в столь характерное для зимы странное оцепенение – летом и весной тифлисские ночи бывали полны влажной свежести, запахами распускающейся зелени, песнями невидимых насекомых и ласковым, волнующим ощущением надвигающейся любви, которой, казалось, было разлито вокруг так много... Январь отнимал у здешней природы лицо, но Гале казалось, что в марте, когда все начнет оттаивать, станут продавать подснежники, а небо перестанет быть свинцовым, мысли о Викторе станут еще нестерпимей.

Почти всю ночь она простояла на Линдберговском балконе, глядя вниз и мучительно жалея, что этаж всего только второй. Здесь, под балконом, когда-то застрелили Сергея Александровича с их глупеньким пойнтером Норкой – помнится, соседи тогда замыли кровь на тротуаре без единого звука, страшась потревожить Ольгу, у которой случился нервный припадок. А еще здесь, часами карауля Лильку, простаивал Георгий – с его наивно безвкусными букетами – лишь бы побольше! На этом балконе в стиле модерн (Галина недавно усвоила эту архитектурную аксиому: модерн – сочетание геометрического орнамента с растительным), который всегда был залит солнцем, все хотели сфотографироваться – после широкой крыши дома Линбергов, с превосходным панорамным видом, у гостей это было самое любимое место...

...Откуда-то раздавался мерный стук, словно запылившийся монометр на рояле Ольги Николаевны пришел в движение. Да, но каким образом? Ведь зала опечатана.

Стук... До чего же не хочется вставать с кровати! Она вскочила, с трудом стряхивая с себя дремоту. Уже давно стемнело, и только сизые сумрачные тени предметов населяли комнату – высохшие черные цветы в хрустале, смятая, некогда знаменитая филлофоровая скатерть, небрежным комом брошенная в углу, страшная теперь их с Витей свадебная фотография в рамке. Стук в дверь повторился.

Галина безучастно обернулась. Не все ли равно теперь? Медленным механическим движением она повернула ключ. На пороге с весенним благоухающим букетом стоял Вано Пирцхалава.

* * *

На сборы им дали пятнадцать минут – хотя другого скарба, кроме узлов с теплыми вещами, почти ни у кого не было. Кого-то и вовсе вывели полураздетым, кто-то был в шубе, наброшенной прямо поверх ночной сорочки. В Лилину наволочку было зашито крепкое

пальто цвета голубиного крыла, пара головных платков, брусок мыла, исподнее и том Мопассана – «Милый друг». Последнее теперь вызывало истерический хохот.

Ноги были обуты в легкие ботильоны на шнуровке – она вздохнула, припоминая диалог Ольги Николаевны с соседкой:

- Оленька, говорят, валенки надо укладывать, только где же их взять в нашем климате-то, мать честная?

- А сшить нельзя?

- Господь с Вами, Оленька! Их ва-ля-ют!

- А-а, с этим сложнее...

- А вы что положили?

- Несколько батистовых сорочек, юбки, вот еще платье – правда, оно открытое немного, я что-то сомневаюсь... Гребни вот роговые – Сергей мне из-за границы в свое время...

Соседка охала, перебирая кокетливое добро, больше походившее на приданое дворянки XIX века, нежели на вещмешок потенциального заключенного.

- Ольга Николаевна, – она зажмурила глаза и провела по ним рукой, словно отгоняя навязчивое видение. – У Вас есть стеганое одеяло?

- А... зачем?

- Я сошью Вам ватник.

Лиля горько улыбнулась, застегивая крупные пуговицы на приталенном пальто, с трудом распутала пальцами длинные белокурые локоны, сколола их в практичный узел и покрыла платком, отчего лицо у нее стало совсем русское.

Где мать? Только бы случай опять свел их вместе, только бы ехать поближе друг к другу – если посчастливится – и в одном купе.

- Я не боюсь, – сказала она вслух, прижимая наволочку к животу.

...Скудное снежное солнце осияло город. Толпа узниц была на удивление тиха: словно в трансе эта пестрая масса женщин всех возрастов шагала по спецплатформе, откуда должен был отправиться эшелон, место назначения которого было обозначено цифровым шифром. Конвоиры едва сдерживали ощетинившихся собак, рвущихся с поводков к беззащитной, чулочно-женской плоти. Лиля шла навстречу немилосердно бьющему ветру, сосредоточенно разглядывая свои синюшные замерзшие руки, пока перрон не оборвался. Она подняла припухшие глаза. На железнодорожных путях стояли вагоны для скота.

* * *

...Два года... Два года в мрачном царстве полоумного профессора, руки разъедены хлорамином, сознание – кошмарами наяву. Она уже никогда не сможет быть прежней, не сможет радоваться жизни, когда теперь вся ее жизнь – смерть. Разнообразная, многоформная, но всегда – уродливая и неожиданная. Больше всего ее всегда пугало выражение удивления у мертвых. «Маска Гиппократа», – с самолюбованием констатировал Ангелов.

...Зря она сравнивала себя с Персефоной. По-видимому, краткой передышки здесь все-таки было не дождаться. Что ж – оставалось только опустить голову и продолжать препарировать чужие утробы – такова, видимо, ее судьба. Лиля стала замечать, как со временем начинал угасать к ней интерес противоположного пола. Большинство заключенных было суеверно, а она была теперь для них персонификацией смерти, несмотря на свою солнечную внешность.

А условия работы теперь стали и вовсе невыносимы. Война отразилась на их быте не только постоянным страхом за собственную судьбу, гораздо более острым, нежели на воле, – их вынужденная обездвиженность в пределах лагеря заставляла чувствовать себя подопытными мышами в стеклянной банке. Множество узников было брошено в зону военных действий, зачастую по их же собственному прошению, но Вишеры пополнялись новичками самых разнообразных «мастей» – от пленных и мародеров до депортированных и дезертиров. Последние, как правило, маялись на арестантской работе и вовсе недолго – многие либо поступали уже изрядно искалеченными, либо становились жертвами местных урок – со столь явными изменниками Родины никто не церемонился, и на их гибель начальство часто смотрело

сквозь пальцы. «Посетителей» секционного стола в морге становилось все больше, пока масштабность летальных исходов среди вновь прибывших не достигла катастрофической отметки, как и дефицит препаратов для дезинфекции. Тогда, исходя из санитарных соображений, начальство распорядилось хоронить всех без заключения паталогоанатома, кроме тех случаев, когда того требовали весомые, отдающие политикой причины. Теперь Лилиной обязанностью было только ведение учетной книги и транспортировка тел на каталке до братских «траншей» неподалеку от пункта лесозаготовок на Каме. Она старалась не смотреть на мертвецов, хотя прежнего трепета, до обморочного похолодания рук, они в ней больше не вызывали. Она лишь берегла себя от никому не нужной памяти о незнакомых лицах. А лиц в ее сознании накопилось и без того слишком много.

«Меня, по-видимому, уже ничем невозможно тронуть», – часто думала она, и казалась сама себе многоопытной старухой, облаченной в гибкое тело тридцатилетней женщины. Однажды в морг привезли трупы двух дезертиров, замерзших в тайге близ того самого памятного плотбища, оговоренного условленным местом во время их с Ольгою сорвавшегося побега. Конвойный бросил два военных билета прямо на брезентовую палатку, прикрывавшую останки.

- Сами разбирайтесь, – проворчал он Лиле синеватым морозным паром. – Думали – живые, в молчанку с нами играют... а тут два дубаря[1] на нашу голову. Впишите себе, ну в протокол ваш чертов – и потом с остальными – хоть снегом-то забросайте.

- Да, да, да, – с издевкой усмехнулась Лиля и скрестила на груди красные, кажущиеся большими руки. – Вы тут нам лишнюю клинтов на экспертизу из лесу притащили, чтобы мы не скучали, как будто своих мало. Разбирайтесь?.. И так без продыху, мать твою...

Конвоир сплюнул и грохнул оземь поручни тележки.

- Здесь один – из грузин. Земляк тебе, значит. Так что принимай, шведочка, с кавказским гостеприимством.

В Лиле что-то дернулось и тотчас потухло. Она пожала плечами и ушла в прозекторскую. Грузин... Какое ей теперь до этого дело? Лиля прихлебнула спирту из «дежурной» карманной склянки. Что ж – еще одна неприятная... нет, теперь уже повседневная обязанность. Она шагнула обратно на крыльцо. Метель, как рой микроскопических мотыльков-альбиносов, застила условный дневной свет, и вокруг стоял ее легкий, мелодичный свист, как от Эоловой арфы. Она наклонилась над телами, отвернула брезент – военные билеты соскользнули в снег, шелестнув. Она сурово вглядывалась, пока сквозь пелену многолетнего отупения жаром не пробралось нечто огненное, не ударило в грудь; и Лиля не своим голосом, жалобно протянула – Го-осподи! и подняла к губам сжатые кулаки.

Сибирский мороз прекрасно сохранил тела, лишь придал еще совершенно телесной коже некоторую прозрачность. Перед ней, бок о бок с безликим незнакомцем, совсем прежним и тифлисским лежал Георгий Иванишвили.

Вот и встретились... Спустя восемь лет неведения – с первой любовью – встретились. И она уже никогда не узнает, что, почему и как. Сколько слез было пролито о нем на домашнем плюшевом диване... а сейчас их нет... ничего нет, потому что все оледенело. «Ты увидишь, как зацветет Грузия, уж *они* постараются...». И еще это, выдранное ее памятью из куприновской «Суламифи»: «Положи меня, как печать на сердце твое...».

Она поцеловала его в твердый, как у статуи, лоб, опустилась на корточки рядом и все смотрела, смотрела с бесконечной усталостью на это нечаянное жуткое послание от Тифлиса, о котором у нее уже почти получилось забыть, а он не позволил.

* * *

Любовь? Любви уже никогда не будет. Она для тех беззаботных на воле. Здесь может существовать только грязное совокупление людей, измученных гормональными бурями. Как у животных. Вся скорлупа слезает, и остается только неприглядный остов самых низменных желаний – поспать, поесть, сойтись. Всё. И она сама уже неспособна чувствовать. Когда чело-

[1] Дубарь (лаг. жарг.) – мертвец.

веческое тело слишком часто предстает не просто нагим, а вывороченным наизнанку для анатомических манипуляций, сложно испытывать к другому такому же телу романтический трепет. Глупо. Уродливо. Но правда.

Страшная встреча со светом ее юности (после которой она все-таки разрыдалась, уткнувшись головой в колени Катеньке), как толчок, высвободила солнечное чувство к городу, но оно уже было расплывшимся за давностью лет и принадлежало той, другой Лиле. Он, как прекрасные подводные луга памяти, расстилался в глубине сознания алыми выгоревшими крышами, пятнами тени посреди июльского зноя, оглушительно журчащий жизнью. Но он не принадлежал ей. Лилиной реальностью было зачарованное царство Снежной Королевы, а сама она понемногу превращалась в бесстрастного Кая, с осколком колдовского зеркала, застрявшим в сердце.

Тифлис снился ей, как забытый давний друг, как полновесное, уже пройденное счастье, утопия теперь, выхолощенная мечта о свободе, но Лиля уже не хваталась за него в отчаянии, а с горечью признавала его далекое параллельное существование. Они разошлись, как два любовника, и она больше не была его частью. Письма Галине и нескольким уцелевшим подругам носили почти механический характер, но знание о том, что война пощадила этот город-оазис – а могло ли быть иначе? – разливало по ее телу почти физическое чувство успокоения. Это было так по-женски – даже разлюбив, спустя долгие годы, радоваться благоденствию бывшего возлюбленного.

А здесь – опять все та же человеческая мясорубка, вечная текучесть лагерных кадров, страх, как главная движущая сила всех помыслов и поступков. Она уже так привыкла бояться, что каждое новое лицо в администрации вызывало в ней чуткую настороженность, как у животного, хорошо знакомого с людской жестокостью. И сегодня, во время утренней переклички перед разводом она с вызовом оглядела незнакомого охранника, с простыми, но надменными чертами, проходившегося вдоль линейки растрепанных озябших женщин. Вот такие и были опаснее всех – молодцеватые, леденцово-красивые, они любили тешиться ночными набегами на бараки, с гоготом наваливаться на сонных баб, упоенные своей безнаказанностью.

Охранник приостановился напротив нее.

- Кем Вы работаете?

Ха! Наверное, ожидает, что она пискнет что-нибудь пристойно-безобидное: посудомойка или секретарь. Олух, посмотри на руки!

- Ассистент патологоанатома. А еще – санитарка морга, уборщица и труповоз.

Его левая бровь взлетела.

- С та-акими глазами!

- Да, с такими.

- Я понимаю. Да, да...

Он помрачнел, стушевался и поспешил в конец строя. Под пряные шуточки товарок Лиля показала язык ему вслед.

- Что ж ты так? – укорила Паша Булагина, отфыркивась от похабного смеха. – На этого Сотникова уже поди все девки наши запали, а тебя он приветил.

- Знаем мы их привечания. Сегодня про глаза поет, а завтра – как сучку под забором ---.

- Ты раньше так не разговаривала.

- Твоя школа! – огрызнулась Лиля.

«Как же я все ненавижу! – думала она, привалившись спиной к склизкой кафельной стене морга. – И мертвых, и живых – всех. Не могу, не хочу – сколько раз собиралась прекратить эту бессмыслицу, а все волюшки не хватает». Она со злобой припомнила нового смазливого офицера на линейке. «Вот ведь тварь. Подлая. Гла-аза понравились. В морду бы ему клешни мои бесформенные, чтоб стошнило. Впредь неповадно будет».

Она подняла к свету кисти рук. Давнишняя рана, полученная на лесоповале и неумело заштопанная, стянула кожу звездистым рубцом, пальцы были обглоданы химикатами, а все жилы и кости, казалось, поселились на поверхности. Руки старухи. Она подышала на стекло прозекторского шкафа и протерла его рукавом. Полупрозрачное отражение нимфообразной светловолосой женщины с удивительно свежим лицом не могло обладать такими лапами.

Она нетерпеливо вытрясла ящик профессора Ангелова, хватанула вазелин, щедро растерла его в ладонях... и вдруг резко опустилась на стул. К чему все это? Какая нелепость... Сегодня надо отвезти тележку с омерзительным грузом к могиле (какое уважительное слово для длинной общей канавы, где первый «слой» только слегка присыпали снежно-земляной кашей!), оттереть все здесь от не проходящих пятен сукровицы и молиться, чтобы не было новых поступлений. А в конце дня, когда так хочется спать, что впору бы и на секционном столе растянуться, прослушать лекцию старого маразматика Ангелова о всех прелестях смерти и о том, что experentia est optima rerum magistra. А потом, после отбоя, провалиться в сон, как назойливых мух отгоняя от себя плавающие в воздухе габитусы «пациентов».

Она покрыла голову платком и со вздохом двинула тележку. Злишься, проклинаешь все и вся, а как увидишь выпростанную ненароком из-за казенной простыни круглую неходившую детскую пятку, как буря внутри стихает и такая жалость волной затопляет и глаза, и душу, что упасть бы на колени перед этим адовым натюрмортом, да просить прощения за то, что еще дышишь, ешь, передвигаешься.

Март был суров. Столбик термометра упрямо не хотел подыматься выше минус двадцати пяти, но пара оттепельных дней прочертила на сахарном льду Камы змеистые трещины. Но о весне Лиля думала с содроганием. Когда расползется крепкий снежный наст, поплывут мелкие зимние могилы, и ей вдвое прибавится работы.

Кто-то осторожно тронул ее за плечо. Она безучастно обернулась, смахнув со лба рукавом навязчивую прядь. Тот самый леденцовый офицер – смотрит заинтересованно, глаза цвета французской синьки с прожилками.

- Что Вам? Посмотреть хотите? Так это пожалуйста... – Лиля деловито завозилась в своей тачке.

Он улыбнулся.

- На Вас посмотреть.

- Ну и как я Вам? – Лиля выпрямилась и нахально подбоченилась. – Может, еще ручку поцелуете? – Она царственным жестом протянула изуродованную руку. К ее изумлению он, все еще посмеиваясь, прижался губами к звездистому шраму.

- Вы... Вы что делаете? – она отдернула руки и спрятала их за спину.

- Не удалось меня отшить, а? – Сотников озорно подмигнул ей; свет, преломляясь, казалось, обнажал самое дно этих необыкновенных глаз. Укололо что-то важное и забытое – такие были у Линдберга. Лиля помедлила и выпалила:

- Извините. Мне надо работать.

Не стоит обращать внимания. Пройти мимо, а в следующий раз не поздороваться. Они все одинаковые. Все равно сволочь, какой бы милый взгляд у него ни был.

- Дай-ка я помогу. – Он мягко оттеснил ее руки с поручней.

- Вы что? Вам и по рангу не положено... – забормотала Лиля, густо пунцовея.

- Какие там ранги... сослан за воинскую провинность. Я здесь почти такой же, как и Вы.

Она сосредоточенно кивнула.

- А Вам не...

- Противно, Вы хотели сказать? На фронте и не такое делать приходилось. Тем более, что здесь это, так сказать, дамская работа.

Они шли по глинистой, похожей на косу, тропе, с искристыми скользкими проталинами, Лиля наслаждалась свободой от привычной уже жутковатой тяжести и молчала, изучая его профиль на свету.

- Я Анатолий. А ты... попробую угадать... Мила, Лиза? Должно быть что-то такое... нежное.

- Елена.

- Леночка, значит.

- Лиля. Лиля Линдберг.

- Из Сибири?

- Нет, с Кавказа.

- А-а, гранаты, персики. Понимаю... А я из Сибири. Мне здесь все родное. А как же ты...

- По пятьдесят восьмой. Я...

- Не надо дальше рассказывать. Решишь, чего доброго, что я шпион.

Он произнес это слово сквозь тонкий вибрирующий смех и с нарочитой легкостью спросил:

- А... Ты с самого начала при морге, или недавно определили?

- Вначале погнали на лесоповал... Потом работала медсестрой, радовалась, до чего же повезло, но как раз тогда случилась вспышка тифа. Меня отлучили от лазарета и снова перебросили на лесозаготовки. Я была довольна, думала, лишь бы не в морг. А вскоре – свершилось. За... недостойное поведение я была отправлена к профессору Ангелову. Ну, знаете, старик этот помешанный, которого Ангелом Смерти здесь прозвали. Видимо, кто-то доложил начальству, чего я больше всего боюсь.

- И давно ты... труповозом?

- Уже больше двух лет.

- А раньше, в вольной жизни?

- Работала в управлении железной дороги в Тбилиси. Много читала, у нас дома часто устраивали литературные вечера. Мама тогда много играла для гостей на рояле. – Лилино лицо приобрело мягкое, почти счастливое выражение. – Любила Надсона, Анненского и особенно Тютчева... Его Silentium. Это как колокольный звон, грозный, предостерегающий. Вы, наверное, никогда не слышали?

- Не слыхал.

- Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои,
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне.
Безмолвно, как звезды в ночи.
Любуйся ими и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь...

Мне всегда казалось, что эти стихи звучат перед грозой, небо вот-вот грянет и разразится гром. По сути, так и произошло... Тбилисские грозы бывают продолжительными и темными. И такое волнение с головой накрывает перед ними, что хочется скорей бежать и укрыться в доме. Да, дом... У нас был замечательный дом, из красного кирпича, с коллонадным фронтоном. С крыши, как на географической карте, расстилался весь город... Столько фотографических карточек там сделано – не счесть... Мы жили очень хорошо. Счастливо жили. Потом... так вот вышло.

- А муж ваш?

- Я не была замужем.

На какой-то момент Лиля забылась, словно беседуя сама с собой. Прикусила губу, вскинула взгляд на офицера, – синие глаза опущены и сосредоточены. Она вовремя остановилась. Не сболтнула лишнего. Ни одного имени. И хорошо.

У траншеи Лиля остановилась и преградила ему путь. Солнце забило ей прямо в лицо.

- Вот и пришли. Дальше я сама. Сейчас санитары подоспеют.

- Леночка, – сказал он весело, отдал ей честь и растворился в слепящем, пронизанном лучами, снежном пространстве весны, и Лиля подумала, что комендант непременно отчитает его за это вольное мальчишество.

- Спа-си-бо! – прокричала Лиля ему вслед. Услышал ли?

Как давно она никого не благодарила!

Стихи

Тифлису после войны

Отдалившийся ангел, приди к разоренному дому!
Без тебя над Тифлисом вечерние зори бледнее.
И на миг задержись на каштановой летней аллее
И крылом проведи по Кавказских нагорий излому.

Неужели не помнишь полета над куполом белым,
И лучей, что, слепя, проливались в большие зеницы,
Как в преддверии солнца кружили над городом птицы,
Как легко ты носил в ураганах прозрачное тело?

Улыбнись с высоты покосившимся крышам знакомым,
Грозный щит оберни в шелковистое знамя победы.
Хоть агонией мысли, хоть старческим лепетом бреда,
Отдалившийся ангел, приди к разоренному дому!

Пусть дотла догорят над Тифлисом планеты-лампады,
И полет над бурлящей Курой превратится в паденье,
В огнезарных лучах, за собою не чувствуя тени,
Ты, как вечность, войди через свод виноградной аркады.

И в вечерних раскатах давно отошедшего грома,
Подражая тебе, как и ты, становясь бестелесней,
Я зову тебя тихо, но зов превращается в песню:
Отдалившийся ангел, приди к разоренному дому!

15 апреля 2008 г.

Солнце

Когда солнце зайдет
За руины домов,
Забегая вперед –
Сбрось лучистый покров.
На груди – амулет,
Золотое копье.
Вот уж тысячи лет
Ты – светило мое.
Как боец на войне,
Мимо вражьих тенёт,
Станешь светом извне,
Когда солнце зайдет.
Станешь лунным лучом,
Как в последней главе.
И посмертным бичом,
И наградой вдове.
И слезами зари,
Коль она доживет.
Ты мне мир подари,
Когда солнце зайдет.
В апогее своем
Устремясь на закат,
В сумрак за алтарем,
В тишину баллюстрад.
Из заветной страны,
Подчиняясь мольбе,
Мне разбитые сны
Возвестят о тебе.
И в потемках души
Набредая на храм,
Ты мой путь заверши,
Помоги небесам!
Когда солнце зайдет
В безразличной дали,
Как слепой звездочет
Ты меня отмоли.

Может, станется так,
Что за гранью конца
Пощадит мерзлота
Два прекрасных лица.
И за кромкою льда
Ты успеешь прозреть.
Ту, что помнил всегда,
Отлюбив, умереть.
Но закат далеко
От усталой земли.
Из пучины веков
Ты меня отмоли.
Ведь на крыльях легко!
Я готова в полет,
Когда солнце зайдет,
Когда солнце зайдет...

4 января 2008

Грань

Мелькают мимо города,
Их облик странен.
С порталов капает вода –
Живу на грани.

Из пыли золотой она
И расстояний,
На холод твой обречена –
Любовь на грани.

Устало меркнут облака,
Закат пространней.
Куда ведет твоя рука?
Живем – на грани.

Листами машет часослов
Нам на прощанье.
Как рой весенних мотыльков
Лечу – по грани.

Смелей, переступи черту,
Смири обиды.
Когда ты взмоешь в высоту –
Я слез не выдам.

Я обернусь – и кану вслед
Аккордом скерцо.
Стрелой, сломавшей арбалет,
Попавшей в сердце.

Но стоит ждать и стоит жить
В ее дурмане.
Надежды незакатной нить:
Любовь на грани.

29 февраля 2008 г.

***

Славлю Господа, но
Полон мир немотой.
Мне прожить суждено
С обнаженной душой,
Слишком трудно сиять,
Не сгорая дотла,
Слишком трудно дышать,
Когда жизнь истекла.
И любовь удержать,
Как в ладонях – щегла.
Обернувшись – бежать
На мерцающий свет
«Да», – на все отвечать,
Но послышится – нет.
Слишком долго парить
Никому не дано.
Мы должны говорить:
Все вокруг – все равно.
Мы должны повторять
Неизбывный канон,
И красиво ступать,
Хоть наш путь раскален.
Рассыпаясь, броня
Станет щебнем дорог.
Только крылья хранят
От насущных тревог.
И зеркальная нить
Все зовет на покой.
Невозможно прожить
С обнаженной душой.

4 апреля 2008 г.

Алим ТЕППЕЕВ

Известный балкарский писатель, драматург, литературовед Алим Магомедович Теппеев родился в 1937 году в селении Кёнделен Баксанского района КБР. В 1963 г. Теппеев закончил Литературный институт им. М. Горького в Москве. Вернувшись в Нальчик, работал собственным корреспондентом газеты "Коммунизмге жол", а с марта 1967 г. – младшим научным сотрудником КБНИИ. В 1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук в Московском педагогическом институте. В 1971 г. принят в Союз писателей СССР. С 1982 г. секретарь Правления Союза писателей КБАССР, сопредседатель Правления Союза писателей КБР. В 1997 г. А. Теппеев удостоен звания лауреата Государственной премии КБР по литературе. В числе наиболее значительных его произведений – романы и повести: "Ташыуул" (Тяжелые жернова. 1976), "Твой свет" (1977), "Гуппур Геюююзню кёпюрю" (Мост горбатого Геуза. 1978), "Яблоки до весны" (1983), "Азатлыкъ" (Воля. 1981), "Адамны ичер суу" (Горькое земное питье. 1984), "Сыйрат кепюр" (Мост Сират. 1993) и др…

Цинковый саркофаг для победителя

Памяти Адильгерия Соттаева

Рассказ

Через семь дней, минувших после отправки письма, его взяли. Его взяли в Карагачевой Роще два молчаливых сотрудника и, поддерживая за локти, провели в общую камеру под зданием МГБ; глухо загремели засовы. На следующий день, когда привели на допрос, он понял, что взяли его за письмо.

- Но я обращался не к вам...

- Товарищ Сталин нам доверяет, – был ответ.

Его допрашивал некий Шарапов, лейтенант внутренних войск. Перед ним на столе лежало объемистое письмо, которое Адей Кайбергенов писал в глиняном домике на краю киргизского аила; подбираемые слова не слагались для передачи той чудовищной боли, которую он переживал, и приходилось рвать написанное. Затем он снова подолгу валялся на соломе, выходил в ночь и, шагая по пустынной улице спящего аила, болезненно напрягал мысль, теряя свои и без того скудные силы: как же это – его острый, находчивый ум не находит слов, достойных слуха генералиссимуса?

Адей был из семьи охотников и, как и все в роду, свято чтил имя Кайбергена – мифического дикого козла – божества лесных зверей. В детстве отец Бекболат рассказывал, что Кайберген поднимается на самый высокий утес и зорко обозревает свои владения; он оберегает оленьи стада, но не обижает и охотников, если они не позволят себе лишнего.

- А кто же тогда Апсаты? – спрашивал Адей.

- Гораздо позже мы стали называть древнего Кайбергена Апсаты, – отвечал Бекболат. – Чем древнее божество, тем больше имен оно носит...

Перед глазами маленького Адея возникал гордый величественный Кайберген и звал его к своим утесам, обещая ему неведомые и, возможно, гибельные дороги. Но уже с возрастом, в дни юности, друзья не признали в нем охотника и почитателя Апсаты. Его покровителем стал вполне земной нарт Гиляхсыртан, который был знаменит своим злоязычием. Адей не считал себя злоязычным, но если случалось пускать отравленные стрелы – не промахивался: одно его слово могло уничтожить обидчика. В задуманном послании вождю его остроумие и дерзость не срабатывали. Лишь в конце, уже завершая объемистое послание, он позволил себе назвать окружение вождя Панургovым стадом, которое за его спиной творит черт знает что, лишая целые народы корней и Родины.

- Стадом, значит, назвал верных его нукеров, как там у вас на Кавказе говорят. А кто такой Панург, сукин ты сын?

- Я офицер!

- Ты предатель! – заорал Шарапов. – Товарищу Сталину вздумал написать, скотина! Без вины виноватым прикидываешься! Скажи, кто такой Панург?

Адей и так совершенно не умел петлять, но здесь он окончательно потерял самообладание.

- Если стадо – это ты и подобные тебе люди, то, сам подумай, кто есть Панург! В цинковом саркофаге я вас видел!

В глазах Шарапова вспыхнули красные огоньки. Он привстал со своего жесткого стула, а двое стоявших за спиной Адея бесшумно пододвинулись ближе.

- Не понял... что ты сказал? – спросил Шарапов гримасой зловещего восхищения.

- Если вы все помешались на подозрении и вражде, то я в цинковом саркофаге вас видел, – повторил он невесть откуда подвернувшееся на язык фронтовое выражение.

Да, это было опрометчиво; сдержанность в такой ситуации, может быть, и спасла бы его отчасти, но он сделал то, что сделал, и его нелепая фраза похоронила все его надежды на избавление.

- Найдем и цинковый саркофаг, – улыбнулся Шарапов. Он все еще оставался на своем месте.

- Вы, значит, изъяли письмо, не дали ему дойти до Сталина? – начал снова Адей.

- Неужели ты, сука, не понимаешь, что у товарища Сталина нет времени заниматься вашим поганым народцем? – сказал Шарапов тихо. – Ты бы лучше сказал, кто еще вместе с тобой сочинял прошение?

- Я сам его написал.

- Так я тебе и поверил!

- Ну, тогда считайте, что это – коллективный разум.

Шарапов подскочил к нему и неожиданно ударил с размаху. Прием, наверное, был испытанный, после чего обреченный должен был упасть, но Адей, пошатнувшись, подался вперед и кинулся на лейтенанта. Его схватили с двух сторон и оттащили назад.

Шарапов, конечно, мог и застрелить его, но не полез за пистолетом и, криво усмехнувшись, сказал:

- Можно бы и прикончить тебя на месте... Но лучше я утешусь тем, что ты и тысячи таких же, как ты, усомнившихся в нас, будете десятилетиями таскать камни на каменоломнях сталинской эры! Не можешь – научим, не хочешь – заставим, – золотые слова вождя! – Шарапов вернулся на свое место и, подписывая какую-то бумагу, добавил: – Но я еще успею посмотреть на тебя в цинковом саркофаге! Дам тебе возможность вспомнить Панурга!

***

Позже, избитый и замурованный в цинковый гроб с маленькой щелью на уровне переносицы, приспособленный для пыток электролучами, он видел множество причудливых предметов. Перед ним проносились лица однополчан, родственников, голос Сталина, говорившего «Братья и сестры...», и странные мелодии и звуки, которых он никогда прежде не слышал. Когда притупились страх и чувство сожаления, он ощущал кружение всей прошедшей жизни; сознание освободилось от сжатого неподвижного тела, и в глухой темноте раскручивалась некая тайна, доселе неведомая, но, наверное, всегда лежащая между жизнью и смертью человека; странно так вспыхивали и гасли лица людей; слова обретали осязаемость, превращались в материальные предметы, и Адей изо всех сил пытался остановить их, поймать, хотя бы на миг, тайну этого вращения. Так он лежал семь дней и ночей с небольшими перерывами для оживления: еще живой, но уже ушедший из верхнего светлого мира. Среди многочисленных призраков, посещающих Адея, наиболее навязчивым оставался Шарапов, который в образе крупного черного пса возвышался над саркофагом и говорил: «Еще никто не вставал из этого гроба после трех дней!». Через отверстие над переносицей периодически пускали поток света. Этот свет тысячью раскаленных игл проникал в мозг, и Адей медленно, мучительно умирал. В промежутках между атаками светом он иногда приходил в сознание и твердил: «Эта темень и тяжесть цинка не для тебя. Ты молод! Ты полон сил! Ты вернулся с войны непобежденным! Выйдешь и отсюда, но надо терпеть! Надо выиграть бой!».

***

Когда он появился в городе – высокий, стройный, подтянутый, – люди останавливались поглядеть на него; его благородная осанка была непривычна в тишине, среди униженных, подавленных людей. Они, однако, замечали, как этот пришелец меняется на глазах: его суровый, обреченный на одиночество взгляд обретал добродушно-насмешливый вид, а коротко остриженные щегольские усики перестали быть предметом тщеславных забот. Женщины, чуткие к одиночеству мужчины, встречали его взгляд вспышкой яркого сияния своих глаз, и было очевидно – его образ надолго оставался в сердцах изгнанных и обездоленных соотечественниц.

В этом чужом необжитом городе он искал свою семью и любимую женщину. Бекболата, его отца, в живых уже не было с августа тридцать первого, – двое красноармейцев пришли к ним ночью и попросили его показать дорогу на перевал. Адею тогда исполнилось тринадцать лет, он вполне и сам мог заменить отца и даже провести красноармейцев через перевал в Грузию. Но они хотели взять с собою только отца. К утру пришла весть о том, что в стычке с бандитами погиб Бекболат Кайбергенов; о двух красноармейцах и речи не было, словно их и вовсе не существовало в природе, а Бекболат наткнулся на бандитов сам. В те времена в Чилмасе убивали тех, кто стоял за коллективизацию, членов тех комиссий, которые силой загоняли людей в колхозы. Бекболат не вступал в колхоз, считал, что советская власть должна стоять за свободу крестьянского труда. Но в 31-ом году в ущельях гор указания сельских комиссаров не обсуждались, и кровь убитых людей быстро высыхала на камнях Чилмаса.

Комиссар, который в 31-ом на похоронах Бекболата клеймил переодетых врагов трудового народа, в 37-ом надругался над Саудат, любимой девушкой Адея. Адей, уже двадцатилетний юноша и комсомолец, решил прикончить комиссара, но Ханифа, его мать, обнажила грудь и наложила табу на месть, которое он, будучи достойным сыном, нарушить не мог. До того самого дня, когда на центральной площади Чилмаса собрались первые добровольцы на фронт, Саудат никому на глаза не показывалась: Адей не мог увидеть ее, как ни пытался; но в тот день она сама пришла провожать его и, спрятавшись от людских глаз, лила тихие, горячие слезы. Адей любил ее теперь сильнее, чем прежде, и, чтобы сказать это, увел ее к реке; они стояли у воды, он целовал ее заплаканные глаза и обещал вернуться живым. У откоса реки, в чащобе барбариса, она оставила на его шее талисман, который, как он потом считал, хранил его от гибели. Теперь он возвратился с фронта. На груди его позвякивали два ордена и медали, и во всем облике победителя просматривалась усталость и отчаяние бесконечно долгого пути.

Прекрасным майским днем 46-го он внимательно всматривался в лица своих соплеменников, ставших теперь переселенцами. Он хотел понять по ним, какими будут лица его близких, и не был уверен, что выдержит эту встречу. День уходил на убыль, но встречи не произошло, и когда стемнело, он вернулся к чистильщику сапог, с которым познакомился днем. Это был армянин, сосланный в 29-ом. На родине у него были персиковые сады и большой дом из красного туфа. Здесь бедняга ютился в лачуге с земляным полом. Угощая гостя скудным ужином, он показал ему камень, отшлифованный от многих прикосновений; чистильщик обуви прижал камень к щеке, и на его глазах показались слезы. «Единственное, что они позволили мне взять с собой, Адей-джан, – сказал он. – Прислушайтесь, в нем шумит Севан...». Адей прижал камень к уху и послушал, как шумит Севан. Армянин еще долго мог говорить о камне и об Армении, но глаза Адея слипались, гость ронял голову и сердобольный хозяин постелил ему на полу, накрыл его своей шубой. Он еще долго сидел рядом, и при свете огня, мелькающего в трещинах печки, Адей видел, как нервным тиком подергивался левый глаз армянина...

***

Прошел еще один день и одна ночь. Время и жизнь в саркофаге отмерялись появлением светового луча в отверстии, возобновляющего страдания Адея. Луч света мгновенно проникал в мозг, начинал плавить его, и Адей очень скоро терял ощущение жизни. Единственное, что он помнил после мучительного бреда, – это желание, очень сильное, разрывающее сердце желание – положить руку между светом и глазами! Когда убирали свет, и он снова возвращался к жизни, ему казалось, что он живет в этом саркофаге тысячи лет. Он не помнил, как его доставали оттуда, как приводили в сознание, как допрашивали, но в момент обратного заколачивания в саркофаг он слепо начинал сопротивляться, его били железные люди, и железо всего света снова закипало в его черепе.

***

Однажды на рассвете он шел по пустынной улице киргизского аила вдоль глиняных мазанок, однотипно и грустно заблудившихся в степи, а впереди изможденно ковылял старик с палкой; старик шатался, как пьяный, и разговаривал сам с собою. Адей узнал этого старика еще до того, как услышал его путаный голодный бред, и, оставаясь на достаточном расстоянии, чтобы не мешать ему, следовал за ним; и чем дальше Адей шел, тем сильнее одолевал его страх, что голодный старик упадет на дорогу и больше не поднимется. Так они и шли – два странника – старый и молодой – оба мечены одним знаком смерти и забвения, и в предрассветной мгле слышалось лишь замирающее дыхание земли. Старик, увлеченный своими затухающими думами, не слышал это дыхание. Остановись он и крикни так, чтобы содрогнулась вся азиатская пустыня, все равно бы ничто не изменилось.

Они прошли улочку и двинулись по серой потрескавшейся земле к кладбищу. Вдали на косогоре чернело много свежих холмиков, а дальше, в глубине, возвышались азиатские кумбезы. Склепы. Когда они приблизились, Адей увидел дряхлую обезумевшую женщину, обнимающую свежий могильный холмик. Она кричала громко, неустанно, страшно, произнося какие-то бессвязные заклинания. Ее вопли оскорбляли самое небо. Старик еще издали замахал палкой, что-то стал шамкать слабым старческим голосом. Женщина, угрожая небесам, кричала, что Аллах, так легко и быстро забравший мальчика, не хочет взять ее. Ударяясь лицом о могилу, она, казалось, черпает новую силу; она грозила перевернуть кладбище, разверзнуть врата древних киргизских склепов, если Аллах не услышит ее. Вознося молитву, старик повернулся к Востоку, увидел перед собою Адея, но то ли не узнал его, то ли не в силах что-то сказать в скорби, так и остался стоять неподвижным, обеими руками опираясь о палку. Женщина, оторвавшись от могильной земли, тоже вдруг стала смотреть на пришельца, не то чтобы испуганно, а как-то просветленно, потому что в эту минуту она решила, что действительно умерла и встретилась наконец со старшим сыном, от которого давно не было никаких вестей. И сын видит в обезумевших глазах матери тоску, порывается обнять ее, но она, находясь в бреду, тихо шепчет:

- Вот и я пришла к вам, детки мои бедные...

- Анака! – крикнул он в голос, чтобы подавить нахлынувшие слезы. – Приди в себя, мама...

- Я знала, что Аллах услышит меня... Теперь мне все равно, я с вами! Пусть приходят в себя оставшиеся на земле.

Наконец, бережно обняв мать, он дал волю слезам; она бредила, и сын гладил ее сведенные судорогой пальцы; плакал и гладил, то прижимая их к щеке, то лихорадочно растирая их своей сильной рукой.

- Мать, успокойся! Слушай меня...

Перед ними, опираясь на палку, стоял старик – отец этой женщины, а в земле лежал брат, младший брат Адея Юсуф, в одиннадцать лет унесенный тифом. Иссушенные губы старика шептали молитву, он никак не реагировал на эту встречу, на возвращение внука, потому что ему казалось, что важнее всего поблагодарить Аллаха за одно видение, посетившее его в этот миг.

В белесом мареве безжизненной степи, окружающей кладбище, Адей носил воду в пилотке и поил мать, и та постепенно пришла в себя.

В таком состоянии он и нашел свою семью в Киргизии. На косогоре кладбищенского холма, среди многих могил переселенцев, скошенных тифом и голодом, у него лежали две сестры – Аминат и Зульфия, и бабушка Налжан.

На обратном пути Адей взял свою обессилевшую мать на руки, она была легкая, как кукла. Впереди, беспрестанно молясь, шел старик. Люди, попадающиеся по дороге, спешили на поле и, хотя видели вновь прибывшего молодого воина с матерью на руках, не могли остановиться, чтобы выразить радость, – не было ни сил, ни времени; а он шел, не оглядываясь, вдыхая материнский запах, вместе с которым обретал силу и упорство для новой жизни на чужбине.

- Опусти меня на землю... Неудобно перед людьми...

Адей не отвечал. Он видел, как солнце, поднимаясь выше, освещает ее лицо, лишь отдаленно напоминающее жизнерадостную в прошлом, острую на язык, красивую женщину.

Когда они пришли во двор лачуги, в которой еще до недавних пор раздавались голоса бабушки, сестер и младшего брата, оставшиеся люди уже шли поздравить Ханифу с возвращением

сына, и дед Адея опустился на сноп курая, чтобы принимать поздравления. Это были люди его края, некогда насмешливые, шумливые, готовые по первому звуку гармони пуститься в пляс, но теперь они еле двигались, не поднимая своих потускневших глаз – глаз невольников; сознание безысходности, бессмысленности бытия иссушало их волю; лица детей и юных девушек, давно уже выросших, но все еще остающихся недоразвитыми, были запавшими, морщинистыми; в собравшейся толпе там и тут виднелись мужчины, еще молодые, но уже постаревшие, похожие на степных странников; души их взывали к расправе над теми, кто довел их до такого состояния, но сами эти люди, боясь чего-то, неведомого, озирались по сторонам и, пожав дрожащие костлявые руки деда, спешили удалиться. "Неужели они боятся смерти?" – думал Адей. Но он еще не знал, что смерть для этих людей сама по себе давно уже ничего не значила; страх заключался в том, что умершего не во что было одевать, некому было совершать омовение и похоронить надлежащим образом, а лечь в землю, не очистившись от земных наслоений греха, потным и вшивым, и так предстать перед Аллахом – что могло быть страшнее для правоверных? Адей также не знал, что все эти люди еще находились в той одежде, в которой ехали двадцать суток в закрытых удушливых вагонах, но и приехав сюда, не имели возможности сменить ее, потому что, отнимая у них дом, родину, добро, взамен разрешали лишь ручную кладь; теперь же всякая самовольная попытка отлучиться из места расселения наказывалась комендантом, а в случае повторного нарушения любого переселенца ожидала десятилетняя каторга или расстрел.

- Ты лучше спроси, как мы не сдохли, – сказал ему Харун, кунак и родственник отца. – В закрытых товарных вагонах нас везли, как убойный скот. Я говорю тебе, Адей, мы пытались скрывать в вагоне умерших. Если охранники обнаруживали труп, его тут же выбрасывали за борт или оставляли на разъездах. И трупы гнили, в вагонах нечем было дышать; на остановках снаружи поезда бегали люди, стучали по бортам, спрашивали имена, искали детей, а мы, закрытые, задыхались от трупного смрада и тесноты. А ты хочешь, чтобы мы были похожи на людей. – Кожа плотно облегала крупный череп Харуна, и глаза его казались двумя высыхающими родниками в глубине каменистой балки. А ведь он вместе с комиссаром Арынчиевым вел Красный Чилмас от успеха к успеху.

В вещмешке у Адея оставалась горсть кускового сахара и коробка немецких конфет; он вез эти сласти с самого Берлина для своих сестер. Он достал их и раздал детям по куску сахара и карамельке; всем, вроде, хватило, но дети все смотрели на его вещмешок, и он, чтобы не мучить их больше, вывернул его наизнанку: там, кроме каких-то цветастых неживых материй, ничего уже не было, и дети разошлись.

Путь от Чилмаса до Берлина не казался ему таким долгим и тягостным, как эта дорога обратно. Все возвращались в отчие края, к родным очагам, а он скитался по чужбине, в поисках своего сосланного племени. Но при всем при этом он даже мысли не допускал, что картина окажется столь гибельной. В полку его ругали за излишнюю дерзость в бою, но здесь он не мог поднять глаз. Оставаясь наедине с дедом и матерью, он все ниже опускал голову, – с чем он, победитель, вернулся к ним? Из открытых дверей темного пустого жилища шел влажный запах соломы, – он видел, как дед стыдится пригласить внука в дом – в чей-то разрушенный сарай, приспособленный для жилья переселенцев. Но и он стыдился своего деда – он стоял перед ним в офицерских погонах, высокий, стройный, но что он принес ему? Ради этого ли он проливал кровь? Чтобы его народ гибельным стоном оглашал просторы чужой земли? Адей, замурованный в землю после массированного бомбового удара немцев, выползал оттуда как чудовищный червь, выплевывая изо рта окровавленную грязь, опираясь на руки, вставал на колени, а перед ним простиралось развороченное поле со множеством опрокинутых орудий, машин, подвод, трупов людей и лошадей; оно дышало, стонало, но дальний грохот боя еще сотрясал его; еще разрывались дальние края поля, осколки и пули, свистя и воя, искали живых, и он, не зная в какую сторону ползти, стоял на коленях. Потом он тащил на себе раненого сержанта Петра Анисимова, родом откуда-то из Сибири, оказавшегося тоже зарытым в землю. На краю поля, у омута, Адей промывал раны Петра Анисимова, туго перевязывал их лоскутками из собственной нательной рубашки, а вечер, такой же окровавленный, как и они, догорал; они молчали, уткнувшись лбами друг в друга, как волы после пахоты, и не могли произнести ни слова.

И когда они снова двинулись в путь, Адей вдруг сказал:

- У меня есть любимая женщина, Саудат... Ее изнасиловал комиссар.

- После войны я приеду на Кавказ... на твою свадьбу с дочкой и женой...

Он тащил сержанта на себе, валился с ног от усталости, но в темноте беспрестанно возникала фигура комиссара, и он, чувствуя как в венах закипает месть, забывал о ноше на спине.

- А того комиссара потом расстреляли как английского шпиона...

- Небось, неграмотный был?

- Да, сержант.

Теперь, стоя у дверей пустого и темного жилища, откуда шел сырой запах соломы, он вспоминал об этом и слушал гортанный обессилевший голос Харуна, который объяснял ему подробности того, как надо встать на учет у коменданта, чтобы не было неприятностей. Ведь теперь и он оказался хуже, чем английский шпион.

После ухода Харуна на работу на душе стало еще тягостнее. Но надо было действовать, и прежде чем пуститься на поиски еды, он вскипятил воду, заварил чай и напоил им деда и мать. В аиле ему сказали, что в восьми километрах отсюда находится районный центр Кант, где собирается большой крестьянский базар. Когда он добрался до Канта, уже вечерело, и базарная площадь затихала; он все же успел купить немного муки, буханку хлеба, соли и проса. Потом с неделю он сидел дома, обдумывая свое положение, и Ханифа варила ему худур, жидкую похлебку из той муки. Он брал чашу с худуром, но в это время у открытого двора появлялся кто-нибудь из окрестных детей и глоток не шел в горло. Он звал истощенных голодом детей, усаживал на соломе, и Ханифа кормила их тоже.

На исходе недели он обратился к матери:

- Ханифа... – Адей звал мать с детства по имени, – кроме тебя у меня никого нет... с кем бы мне посоветоваться... Я должен найти Саудат... Если ты не против!..

- Что с того, что я против? – с обидой в голосе сказала Ханифа. – Как тебе самому-то будет? И род твой древний, и сам такой видный... А Саудат... Люди злые, Ади, указывать станут, поглядите, на комиссаровой потаскушке женился...

- Как у тебя язык поворачивается так о ней говорить, – бросил в сердцах Адей. Он не ожидал от матери такого ответа и растерялся. – Ты же знаешь, ее вины нет. Это я и все другие мужчины Чилмаса виноваты в этом.

- Убить комиссара означало бы – убить советскую власть!

- А разве ее честь, святая девичья честь не выше всякой власти? Ладно, на мою месть ты наложила табу, а другие? Сколько в роду Саудат мужчин-то было?

- В Чилмасе мужчин не было вовсе. Волы да и только!

- Нечего теперь винить Саудат.

- Не сердись, Ади, – сказала погодя Ханифа. – Не сердись, я мать. И людская молва – не туча, которую унесет ветер.

- На шее я ношу ее талисман. Если Саудат жива, она ждет меня. Я найду ее, мне будет легче жить.

Он уходил с наступлением темноты и возвращался под утро, хотя в этом был немалый риск – во всех селениях комендант имел своих осведомителей, и они могли его выдать. В поисках прошли июнь, июль, и, наконец, в августе он нашел ее жарким днем на свекловичном поле. В тот день, провожая его на фронт, у барбарисового куста на косогоре, она надела на его шею талисман и смотрела ему в лицо большими виноватыми глазами; среди смуглых дочерей ущелья она выделялась белизной кожи и казалась нездешней; она оставалась белой и прозрачной, будто кусачие ветры ущелья не касались ее лица. Но теперь, на свекловичном поле, перед ним стояла другая женщина, не постаревшая на пять лет, а прожившая в этих степях целую вечность, высушенная ее ветрами, изнуренная ее жаждой; она была неправдоподобно худа – одни глаза! А руки? Что стало с ее руками! Адей не мог сдержать слез.

- Саудат!

Саудат встала перед ним с вырванными из густой грядки пучками свеклы в обеих руках.

Он искал ее и был уверен, что обнимет, в каком бы окружении она в этот момент не находилась. Но теперь ему показалось, что на огромном свекловичном поле не было ни одной живой души, кроме них двоих; он стоял перед нею, как вбитая в землю жердь. Он видел, как меняется в лице Саудат, – то ли не узнавая его, то ли не в силах поверить. Пучки свеклы медленно выпадали из ее рук.

- Саудат! – повторил он, волнуясь еще больше.

Саудат присела на грядку.

Женщины видели, как по лицу Адея текли слезы. Он обтирал водой ее руки, лицо, и пока она приходила в себя, пытался понять, счастлив он или чувствует безмерную усталость.

В разгар свекловичного сезона не могло быть и речи об отлучке Саудат из своего надела – никто не позволил бы ей оставить его неубранным, а убранное – несданным государству. Предстояло до осени прокладывать, как говориться, дорогу – добиваться у органов МГБ разрешения на выезд с прикрепленного места заселения – это было не так просто, поскольку они оказались в разных районах.

- Все уладим, Саудат, – говорил он ей. – Война позади, жизнь снова наполнится радостью. Я уверен, что и ошибку исправят. – Я собираюсь написать товарищу Сталину! То, что я увидел за эти месяцы, описать невозможно. Фашисты с пленниками не творили такое.

- Адей, не делай этого... Адей, не губи себя!

- Почему? Я ведь напишу правду! Товарищ Сталин – посол народа. Я шел в атаку с его именем на устах. Так почему же я не могу написать ему о том, что творят за его спиной?

- Ой не знаю, Адей... Боюсь, сердце мое чует нехорошее.

Саудат подолгу глядела на него, словно хотела убедиться в том, что Адей действительно здесь. Ей нечего было сказать, вернее, она не могла найти слов, чтобы говорить, и, вообще, большую часть времени они оба молчали.

Адей удалился со свекловичного поля широкими решительными шагами.

***

Каким тусклым мигом оказалась жизнь, и какая Вечность давит на мою кипящую голову. Я никогда не умру. Этот немыслимый свет, эти бессчетные раскаленные звезды, звенящие во мне бесконечностью Ада, и есть, наверное, Вечность.

***

Да, ты не умрешь, Адей, ты еще встретишься с Шараповым и будешь судим.

- Ты получил ровно столько лет, сколько написал страниц, – скажет тебе Шарапов. – Двадцать пять лет из оставшейся жизни ты будешь таскать камни для строительства коммунизма.

И, страдая от боли, своими раздавленными глазами ты заставишь себя прямо смотреть в лицо этого человека.

- Из твоего саркофага я восстал окрепшим, – ответишь ты. – Из двадцатипятилетней каторги я тоже вернусь непобежденным. Я тебя и там буду преследовать. Мы с тобой еще поговорим.

- Оттуда возврата не бывает.

- А мертвые? Ты думаешь – мертвые не возвращаются?

***

Ты увидишь, что самые сильные подыхают на каторге первыми – камни отнимают у них силы, тюремщики – душу. Тяжелые тачки, ломы и кирки, беспрестанный окрик подгоняющих конвоиров не будут умолкать с рассвета и до глубокой ночи; изо дня в день, изо дня в день ты будешь таскать на тачке камни; камни, цветом дней и тяжестью дум. Сначала ты будешь считать свои дни; чувствовать свои кости, но потом и дни, и кости, и тачки с ломами и кирками, заодно и с конвоирами – все, все превратится в серую сплошную каменоломню, и ты поймешь, как легко на душе, когда перестаешь ждать и злиться. Но ты спасешься, потому что из всех затаенных кладов памяти останется лишь лицо ждущей женщины, и в каждый твой провальный час ее измученный, но остающийся светлым голосок будет раздаваться молитвой и возвращать тебе силы. Ты спасешься еще и тем, что рядом с тобою окажется к тому же и старый манасчи Каратай, который никогда не будет унывать и не позволит этого тебе. Ты увидишь, какое этот человек проявляет мужество и терпение, несет крест, не роняя ни одного лишнего слова, не падает с тяжелой каторжной тачкой, к которой цепями прикованы его ноги. Единственной, но беспредельной пыткой для маленького, подвижного, редкобородого Каратая будет то, что у него отняли песню, лишили права играть на комузе, и многие из вас, глядя на него, поверят, что рабский труд на карьере – не самое страшное. Временами он будет сходить с ума, взяв какую-нибудь

палку, начнет играть на ней, как на комузе, и тихо протяжно петь. И не только ты в бараке, но и все другие каторжники, не владеющие его языком, будут слушать его с волнением и со слезами. А Каратай, уже не помня, что на руках у него не комуз, а простая палка, что слушатели его не киргизы, а каторжники, весь уйдет в песню, будет доводить себя до исступления, пот польется по его изможденному лицу, и вся земля вокруг лагеря замрет, охваченная песней о Манасе.

Раскладывая остатки своей жизни на двадцать пять лет, ты будешь избегать дружбы с людьми, рассчитывать свои силы вплотную, потому что подыхать в рабстве ты откажешься. Ты долго не будешь знать, что есть знамение свыше – быть каторжником тебе всего семь лет. Несмотря на то, что в лагере с тобою будет немало замечательных людей, ты будешь оставаться замкнутым и вести себя как глухонемой. Что это за каменоломня, к тому времени никто не будет знать, хотя обмолвятся разным; целое подземное царство, освещенное со всех сторон мощными прожекторами; гранитные скалы с голубовато-черными пластами будут переливаться яркими играющими прожилками; ни для кого не будет секретом, что суть в этих прожилках. Перед уходом вам не позволят оставить ни одного камня, но на следующее утро скалы будут оказываться взорванными снова, и горы камней будут еще дымиться. Каторжники не будут иметь права разговаривать, как и сами охранники, если не считать слов понукания и ругань. При взрыве не все глыбы будут оказываться подъемными, их придется раскалывать ломами, не все это выдержат; упавших будут бить, заставлять встать, но если кто-то не встанет, его, независимо от того, мертв он или еще жив, увезут на тачке в глубину пещеры; из каторжных оттуда никто не возвратится. «Наш вечный покой там!» – не раз пронесется по бараку.

От Каратая ты узнаешь много нового, Адей. Кроме удивительных песен о Манасе, он откроет тебе тайну стихов Корана. В завораживающих словах этих сур ты заподозришь личную причастность к движению Вселенной, Твое личное горе пошатнется, ты научишься питаться собственным духом, и даже страх перед вечностью кипящего адского света, подавившего твое сознание в холодной безысходности цинкового саркофага, начнет отступать от тебя. «Молись! Постоянно молись! Если силы покинули тебя и не поворачивается язык, молись мысленно. Суры Корана рождены и освещены божественным словом и осеняют верующего божьей благодатью. Земное приходит и уходит, а божественное остается вечно».

«За что же ты здесь, учитель?» – спросишь ты однажды у Каратая. – «Не знаю. Я родом из южной Киргизии, всех акынов знал, всех манасчи. Какой эпос мира может сравниться с Манасом! Я знал Молдоклыч Шамырканова... булбул, понимавший язык трав и камней, птиц и зверей... Волшебник! За него меня и посадили. В Таласе был большой праздник, и там я пел его песни». «За поэта Шамырканова? Как это?». «Буржуазный националист, сказали... А что это такое, уулум?» – спросит он, как будто впервые задумался о том, почему его посадили. «Буржуазный националист?.. Я и сам толком не знаю, что такое... Ну, это... тот, кто любит прошлое...». «А разве это плохо – любить прошлое? Как идти по дороге, если не знаешь, где она начинается и куда идет?». «Как ты думаешь, учитель... Знает ли обо всем этом товарищ Сталин?». «Когда люди задают этот вопрос, на ум приходит старая восточная притча о голове и хвосте. Знаете ли, это была лиса со сладким языком и длинным ядовитым хвостом. То, к чему прикасалась она языком, обретало силу, но стоило коснуться хвостом – все сметалось и умирало. Народ негодовал, иногда это доходило до головы, и голова во гневе отрубала хвост. Народ ликовал, распевая славу голове, но в это время лиса отращивала себе еще более пышный хвост. Ясно, что на троне сидит лиса со сладким языком и длинным хвостом. Тут сомневаться ни к чему – голова, конечно, знает то, что делает хвост». «Что же делать?». «Надо молиться, закалять волю».

Пройдут дни, усмиренные лаем сторожевых псов и щелканьем затворов, ночи, с их барачными стонами, проклятиями, тихими угасаниями, и ты окажешься на свободе. Слегка сутулясь, с чахоточной тенью на лице, ты будешь идти по улицам Бишкека, приближая встречу со своей матерью и поседевшей, высохшей за семь лет, и так и не состоявшейся невестой. По дороге ты обязательно заглянешь в старый полуразрушенный домик святого старика из Армении. Там все на месте: тот же выщербленный казанок на печке, те же щетки, банки из-под ваксы на полу и соломенный настил. Без всякого содрогания ты потрогаешь шубчонку, которою он накрывал тебя, и, возможно, найдешь камень, в котором "шумит Севан", но ты никогда не узнаешь, где похоронен, а точнее, зарыт этот святой старик. Ты, Адей, даже встретишь Шарапова, увидишь его испуганные, бегающие свиные глазки.

Три горсточки риса

Рассказ

Прежде мальчику удавалось превозмогать голод сном. Если же ему не спалось, он думал о том, что скоро вернется мать, или смотрел, как распускаются маки во дворе. Вставало солнце, маки раскрывались, и мальчик глядел на рдевшие под темной зеленью чашечки.

Но сегодня... Сегодня на маки он не глядел. Проснулся с головокружением. К глазам приливала темная вода; стены их приземистого временного жилища сходили с места, расплывались; кровать, на которой они лежали с братиком, плыла вместе со стенами и мягко уходила в зияющую глубину. Он одеялом закрывал лицо, в страхе смотрел на братика, – не было сил превозмочь это темное, обессиливающее кружение...

Лежа так, он слушал голоса играющих на улице друзей. Шум их игры пробивался издали, временами голоса пропадали, приглушенные потоками теплого воздуха, словно ребята играли не на поляне за их домом, а на небе. "Что же, пусть играют", – думал он про себя. Когда придет мать, покормит их, тогда и они выйдут на поляну.

Он будет играть повеселее их, умеючи... А сейчас надо лежать. Когда человек лежит и спит, легче преодолевается голод, так говорит мать.

Однако чем яснее и ближе звучала в его ушах эта веселая игра голосов, тем острее он чувствовал, как голод опустошил его. Он с надеждой на чудо смотрел на голые стены жилища, на пустые полки, во двор за окном, где расцветали акации. Все это двоилось в глазах. Небо сверху, земля снизу, дома и деревья расплывались, превращаясь в бесцветный, тягучий туман. Мальчик плавал в этом тумане. Ему слышались голоса птиц и мальчиков, запахи трав и хлеба, голодный плач братика, и было ему страшно.

Кружась в бесцветном и душном тумане, он выплыл в какой-то светлый, забытый мир. Мальчик сразу понял: это был праздник урожая! Столы были полны – завалены, заставлены яствами; за столами сидели степенные старики. Увидев мальчика, они встали со своих мест, провели его во главу стола и, сообщая друг другу: "Это пришел к нам Сафар!", посадили на почетном месте. Сафар среди тысяч яств выбрал большую деревянную чашу с бушто – крошенным в айран чуреком; придвинул ее к себе. Он проснулся в тот миг, когда, поддев бушто ложкой, поднес ее к губам...

Он заплакал, но не от голода, а от обиды. Жидкие холодные слезы потекли по лицу на соломенный матрац. С чувством горькой и какой-то пронзительной боли расставался он со своим сном: исчезнувший сон, как исчезнувшая еда, никак не покидал его мысли. Казалось, тот изобильный, полный счастья и света мир, явившийся ему во сне, был правдой, и кто-то отнял его со злым умыслом в час его спасения.

Проснулся и его младший брат – четырехлетний Самат. Проснулся и, сев на кровати, уставился на него – самые страшные для Сафара минуты: сам он еще мог терпеть, но что делать, если начнет плакать Самат? Когда мать уходила на работу или в поисках еды, она тихо поручала Самата ему, старшему, и Сафар заботился о нем, как мог. Самат не был плаксивым, старался, как и он, превозмочь голод, и в нем, Сафаре, возникало прежде неведомое его детской душе сострадание к младшему братику. Сафар утешал его, успокаивал, когда тот начинал плакать, прося еду. Но что теперь? Он проснулся, сел на кровати, впился глазами в него. Сафар забыл свой голод, обиду за отнятые столы с яствами и притих. Уже два дня они ничего не ели, кроме каши из листьев бадана и крапивы. А она, эта каша, только раздувает живот, но нисколечко не утоляет голод. В те дни, когда мать приносила картофель, молоко и пригоршню риса, Сафар одну из своих картофелин или ложечек рисовой каши на дне тарелки оставлял втайне от матери для братика. И когда Самат вот так, как сейчас, начинал на него смотреть, а потом плакать, Сафар, прикусывая затвердевшие губы и стараясь не глядеть на картошку или рис, кормил его. Теперь же у Сафара не было ничего в запасе – уже два дня, как мать ничего не приносила.

Душа его кружила по дому, по неверным, горестным следам матери, по чужим незнакомым дворам чужбины. Всюду его встречало молчание. Какие красивые ковры и коврики висели на стенах этого заброшенного глиняного домика, который мать привела в порядок – побелила, намазала глиняным раствором пол, а дядя Татай вставил стекла в оконные проемы. Но и в сундуке хранились красивые ткани. Когда мать снимала ковры, меняла их на кукурузу, на рис или на картофель, эти стены не казались Сафару такими мрачными и темными. А то, что мать брала в обмен на ковры и ткани, оказывалось таким вкусным и аппетитным, что он боялся не того, что придет день, когда иссякнет зерно, а того, что опустеет сундук матери. Но теперь у матери

еще оставалось кое-что из тканей, и она, спрятав красивый отрез на груди, ходила по селам и по базарам, но не стало людей, кто мог дать за это хлеб. А еще мать рассказывала, что люди сами ходят в поисках еды, предлагая золото, дорогую старинную чеканку, а такие вот отрезы, как у нее, и крошки хлеба не стоят. Оттого и темным казалось теперь жилище, тусклыми и безжизненными стали его стены. Даже мухи не водились в нем. А раньше они житья не давали.

Самат глядел-глядел на старшего брата и заплакал. Сафар взял его на руки и, крепко прижав к груди, с отчаянием оглянулся. Но не было отклика его детскому отчаянию – не было его ни в доме, ни в переполненном запахами трав молодом и прекрасном мире. В чреве этого мира наполнялась соками весна, где-то зрело изобильное лето, но так хотелось поесть что-нибудь сейчас, в это утро.

- Подожди, Саматик, ты же терпеливый у меня, подожди, – торопливо говорил Сафар и, глядя на исхудавшее лицо брата, подавлял в себе сухие горячие слезы. – Подожди, еще малость потерпи, нання нам принесет лепешку... Сейчас придет и принесет нам лепешку...

Услышав слово «лепешка», Самат заплакал еще сильнее. В детском, рано познавшем беду смятении, Сафар подошел к окну. А там деревья вдруг вернули ему потерявшуюся было надежду. И он, показывая Самату цветущие за окном акации, сказал:

- Посмотри, вон на деревьях плоды завязываются... Если ты будешь плакать, плоды эти не созреют... Что мы тогда будем есть? Если твои слезы осушат плоды на деревьях, что мы потом будем есть?

Но знал Сафар, хорошо понимал, что голод, сосущий неокрепшее тело малыша, был сильнее его ласковых, успокаивающих слов. Голод душил их обоих, как бес, и не слова, а кусочек хлеба, кусочек, боже, кусочек хлеба нужен был, чтобы не кружилась так голова.

Так и ходил Сафар по дому, потом по двору, прижимая брата к груди. Он забыл о себе, не был он теперь ни голодным, ни жаждущим, только боялся за брата, только за него мучилась его душа. А мать все не приходила. Может быть, она сошла с ума где-то на базаре, у чужого скудного двора? Сошла с ума и убежала от них? Убежала, чтобы не видеть, как они умирают с голоду? Как ушла и умерла мать Чачия? Еще бабушка плакала о матери Чачия; плакала, запричитывала: бедняжка, испробовала все, все, что могла, ничего больше не нашла, чем бы покормить детей, да так и изошла слезами. Изошла, горемычная, слезами и сошла с ума. А теперь бродит по аулам... Так плакала бабушка и запричитывала. А мать вдруг вскричала тогда: «Нет! Нет!» – и крепко прижала их обоих к груди. «Нет, бог не позволит, это уж слишком», – сказала еще, молясь и плача. А потом умерла мать Чачия, и бабушка умерла. И чем дальше, тем быстрее исчезали вещи из дома, а нання просила их подольше спать. Он и старался. Но уже окна раскалены, а ее все нет. «А может быть, не возвращается потому, что еще ничего не нашла, а с пустыми руками вернуться не может?» – подумал он. Еще тревожнее стало на душе. Вернувшись в дом, он осторожно положил уснувшего Самата на кровать, прикрыл его одеялом и так же осторожно, на цыпочках, вышел на улицу.

С какими надеждами выходил он на пустынную в этот час дня улицу? Найти что-нибудь поесть для себя и для брата? Найти мать? Или убежать отсюда – убежать подальше? На это не мог ответить ни он сам, ни даже Бог, ясновидящий и милосердный, но оставаться в доме и ждать, пока проснется Самат и уставится на него, он уже не мог. То есть вначале он все-таки надеялся выпросить что-нибудь для младшего. Но как только вышел на улицу, его надежда тотчас рассеялась. Как перистые облака в небе. К кому он мог обратиться во всей округе? В чьем доме сейчас мог быть лишний хлеб?

И все же обратно в дом он не смог вернуться. Пошел вниз по раскаленной солнцем пыльной улице. Был, кажется, полдень, на улице ни души. Исчезли и голоса его играющих друзей – наверно, убежали от солнца. Трудно было идти по этой раскаленной дороге – каждый шаг болью отдавался в голове, темнело в глазах. Но голод и страх за брата заставляли его идти – тупо и неотступно. Между тем впереди ничего не было, кроме раскаленной полуденным солнцем улицы, бесконечной и душной улицы...

Он остановился у высоких ворот. Створки их разошлись, открыв глубину широкого, просторного двора. В тени виноградника за накрытым столом сидели люди: старушка, молодая женщина, толстый мужчина и такой же, как Сафар, мальчик. Боясь, что они вдруг его заметят, подумают, что он пришел просить у них, Сафар силился уйти, уйти незамеченным, но не мог двинуться с места, не мог сделать ни одного шага, только сильнее прижался к воротному столбу, не мог оторвать глаз от стола.

Первым его увидел мальчик, тотчас вскочил с места и подбежал к нему. И, высоко подняв откушенную с краю булочку – от нее шел такой теплый запах, – со злорадным восторгом прокричал: «Вот! Вот! Вот!!». Сафар, чувствуя, как булочка расплывается в темном воздухе, сглотнул сухие горькие слюни и опустил голову. Мужчина тоже вскочил с места. Увидев у своих ворот голодного мальчика, он посмотрел на него так, словно беда пригнала к его двору детеныша кровного врага. Кусок застрял у него в горле, и вилка выпала из рук, со звоном ударившись о тарелку. Он, ни слова не говоря, подошел к Сафару, резко оттолкнул его и закрыл высокие ворота.

Сафар услышал, как с тяжелым лязгом закрылись засовы железных неприступных ворот. Каким-то чудом оставшись на ногах, он прислонился к забору, сильнее сжал челюсти и закрыл глаза, чтобы остановить кружение высоких ворот, раскаленной безлюдной улицы, обедающих людей. Сквозь это кружение ему все слышался лязг тяжелых засовов, ликующий голосок мальчика с булочкой в руке, и он, не в силах преодолеть запах той душистой булочки, все сильнее упирался спиной о забор, который сильнее стальных цепей, сильнее каменных стен держал Сафара здесь...

А потом сама земля сдвинулась под ним. Он почувствовал тихое скольжение улицы под ногами. И чем дальше дорога уводила его от высоких ворот, тем сильнее он становился, тем быстрее возвращались к нему силы. «Если бы мой отец не погиб на фронте, – думал он, сглатывая слезы, – если бы не выслали нас так далеко, и у нас был бы такой же большой дом, с широким двором и виноградником. И было бы у нас много-много хлеба!». Казалось ему теперь, что голодают они с братиком не потому, что на истощенной войною земле мало осталось хлеба, а потому, что, пока отец воевал, их привезли сюда и бросили в степи. Бабушка говорила, что это воля Аллаха, а мать плакала и проклинала и Гитлера, и Сталина.

Дорога привела Сафара во двор другого дома. Под навесом сидела древняя и неправдоподобно сухая старуха. Сафар остановился подле нее не очень близко, но и не так далеко, чтобы она не могла его заметить. Но старая женщина молчала. И у Сафара не было сил говорить.

Эта старая-старая женщина была очень похожа на его бабушку.

Иногда мать открывала тогда еще полный тканями сундук, на дне которого лежали написанные кривыми, неровными буквами письма отца, брала наугад одно из них и читала им, Сафару и Самату. Мать рассказывала: в тот зловещий день, когда их высылали, солдат на свой страх и риск притащил сундук к машине и с трудом поставил его там. «Аллах пусть продлит его век, – говорила мать, – если бы не он, то потерялись бы письма...». Отец, конечно, перво-наперво спрашивал о бабушке. Такая добрая она была, участливая, что лишенные крова приходили к ней за добрыми словами. Когда она, бывало, посадив Сафара на колени, начинала рассказывать сказки, начинали оживать камни и деревья, горы и реки той земли, которую они покинули и о которой были все сказки бабушки. Так и засыпал он – на ее коленях, а сказки продолжались, во сне.

Однажды бабушка услышала, что женщина с мальчиком ходит по аулу и собирает милостыню. Бабушка пошла искать ее, а вскоре вернулась с нею и ее мальчиком. Мать приготовила и покормила их, а потом сама искупала мальчика, уложила спать. Сафар навсегда запомнил, как мать с бабушкой сожгли всю одежду женщины, а взамен дали ей материнскую. Так бабушка оставила их у себя на несколько дней, хотя и самим-то не хватало еды. А потом всей семьей проводили их до дороги в Аму-Дарью – странница говорила, что всех ее родственников повезли туда. Если бы бабушка была жива, никогда бы не было так плохо Сафару.

- Ай, жестокий мир, какой день настал, – запричитала вдруг старуха, не глядя на Сафара. Сафар не понял, то ли старуха читала молитву, то ли жалела его. – И тебя гонит голод, как бич... Что же мне делать? Я душу свою могла бы вырвать, да ведь в руках ничего не останется... Что же мне делать, день такой настал для нас, горемычных...

- Мне ничего не нужно, – тихо сказал Сафар. – Я пришел просто так... Ты же помнишь мою бабушку...

Но старая женщина не слушала его. Было похоже, что она о мальчике забыла и уснула.

И вновь он оказался посреди горячей и пыльной улицы. Он не знал, а, оказывается, его надежда была на эти два дома. Теперь, не зная, что делать, он стоял под раскаленным солнцем, босыми ногами в горячей пыли. Некуда было идти. И земля не двигалась, и солнце остановилось прямо над его головой. Ничего не было в этом неподвижном мире, ничего, кроме колыхания марева. Сафара тянуло к земле, хотелось свалиться в пыль и так и остаться навсегда. Он и упал на сжигающую грудь степную дорогу, но тут же в страхе превратиться в пыль в ужасе закричал, ударяя кулачками в землю, закричал именем отца, которого смутно помнил:

- Оте-ец! Саматик умирает с голоду! Да не видишь ты, не видишь, как мы умираем с голоду! Оте-ец, где мама?

Снова сошлось, сдвинулось серое марево. Пробежал вихрь, осыпав мальчика пылью, мусором и песком. И зерна этого песка пахли кукурузой. Сафар поднял голову, увидел идущего по дороге дядю, старшего брата отца. Сначала он поднялся на колени, потом тихо встал во весь рост, рукавами вытер лицо, грязное от пыли и слез, и окончательно осознал, что вверх по улице идет его дядя Татаркан. И тогда он сорвался с места, точно освобожденный от пут жеребенок, и побежал за дядей, настиг его, уцепился за руку, радостно зашептал:

- Давай, Татай, я понесу!

- Что ты носишься в такую жару по улице, – грубо оборвал его Татаркан. – Или ты думаешь, я несу что-нибудь съестное?

- Я просто говорю, что понесу... Я могу! – Радость Сафара медленно угасала. – Я не голодный, – сказал он, поняв, почему дядя не рад ему. – Нання покормила нас кашей из листьев крапивы со сметаной...

- Вот несу суперфосфат с поля, – сказал Татаркан, пряча глаза от племянника. – Говорят, если не подкармливать в этих местах землю, урожая не бывает. – Он перебросил мешок с одного плеча на другое. – А ты иди домой. На кого ты оставил Саматика?

- Ладно, Татай, – сказал Сафар. – У нас тоже есть суперфосфат, – и опустил голову, чтобы не заплакать.

Татаркан, ни слова не говоря, прошел дальше по косогору быстрыми шагами. И снова Сафар стоял на раскаленной улице. И снова было страшно поднять голову, посмотреть вслед дяде, которого он почитал за отца. Когда на улице в игрищах и спорах его ровесники хвастались отцами, он гордился своим дядей. Теперь, не зная, сказать или не сказать матери о дядиной лжи, он стоял и смотрел на желтую тень удалявшегося Татаркана, которая укорачивалась, как его вера в дядю.

Вдруг тень на желтом песке замерла, с минуту колебалась на месте, а потом вновь стала расти, только в другую сторону: Татаркан возвращался назад! Сафар тоже двинулся навстречу дяде. Он шел и клялся про себя: если дядя решил делиться с ним, он возьмет совсем немножечко, только на сегодня, и только для Самата. Следовало быть справедливым: их только двое у матери – он и Саматик, а у дяди трое детей. Поэтому он возьмет только немножечко, только на сегодня, только для Саматика. А если он в своем хождении по селу что-нибудь найдет или мать что принесет, то они, как всегда, обязательно выделят долю семье Татая.

Между тем Татаркан, вернувшись, опустил перед ним на дорогу свой кожаный мешок, капчык, и сам опустился перед ним на колени. С насилием над собой он развязал стянутую сыромятным ремешком горловину капчыка. Руки большого Татаркана срывались, дрожали, дыхание было прерывистым, а лицо кривилось, и капли пота стекали по щекам.

- Подставляй полу, – глухо приказал Татаркан, не глядя в лицо Сафара.

- Не нужно, Татай, – торопливо ответил Сафар. – Не надо, у нас есть кукуруза...

- Давай сюда! Давай, подставляй полу! – быстро пробормотал Татаркан, словно боясь, что если он сейчас же не насыплет мальчику горсть кукурузы, то через секунду у него не хватит на это сил. Когда сведенные в чашу его ладони с зерном поднялись до верха мешка, он, будто у него закружилась голова, закрыл глаза. С минуту сидел он так, не в силах оторвать взгляд от кукурузы в своих ладонях. – Говоришь, есть у вас кукуруза? – спросил он упавшим голосом и посмотрел на Сафара. – Если у вас есть кукуруза... Если так...

- Есть, Татай! – выкрикнул Сафар почти весело. – Я же сказал, что есть. – И, опустив полу рубашки, разгладил ее ладонями... Не осознанная сразу, но жившая в нем еще надежда на то, что все же дядя уступит им эту пригоршню кукурузы, заставила его быстро, не глядя на дядю, сказать: – Я совсем не голодный... Саматик... Вот Саматика никак не могу успокоить... Все плачет...

Но Татаркан его уже не слушал.

- Что ж, если есть кукуруза, значит, не голодные... А пока вы ее съедите, что-нибудь придумаем... – И он ссыпал зерно обратно в капчык. И, задыхаясь, в спешке, точно кукуруза была краденая и за ним погоня, стянул верх капчыка, подхватил его на плечо и быстро ушел.

В своих письмах отец после бабушки спрашивал о своем брате. «Если я не вернусь, но будет жив мой брат, наши дети пусть почитают его за меня, потому что он всегда будет им опорой», – писал он матери. И просил ее воспитывать мальчиков в строгой любви к нему, и мать не забывала

заветов отца. Приготовив дома что-нибудь вкусное, она посылала угощение с Сафаром или сама относила долю Татаркана. Татаркан всегда был опорой их дома, всегда заботился о них.

Только потом отец спрашивал о них – о Сафаре и Самате. Он просил, чтобы и бабушка, и жена растили сыновей терпеливыми, добрыми. В конце письма он обращался к матери и скупо, как-то смущаясь, просил, чтобы она писала про себя побольше. Теперь письма отца лежали на дне сундука, дядя нес кукурузу домой, а Сафар искал кусочек хлеба, чтобы успокоить плачущего братца. В чужой степи голод и песок обжигали мальчика, не было хлеба на земле. И он, возвращаясь по безлюдной улице, мечтал иметь много хлеба, так много, чтобы можно было раздавать его всем детям на земле...

Он возвращался домой по нижней, выходящей в степь улице, где жили рисоводы. Он решил: вернется домой, возьмет Саматика, и вместе с ним будет искать мать. А когда найдет, возьмет за руки ее и Самата, и пойдут они по дороге. Если идти и идти, они обязательно придут на такую землю, где хлеба будет вдоволь.

Вдоль тихой пустынной улицы стояли притихшие тополя. За ними жались к земле дома. Сафар вдруг остановился как вкопанный: он увидел рис, сушившийся на циновке! Еще рядом стояло ведро, полное риса. Его охватил испуг, тут же – страшное удивление: столько еды стоит на виду, открыто! «Что случится, если я возьму для Саматика горсточку риса?» – подумал он. Ясно, ради себя он не взял бы ни крупинки чужого. Но он слышал плач Самата, видел состарившееся, изможденное лицо матери. А риса было так много, что, казалось, можно было им усеять весь мир. И он пошел к дому. Сначала неуверенно, а потом быстрее. Подойдя к рису, он посмотрел на него сверху вниз, как на море. И тотчас же циновка пошла волнами, закружились ведра, наполненные рисом. Силясь почерпнуть из белых волн, Сафар протянул руки и так и упал на усеянную рисом землю...

Когда он открыл глаза, и рис в ведре, и раскаленная полуденным зноем землянка стояли на месте. Никого вокруг! Тогда он решил взять из этого моря риса три горсточки – для братика, для матери и для себя. Решив так, он взял свою долю и тут же засыпал ее в рот. Так вкусен был этот рис! Казалось, никогда в жизни ничего вкуснее он не ел. Прожевывая и глотая рис, он чувствовал, как приходит к нему успокоение и притупляется ноющая боль внутри. Ему хотелось есть еще и еще – если б даже съел весь этот рис, все равно бы сытым он не был. А рис, даже в таком сыром виде, был таким вкусным, что можно было устроиться рядом с ведром и наесться вдоволь, ведь никто ему не мешал, ни одной живой души вокруг не было. Но свою долю он съел. Теперь он возьмет для братика и для матери в две горсточки и уйдет. Рис согревал руки.

... Он не успел сделать и двух шагов, как почувствовал спиной, что из дома кто-то вышел. Сафар оглянулся, как виноватый зверек, и увидел невысокого смуглого старика. Старик стоял возле ведра и сонно глядел ему вслед. Когда Сафар оглянулся, он что-то сказал, но Сафар уже бросился бежать. «Если поймает – убьет, если поймает – убьет», – твердил он. Убьет прежде, чем он донесет эти две горсточки риса до братика и матери.

Сафар споткнулся о камень и упал. Рис выплеснулся из его ладошек.

Старик подошел, поставил его на ноги. Сафар смотрел в землю – не от боли, не от голода, а в горьком раскаянии, что пошел воровать. А руки старика вздрагивали на его плечах, и голос его дрожал. Сафар чувствовал сострадание старика, но не мог поднять голову – теперь не голод, а стыд давил его к земле.

Старик взял его за руку и повел обратно к дому. Сафар упирался, стараясь вырваться из его рук, но старик был сильный. «Бить будет», – подумал он. Он заслуживает наказания и больше упираться не станет. Старик говорил что-то кроткое, печальное. И можно было подумать, что это он украл рис и теперь как-то беззащитно и неумело оправдывается.

Дойдя до дверей саманного жилища, старик взял в руки ведро, подал его Сафару. Подал и знаком показал, чтобы он, взяв рис, пошел домой, но Сафар осторожно поставил ведро обратно. Ему показалось, что старик издевается над ним. «Голод – не позор, – вспоминал Сафар слова бабушки. – Я взял три горсточки риса. Как только мать что-нибудь выменяет, я верну...» – так думал Сафар и, если бы знал, как это сказать, сказал бы старику.

Тогда старик сам взял ведро. В одну руку взял ведро, в другую – руку мальчика, и они пошли по раскаленной степной дороге. Шли старик и мальчик. Но теперь плакал не мальчик, гонимый голодом, а плакал старик, и худенькое лицо мальчика освещалось белизной риса...

Перевод с балкарского Али Сафар

Нестан КВИНИКАДЗЕ

Современная грузинская писательница Нестан - Нене Квиникадзе родилась в г. Тбилиси в 1980 году.

Первую свою книгу она издала в 18 лет и сразу привлекла внимание читателей. Затем последовал документальный роман-манифест автора-тинеиджера, темой которого была история угона сомолёта в 1983 году, когда сыновья грузинской интелигенции, протестуя против Советского Союза, совершили террористический акт.

В 2003 году выходит первый художественный роман писательницы - «Испаханские соловьи», который получает признание критики и рождает вопрос: откуда у 23-летней девочки такой опыт.

В 2005 году она радикально меняет стиль и направление своего творчества и издает сборник рассказов под названием «herself».

Стиль жизни Нестан Квиникадзе многообразный: она то актриса, то лицо андеграундного журнала, то организатор арт-фестивалей.

Уже несколько лет в театре имени Шота Руставели на экспериментальной сцене читают произведения новых драматургов, там была прочитана и её пьеса.

Она иногда ходит в клуб и танцует на минимал-техно.

Она не принимает участия в литературных конкурсах и не сотрудничает с издательствами - у нее своё издательство.

Автор короткометражных сценариев, Нестан Квиникадзе сегодня является редактором грузино-английского общественного журнала «Focus», автором журнала «Анабечди» (Отпечаток), продюсером ток-шоу в телекомпании Рустави 2.

На вопрос, что является тайной её популярности, смеясь, отвечает: печаль и красная помада.

Живёт в Тбилиси.

Новый роман Нестан Квиникадзе выйдет в мае этого года.

Кетеван Мачавариани

Вращение диска, Аполло Парнасус и Джексоны

Рассказ

Всю прошлую неделю я чувствовала себя как Латоя Джексон, у которой брат – педофил, а сестра-бездарь навечно погубила дух 80-х.

День первый

Приехали в Рачу[1]. Деревня Тцола[2]... Дом деревянный, запертый и неблагоустроенный. Нас шестеро. Распределили, кому что сделать. Убираем дом и комнаты.

По правде сказать, я точно не знаю, почему обычно уже пережитое связывают с нынешней жизнью, но в окружении этих гор все же вспомнилось конкретное время и одна история.

Не так давно закончилась война. Сознание менялось... Звонить заграницу было сложно и дорого. А при этом около миллиона человек выехали из страны.

Друг предупредил, теперь тебе «туда» придется звонить часто, и поэтому научу, где сможешь пользоваться телефоном за полцены, мол. Он показал мне один из частных домов на

[1] Рача – один из высокогорных районов Грузии (здесь и в дальнейшем примеч. переводчика).
[2] Дословный перевод названия деревни (wola) с груз. яз. – «лежание».

Атенской улице, где у дамы на первом этаже была «ворованная», левая, линия, и оставшееся по эту сторону границы население и вправду пользовалось связью за полцены.

Комната для ожидания походила на фойе гостиниц советского периода. Стулья, кресла и журнальный столик. Тогда обогревалось лишь несколько домов всего в двух районах города. И этот дом на Атенской был одним из них. Женщины и мужчины, молодежь... Одним словом, все те, кто хотел позвонить зарубеж.

Неожиданно слева от меня открылась дверь. Выглянула женщина средних лет и воззвала: Америка – позже, Германия пусть заходит, – это была хозяйка-коммутатор Нанико. Лет за сорок, с вьющимися волосами, аккуратно одетая.

Первый день, наверное, тяжелый в любой ситуации. Многочисленность присутствующих создает чувство неловкости. И мне тоже как-то неудобно было спрашивать, что теперь надо делать. И вдруг двое мужчин указали мне на кресло – присаживайтесь, мол. Перевела дух. Села и уставилась в нейтральную точку.

- Боюсь воды, – сказал один и посмотрел на меня. Растерявшись, я улыбнулась.

- Я тоже. В море без надувной камеры не вхожу, – ответил второй.

Я догадалась, что они были близко знакомы, лет под 40, модно одетые, коммуникабельные мужчины. Волосы у одного из них были длинноваты...

- К тому же у меня ведь хроническое выпадение плеч, – продолжил беседу первый.

- Да, у тебя же... Помнишь, как-то раз ты чихнул и плечи выпали?.. – И оба покатились со смеху.

Тут уже что-то показалось мне нездоровым. Потом они одарили меня улыбкой, вначале один протянул руку: Ираклий, потом второй: а я – Дуда.

Входить в контакт с незнакомыми людьми мне нелегко. Поэтому я неловко улыбалась. У меня было лишь одно желание – желание разобраться в технологии того, как я буду звонить «туда».

Втиснувшиеся в одно кресло, Ираклий и Дуда беседовали с двумя сидящими напротив женщинами.

- Сейчас мы находимся в полусонном состоянии и готовимся к коренным переменам, – сказал Ираклий твердо и убедительно. И при этом обвел глазами все общество. Я начинала нервничать; думала, если они теперь увлекутся беседой о политике, то как мне вклинить в разговор один простой вопрос: а как записаться в очередь.

- Тц, тц, тц, – донеслось из женских уст. Кто-то кинулся вправо, кто-то влево. Это была пластика в стиле эстетики мюзиклов.

- Ты бываешь излишне самоуверен, – ответил Ираклию Дуда и при этом бросил на него неприязненный взгляд.

В ответ Ираклий запустил ему в волосы руку и, как Сократ Федону, ласково пригладил рассывшиеся по плечам пряди. И при этом проговорил: «Я когда-нибудь ошибался?».

- И Гераклит доказывал, что мир охвачен пламенем, но сам умер от водянки, – даже не знаю, как это у меня вырвалось, – о том, что это были мои слова, я догадалась, когда заметила, что все взоры одновременно обратились на меня. Я покраснела. Ираклий и Дуда изумленными глазами заглянули мне в самую душу и, одним словом, я стала членом их группы.

День второй

Устаем. Разжигаем печь, греем воду, выкашиваем на дворе траву. Фрукты и посуду моем на стороне, у родника.

Короче, началось вращение диска. В первый же день мне объяснили, как это происходит. Поскольку снаружи было холодно, темно и опасно, то домой те, кому было по пути, обычно шли группами, вместе. Такими оказались: я, Дуда. Ираклий, Тамрико и тетя Майя.

Тамрико обычно звонит своим детям в Англию. У нее двое сыновей. Говорит только о них.

Младший с детства был замкнутым, жил в своем собственном мире. Постоянно слушал музыку. После того как дедушка купил ему магнитофон с бобинами, мы его уже почти не видели. Все слушал какое-то арабоязычное радио, «Монте Карло», которое передавали из Бейрута. Раз в неделю бывали хит-парады. Из-за «Ровесника», – помните, журнал, – всех убил

бы. Своеобразный он, но, знаете, все равно мягкий и послушный. А старший?! Извел. Как подошел возраст в армию, можете себе представить, наверное, в каком состоянии мы были. На счастье сгорел комиссариат на улице Мицкевича, пропало множество документов, вот и моего Бакури никто так и не вспомнил. Обрадовались. А чем это обернулось, знаете?! Этот идиот поссорился со своей возлюбленной и, назло ей, взял и ушел в армию. Эх, как же я волновалась, где его только ни носило! Туркмения, Узбекистан, со своими самаркандами и бухарами. Посерьезнел. Но не успел вернуться, как братья неожиданно нашли общий язык, решили заняться музыкой и рвать на гитарах струны.

Периодически глаза полной, к лицу одетой Тамрико застилали слезы, но она их скрывала, отворачивалась. Открывала сумочку и угощала нас шоколадом.

Тем временем Дуда решил разрядить обстановку:

- У них же и какая-то рок-ассоциация была, да, тетя Тамрико?

- Уф, чего только не было! То в клуб идем, то загород... Однажды повстречались мне на мотоцикле, к Звиаду, мол, едем, в Колхскую крепость[1], позвал, надо поддержать грузинский рок. Подумала, что все уже с ума посходили.

У Ираклия на коленях сидела трехлетняя дочка. Жена, вместе с супругой Дуды, уехала работать в Америку. Эта странная парочка друзей постоянно шутила, и при этом придерживалась каких-то своих правил игры. Когда я приласкала ребенка и похвалила ее платьице, Ираклий воскликнул: видишь, что шлет ей мать!

- Верно, думает, что уже очень большая, – произнес Дуда.

- Да, думает, что взрослая и нелепая, без вкуса, – жестко ответил Ираклий.

- Да хватит вам! – мне стало жалко ребенка.

- А это что такое? – указал он на платье удивленной девочки.

День третий

Чтобы здесь жить, надо много трудиться. Спать ложимся рано.

Из комнаты коммутатора вышла Майя. Сняла очки, утерла слезы и присоединилась к нам.

- Ну, что говорит? – спросила ее Тамрико.

- Видел того человека и уже начал работать... Хороший театр... Сторожем будет. На этом этапе так, – спокойно, уравновешенно рассказывала Майя, которая была излишне эмоциональной. Все время смеялась над тем, что, не увидев детей в комнате, даже не заглядывая в кухню и в ванную комнату, сразу же с криком бежит на балкон. Безмерно влюбленная в мужа, она только и рассказывала, что о его успехах: как Мамука весь мир объехал, в свое время был и на Кубе, и пожал руку Фиделю Кастро. Кения, Иордания... Вот на Иордании совсем помешался, – оказывается, там даже водители такси не врут, а о народе и говорить нечего. С детства он увлекался биологией. Клянусь, Тамрико, его мать мне часто рассказывала, что когда он был маленьким, то давал муравью заползти на руку, а потом часами наблюдал, как тот ползает у него по руке. Потом он заинтересовался тем, как устроена жизнь. А когда вбил себе в голову, что в Грузии водится леопард, однажды из-за спора на эту тему даже гостей выгнал из дому.

- А сколько ему сейчас лет? – вмешался в разговор Ираклий.

- Сорак шест, – сказала на ломаном русском Майя и передними зубами, но только как-то набок, начала жевать резинку.

Я молчала и думала о всякой ерунде. Например, о том, почему возраст, номера телефонов и футбольный счет озвучивают по-русски, а, скажем, баскетбольный счет, по-грузински?!

- Майя, ты что сказала? Нант... или...

- Нанси! В Нанси сейчас. С этим человеком, этим Тоджманом, который директор театра «Мануфактура», Мамука познакомился раньше, во Франции, на какой-то конференции, они все время поддерживали контакт, дружили. В общем, он ему все и сделал.

Не знаю, Тамрико, – что-нибудь да получится... Утром фабрика, в вечернюю смену театр будет охранять. Что я могу поделать, он сам так захотел.

[1] «Колхской крепостью» тбилисцы прозвали выстроенный в стиле старинных замков особняк классика грузинской литературы, писателя Константина Гамсахурдия – отца первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

- Если сейчас и она «Маленького принца» достанет... – пробормотал Дуда при виде девушки-студентки, вошедшей в комнату.

- Почему? – спросила я.

- Мы с Ираклием собрали тут статистические данные, а чем было три месяца здесь заниматься, а?! И вот выяснилось, что на каждого четвертого входящего приходится «Маленький принц», русский перевод.

- Может, это страна принцесс, и потому, – я невольно улыбнулась.

- Хорошо если читают, – сказала Майя, – между прочим, во Франции нет музея Экзюпери, в то время как у музея Экзюпери в Токио около миллиона посетителей за год. Это я от Мамуки знаю.

- Да, японцы особенно любят Экзюпери, – добавил Дуда.

- Почему?

- Ну, все-таки страна самураев и в Антуане тоже видят борца. – А настоящие иллюстрации что потеряны, знаете?.. Да, Мамука как-то познакомился с внуком сестры Экзюпери, с тем, у кого все эти авторские права. Кажется, Оливье его зовут. И вот, он сказал, что, полагают, будто они в Америке.

- Ну и хамы эти американцы, – рассердилась Тамрико.

- Оливье говорил, что эту книгу перевели в 120 странах, и получается, что маленький принц и не француз, мол, вовсе.

Ираклий и Дуда шептались. Ребенок плакал.

День четвертый.

Лежим в гамаке, читаем книги... Купаемся под открытым небом, в ванне, сделанной мальчиками. Приятно... Ээээ! Смотри! Парнасус Аполло! Это ведь распространенная в высокогорных регионах Грузии бабочка! Оказывается, и в Раче водится.

В California Express-е SALE. Мы пошли с Дудой. Купили по куртке. Я красную, Дуда – коричневую, naf naf. С Дудой я подружилась. Это было странно, мне ведь такие контакты даются с трудом. Но все равно, он так и не смог вытянуть из меня, кому я звоню «туда». Знал, что мне 16 и что я не курю (мозги выел: если куришь, не стесняйся).

- У меня ведь привычка: все время наблюдаю за курильщиками и, как ни странно, прекрасно помню, как затягиваются, но обычно никак не могу вспомнить, как выпускают дым, – при этом Дуда рукой прикрыл рот. Не знаю, подчеркивал ли он таким жестом сказанное, или что! Я вообще не поняла, к какой категории относятся Дуда и Ираклий. Они друзья, жены дружат и работают в Америке. А сами втискиваются в одно кресло...

По дороге мы купили подарки, скоро Новый год, и мы накупили сувениров на память для всех, близких нашей псевдопочте.

- Тамрико жалеешь, так? – неожиданно спросил меня Дуда, – ты так иногда на нее смотришь...

- Да-а, – этим я и ограничилась.

- А мне больше жаль Майю, как она мужа любит, называет все время только «мой Мамука»! И самолюбивая, Майя. Таких я больше жалею, несгибаемых.

- А тебя разве не жалко? – напрямик спросила я.

Дуда опустил голову, глубоко затянулся и выпустил дым из носа. Я тоже научилась быть внимательной и никогда не забуду этот дым, который полностью скрыл лицо Дуды... Потерянного, который никак не мог смириться со своим возрастом и, одетый как юноша, пытался найти что-то общее с той, кто была намного младше него.

День пятый

Всю ночь отбивались от ласок и летучих мышей.

На журнальном столике Нанико лежали гозинаки[1] и стояло шампанское. Были объятия и поцелуи. Поздравления. Вручение подарков. Утром 1-го все бывают милыми, невыспавшимися и счастливыми.

[1] Гозинаки – традиционная новогодняя сладость, изготовляемая из меда и грецких орехов.

Тамрико захмелела и – что еще ей оставалось – опять стала рассказывать про своих сыновей. «Когда двое друзей уехали в Ливерпуль, я сразу же догадалась, что и эти сорвутся. Но как? У меня на билеты денег не было. И что они стали бы там делать потом? Как-то раз зашел сосед, мол, какой-то лотерее нужна телереклама, и деньги при этом платят, давайте, сделайте. Эту рекламу мои мальчики сняли, тем понравилось, но гонорар задержался».

- Побить не могли? – вмешался в разговор Ираклий.

- Как раз этого я и боялась... Короче, заявились в офис и сцена: сотрудники лотереи складываются и съезжа-а-а-ют!

- Куда? – в тот день я задала лишь один вопрос.

- Смываются!

- И что потом?

- Короче, те побоялись неприятностей, чтобы побегу что-нибудь не помешало. Вынесли большой хурджин[1]: здесь намного больше того, что обещали, но берите, мол.

- Невероятная история, – сказал Ираклий и разлил по бокалам шампанское.

- Клянусь... Денег было столько, что и моим, и еще четверым их друзьям на билеты хватило, и еще по 500 долларов на каждого осталось.

Тем временем Майя вышла из комнаты-коммутатора и сразу же сообщила, что Тоджм пригласил Мамуку в Париж отметить в ресторане Новый год. Он поехал поездом. Оказывается, дорога там такая, все сплошь желтые цветы... Эти дачи, домики восточной Франции... Майя уже подошла к столу и нервно вздрагивала. Ираклий протянул ей бокал и наполнил его шампанским.

- Америка!!! Чья? – позвала из комнаты Нанико.

- Дуда, твоя очередь, – подтолкнул друга Ираклий.

- Иди ты, уступаю, – улыбнулся мне Дуда.

В этом человеке было что-то положительное. Тогда я думала, что должна была еще когда-нибудь встретиться с этим человеком.

Я входила в комнату с телефоном и в то же время слышала, как начинали пить за любовь. К столу позвали и Нанико. И только в тот день, впервые, я осталась в мистической комнате в полном одиночестве. Аппарат стоял в центре. Я смело целовала микротелефон.

День шестой

Ссоримся... Нервы шалят. Все-таки горы плохо влияют на людей.

Этот дом на Атенской понемногу наводил на меня тоску. Поднадоело слушать о том, как дети Тамрико играют на улице и покупают на собранные 9 фунтов 4 кг картошки, нарезают ее по утрам кружочками, а днем – соломкой для того, чтобы питание казалось разнообразным.

Приелись и романтические истории про Майю и Мамуку, которые в первое время после свадьбы, лежа в постели, кайфовали на свету от фар автомобилей, въезжавших в поворот: смотри, смотри, как отразилось! А теперь у тебя на ноге! А теперь на лице – это точно Мерс.

Надоело наблюдать сцены латентной любви Ираклия и Дуды и унижения трехлетнего ребенка, безвкусно наряженного отцом. Поэтому, едва придя, я выхватывала что-нибудь из груды валявшихся на журнальном столике книг и начинала читать.

Раз мне попался, неизвестно откуда тут взявшийся, телефонный справочник Тианети[2]. В изданном в 1993 году справочнике большими буквами было указано:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) стучать по рычагу

.....

4) вращать диск карандашом или другими предметами

5) замедлять или ускорять вращение диска в обратную сторону

После этого, я пробежала глазами список абонентов телефонной сети поселка Тианети. Запомнила: Пиркушашвили Давид; Кбилцехлашвили Мурад; Набиджашвили Валико; Параскевов Темур, Хиспехашвили Сезона[1].

[1] Хурджин – переметная сумка.

[2] Тианети – населенный пункт в одном из горных районов Грузии.

Когда неожиданно из комнаты-коммутатора выскочила плачущая Майя, меня охватили крамольные мысли. Без очков стало заметней ее косоглазие, она стояла и рыдала во весь голос.

Усадили, успокоили. О хорошем никто и не думал... Не умер ли, – подумала я о Мамуке... Но, наверное, Мамуке-изменнику Майя предпочла бы мертвого Мамуку. Трубку сняла женщина и заявила по-русски: «Я его любовница».

Домой Майю проводил Ираклий. Подошла очередь Тамрико, и она вошла в комнату переговоров. Остались мы с Дудой.

- Что делает в Америке жена Ираклия? – спросила я Дуду.

- Работает переводчицей в полиции.

- А что переводит? – я удивилась.

- А вот когда грузин задерживают, тогда и переводит...

- Значит, чем больше грузин задержат, тем лучше для жены Ираклия?

- Да, тем больше уродливых платьиц для маленькой Анны, – мы оба рассмеялись.

- А твоя жена?

- Она водитель у «мисс Нью-Орлеан» 1969 года, но это правда, – и рассмеялся.

- Мисс – старая хиппи?

- Нет, они же вскоре изменились... Хиппи.

- Измениться-то изменились, но настрой же так молодежным и остался?!

- Знаешь, о чем я сейчас вспомнил? Когда окончили школу, мы, мальчики, поехали в Болгарию. Там, рядом с дискотекой, был один аттракцион, становился вот так, клал руки, и компьютер, в зависимости от твоего настроения, фиксировал твой возраст, то есть, сколько тебе лет в душе.

- И?

- Нам всем показал от 60-ти до 70-ти лет.

- Почему, разладился?

- Нет, остальным туристам по 20-25 выдал. Такие вот были показатели.

Дуда долго смотрел мне в глаза, и я растерялась. Он тоже.

- Клип сняли, и какой-то студии очень понравилось, – неожиданно появилась Тамрико.

- Мальчики? – неловко спросил растерявшийся Дуда.

- Да, и еще младший записал интервью с одним известным певцом, и задорого продали. Старший, оказывается, в университет сдает... – у Тамрико задрожал голос, она схватила сумку и ушла.

- У-уф, – выдохнул Дуда.

По пути домой мы почти не разговаривали. Не знаю, о чем думал Дуда, у которого неожиданно выпадали из суставов плечи, но точно знала: не вернутся ни сыновья Тамрико, ни муж Майи, ни Мамука, ни жены Ираклия и Дуды, и вообще никто, никто не вернется. Неподалеку от дома меня одолели слезы. Мне не хватало опыта, чтобы прочувствовать невыносимую легкость этого бытия.

Мне не хотелось смотреть на то, как ломались и корежились десятки судеб, прямо у меня на глазах, на первом этаже единственного теплого дома в городе, на псевдопочте. Не хотелось ни стучать по рычагу, ни вращать диск... Не хотелось верить, что за счет этих озабоченных людей, на доллары, высланные новыми эмигрантами, в стране начинали крутиться деньги. Не хотела! И это желание было таким сильным, что... Что, если бы я умерла, то и у мертвой это желание у меня осталось бы, потому что самая сильная боль досталась на мою долю! Лишь у меня была настоящая любовная история, с иллюзиями и аллюзиями, которая, как бабочка Парнасуса, погибла у меня в руках, неожиданно и быстро. Он давно уже сменил номер телефона, не сообщив нового. А я все же ходила на псевдопочту, чтобы Дуда, Ираклий, Тамрико, Майя и Нанико ничего не заподозрили. И захотелось мне, чтобы меня забрала холера; или сидеть на концерте Этери Мгалоблишвили и слушать нидерландско-французскую органную музыку, чтобы рано, очень рано, неожиданно состариться. Вот чего я хотела! Хотела, чтобы

[1] Фамилии переводятся (приблизительно) как: Пиркушашвили - Мрачнолицын; Кбилцецхлашвили – Огнезубов; Набиджашвили – Шагов; Параскевов – Пятничный (Прасковьев), Хиспехашвили Сезона – Сезон Деревяноножков.

рухнул дом №... на улице Атенской. Рухнула эта и так развалившаяся индустрия. И я пошла на улицу Аракишвили, в полицию, и написала: на улице Атенской, в таком-то номере, проведена «левая» линия. Все отдохнули! И закончилась эта монотонная бесконечная история!

День седьмой

Вечер. Как сказали бы многие из моих коллег, рачинский вечер. Пьем чай. Теперь догадалась: похоже на интерьер пьес Чехова, и этот дом, и расположение каждого из нас в пространстве очень похоже на чеховскую пьесу, перенесенную на грузинскую сцену: напряженные спины, утрированные оценки.

Я – если бы я жила в деревне, у меня было бы много ситцевых платьев.
Тома – если бы я жил в деревне, то был бы охотником.
Резико - если бы я жил в деревне, то драчил бы.
Туся - если бы я жила в деревне, то была бы деревенской гадалкой.
Тика - если бы я жила в деревне, то была бы деревенской шлюхой.
Сандро - если бы я жил в деревне, то переехал бы в Тбилиси.

И после этого тоже прошло время. 12 часов дня, нежусь в постели и думаю на полном серьезе: я – Латоя... А в действительности 90%, живущих в этом городе, чувствуют себя как те четыре брата Майкла Джексона, о которых вот уже сколько времени никто ничего не слышал. Когда-то и они были талантливы, и что?

2005 г.

Перевод с грузинского Ирины Модебадзе

LEE

Рассказ

Были и оргии[1] и четыре Гии... Нежнотрансавангардный клоунизм и позднеантичный иудаизм. Что я хочу этим сказать?! Рожденная на христианском востоке; сформировавшаяся на перекрестке иберийской и колхской культур, кавказских влияний, идеологии, выкристаллизовавшейся и осевшей на разделенном мостом перекрестке двух районов[2], а в душе – член воинственного общества?!

Не сказать, нет, я хочу написать! Что-нибудь простое, скажем, любовное послание, поскольку это самый простой эпистолярный жанр, для которого нужна лишь любовь.

Здравствуй, Ли! Пишу такая-то и такая-то. Правду говоря, я тебя не люблю, просто, хочу написать тебе в этом жанре. Я и так собиралась, как гостю моей страны, как первому австралийцу, которого я встретила; как моему учителю английского и как тому редкому исключению из иностранцев, которому так сильно не понравилась Грузия.

Ли, тогда было 2 июля. Помнишь, как в комнате средних размеров на двенадцати стульях расположились шесть девушек и шесть парней? Там стоял и еще один стул, он немного отличался от тех двенадцати, – это был твой стул, Ли! На стене висела доска, еще объявление о частных уроках и большой лист, на котором были написаны те обязательные слова, которые, предположительно, могли нам понадобиться во время урока, например: **I`m sorry; Sorry I`m late; I`ve not done my homework and so on...**

Дверь отворилась, в комнату вошел привлекательный юноша, в голубой майке и джинсах, светловолосый, волосы сзади подвязаны, с белозубой улыбкой, приветливый и милый.

---

[1] Игра слов: «оргии» может быть интерпретировано и как «два Гии»: от груз. «ори» - 2 . (здесь и в дальнейшем примечания переводчика).

[2] Намек на районы г. Тбилиси (Вера – Ваке) – исторический культурно-интеллектуальный центр города, естественной географической границей которых является т.н. Верийский мост.

My name is Lee – сказал ты. Знаешь, что я подумала: Господи, лишь бы он не был американцем. **"I`m from Austarlia"**. С этого все и началось. По утрам с 10-ти до 12-ти, включая перемену, мы, члены группы, параллельно с уроками, еще и обменивались информацией. Постепенно прояснялась твоя личность, твой образ-лик, вот так-то. Выяснилось, что до приезда в Грузию ты жил в Боснии и Чехии и что планируешь ехать отсюда на Украину. По твоим словам, уже четыре года, как ты не был в Австралии. Конечно, это много, но не думаю, что для австралийца. Оттуда ненадолго никуда не уедешь. По этому поводу мы же пришли к согласию.

Короче, сын наполовину каннибальского мира на четыре месяца прибыл в Грузию. Ли, ты помнишь членов нашей группы, своих учеников? Глядя на них, я все время думала: да, это действительно кич-авангардный случай, лишенное всякой логики, странное поведение.

Ты следовал очередности и при этом расспрашивал о профессиональных достижениях.

- О чем твоя книга? – ты спросил меня, помнишь?

- **Every book is about love**, – ответила я, и ты улыбнулся.

После этого твоя симпатия ко мне стала явной. Комплименты на переменах и часто – в процессе урока. Понедельник был твоим любимым днем, потому что ты имел право расспрашивать, каким был наш уик-энд; где мы были, что делали. И я рассказывала о том, что со мной приключилось. Ты смотрел мне в глаза, а сам о чем-то думал.

Ли, помнишь, когда мы гуляли по центральной улице, и у меня были комментарии обо всех подъездах и магазинах? Вот тут, в 60-ые годы, впервые в истории Тбилиси, установили огромные витрины, сколько народу из-за этого пострадало! Непривычные и неопытные, входя в кафе, ломились сквозь витрину. Ты смеялся, с какой-то сиднейской отчужденностью, там у вас ведь даже цвет пыли иной, непривычный – красный... Горы, оказывается, красные, вот и ветер носит по воздуху пыль того же цвета. По дороге у тебя неожиданно изменилось выражение лица, ты дернул меня за руку и сказал:

- Что это с ней... Это женщина?.. Попрошайка?

- Нет, это известная городская бомжиха...

- Женщина?

- Да.

- А почему у нее борода?

- Функции нарушены... Наверное.

- Ест мусор? – ты не отставал.

- Нет, несет куда-то на свалку, если спросить, зачем ей это, ответит, что убирает город.

У тебя расширились глаза, и ты спросил: какой, мол, смысл ее жизни.

- Не знаю, – ответила я.

В Лондоне произошел теракт. Когда я смотрела телевизор, то вспомнила тебя: ты же говорил, что в Лондоне живут твои братья. Поэтому, как только вошла на урок, сразу спросила, говорил ли ты со своими братьями. Помнишь, ты поблагодарил меня и сказал, что с ними все в порядке. Старший, менеджер «Хилтона», весь день размещал в фойе гостиницы раненых и травмированных. Потом мы развили эту тему, говорили то про Испанию, то про Америку. Я взяла слово и сказала, что до тех пор, пока эти теракты выдаются как совершаемые кучкой фанатиков, покоя не будет.

Все учащиеся с тобой заигрывали. Во время перемены у нашей аудитории собиралась целая команда девушек, все старались привлечь твое внимание подчеркнутым шепотом и открытым кокетством. Кроме меня! Я хотела совсем иного, точнее, меня интересовало, какой ты видел мою страну, и поэтому я внимательно тебя слушала, ловила в воздухе каждое твое слово, сказанное об этом.

- Вам нравится наша еда? – иногда спрашивали мои сокурсники.

- Кое-что, – сдержанно отвечал ты.

- А что не нравится?

- Многое, – и при этом обаятельно посмеивался.

Это логично, Ли, у тебя же на протяжении четырех месяцев не нашлось никого, кто показал бы тебе место лучшее, чем Мцхета, и угостил бы самым вкусным обедом. Неожиданно, в

твоем сиднейском настрое, совершенно случайно, объявилась я, которая многого так и не изменила.

- Знаешь, ночью я написал рассказ, хочу прочесть тебе. Как странно, впервые написал рассказ, – признался как-то.

- Здорово! Когда дашь?

- Завтра.

- Вау, очень прошу, не передумай.

- Нет... Сегодня ты очень красивая... **Very beautiful...**

- Спасибо, Ли.

"**The 2nd coming**", так назывался твой рассказ, текст был приемлемый, хотя и проецированный на депрессивные акценты, умеренно тяжелый, и я догадалась, что тебе очень плохо. Догадаться было легко, весь текст был пропитан настроением человека, которому плохо. Разве я смогу забыть твое лицо, когда сказала: Ли, это прекрасно написано, ты должен продолжать писать, и работа способствует, путешествуешь по интересным странам. Но, Ли, тебе здесь плохо... Очень плохо!

- Как ты догадалась? – ты был в шоке.

- Почувствовала.

- Что!!! Не своди меня с ума, как можно догадаться по рассказу о моем настроении?

- Это моя профессия, – приняла я твое удивление.

- Научи, прошу тебя, – ты смотрел на меня изумленно.

Во время урока ты несколько раз возвращался к этой мистике: нет, нет! Не понимаю, как ты догадалась. Улыбался мне.

Постепенно мы сблизились.

В тот вечер я пригласила тебя на прощальный вечер в клуб моих друзей. Помнишь, сколько пива мы выпили? Это было в первый раз, что мы вместе напились. Конечно, нас могли и задержать, учитель и ученица вместе в ночном клубе. Какой ужас, не так ли?

Вскоре я догадалась, что алкоголь на тебя действует не очень хорошо. Ты – православная, – спросил, – а я кивнула и вынула крестик. Потом протянула руку к твоей шее, чтобы потрогать цепочку. Ты остановил меня и сказал, что ты сектант...

Вначале я испугалась. В клубе было полутемно и играла какая-то пластмассовая музыка. Потом подумала, наверное, я не понимаю, что он говорит мне по-английски. Пристала и, пока ты не рассмеялся, верила, что сидела рядом с сектантом. Так ведь тоже бывает?

В клубе со мной были две старшие подруги. Обеих звали Нино, и обе были влюблены до безумия. После четвертой бутылки пива ты энергично стал с ними танцевать. Потом вернулся к столу, уставился мне в глаза и спросил: почему сегодня клуб закрывается?

- Потому что начинается лето, посетителей не будет.

- Но это же столица?! Не может быть, чтобы в столице был всего один клуб и тот закрывался бы.

- Да, но, Ли, мы пока еще не встали на ноги. Все еще остаемся потенциально, возможно, девственным ландшафтом, – обиженно ответила я.

Ты улыбнулся.

Кому может быть противней здесь жить, чем мне?! Но от твоей наглости у меня потемнело в глазах... Исключительно ради гостеприимства, а то бросила бы тебе прямо в лицо то, о чем думала про себя в течение целых 20-ти минут:

Несчастный! Ты, сын английской колонии! Во многовековом одиночестве, оторванный от мира остров! Покорно принимающий капризы королевы. Все еще не осознающий прелести своей страны; океан и красная пыль, ставшая привычной экзотика; кенгуру на обед, а на ужин крабы. Раб! Раб англичан! Когда тебе надоело одиночество, открыл в 1996-97 годах двери большой эмиграции, пригласил к себе весь мир, чтобы не быть похожим на своих соседей-канибалов. Ведь так?

Я сидела вся перекошенная, а кругом все веселились... Ты, верно, думал – чем-то обидел ее и, чтобы исправить ситуацию, обнял меня – как ты отличаешься от грузинских девушек – думал, что говоришь комплимент. А может, это и есть комплимент?! Не знаю.

Вскоре мы встали и по приглашению одной Нино пошли домой к другой Нино. Нино Вторая сидела за рулем, где-то около филармонии она притормозила и спросила: хочешь, посажу за руль? **PLEASE**, – был твой ответ, звучал как-то паранормально, и я догадалась, что поедешь ты очень быстро.

Так и случилось, мы летели. Как выяснилось из твоих же слов, ты не сидел за рулем целый год.

Лил! Лиушки! Эл! – хочу еще больше сократить твое имя и сделать его полегче, но кроме этого, что более ласкательно-уменьшительное можно придумать из твоего имени? Ничего, Ли.

Каким удовольствием было пить чай. Ведь так? Нино Вторая показывала тебе фотографии: вот я и мой возлюбленный, вот мой возлюбленный с автоматом... Он – гангстер...

Потом Нино Первая решила раскрыть тебе свое сердце, наверное, потому, что друзьям уже надоела эта история бесконечной любви.

- Сколько лет уже любишь?

- Три.

- А он?

- Не знаю... Я все еще... Он в Америке учится, режиссер.

- Сейчас где?

- Сегодня приезжает, завтра, должно быть, увижу, – Нино Первая вздохнула.

- Вы оба верующие? – спросил ты, улыбаясь, помнишь?

- Да...

- И я, и вообще все мы, – неожиданно вмешалась в беседу Нино Вторая.

- Ба, как странно, – ты улыбался.

- Что странного, – пристала Нино Первая, – религиозность?

- Нет, просто я удивляюсь, как это получается: православный, режиссер и плюс в Америке?

Нино Вторая захмелела и продолжала афишировать фото: вот, здесь, какой милый – снова указывая на своего возлюбленного гангстера.

- Он же живой? – пошутил ты.

Мы рассмеялись.

- Да, я его очень люблю.

- Он тебя не любит, или что?

- Тоже любит, но...

- Что но? – ты тут же навострил уши.

- Женат.

Ты подскочил с места:

- Нино, ты шутишь?

- Нет!

- Как ты можешь любить женатого человека? И вообще, сколько я уже слышал о подобном? По-моему, это у вас обычай, чтобы у мужчины была любовница...

- Так получилось...

- Так не получается. Это же в твоих руках! Все можно изменить.

- Часто нельзя, – Нино Вторую охватила тоска, Нино Первую тоже.

- Вы возвышенным тоном говорите о какой-то религиозности и Церкви, а то, что встречаться с женатым мужчиной – грех, не признаете!

- Да, признаем, конечно... Я часто думаю о самоубийстве! – у Нино Второй глаза наполнились слезами.

- Почему ты думаешь о самоубийстве, а не об убийстве его жены, ведь в таком случае вы будете счастливы? – ты не останавливался.

- О чем ты? – Нино Вторая озверела. – Убийство?

- Ну и что, по вашей религии это должен быть грех не больший, чем самоубийство.

- Ты думал об убийстве, – вмешалась Нино Первая.

- Да, – спокойно подтвердил.
- Кого?
- Любил замужнюю женщину, и хотел убить того человека, подсыпать ему яду в чай...
- И что ты сделал?
- Не смог...

Наступила тишина. Я внимательно запоминала каждое слово и при этом задумалась, поэтому с первого раза и не поняла, что, оказывается, теперь меня просили рассказать о любовных историях. Я не сочла вас достойными ответа. Я так поступаю обычно тогда, когда хочу спать и меня раздражает сигаретный дым.

В тот день шел дождь. Кузина Нино Второй притормозила машину и подвезла меня на урок (ты всегда смеялся, когда мы упоминали кузин и кузенов, двоюродных и троюродных братьев-сестер по материнской и отцовской линиям, все спрашивал, сколько, мол, вас). Машина ехала медленно, мы болтали о сотне пустяков:

- Вчера весь день провела у механика, под дождем много ездила? Вообще-то заметно, что любишь скорость, – рассказывала Ната, кузина Нино Второй.

- Но ты у механика была или у гадалки? В течение трех периодов разведенный мужчина с дороги придет, не сказал? – мы обе расхохотались.

Получилось совпадение. Когда, с опозданием, я зашла на урок, то обнаружила, что и вы беседовали о гадалках.

- У нас они очень популярны, – рассказывала Тинатин.
- Я знаю странных гадалок, – говорю.
- Каких, на чем они гадают? – спросил ты.
- Знаю одну, гадает на лобио[1], рассыплет по столу и дует: «Казионии домаа» и какой-то парень на «Г». Другую знаю, играет на чонгури[2] и так гадает, рассказывает, напевая, как ашуг[3]: за-а-автра по до-о-оро-о-о-ге прия-я-я-тно-о-о-е-е изве-е-ести-и-и-е-е-е... И еще, а это и впрямь история для «Дискавери»: есть сестры. Одна засыпает и бормочет на непонятном языке, вторая кладет руку ей на плечо, на палец второй руки наматывает волосы, и лепечет детским голоском, плачет, как ребенок, смеется и говорит, например: расведена женшина успакаиваит.

Ты умирал со смеху, другие тоже хохотали... Ли, знаешь, как мне было обидно, когда я пригласила тебя в ресторан поесть какое-нибудь грузинское блюдо, а ты заказал «бефстроганов». Что это было?! Я тоже не ударила в грязь лицом и принялась за «салат Цезарь». Зато в мастерской моей подруги я силой вливала в тебя грузинское пиво, которое приехавшему в Грузию из Чехии вовсе не нравилось. Помнишь, как мы развлеклись в тот день? Ты и марихуану покурил и посреди разговора выяснилось: Ли наркоман! «Нет, не героин, распространенный у вас, но все остальное пробовал, особенно галлюциногены», – признавался ты. Потом у тебя застыл взгляд.

- Что с тобой? – спросила я.
- Подумал об ужасном.
- О чем?
- Не могу сказать...
- Ли, ужасным у нас считают изнасилование или убийство, ты о чем из этого думал?
- Ни об одном, – ты расхохотался.

И вот грузинские цари и обычаи в горах; многотысячные битвы, выигранные 200 бойцами; вот, сохранившиеся в устном народном творчестве перлы; легенды и грузинские тексты, оставшиеся непереведенными из-за своей гениальности; а потом – Георгиевский трактат[4], ко-

[1] Лобио – разновидность фасоли.
[2] Чонгури – национальный струнный инструмент.
[3] Ашуг – народный певец-поэт у народов Кавказа.
[4] Георгиевский трактат (1783 г.) – составленный в соответствии с нормами феодального права, военно-политический Договор Восточной Грузии с Россией при условии сохранения суверенитета, приведший впоследствии к потере государственной независимости и включению Грузии в состав Российской империи.

роче, все, что было, – так начиналось на уроке каждое утро, мы старались, чтобы тебе понравилась наша страна.

- Экзамен будет строгим? – спросил тебя мой однокурсник, который каждый день спрашивал девушек, когда же придете растрепанными, я люблю растрепанных девчонок («растрепанные» оказалось, с распущенными волосами).

- Экзамена у вас не будет. Просто решу, кто перейдет на следующий курс, а кто нет, – объявил ты.

Какой странный ответ для 26-летнего бывшего наркомана-австралийца, неожиданно строгий и неадекватный. Нет?

Ли! Я почему-то вбила себе в голову, что такие как ты не могут любить. Если бы это было не так, ты осел бы в Сиднее, на берегу океана, вместе с длинноволосой камберийкой и расстегивал бы на следующей капризам королевы и одетой по английской моде девушке ее платье, скатывал бы ей гетры, целовал бы ухоженное маслами из **the body shop**-а тело и нанизывал бы на пальцы тангу с фотографией принцессы Дианы, а потом вы оба играли бы тангой в эту игру, когда натягивают и переплетают пальцами веревочку, которая должна, не расплетаясь и не путаясь, переходить из рук в руки. Но ты выбрал другую жизнь, бродяжничество, бродяжничество, и еще раз бродяжничество. И поэтому я не знаю, какая в сегодняшней Австралии мода и тенденция. Ник Кэйв, Кайли Миноуг и Мэлл Гибсон, вот и все.

Стоял конец июля. У нас должен был быть то ли **Last** урок, то ли экзамен. Когда ты на экзамене дал всем зачет, мы перешли на левел. И это тоже было неожиданным. К тому времени я уже потеряла к тебе всякий интерес.

Я стояла в коридоре и курила, когда ты подошел ко мне: хочу поплыть на корабле в Одессу, как это сделать. И хотя отношение к тебе у меня поменялось, я все же нашла в себе силы помогать тебе до конца, потому что скоро ты покидал Грузию и, верю, никогда не приедешь снова. Поэтому и в Поти[1] тебя отправила, и родственникам перепоручила: эларджи[2]; в порту – турецкий кофе; рыбный ресторан; грейпфрутовый лес, сон, полная идиллия, как ты говорил, а потом, оказывается, и билет тебе взяли, и долго махали с причала, и пароход отплыл в Одессу.

Постепенно я поняла, почему утратила к тебе интерес. Почему не полюбила – потенциально, возможно, девственный ландшафт? Потому что невозможно любить человека, которому так сильно не нравится твоя родина.

Ли! Право ненавидеть какую-либо страну имеет только ее гражданин. А потом я еще подумала и догадалась: помнишь, когда ты меня спрашивал о той бородатой бомжихе, какой смысл ее жизни... Ли, я знаю, какой в ней смысл: однажды найти в себе ту добродетель, которая поможет подойти к той бомжихе и прикоснуться к ней... Но, Ли, в себе я эту добродетель не обнаружила. Хотя чаще всего повторяю, что родилась на христианском востоке! Что являюсь представителем притягательной своей сенсуальностью расы... Что тайные ложи и ордена сеют в мире синдром ужасного, и что проходит время, очень большое время, и что «прекрасное – сложно»...

P.S. Ой, Ли! Знаешь, к какой гадалке повела меня Нато, кузина Нино Второй, – к той, которая кладет одну руку на плечо сестры, наматывает волосы на пальцы второй и лепечет по-детски. И, знаешь, что она мне сказала: если писмо выдет похое, токо патаму, сто для этава плостого эпистолалного занла нет главного – любви нету...

Reply! Please!

9 августа 2005 г.

Перевод с грузинского Ирины Модебадзе

[1] Поти – крупный город-порт в Грузии на побережье Черного моря.

[2] Эларджи – нациальное блюдо из кукурузной муки и молодого сыра.

Любовь БАЛАГОВА

Любовь Хазреталиевна Балагова родилась 7 февраля 1968 года в Кабардино-Балкарии. Закончила факультет журналистики МГУ им. Ломоносова.

Первые публикации ее стихов появились в газетах и литературном журнале Кабардино-Балкарии, когда Балаговой было всего 9 лет.

Автор поэтических книг «Одинокая ветка», 1992, Нальчик; «Каменная ограда», 1997, Нальчик; «Путь солнца», 2000, Нальчик; «Молюсь я на адыгском...», 2002, Москва; «Царица», 2005, Нальчик; «Царская любовь», 2007, Москва; «Испытание», 2008, Нальчик.

Ее произведения были опубликованы в ведущих литературных журналах и газетах в крупных городах России (Москве, Санкт-Петербурге и др.), Ближнего Востока, Европы и США. А две ее книги – «Царица» и «Молюсь...» – вышли в США (в дополненном вар.) Она – один из наиболее ярких кабардинских поэтов, получившая мировой резонанс и блистательную (международную) критику на свои произведения.

Люба Балагова – лауреат Международной премии молодых авторов 1997 года.

В 2006 г. писатели РФ направили письмо в Администрацию Президента КБР, рекомендуя историческую поэму «Царица» Л. Балаговой на выдвижение для получения Государственной премии.

В том же году «Царица» Л. Балаговой была анонсирована на международном кинофестивале в Каннах, как одно из крупных произведений современности, вызывающей интерес и у кинопродюсеров. По мотивам этого произведения М. Кандур написал киносценарий.

В настоящее время Любовь Балагова живет в Уиндзоре, в Англии, с мужем и двумя сыновьями и продолжает работать над новыми произведениями.

Публикуем отрывок из историко-мифологической поэмы «Сатинай» (из книги «Молюсь я на адыгском языке...»).

Сатинай

Отрывок из поэмы

Сатинай слышит матерную брань на адыгском языке.

СЕГОДНЯШНЯЯ САТИНАЙ:
О Мать Адыгов,
Это что за речь?
Ты слышишь? – Ругань!
Снова, снова, снова...
Не это ты им оставляла слово,
Но дети не смогли его сберечь.

Тебя обули дети – обувь жмет.
Ты головой поникла и обмякла.
И молоко в груди твоей
Иссякло,
А помнишь, -
Было сладким, словно мед.

Ребенку ты готова
Все отдать.
Растишь его,
От бед оберегаешь
И о себе, конечно, забываешь.
А вырос он, –
И мать ему – не мать.

Надежды доброй в сердце не таи.
Он вырос.
Он большой уже и сильный.
Он придавил уже
Плитой могильной
Язык твой и обычаи твои.

Грехи сыновьи страшно велики.
Вот я смотрю, и кажется порою:
Язык адыгов истекает кровью
И каплет кровь
В другие языки.

Адыгский сын!
Всей памятью своей
Впитай в себя ты
Истину простую:
Предашь язык –
Предашь и мать родную,
Себя,
А дальше – собственных детей.

***

Мой прадед
Строго чтил закон стола.
И сохранял любой обычай
Горский.
Мой опыт в этой жизни
Очень горький.
Я вижу: в нас та суть не перешла.

Обычай горский
Ясен был и строг.
А нынче жизнь сошла,
Сорвалась с круга.
И нужно
Водкой спаивать друг друга.
Мужчина тот, кого свалило с ног.

И если ты не выпьешь за столом,
В тебя глаза нетрезвые
Уставят,
Смутят
И выпить все-таки заставят, -
Иначе ты – не уважаешь дом.

О если б это прадед мой узнал,
В какую бы беду он окунулся!
И прах его в земле б перевернулся,
И дух его во гневе б трепетал.

.....

СЕГОДНЯШНЯЯ САТИНАЙ:
Ты дал нам чувство гордости,
Отец!
Чтоб наших душ
Свободу берегли мы,
А не скитались,
Словно пилигримы.
А каждый сын –
Стал корнем, наконец.

Чтоб ясный взгляд
Лучился из-под век,
Чтоб счастье было на земле
На нашей.
Чтоб мать свободных душ
Была Гуашей.
И род бы гордо шел из века в век.

Но дай ответ, Отец наш!
Дай ответ:
Откуда взялся этот
Рабский разум?
Кто к нам занес подобную заразу,
Что белый свет
Теперь как серый свет?

Ты видишь:
Полпланеты, полземли
Мы исходили.
Стоном стонут ноги!
И там, где были, все ее дороги
Своими волосами подмели.

Вот почему и стал он –
В горле ком.
Там в зное,
Там – от холода продрогши,
Чужих народов
Грубые подошвы
По-рабски ль не лизали языком?!
Как много слез,
Безумия, измен!
Куда же вы идете?
Дети, дети!
Вы все, что было светлое на свете,
Растопчете,
А дальше – прах и тлен.

Идете вы,
Все доброе круша,
Как будто чья-то плеть
Вам хлещет в спину.
И втоптана в кладбищенскую глину
Не вами ли

Адыгская Душа?
И если кто вступался за нее,
То на него набрасывалась свора,
Как будто
На разбойника и вора.
Так мы блюли
Свое житье-бытье.

Я вижу жизнь сегодня,
Как сквозь дым.
Нет светлых лиц
И нет прекрасных ликов.
Ну почему же нормой у адыгов
Считается прислуживать чужим?

Все оправданья этому
Пусты.
Одно неколебимо в этой жизни:
Когда душа свободна,
То и мысли
Свободны, благородны
И чисты.

Я чувствую повсюду
Каждый час –
Душа адыгов нынче
Словно в клетке.
Забыли мы, что завещали предки,
Как будто есть проклятие на нас.

Бог Ошхамахо!
Наш всемудрый Бог!
Что видишь: дети трусы иль невежды?! ...
Где мне найти земли пустой клочок,
Чтоб схоронить там Мертвые надежды?

Душа моя!
Адыгская Душа!
Ты мне в пути светила,
Наставляла!
И в трудный час меня не оставляла,
Достоинством и честью
Дорожа.

Душа моя адыгская!
Скажи,
Что для тебя я сделать
Нынче в силах?
За всех детей,
За внука и за сына,
Что прожили беспутно
Эту жизнь.

Ты – божий дар, ты высший смысл,
Ты суть.
Тобой пренебрегли адыги – дети.
Так я возьмусь
Творить до самой смерти,
Указанный тобою
Светлый путь.

Отец наш, Бог!
Грядущее темно.
Земля лежит во мраке
И разврате.
Позволь же эти путы
Разорвать мне.
Поскольку детям это не дано.

***

Великим смыслом
СЛОВО налилось.
Отяжелело. Солнечно играя.
И отделился
Ад в груди от Рая
И что-то совершаться началось.

Там в сердце
Глубоко-преглубоко
Уже есть место
Пламенной надежде.
А мир стоит,
Как будто в нем ни прежде,
Ни ныне не случалось ничего...

***

А Сатинай свечением горит -
Она с Отцом Небесным говорит.

САТИНАЙ ГУАША:
Отец наш, Боже!
Я уже в пути...
К Тебе я возвращаюсь
Вся в печали.
Меня родные дети не признали.
Прости, Отец, их!
Господи, прости!

Прошу Тебя, Отец,
Не иссуши
Тот корень, что мои питали капли.
Они – во тьме,
Но их сердца не камни.
Они придут на свет Твоей Души!

Я – Мать.
Я знаю: добрый час придет
И лица многих превратятся в лики.
Как память о Любви Твоей Великой,
Да сохрани сей страждущий народ.

Лишь Ты, Отец, событий знаешь ход.
А им так трудно,
Мир такой огромный!
Душа адыгов, как снегирь бездомный,
Ни в чем себе приюта не найдет.

Он только начат, долгий путь земной.
Они еще, как дети в колыбели.
Они еще душою не прозрели,
Чтоб Истину увидеть пред собой.

Их слепоту, жестокость их сердец
Я вижу с материнскою печалью.
Молюсь за них.
И как детей – прощаю.
Прости и Ты
Детей моих, Отец!

Себя в своей родимой стороне
Они еще увидеть не умеют.
Но день придет –
И все они прозреют.
И будут все молиться обо мне.

Над ними солнце Истины взойдет.
Ударит свет им по глазам,
Как плетью.
Но это будет лишь с моею смертью.
Им смерть моя
Прозренье принесет.

***

О как тонка отдельной жизни нить!
Толпа глазами жертву пожирает:
«Да эта ведьма даже не желает
перед смертью с нами говорить!».
Но и в толпе,
Где шум и гам кругом,
Не каждый
В злобе разум свой теряет.
Вот кто-то тихо голову склоняет
И утирает слезы рукавом.

***

Ее железом к ледяной скале
Прибили,
Отравив словесным ядом.
Но лед под ней огромным водопадом
Упал – и покатился по земле.

Толпу размыла бурная вода.
И понимая, что неладно дело,
На белое измученное тело
Пустили люди коршуна тогда.

И тут же смаковали эту жуть,
Когда припал убийца к белой плоти,
Вонзив свой клюв
И опытные когти
В молитвенно страдающую грудь.

А Сатинай молилась
За детей,
Которые – увы, не знали сами,
Что в дерзости
Грозили кулаками
Святой и нежной
Матери своей.

Страданья...
И они не без конца.
Уже толпа заметно поредела.
На льду лежит безжизненное тело,
А Сатинай –
В объятиях Отца.

САТИНАЙ ГУАША:
Отец мой!
Наконец-то я с Тобой!
За долгий путь к Тебе я так устала...
Ты знаешь, сколько я перестрадала,
И знаешь, как уходит эта боль.

Мне хорошо с Тобою,
Мне легко.
Покойно. И ни словом, и ни жестом
Не выразить,
Каким дышу блаженством.
О как Твое участье велико!

Молю Тебя,
Прости моих детей!
В них светлая еще проснется сила,
И дай еще от Сосруко им сына,
Дай шанс им встать над слабостью своей.

Я – дочь Твоя,
Я – искорка огня.
Твоей Любви я малая частица.
Я не могла к Тебе не возвратиться,
И чувствую, Отец, -
Ты ждал меня.

Моя любовь –
Ее светлее нет.
Она рассвет,
Заря Земли Адыгской,
Мне самой дорогой и самой близкой.
Я оставляю детям этот свет.
.....

АНГЕЛЫ:
Они схватили Мать свою
И Мать
Вели на казнь.
А Мать с такой любовью
На них смотрела...
Материнской кровью
Они себя сумели запятнать.

Они решили Ошхамахо Дочь
Прибить к скале
На самом видном месте.
И ветер,
Разнося об этом вести,
Гудел,
Не в силах гнев свой превозмочь.

А Сатинай светла была лицом.
Грудь разрывал ей коршун,
Но и в муках
Не издала страдалица
Ни звука...
Душа ее была уже с Отцом.

Все за детей своих молилась Мать,
А знала только ненависть сыновью.
На той земле,
Что захлебнулась кровью,
Поднимется ли дерево опять?..

***

То ли ветер гудит, то ли эхо доносит:

Что, дети Сатинай ума лишились?
Что, дети Сатинай ума лишились?
Что, дети Сатинай ума лишились?
На что решились!..

Вопрос по свету
Носит вольный ветер:
«С ума ль сошли
Земли Адыгской дети?».
Ответа нет.
Но на скале той самой
От этого вопроса –
След кровавый.
.....

АНГЕЛЫ:
Тебе и Богу
Славу протрубя,
Как только час назначенный нам вышел, –
За облака – и выше, выше, выше,
О, Сатинай,
Мы подняли тебя.

В груди твоей лежала тишина,
Глаза твои наполнились свободой.
Спокойной ты была и благородной
И поднебесной ясности полна.

***

Глядишь – и взгляд теряется вдали.
Не видишь места, где Ее казнили.
Лишь струйка дыма
К небу от земли,
Как строчка правды
Этой горькой были.

Когда ж строка,
Как еле слышный стон,
Вернется в мир
И сердце сдавит болью,
Поэт,
Сравнивший каплю со слезою,
Не будет знать
Событий тех времен.

ЭПИЛОГ

В конце столетья
Видятся ясней
Деянья предков и ошибки предков.
Трепещет все
Перед грядущим веком
И прозревает в сущности своей.

Народ адыгский вовсе не исчез.
Толчков каких-то ожидают гены,
И веет, веет ветер перемены
И чудится, что веет он –
С небес.

И светлою надеждою дыша,
Еще среди разврата и обмана,
Всплывает из пучины океана
На божий зов АДЫГСКАЯ ДУША.

Перевод с кабардинского И. Ляпина

Заза БУРЧУЛАДЗЕ

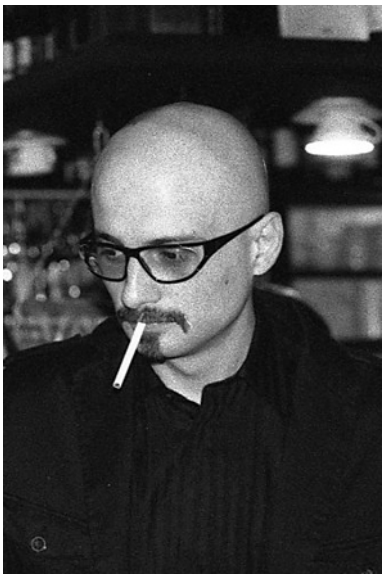


Фото Дмитрия Вебера

Заза Бурчуладзе (публиковался также под именем Грегор Замза) родился в 1973 г. в Тбилиси. Учился в Тбилисской академии художеств. Первая публикация – рассказ «Третья конфета», опубликованный в 1998 г. в тбилисской газете «Альтернатива». С этого времени публиковался в газете «Альтернатива» и в журнале «Арили» («Луч»). Отдельные издания – сборник рассказов (1999), романы «Старая песня» (2000), «Ты» (2001), «Письмо маме» (2002), рассказ «Симпсоны» (2001), антироман «Минеральный джаз» – номинант литературной премии Саба 2004 года (Ad Marginem).

Его роман "Минеральный Джаз", вышедший в Ad Marginem, был удостоен Государственной премии Грузии. Книги Бурчуладзе переведены на немецкий и греческий языки, его творчество обсуждают литературоведы и критики, а сам Заза - колумнист нескольких журналов и заметная фигура культурной жизни Тбилиси. Книга вышла в переводе Майи Бирюковой. И это первый перевод с грузинского на русский за последние 17 лет.

*Под обложкой "Минерального джаза" есть и другое произведение Зазы – **Passive Attack**, которую мы и предлагаем нашим читателям, параноидальная элегия от лица человека, за которым охотится киллер-ниндзя. Повесть тоже признана шедевром на родине автора.*

«Истинный писатель забавляется: он сочетает чуждые друг другу до этого слова и составляет из них неожиданную для тривиального сознания пару. Как сказал бы языковед, валентность того или иного слова отнюдь не ревалентна для писателя. Эти слова могли бы просуществовать тысячи лет так и не встретившись, и, вполне возможно, эти определение-определяющее никто и никогда так и не произнес бы вместе ни на одном языке, если бы именно этому писателю не пришло бы в голову свести их воедино, и не только свести, но вынести в заглавие и, сделав словосочетание уникальным, подарить этим словам бессмертие. «Минеральный джаз» - именно такая жизнестойкая пара слов. В новом грузинском романе встречаются живая и мертвая культуры. Это текучий джаз и джазированная шипучая жидкость, или поток синкопированного сознания, который в ретрадиционных муках прокладывает свой путь. Серебрянный цвет, который оттеняет этот поток, это – цвет ничем не скованного таланта. Прочтите эту книгу, и вы окажетесь в совершенно незнакомом, по-новому прекрасном мире, в котором, как оказывается, живете уже давно».

Леван Бердзенишвили

«Минеральный джаз» – роман-метатекст ненаписанного романа, вернее, начатого романа, который автор не в состоянии завершить из-за творческого кризиса. Он не теряет надежду на то, что муза вернется к нему, и, в ожидании музы, пытается увлечь нас разговорами о жизни, музыке, литетатуре и своих будущих персонажах, и, представьте себе, это ему вполне удается. «Представьте» ... а каково это, представить роман-метатекст, который заставляет читать сам себя! Роман Зазы Бурчуладзе ... читается на одном дыхании».

Леван Брегадзе

«Этот текст написан не только словами, но и звуками, цветами, формами и формулами. Это не просто творчество, «Минеральный джаз» – это сам творческий процесс, у которого нет и не может быть конца».

Георгий Гвахария

Passive Attack

Рассказ

1.

У меня знакомая среди ангелов.
Франц Кафка
«Америка»

Меня зовут Гарри, Грязный Гарри. Я не против. Пусть зовут хоть грязной свиньей. Зато со мной Анна, ночует на груди моей. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, газелями и оленями лесными, – не будите, не тревожьте любовь, пока она не проснется сама. Истинно говорю вам: совсем еще недавно я придерживался о себе совсем иного мнения. Но стоило провидению свести меня с Анной, и я понял, как жестоко заблуждался. Чего греха таить, ведь это она сказала мне однажды: «Знаешь, ты похож на Гарри, на Грязного Гарри».

И вот вам ложе Грязного Гарри: шестьдесят девушек вокруг него из дочерей израильтянских. Что с того, что постелька узка и тесна. Сказано же, что влюбленные поместятся даже на соломке. Вот и мы умещаемся, спим. Точнее, спит Анна. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, не будите ее. И еще заклинаю: ягодой меня освежите, яблоком меня подкрепите, ибо я любовью болен.

Не любопытно ли вам, что же это за Анна, чья левая – под моей головою, а правой меня обнимает, и ради которой я всю ночь не смыкаю очей? Расскажу вам все, что можно о ней рассказать. Выключите мобильники и придвиньтесь поближе. И не шумите, заклинаю вас, не будите ее. Вглядитесь: она рождена для того, чтобы спать, я же – рожденный бодрствовать. И не думайте, будто бы я призван только нежиться в теплой постели.

В былые времена проповеди мцхетского Сабеды весь храм слушал, затаивши дыхание; Гегесий из Магнеси изрекал остроты, от которых веяло холодом, способным остудить пламя пожара, а из стихов Талеса от Милет изливалась мощь столь притягательная, что слушатели невольно робели, я уж не говорю о героических песнях спартанцев, и т.д. и т.п. Сознаюсь, на мои бредни не полагается и последняя собака, но покорнейше прошу все-таки проявить милосердие и выслушать меня со вниманием. Нового я, возможно, ничего и не скажу, но для сведения вашего сообщу, что под бодрствованием подразумеваю не спортивные состязания на первенство в стойкости и выносливости, а совсем иное, первым делом рисование (и в прямом, и в переносном смысле этого слова). Подразумеваю внутреннюю работу, надобную для жизни и выполняемую всеми, кто жив и живет. Я же, не живший доселе полною жизнью, хочу уж теперь насладиться ею сполна. И не все ли равно, кто я, принц или нищий, никто не запретит Грязному Гарри этой ночью рисовать, то есть желать, страдать, любить и ненавидеть. Прошу при этом снисходительно простить меня сейчас и прощать впредь, если порой при всем старании не совсем точно употреблю кое-какие слова, в чем повинна скорее моя неопытность, нежели небрежность.

2.

Расскажу о том, что с тех пор, как провиденье столкнуло меня с Анной, многое переменилось и во мне и, соответственно, в фантомах, возникающих вокруг меня. Для наглядности напомню вам «Терминатора 2» – там расколотый на мелкие кусочки киборг Т-1000 обладает способностью в нужный момент собраться-стянуться и трансформироваться. Это звучит фантастично и больше походит на сказку, но только уверяю вас, здесь одна лишь сухая хроника, а не досужие сплетни, сейчас я опишу – не совсем точно, примерно – превращения моего собственного мозга. Он вроде как распался и тут же снова спаялся, но от перемены мест слагаемых изменилась сумма... Что вы так воззрились на меня? Я ведь и сам поначалу не верил, но чем больше проходит времени, тем тверже убеждаюсь, что так все и вышло. При развале и сходе мозга обнаружилось, что прежде я пребывал в жестко фиксированной и изолированной системе или, если вам угодно, мире, который не расширялся и не углублялся, был абстрактным и отрешенным, а Грязный Гарри был распялен в нем, как безжизненно отвисшая схема... Словом, произошла некая реакция. Всем известно, что в результате воздействия аммиака NH_3 на сульфат меди $CuSo_4$ мы получаем $[Cu(NH_3)_4]$ So_4. Надеюсь, простите мне эту плакатную формулу, этим я только хотел сказать, что Анна примерно так же повлияла на меня. Быть может, вам трудно в это поверить, но, увы, убедительность не всегда на стороне истины. И, если из

всех этих примеров вам не нравится ни один, то тогда... вам наверно хоть раз попадалась на глаза где-нибудь в метро, газете или журнале реклама операции по пересадке волос или препарата для похудения: под левым фото написано «До», а под правым – «После».

Встретив Анну, я не провалился в страну чудес, как Алиса, не вытянул за волосы себя вместе с конем из болота, папа римский не превратился в страшное насекомое, а сам я так и не начал нести яйца, черное по-прежнему черно, белое все так же бело, и дважды два четыре, но не то, совсем не то же самое четыре. (Может, Кустурица и не авторитет, но сейчас не это важно. Главное, смотрели ли вы «Аризонскую мечту»? Если да, то должны помнить такую сцену – герои Винсена Галло и Джонни Деппа сидят в дешевом ресторане и спорят о какой-то чепухе. Один из них говорит, мол, когда попаду в Голливуд, буду одеваться во все черное. На что второй отвечает: «Так ты и так одет во все черное». И опять первый: «Да, но это будет *другое* черное».). Но, должно быть, увы, ничего-таки не случится... Скорей уж я превращусь в страшное насекомое, а папа римский начнет нестись, чем в этом мире хоть что-то изменится, ведь все единородно и однообразно, что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. По-моему, сместилась точка, с которой я доселе наблюдал окружающее. Нетрудно предположить, что сместить этот угол меня побудила Анна, но нетрудно и опровергнуть это предположение. Потому я не стану ни настаивать, ни отрицать, а, как и обещал, расскажу то, что следует рассказать.

3.

Тридцать лет я живу в Ваке, в одном дворе с детской поликлиникой №9, и лишь вчера в первый раз увидал гору, высящуюся прямо напротив моего балкона. Точнее, разглядел. По левую от меня руку фуникулер с мерцающей, как дискотека, телевышкой, по правую – Черепашье озеро с верхней станцией канатки и сванской башней. Гора смахивает на высоченную волну или каменный цунами, нависший над городом. Точней, на увеличенное фото взметнувшегося и застывшего вала, установленное на огромном билборде вдоль всего Тбилиси.

Дражайшие девы, сейчас ночь, во тьме ничего не разобрать, но, поверьте мне, вся гора густо обросла ельником. Посреди обозримой ее части белеет, как лысина на темени мужчины, небольшая церковь, почти сливающаяся с серо-зелеными зарослями, сразу и не заметишь. Что ж тут удивительного, когда тридцать лет подряд не видел самой горы. Разве найдешь иголку в стоге сена? Кто, скажите мне, обладает, – спрашивал один логик-император, – зрением столь метким, чтоб хоть раз не споткнуться в потемках? Впрочем, вернемся к главному. Видите, дочери иерусалимские, посреди горы горит точка? Это, должно быть, свеча или лампадка за окном церквушки. Оттуда, надо думать, весь Тбилиси виден как на ладони. Зато церквушка из города почти невидима. Впрочем, головы на отсечение не дам, кто ж его знает, может, девять десятых тбилисцев видят ее отчетливо, как луну или гамбургер.

Богослуженья отправляет высокий сухощавый священник. Я видел его днем суетившимся на подворье; он то носил из дощатой пристройки к храму дрова, то раскапывал и боронил крохотный огород за ним. Насчет подворья я оговорился, храм ничем, кроме ельника, не огорожен. Если зрение меня не обмануло, пряди льняных волос лежали на его плечах, придавая ему сходство с бабой, ему было под пятьдесят, но он все равно напомнил мне «Девушку» Дебюсси. Выглядит как человек предельно порядочный, однако как знать, не заблуждаюсь ли я. Может, это хам или вор, с жутким и отвратительным прошлым, который, удалившись от мира и затворясь, ищет спасения духа и изнуряет плоть постами и воздержанием? Не брал ли он в жены родную мать, не пустил ли на котлеты родного сына? Или, напротив, не явленное ли он чудо – беспорочный, как голубь, чистый помыслами, или горлица, что ни утро, обращающий ключевую воду в благородное вино, а золу в уголь? А то ведь, черт же его знает, может все и не так, как я тут наплел? В чем не сомневаюсь, так это в том, что за попом всюду, след в след, идет черное страшилище, высоченное, как конь, и донельзя тощий пес, так страшно помахивающий длиннющим хвостом, будто вовсе не пес виляет хвостом, а сам хвост псом. И я не удивлюсь, если вы скажете, что и этот сукин сын держит посты и легко довольствуется сухой коркой хлеба и дождевой водой.

Впрочем, ну их в болото – и одного, и другого, и третьего. Сейчас интересней вот что. Как вы, дочери иерусалимские, полагаете – если бы не Анна, увидел бы Грязный Гарри то, на что он смотрел на протяжении целых тридцати лет?

4.

Что с того, что Анна не читала Пруста и Джойса? Что грамм гашиша предпочитает всем фортепианным сонатам Скрябина? Что роялистом полагает настройщика, кинологом кинолюбителя, а Наполеоном торт? Что отродясь она не видывала «Портрета Анны» Модильяни и при этом похожа на нее, как две капли воды. А быть может, даже видела, но не помнит? Ведь у нее память ежа. Что с того?

То есть, как это «что с того»? Сам-то я чего бы только не отдал, лишь бы забыть все хоть на четверть минуты. И чего бы я не дал потом в придачу, чтобы услышать в эти мгновения дядино лиллибуллиро! Не отказался бы и от колумбийского кокаина... двух белых дорожек и свернутой в трубочку купюры. Наркотики занимают весь спектр, если присмотреться: белый, черный, зеленый, серый, желтый, прозрачный, хаки, кофейный, песочный, розовый и т.д. и т.п. United Colours of Drugs. Впрочем, чего уж там! Что с того, что я еще в детстве вызубрил Пруста с Джойсом? Что с того, что изучал почти все, начиная с палеозойского, мезозойского и кайнозойского периодов и заканчивая генной инженерией и компьютерными вирусами, не говоря уже о сонатах Скрябина и «Метафизике» Аристотеля? Умолчу и об исследованиях всяческих рифмов, алгорифмов и логарифмов, со всеми их электронами, протонами и нейтронами... Не потому ли сейчас у меня в башке полная каша и не потому ли уверен я, будто бы в Кривом Роге сплошь раскиданы кривые рога, а в Дубае повсюду растут одни дубы?

5.

Не исключено, впрочем, и то, что я раздуваю из мухи слона и что Анна, мистика и фантастика тут вовсе ни при чем, во всем повинны одни только очки. Выписал недавно один окулист. А прежде ухватил меня за чуб и впился в глаза взглядом столь пристальным, будто бы хотел меня загипнотизировать. Затем какими-то пластмассовыми щипцами он развел мне веки, рванув с такой силой, будто ставил капкан на медведя. От его могучего натиска на глазах у меня выступили слезы – думаю, они и вдохновили моего мучителя, ибо он продолжил начатое с удвоенным рвением. Определенно, ему что-то не понравилось, ибо он раз шесть влезал в мои глаза и снова вылезал наружу, за новыми инструментами. Тащил туда что попало. Но работал прилежно и играючи, не придерешься. Обшаривая каждый угол и закуток, он провел за моими веками столько времени, что мог бы без труда обнаружить там если не самих чертиков, то хотя бы их какашки. Наконец он вылез, выгреб весь свой инструментарий и обдал мне око резким лучом прилаженного ко лбу, как у шахтера, фонарика, отчего я долго не мог ничего ни разглядеть, ни разобрать. Еще он накапал какой-то жидкости мне в глаза – думаю, это-то и было колдовское зелье. Заставил разбирать на стене разноцветные буквы и геометрические фигуры, все эти манифесты футуристов. И, наконец, когда меня уже ничего не отделяло от полной слепоты, он заглянул в меня через странную установку, похожую на игрушечную двуствольную пушку, мутировавший микроскоп и неопознанный летающий объект одновременно, и установил: минус триллион, астигматизм, распад сетчатки, расстройство желудочно-кишечного тракта, вздутие печени... запомнить все, что он перечислял, думаю, не смог бы не один только я. Но увенчалось все водруженьем мне на нос очков с такими толстыми стеклами, что, открыв глаза, я задохнулся. В таких разглядишь не то что гору напротив дома, но и складки на лбу у черта, тужащегося на корточках за тридевять земель отсюда.

Ну, так что же, дочери иерусалимские, я изложил все без утайки, и вам решать, какая из встреч – с Анной или с окулистом – позволила мне наконец обнаружить вышеупомянутую гору. Я уже говорил, что Анна многое перевернула вверх дном, и во мне, и в окружающих меня фантомах, но ведь и старания окулиста не пропали даром, не правда ли? Не скажу с полной уверенностью, но полагаю, что сказались они в равной мере, то есть $y=kx$, с очень незначительным отклонением в ту или иную сторону. Впрочем, столь ли важны все эти мелкие различия, когда киллеру уже оплатили твое убийство, а киллер этот не более и не менее как ниндзя?

6.

Он всегда одет во все черное, с ног до головы, из разреза черной маски видны глаза. Они не горят, даже не мерцают, их не сочтешь развязными или игривыми, нетерпеливыми или повелительными, из тех, от которых враз свернулось бы молоко, на котором замешан Грязный

Гарри, – нет, нет, что вы! – это мертвые глаза, как у куклы. Он подпоясан саблей работы чуть не самого Хатори Хансо, с черной рукояткой и отливающей золотом перевязью. Движется легко, как перышко, воздушно, как тень. Взбежать по стене ему что раз плюнуть, он легко скользит по поверхности воды, повисает на потолке, молнией слетает по тросу с крыши многоэтажки. Такое увидишь разве только в кино.

Не знаю, сколько и в какой валюте ему платят, но известно, что наняли его по интернету.

Уже месяц отвратительный убийца не покидает меня ни на минуту и идет за мною шаг в шаг. Но то ли это удача улыбается мне, то ли киллер дразнит, оттягивая мгновение неотвратимой гибели, доводит до исступления. Удивительно, как мне еще удается увертываться от его звезд (по-японски сюрикэн), которые, не пробив моего лба, пролетают мимо и впиваются в стену за моей спиной. Вчера получилось увернуться даже от ядовитой иглы, не миновавшей, к сожалению, Тито.

Я завернул к нему сразу после визита к окулисту. Тито был парень что надо, прекрасного телосложения и темперамента, супердизайнер, пионер грузинского бодиарта, умница и душа нараспашку. Благородство, щедро дарованное свыше, из него так и перло. Отважный сын прекрасных родителей, смело ступивший в этот мир, где его и настигла отравленная игла. Мы стояли в его студии и рассматривали мои очки... Из динамиков компьютера звучал отчаянный голос Боуи. И вот только наша беседа перешла с очков на новейшие тенденции граффити, как Тито схватился рукой за щеку, словно хлопнул комара. Откуда было бедняге знать, что его прикончит игла прильнувшего к стене ниндзя. Он рухнул не сразу. Шаг, другой, третий... и он упал лицом так резко, будто хотел обкусать пол студии, притом как можно быстрее. Тем временем ниндзя перепрыгнул со стены на потолок, повис на нем вниз головой и вперился своими кукольными глазами в меня.

Как я был разъярен! Как пожелал я «Узи», чтобы растереть нинзя в брызги! Мозг мой лихорадочно заработал. Выбора не оставалось – удирать как можно скорее или ждать исполнения желания... Я бросил прощальный взгляд на друга, и тут Боуи взвизгнул:

Spaceboy, you`re sleepy now
Your silhouette is so stationary
You`re released but your custody calls
And I wanna be free.

Этого было более чем достаточно. Не помню, как я выскочил из студии, как примчался сюда, как ускользнул от черного злого ниндзя, всю дорогу вслед мне каркавшего и осыпавшего шипящими сюрикэнами и иглами, палившего со стен, деревьев, с кустов, углов корпуса, из окон автомашин, с крыш автобусов... Дочери иерусалимские, приходилось ли вам играть в playstation? Так вот случалось ли вам странным образом, непредвиденно, легко и без сбоев одолеть уровень незнакомой игры и самим тому удивиться? Мне удалось, но это тема отдельного разговора и здесь я не стану на ней останавливаться. Отмечу только, что никто не заметил, как я выбежал из студии, так что в смерти Тито, видимо, обвинят наркотики. Не премьер же он министр, в самом деле, чтоб посылать его кровь на экспертизу в лабораторию FBI. Что же касается угодившей ему в щеку иглы с перышком, то тут можно было не переживать, все, что можно принять, вдохнуть и проглотить, Тито давным-давно принял, вдохнул и проглотил. О его бесчисленных тату и всевозможных пирсингах не стоит и упоминать. Он был панк, с головы до ног, каждой капелькой крови, всякой жилой и клеточкой. Никто, правда, с точностью не укажет, кибер ли панк, постпанк, пропанк или совсем уж оргпанк. Впрочем, какое это имеет значение. При ходьбе все эти его пирсинги грохотали как доспехи крестоносцев. Не думаю, что пробившая ему щеку игла вызвала у кого-нибудь подозрение.

7.

Вечером я все как следует взвесил, соотнес свои способности с возможностями назойливого преследователя и понял, что оказался не в самой выгодной позиции. Меня подташнивало, эта игра в кошки-мышки изнуряла и явно подавила мою волю. Я питаю глубокое уважение ко всем профессиональным убийцам, да поможет им Бог, надеюсь, что милостию Господней все их замысли будут увенчаны успехом, хоть и глупо, ужасно глупо ждать, когда они снесут тебе голову.

Как тут не задаться вопросом: кто же, если не Грязный Гарри, остановит это буйство? Что ты за Билл такой, что за Черная Мамба твой убийца? Не обратится же ради тебя Тбилиси в город грехов? Скольких праведников, подобных Тито, положит убийца, пока дотянется до тебя? Ты готов принять меч, протянутый тебе Господом? Если нет, то хоть встань в позу. Strike a pose! Кидаются звездами? Так это и есть звездные войны. Не требуется, чтоб ты стал Дартом Вейдером, но хоть осознай, что находишься на линии фронта. И держись, как подобает воину! Мира и любви хотели хиппи. А тебе хочется еще и афганский героин и «Феррари». Это много? Конечно, нет! Этого – как писал поэт – мало. Вот и меня удивляла железная логика, и мое удивление разделяла вся Европа.

Мог ли я бросить Европу в трудный час испытания? Так что прежде, чем явиться вам, тихо встал с постели и вышел на кухню. Анна же спала сладким сном. Я взял яблоко и принялся очищать его ножом с притворно невозмутимым видом, будто не замечал припавшего к стене и напрягшегося в ожиданье киллера. Понятия не имею, как он проник сюда: то ли вполз, как таракан, через дымоход, то ли залетел в окно, как летучая мышь. Словом, выхватил из-за пояса саблю, спрыгнул с потолка и на цыпочках подкрался ко мне. Я подпустил его близко и только было обернулся и поднял руку, чтоб всадить нож ему в брюхо, как он, выгнувшись котом, резко отпрыгнул в сторону и сыпанул себе под ноги какой-то колдовской порошок – тот мгновенно обернулся белым дымом, в котором ниндзя растворился.

8.

Его пока не видно, но я чую, что он рядом. Возможно, прячется за занавесью. Интересно, чего же он ждет? Может, он стесняется вас, дочери иерусалимские? Неисповедимы пути убийцы. Уж прикончил бы он меня сразу, только по возможности тише и не разбудив Анну.

Kill me Sarah
kill me again
with love.

Только бы with love, непременно with love. Потому что, я твердо верю, без любви нет ни бессмертия, ни убийства. Совершенно не важно, как убийцу зовут, ниндзя, Сара или Черная Мамба. В теснейшей связи любви и убийства – вы, конечно, согласитесь со мной – не усомнишься. Поэзия имеет в своем распоряжении красивые фразы для всего на свете. Для любви у нее целое скопище. Приведу, кстати, финальную строфу одной не совсем забытой еще песенки: we need love, we need love, we need love... И обратите внимание, поет про это убийца, а не какой-нибудь недоумок.

9.

Если бы я не зарекся однажды, то непременно, как все диктаторы, сочинил бы сейчас элегию. Достойные мужи эти в смертный час выдавали по элегии, а то и по две, – Примо де Ривера, говорят, насочинял их целую сотню. Такое уж сложилось обыкновение! Но, позвольте, к чему они нам? Сейчас объясню.

«Диктатор» – латинское слово, означает «высшее должностное лицо, облеченное неограниченной властью и правом единолично управлять государством». А поскольку Грязный Гарри может сказать и потому заявляет: «Государство – это я», – он, соответственно, облечен неограниченной властью и правом единолично управлять самим собой. Поистине, есть нечто царственное в том, чтоб сочинить перед смертью элегию. Один поэт не без оснований заметил, что сон – репетиция смерти. Потому, должно быть, Грязный Гарри и сочинял стихи исключительно перед сном.

Но, как я уже говорил, Грязный Гарри принял твердое решение никогда ничего не писать. Ибо я придерживаюсь глубочайшего убеждения, что писать стоит, когда больше нечего делать и не лень. Мне же, признаюсь, писать всегда лень и легче метать об стенку горох, чем брать в руки перо. Тем более что гороха набралось навалом и могу одарить каждую из вас хоть целым мешком. Предпочитаю присматривать за тем, что уже написано. Вот расставлю свои книги по полкам и примусь их стеречь. Если как-нибудь спасусь от ниндзя или врагов, – пользуясь случаем поведаю вам – ко мне, как и ко всякому диктатору, питают вражду злые колдуны, – или если под угрозой страшной пытки они не заставят меня в чем-нибудь признаться (не могу не отметить тут же, что никакая сила не заставит меня повести при этом и бровью, потому что «Апокалипсис» в купе с

Дантовым «Адом» и всеми Фаустовыми парадигмами – это детский лепет по сравнению с тем хаосом, что закаляется в горниле моего короткого, уж каким наградил Господь, ума). Впрочем, для того, чтоб сковать человека, сперва надо его поймать. Я же порядком осторожен для того, чтоб допустить такое. И все же совсем недавно два колдуна подкараулили меня в темном подъезде и так отделали дубиной, что я уж не чаял собрать кости. Да видно не судьба помереть мне от дубины. Отколошматив, они еще укусили меня в пятку и только после этого отступили. Возможно, хотели отгрызть мне ступню... Впрочем, кто их знает! Может, приняли меня за Роланда, у которого пятка была уязвима и коего прикончил Бернардо дель Карпьо в Ронсевальском ущелье с помощью булавки. Хотя что такое дубина и укус в ногу против звезд и отравленных игл ниндзя.

10.

Попробуй разъясни что-нибудь колдунам! Они ж дубинами думают. Истинно дубинная философия у них. Этому вопросу один мудрец даже посвятил книгу под названием «Сумерки колдунов, или как философствуют дубиной». Но это ничего! Колдуны как дети. У каждого колдуна свой церемониал. Гайдн, например, сочинял музыку только в напудренном, как для торжеств, парике. А Фридрих Шиллер – тот не только жить, тот даже работать не мог без парика. Он знаете как писал? Наденет парик, опустит ноги в ледяной таз и пишет свои трагедии. Агата Кристи, утверждают, не могла вывести двух слов, не погрузившись в ванну с водой. Нырнет в чем мать родила под пышную пену, придвинет пишущую машинку и не вылезет, пока не настучит всю новеллу. Эйнштейн, по слухам, напротив, не жаловал воды до того, что даже зубы не чистил. И до своей теории относительности додумался с вонючим ртом. Больше того! Персидский царь Ксеркс так разъярился на воду, что выпорол целое море. Но всех превзошел, тут уж нет сомнения, Антон Чехов: перед смертью попросил шампанского! На первый взгляд может показаться, что последний пример вовсе не из той оперы, что другие, но если надлежащим образом вдуматься, то выяснится, что и он действующее лицо все той же оперы, и он, и многие другие, и все они колдуны, то есть дети. Кто, если не дитя, не любит чистить зубы, истязает море или просит перед смертью шампанского? Вы, что же, не знали? Перед смертью диктаторы пишут элегии, а дети просят шампанского. Что до Грязного Гарри, то он души в детях не чает и всякая их выходка или шалость наполняет его восторгом и радостью. И более всего он бывает взбешен, безжалостен и безрассуден, когда при нем дурно отзываются о детях. И даже когда колдуны отделали его, он жалел, что не обладает второю спиной, чтоб и ее подставить.

11.

Мне в принципе безразлично, если кто припишет мне теперь педофилию. И вообще, если память мне не изменяет, все истинные диктаторы обожали детей и у всех у них наблюдалась латентная склонность к педофилии. Не станем далеко ходить и вспомним, как боготворил детей сам Иисус Христос. Не он ли утверждал, что устами младенцев глаголет истина? В связи с этим, заметьте, возникает вопрос, был ли спаситель диктатором. Полагаю, что был. Однако это – мое мнение сейчас. Поразмыслив, могу взять свои слова обратно. Но до того, как это сделать, напомню о взаимной любви детей и Владимира Ильича Ленина, любви, которой посвящены тома. Товарищ Ким Чен Ир и его супруга, товарищ Ким Чен Сук, были преисполнены такой любовью к детям, что специально для них придумали волшебное слово «чучхэ», что косвенно переводится как «независимость», хотя его значение куда емче и шире, нежели просто слово, то есть сочетание звуков, обладающее предметным, лексическим наполнением. По официальной версии, товарищ Ким Чен Ир придумал первую половину слова – «чу», товарищ же Ким Чен Сук вторую половину – «чхэ». Можно привести бесчисленное множество столь же выразительных примеров. Чего стоит, в конце концов, отбросивший в сторону все лишнее лозунг «Все лучшее – детям!». Кто-кто, а уж коммунисты хорошо знали цену детям.

O children
Lift up your voice,
lift up your voice
Children
Rejoice, rejoice.

12.

Вернемся, однако, к ниндзя. Любезные дочери иерусалимские, неужто вам не любопытно, кто его на меня натравил. Вообразите себе, моя бывшая жена, которую я всегда почитал верной поклонницей своего творчества, благо она никогда ничего моего не читала. (Ясно помню ее странную сексуальную нацистскую фатальность... глаза преданной психопатки.). Не мне вам напоминать, что все оценщики точны лишь до тех пор, пока не прочтут чего-нибудь из опусов оцениваемого сочинителя. Так вот, черт ли ее дернул в какую минуту или еще кто, но она, кто мог подумать, с таким рвением вгрызлась в мои книги, так обшарила всякий лист и страницу, так переворошила их от корки до корки, что едва не довела себя до полного изнеможения. От последнего моего сборника ее тонко организованные мозги вскипели до того жарко, что, едва захлопнув книгу, она решила покончить со мной. Точнее сказать, под напором своих кипящих мозгов она сначала осыпала меня жуткими проклятиями, а уж потом возмечтала о моем устранении. И, поскольку не располагала достаточными накоплениями, чтобы разрешить вопрос немедленно, то спешно распродала всю обстановку, спустила все украшения и весь свой гардероб, рассталась с красным кашемиром, темно-оранжевым, белым и желтым люстрином, кружевными чепчиками, спальными кофтами и удобными нижними юбками, ни одну тряпку не оставила себе, только бы загнать в гроб Грязного Гарри! И теперь, сидя в квартире в самом центре Манхэттена, с нетерпением ждет, когда ей принесут в мешке мою голову. (Я, вообще-то, нередко задумывался над тем, что погнало ее в Нью-Йорк. Она не владела английским, не балдела от лимузинов, Фрэнк Синатра тоже никогда ее не интересовал. Быть может, бейбиситеры ее охмурили?). Больше того, мне сообщали, что она не просто ждет сложа руки, а в ярости скачет из угла в угол, как горный козел, лепит из воска смахивающую на меня как две капли воды куклу и время от времени с вожделением пронзает ее огромными иглами, – не исключаю, что в такие мгновения откуда-то доносится «Танец с саблями» Хачатуряна. Впрочем, не верится мне во все это. Слыханное ли дело, чтобы заклятье из Нью-Йорка достигло Тбилиси! Не по DHL же она его посылает?!

Сдаваться, как я уже мимоходом заметил, я не собираюсь. Известно, что с властью только тогда стоит расстаться, когда тебя уже схватили за горло, а не когда сидишь еще на коне, пусть это всего лишь деревянная лошадка. По уверению святого мученика за веру Киприана Карфагенского, при таком раскладе нужно полностью предаться спокойствию. И впрямь, как вы полагаете, отважится подобраться к тебе не то что ниндзя, а хоть бы василиск или аспид, когда ты сидишь на деревянной лошадке и читаешь седьмой кондак? Явись миру новым мудрым целителем, о святой мученик Киприан, ибо силой твоей молитвы колдуны дрогнут и подосланные злыми женами убийцы будут изгнаны, а мы споем: радуйся, растлительница волшебных кукол! Радуйся, пославшая снайпера! Радуйся, ибо киллер рассыплется в прах и рассеется, аки дым. Рассеялся же!

Любопытно все-таки, во сколько меня оценили. Мне всегда интересно, что почем. Цены моя слабость. Широко известен, к примеру, факт, что за ножны меча Митридата VI, царя Понта, в свое время запрашивали четыреста талантов, а в Аравии некогда серебро ценилось вдесятеро выше золота, в Ларисе стражу покойника полагалась тысяча нуммов за ночь, а совсем недавно кило охотничьей колбасы стоило десять рублей и т.д. Впрочем, словопрения вокруг цен могут завести нас далеко. Нам же это ни к чему. Да если бы и понадобилось, кто нам позволит? Вправо пойдешь – ниндзя тут как тут, влево пойдешь – напорешься на бывшую жену, попрешь напрямик – уноси ноги от колдунов, это не говоря уже о крадущемся тигре и затаившемся драконе.

13.

По-моему, так все и должно быть, всякого порядочного человека должен преследовать хоть один убийца. Ну а диктатора – и того больше. Не знаю, как вы, дочери иерусалимские, а вот я, например, ни одного порядочного человека не знаю, за которым по пятам не таскался бы убийца. Чего уж говорить о диктаторах. Большая часть из них пала от рук убийц. Пятиминутный поиск в Google навсегда вправит мозги тем, кто уверен, что это бредни. Но... возникает вопрос, что содержится в этой истине, что даст нам ее познание и уяснение?

You`ll see your problems multiplied
If you continually decide
To faithfully pursue
The policy of truth.

Говорит же Екклесиаст, что во многой мудрости много печали. То-то! То же относится и к правде. Как не расстроиться и не опечалиться, проведав, что шведские ученые докопались до гомосексуальной некрофилии у диких гусей? К примеру, меня не волнует, что все тщета и ловля ветра, что я смертен, но вот когда по телевизору мне сообщают эту новость про гусей, то на душе невольно выпадает осадок. Ладно бы еще папа римский пошел нестись. Это можно понять. Но поведение гусей решительно не укладывается у меня в голове. На гусей была вся надежда – разве не они спасли в свое время Рим? Не спасли бы, и остался бы папа без жилища. А без крыши над головой хоть яйца неси, хоть яичницу, никто на тебя не захочет и плюнуть. А вообще любопытно, прибегали ли гомосексуальные птички к некрофилии, спасая вечный град?

И все-таки, несмотря ни на что, клянусь вам Аллахом, что буду говорить правду, только правду, и ничего кроме правды.

14.

Ненавижу справки, как черный день, но сейчас без них не обойтись. Книга без справок что монах без кельи. Монах же без кельи – это рыба без воды. Так вот, из энциклопедии: Юлия Цезаря так искололи клинками, будто намеревались изготовить из него решето, Помпею Великому убийца снес голову. Впрочем, стоит ли забираться в дебри хроник Древнего Рима, когда чуть не вчера убийца прошиб пулей лоб Улофу Пальме? Тому самому Пальме, что уже с пробитым лбом изрек: «Благодарю Вас, сахару две ложки». Поди гадай, что за сахар и что за ложки имел он в виду. О Ленине и не упоминаю. Столько лет о покойнике твердили, будто все еще жив, что после смерти на вождя покушались чаще, нежели при жизни. О Фиделе Кастро табунами ходят легенды. Правда и вымысел переплелись до того тесно, что, как ни напрягайся, не установишь ни конца, ни начала. Прошел слух, что при одном из налетов Великий Вождь собственноручно придушил налетчика. Ничего особо фантастичного в этой истории не было бы, если бы сам вечный революционер не оказался упомянутым налетчиком.

Теперь уже как-то даже неловко, когда за тобой не увивается пара-тройка серийных убийц. Наличие собственного убийцы не что иное, как знак достоинства и признания. Считай, что опозорился, если хоть раз в тебя не пальнули из «Мухи», не окатили автоматной очередью. Немало сейчас таких, что и мочиться не станут без личного снайпера. Ну неловко, ей-Богу, обходиться в наше время без преследователя, если не члена «Хамаса» или «Аль-Кайды», то хотя бы кредитора или личного психотерапевта. На худой конец придется ждать, когда жена объявит тебе священную войну. Ну а если уж ни того, ни другого, ни третьего, тогда пардон, тебя даже убить никто не возьмется и джихада не объявит. Впрочем, удача и счастье постоянно сопутствовали одному только Веспасиану.

Короче, уникальность опыта современного мира прежде всего состоит в том, что нынче у человека изведена сама мысль о свободе выбора, мысль, составляющая собой основу основ этого мира. О-о, да это же речь, достойная мисс Америки! Свобода, между тем, это когда хочешь ты перейти Рубикон, и пожалуйста, переходишь Рубикон. Хочешь бросить жребий – бросаешь жребий. Хочешь станцевать последнее танго в Париже – танцуешь последнее танго в Париже... и не потому, что тебя к этому принуждают. Я так думаю, и пусть не один ниндзя, а вся ниндзия восстанет на меня, все равно не изменю своего убеждения. Такова и современная философско-богословская доктрина, если угодно – новый теодицей... Именно потому ныне не происходит чудес. Точней, чудеса уже считаются нормой. Потому тысячи всевозможных уклонений и метаморфоз никого не удивляют. То же можно сказать и о религиозных мутациях. А ведь уже давным-давно Иисус Христос сидит в позе лотоса, Будда распят на кресте, а Магомет заложил гору в ломбард. Вот разве что папа Римский все никак не снесет яйца. И кто удивится, если это произойдет? Естественно, никто, потому что свершившееся мгновенно превратится в норму и обыкновение. Более того, вскоре, видимо, шведские ученые затвердят, что мать Тереза была трансвеститкой, и появится новая панк-гламур группа под названием Depeche Modern Talking. Чего тянуть: хоть распнись, хоть несись, один черт! Одно из двух: нужно быть или убийцей, или его мишенью. Случаются, правда, и самоубийства – теперь даже в аптеках продают пояса шахидов, но пока это до того редкие случаи, что закономерностью их не сочтешь. И вообще, самоубийца что шампунь-кондиционер, 2 in 1.

Перевод с грузинского М. Бирюковой.

Дана ГИРЕЙ

Дана Гирей (Улданай Максутовна Бахтикиреева) – доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков и кафедры русского языка и литературы Российского Университета дружбы народов.

Родилась в Оренбуржье. Окончила филологическое отделение историко-филологического факультета Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, получив диплом филолога, преподавателя русского языка и литературы и переводчика с английского языка на русский.

Круг научных интересов: русско-инонациональный, в т.ч. креативный/ художественный би- и полилингвизм; межкультурная коммуникация, анализ русской – английской – казахской языковых систем. Исследователь творчества русскоязычных и двуязычных национальных поэтов и писателей.

Автор научных статей, учебных пособий, монографии «Творческая билингвальная личность: национальный русскоязычный писатель и особенности его русского художественного текста». – М.: Изд-во Триада, 2005. - 192 с.

Публикуется в Литературной газете, литературных и критико-аналитических журналах стран СНГ.

Дневник российской чучмечки

Рассказ

27 ноября 2004 года. Ехала поздно вечером с Чертановской с «подработки» – давала уроки английского. Заработала 500 рэ. Одной бумажкой. Итого, с тем, что в кошельке, – 510 рэ. – такова цена сегодняшнего нашего «мамонта». Дикий промозглый холод. Решила ехать домой на «Чистые пруды» на метро. Там теплее. Но долго не выдержала – метро угнетает меня. Вышла на Павелецкой. Поднимаюсь наверх, к выходу. Между дверями, обняв батарею, что-то скороговоркой, дрожа от холода, бормотал бомж. Протискиваясь в этом маленьком «коридорчике», чтобы выйти на улицу, я разобрала его речитатив. Никто не поверит! О Всевышний Разум! Бомж выводил... Булата Окуджаву, «Молитву Франсуа Вийона»: «Нищему дай хлеба. Трусливому дай коня. Дай ты всем понемногу. И не забудь про меня...».

Дошла в каком-то отупении до остановки, жду трамвая «Аннушку» или №39. На улице мокрый снег, сильный ветер, а в голове «...И не забудь про меня... Нищему дай хлеба... И не забудь про меня... Нищему дай хлеба...». Осенило. Развернулась и побежала в «коридорчик». Бомж уже молчал. Он удобнее устроился: сидел, опершись спиной о стену, а головой прислонившись к батарее, чтобы меньше загораживать проход. На голову была нахлобучена вязаная вытянувшаяся шапка непонятного цвета. Лица почти не видно. Я всучила ему в опухшие грязные руки 10 рублей и быстро вернулась на остановку. Не особо было понятно: от холода или от всего увиденного слезы душили меня...

27 февраля 2007 года. У нас новый начальник. Гэкает и окает. Большой. Кажется, что несгибаемый. Но поняла ошибочность своего первого мнения. Гнется. Как-то наш – уже другой Шеф (чином выше нашего начальника) читал доклад и закашлялся. «Большой» как-то рептилически, выделывая своим телом неожиданно гибкие для своего тела движения, почти ползком, с головлевской улыбкой преподнес Старшому стаканчик с водой...

27 марта 2008 года. Конец рабочего дня. Еду на Чертановскую с Калужской (на «подработку»). Не люблю автобусы. На маршрутки 555, 28, 671 длинные очереди. Подошел автобус 671. Бегу к нему, потому что опаздываю. Протискиваюсь вместе с толпой.

Высокая крепкая женщина в темно-красной кожаной куртке с мощной спиной, отодвигая меня, рвалась вперед. Понимая, что делает, она все же поворачивается и, улыбаясь, спрашивает меня: «А он-то (автобус) останавливается на Чертановской?». Молчу, не хочу говорить. Поднимаю голову, таращу на нее свои раскосые глаза и молчу. Понимаю, что она хочет этим сказать, и отчетливо осознаю, что мне нужно сделать. Всего-то: улыбаться, кивать усиленно головой и заискивающе произнести: «Да, да, едет-едет!».

Не получив от меня нужного ответа, она мне: «Ты – вредная или немая?». Сзади две женщины постарше и поменьше ростом: «Она только вчера приехала. Не видите, что ли...».

Тупо молчу и продвигаюсь вместе со всеми дальше. Свободные места еще были. Не стала садиться. Вынула из сумки книгу «Евразийский талисман» (Алматы, 1996). Открыла первую попавшуюся страницу и уткнулась в нее. Глаза натыкаются на строки: «В одном, любимом всеми нами, московском журнале читаем: ”Я тоже люблю казахов и Казахстан ...люблю как декорацию, мимо которой протекала моя юность. Я продолжал любить казахов, даже когда они стали забывать свое место...”».

На очередной остановке освободилось удобное место, прямо перед сиденьем двух пожилых женщин, тех, что поменьше. Но я села. Голова, как я ни старалась держать ее прямо, предательски опускалась. Я не хотела смотреть на сидящих пассажиров, поднимать глаза, останавливать взгляд. Делаю вид, что читаю. Тетеньки сразу оживились, повысили тембр голоса и даже повеселели. Началось обсуждение: «Киргизы просто надоели. Ну, везде, везде, где можно... Они прям как китайцы...».

Я все поняла. Я обязана это выслушать. Кто-то из нас чучмеков и чучмечек это должен выслушать – выслушивать. Молча, не споря. На ком-то это должно остановиться. Возможно, они выговаривались за все. За неудавшуюся жизнь. За то, что не в собственном автомобиле, а в общественном транспорте. За разрушенные мечты, за советские идеалы, за понаехавших из всех уголков бывшего Союза чучмеков и чучмечек, за все...

Но главное: выслушать все это мне нужно было за то, что выслушивали их соплеменники – достойные и молчаливые после краха империи, там, за пределами России – уже от моих соплеменников... Я обязана выслушать и отработать, таким образом, их унижения, отчаяние и боль, вынужденность покидать нажитые места. Они уезжали от моих соплеменников... Дай Бог, чтобы их достойно встретили на исторической родине...

Мне стало легче. И то, что они, подталкивая друг друга, кивая на меня, уже шепотом говорили: «Смотри-ка, еще и читаем...», меня уже не обижало. Они не знали, что я волею судьбы родилась в России и живу в ней.

06 мая 2008 года. В критический момент, как многие, концентрируюсь. Принимаю стойку. Голова работает хорошо. Каждое слово, мысленно произнесенное, «режет просто без ножа». Надо выдержать, выдюжить весь этот безумный по своей глупости кошмар. Глупость обоюдная: с моей стороны и со стороны моих оппонентов. Причем я их спровоцировала сама, но не осознанно, и это спасает.

Мне долго нужно будет осмысливать пути моих Бабушек по материнской и по отцовской линии. Это им я должна быть благодарна за умение «встать в стойку и держать удар», в том числе отвечать за свои необдуманные шаги.

Из записок для внуков

Рассказ

Умная, красивая и гордая, стройная, всегда прямая, белокожая и большеглазая, единственная дочь известного богача в Башкирии из рода «маскар» Мать моей Матери – немногословная и терпеливая, мудрая и трагичная наша **Ав*А***.

Статная, обаятельная, сильная духом, настойчивая, немногословная Мать моего Отца – гордая и трагичная наша **Мам*А*** – сирота из рода «тана». И хотя грех называть старших по именам, я назову. Ее звали НазирА. Но она была не Назир***А***. Она была Наз***И***ра.

Ав*А* – бросив вызов священным законам, вопреки воле своих родителей, просватавших ее с колыбели за сына богатого друга, – убежала с моим будущим Дедом – маленьким, коренастым, смуглым, бедным пастухом в степь.

После рождения двоих детей она приехала с мужем и детьми на двуколке к своим родителям просить прощения. Простили. Уезжала тяжело: вдоль дороги стояли женщины из рода, в который она была просватана с пеленок. Проклинали и бросали в нее камни. Дед мой без устали хлестал коня, Ав*А*, прикрыв телом детей, кричала мужу: «Гони! Быстрей!».

Проклятия настигли ее. Шестерых из восьми детей она похоронила маленькими. Троих за 5 дней. Остались сын и дочь. И сына – моего Дядю забрал к себе Всевышний в 18 лет... Как она отчаянно боролась за его жизнь! Сидела в Январцевской больнице у его постели. С надеждой смотрела на врачей. Отчаянно просила Всевышнего оставить ей Сына.

Осталась одна дочь – моя Мама.

На людях Ав*А* сдержанно и достойно переносила все. И смерть своих детей. И только глубокой ночью, подоив коров, накормив ужином стариков и мужа, уложив всех спать, она уходила в барханы. И там можно было услышать песни Авы, сложенные ею в память детей, и глухие сдавленные рыдания.

Ав*А* никогда не укоряла Отца моей матери – Деда моего, дошедшего в 1945 году до Германии. (Был ранен. Медсестра – русская девушка – услышала его стоны. Спасла его. Помогла таким образом нашему рождению. Поклон ей.).

И Ав*А* и Дед были степными поэтами. Письма моего Деда с фронта, написанные стихами, до сих пор помнит моя Мать.

Мам***А*** – 1942 год. В ауле не осталось мужчин, которые пригодны к службе: старики, подростки и инвалиды. У моей Мам***Ы*** на руках пятеро детей и старый, больной свекр – мой Прадед. Дед мой на войне. Мой Отец в то время – 12-летний мальчик. Голодные Дети, голодный Свекр. Мам***А*** зарабатывала трудодни одна.

Как всегда в ауле после трудового года на Наурыз устроили той. Все, как в традициях казахов: национальные игры-конкурсы, казахская борьба «Курес». Призом в «Куресе» была... коза. К этому времени в ауле уже не было баранов. Как же необходим был этот приз моим родным! Коза, которую казахи не считают достойной животиной, если есть баран...

Начался «Курес». Объявлялись желающие. Остались сильнейшие. Потом сильнейший. Ведущий громко спрашивал, кто теперь пойдет и победит сильнейшего. Мам*А* уже давно, наблюдая за борьбой, стояла, кусая губы. Принимала решение. Стыдно, унизительно, страшно: женщины не боролись. Не принято. Не положено. Однако за ней стояли две ее дочки и три сына и больной свекр - Отец ее Мужа, который едва вставал с постели только по нужде. (Но двоих сыновей – младше моего Отца - спасти не смогла – умерли малышами накануне Победы. Она так и не простила себе смерть своих мальчиков.).

В последний раз спросили, есть ли желающие. Победитель уже ходил петухом. Привязанная к столбу коза ждала своего хозяина. Из толпы выдвинулась Мам*А* и коротко сказала: «Есть!». Народ на секунду ошарашенно замолчал. Начались смешки женщин, детей, не пригодных к военной службе калек. Но моя Бабушка этого уже не слышала. Она развязала белый жаулык – верхний платок, оставив на голове внутренний платок – поменьше. Застегнула все пуговицы на камзоле. Сделав из жаулыка пояс, завязала его на талии, поправила платок на голове, приняла стойку и... борьба началась...

Она победила! И немного в ее жизни было дней таких. Дней счастья, живого, женского, материнского, человеческого. Впереди бежали дети, ведущие козу за веревку, сзади моя гордая, сильная Бабушка, которая никак не могла справиться с комом в горле, мешавшим ей нормально дышать.

На пороге их встретил мой Прадед. В глазах его были слезы: то ли глаза от редкого выхода из дома слезились от солнца, то ли Старик плакал от того, что уже не может бороться...

Мам*Е* нужно было зарабатывать трудодни. Работа в селе всегда тяжелая. Но одну помнила всю свою жизнь...

Как когда-то в Китае отстреливали воробьев, чтобы они, якобы, не клевали зерно на токах, так же в СССР заставляли уничтожать сусликов. Жаркими, беспощадно знойными днями женщины брали ведра, наполняли их водой из озера или речки, а затем выливали воду в норы. Перепуганные, беззащитные, мокрые суслики, стараясь спастись, выползали на свет. Тут их ждал «выливающий» с ведром, который должен был убить бедную тварь, отрезать хвост и доказать таким образом свою работу. Чем больше хвостов, тем больше трудодней...

Мам*А* внутри отчаянно сопротивлялась. Каждое утро шла на работу как на каторгу. Ее всегда поражал взгляд, которым (как ей казалось?) смотрели перед смертью на нее, эти несчастные твари. Они как-то неестественно заворачивали голову вверх на «выливающего», а взгляд их описать было невозможно. То ли жалости и пощады к себе просили, то ли хотели навсегда в своих глазах запечатлеть убийцу...

Иногда Мам*А* посреди поля падала на колени от наплывающей волны изнутри, сбивающей с ног. В конце рабочего дня она обессиленно садилась на землю и беззвучно плакала. Глаза сусликов снились по ночам. Не давали покоя.

Когда умирали маленькие ее два сыночка, никто так и не смог объяснить ей, от какой болезни. Сама Мам*А* решила, что смерть ее сыновей – следствие. Причина – в убитых ею сусликах.

Медленно угасали ее дети. Она не могла им помочь. Оба умирали так же, как суслики: запрокинув голову, смотрели на Мам*У*. Надежда или какой-то вопрос был в их глазах? Теперь не узнать. Запрокинутые головы и взгляд ее сыновей и мокрых сусликов, обращенных к ней, помнила всю жизнь...

Танзиля БОТАШЕВА

Боташева Танзиля Мудалиевна. Родилась в Средней Азии, куда в 1943 году были депортированы карачаевцы. Окончила Черкесское медицинское училище, французский факультет Пятигорского государственного института иностранных языков. Печаталась в периодических изданиях Ставрополья. Работала в редакции журнала «Литературный Кисловодск». Пишет на русском языке.

* * *

Друг мой, разве ты никогда не летала?
Хотя бы во сне?
Не умирала в глуши краснотала?
Хотя бы во сне?
Ты Бога, счастливая, не целовала
Не в губы – в уста?!
Такого не сталось: испить припадала,
А речка пуста?..
А я иногда под крылом ощущаю
Запас высоты!
И суетным людям прощаю! Прощаю!
Их гнет суеты!
И вижу тогда: льдом покрытые воды
От солнца горят!
И слышу: от старых церквей в небосводы
Хоралы летят!
Посмейся! А я не стыжусь, что летаю,
Ликую, скорбя!
Вернет притяженье к земле меня – знаю,
Мне крылья дробя!..
Друг мой! Разве ты никогда не летала?
Хотя бы во сне?..

* * *

Как орлы умирают?
Ну как умирают орлы?
Может быть, забиваясь
В угрюмые щели скалы?
Может, с камня срываясь
В бессильном слепом повороте?
Я хочу, чтоб орлы умирали в полете!
В полете!
Пусть душа затомилась,
И солнце затмилось в глазах,
Только б ветры, как милость,
Крылу подарили размах!
Чтоб в озерной воде
Отражалась небесная твердь!
Чтоб орлу не казалось,
Что это кружение – смерть.
Чтобы гордый орел,
Навсегда покидая высоты,
Даже в смерти обрел
Эту долгую радость полета!

Как орлы умирают?
Ну как умирают орлы?

* * *

Сухой курай. Высокое плато.
Громада снежных пиков Ала-Тоо.
Усталая улыбка старика.
И цвета сна забытого река.
Автобус – муравей в седой пыли.
Лениво огрызнулись кобели.
Тягучий дым кизячного костра.
И тайна пряной терпкостью остра.
Полуприкрыты веки. Из-под них
Не брызнут искры. Гнев настоян. Тих.
Бездонны недра мягких лисьих шуб.
Опасен лишь изгиб наивных губ.
Прохладен летом молодой кумыс.
Горяч и дерзок дружеский айтыс.
Киргизия! Неотчая страна!
Ты не ждала! Ты не звала меня!
Я здесь полдетства полупрожила.
Полчеловеком! Полуненавидя!
Я вдрогнула, холмы твои увидя!
Святая полу-Родина моя!

* * *

Не украсть бы!
Не убить бы!
Не солгать!
Малодушно и трусливо не предать,
Не обидеть невзначай, не оскорбить,
Глубоко и честно, искренне любить.
Свет зажечь,
Дождем по камушкам протечь,
И огонь в сосуде вечном уберечь...
Не украсть бы!
Не убить бы!
Не солгать!

Мадина ХАКУАШЕВА

Хакуашева Мадина Андреевна, родилась в Нальчике. В 1981 г. окончила медицинский факультет Кабардино-Балкарского государственного университета, в 1985-м – клиническую ординатуру по кардиологии при Первом медицинском институте в Москве, в 1987-м – аспирантуру при Институте профкардиологии Всесоюзного научного кардиологического центра. В 1992 г. экстерном окончила филологический факультет КБГУ, в 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию «Онтологические основы адыгской мифологии», потом докторскую – «Художественная актуализация онтологических основ адыгской мифологии. Формирование литературных архетипов». Работает старшим научным сотрудником Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований РАН. Публиковалась в журнале «Литературная Кабардино-Балкария» под псевдонимом Асхад Гуазов. Фрагмент из романа «Возвращение домой» – «Кабардинская усадьба» – вошел в антологию «Современная литература народов России». Журнальный вариант «Дороги домой» опубликован в «Дружбе народов».

Вечеринка

Рассказ

Комната для торжества была любезно предоставлена комендантом общежития Бабилоном. По-настоящему его звали редким, теперь уже реликтовым именем Демьян (но, опережая навязчивую ассоциативность массового сознания, спешу уточнить, что при этом он был отнюдь не бедным). Другим, более известным именем Бабилон был окрещен при разговоре советского обитателя общежития с другим, англоязычным, когда первый вместо tall baby – высокий ребенок, окрестил коменданта baby long, подметив таким образом удивительное сходство с ребенком, который слишком быстро вырос.

Комната для торжеств располагалась в торце длинного коридора и являлась самой большой из всех имеющихся на этаже. Точно такая же планировка была на всех других этажах. Подобные комнаты никогда не пустовали и сдавались «перелетным». Было странным, что одна из них оказалась пустой. «Это что же, в обмен на нашу лояльность?» – спросила Юля, старшая в нашей комнате. И стоило коменданту скрыться из виду, как Леночка продолжила Юлину мысль, кося лисьими глазками: «Молчание тоже покупается. Иногда без денег». Временные жильцы постоянно менялись. Поговаривали, что Бабилон сколотил себе целое состояние, но никто никогда не мог этого подтвердить – официальных свидетелей не находилось, неофициальными были многочисленные бывшие пассии коменданта, с одинаковой точностью описывавшие несколько сберкнижек с фантастическими цифрами, на которые они натолкнулись, когда искали материальную компенсацию нанесенному моральному ущербу и одиноко ревизировали демьяновскую квартиру. Не найдя ни рубля, вскоре они все до одной к нему возвращались. Это было одной из тайн Бабилона. Никто из женщин не мог объяснить, чем же была для них эта связь, но Леночка, однажды «по глупости» опалившая свои крылья о его неугасимый жертвенный костер, потом промолвила, что это было чем-то. Он являлся великолепным физическим образчиком – с идеальными пропорциями и при этом совершенно безликий. Бабилон говорил мало, только когда это было необходимо, и только то, что необходимо – по форме. С течением времени он не старел, но и не расцветал – просто не менялся. Когда спустя лет десять я оказалась в Москве и, еле переводя дыхание, заехала на Пироговку, затем только, чтобы вновь окунуться в эту непередаваемую атмосферу, ставшую центральным символом моей молодости, сразу же наткнулась на Бабилона. Он был первый, кого я увидела, оказавшись снова в холодном чреве общежитского вестибюля, и казался таким же, как в день нашей первой встречи, когда я испытала безотчетный страх. Потому что комендант, сказала я себе тогда, но вскоре решила, что причина в другом. Он представлялся мне всегда отлаженным стальным механизмом. Бабилон смотрел на меня глазами цвета металлик и даже улыбался. Впрочем, при встрече он улыбался всегда. Но я не обольщалась, ибо воплощала в его

глазах символ женщины вообще. Не то, чтобы он не ценил женщин, – напротив, но мне всегда казалось, что реагировал не на конкретную женщину, а на атрибуты женственности, – этакий непогрешимый тест на оптимальный уровень эстрогенов или на фенотипическое соответствие видовой норме пола. Однако, являясь безусловным ценителем достоинств физических, Бабилон, тем не менее, мог оценить и неовнешвляемый «тонкий» слой женщины. Он был по-своему умен и не лишен чувства юмора. Но в нем властвовала какая-то разрушительная стихия, именно потому, что он ничего не выражал. Ни одной идеи. Ничего. Пустоту. В ней провисали и теряли смысл все слова и действия. Все бледнело и утрачивало суть перед его всеядным всепоглощающим *ничто*.

Откуда он взялся? Никто даже не задавался подобным вопросом, будто он жил и будет здесь жить вечно. Результат беглых связей многих поколений в коловороте движения разношерстной толпы огромного города, где давно не осталось ни корней, ни стойких привязанностей. Я что-то ему говорила и думала о том, что его можно было назвать красивым, но облик невозможно было запомнить; стоило только отвернуться – и он представлялся человеком без лица. Бабилона побаивались все, даже аспиранты третьего года. Но некоторым нервическим субъектам, преимущественно женского пола, он внушал мистический ужас. Дело в том, что в респектабельном номере коменданта регулярно случались очаги самовозгорания. Это было темное дело, и долгое время ходили упорные слухи, что Бабилон устраивал поджоги сам, чтобы получить какую-то страховку. Другие утверждали, что это дело рук шутников, которые от большой «любви» подбрасывали бомбочки с зажигательной смесью, пока, наконец, не нашелся очевидец, который случайно оказался у коменданта в критический момент. Он неожиданно почувствовал запах гари, а вскоре внезапно задымил матрац, привычными жестами Бабилон хладнокровно и деловито залил свою постель пеной из огнетушителя, который предусмотрительно повесили у комендантской двери.

Мы готовили, как обычно, почти всем этажом, но при этом центральной фигурой всегда оказывалась Роза. Она никогда не давила и не управляла, но невольно выходило, что руки её мелькали быстрее и увереннее других, хватка оказывалась самой крепкой и проворной, советы – нужными и действенными, а улыбка – самой веселой и добродушной. К вечеру праздничный стол был почти готов. Он был преимущественно куриным, но моя скромная доля, разумеется, не могла покрыть гастрономических потребностей непредсказуемого числа потенциальных участников, так что по большому счету стол был как всегда сборно-импровизированным. Стали появляться гости. Пришла какая-то хрустальная блондинка – настоящая: тонкокожая, с лазоревым взглядом, неправдоподобной талией, такая субтильная для нашей полнокровной компании. Кто-то вызвался быть телохранителем, чтобы её не снесло первым же взрывом веселья.

На пороге появилась округлая женственная немочка трезвого мужского склада; она могла безошибочно рассчитать все, вплоть до отдаленных последствий любовных связей. «Зачем ты поступила на медицинский, у вас же врачи очень бедные?» – спросила она меня с обычной обезоруживающей прямотой. Не желая расписываться в собственной недальновидности (ибо эта сторона вопроса мною вообще не была принята во внимание), я ответила вопросом на вопрос: «А ты зачем?» – «Чтобы не считать всю жизнь копейки». И подробно изложила иерархию финансового роста немецких врачей – от выпускника до владельца частной клиники, легко оперируя многозначными цифрами. Я молча впечатлилась. Еще недавно она продемонстрировала пример своеобразной немецкой щедрости, почти расточительности. На Новый год она вздумала одарить нас подарками, при этом малышка принесла длинный список, написанный каллиграфическим почерком педанта, и принялась зачитывать наши пронумерованные имена и фамилии. Очередному счастливцу выдавался милый сувенир из мешка. Роль Санта-Клауса выполнял смуглый возлюбленный из какой-то арабской или африканской страны.

«Не понимаю, зачем вам оказывать гуманитарную помощь странам третьего мира и вообще нуждающимся, если у вас самих нечего есть?» – спросила она меня другой раз. Я слегка опешила: кажется, это был вопрос не совсем по адресу. Но мой небольшой паралич был вызван другим: непонятно было, зачем она сама пользовалась услугами «бедной» страны. Однако я промолчала. Девушка эта, с сияющими удлиненными синими глазами, и дальше смущала меня непосредственностью и социально-политическими вопросами, полными явных парадоксов. Если к подобному положению вещей я и мои соотечественники привыкли настолько, что попросту уже почти ничего не замечали, обозревая свою жизнь «изнутри», то здесь я была озадачена упрямой констатацией этих парадоксов «снаружи», свежим взглядом со стороны. Но вскоре до меня докатился пущенный кем-то термин «антисоветчица», и все как будто встало на свои места. Она пришла все с тем же смуглым возлюбленным, богатым наследником, который ее «очень

любил». («Он тебе сказал об этом?» – спросила я. – «Разве я выгляжу такой глупой? – парировала она с милым акцентом. – Он меня содержит с первого дня».). Кроме того, он готов был по окончанию учебы поехать с ней в Германию и принять католичество.

Явился упомянутый выше худощавый нервический ординатор Чары – четвертый сын, четвертый раз успешно замещающий первого и отсутствующего мужа Милы, которая пользовалась самым высоким негласным рейтингом женского благополучия. На общественных мероприятиях она любила надевать на него галстук и, зацепив кончик двумя пальцами, водила его за собой повсюду. Картина принципиально не менялась и без галстука, поэтому Чары заслужил определение «раб любви». После него пришла роскошная незнакомка, похожая на кающуюся Магдалину работы Тициана, и через десять минут была уведена кем-то из присутствующих, которого я могла рассмотреть только со спины. Незаметно возник славянский Лель (неужели они еще не перевелись?): русоволосый, статный, с серо-голубым взором на прекрасном лице, слегка отстраненный, как и подобает полубожеству, так что вечно бодрствующий созерцатель во мне встрепенулся и восхищенно замер. (Я всякий раз попадаюсь в одну и ту же ловушку: за красотой я всегда – до сих пор – предполагаю бездонные глубины, которых чаще всего там нет.). Заплыла переодевшаяся Роза, большая, теплая, ласковая казашка, мировая мама, на смуглой, полной груди которой выплакивалось и находило утешение, кажется, все общежитие. Рядом оказался круглый незнакомец: фигура, голова; лицо – свежее, розовое, с мягкими чертами и яркими глазами-незабудками – рекламный американский фермер. «В какой же газете Вы работаете?» – спросил он меня. Я сказала, что работаю в клинике. Он правдоподобно удивился. «Но Вы ведь брали интервью у моего друга!». В результате выяснения маленького недоразумения выяснилось, что он шел вообще-то не ко мне, однако остался. Пришли четыре незнакомые девицы, одетые в майки основных цветов радуги, с английскими буквами на груди и спине. Но в середине вечера они вольно или невольно совместились и составили вместе требуемое слово: «LOVE». Разумеется, была Мышка в черно-белых тонах, подтянутая, собранная как всегда. Она никогда не пользовалась косметикой, не красила волос неопределенного цвета, но это вызывало лишь неподдельное восхищение ее мужеством: она не боялась раствориться на фоне невообразимого женского цветника. При малом росте и невыразительном лице с мелкими чертами, она была пропорциональна, но было еще в ней нечто, что позволило ей избежать скучного клише «деловой дамы» или уж того лучше «синего чулка». Всезнающая, все умеющая, вездесущая, с высоким зарядом неукротимой ровной энергии и свежей бодрости. Мышке уже сейчас было предложено место в ведущей клинике Москвы. Неулыбчивая, деловитая, немногословная, она в нужную минуту всегда оказывалась рядом и находила выход из любого безвыходного положения. «Мышки творят этот мир», – острота, пущенная кем-то на первых этапах ее появления, незаметно переродилась в аксиому, которая уже без тени иронии вошла в сознание каждого из ее окружения. Некоторые полагали, что у нее проблемы с чувством юмора. Она принимала шутки без обычной оживленной реакции, в своей плоскости, все же остальное встречалось ею с ледяной вежливостью, так что попытки шутить дальше пресекались сразу. В ней все было определенным: манеры, взгляды, мнения, цели. Наверное, именно *поэтому она все делала по существу*. Мышке ничего не стоило с вежливой прямолинейностью пресечь лишний разговор, а если это было невозможно, она умела без промедления выйти из него и сразу удалиться. Она умудрялась говорить только то, что нужно, делать то, что требовалось в конкретной ситуации, оказываться только там, где ее ждут. Это чувство уникальной *уместности* больше напоминало талант, который достигался редким сочетанием ума, здоровой бескомпромиссности и железной воли. Наши философствования и споры она называла «ненасущным теоретизированием, которое может подождать» и была в основе своей практиком, но могла быть и блестящим теоретиком, если в какой-то теории была конкретная нужда.

Впрочем, однажды Мышка все-таки снизошла до участия в общественных спорах, обнаружив в себе определенные феминистские наклонности прогрессивного толка. Кто-то из мужчин считал, что женщина должна «использоваться по прямому назначению, что феминизация не что другое, как сублимация, и в женском исполнении все это может кончиться простым вырождением, если только подобным глупостям не поставить железный заслон». Это грубо-натуралистическое мужское крыло блокировалось женской партией, во главе которой, разумеется, оказалась Мышка: «Вы сами во всем виноваты (то есть мужчины), – произнесла она спокойным контральто с металлическим тембром, – дали женщине права и образование». В Мышкиной ораторской магии присутствовал некий посыл, и каждая ее фраза проливалась благодатной влагой в атмосферу засушливой почтительности, которая неизменно воцарялась вокруг ее маленькой персоны.

- Вы дали женщине шанс убедиться, что она может (пусть в другой форме), но по сути столько же, сколько и мужчина, а то и больше. И после этого хотите социально адаптированного, умного человека ограничить старыми рамками трех К.! Кажется, только сейчас женщина доела эдемское адамово яблоко, и по простоте, сама того не ведая, перегрызла горло мужским амбициям, – добавила она, насмешливо кося черными глазами, которые в сочетании с железной хваткой непогрешимо выдавали ее статус достойного потомка Чингиз-хана. – Вообще-то, с легкой руки мужского мирового сообщества, произошла катастрофическая путаница: реально на поверхность выплыл не пресловутый женский вопрос (женщина стала наконец тем, чем должна была стать), а мужской – это мужчины в небывалом смятении: они не могут приспособиться к новой женщине и изменившемуся новому миру». После Мышки заставили высказаться меня. Настаивали в основном мужчины, очевидно рассчитывая на кавказский традиционализм и патриархальность.

Моя манера явно уступала Мышкиной безапелляционности: «Что больше всего стимулирует человека держаться на плаву в самой критической ситуации? – спросила я для начала почтенную публику, – скажу по собственному опыту, который мне представляется типичным: что-то, вероятно, чувство собственного достоинства, *не позволяет себя ощущать, а значит, становиться жертвой разных обстоятельств*. По-моему, вся развернутая картина женской социализации идет от этого импульса. Врожденная любознательность и живость ума обеспечили женщине формально равное положение с мужчинами. Реального равенства нет. До него очень далеко. Еще существует целая система объективных условий дискриминации. Но еще больше, несравненно больше, *женщины носят в себе рабское сознание*, подкрепленное целой системой общественных психологических установочных ценностей. Все вместе не дает женщине почувствовать себя свободной». Мужское крыло казалось разочарованным. Мы проговорили тогда почти всю ночь и наутро испытывали некоторое чувство неловкости от созерцания вывернутых наизнанку душ, ослепляющих запретной наготой.

По легкому оживлению женщин я спиной почувствовала Жору, небрежного, изысканного, с ленивой грацией: море обаяния и безответственности. Шелковистая шевелюра, кожа с редким золотистым оттенком, будто ее круглый год покрывал бархатный загар Средиземноморских и Карибских пляжей. Нахальные глаза цвета спелых каштанов на удлиненном породистом лице. Он был «бендеровец», с Западной Украины. Каких только многозначных эпитетов не было послано в его адрес! Но все проклятия не доходили до Всевышнего, и наш Казанова вновь и вновь поглощал свои жертвы с непринужденной бездумностью волны, омывающей прибрежный песок. Если вдуматься, все обвинения в его адрес были беспочвенны: он и пальцем не шевелил, как наживка оказывалась проглоченной целиком и добровольно. Или так: он только ходил под деревьями, а плоды сами падали в его раскрытую корзину. Похоже, Жора был создан срывать необозримое многообразие женских ароматов: от первых острых, свежих, до последних пряных, волнующих; он собирал нектар с женского разноцветья, легко порхая с цветка на цветок, без труда пробирался в целомудренные бутоны и купался в обильной пыльце широко распахнутых чашечек, щедро раскрывавших ему свою сокровенную сердцевину. Был ли он медоносом или только мотыльком – трудно сказать. При первых ощутимых флюидных вибрациях в мою сторону во мне безотчетно сработал инстинкт самосохранения – я сразу (хоть и не без известного усилия) установила безопасную дистанцию. «Куда Вы, ослепительная?» – взывал он ко мне при встрече парализующим низким баритоном. Иногда я казалась ему восхитительной, что, впрочем, принципиально ситуации не меняло. Это обстоятельство повергло его в веселое замешательство и, кажется, позабавило. Разбуженный ленивый азарт походил на каприз. Однажды, заглянув в нашу комнату и обнаружив мое одиночество, он сослался на жару и медленно расстегнул рубашку, явив моему взору молодую рельефную грудь песочного цвета, живописно поросшую темно-золотистыми короткими волосками, тоном темнее волос на голове. Все было проделано с таким изяществом, что моя отяжелевшая правая рука так и не поднялась для звонкой пощечины. «Не напоминает ли тебе этот рисунок силуэт кавказского орла?». Я сказала, что ценю его тактику. Он ответил, что его бы больше обрадовало, если бы я ее разделяла, и добавил после небольшой паузы тоном дельфийского оракула: «Я уверен, что это произойдет очень скоро». Бедняжка, он и не знал, что последней фразой подписал себе окончательный приговор. Орел на его груди не прибавил ему информации о кавказской психологии.

С Жорой пришел Вадим, молчаливый, ироничный, с выразительными глазами и руками: умными, сильными, с длинными чуткими пальцами. Его уже сейчас признавали богом полостной хирургии.

Пришла девочка Ана. Она была югославка, жила в Венгрии (училась в Союзе), встречалась с поляком и носила японские контактные линзы. У нее была обезоруживающая манера все вещи называть своими именами, которая поначалу шокировала, но мы к ней привыкли, а вскоре оценили, насколько это удобно. Она недавно вышла замуж и подло заявила нам об этом уже постфактум. В первую минуту мы растерялись, осознав свою неготовность достойно встретить это знаменательное событие, но находчивая (за чужой счет) Юля сообразила: «Сейчас в честь этого чудесного случая споет наша Дина!». Все захлопали и закричали: «Спой, спой!», а Юля молча придвинула стул к моим ногам. Я потребовала сырых яиц, как в том фильме, но их не нашлось. Тогда я торжественно взошла на сцену, с двух сторон любезно поддерживаемая (ввиду ее особой шаткости), откашлялась, объявила: «Эпиталама из оперы А. Рубинштейна “Нерон”!», и отпустила на свободу все скрытые резервы своих неслабых голосовых связок:

Пою тебе, бог Гименей!
Тот, кто соединяет невесту с женихом!
Ты любовь благословляешь,
Ты любовь благословляешь!
Пою тебе, бог новобрачных!
Бог Гименей, бог Гименей!

У заглянувшей в дверь Люды округлились глаза: «Я думала, вы включили радио на полную катушку!».

Пришла Светочка Т., источавшая нежный, едва уловимый аромат полевых цветов. Сначала она казалась угловатым подростком, но скоро раскрывался ее особый тонкий стиль, который меня завораживал. В ней не было ничего, что могло быть направлено *вопреки*: чьим-то словам, воле, даже невысказанным мыслям, логике сиюминутной, пустяковой ситуации. Она будто видела любой невидимый предел и легко обходила его, не потому что не могла его преодолеть – просто не хотела ломать, так как всегда знала выход. Тому были свидетелями ее широко расставленные глаза, меняющие свой оттенок от светло-серых до зеленых, и прелестный выразительный очерк губ, и многообразие мимики ее чистого лица, особая чуткость тонких, теплых рук, трогательная и вместе с тем уверенная посадка головы с копной кудрявых каштановых волос, непринужденное изящество манер. Она никогда ничего не комментировала, только могла что-то ненавязчиво обронить с неподражаемой нежной улыбкой. Но чаще всего она-то и исчерпывала или объясняла проблему, только легко касаясь ее, словно то был хрустальный бокал, и благодаря ей все объяснялось так просто и естественно. Вместе с тонким ароматом она оставляла ощущение недосказанности, незавершенности, недо... Может быть, именно поэтому я так искала ее общества, тщетно пытаясь найти то, что наконец дало бы мне необходимую уверенность ее безусловного расположения и симпатии. Света невольно будила мои мысли, но не направляла их. Я пыталась удержать ее под разными предлогами – когда могла, она оставалась, но я никогда не могла сказать, что она целиком со мной, – в ней обитал какой-то неуловимый дух, который только свободно парил, а в руки не давался.

После оживленной трапезы начались танцы. Я осталась с Вадимом и заговорила с ним о его перспективах. Он отвечал односложно, как бы нехотя, и, в конце концов, признался, что не видит никакого выхода: «Я знаю, что при возможностях центра я мог бы вырасти. В этом я не чувствую предела. Меня оставляют хоть сейчас. Но нет никаких вариантов приобрести жилье. Куда я привезу семью? Что ж, вернусь домой. Тоже неплохо». Ему светила областная больница и тяжелая клиническая рутина: грыжи и аппендициты. Я вспомнила слова Жоры, что Вадим рожден для «высшего хирургического пилотажа», и мне стало грустно. Мы пошли танцевать, чтобы переключиться на более веселый лад.

После Вадима меня пригласил женоподобный юноша, исполненный лунной прелести, будто сошедший с портретов Караваджо. Во время танцев он весело сообщил, что «открыл» меня. «Я тебя тоже», – вежливо ответила я. Еще бы, ведь интерес ко мне обличал в нем мужчину. Он представлял совершенно особую прослойку мегаполисов – unisex, некий средний пол юнцов с безволосыми ликами, с плавной девической грацией обнимающих женский стан своих подруг (или друзей), и их узкобедрые плоскогрудые подруги, среди которых мой женский фенотип, начиная с полновесного третьего номера белья, кончая высоким сопрано, отмечали меня клеймом неактуальной древней расы, стереотип которой исчерпал себя и уплывал за ненадобностью в прошлое. Там же, в прошлом, оставался вульгарно первобытный тип Тарзана, страдающий передозировкой анаболиков, слезливо-сентиментальная Золушка, роковая красотка Кармен с провинциальным душком, кинодивы с ярким янь и той же избыточ-

ной мышечной массой: Шварцнеггер, Сталлоне и другие супермены. Бесполые, длинные, синеджинсовые ноги унисекса, его стильные мальчишеские стрижки, усредненные манеры и стиль унисекса, без грубых претензий на тяжеловесную определенность пола... Словом, унисекс набирал мощь и из так называемого маргинального столичного феномена незаметно переместился на первый план, превратившись на моих глазах в некий унисексоцентризм, что пришел к власти с невозмутимой уверенностью избранника эволюции.

Незаметно для меня прибыл мой бывший пациент, молодой грек. Впервые увидев его античную голову с короткими тугими завитками на трогательном затылке, в котором соединились вся сила и хрупкость andros, я мгновенно узнала ее – предмет моей подростковой ностальгической тоски,– ею были изрисованы все мои школьные тетрадки. Чудом заблудившийся в заснеженной Москве, он заработал очаговую пневмонию, но быстро оправился не без моего скромного участия. Невозмутимый, молчаливый, непосредственный, он обладал свободной грацией первых. Никогда не предварявший своих действий словами, С. поставил свою кассету (сиртаки, разумеется), молча подошел ко мне и повел в танец. Мы двигались легко и удивительно согласованно.

- Ты когда-нибудь уже танцевала это? – спросил он.

- Не знаю, – ответила я. И это была правда: никогда раньше не танцуя сиртаки, я теперь *вспоминала* его. Он не удивился странным ответом. Впрочем, он никогда ничему не удивлялся.

Тем временем я отдавалась происходящему, и оно проникало в меня медлительным сладострастием: музыка, полная чарующего света и солнечных нездешних ритмов, постепенно заливала, наполняла знакомым щемящим чувством. Танцующие пары, объятые весенним таинством ночи, увлекали за собой, волновали. Кажется, сегодня в этой комнате сосредоточилось все мировое либидо, которое высекало искры из любых случайных прикосновений. Я все глубже погружалась в стихию музыки, движений, ночи, накатывающей волнами в приоткрытое окно и пузырящей тяжелую старую кисею занавесей, с томительными ночными запахами. Я острее ощущала тоску, безмерную, всепоглощающую, и вместе с острым наслаждением от переживания этого момента росло бессилие до конца слиться с ним, преодолеть непроницаемую прозрачную стену, которая оставляла мне только роль зрителя. Я снова различала знакомый черный сосок воронки этой восхитительной, вечно юной, зыбкой поверхности жизни, засасывающей болотом, в котором, не касаясь дна, все тонешь и тонешь.

***

Было около полуночи, когда я провозгласила без обиняков: «Мы пойдем купаться к пруду!». Кто-то уставился на меня с откровенным изумлением, но, предусмотрев подобную реакцию, я воззвала к духу здорового авантюризма. Ему соответствовали немногие – человек семь. Мы вышли. Весна еще не проклюнулась и не обрела подобающие зрительные формы, лишь по ночам орали, как дети, мартовские коты, объятые любовным пламенем и отстаивающие права на свою территорию, но что-то томительное было разлито в воздухе, волнообразно набегало и теснило грудь. Март выдался сырой и теплый, но ночи были по-северному холодны и ветренны, однако овладевший нами веселый дух не давал замерзнуть. Наш громкий дробный смех взрывал пустое пространство широкого ночного проспекта и беспрепятственно катился вперед и назад. Незаметно приблизились и смутно забелели стены Новодевичьего монастыря, вскоре блеснул черный глянец пруда. Раньше здесь разводили карпов монахи, теперь плавали скромные серые утки. Сейчас они спали. Вадим полез на одинокий фонарный столб: он задумал укусить фонарь. Несмотря на то, что эту идею присутствующие не разделяли, он все-таки достиг цели, но его отчаянная целенаправленность в последний момент разом исчерпала себя, и он съехал. «Кто со мной?» – спросила я громко. Даже темнота не способна была скрыть испытывающего взгляда Светы: «Я думала, ты шутишь». – «Какие уж тут шутки: я в купальнике», – и стала раздеваться. В воду влез один Чары, но с воплем выскочил. Едва окунув руку в воду, мои коллеги один за другим отскакивали от пруда: каждый порыв энтузиазма оказывался погашенным ледяной водой. Со мной уже никто не спорил («бесполезно, клинический случай»). «Послушай, могут быть судороги. Ты хотя бы держись берега», – сказала Света тихо, но проникновенно. Я пообещала и зашла в воду. Меня пронзила острая боль в левой стопе: я наступила на острый камень или скорее осколок бутылки (позже пришлось ее перевязать: сильно кровила). Сама не знаю, почему я назвала какой-то первый пришедший в голову предлог для вечеринки, не называя истинного. Тело онемело от студеной воды. Но мне это не мешало. Я ритмично плыла: вдох над водой, выдох в воду. Я уже не чувствовала боли. Я не чувствовала даже тела. Плыл один мой бесплотный дух. Требовалось купаться до зари, пока водоем не осквернит нечистое животное. Я купалась до зари в новогоднюю ночь 22 марта – по адыгскому календарю.

Аминат МАГАЯЕВА-ГАППОЕВА

Карачаевская поэтесса Аминат Исмаиловна Магаяева-Гаппоева – автор книг: «Крылья жизни (2002), «Времена года» (2003). Член Союза писателей РФ, кандидат философских наук. Регулярно печатается в периодических изданиях КБР и КЧР. Живет в городе Карачаевске.

Возвращайтесь

В шумливой суетливости вокзала,
В преддверии разлуки и тоски:
«Любимый, я не все еще сказала...».
Зеленый свет, прощальный взмах руки...

И боль в душе, – чем больше расстоянье
Меж любящими, тем она сильней.
Бывает иногда, что расставанье
Рвет счастья нить, и бусинами дней

Усыпаны полы в холодном доме.
Мучительно их собирать одной...
А легче ли в разлуке, как в разломе,
Тому, кто ходит под чужой луной

По острому стеклу воспоминаний?
К таким и обращаю голос мой:
- Весь этот мир – игру бессчетных граней
Поймете лишь в пути... в пути домой.

Моей матери

На все сквозь изумруд глядит с улыбкой лето:
Весь мир зеленым стал... похожим? — ну и пусть!
Но если желтизной хоть веточка задета,
У матери моей в глазах синеет грусть.

Заботливы, нежны, бессонны наши мамы –
Тревоги всей Земли на плечи их легли.
И за детей, за нас, волнуются, когда мы
Смеемся ли, грустим, вблизи или вдали.

Я и сама уж мать, не понаслышке знаю,
Кто для своих детей всегда надежный щит.
И все мы для тебя равны – никто не с краю,
За всех, за четверых, твоя душа болит.

А время для тебя идет неравномерно:
Когда мы рядом – день считаешь ты за миг.
Но лишь мы за порог, — час, ухмыляясь скверно,
Все длится, словно он суть вечности постиг.

Как из гнезда птенцы, окрепшие крылами,
Летят, так мы спешим покинуть дом родной.
Но нежность твоих рук повсюду будет с нами,
Согреет в холода и даст прохладу в зной.

Мы в памяти храним твой лик, зеркально зыбкий;
Морщины, что от глаз бегут к седым вискам;
И ласковый твой взгляд, и доброту улыбки...
И – хочется домой, припасть к твоим рукам.

Как в детстве, ты ведешь нас мудрыми словами.
Тебе во славу все, что в жизни мы смогли.
О матери Земли, Аллах да будет с вами!
Аллах, убереги всех матерей Земли!

Матерям

Всегда был славен мудростью Кавказ –
Всевышнего владел бесценным даром.
А ныне – что в почете среди нас?
Безумие? Тогда большим пожаром

Охватит нашу родину вражда, –
Ее огонь кому-то греет руки,
В аулы заползая, в города,
Быстрее и бесшумнее гадюки.

И гаснет пламя горских очагов,
И плачут безутешные сироты;
Напрасны ожиданья юных вдов...
Страданье, горе – вот войны щедроты.

Я сердце обращаю к матерям –
Не в микрофон, в безмолвие эфира, –
Иду я не к героям и царям,
А к вам – надежде и залогу мира.

Аллах, молю, пусть слово матерей
Услышат и в закон возводят горцы,
И станут рассудительней, добрей...
В своем краю мы сами миротворцы.

Как встарь бывало – с головы платки
Мы снимем, чтобы бросить меж врагами...
И танковые сбавят ход полки –
Перед святыми материнскими слезами.

Я женским сердцем заклинаю вас,
Народы мира, всей душевной болью, –
Поверьте, не сломить врагам Кавказ,
Зато друзей он встретит хлебом-солью.

***

Славен был путник – бесстрашный ездок –
Встретил красивую, словно цветок...
Дивное диво, ну как не сорвать –
И не успеет на помощь позвать!

В битвах отвагой испытан клинок.
Князь родовитый силен и жесток.
То, что его, не отдаст он врагам,
То, что по сердцу, добудет он сам.

Воин упорен, и воля сильна.
Что из того, что она не княжна.
Силой заставит, поманит казной, –
Волей-неволей, а станет женой.

Гордая дева... идти под венец –
Бог не сулил им единство сердец.
Жить с нелюбимым – и полдень, как ночь.
Ввек ей тоски этой не превозмочь.

Мой горный край

Мой отчий край, мой горный край,
Суди меня, но не карай,
За все, что я сказать посмела...
Я – твоего частичка тела.

Я в твоем сердце золотом –
Здоровья бурного симптом.
Расту я веточкой зеленой,
Защищена могучей кроной.

Меня ты солнцем обласкал –
Песчинку у подножья скал.
Я в водопаде каплей влаги
Лечу, исполнившись отваги.

Я – перышко, но из крыла
В зенит глядящего орла.
Я лишь звено в цепи очажной,
Лишь звук в мелодии протяжной,

Что иногда, уйдя в мечты,
Негромко напеваешь ты.
В тебе ни хитрости, ни злости,
В твоем дому желанны гости.

Ступайте мягче по земле

Давным-давно потерян счет
Сраженьям на земле.
Равно – бесчестье и почет –
Все кануло во мгле.

В полях, где кровь текла рекой,
Где падал враг и друг,
Оратай сильною рукой
Ведет свой острый плуг.

На месте древних городов,
Что сожжены дотла,
Трава взошла на слезах вдов,
И почва их – зола.

Порой ступаем по костям,
Не ведая о том,
И строим, радуясь гостям,
На пепелище дом.

Под солнцем в вековой борьбе
За место на земле
Есть выбор и в людской судьбе –
Жить не во зле!

Перевод с карачаевского автора

Борис ЧИПЧИКОВ

О себе. Родился в 1948 году в Киргизии в селе "Красная речка", живу в Нальчике, около поселка "Белая речка".

В 1978 году окончил истфак КБГУ, в том же году опубликовал первый рассказ в альманахе "Шуёхлукъ". Печатался в местных газетах и журналах. Член СП России. Издал две книжки - одна на русском языке "Возвращайся свободным", другая на балкарском языке "Улыбается Боже", третья томится в издательстве; они, правда, все худенькие и, если их объединить, то получится одна, да и та, не сильно пухлая книга. Я враг объема в литературе. Аполлинер: "Большая, прелестная осень", - здесь и ширь, и высота, и будни. В отличии от великих и не очень, считаю, что литература влияет на жизнь нашу, просто мы этого не осознаем. Ключевая фраза в жизни моей и судьбе: "Раньше родители жили на моей Родине, сейчас я живу на их Родине". Живу, и никак не могу привыкнуть к Родине моих предков. Меня, сформировавшегося, без малого, восьмилетнего перенесли из Средней Азии на Кавказ. Если бы я переехал из Курской области в Смоленскую - сильной разницы я не ощутил бы. Но переезд из Азии на Кавказ - это перемещение на другую планету.

Пытаюсь не поддаваться на "перегибы" власти: раньше "гнули в одну сторону, сейчас резко дернули в другую… стараюсь не реагировать и держаться за стержень именуемый детством. Да, пожалуй, еще поиск дома, тот, где я сейчас проживаю, десятый по счету, за квартиру я уже и не говорю. И все-таки есть, есть что-то соединяющее обе мои Родины. Родился я на Родине Айтматова, а живу на земной Планете Кулиева. Жить нужно, и я мечтаю о дне, когда я скажу - жить можно; плохо в это верю и, все-таки, надеюсь.

Дворец мой в безлюдной степи

Рассказ

Обездоленность – когда нечего дать другому.

После ухода мамы мы собирали поминальные кульки со сладостями на девятый день, потом на пятьдесят второй. И даже сквозь горе чувствовалось, что делаем что-то не то – пытаемся накормить сытых. Сестру, наверное, Бог надоумил: в годовщину поедем в интернат, там и раздадим милостыню, неожиданно сказала она. И мы, ближайшая родня, наполнив «Газель», поехали. Миновав ближайший городишко поселкового типа, поплутав в степи с полчаса, мы подъехали к этому интернату. Дом с колоннами, а рядом ни жилья, ни людей, ни живности. Степь до горизонта и дом с колоннами – жилище Кафки, земля его собственная. Время забылось в нереальности. И интернат этот предназначался для умственно отсталых людей. К нам подходили обитатели этого дома: у кого - губа заячья, у кого - глаза в раскосяк, у кого – шея шире черепа. Обступили, разнообразные, невиданные на земле формы, будто фантастичные видения во сне. И странно, от них не отшвыривало, а притягивало, как к неведомому, но долгожданному теплу. Будто, прошедши сквозь пургу, подполз к очагу, к горячей чашке чая. Мы жали друг другу руки, обнимались, как фронтовики в первые мгновения после войны. Слов было мало, будто мы давно все обговорили. И в простор милославия, через Босхианские формы, на меня нежданно накатили потоки, едва узнаваемого, простого, чистого добра, изначально нами забытого, но помнимого только этими людьми. Наверное, так же внезапно, нас

вбросят в чистилище, и мы испытаем то же самое, что испытывал я, стоя на земле, в поле чистом, у дома с колоннами. Да ведь я, оказывается, и не жил вовсе, разве, что сейчас жить начал, в миг сей, и миг был такой емкий и долгий, и предполагал какое – то долгое продолжение, смывая предыдущую жизнь мою, зряшную почти. Господи, избавь меня от гордыни, хожу я с ней по хлябям земным, не ведая пути своего, и не будучи хозяином дел своих. Сил как у цыпленка, а гонору – как у ста орлов, вместе взятых. Господи, дай мне смиренье, а значит и истинной жизни чуток. Я ведь догадываюсь, что такое смирение.

Смирение - не крест, раскрашенный кровавыми губами.

Ни кисти муэдзина в полутьме. Смирение – не хлеб мой вчерашний. Не хлеб, о котором мечталось во сне. Не взгляд мой осенний, в продрогшем окне. Не раскаленный посох, тлеющий в пыли. Не ставни – до земли. Смирение – когда в глазах старушьих, синеет целомудрие весны.

И я жал руки и обнимал этих людей, как носителей той жизни, которую просил у Бога. Мое сокровенное, мое самое ценное, самое необходимое, было не во мне, а в них. Один бы я не унес, и Боже дал мне подмогу. Крест свой, я худо-бедно, несу, но долю свою, от Божьей благодати, один я не унесу. Буд то самое ценное свое я сдал на хранение, и я знал, что в миг любой, оно вернется ко мне преумноженным.

2

Санитары сказали: вы сами раздайте ваши кульки по палатам. И мы пошли по изодранному донельзя линолеуму коридорному, вдоль давно не беленых стен. Обитатели больниц и тюрем, обретают суть, исходящую от стен этих домов – грустную суть, плохо стиранного, старого белья.

- «Курить принесли?» - только и спрашивали: и молодые и пожившие вдоволь, и женщины и подростки. Здесь очень хочется курить.

- «А как вас кормят?»

- «Хорошо, дают макароны и картошку».

В палатах сидели и лежали холодные и голодные люди, и в замкнутом пространстве своем, из бед своих и лишений, вырабатывали тепло, чтобы согреться и добро, чтобы было на что жить. Им не на кого было надеяться, да такое и доверить некому.

И палаты умиляли ликами с общим выраженьем, и лики те совсем не хотели вживаться и обретать смысл, скорбных стен своих. И за все время, я не услышал ни одного шероховатого слова. Слова были простые и теплые, обогретые и взлелеянные ими.

- «Спасибо», говорили они, «Чтобы у вас не было больше смертей, чтобы много радости было. И я, протягивая кулек, ощущал, что не даю я, а беру.

Они ели и смотрели в глаза, и слаще тех конфет, я никогда не едал. Из душевой, неожиданно, выскочил совершенно голый, человек на четвереньках, он взял свой кулек и вновь захлопнул дверь. И никто не содрогнулся, не отшатнулся – ну, вышел человек и вновь зашел. На каждом этаже были свои санитары. Добрались мы до второго этажа. Стою с кульком в руке и не знаю, кому его протянуть. А санитар, грозно взглянув на меня, рыкнул: «Ты что, уже второй кулек взял себе?»

Боже, да он меня с ними путает. И такая радость хлынула в меня: значит что-то во мне осталось, значит не все растерял.

- «А, извини», вспохватился санитар, не ко времени подобрев, и все рухнуло.

Обошли мы все палаты, двигаясь в безвременье и невесомости. Мы уезжали, а они стояли на ступеньках и махали нам в след, и им очень хотелось уехать.

Едва мы отъехали, и я заскучал по этим людям. И мне показалось, что это я, из давнего далека, крохотной ручонкой машу себе, едущему Бог весть куда и Бог весть зачем. Я не мог бы остаться, ибо я не понимал: как можно излучать добро, будучи совсем, совсем одиноким, холодным и голодным? Я уезжал туда, где тепло и сытно, но чем лучше я одевался, чем вкуснее ел, тем дальше и дальше уносило меня от добра.

Как их назвать: умственно отсталыми, людьми с ограниченными возможностями? Да, у них ограниченны возможности делать что-то не так. И неограниченные в том, без чего и жить - то невозможно. Их бы, не бросить в степи, а поселить в центре города, что бы брать у них

средства: на день свой, на год, на жизнь. Я уезжал, а позади остались: дом с колоннами, схваченный со всех сторон тополями и людьми на ступеньках, машущими во след нам руками и все это стиралось, впадая в сизый, кизячный закат, грустных деревенских окраин. И вспомнилось название: не то повести, не то рассказа Катаева «Хуторок в степи». И пахли слова эти светлой ширью и возможностью выхода, выхода из теснин обезумевшего бытия.

3

Мы молча возвращались домой. Вымолвить слово, не было никакой возможности. Все нажитое – выветрилось, а новое, еще не обжилось.

Меж двух дорог, меж мчащихся машин, на клумбе цветочной, лежал пес на правом боку и сладко подремывая, улыбался. И дремлющий пес, и сизый, без единого яркого пятна горизонт, не завершали день, а растягивали, удерживая долготу дня. Совсем как у Пастернака: «И дольше века длиться день».

На одном из домов было написано: «Продается». И мой двоюродный брат, остановив машину, сказал: «Я хочу дом купить, будь другом, узнай цену».

Калитка была открыта, на крыльце стояли двое седовласых мужчин – примерно, мои ровесники.

- «Салам алейкум!» - поздоровался я.

А в ответ – тишина.

- «Сколько дом ваш стоит?» Молчат...

Эти двое, одетые в какие-то старомодные костюмы, стояли на крыльце и смотрели сквозь меня. Они молчали, им было лень изобразить даже презрение ко мне. Молчание затягивалось. И один из них, оживившись приливом сарказма, крикнул в приоткрытую дверь: «Фоза, тут к тебе покупатель». И в голосе его было столько ехидства, лишавшее надежды купить когда-то, хоть что-то.

Вышла крупная женщина, в блеклом платье и блеклым лицом, оглядела меня и ничего не сказав, захлопнула дверь. И вспомнилась фраза Катаева: «Мадам Стороженко». В двух словах – образ человека, не слышал ничего более емкого и более лаконичного во всей литературе.

Мадам Стороженко, облитая солнцем, бойко кричала: «Бычки, кому бычки» и полнилась жизнью, почти как море за ее спиной.

А эта уже состарилась и сама не знала, что ей надобно. Бывает. Бывает и хуже. Они оценили меня по одежке. Я оделся поскромнее, что бы не было стыдно перед людьми, к которым я ехал. А они продают дом свой и, наверное, примеряют себе какие-то новые роли.

Ну, продадут они дом – на Канары они точно не поедут, вряд ли сошьют себе хорошие костюмы – вкуса не хватит. Вряд ли съедят сразу двух куриц, они сейчас и полкурицы не осилят. Тогда зачем весь этот гонор. Не знаю. Но я знаю, даже одень я свой лучший костюм, все равно я им ничем помочь не смогу.

Наконец один из мужичков, смилостивившись, сказал: «Дорого стоит дом, дорого». С тем я и ушел.

4

И что же мучался я – неужели день мой вместился Катаевских словах: «Хуторок в степи» и «Мадам Стороженко».

И уже, подъезжая к дому, я увидел одинокий тополь у дороги. Когда я вижу тополь, мне хочется молиться. Если долго стоять около него – сам превращаешься в молчаливую молитву. Я не могу представить киргизскую юрту, без тополя, растущего рядом, так жилище надежней кажется. И умильные всплыли Айтматовские слова: «Тополек мой в красной косынке».

И как вообразить украинскую мазанку без тополя, растущего рядом?

Но тополь – всегда у дороги, а не у дома. Тополь все время в движении, он странник неустанный. За березами всегда ощущается оседлость, жилище человеческое. Береза, как бы пришла, светло обустроила округу и никуда уходить не собирается. Когда я иду по большой дороге, вдоль тополей, то полнюсь оптимизмом – ведь люди, сажавшие их, поняли бродяжью

суть тополиную, поймут они и цену живущих рядом... и не так уж безысходна жизнь, которую, по неведению своему, мы соорудили.

Тополь – это всегда выход, выход зримый. Жизнь тополя, как и жизнь человека: дорога и молитва.

Человек, как и тополь, не чувствует, что молится.

Помолюсь тополю, посоветуюсь с ним и выйду в день новый. И мне все дано, и все понятно. Уступлю тополю дорогу и пойду в такт, дышащей тверди земной. Мне всего-то надо: не обогнать его, а иначе заблужусь. Тополь мой, странник и домосед, скромное обличье вкуса, ибо вкус и есть, всепонимающая, всех понимающая, обиженная нами скромность. И в трудную минуту, я вспомню тополя вокруг дворца моего, в степи безлюдной, тополя, которые молятся и охраняют людей, у которых я оставил все свои ценности.

Меж крестом и полумесяцем

Рассказ

Не мы идем к Богу –
Это Он приходит к нам.

Проведал родственников в уразу, и – в полутьме – жду первый и последний на сегодня автобус. Снежная поземка с воем вгрызается в без того уж изъеденный дорожный булыжник. От вида придорожного глиняного холма, отутюженного тракторным ковшом до перламутрового блеска, становится еще холоднее. Маленькая деревенская почта, с громадным гербом на стене, слепленным местными мастерами, вылупляется из дремучих снов деревенских рассказами О'Генри, и черные скалы нависают над темно-сизой продрогшей округой.

Ураза. Попы в золоченых рясах, с громадными крестами золотыми на мощной груди, муллы в шелковых роскошных халатах, немыслимых тюрбанах, – ряженные под мультяшных халифов. Зима. И до веры – как до весны. А где-то вера: веселая, несказанно молодая, как и весна сама. А где-то вера пузырится на краешках губ сладко спящего младенца. А где-то вера нежится в вечерней прохладе речной. А где-то вера, теплится в птичьем гнезде, и, обогретые ею, желторотые верующие выдыхают хвалу переполненному восторгом небу. Я стоял и грыз семечки, и всматривался в дорогу, ожидая автобус, а увидел мальчика, совсем рядом с собой, а увидев, от растерянности предложил ему семечек. Мальчик безучастно посмотрел на меня и сказал:

– У меня ураза.

Хорош же я был – белоголовый, на этой зимней дороге, с грохотом дробящий черные семечки в разгар уразы. Мальчик же был значительным и безучастным, как часть этой округи. Мне даже на миг показалось, что округа безмолвно, не напрягаясь, исторгла его из себя. Волосы у мальчика были цвета каштана, прочного, крупного, но несъедобного. И я вспомнил городские каштаны, лежащие в ржавых листьях средь осенней тротуарной слякоти. И каштаны те были безнадежным и зримым безверьем.

И, когда глядел в глаза мальчика, в безнадежно бытовые его глаза, без устали пытающиеся просчитать все земные варианты, у меня мелькнуло: а ведь вера – это деликатность. Мог бы семечки положить в карман, а потом выкинуть – птицы склевали бы, все грехом меньше. Мальчик был очень несчастным. Он был частью дороги, важной частью, но он никогда не сможет стать идущим по дороге, которая выводит на путь свой. Вера – это когда от тебя тепло, даже на этой стылой дороге. А какая ж это вера, когда от тебя знобко? Он будет неистово молиться, но верующим ему не дано стать, ибо вера дается, а не приобретается. И дается она вначале, а никак не в середине или в конце. Просто некоторые запоздало с ней встречаются, но она была в них изначально. Павел не пришел к Богу – он к нему вернулся. Еще не было человека, который пришел бы к Богу: это невозможно, ибо не мы идем к нему – это Он приходит к нам. «Званных было много – избранных мало». Христос выбирал. Выбирали и Христа.

Вера – это не ум в голове, а пупырышки по коже. Путь – это то, что ты можешь пройти. Пройди, сколько сможешь, и путь, тобою пройденный, сам осилит все оставшиеся дороги. Если ты проехал – значит, мимо, мимо времени и сути. Идущий – весел, едущий – печален. Но в жизни все с ног на голову. Едущий – весел, идущий – печален. И Бог, глядя на наши пятки, ничего понять не может. Вера, когда душа и тело шагнули за предел, предел видимого. Вера – это преодоление видимого. Вера – это отбор духовной элиты.

«Элитные» войска... не слышим, что говорим. А не слыша, что говорим – не ведаем, что творим. Элита – это улучшение и приумножение улучшенного. Ничего военные не улучшили, а о приумножении и говорить как-то неудобно. Ведь говорим мы не только общения ради, а общаемся, чтобы жизнь поддержать. С уходом слов уходит и жизнь сама. Самая большая беда – хлеб, купленный в магазине. Если ты посеял, сжал, смолол и испек – ты прожил воистину. «Добывай хлеб в поте лица своего» – это буквально, как и все Священное Писание. Пышность убивает веру. Не могу вообразить Христа, сидящим на лошади, еще больше смущает Христос, едущий на ослике.

Загляните в глаза ослика, и вы увидите собственную несправедливость и несправедливость мира всего. На ослика нельзя садиться. Ради веры самой. Вера – самое хрупкое из всего хрупкого. Если Христос сидит на ослике и пьет вино, это совсем не значит, что и ты машинально должен повторить все это. Ты сам решаешь, где тебе сесть и что тебе выпить. Вера – это гармония собственного «Я» и тончайших небесных посланий, предназначенных конкретно тебе. Без собственного стержня вера недосягаема.

И, глядя на мальчика, вмерзшего в зимнюю дорогу, я вспомнил давний, давний, как предутренний сон, тот летний азиатский день. Впрочем, в Азии я помню только летние дни; было, и снега выпадали, кроме недоверия и недоумения они ничем и не запомнились. Проходя мимо старушек, продававших с придорожного лотка виноград, папа сказал:

– Выбирай, какой хочешь.

Я хотел взять самую маленькую кисть, но рука моя указала на самую большую. Старушки смеялись, смеялся и отец. И смеялись солнечные зайчики, пляшущие на терпкой тени тополиной. Из ласковых тополиных крон прорастали добрые птичьи гнезда. И птенцы, переполненные умильным шепотом листвы тополиной, самозабвенно распахивали желтые рты свои – они не есть просили, им петь хотелось. Они и пели про себя, и я слышал материнскую колыбельную, когда утомленные слова утекали в шепот листвы тополиной, унося меня в дали дальние, в небеса необъятные, знакомые, как щербинки нашего порога деревянного. И я навсегда вдыхал в себя неистребимый воробьиный дух, исходящий из гнезд тех добрых, и дышал запахом асфальта от расплавленной дороги, и крепко веровал и верил, что все это – навсегда. И смотрел – как на икону – на крохотное птичье яичко, голубевшее в бархатной пыли золотой. Эту пыль я не спутаю ни с какой иной. Я не соломку стелил, я перемалывал ногами босыми колючий песок, превращая его в невесомую пыль золотую, и Бог с небес сыпал под ноги мне пух тополиный. Для меня сотворили, я и сам сотворил – сам и ходил по благодати той. Я смотрел, дышал и слушал... и крепко веровал и верил, что все это – навсегда.

И в минуты растерянности, непонимания, когда я чувствую, что на век заблудился, я вижу ниточку из добрейших тополей, росших у теплой дороги, – и я хватаюсь за нить ту и с облегчением выбираюсь из заблуждений своих. Тогда я был заворожен увиденным и чувствовал, что все это – самое главное, самое важное в жизни моей, просто я не знал, как это все назвать. Сейчас знаю – это была вера сама. Все, что не вписывается в эту картину, и есть неверие. Мальчика на моей картине не было.

А был совсем другой человек.

Я его видел-то раз в жизни, и то мельком. А он возьми и останься навсегда. Картину, как оказалось, не всегда ты сам рисуешь. Приходят какие-то люди, вещи малоприметные, приходят незваные, и уходить никуда не собираются. Я помню его черное, старое лицо, красные слезящиеся глаза и стоптанные сапоги, про которые говорят – «сапоги дорогу знают». Я стоял рядышком, а о чем он говорил – не помню. Я просто, раскрыв рот, смотрел на этого человека. У края дороги была большая проплешина, и из нее торчали дорожные булыжники, присыпанные выгоревшим от пекла белым песком. Человек чернел у этой белой дорожной раны,

средь благостной зелени тополиной. И пронзило: у него нет ни дома, ни семьи, ни близких, а есть эта дорога и случайные встречные.

Обычно, когда говорили взрослые, я отходил в сторонку. Не потому, что воспитан был, просто когда говорили взрослые от слов их размывалась округа, предметы и ощущения теряли четкость, физически чувствовалось, как едет земля, а вместе с ней уносит и тебя. Благо, маленькому можно, да и нужно было не слушать взрослые разговоры. И меня это очень даже устраивало. Округа, наверное, любит слова, но не те, которые мы высыпаем, проходя, а те, которые проговариваем про себя. Переполненные думой деревья, усталая дорога, удивленное небо, кот на солнечном подоконнике, пес в тени дворовой – все жило внутренним и соединялось друг с дружкой безмолвным пониманием. И лишь человек жил внешним, растворялся во внешнем и его ничто и никто понять не мог. И был он одинок во всей вселенной, ибо одиночество – это оторванность от иной внутренней жизни.

А черный человек улыбнулся и вытащил из кармана грязный-прегрязный платок, схваченный несколько раз прочными узлами. Руками и зубами распустил этот ужасный платок, вытащил оттуда кусочек сахара и протянул его мне.

Чего только не уместилось на этом некогда белом кусочке: желтая пыль придорожная, более темная – домашняя, нанесенная с домов чужих, и все это щедро было посыпано махоркой. Я взял его подарок и сунул в карман. На том мы с ним и разошлись. Он-то ушел, но остался во мне по день сегодняшний. Я много думал о нем, думаю и сейчас. Мне кажется, я многое о нем знаю. Он и не человек был вовсе, а время само. А время характерно своей нелепостью. Если и есть связь времен, то связывает их воедино одно лишь слово – нелепость.

Человек этот был и временем и судьбой Балкарии – одновременно. Дома наши находились Бог весть где, а сами мы пребывали вдали от них. Куда нелепей. Я почувствовал, что есть в нем что-то важное и непонятное мне, как и в тополе, что рос рядом с ним. Придорожные тополя так похожи были на маму. Когда я смотрел на них: зеленых, теплых и прохладных одновременно – я думал о маме. Тополь у дороги всегда порождает грусть. Он, уходит от тебя – уходила и мама, и я это чувствовал. Грусть – это когда от тебя уходят. Тополь в городе и тополь у дороги – разные деревья.

Городской тополь – он общий, он не твой. Тополь у дороги, да еще в степи полужилой, когда средь всего видимого он один – это твое. Он понимает свою значимость крохи, стоящей рядом с ним. Как же не усыновить ему этой малости – ростом с две виноградные кисти, одну из которых он держит в едва обозначенных ручонках своих. Вместе с тополями уходил и черный человек – уходил вместе со временем своим. Потому-то я и спрятал дар его в маленький карманчик свой, спрятал как память о нем и уходящем времени. А придя домой, я не выкинул тот сахар, а положил его на подоконник, и сбежавшиеся со всего дома муравьи щедро отламывали от сахара того и радостно неслись в норку свою. Уходили муравьи, уходило и время – это виделось в залитом солнцем, неподвижном зеркале оконном. Черный человек был из тех времен, когда в горы торговцы привозили комковой сахар, а взрослые дробили его на кусочки и раздавали детям. Он был из тех времен, когда горцы поедали арбузы с кожурой и спали под коровой – все равно ни свет ни заря вставать на утреннюю дойку.

Черный человек грыз соль. Все, что он ел, превращалось в соль. И сжалился Бог над ним и превратил ту соль в сахар. И ходил черный человек по дорогам чужим и делился с людьми Божьим даром. Достался и мне кусочек от доли той. Я уже шагнул в новое время, с громадной кистью винограда, а черный человек, протянув мне кусочек сахара, остановил мой бег за временем. Так и стою – одной ногой во времени ушедшем, кусочек сахара держа в руке, другой ногой во дне сегодняшнем стою, с громадной кистью винограда. И все пытаюсь разгадать загадку черного человека – кое-что у меня получается, но этого так мало.

И я, весь облитый солнцем, держа в руке радужную кисть виноградную, чувствовал, как во мне созревает сама свобода. Свобода – это то, что было во мне и в тополях, идущих вдоль теплой дороги к бирюзовой кромке неба. Мы, родившиеся с 1945-го по 1950-й, и выносили в себе ту свободу, в которой пребываем и сегодня.

А семена той свободы бережно собрали отцы наши с кровавых полей европейских и посеяли в нас. Рожденные в 30–40-х годах, так называемые «шестидесятники», глядя на нас,

сформулировали и передали другим суть этой свободы. Мы не смогли бы этого сделать. Нам не до разговоров было – мы сами росли средь свободы и сами ее растили, да и говорить-то толком мы еще не умели. А то, что свобода наша не совсем благостная, так и кровь, из которой взросла она, – не враз смывается.

После уразы пришло Рождество.

Рождество – это, когда кто-то родился и ты не один на этой земле. Это остро осознаешь, будто ступил в мороз из теплой комнаты. И еще пронзительное недоумение и жалость, что кто-то прет, не щадя души своей, не жалея душ и плоти, и ближних и дальних, – прет, подвигая тело свое поближе к Богу, не понимая, что нет дороги к Нему, а есть Путь, исходящий от Него. Рождество – как нашатырь к беспамятству. Рождество и пахнет дальним и давним, едва-едва уловимым запахом нашатыря. И потому на Рождество пытаешься что-то вспомнить. Вспомнить то, что произошло или могло произойти, или тебе показалось тем давним-давним летним утром, что-то необходимое тебе сегодня и завтра. И в сознание втекает первый луч солнца на пупырышках крохотного тельца и крупные гроздья росы под босыми ногами – и в том луче, и в росе той и затаилась разгадка произошедшего или беспричинно ожидаемого события. Воспоминание неумолимо накатывает на тебя, и кажется, что оно вот-вот взорвет бытовую, невнятную тягомотину... и ты ойкнув, вылупишься из плотной пелены хаоса, и наступит ясность в тебе и округе. Но оно захлопывается перед самым носом, становясь желанной тайной, которая всегда рядом с тобой, но до нее ты опять не добрался... и досадно, как от несостоявшегося чиха.

Запах навоза ударил резко и неотвратимо, и пахнул он одиночеством вселенским, и Христос приоткрыл печальные глаза свои. Рождество – праздник для молящихся и печаль для сирот, ибо рождественская морозная ясень пахнет просветленным сиротством. И, хватанув во все легкие то рождественское ощущение, я пошел к ней. Проведал я родственников в уразу, пойду теперь к родственнице христианке. Но, увидев крест на ее груди, я замер: то ли крест был больно большой, то ли крест – это прерывность, остановка. А я веру чувствую как движение. Она и молодая, и задорная, потому что в постоянном движении, и двигается она во благе самом. Чтобы почувствовать веру, надо самому пребывать во благе. «Будьте как дети» – важнейшая, если не самая важная мысль Христова. Бед не много на земле, беда одна – дети перевелись на свете белом, а с ними вместе ушла и вера. Вера – это просто восторг, тот самый телячий восторг, который так не любят пишущие о литературе и в котором пребывают телята и дети.

В дверь позвонили, и она зазвенела: резко, долго и нахально. На пороге две девушки восточной внешности, не по годам изможденные. И не салама от них, и не здравствуйте, а единый возглас: «А вы имя Бога знаете?» Вот тебе раз – жизнь прожил, а имени Бога, выясняется, так и не узнал. Я враз и потух. А они показывали какие-то пухлые книги, и до меня долетали слова: «Голгофа», «Армагеддон», «Содом» и «Гоморра». Меня окутало туманом, и я слушал издалека летящие слова и смотрел на давно не метенные лестничные ступени, на смачно залепленное грязью подъездное окошко, и реально чувствовал, как меня все дальше и дальше уносит от веры. Долго я их слушал в забытьи и унынии, и уж не помню, как и избавился от них. Не иначе как с Божьей помощью. И я почувствовал, как далеки от веры все кресты и халаты. Ну нет у веры атрибутов! Вера – это воздух на земле и на небе, а крест – на груди, а халат на плечах.

Мы сидели с родственницей за праздничным столом, пили и закусывали. Горели свечи, горела елка – было все, лишь не было главного – детского подарочного кулька с открыткой Деда Мороза. Было еще светло и было видно, как за окошком идет снег, хлопьями крупными и дробными, как сами снежинки, одновременно.

– Папу забрали на фронт, а мама, копая траншеи, заболела и умерла.

Падал крупный снег за окном, и, падая, вспоминал ее родителей, и, упав, мягко погребал их под собой. Погребал и воскрешал, воскрешал и погребал.

– Война унесла родителей, а победа лишь подтвердила мою потерю. Победа... и никого на всем белом свете – ни родных, ни близких... Громыхание слов: война, победа оставляет после себя, долгий, едва слышимый звон сиротства. Мне девять лет, и я все понимаю. Понимание пришло вместе с бомбежками и укрепилось послевоенными грудами почерневшего кирпича и камня, еще вчера считавшихся домами. И эти острые осколки черни росли из зеленой травы. И глядя на молоденькую зелень, порождающую пепелище, я сильнее ощущала сирот-

ство свое. Война и победа, объединившись, добивали меня. И я все понимала. И понимала я, не то, что видела, а то, что увижу. Я понимала не сами события, а то, из чего взрастали и во что превращались они завтра. Сирота ведь – вечное вслушивание и неоглядная ширь ожидания. У сироты – вчера и завтра, но нет сегодняшнего дня.

Диван, мягкие кресла, мерцающий телевизор – вещи, родившиеся в менее варварское время, с недоумением и непониманием, напряженно вслушивались в слова моей родственницы и ничего понять не могли. А время, оно всегда варварское, оно созидает только внутри себя и разрушает все, что вовне. Люди для него, все равно что чесотка для человека, одно лишь желание – избавиться.

А снег все шел и шел – мягкий, умиротворенный, как давным-давно прошедшие события. И даже время лихое задремало, убаюканное чистейшей музыкой, просеянной сквозь семь небес и павшей с тех небес на землю белизной.

Снег шел и шел, и нес, и нес сохраненные им мои и чуж0ие воспоминания. И в маленькой снежинке умещались воспоминания всех и все воспоминания. И голос моей родственницы, в такт подающим снежинкам, озвучивал прошедшие события. И я, сидя рядом с ней, слышал отзвуки далекого далека. И как это африканцы обходятся без снега? Как трудно им – в монотонном пекле – вспомнить ушедшее.

Солнце – это всегда настоящее, снегопад же – вести из прошлого, музыка ушедшего. Кто-то читал Библию, кто-то Коран – читающим хотелось приблизиться к Богу, но если ты не слышишь песен падающих снежинок, в которых уместились и Библия и Коран, тебе никогда не приблизиться к Нему. Далекий от поэзии – далек от веры. Вера и монотонность – несовместимы. Вера – это полифония чудес, фейерверк умилений и изумлений.

Нас, сирот, разместили в уцелевшей военной казарме, на самом краю города, на высоком обрыве речном. Дальше нас были лишь степь да горизонт. Степи было много, аж до самого стыка земли и неба. И если бы не речка, а нечастые деревья, искореженные ветром речным, можно было подумать, что жизнь отсюда давным-давно ушла и возвращаться не собирается. А жизнь была в городе. Кто в телегах, кто на тележках, а кто и в мешках заплечных – растаскивали кирпич. И, глядя на них, я думала, что люди собрались строить хоть и мирные, но блиндажи. Из этого кирпича, пропитанного войной, ничего мирного нельзя было построить.

Все мельтешило, неслось и кружилось, и, глядя на этих оголтелых людей, я думала: молчаливые, но деятельные проповедники собственного несчастья. Слов таких, конечно, не было, но суть была именно эта. Слов не было, но остро ощущалось строительство всеобщего сиротства. За все время, я не видела хоть одного просто так сидящего человека. А мне так хотелось увидеть такого. Вид мирно сидящего человека подсказал бы мне выход из собственного сиротства. Так мне казалось, и я верила в это.

Директора детдома Порохню то носило по комнатам дома нашего, то выбрасывало во двор. И он все давал какие-то распоряжения нашему плотнику Расщупкину. А тот, лысый, в полотняной, до белизны заношенной рубахе, весь день стоял за верстаком и все строгал и строгал, утопая в янтарной древесной пене, и от запаха этой ласковой пены я ощущала какое-то жгучее сиротство. За одним ухом у него ловко была пристроена папироса, а за другим – остро отточенный карандаш. За все время я от него и слышала, разве что несколько десятков слов.

Чтобы как-то заполнить день наш, Порохня водил нас строем по двору, и мы пели солдатские песни. Вместе с нами шла дворняжка, наша Афелия, и не в такт, с величайшим неодобрением, подвывала песням нашим. Когда не одобряешь – это всегда не в такт. Видя, что в городе все что-то строят или на худой конец ремонтируют, Порохня решил отремонтировать наш дом. Неделю где-то пропадал, нашел черную краску, и мы покрасили фундамент, на большее ее не хватило. И все вернулось к строевой да песням.

И тут на той стороне реки появились цыгане, и жизнь наша наладилась. Цыгане появились внезапно, как война, победа и сиротство. Порохня сказал, что если появились цыгане – значит, будут красть. И наша, мол, задача защитить социалистическую собственность. Но кроме солдатских панцирных кроватей и нас, лежащих на них сирот, никакой другой собственности у социализма не было. Порохня приказал Расщупкину смастерить нам автоматы. И тот мало того, что вооружил нас, но и для пущей похожести окунул оружие в остатки черной краски. Нам выдали красные нарукавные повязки с буквами «БДО» – боевая дружина оборо-

ны. И стали мы и днем, и ночью охранять нашу собственность. А на праздники рядились в пестрые лохмотья и танцевали «цыганочку».

Я стояла с автоматом и в свете луны видела усталых цыган, певших заунывные песни свои, серенькую задремавшую речонку, черные враскосяк растущие деревья, груды мертвенно-бледных камней речных, и все это поглощалось бесконечной теменью ненасытных полей. И я, замерев, стояла, прижав к груди автомат, и чувствовала свою оторванность от всего этого. И вдруг что-то мягкое и шершавое коснулось моей руки, враз наполнив ее теплом. В свете лунном, прижавшись ко мне, стояла наша Афелия, стояла, задрав голову, неотрывно смотря на меня. В ее глазах было столько теплого пронзительного понимания, и понимание то заливало меня с ног до головы, и слезы текли из глаз моих. И мне стало жаль себя. Но больше всего, больше чем себя, жаль мне ту девочку. Век проживу – век ее помнить буду, и если есть жизнь на свете том, то и там мне ее не забыть.

Она украла у подружки носовой платок. Мы раздели ее и поставили посреди спальни. Была поздняя осень, из вечно разбитых окон несло предзимним холодом. Мы сидели, укутавшись в одеяла, а она стояла голая. В свете лампы керосиновой, крупные пупырышки на тельце ее виднелись издалека. Лопатки у нее развернулись, как зачатки неотросших крыл, а вместо попки, торчали две острых кости. Она стояла, отвернувшись от нас к окну, а в окне полыхали крупные звезды. Мы, обездоленные, нашли себе в утешение еще более обездоленную. Так там тогда казалось. А сейчас, когда я вижу в окошке звезды, ко мне в комнату из незабываемого далека вплывает голая, продрогшая девочка и худеньким тельцем своим заслоняет свет всех звезд.

И сейчас, когда я думаю: «Почему я, несчастливая женщина, почему все женщины несчастны?» – перед глазами моими встает как ответ та голая девочка, из послевоенного далека, и я понимаю, что женщина не может быть счастливой, потому что изнутри ее прорастают крылья, а внешне комкает ее крыла, прессуя из них две кости. И от этого столкновения внешнего и внутреннего женщине всегда больно. Женщина – боль въяве. Одни женщины, смирились с двумя костями позади, у других в глазах предполагаемые крылья за спиной.

...Ну ладно, ничего себе я Рождество тебе закатила. Не Рождество, а история сиротства. – И в ее выбеленных одиночеством бледно-голубых глазах мелькнула тень продрогшей девочки.

И она отвела меня в спальню.

А спать совсем не хотелось.

Наверное, потому что Рождество я представляю, как утро, а кто ж спит по утрам? Утром человек встает – встает во весь свой рост.

Уличный фонарь, а за фонарем тем – громадная луна, а меж ними – снега и снега падали перед фонарем, бились о землю и вновь возвращались к луне, создавая белые холмы в желтом бесконечии. И трепетное белое и желтое заливало комнату, и казалось – не в жилище я, а в вагончике фуникулера, и вагончик тот, укутанный снегами, по белым холмам небесным уносит меня в желтизну первоздания. И в свете том постель показалась неправдоподобно белой. Я не мог лечь на нее – она явно предназначалась кому-то другому. Лечь на нее было все равно, что есть при голодном. Есть при голодном до слез пахучий хлеб.

Ноздри младенца почувствовали запах стылого навоза, и пахнул он чистотой предстоящих событий и одиночеством зимнего ветра в продрогшей степи. Младенец улыбнулся и приоткрыл печальные глаза свои... и наступило Рождество – праздник молящихся и печаль всех сирот. А постель моя пахла добрым рассказом, который предстояло еще написать.

Книжный шкаф, столик, несколько стульев, а на полу, в углу, трофейная немецкая картина. А на картине той совсем не рождественский снег. Снег тот был грязно-серым – первый снег послевоенной Германии. Это был не снег, а состояние разбитой вдребезги страны. Даже из этой белой благодати, чем щедро делилось небо само, оказывается, можно слепить безысходную грязь. На книжной полке попалась книжка «Фельдшерство». И мне подумалось: «А наука эта вполне могла произойти от фамилии Фельдшер».

И ходил я по комнате, и носило меня от слезной чистоты Вифлеема до кроваво-серой усталости послевоенной Германии. И, устав, присел на коврик половой, взглянул на стену и обомлел... В красном платье с белой оторочкой по краям, со стены на меня строго, но подоброму глядела кареглазая Матерь Божья – работы Петрова-Водкина. И мне показалось, что

не со стены Она на меня смотрит, а с тех белых холмов небесных, щедро политых светом лунным. И среди зимы из меня болюче выцарапывались весенние слова Есенина: «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». И мне срочно захотелось написать рассказ, навеянный белоснежной постелью, которая предназначалась не мне. Я вбежал на кухню – ручки и бумаги я там не нашел. А нашел коробку спичек. И я, намочив спичку, стал писать на белых кухонных изразцах. Писал в забытьи и исступлении. Спичек мне хватило, но вот изразцы закончились. Не помню, о чем я там писал, но в сознание вплывают кадры из «Мира животных». Лев терзал олененка, бегемот, отбив его у льва, засунул голову нечастного себе в пасть, стал делать ему искусственное дыхание. Тут же слетелись большие белые птицы и, став в круг, замахали крыльями, разгоняя зной африканский, вея спасительной прохладой на бегемота и олененка. Я не помню, что я там написал на белых стенах тесной «хрущевки», но помню что-то доброе, которое не исчезает, едва появившись, а оседает внутри тебя навсегда. Ничего добрее я не писал и уже никогда не напишу. Жаль не помню, о чем.

Я сидел на полу и смотрел на падающий снег, на луну, на волшебный уличный фонарь, а на меня строго, но по-доброму смотрела кареглазая Матерь Божья, и за спиной у меня белела постель, предназначенная не мне. Так и просидел до утра в благостном оцепенении. А утром попросил у нее картину. Она молча ее протянула, и крест на ее груди не казался таким уж большим. По глазам было видно – и она не спала. Так трудно уснуть в Рождество.

Я шел домой, и дом мой был совсем рядышком. И шли сквозь сугробы сонные люди. И, глядя на них, подумалось: «Господи, меж крестом и полумесяцем – шаг, но в шаге том – забыли, потеряли человека».

Хоть, тысячу лет смотри на небо – ты не увидишь Бога. Бог затаился в другом. До века скончания молись – ты не увидишь Бога. Бог не приходит в одиночку и не приходит к одиноким. Он является вместе с Благостью к тому, кто нашел Его в другом. Прошедший мимо человека – прошел мимо Бога.

А утренний запах снега и был запахом самой веры. И была та вера на стороне идущих. Несмотря на государство, на силу креста и полумесяца, – люди шли, шли, полня меня теплом веры своей. Идущих становилось все больше и больше. Господи, как много у тебя верующих. Шла пожилая пара – оба белоголовые, под стать снегу небесному. Они шли, помогая выбираться друг дружке из сугробов. Они шли, нелепо размахивая руками, нелепо передвигая ногами. Они шли, как в невесомости, шли как два человека, любовью своей преодолевшие земное притяжение и шагнувшие вместе в измерение иное. И, глядя на них, мне подумалось: «Они могут пройти и по лесу осеннему, не проронив ни слезинки, – так они были сильны. Мне ж одному без помощи Божьей и шага не ступить в том лесу, не заплакав. Я умилялся им, как умилялся вере нашей единой белой благостью, ниспадающей со всех семи небес».

А снег все шел и шел, и не было конца снегу тому. Я поместил Божью Матерь не в красном углу, а у дверей. Пониже Ее я пристроил фотографию своей сестры и ее подруги. Их сняли ранним утром в горах Чегема. И горное утро застало их врасплох, не дав им раствориться в предстоящем дне. И я, не верящий поповским мифам, вдруг уверовал в Троицу Святую, которую вместе с Петровым-Водкиным и соорудил собственными руками. У меня есть своя икона и молитва от святого Сергея Есенина: «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». У меня есть икона, у меня есть молитва, и я глубоко верующий человек. И выходя из дома, я смотрю на Святую Троицу, и возвращаясь домой, я встаю пред ними. И мне не надо разбирать свои слова и поступки. В их строгих и добрых глазах я вижу прожитой день свой. И понимаю – день был прекрасным, просто мне трудновато до него дотянуться. Человек не должен оставаться один, за ним одного земного присмотра мало – ему необходим и взгляд с небес. Господи, как хорошо мне под земным и небесным присмотром.

И, глядя на этот добрый снег, на убаюканные снегом деревья, на вступающих в бесконечный день свой верующих, мне подумалось: «Мы из жизни пришли – в жизнь и уйдем. И нет у нас выбора». Как нет выбора у падающего снега, растущего дерева, летящей птицы. Мы обречены на жизнь, и выбираем лишь, на что нам жить. Господи, на что бы я жил, если бы не снег Твой?

Алла ЧОТЧАЕВА

Чотчаева (Эркенова) Алла Умаровна – поэт, прозаик. Пишет на русском языке. Автор книги «Достойно» (2008). Дипломант краевого конкурса им. Германа Лопатина (2006), лауреат конкурса международного еженедельника «Народы Кавказа» (2005), дипломант литературного конкурса «Осень – 2006) газеты «Огни Кавминвод». Преподаватель математики, живет в городе Кисловодске.

На обочине жизни

Тьма
озабоченных
лиц на обочине
жизни...
жизни рифмованной
и «нарисованной»,
кем-то придуманной,
может, задуманной,
но зашифрованной
и продиктованной...
тьма
озабоченных
лиц на обочине
жизни.
Сотня
ликующих
лиц, торжествующих
в жизни...
в жизни рифмованной
и «нарисованной»,
ими придуманной,
лихо задуманной,
но зашифрованной,
всем продиктованной...
Сотня
ликующих
лиц, торжествующих
в жизни...

2006 г.

* * *

Лист осенний дрожит –
до весны не дожить,
не встречать уже больше рассвет.
А кругом – воронье
(им – одно,
все – одно),
что наступит рассвет или нет.
Лист осенний
летит –
впредь,
ничто не грозит,
стаи черные кружат лишь вслед.
Здесь теперь –
воронье
(им – одно,
все – одно),
птиц полета высокого нет.
В роще впредь
тишина,
не шумит здесь
листва –
от печали вздыхает земля.
Лишь одно
воронье
сеет зло и
вранье,
что промерзлая мгла – навсегда.

2007 г.

Дни мои…

Дни мои
к сумеркам
склонные,
в них все одно:
день иль ночь.
Будни мои
монотонные
пятятся медленно
прочь.
Черное,
белое,
черное:
проблеск и ...
сумерки – в ряд.
Дни, что судьбой
отведенные, –
можно ль вас
жизнью назвать?!

2007 г.

Между летом и осенью

Ветер холодный
швыряет
неистово
листья на мокрый асфальт.
Лето и осень:
где ложь, а где
истина –
что теперь правду искать?!
Лето отброшено,
осень
не прошена,
ты не спеши, листопад!
Сердцем из прошлого
счастье
запрошено,
дай оглянуться назад...

2007 г.

Притворный век

...И дифирамб,
не кант
виватный,
журчит и льется,
как
вино.
Да сладкий
разговор
приватный,
сплошь –
комедийное
кино.

Дождл-иво…

Дождь уже который день
реет-*иво*
в дом радется, словно тень,
стыдл-*иво*,
нервно молнией сверкнет
спес-*иво,*
тут же гром громыхнет
игр-*иво,*
вмиг утихнет, отойдет
крас-*иво,*
следом снова запоет
фальш-*иво*.
...Я к окошку подойду
учт-*иво*
и скажу: «Тебя не жду, –
шутл-*иво,* –
у меня в душе и так
дождл-*иво,*
не уйму тоску никак,
парш-*иво.*
Нам встречаться нынче нет
мот-*ива* –
не хочу с тобой я петь
тоскл-*иво*».

2006 г.

Mohy I. QUANDOUR

Mohy I. Quandour combined his varied career between business and the creative fields, often interchanging between them over a period of 40 years. He began his business career in New York with J.W.T and later with Bristol Myers International in New York. Later he became an established Consultant to many multinational organizations in Europe, the USA and Japan. He moved into the creative fields in television in New York and then to Hollywood after sale of his first novel "Skyjack" to 20th Century Fox in 1970. Quandour is a novelist (with 14 historical novels published in England, Russia and USA, all available on amazon.com) and a classical music composer whose recent works are being performed in Russia, Japan and in many European venues.

1962-1964 Started film work in advertising with J. Walter Thompson Company, New York as assistant producer, then producer/director. Produced/directed several commercials for JWT clients in cosmetics (Clairol, Johnson &Johnson etc.). Produced/directed many industrial documentaries and commercials.

1964-1968 Worked with MPO Studios in New York on promotion films and documentaries. (12 documentaries for Readers Digest alone).

Quandour worked in Hollywood on several Television series (Mannix, Bonanza) and produced/directed 4 feature films, "Yanco" (Cherobusco, Mexico). "Cherokee", "Cold Wind" and "The Spectre of Edgar Allan Poe".

1976-1986 Produced several Documentary series including "Wilderness Passage", "Musical Journeys", "The Last Horsemen"

Since the early nineties Quandour has been writing novels and composing classical music. He recently (2005/06) produced/directed the film "Lost in The Mountains", (won the peace award in the Russian War films Festival in 2005) a German/Russian co-production for which he also классно))) во вwrote the musical sound-track. He is president and partner in the film production company Sindika Productions (www.sindikaproductions.com)

Quandour received the Golden Cross medal in 2005 for contributions to the Fatherland in Moscow (Vozrojdenie Rossii)

Quandour was awarded the medal and title of People's Author in 2008 (Narodni Psatle) in the Republic of Kabardina Balkaria.

Quandour has been listed in the American Who is Who since 1980.

Quandour was chosen to be listed as one of the Global 500 in the Millennium Edition of Who is Who (Barons) in the year 2000.

Quandour has been involved in many creative spheres. An English language website is available on www.cherkessfund.org which details most of his creative works and productions. Quandour divides his residence between Windsor, England and Moscow, Russia.

The Last Hunt

A short story

"He won't stop now until he is into the swamps" Jim Thorpe was squatting beside the spoor. "He's thoroughly alarmed, and we can't hope to catch him before he gets into them."

"How far?" Alexander asked, and Jim stood up and studied him as he replied.

"Eighty or ninety kilometres, Alex, just a stroll."

Alexander wasn't looking well. There were dark patches soaking through his shirt and he seemed to have aged ten years in the last four days since they had begun tracking the big bull elephant, Tukumbala. He liked Alex, this big burly Russian with whom he had hunted many times before. He was not surprised when Alex called him from Moscow a month ago to set the safari up. He was not even

surprised when he knew the object of the safari. Tukumbala was the ultimate trophy in the Zambezi basin, the largest bull elephant alive and with two mighty tusks which would enrich the home of any hunter. Even he, the professional African hunter who had seen it all and done it all, felt an unusual excitement at the prospect of tracking such a cunning and dangerous animal. What surprised him was the girl.

An African safari is no picnic. It is fraught with danger and hardships, and yet Alexander Kerimovitch Zhilov decided to bring his one and only beautiful daughter along. It didn't make sense and Jim Thorpe objected strenuously to no avail. She had been nothing but trouble since the start. Jim turned and looked at her sideways.

"Okay troops, we'll eat and sleep here. Move on again at four."

She looked back at him defiantly and walked over to where her father had begun to unwrap his sleeping bag and she sat next to him. He smiled at her and she returned back the small smile. Despite her physical discomfort and the hardships she had so far endured in order to be with him, the thought of her father killing that big beautiful creature filled her with anger.

She had known him as Papa the hunter ever since she could remember and yet in all these years she could never agree to accompany him on his blood sporting activities. The site of blood and the thought of taking an innocent life just for the sport of it filled her with gloom and rage. Yet, here she was in the heart of Africa, on a dangerous safari, enduring it all for the sake of her Papa. He needed her now more than ever and she would not leave his side for a moment.

She looked at him lovingly despite the fact that he filled her with violent and conflicting emotions. Nothing he ever did or said seemed to leave her untouched. He dominated her life and she hated him and loved him for it. She was always trying to break away, and always he drew her back effortlessly. She knew that the main reason she was still unmarried at twenty-eight, despite having had countless proposals, was this man who sat beside her. She had never found another to compare with her papa.

Polkovnik Alexander Kerimovitch Zhilov, soldier, engineer, scholar, multi-millionaire businessman, athlete, *bon-vivant,* sportsman, hunter, lady-killer - how many descriptions fitted him perfectly and yet did not describe him as she knew him. They did not describe the kindness and strength that made her love him, not the cruelty and ruthlessness which made her hate him. They did not describe what he had done to her mother that had turned her into a discarded alcoholic shell. Rita knew he was as capable of destroying her if she let herself be run down by him. He was a dangerous man and therein-lay most of his appeal.

Someone had once told her, "Some women always fall for real bastards." She had immediately scoffed at the idea, but then thought about it later and came partially to accept it. The lord knows Papa was one. A great flamboyant bastard, with all the charm and flashing blue-green eyes and shining teeth of his Caucasian origins. He could dance and sing like a true mountaineer and eat all the meat she could pile on his plate. But, although he was born in Nalchik, in the foothills of the great mountains, the greater part of him was Muscovite, where he went to study as a teenager and where he remained to become one of the new multi-millionaires of the new Russia.

She had inherited most of his physical characteristics, the eyes and teeth and glowing milky-white skin, but she rejected every value of his that offended her and tried to take the opposite path to his. That was not the traditional Caucasian way, the obedient daughter syndrome, but then she was not born there and her mother was pure Russian. He sent her to the best finishing schools in Europe and she finished her law degree at Boston University in America. He wanted her to join his large conglomerate and offered her an exorbitant salary to live with him in Moscow. She chose to work with Green Peace and the human rights groups in Europe at a mediocre salary and made Bayswater, London her base. She opposed anything to do with his hunting escapades and yet here she was in Africa at his request, and the true horror of it was that he was here to kill animals and that she was in collusion with him.

They called this expedition a safari. She would never have even contemplated becoming an accomplice in such a heinous enterprise, but for the secret she had learned only a few days before her father had invited her. This might be the last time, the very last time; she would be alone with him. The thought appalled her more even than the dirty business in which she was engaged.

"Oh God," she thought. What will I do without him? What will my world be without him?"

As the thought struck her she turned her head and looked at Jim Thorpe, the professional hunter. Although her father had hunted with this man on a dozen other safaris, Rita had met him for the first

time only four days previously when they had disembarked from the South African Airways commercial flight at Harare, the capital of Zimbabwe. The hunter had flown them out from there in his twin-engine Beechcraft Baron to this vast and remote hunting concession near the Mozambique border.

She had known him four days only but already loathed him as if she had known him a lifetime. Here was another dangerous man. Hard, ruthless and so devilishly good looking that every instinct shrieked a warning at her. She looked at him now sprawled out under a tree and was reminded of her own fatigue. He had mentioned food but then fatigue and heat had dulled their appetites. They needed sleep more than food. Rita crawled into her own blanket and fell asleep instantly.

***

They had named him Tukumbala, the angry one. He was massive in size, probably the largest of all the elephants in the African bush, weighing nine tons and standing over four and a half meters at shoulder. His tusks were perfectly symmetrical and long and pointed and they were sought after by great hunters for many years. It is ironical that such beauty should invite death and destruction by a hairless monkey called man.

Tukumbala's dam had been the matriarch of a herd of over one hundred beasts. She had come into her last period of oestrus in her fifty-second year, and over the days that it lasted, she had been mounted and serviced by six of the herd bulls, all young animals, vigorous and at the height of their powers.

It was the ideal formula for the conception of an extraordinary calf, old cow and young bull. Although it was uncertain which seed had taken root in her, the old cow had carried the genes of great elephants, big in body and tusk, in natural intelligence and the urge to dominate. These same genes had made her the leader of her herd, and now she transferred them to the foetus she carried in her womb.

She carried him twenty-two months and in the year when the German soldiers under General von Lettoe-Vorbeck were ravaging eastern Africa, the year 1915, she had left the herd and accompanied only by another old female past calf-bearing, her companion for forty years, she had gone deep into the fastness of the swamps that lie on the south bank of the Zambezi river and there on an islet fringed with ivory and nut palms, surrounded by miles of papyrus beds, with the white-headed fish eagles chanting overhead, she cleared an area of sandy earth for her couch. When her time came, she had spread her back legs and squatted over the open area, squealing in agony of her labour, her trunk rolled up on her chest.

Her eyes had no tear ducts to drain them so the tears poured freely down her withered cheeks as though she wept, and the spasms racked her huge gaunt frame.

The other old cow stood close beside her like a midwife, caressing her with her trunk, stroking her back and rumbling with sympathy. She had forced out the calf's head, and then rested for a minute, before the violent effort expelled the purple-pink foetal sac and the calf had fallen to the earth, rupturing the umbilical cord. Tukutela had begun to struggle immediately, still trapped in the glistening mucus-coated membrane and the old cow, her companion, had stood over him and, with the prehensile tip of her trunk, delicately stripped it away.

Then with her trunk his dam had gently and lovingly lifted him to his feet, and placed him between her front legs, making deep purring rumble of elephant contentment. Still wet and smooth and shining pinkly from his birthing, covered in copious gingery hair, almost blind, Tukutela had rolled his little trunk back onto his forehead and reached up instinctively to the twin breasts on his mother's chest.

While he tasted for the very first time the rich creamy milk, his dam picked up the foetal afterbirth and stuffed them into her mouth, chewing and swallowing and, at the same time, using her trunk to cover the damp and bloodstained spot upon the earth with sand.

The three of them, his mother, her companion and Tukumbala, had remained on the island for almost two weeks while the calf had mastered the use of his legs and trunk, the pigment of his skin had darkened and his eyes adjusted to the harsh African sunlight. Then, when she considered him strong enough, she had taken him to find the herd, pushing him ahead and lifting him over the steep and difficult places.

The din of a hundred elephants feeding had carried to them from afar, the crack and crash of breaking branches and the pig-like squeals of the calves at play. Tukumbala's dam trumpeted her return and the herd had come rushing up to greet her. Then, discovering the new calf, they had crowded around to touch him with their trunks, puffing his scent into their mouths, so that they would recognise it always thereafter.

Tukumbala cowered between his mother's front legs, overwhelmed by the huge bodies that surrounded him, making little baby noises of terror, but his mother draped her trunk over him and rumbled to reassure him. Within hours rather than days, he ventured out from her protection to join the other calves, and to begin carving for himself a niche in the hierarchy of the breeding herd.

The herd was close-knit group, almost all its members blood relatives, mutually reliant upon each other so that the education and discipline of the young was a concern to them all.

The calves were always kept in the center of the herd, and their antics were strictly supervised by the old barren cows who were their self-appointed nursemaids. There care and protection was intense but any infringement of the herd law was punished instantly: a tree branch wielded with gusto across the backs and hindquarters would insure terrified squeals and instant obedience.

Tukumbala learned his place in every situation; at the center when the herd was relaxed and feeding; between his mother's front legs when they were on the march, or in flight from danger. He learned to react instantly to the alarm signal, learned to recognise it even when given by an animal on the further outskirts of the group. At the signal, the instantaneous silence, in contrast to the preceding happy uproar of the herd, was an eerie phenomenon of elephant behaviour.

Tukumbala's development was closely parallel to the ages of human beings; his infancy lasted two years during which time he shed the tiny milk tusks with which he had been born and then entered on his juvenile years when his true tusks emerged beyond his lips. At first, these were covered by a cap of smooth enamel, but as soon as he was weaned and began to use his tusks to feed with and in mock combat with his peers, this was worn away and the true ivory beneath exposed.

His tusks would continue to grow in length and girth throughout his entire life even into his extreme old age, but the genes which dictated their extraordinary development came down from his dam along with all her other gifts of strength and bulk and intelligence.

By the time he was three Tukumbala had learned the attitudes of threat and submission towards others, and his play was boisterous with much ear-flapping and threatening and barging which further developed his unusually robust frame.

Once his dam weaned him, her care became less intensive and he was allowed more range and freedom, though he still came under her fierce protection at the first threat. On the march his place was always close beside her in the lead, so very early he learned the herd's territory.

This was a very vast area from the shores of Lake Nyasa in the north to the rain forests of Chimanimani mountains in the south, west to the deep gorge where the Zambezi river forces itself between narrow rock cliffs with the roar of perpetual thunder, and east five hundred miles to where the same mighty river spreads out across wide flood plains and swampy littoral before debauching through multiple mouths into the Indian Ocean.

He learned the mountain passes and the ancient elephant roads; he learned the groves where succulent fruits grew and the seasons when they ripened. She led him to burned-out savannahs just as the first tender shoots pushed through the ashes and to the salt licks where for thousands of years the elephants had come to prise out lumps of mineral-rich earth with their tusks and eat it with all the relish of small boys with sticks of candy, over the centuries quarrying deep excavations in the red African earth.

The herd was on the Mavurandonha mountains in the south when the msasa forests put out new leaf and their sap began to flow; they were in the dense rain forests on Mount Mlanje when the rest of the range baked in the long African droughts. Always the old cow led them to water, for the herd was totally dependent upon the precious fluid. The elephants must drink each day or experience terrible hardship, they needed copious quantities to nurture their great bodies, to cleanse their hides and, more simply, for the luxurious pleasure of wallow. The watering hole was an important gathering place for the herd, a place where their bonds were reaffirmed and where many of the rituals of their social behaviour were played out. Even the act of procreation usually took place in the water, and when the cows chose the place for their birthing, it was nearly always near water.

Sometimes there was abundant water, the great African rivers, the mountains upon which the perpetual drizzling rains fell, and the wide swamplands where they waded belly deep through the papyrus beds to reach the islands. At other points, they had to dig for it in the dry riverbeds, or patiently wait their turn at the seeps to thrust their trunks into the deep eye of the secret well and suck up a bitter brackish mouthful at a time.

Their range was wide, and their contact with human beings infrequent. There was a Great War raging in a far-off land and it had sucked most of the white men to its centre. The men that the herd encountered were usually half-naked and primitive tribesmen who fled before them. Yet Tukumbala learned very early that a special aura of dread surrounded these strange hairless baboon-like beings. At five years of age he could identify their peculiar acrid odour on a light breeze from many miles away, and even the fantasist taint of it made him and the entire herd uneasy.

Yet Tukumbala was eleven years of age before he had his first memorable encounter with human beings. One night while following their time-honoured route along the south bank of the Zambezi, his dam had stopped abruptly at the front of the herd and lifted her trunk at full stretch above her head to scent the air. Tukumbala had imitated her and become aware of a tantalising odour. He had puffed the taste of it into his mouth and his saliva poured down and dribbled from his lower lip. The rest of the herd bunched up behind them and were almost immediately consumed by the same appetite. None of them had ever smelled sugar cane before.

The old matriarch led them up the wind and within a few miles they came out on an area of the riverbank that had been recently cleared and irrigated by man and planted with sugar cane. The long sword shaped leaves glistened in the moonlight and the aroma was rich and sweet and irresistible. The herd rushed into the new fields, pulling up the plants and stuffing them down their throats in a greedy passion.

The destruction was immense, and in the midst of it suddenly the herd was surrounded by lights and the shouts of men's voices and the beating of drums and metal cans. Panic and pandemonium overtook the herd and as they charged out of the field there was a shocking series of loud reports and the bright flash of gunfire in the night. It was the first time that Tukumbala had ever smelled burned cordite smoke. He would remember it always and associate it with the squeals of those elephants that had been mortally wounded.

The herd ran hard at first and then settled into long strides that covered the ground at the speed of a cantering horse. By morning, one of the young cows, her calf under her belly, could no longer keep up with the herd and slumped down on her front knees, bright blood trickling from the bullet wound in her flank.

The matriarch, Tukumbala's dam, turned back to assist her, calling and encouraging her, but the cow could not rise and the matriarch moved up beside her. Using her tusks, she lifted the fallen animal to her feet and attempted to lead her away. It was in vain, for the dying animal slumped down and lay with her legs folded under her, and the smell of her blood upset the herd and they milled about her, swinging their trunks and flapping their ears.

One of the herd bulls, in desperate effort to revive the fallen cow, mounted her in a stylised attempt at copulation, but a gout of arterial blood spurted from her wound and with a groan she toppled over on her side.

Unlike most animals the elephant recognises death, especially in one of its own group, and even immature Tukumbala was affected by the strange melancholy that followed the cow's death. Some members of the herd approached the carcass and touched it with their trunks, a gesture of farewell, before they wandered away into the grey thorn scrub.

The matriarch stayed when the others had left and Tukumbala stayed with her. He watched as his dam began to strip the surrounding trees of their branches and pile them over the carcass of the dead cow. Only when it was completely hidden under a great mound of vegetation, was she satisfied.

The dead cow's un-weaned calf had stayed beside its mother's corpse, and now the matriarch shooed it ahead of her as she followed the herd. Twice the calf tried to double back to where its mother lay, but the matriarch blocked it, turning it with her trunk and pushed it along.

A mile away, the rest of the herd was waiting in a grove of yellow-stemmed fever trees. Many of the younger calves were suckling, and the matriarch pushed the orphan calf towards where one of the older calves, one almost due to be weaned, was showing perfunctory interest in his mothers tits. She shoved the orphan between the cow's front legs and instinctively the little animal rolled its trunk onto its forehead and reached up for the teat. The cow made no objection, accepting the role of foster mother with equanimity. The matriarch stood beside the pair rumbling to them encouragingly and when she led the herd on, the orphan calf had displaced the older calf between the cow's front legs.

It seemed that from then on the herd's contact with men bearing firearms became more frequent every season, especially when the bulls were with the breeding herd.

The mature bulls kept a loose liaison with the breeding herd. They found the noisy boisterous behaviour of the young animals annoying, and the competition for food demanding. No sooner would one bull shake down a rain of ripe pods from the top branches of a tall thorn tree but a dozen youngsters would rush over and gobble them, or he would push over a msasa tree to get to the new leaf, leaning with his forehead against the trunk, and snapping the three-foot diameter of hard wood with a report like a cannon shot. Immediately four or five greedy young cows would push themselves in front of him before he could sample the juicy pink leaves.

So the bulls would wander away from the herd, singly or in bachelor groups of three or four. Perhaps they also realised instinctively that the herd was likely to attract the hunters, and they would be safer away from it. Sometimes they were only a few miles away from the herd, sometimes as far as thirty or forty, but they would return when the cows were in season.

When the bulls were with the herd, was the time that there was most likely to be that sudden crash of gunfire, and the squeal of wounded animals and the headlong rush of huge panic-stricken bodies through the brush.

When Tukumbala was a juvenile, under ten years of age, there had been six huge bulls associated with the herd, animals carrying thick shafts of ivory, but over the years that he grew to maturity these were gradually whittled down. Each dry season one or more of them fell to the sound of rifle-fire, and only the mediocre bulls, or those with worn or damaged ivory remained. The elephants had no way of understanding that man destroyed such huge life which nature had endeavoured to nurture to maturity only to extract the two pieces of white ivory from its head.

By this time Tukumbala had grown into an unusually large young bull and his tusks were beginning to develop, clean and white and sharp-pointed, already showing promise of what they would one day become. As he grew, so the matriarch, his dam, declined. Slowly the outline of her bones appeared through the folds and hangs of her wrinkled grey hide, so she became a gaunt and skeletal figure. Her sixth and last molar was already chipped and half worn away, she ate with difficulty, and the slow starvation of age had begun. She relinquished her place at the head of the herd to a younger more robust cow, and shambled along behind. Tukumbala would wait for her on the steep places where the elephant road climbed, rumbling to bring her up over difficult places, and he stood close by her in the night as he had done as a calf.

It had been a dry season and the waterholes were less than half full. The approaches to the water had been churned by elephant herds and rhinoceros and buffalo to glutinous black mud, in some places as deep as an elephant's belly, and it was here that the old matriarch stuck.

Lunging in an attempt to free herself, she fell over sideways and the mud sucked her down until only part of her head was clear. She struggled for two days. Tukumbala tried to help her, but even his enormous strength was to no avail. The mud held her fast, and gave him neither footing nor purchase. The old cow's struggles became weaker, her wild screams more feeble, until at last she was still and silent except for the hiss of her breathing.

It took two more days, and Tukumbala stood beside her all the time. The herd had long ago departed, but he remained. She gave no outward sign of passing from life to death, other than the cessation of her breathing. But Tukumbala knew it instantly and he lifted his trunk high and bugled out his grief in a cry that startled the wild fowl from the waterhole in a cloud of noisy wings.

He went to the edge of the forest and plucked the leafy boughs and he brought them to the waterhole and he covered his dam's muddy carcass with them, building for her a high green funeral bier. Then he left her and went into the veld. He did not rejoin the herd for almost two years.

***

Jim woke with the feeling that something was amiss; he sat up quickly, his hand already on the rifle and swept a glance around him.

"Rita." He jumped to his feet. She was gone. Her pack lay ten paces away where she had slept. He wanted to shout for her, flouting his own security rules of silence, and that was the measure of his concern.

He strode out of the perimeter, and whistled for the sentry. Pamula came in immediately.

"The girl." Jim demanded in Sindebele. "Where is she?"

"That way." Pamula pointed towards the river.

"You let her go?" Jim demanded.

"I thought she was going to the bush..." Pamula excused himself, ''to relieve herself. I could not stop her."

Jim had already started to run down the hippo path into the reeds that surrounded the largest and deepest of the pools, when he heard the splash of water ahead.

"This little bitch is going to drive me crazy," he told himself as he burst out on the edge of the pool.

The pool was a hundred meters across, deep and green and still. For all its comical appearance the hippopotamus is the most dangerous animal in Africa. It has probably killed more human beings than all the other dangerous species put together. The old bulls are cantankerous and aggressive, a cow with a new calf will attack without provocation and a bite from those gaping jaws whose tusks are adapted to shearing coarse river reeds will cut a man in two. The crocodile is a sly and efficient killer. This pool was the ideal haunt of both hippo and crocodile and Rita Alexandrovna was in it up to her waist.

Her wet clothing, shirt and panties and socks, all freshly washed, were draped over the reeds at the edge, and Luba was facing away from him leaning forward and with both hands working up a lather of soap in her hair.

The skin of her back was lightly tanned and flawless except for the paler line left by the strap of a bikini top across her shoulder blades. Her flanks were rounded and full but elegantly shaped into the waist, and the knuckles of her spine just showed between the ridges of fine athletic muscle on each side of it. This was no mannequin (model) but a full-blooded full-bodied all-woman.

"What the hell do you think you are doing?" Jim snarled, and she turned to face him, hands still in her soapy hair, eyes screwed up against the suds.

"Is this how you get your jollies?" she demanded, but making not the slightest effort to cover her bosom. "You pervert, creeping and peeping?"

"Get your arse out of there, before you get it bitten off by a croc." Her jibe had stung him, but even in his anger he saw that her breasts were better than he had guessed. The cold water had made the points stick out at him.

"Stop gawking," she yelled back at him. "And get lost." She ducked her head under and then stood erect once again with soap lather streaming down her body, her hair shining and slick as a sheet of black silk over her shoulders.

"Get out of there, damn you. I am not going to stand here arguing," he ordered.

"I'll get out when I'm good and ready."

Jim plunged straight into the pool, and reached her before she could avoid him. He seized her arm, and though it was slippery with soap, he dragged her towards the bank; kicking and lashing at hem with her free hand, spitting with fury.

"You bastard, I hate you. Leave me alone."

He controlled her easily with one hand. In the other, he still held his big double-barrelled rifle. His khaki shorts ran water and his boots squelched as he dragged her out. He snatched up her wet shirt and threw it at her.

"Get dressed!"

"You've got no right. I'm not going to accept this, you brutal ...bastard, you've hurt my arm." She raised her upper arm, exhibiting his red finger marks on the skin, holding the wet shirt loosely at her side, shaking pale with rage.

Strangely it was her navel that drew his eyes. It stared accusingly at him from the flat plain of her midriff, like a cyclopean eye, a perfect dimple at the moment more erotic than the dense triangular bush of sodden hair beneath it. He dragged his eyes away, and she was so angry that she seemed totally oblivious to her nudity. He thought she might actually attack him, and he stepped back. As he did so he looked beyond her and saw a tiny arrowhead of ripples slicing across the still green surface of the pool towards them. At the apex of the vee-shaped ripple were two black lumps; gnarled and no bigger than a pair of large walnuts, they came at surprising speed.

Jim grabbed her arm, the same arm about whose injuries she was complaining, and jerked her back past him, away from the water's edge so viciously that she sprawled on her hands and knees in the mud.

He swung up the .577 Express rifle and aimed between the black eye lumps of the approaching crocodile. The eyes were at least 15 centimetres apart, he calculated as he rode the pip of the foresight between them, a big old mugger.

The thunder of the rifle was stunning in the silence of the reeds and the bullet flicked an ostrich feather of spray from the surface, dead centre between the eyes. The crocodile rolled sluggishly onto its back, its tiny brain mangled by the shot.

Rita scrambled to her feet and stared over her shoulder as the reptile flashed its butter-yellow saurian belly. Seven meters from chin to the tip of its long crested tail, its jaws clicked as its nerves spasemed from the brain shot. The fangs as long and thick as a human forefinger overlapped the grinning scaly lips. It sank slowly back into the pool, the creamy belly fading into the green depths.

Rita's fury had evaporated. She was staring into the pool, shivering uncontrollably, shaking her wet hair.

"Oh God. I didn't realise...how terrible.' She swayed towards him, shattered and vulnerable. I didn't know." Her body was cold from the pool, long and sleek and wet as she pressed against him.

"What is it?" Alexander Zhilov shouted from the edge of the reed-bed. "Jim, are you alright?" What happened? Where's Luba?"

"It's all right, Alex," Jim yelled back. "She is safe."

Luba snatched up her panties and pulled them on hastily, hopping on one foot in the mud, turning her back to him as she picked her shirt and thrust her arms into the sleeves. When she turned back to him she had recovered her anger.

"I got a fright," she told him. "I didn't mean to grab you like that. Don't make any big deal out of it, buster."

She zipped up the fly of her jeans and lifted her chin. "I would have grabbed the garbage-man if he'd been handy."

"Okay Princess, next time I'm going to let them bite your pretty arse off, lion or croc, what the hell."

"You shouldn't have any complain," she said over her shoulder as she marched back up the path, swaying her generous hip. "You got yourself a big eyeful and I noticed you make a meal of it, Jim Thorpe."

"You're right. You gave me a good show. Not bad, a bit skinny in some places perhaps- but not bad."

And his grin expanded as he saw the back of her neck turn angry red.

Alexander ran down the path to meet them, frantic with worry, and he seized Luba and hugged her with relief.

"What happened *Solnishka*? Are you all right?"

"She tried to feed the crocs," Jim told him. "We are moving out in exactly thirty seconds from now, that shot will have alerted every ugly bushwhacker within ten klicks."

'At least I got that filthy black muck off my face.' Rita told herself as they struck out away from the marshes. Her damp clothing felt cool and clean on her skin, and she was invigorated by her perilous bathe. 'No harm done,' she thought. 'Except I got ogled.' Even that no longer troubled her. His eyes on her naked body had not been altogether offensive, and in retrospect there was a satisfaction in having tantalised him. Within a kilometre her clothes had dried and there was no energy for any extraneous activity. The whole of her existence became the act of picking one foot up and swinging it forward after the other.

***

By that time, he was sexually mature Tukumbala could no longer resist the scent of oestrous that the breeze brought down to him.

When he found them, the herd was gathered on the bank of the Kafue river, ten miles upstream from where it makes its confluence with the Zambezi. Some of the herd members came out to meet him as he approached, and they entwined their trunks with his and pushed their foreheads together in greeting, and then allowed him to join the herd.

There were two cows in season and one of them was an animal of similar age to Tukumbala. She was prime, fat with good grazing and browsing that the rains had raised. Her ivory was thin and very white, as straight and sharp as knitting needles, and her ears had not yet been torn or tattered by thorn or sharp twigs. She spread them now as she recognised Tukumbala as her peer and came to twine her trunk with his.

They stood with their heads together rumbling gently at each other, and then disentangled their trunks and began to caress each other lightly with the tips, moving down the length of each other's bodies until they stood head to tail. The tips of the trunks are as sensitive as the fingers of the human hand and Tukumbala reached down between her back legs and groped for her vaginal opening. She began to sway from side to side, rocking her whole body, an expression of extreme pleasure. As he manipulated her, so her oestrous discharge flowed down freely drenching his trunk and the aroma of it filled his head. His penis emerged from its fleshy sheath, as long as a man is tall and as thick as one of his legs; the tip of it brushed the earth below his belly. Its length was variegated with blotches of pink and black but the skin was smooth and shining and the head flared like the mouth of a trumpet.

When both of them were fully aroused Tukumbala nudged her gently down the bank and into the river. The green waters closed over them, intensifying their pleasure in each other, supporting their great bodies, buoying them up so they were light and nimble.

They submerged until only their trunks were above the surface, sporting together, breaking out again like blowing whales, and the water poured off them in sheets, cleansing their grey hides of dust and dirt, darkening them to the colour of coal.

Tukumbala reared over her, and placed his forelegs on each side of her back. In the water, she supported him easily. Her vagina was placed forward between her back legs, and he needed all his length to reach it. His penis took a life of its own, pulsing and jerking and twisting as it flared upwards to conform to the angle of her opening. Only the first third of its length was able to bury itself in her. His whole body shuddered and convulsed and both creatures trumpeted together and thrashed the waters to white foam.

He stayed with the herd for three days, and then the female's oestrus ended and Tukumbala became restless. He had inherited his dam's instinct for survival, and he sensed danger with the herd. On the third day he ghosted away into the grey thorn scrub. He went alone, with no other bull for company.

Each season, when he returned to the herd he was stronger, his tusks longer and thicker, darkening to the colour of alabaster with vegetable juices. On occasion there were other bulls competing to service the females, and he had to fight for his right. At first he was driven off by older more experienced males, but each season his tusks and his cunning grew, until none of the other herd bulls stood up against him, and he had his pick of the cows. However he never stayed more than a few days with the herd, and always he departed alone and sought out the fastness which his dam had showed him, the swamps inaccessible to man, the thicket forests, the tallest beds of elephant grass. It was as though he realised the danger that those tusks would bring upon him.

In his thirty-fifth year, he was a huge animal, weighing eight tons and standing over twelve feet at the shoulder. His tusks, though not anywhere as heavy as they would one day be, were perfectly symmetrical and long and pointed.

For days after leaving the herd that season he had been unaccountably nervous. He moved restlessly, testing the air often, raising his trunk high and then puffing into his mouth. Once or twice he detected it, but the acrid scent was faint, just a tiny shadow on his consciousness.

However he could not keep moving endlessly. His huge frame each day required over a ton of grass and leaves, fruit and bark to sustain it. He had to stop to feed. In the early morning, he stood in a dense grove of combretum trees, stripping bark. He used the point of a tusk to prise a gash in the bark, and then he gripped the tag end in his trunk and with an upward jerk ripped loose a strip of bark fifteen feet up the bole of the tree. He rolled the bark into a ball and stuffed it into his mouth.

Intent on his task, he relaxed his vigilance. An elephant has poor eyesight; he cannot distinguish stationary objects only a few yards distant, although he can instantly detect movement. Furthermore, his eyes are placed well back in the skull, impeding his forward view and the spread of his ears tends to block his peripheral vision to the rear.

Using the small morning wind to negate the bull's marvellous sense of smell, moving with extreme stealth so that his fine hearing was frustrated, the hunters approached him from behind, staying in his blind spot. There were two of them and they had followed him for three days, ever since he had left the herd. Now they crept up very close to him.

Tukumbala turned broadside to the hunters, ready to move on to the next tree and he showed them the long curved gleam of his tusks, those marvellous ivory treasures which men killed for.

"Take him," said one to the other, and the German industrialist lifted his double-barrelled rifle and he aimed for the bull's brain.

Over his sights, he picked out the dark vertical cleft in the front of the ear and followed it down to its lowest point. That was were the actual opening of the eardrum was situated. Having found it, the German moved his aim forward three inches along an imaginary line from the aperture of the ear towards the elephant's eye.

The German industrialist was on his first African safari. He had shot chamois and red deer in the forests of Germany and in the Spanish Pyrenese, but a wild African elephant is none of these timid creatures and the German's heart was thudding into his ribs and his spectacles were fogged with his sweat and his hands shook. The professional hunter with him had patiently instructed him how and where to place the shot, but now he could not hold his aim upon it, and every second his breathing became more laboured, his aim more erratic. In desperation he jerked the trigger.

The bullet hit Tukumbala thirty centimetres above his left eye and twenty centimetres from the frontal lobe of the brain, but the honeycombed bony sponge of his skull cushioned the shock. He reeled back on his haunches and flung his trunk straight up above his head and gave a deep roaring growl in his throat.

The German hunter turned and ran, and Tukumbala whirled to face the movement, launching himself off his haunches. The professional hunter was directly under his outstretched trunk, and he flung up his rifle and aimed into Tukumbala's head, into the roof of his open mouth between the bases of the long curved tusks.

The firing pin fell on a dud primer with a click, the rifle misfired and Tukumbala swung his trunk down like the executioner's axe, crushing the man to the earth.

The German was still running and Tukumbala went after him, overhauling him effortlessly. He reached out his trunk and curled it around his waist. The man screamed and Tukumbala tossed him thirty feet straight up into the air. He screamed all the way down until he hit the earth and the air was driven from his lungs. Tukumbala seized him by one ankle and swung his body against the trunk of the nearest tree with a force that burst the man's internal organs, spleen liver and lungs.

Tukumbala raged through the forest with the corpse held in his trunk, beating it against the trees, lifting it high and slamming it down upon the earth, until it disintegrated and he was left with only the stump of the leg in his grip. He flung that aside and went back to where he had left the professional hunter.

The blow from the trunk had shattered his collarbone, broken both his arms and crushed and crushed his ribs but the hunter was still alive and conscious. He saw Tukumbala coming back for him, the long trunk dangling, the huge ears extended and blood from his wound dribbling down to mingle with the blood of the German that splattered his chest and front legs.

The hunter tried to drag his mangled body away. Tukumbala placed one great foot in the centre of his back, pinning him down, then with his trunk, he plucked off his limbs, one at a time, and throwing them aside. Finally he wrapped his trunk around the man's head and pulled it away from the shoulders. It rolled away like a football bouncing across the ground as Tukumbala hurled it away from him. His rage abated, overtaken by the pain in his head, Tukumbala stood over the bodies he had destroyed, rocking from one foot to the other, rumbling in his throat as first the pain and then the melancholy of death came over him.

Despite the pain in his head and the slow drip of blood into his eye from the wound above it, he began the ritual of death that he had learned from his dam so many years previously. It was as if he was possessed of an unexplainable obligation towards the dead though they maybe his enemies. He gathered the parts of his victims, the squashed trunks and mutilated limbs and piled them in a heap. He picked their accoutrements out of the grass - rifles, hats, water bottles - and added them to the bloody pile. Then he began to strip the trees of leafy branches and to cover it all with a mound of green. He surveyed the bier and satisfied that he had fulfilled an obligation turned around and slowly walked away swaying with pain and grief. His hunters, had they managed to kill him, would have stripped his ivory and left his huge beautiful carcass to rot in the forest.

In time, the bullet wound healed cleanly, but soon there were other scars to add to the little white star that it left above his eye. A weighted spear from a deadfall trap opened his thick grey hide from shoulder to knee, and he almost died from the infection that followed. The spread of his ears caught on thorn and hooked twigs; the edges became battered and eroded. He fought for the cows

when he joined the breeding herd, and although none of the other bulls could prevail against him, their tusks slashed and cut and marked him. Then there were other encounters with men.

Despite the dire danger associated with it, that first taste of the sweet juice of the sugar cane so long ago had been addictive. Tukumbala became a compulsive garden raider. Sometimes he would lurk for days in the vicinity of a patch of cultivation, getting up his courage. Then when there was no moon, in the deepest hours of the night, he would go in stepping soundlessly as a cat on his big padded feet. Millet, maize, papaya, yams, he loved them all, but sugar cane he could never resist.

At first, he allowed himself to be driven off by flaming torches and shouting and drums, but then he learned to answer shouts with his own wild screams and to charge at the guardians of the forbidden gardens. After all this was his land and they were the intruders. They would scatter before him in terrified frenzy and he would have his way. He became known henceforth as Tukumbala, the angry one.

He grew reckless in his greed for the sweet cane. Whereas after previous raids, he would travel a hundred kilometres in a single non-stop march to distance himself from retribution, this season he began to return to the same field on consecutive nights.

The villages had sent a message to the *Boma* of the colonial district commissioner, begging for assistance. The district commissioner had sent one of his askari armed with a .404 rifle and the askari was waiting for Tukumbala. The askari was a policeman and neither a great hunter nor marksman. He hid himself in a pit in the middle of the field, quite happy in his own mind that the elephant would not return to the field that night; for Tukumbala had made a reputation for himself across his vast range and his habits were known; he was notorious as the garden raider who had terrorised so many villagers, and who never returned to the scene of his crime.

The askari awoke from a deep sleep in the bottom of his pit to find Tukumbala blotting out the stars over his head, munching on the standing cane. The askari snatched up his.404 and fired a bullet upwards into Tukumbala's belly. It was not a mortal wound and Tukumbala hunted the askari remorselessly, quartering the downwind until he picked up the scent and following it to the pit where the man crouched paralysed with terror. Tukumbala put his trunk down into the pit and plucked him out.

The wound took many weeks to heal. The pain gnawed at his guts and Tukumbala's hatred of man grew upon it.

Though Tukumbala did not understand the reason for it, his contact with man became ever more frequent. His old range was being whittled down; every season there were more tracks and roads cutting through his secret places. Motor vehicles, noisy and stinking, buzzed though the silent places and fields. The great forests were being hacked down and the earth turned to the plough. Lights burned in the night, and human voices carried to him wherever he wandered. Tukumbala's world was shrinking in upon him.

His tusks were growing all this time, longer and thicker, until in his sixtieth year, they were great dark columns.

He killed another man in 1976; a black man who tried to defend his few wretched acres of millet with a throwing spear, but the head of the spear lodged in Tukumbala's neck and formed a chronic source of infection, a constantly suppurating abscess. He became a true man-hater and would attack them wherever he encountered them.

Tukumbala had long ago ceased to seek out the breeding herd. The scent of oestrous on the wind awakened in him only a sweet fleeting nostalgia, but the driving force of the procreative urge had dulled and he pursued solitary ways through the shrinking forests.

There were some areas of his old range that remained untouched, and from experience Tukumbala came to recognise them and to realise that they formed a sanctuary where he was safe from man's harassment. He did not understand that these were the national parks, where he was protected by law, but spent more and more of his time in these areas, and over the years learned their precise boundaries, and became reluctant to venture across them into the dangerous world beyond.

Even in these sanctuaries he was wary, driven always by his hatred and fear of them to attack men wherever he found them, or to fly from the acrid taint of them on the breeze. His faith in the safety of the sanctuary was tested when the hunters found him even there. He heard the report of the firearm and felt the sting of the missile, not differentiating between the sound of a rifle and a dart gun, but when he tried to locate and destroy his attackers, a strange lethargy overtook him, a terrible weakness

in his thick columnar legs and he slumped unconscious to the earth. He awoke to the terrifying stench of men all around him, thick and repulsive on the air, even on his own skin where they had touched him. When he lumbered unsteadily to his feet, he found a strange serpentine device suspended around his neck and the chronic abscess on his neck caused by the spear wound was burning with the fires of antiseptic. He tried to wrench off the radio collar, but it defied even his might and so, in frustration, he devastated the forest around him, smashing down tall trees and ripping out the bushes.

The men who watched his rage from afar laughed and one of them said, 'Tukumbala, he was well-named as the angry one.' It took Tukumbala many long seasons before he at last succeeded in ripping that hateful collar from around his neck, and hurling it into the top branches of a tree.

Although he recognised the sanctuary of the parks in which he spent most of his days, Tukumbala could not deny his deepest instincts and at certain seasons of the year, he became restless. The wanderlust came upon him, the urge to follow once again the long migratory road that his dam had first taken him over as an infant. He would be drawn to the boundary of the park by his irresistible longing and he would feed along it for days gathering his courage until he could no longer contain himself and he would set out fearfully and nervously, but with high anticipation for the far-off fastness to the east.

Of these the vast Zambezi swampland was his favourite. He did not recognise it as his birthplace; he only knew that here the waters seemed cooler and sweeter, the grazing more luxuriant and his sense of peace deeper than in any other place in the world. This season as he crossed the Chiwewe River and headed east, the urge to return to that place seemed ever greater.

He was old now, long past his seventieth year and he was weary. His joints ached so he walked with a stiff exaggerated gait. His old wounds pained him, especially the bullet wound which had driven through his bony skull and lodged beneath the skin above his right eye. It had formed a hard-encrusted lump of gristle, which he touched occasionally with the tip of his trunk when the pain was bad.

His craggy old head was weighed down by those huge ivory shafts; each day their burden was less supportable. Those tusks alone were a monument to his former glory. For the old bull was going back rapidly now. The sixth set of molars, the last and largest of his teeth, were all but worn away and the starvation of age was upon him. Every day, he was a little weaker, slowly his food was limited more and more to the softer more readily masticated grasses and shoots, but he could not take enough of them.

His huge frame was gaunt and his skin hung in bags at his knees and around his neck. There was a sense of melancholy in him, such as he had experienced only seldom in his life, the same feeling that had encompassed him as he waited for his dam to die beside the waterhole. He did not recognise that feeling as the premonition of his own impending death.

It seemed to Tukumbala that as soon as he left the boundaries of the park, the pursuit began. He sensed that it was more determined, more persistent than ever before. It seemed to him that the forest was full of the human creatures, following him, waiting for him at each turn, and he could not head directly eastwards but must jink and twist to avoid the imaginary and real dangers that beset him.

Finally, after scenting the men on his trail close by Tukumbala fled directly eastward instead of doubling back towards the sanctuary of the park. It was a hundred miles and more to where the swamps began and the route was perilous, but he could not deny the deep instinct that drove him on.

Ten hours later, he stopped to bathe and drink and feed in an isolated marshy place, still a great distance from the true swamps. This was one of the way stations on the old migratory road.

He had not been there more than a few hours before an aircraft had rushed low overhead, filling the air with its buzzing roar, startling and angering Tukumbala. In some vague way, he associated this machine with the deadly danger of the hunters. It left the same foul stench upon the air as the hunting vehicles, which he had encountered so often before, and he knew he could rest no longer in this place, the hunters were closing in. The great swamps were his refuges and he fled towards them.

***

The heat was fierce and became fiercer still as they reached the rim of the escarpment of the Zambezi valley and started down. The air changed its character. It lay out on the earth in silvery streams like water, it quivered and shimmered like curtains of crystal beads and changed the form and shape of things at a distance so that they squirmed and wriggled, doubled in size, assuming monstrous shapes in the mirage, or disappeared from view, swallowed up by the cascades of heated air.

Farther off the air was blue, so when she looked back, the escarpment down which they were climbing was washed with pale blue, misty and ethereal. The sky was a different blue, deep and vigorous, and the clouds stood upon the firmament in towering ranges the colours of lead and silver, their bottoms cut cleanly horizontal to the earth, their heads shaped like full-rigged ships. Under the cloud ranges the air was trapped and lay upon the earth so that it felt as heavy as hot syrup. They trudged along beneath its weight.

From the forest around them the minute black mopane flies came swarming and gathered at the corners of their eyes and mouths, crawled up into their nostrils and into their ears to drink the moisture from their bodies. Their insistence was exquisite torture. As each kilometre fell behind them, so vistas of the valley floor opened ahead and on the horizon they could at last make out the dark belt of river vegetation which marked the course of the great Zambezi.

"There is no sign of game." Alexander remarked, peering ahead through his binoculars. "We haven't seen so much as a rabbit since we crossed into Mozambique." It was the first time he had spoken in hours and Jim was encouraged. He had begun seriously worrying about his client. Now he responded quickly.

"This was once a paradise of big game. I hunted here before the Portuguese pulled out and the Buffalo were running in herds ten thousand strong."

"What happened to them?"

"Frelimo, the freedom fighters fed their army with them."

"How did they do it?"

"From helicopters, they flew low over the herds and machine-gunned them. They killed almost fifty thousand buffalo in three months. For all that time the sky was black with vultures and you could smell the killing fields from thirty kilometres off. When the buffalo were finished they started on the other game, the wildebeest and the zebra."

"What a cruel and savage land this is." Rita said quietly.

Jim called a halt an hour before dark for a brew of tea and their frugal evening meal. Alexander asked for a couple of aspirin before he settled down under a tree and stretched his feet. Jim opened the side flap of his pack and shook three Anadin tablets from their bottle.

"Headache?" he asked as he passed them to Alexander, and he nodded in response as he popped them into his mouth and washed them down with a swallow of hot tea.

"The dust and sun glare." he explained, but both Rita and Jim were studying him and Alexander bridled.

"Damn it, don't look at me like that. I'm fine,"

"Sure," Jim agreed smoothly. "Let's eat and move on to find a place to sleep." He went across to the cooking fire and squatted beside it, talking softly to his African cook.

"Papa," Rita moved a little closer to her father and touched his arm, "how are you feeling, honestly?"

"Don't worry about me, *Solnishka*."

"It has started hasn't it?"

"No," he replied too swiftly.

"Doctor Ivanov said there might be headaches."

"It's the sun."

"I love you Papa. she said.

"I know, Ritashka, and I love you too."

"An ocean and a mountain?" she asked.

"The stars and the moon," he confirmed and put his arm round her shoulders. She leaned against him.

As soon as they had eaten, Jim doused the fire and got them up and moving again. Tukumbala's spoor was easy to follow in the soft earth. However, at dark they were forced to stop for the night.

"We'll reach the swamps tomorrow afternoon," Jim promised Alexander as they stretched out on top of their sleeping bags. He was getting worried about his client's health and had considered seriously about the possibility of turning back towards the border should Alex's health deteriorate. But they had now reached the point of no return and he grinned to himself as he thought about the true reason for his determination to go on, two immaculate ivory tusks and half a million dollars of cash payment for his services. By now he was not honestly certain which of those two reasons was

the most compelling. Those tusks were beginning to loom large in his imagination. They represented the old Africa, a symbol of a better world that had vanished. He wanted them more than he had ever wanted anything in his life, except perhaps half a million dollars and he grinned again.

"Where do you think Tukumbala is by now?" asked Alexander as he settled down next to him before retiring.

"Well we'll know from his tracks roughly where he would have entered the swamps. We just need to cast along around the edges until we find his entry. That could take a bit more hiking, do you feel up to it Alex?"

"Absolutely, never felt better," answered Alexander.

At dawn they were on their way again, but before moving on Jim went over their packs to see if he can lighten up the burden for this last leg of the chase. They had consumed most of the provisions and he redistributed the remainder between himself and his African team, thus reducing the burden for Rita and her father.

They both responded well to their reduced burdens but now Jim marched along side Alexander to encourage him and watch over him. Rita was going surprisingly well, he needn't have worried about her at all. He took pleasure in watching her long legs driving and her fleshy rounded buttocks oscillating in those tight blue jeans.

Far ahead of them a slow standing cloud of evaporation marked the position of the swamps, and the alluvial soil was sandy and yielding under foot.

"Just think of this, Alex." Jim was trying to divert him. "You are probably one of the last men who will hunt a great elephant in the classical tradition of the long chase. This is the way it should be done, not grinding around in a Land Rover and then leaning out of the window to kill him. This is how the greatest elephant hunters did it; 'Karamajo', Bell and 'Samaki' Salmon.

He saw Alexander's expression light up at the idea of being compared to those great masters of the chase, men from another age when elephant had been fair game - not licensed deftly and protected like today .

"Samaki Salmon had hunted and killed four thousand elephants in his lifetime. He had even hunted with Edward, Prince of Wales, as his client. There had been a different morality in those days, and Samaki had been honoured and respected. Today a man with so many kills would be counted as a villain and a criminal."

"That was the golden age." Alexander extended his stride with new vigour, "You and I should have lived then, Jim. We were born after our time."

"A true hunter should kill a great elephant with his legs. He should walk him down. That's the respectful and proper way and that is what you are doing now, Alex. Enjoy every step you take, for you are treading in old Bell's footprints."

Unfortunately the effects of Jim's encouragement were not enduring; within an hour Alex was flagging and Jim noticed a new disconcerting unsteadiness in his gait. He stumbled and would have fallen had Jim not caught his arm.

"We'll need a five minute break and a cup of tea." Jim led him to the shade. When the African servant brought the tea mugs, Alexander mumbled, "Have you got a couple more aspirin for me?"

"You all right, Alex?" he asked as he handed him the tablets.

"Damned headache again, that's all." But he would not meet Jim's eyes. Instead he turned and spoke to Rita quietly in Russian.

Jim looked across at Rita who was sitting close listening to her father, but she also avoided his gaze.

"Do you know something I don't?" Jim demanded. "You both look guilty as hell, and you always switch to Russki when I am around." He didn't wait for an answer but stood up and went to join the cook at the small fire where he was baking a fresh batch of maize cakes for their evening meal.

"The aspirin will make you feel better." Rita told her father softly.

"Of course, aspirin is a sure cure for cancer once it reaches the brain." he agreed, and then as he saw her agonised expression he blurted, "I'm sorry *Ritashka*, I don't know why I said that. Self-pity isn't my usual style."

"Is it bad Papa?"

"I can tolerate the headache, but I'm getting a little double vision that worries me," he admitted. "Damn it, I was feeling so well a few days ago. It's all happened so quickly."

"The exertion," she said, pitying him. "Perhaps that is what has aggravated it. We should turn back."

"No," he said with utter finality. "Don't even talk about that again." She inclined her head in acquiescence.

"The swamps are not far ahead. Perhaps we'll have a chance to rest," she said.

"I don't want to rest," he said. "I realise how little time I have left. I don't want to waste a moment of it."

Jim Thorpe came back to them. "Are you ready to go on?"

Rita glanced at her wristwatch. They had rested for less than half an hour. It was too short and she would have protested but her father pushed himself to his feet.

"All set," he said, and she could see that even that short break had refreshed him.

They had been going only a few minutes when Alexander said quite cheerfully, "Those hamburgers that your African has cooked smell just great. Makes me feel hungry."

"Those hamburgers are maize cakes," Jim chuckled. "Sorry to disappoint you."

"You can't bullshit me," Alexander chuckled with him. "I can smell the fried onions and beef."

"Papa." Rita looked back over her shoulder and frowned sharply, and Alexander stopped chuckling and looked distraught.

'There might be hallucinations,' Doctor Ivanov had warned Rita. 'He may begin to see things, or imagine various odours. I can't give you an exact progress of the disease, of course, and there maybe periods of swift deterioration followed by long periods of remission. Just remember, Rita that his fantasies will be very real to him, and episodes of hallucination can be followed by periods of complete lucidity.'

That evening Jim would not stop to brew tea. "We have to try to make up the ground we've lost," he told them, and they ate the cold maize cakes on the march. They no longer had a spoor to follow, so Jim kept going long after night had fallen. The long tortuous Kilometres fell slowly behind them and the brilliant southern stars burned over their heads. It was almost midnight before they stopped and unrolled their sleeping bags.

Jim let them sleep until the dawn light was strong enough to make out the way ahead. The landscape had changed. During the night they had entered the region held captive by the great Zambezi River. These were ancient flood plains that were inundated when the river broke its banks during the torrential rainy season. They were dry now, although almost devoid of trees. As they moved out into the open Jim's small African tracker came running back to him excitedly.

"Its him, Tukmbala. We've cut his spoor again." and he touched the marks of the huge pads whose weight had crushed bracelets of dried mud to talcum powder. The spoor was very clear.

"Still heading straight for the swamps." Jim stood and shaded his eyes against the glare as he followed the direction of the spoor. Not far ahead another line of trees was drawn like a pencil along the horizon.

"How far behind him are we?"

"We've made up a lot of ground. We're not far."

Jim followed the spoor of the old bull off the plain and into the trees of the isthmus. Here the elephant had stopped to dig the juicy roots of palm, and drop a pile of spongy yellow dung.

"The elephant rested here," Jim explained, lowering his voice to a whisper. "He is an old man now and he tires easily. Here he stood to sleep, see how he shuffled his feet in the dust, and when he awoke he dusted his body. See where he scoped the dust up with his trunk and threw it over his back."

"How soon Jim? How soon?"

"We are really making good progress now." He put on a cheerful and confident air to encourage them. "We might catch up with him before he gets into the deep swamps, if we don't waste any more time."

The spoor headed down the isthmus and the old bull had fed quietly as he moved along it, keeping up on top of the low ridge where the bush was thickest. For the moment, Jim had left Alexander's side and moved up with the tracker to caution him to slow his pace for the sake of his clients. But before he could speak he heard a strange guttural cry behind him and he whirled around.

Alexander's face was swollen and congested with blood, his eyes blazed and seemed to spring from their sockets. Jim thought he was suffering from some kind of seizure, but Alexander was pointing ahead, his hand shaking with violent emotion.

"There he is," he croaked, in a thick unnatural voice. "for God's sake, can't you see him?"

Jim whirled and followed the direction of his outstretched arm but all he could see was a lonely old baobab tree.

"What is it Alex?"

He was looking ahead and he did not see Alex reach to the African carrier and snatch the Rigby rifle off his shoulder, but he heard the metallic clash of the bolt as Alex chambered a cartridge.

"Alex, what the hell are you doing?" He reached out to restrain him, but Alex shoved him backwards and he staggered and almost fell.

Alex ran forward to the head of the line and then he stopped and lifted up the rifle.

"Alex , don't do it." Jim was sprinting to catch him, but the Rigby crashed out and the barrel jumped high, driving Alex back a pace with the heavy recoil.

"Have you gone crazy?" Jim could not reach him before he fired again, and the heavy bullet tore a flurry of white bark from the trunk of the boabab. The echoes of the shot echoed across the plains.

"Alex." Jim reached him and seized the rifle, forcing the muzzle up towards the sky just as Alex fired the Rigby for the third time.

Jim rested the weapon out of his grip.

"In the name of all that's holy, Alex, what on earth do you think you're doing?"

All their eardrums were numbed by the thunder of gunfire, and Jim's angry outraged voice sounded small and hollow after it.

"Tukumbala." Alexander mouthed. "Don't you see? Why did you stop me?" His face was still flushed and he was shaking like a man with a malarial fever. He reached once more for the Rigby in Jim's grasp, but Jim jerked it away from him.

"Pull yourself together," he shouted angrily and tossed the empty rifle to his African. He turned back to Alexander.

"Are you out of your mind?" He seized him by the shoulders. "The sound of those shots will carry for long distances. Your Tukumbala is probably on the run again"

"Leave me alone!" Alexander struggled. "Don't you see him?" And Jim shook him viciously.

"Snap out of it. You're shooting at a tree. You've blown your lid."

"Give me the rifle," Alexander was pleading, and Jim shook him again and roughly turned him to face the baobab tree.

"Look at it you bloody madman! There's your elephant!" He shoved him towards it. "Take a good look."

Rita ran forward and tried to restrain Jim. "Leave him alone, can't you see he's sick?"

"He's gone crazy!" Jim pushed her aside. "He's chased away the elephant."

"Leave him," Rita came back at him, and Jim let go of her father and stepped back.

"All right princess, he's all yours."

Rita rushed to her father and embraced him. "It's all right, Papa! It's going to be all right!"

Alexander was staring uncomprehendingly at the deep raw wounds in the bark of the baobab tree from which sap was oozing.

"I thought it was..." he shook his head weakly. "Why did I do that? I don't...I thought it looked like an elephant."

"Yes Papa, yes." Rita was hugging him. "Don't upset yourself."

The African team including the tracker were quite and unhappy watching this strange episode that none of them could fathom. Jim turned away in disgust. It took him a few seconds to get full control of himself, then he asked his tracker. "Do you think we are close enough for Tukumbala to have heard the shooting?"

"The swamps are close, and the sound carries over this flat earth as it does over water. " he shrugged. "Perhaps the elephant heard, who knows."

Jim looked back the way they had come. From the ridge they could see out across the flood plain into the dusty distances.

"We'll have to rest here. The *mambo* is sick. Brew a billy of tea, and we'll decide what to do," he ordered.

He walked back to where Rita was still holding her father. She faced Jim defiantly, turning her body to shield Alexander from him.

"Sorry I pushed you around, Alex." Jim said mildly. "You gave me a hell of a fright."

"I don't understand," Alexander mumbled. "I could have sworn it was him. I saw him clearly."

"We will break for a cup of tea." Jim told him. "I think you've got a touch of the sun. It can turn a man's brain to jelly."

"He'll be fine in a few minutes." Rita said confidently, and Jim nodded at her.

"Let's get him into the shade."

Alexander leaned back against the bole of the baoab tree and closed his eyes. He looked pale and bewildered, a rash of sweat droplets sparkled on his chin and upper lip. Rita knelt beside him and dabbed them away with the corner of her scarf, but when she looked up at Jim he jerked his head in a peremptory gesture and she stood up and followed him.

"This doesn't come as any surprise to you, does it? " he accused, as soon as they were beyond earshot. She did not reply and he went on. "Just what kind of daughter are you anyway? You knew he was sick and you let him come on this safari."

Her lips were trembling and as he stared into them he saw that her honey-coloured eyes were swimming, he had not expected tears from her. They took him by surprise. He felt his fury slipping away and he had to make an effort to bolster it.

"It's too late to start blubbering now, princess. We've got to find a way to get him home. He's a sick man."

"He's not going home," she murmured, so low that he barely caught the words. Her tears were hanging on thick dark lashes and he stared at her in silence. She swallowed hard and then said. "He's not sick like a sick man, Jim. He's dying. Cancer. It was diagnosed by a specialist before we left Moscow. He predicted that it would attack the brain like this."

Jim's fury crumpled.

"No," he said. "Not Alex."

"Why do you think I agreed to let him come and insisted on coming with him? I knew that this would be his last hunt - and I wanted to be with him."

They were silent, staring at each other and Jim's eyes watered. Then she said. "You care. I can see that you truly care for him. I didn't expect that."

"He's my friend," Jim said, puzzled himself by the depth of his own sadness.

"I didn't think you were capable of gentleness," she went on softly. "I may have misjudged you."

"Perhaps we misjudged each other," he said, and she nodded .

"Perhaps we did," she said. "But thank you anyway. Thank you for caring for my father."

She began to turn away to go back to Alexander but Jim stopped her.

"We still haven't settled anything," he said. "We haven't decided what we are going to do."

"We go on, of course," she answered. "Right to the bitter end. That's what I promised him."

"You've got guts," he told her softly.

"If I have, then I got them from him," she replied, and went to her father.

The mug of tea and a half dozen Anadin tablets revived Alexander. He was acting and talking completely rationally again, and none of them made any further reference to his wild behaviour, although quite naturally it had thrown a pall over all of them.

"We must move on, Alex," Jim told him. "Tukumbala is walking away from us every minute we sit here."

They followed the ridge of high ground, and now the odour of the swamps was stronger, brought to them by the fitful inconstant wind.

"That's one of many reasons the elephant like the swamps," Jim explained to Alexander. "There the wind is always shifting, turning and switching. It makes it much more difficult to get close to him."

There was a gap in the trees ahead, and Jim stopped and they gazed through it.

"There they are," he said. "The Zambezi swamplands."

The ridge on which they stood was like the back of a sea serpent, swimming across the open flood plains. Now just ahead of them it ducked below the surface and disappeared at the point where the open plains gave way to endless expanses of papyrus and reeds.

Jim raised his binoculars and surveyed the swamps ahead. The reed-beds seemed limitless, but he had flown over them and he knew they were interspersed with shallow lagoons of open water and narrow winding channels. Further out, almost on the horizon, he could see the look of small islets, dark patches of almost impenetrable bush-crowned islands and through the lens of the binoculars he could just make out the curved palm stems with their high fluffy heads.

The past season had been particularly dry and the water level would be low, in most places not more than waist deep, but the mud banks would be black and glutinous and the channels much deeper. The going would be arduous, and apart from the mud and water, reeds and water plants would impede each step they took, winding themselves around their legs as they tried to move.

For them each mile through the swamps would be the equivalent of five on dry land, while the elephant would be in his element. He loved mud and water. It supported his great bulk and his footpads were designed by nature to expand as he put his weight upon them, forcing a wide opening, and then they would shrink in diameter as he lifted them, freeing themselves readily from the clinging mud.

Tukumbala could gorge on reeds and soft water plants and swamp grass, and the dense bushy islets would afford variety to his died. The suck of mud and the splash of water would warn him of an approaching enemy and the changing wind would protect him, bringing the scent of a pursuer to him from every quarter. In all Tukumbala's wide range, this was the most difficult place to hunt him.

"Its going to be a Sunday-school picnic, Alex," Jim lowered his binoculars. "Those tusks are as good as hanging over the fireplace in your den already."

The old bull's spoor went out to the very end of the land bridge, and then down into papyrus beds, where the undulating sea of green fronds swallowed the trail and left no sign.

"Nobody can follow a trail in there." Alexander stood at the line where dry earth ended and damp swamp mud began. "Nobody can find Tukumbala in there," he repeated, staring at the wall of swamp's growth higher than his head. "Surely they can't?"

"You are right, no body can find him in there, " Jim agreed. "That is, except my clever tracker."

They were standing in the remains of a deserted village that had been built on the end of the isthmus. Clearly the previous occupants had been fishermen, members of a one of the small tribes who live along the banks of the Zambezi and make their livelihood from her abundant green waters. Only the racks on which they had dried their catches of bream and catfish still stood, but their huts had been burned to the ground.

The tracker Bobo was searching the outskirts of the village and he whistled for Jim. When Jim went to join him he was standing over an object which lay in the short grass. At first glance Jim thought it was a bundle of rags and then he saw the bones protruding from it. They were still partially covered by shreds of dried skin and flesh.

"When?" Jim asked.

"Six months ago, perhaps a bit more."

"How did he die?"

Bobo squatted beside the human skeleton and when he turned the skull it snapped off the vertebrae of the neck like a ripe fruit. Bobo turned it in his hand, and it grinned at him with empty eye-sockets.

'bullet through the back of the head." Bobo said. "Exit-hole this side." It was like a third eye in the bone of the forehead.

Bobo replaced the skull and walked deeper into the grass. "Here's another," he called.

"Revolutionaries or terrorists have been through here," Jim gave his opinion. "Either looking for recruits or dried fish or both. There will be plenty more of them lying around, they are the ones who escaped from the huts before they burned."

They started back towards the village and Jim said. "They were fishermen. They would have had their canoes here. They will probably be hidden, but we could certainly use one. Go through the edge of the papyrus beds and then search the brush behind the village."

Jim crossed to where Alexander and Rita were sitting together. As he came up, he looked at her enquiringly and she nodded and smiled optimistically.

"Papa is doing fine. What's this place?"

He explained their reasoning as to the fate of the village.

"Why would they kill these innocent people?" Rita was appalled.

"In Africa these days you don't have to have a reason for killing somebody, other than a loaded gun in your hand, and a fancy to fire it off."

"But what harm could they have done ?" she insisted

Jim shrugged. "Hiding food, refusing the services of their women, or for no reason at all."

The sun was a red ball through the swamp haze, so low above the tops of the papyrus that Jim could look directly at it without screwing up his eyes.

"It will be dark soon," he decided. "We'll have to sleep here tonight and start again at first light tomorrow. One consolation is that now Tukumbala has reached the swamps, he will slow down. He's probably not more than a couple of miles ahead of us rights now." But as he said it he thought about those shots that Alexander had fired. If the bull heard them, he would still be running. There was, however, no point in telling that to Alexander. He looked shaken and despondent, and he had been almost silent since the incident.

'He's is just a skeleton of the Alex I knew, poor old devil. The last thing I can do for him is get him that elephant.' Jim's sympathy was genuine and unaffected. He sat down beside him and began to draw him out, describing what lay ahead and how they would hunt for the old bull in the papyrus beds. The hunt was all that now seemed to interest Alexander, and for the first time that day he became animated and once even laughed.

Rita flashed a grateful smile at Jim and stood up saying," I've got a little private business to attend to."

"Where are you off to?" Jim demanded immediately.

"The little girls' room," she told him. "And you are definitely not invited."

"Don't go wandering off too far, and no swimming this time," he ordered. "You'll get enough of that tomorrow."

"I hear and obey, O great white hunter." She gave him a sarcastic curtsy and set off out of the perimeter of the burned village. Jim watched her go uneasily and was about to call another warning after her when there was a shout from the papyrus bed and his attention was diverted from Rita.

He jumped up.

"What is it Bobo?" he yelled, and went down to the water's edge.

There were more confused shouts and splashing from the depths of the papyrus and then Bobo and his helper emerged dragging something long and black and waterlogged between them.

"Our first bit of luck," Jim grinned at Alexander and slapped him on the shoulder. It was a traditional dugout canoe, about six meters long, hewn from a single log. The body of the dugout was just wide enough for a person to sit in it, but it was usually propelled by a man standing in the stern and wielding a long pole.

Bobo tipped the water out of the canoe and they examined it carefully. The hull had been repaired and caulked in a few places, but seemed reasonably sound.

"Go and cut a couple of strong punt poles." Jim ordered and then Rita screamed and they all spun to face the sound. She screamed again, the sound was strangely muffled and far off, and Jim began to run, snatching up his rifle from where he had left it beside the nearest burnt-out hut.

"Rita," he yelled. "Where are you?" Only his echo mocked him from the forest. "Where are you?...are you?"

***

When Rita stood up and re-buckled her belt, she found that it came in easily a full two notches shorter around her waist. She smiled down at her belly with approval. Now it was no longer flat but definitely concave. The long march and frugal rations had stripped every last ounce of fat from her frame.

She started back towards the village, and then realised that in her search for privacy she had gone further than she had intended and that a thicket of wiry thorn brush blocked her way back. She turned aside to circumvent it and came upon a broad pathway running directly down through the brush towards the edge of the swamp. She followed it thankfully.

Rita did not realise that she was following a hippo road, one of the wide thoroughfares that the great amphibians followed on their nightly forays into the forest. However, the road had not been used for many months. The hippopotamus in the area had been decimated along with the other game. She was in a hurry to get back to her father, and was feeling slightly uneasy at her isolation from the rest of the party. She strode down the pathway, just short of a run.

Ahead of her an old mat of dried papyrus stems was spread across the road from side to side. It had obviously been placed there by the previous occupants of the village, and although it served no purpose that Rita could imagine, it was no obstacle for her progress and she stepped on to it without slackening her pace.

The pitfall had been dug for the purpose of trapping a hippopotamus. It was four meters deep with funnel-shaped sides that would tumble one of the huge beasts down its depth and wedge it securely between the earthen walls. The opening was covered by branches strong enough to carry the weight of a man or a lesser animal, but not that of a hippo. Over these branches the builders had spread papyrus stems.

However the pitfall had been built a long time previously and both branches and mat had rotted and weakened. They collapsed under Rita's weight, and she screamed as she dropped through into the pit beneath, and screamed again as she hit the sloping side and bounced off it. The bottom of the pit was covered with a few centimetres of stagnant water that had seeped into it. Rita landed awkwardly with one leg twisted under her and then rolled on to her back in the mud.

The breath had been driven from her lungs and there was a fierce pain in her left knee. For a few moments she could not respond to the faint shouts she heard from above. She sat up, clutching her injured knee to her chest and gasping wildly fill her agonised lungs. At last she managed a strangled shout.

"Here ! I'm here."

"Are you all right?" Jim's head appeared above her, peering down anxiously.

"I think so!" she gasped, and tried to stand up, but the pain shot through her knee and she fell back. "My knee," she gasped again.

"Hold on. I'm coming down." Jim's head withdrew. She heard voices including her father's. Then a coil of nylon rope dropped down to her, unfurling as it fell. Jim lowered himself swiftly down the rope and dropped the last meter to land with a splash in the mud beside her.

"I'm sorry," she said contritely. "I guess I've done it again."

"Don't apologise," he grinned. "I'm not conditioned to it. For once it is not your fault. Let me take a look at your leg."

He squatted beside her. "Move your foot. Good! Can you bend your knee? Splendid! At least you haven't broken any bones. That's a relief. Let's get you out of this hole." He tied a loop in the end of the rope and slipped it over her head and shoulders and settled it under her armpits.

"O.K up there. Tiny, Alex. Take her up gently, very gently."

As soon as they reached ground level, Jim made a more thorough examination of her knee.

He rolled up the leg of her jeans and said, "Shit!"

Already Rita's knee was ballooning and the first tinge of bruising coloured the smooth tanned skin.

"This might hurt a little," he warned, and manipulated her knee gently.

"Ouch!" she said. "That's damned sore."

"Okay," he nodded. "It's the medial ligament. I don't think you've torn it, it would be much more painful if you had. Probably just sprained it."

"What does that mean?" she asked.

"Three days," he replied. "You won't be walking on it for at least three days."

He put his arm around her shoulders. "Can you stand up?" he asked and when she nodded he helped her to her feet. She leaned against him, standing on her good leg.

"Try putting a little weight on it," he said, and immediately she exclaimed with pain.

"No. I can't use it."

He stopped and picked her up in his arm as though she were a child and carried her back to the village. She was surprised by his strength and then, although her knee was beginning to throb, she relaxed in his arms. It was a good feeling. Papa had carried her like this when she was a little girl, and she had to resist the urge to lay her head against Jim's shoulder.

When they reached the village he set her down in the clearing, and Tiney ran to fetch the medical pack. Her injury had diverted Alexander's attention from his own troubles, and he came over to fuss over his little girl in a way, which ordinarily would have annoyed her. Now she submitted to it, thankful for his revived animation and attention.

Jim strapped the knee with elastic bandage from the medical kit and then gave her an anti-inflammatory tablet to swallow with hot tea.

"That's about all we can do for it," he told her, and sat back. "Only thing that will fix it is time."

"Why did you say three days?"

"It takes that long. I've seen a hundred knees just like yours, except that they were usually a lot more hairy and not nearly as pretty."

"That's a compliment." She raised an eyebrow. "You are getting soft white hunter."

"Part of the service, and of course totally insincere," he assured her with a grin. "The only question now, Princess, is what on earth are we going to do with you."

"Leave me here," she said promptly.

"Are you out of your mind?" he asked, and Alexander backed him up immediately.

"That's out of the question."

"Look at it this way," she reasoned calmly. "I cannot move for three days, by which time your elephant will be gone, Papa." She held up her hand to forestall his argument. "We cannot go back. You can't carry me. I can't walk. We would have to sit here anyway."

"We cannot leave you alone, don't be ridiculous."

"No," she agreed. "But you can leave someone to look after me while you go after Tukumbala."

"No." Alexander shook his head.

"Jim," she appealed to him. "Make him see that it is the only sensible thing to do."

He stared at her and the admiration she saw in his gaze gave her a full warm feeling in her chest.

"Damn it," he said softly. "You are right."

"Tell him it will only be for a few days, Jim. We all know how much that elephant means to Papa. I want to give it to him as my..." she almost said 'last gift', but then changed it, "as my special gift to him."

"I can't accept it *Ritashka*." Alexander's voice was gruff but blurred and he lowered his head to hide his feelings.

"Make him go, Jim" Rita insisted, and gripped his forearm firmly. "Tell him I'll be safe here with your African guard to look after me as I would be in the swamp with the two of you."

"She just may have a point Alex," Jim said. "But hell, it's not my business. It's between the two of you."

"Will you leave us alone, Jim?" and then without waiting for a reply she turned to her father. "Come and sit here next to me Papa." She patted the ground beside her. Jim stood up and walked away, leaving them together in the gathering darkness. He went to sit beside Bobo. They sat in the companionable silence of old friends, drinking tea and smoking one of Jim's last cheroots, passing it back and forth between them.

An hour passed. It was entirely dark before Alexander came back to where the two of them sat. He stood over them and his voice was rough and drawn with sadness.

"All right, Jim," he said. "She has convinced me to do as she wants. Will you make the arrangements to go on with the hunt first thing tomorrow morning? Will you look after her for me Bobo?"

"I'll look after her for you, sir," he agreed. "You just go kill that old Tukumbala. We'll be here when you get back."

***

Jim left the two African helpers instead of Bobo to look after Rita. He explained to Alexander that Bobo is the only tracker who can lead them to Tukumbala and that he should accompany them on the hunt. Jim gave them his final orders, and then sauntered across to where Alexander was taking leave of his daughter.

"Are you ready, Alex?"

Alex stood up quickly and walked away from Luba without looking back.

"Don't get into any more trouble." Jim told her.

"You neither." She looked up at him. "And Jim, take care of Papa for me."

He squatted down in front of her and offered his hand as he would if she were a man, and he tried to think of something witty to say, but he could not. She reached to him and held his neck firmly, planting a long passionate kiss on his lips. "Come back to me white hunter," she said with a throaty voice full of emotion.

"That's a promise," he said, surprised at the warmth of her kiss, and elated by her sudden show of affection for him. He stood up and walked down to the edge of the swamp where Alex and Bobo were waiting for him beside the dugout canoe. His heart was thumping a few beats faster.

Within seconds of pushing off from the bank, they were surrounded by a palisade of papyrus, and their view was restricted to the wall of reeds and the small patch of lemon-yellow dawn sky overhead. The nights clammy chill hung over the swamp and when they came out suddenly into an open lagoon, there was a heavy mist lying over the surface and a flock of whistling duck alarmed the dawn with the clatter of their wings.

The sun rose over the papyrus and immediately the mist twisted into rising tendrils and then was gone. The water lilies opened their blossoms and turned them to face the sunrise. Twice they saw large crocodiles lying with just their eye-knuckles exposed. They sank below the surface as the dug-out slid towards them.

The swamps were alive with birds, secretive night herons lurked in the reed-beds, little chocolate-brown jacanas danced over the Lilly pads on their long legs, while goliath herons, as tall as a man fished the back waters of the lagoons. Overhead winged formations of pelicans and white egrets, and huge flocks of wild duck of a dozen different species commanded the air.

The heat built up swiftly and was reflected from the surface of the water into their eyes so that they were soon sweating through their shirts. At places the water was only a few centimetres deep and they were forced to climb out and drag the canoe to the next channel or lagoon. Under the matted reeds the mud was black and foul smelling and reached to their knees.

In the shallow places Tukumbala's pads had left deep circular water-filled craters in the mud banks. The spoor of the old bull led them ever deeper into the swamplands, but there was consolation in the swift progress that the canoe made across the lagoons and channels. Jim and Tiney would relieve each other periodically with the punt pole, while Alexander sat crossed legged in the middle of the dugout.

There was room only for one man to stretch out in the bottom of the canoe. Alexander slept in it that night, while the others sat waist-deep in the mud, leaning against the hull of the canoe and took what rest the clouds of mosquitoes allowed them.

Early the following morning, when Jim stood up out of the mud, he found that his bare legs were swarming with black leeches. The repulsive worms were attached to his skin, bloated with the blood they had sucked from him. Jim used a little of their precious supply of salt to rid himself of them. To pull them loose would leave a wound, which would continue to bleed profusely and probably become infected. However a dab of salt on each leech made them twist and contort in agony and fall off leaving only a sealed wound on the skin.

Jim set the end of the Punt pole in the mud and steadied it while Bobo shinned up it like a monkey and peered ahead. When he came down he told Jim. "I can sea the islands. We are very close. We can be there in two hours, and unless Tukumbala has heard us, he will be on one of the islands.

Jim knew from flights over the area and from study of his large-scale map that the islands formed a chain between the swamplands and the main channel of the Zambezi. They dragged the canoe through the shallows, and after nearly one hour Jim saw the fronds of the palm trees rising above the screen of papyrus ahead. Abruptly the water deepened, and he went under to his chin. He dragged himself out and he and Bobo clambered back on board. Jim poled through to the first island. The vegetation was so dense that it overhung the water, and they had to push their way through to reach the shore.

The earth was grey and sandy, leached by a million floods, but it was good to have dry land under foot. Jim spread out their wet clothing and equipment to dry while Bobo slipped away to make a circuit of the island. The water had just boiled in the billy when Bobo was back.

"Yes," he nodded at Jim. "He passed here yesterday early, while we were leaving the village, but he has settled down now. The peace of the river is upon him, and he feeds quietly. He left this island at sunrise this morning."

"Which way did he go?" Jim asked, and Bobo pointed.

"There is a larger island close by."

"Let's take a look."

Jim poured a mug of tea for Alexander and left him alone while he and Bobo skirted the northern shore, forcing their way through the dense growth until they reached the base of the tallest tree on the island and climbed into its top branches. Jim settled into a high crotch of the tree and gazed out on a scene of magnificent desolation. He was fifteen meters above the island and could see the misty horizon. The Zambezi flowed past the island. Its waters were an opaque glassy green and very wide like a great lake in motion. He could see the shallow parts were animals passed regularly from island to island.

Jim transferred all his attention to the nearest island. It was nearly three hundred meters away; the channel between was clogged with reeds and water lilies pads. The bloom of the water lilies were spots of electric blue against the green water and even in the tree-top Jim could catch wafts of their perfume. He raised his binoculars and meticulously swept the channel and the nearest shore of the island, for the sweep and magnitude of this land-and waterscape could swallow up even a great elephant.

Suddenly his nerves jumped as he saw movement weighty and ponderous in the reeds and the gleam of wet hide in the sunlight. His excitement was stillborn, followed by the pull of disappointment in his guts, as he recognised the broad misshapen head of a hippopotamus emerging from the swamps. With relief, Jim watched it move on and submerge itself in the further lagoon. The rotten hull of their dugout canoe would have offered no protection from those heavy curved tusks in the gape of his huge jaws.

At last Jim looked across at Bobo in the fork beside him, and the little tracker shook his head.

"He has moved on, so must we."

They scrambled down to the ground and went back to where they had left Alexander. The voyage in the canoe and a good night's sleep had invigorated him. He was on his feet, impatient and eager for the hunt, the way Jim had known him before.

"Anything?" he demanded.

"No," Jim shook his head. "But Bobo reckons we are close. Absolute silence from now on."

While Bobo loaded the canoe, Jim gulped a mug of the scalding tea and kicked sand over the fire.

They punted and pushed the canoe across the channel to the next island, and once again Jim climbed into a treetop while Bobo scurried into the dense undergrowth to pick up the elephant's spoor again. He was back within fifteen minutes and Jim slid out of the tree to meet him.

"He has moved on," Bobo whispered. "But the wind is bad." He gave a grave look, and took the ash bag out of his loincloth and shook out a puff of powdery white ash to demonstrate. "See how it turns and changes..!"

Jim nodded and before they crossed to the next island he stripped off his sleeveless bush shirt. Naked from the waist up he could feel instantly the vagary of the breeze on the sensitive skin of his upper body.

On the next island they found where Tukumbala had left the water to go ashore, and the mud he smeared on the brush as he passed was still slightly damp. Tiney shivered with excitement like a hunting dog getting his first whiff of the bird. They left the canoe and crept forward, feeling their way through the heavy bush, thankful for the breeze that clattered the palm leaves overhead to cover the small sounds of their footfalls in the dead leaves and dry twigs. They found where the old elephant had shaken down the nuts from one of the palms and stuffed them down his throat without chewing them with his last worn molars, but he had moved on again.

"Run?" Jim whispered, fearful that the bull might have sensed their presence, but Tiney reassured him with a quick shake of his head and pointed to the green twigs that the elephant had stripped of bark and left scattered along his tracks. The raw twigs had not completely dried out, but the spoor led them on a meandering beat across the island and then once more plunged into the channel on the far side. Jim sent Tiney back to bring the canoe and when he arrived they piled Alexander into it and pushed him across, wading waist-deep beside him, moving stealthily and silently until they reached the next island.

Here they found a pile of dung, spongy and soft with reeds and hyacinth that the bull had eaten, and beside it the splash of his urine as though a garden hose had been played upon the earth. The pile of dung had a dry crust but when Tiney thrust his foot into it, it was moist as porridge and he exclaimed with delight at the body heat still trapped within.

"Close, very close!" he whispered excitedly.

Instinctively Jim reached for the cartridges looped in his belt and he changed for those in the double-barreled rifle, careful to mute the click of the rifle sidelock as he closed it. Alexander recognized the gesture, he had seen it so often before and he grinned with excitement and clicked the Rigby's safety-catch on and off, on and off. They crept forward in single file, but disappointment dragged them down again as the spoor led them across the island, and then on the far side once more entered the papyrus beds.

They stood facing the wall of reeds, staring at the point where Tukutela had pushed down the stems as he went through. One of the flattened stems quivered and began slowly to rise into its original position. The elephant must have passed only minutes ahead of them. They stood in a frozen group, straining to listen beyond the susurration of the wind in the papyrus.

Then they heard it, the low rumble like summer thunder heard at a great distance, the sound that an elephant makes in his throat when he is content and at peace. It is a sound that carries much further than its volume would suggest, but nevertheless Jim knew that the bull was not more than a hundred meters ahead of them and he laid his hand on Alexander's arm and drew him gently up alongside him.

"We have to be careful of the wind," he began in a whisper, and then they heard the swish and rush of water sucked up in the bull's trunk and squirted back over his own shoulders to cool himself, and they caught a brief glimpse of the black tip of his trunk as he lifted it high above the tops of the papyrus ahead of them.

Their excitement was so intense that Jim felt his throat closed and dry, and his whisper was rough.

"Back off!"

He made a cutout hand signal which Tiney obeyed instantly, and they backed away, a stealthy pace at a time, Jim leading Alexander by the arm. As soon as they were into the undergrowth Alexander demanded in a furious whisper, "What the hell, we were so close."

"Too close," Jim told him grimly. "Without any chance of a shot in the papyrus. If the wind had swung just a few degrees it would have been over before it began. We have to let him get across to the next island before we can close in."

He led Alexander back faster, and then he stopped below the outspread branches of a tall fig tree.

"Let's take a look," he ordered. They propped their rifles at the base of the trunk, and Jim helped Alexander to reach the first branch and then followed him from branch to branch. Near the top of the fig they found a secure stance and Jim steadied Alexander with a hand on his shoulder, and they stared down on the papyrus bed.

They saw him immediately. Tukumbala's back rose above the reeds. It was wet and charcoal-black from the spray of his trunk; the spine was curved and prominent beneath the rough wrinkled hide. He faced away from them, his huge ears flapping lazily, the edges torn and tattered; the thick veins twisted and knotted like a nest of serpents beneath the smoother skin.

A raw of four egrets rode upon his back, perched along his spine, brilliant white in the sunlight with yellow bills, sitting hunched up but attentive, bright-eyed sentinels who would warn the old bull at the first approach of danger.

While he was in the water, there was no way that they could come at him, and he was well over three hundred away, far beyond an effective rifle shot. So they watched him from the treetop as he made his way across the channel towards the next island.

When Tukumbala reached the deepest stretch of open water he submerged completely; only his trunk rose above the surface, waving and coiling in the air like the head of a sea serpent. He emerged on the far side of the channel with water streaming down his darkly mountainous sides.

Standing together on the branch of the fig, Alexander and Jim were savoring this high point in both their hunting experiences. Never again would there be another elephant like this. No other man would ever gaze upon such a beast. He was theirs. It seemed that they had waited their lifetimes for this moment. The hunter's passion eclipsed all other emotions at that moment rendering everything else in their lives effete and tasteless. Here was something primeval, sprung from the very wells of the soul and it affected them as great music might affect others.

Tukumbala lifted his head and turned aside for a moment, affording them just a brief glimpse of his dark-stained ivory and they stirred unconsciously, affected by the sight of those long perfectly curved shafts as by the creation of a Michelangelo or the body of a beautiful woman. At that moment, there was nothing else in their universe. They were perfectly in tune, a bond of companionship and shared endeavor welded them.

"He's beautiful!" Alexander whispered.

Jim did not reply, for there was nothing to add.

They watched the old bull reach the far island and heave his body from the water, climb the low bank and stand for a moment, tall and gaunt and shining wet in the sun, before he pushed his way

into the undergrowth and it swallowed his bulk. The egrets were brushed from his back and rose up like snowy scraps of paper in a whirlwind. Jim tapped Alexander on the shoulder and he shook himself as though awaking from a dream.

"We'll cross in the canoe," Jim whispered, and sent Tiny to bring the craft around the islet.

They sat flat in the bottom of the canoe so that their heads would not show above the tops of the reeds and they propelled themselves across the narrow neck of the swamp by pulling on the stems of the papyrus. Soundlessly they slid through the reed-beds and the light breeze held true and steady. Jim felt every light touch of it on his bare shoulders.

They reached the shore and Jim helped Alexander out of the canoe, and they pulled it up onto the bank, careful not to make the faintest sound. "Check your load," Jim whispered, and Alexander turned the bolt of the Rigby and drew it back just far enough to expose the shining brass cartridge in the chamber. Jim nodded approval and Alexander closed the bolt silently. They went forward.

They were forced to move in single file, following the path that Tukumbala had opened through the otherwise impenetrable growth. Tiney led them a few paces at a time, and then they all froze to listen.

Suddenly there was a loud crackling uproar in the bushes just ahead of them, and they saw the branches sway and toss and shake. Alexander swung the Rigby, but Jim restrained him, grabbing his forearm and pushing the muzzle of the rifle down.

They stood stonily, staring ahead, hearts pounding, and listened to Tukumbala feeding. Only thirty meters from them he was ripping down branches, swinging his ears back and forth to a leisurely rhythm, rumbling contentedly , and they could not catch even the barest glimpse of grey hide.

Jim still held Alexander's arm and now he drew him onwards. Step by step they edged through the green press of leaves and vines and drooping branches Ten meters, and then Jim halted. He eased Alexander forward, pushing him ahead, and Jim pointed over his shoulder.

For long seconds Alexander could make out no details in the jumbled growth and confused shadows. Then Tukutela flapped his ears again, and Alexander saw his eye through the hole in the vegetation. It was a small rheumy eye, with the slightly opaque blue cast of age, and the tears oozed down the wrinkled cheek below it, giving it a look of great wisdom and infinite sorrow.

That sorrow was contagious, it engulfed Alexander in a black wave, it weighed down his soul, transforming his ardent predatory passion to a devastating sadness and mourning for this life that was about to end. He did not lift the rifle.

Tukumbala blinked its eye, the lashes surrounding it were thick and long, and the eye looked deep into Alexander's own, seemed to pierce his very soul, seemed to mourn for him as he mourned for the old bull. Alexander did not realize that the evil thing in his brain was once more active, bending and reshaping reality, he knew only that the sorrow in him was as insupportable as the black oblivion of death.

He felt Jim lightly tap him between the shoulder blades, screening even that tiny movement from Tukumbala. It was the urgent command to fire, but it was as though Alexander had left his own body and hovered just above it, looking down upon himself, watching both the man and the beast with death in them and death all around them, and the tragedy that engrossed him robbed him of his will and power of movement.

Once again Jim tapped him. Tukutela was fifteen meters away, standing perfectly still, a looming grey shadow in the undergrowth. Jim knew that Tukumbala's sudden stillness was the old bull's response to the premonition of danger. He would stand only for a few seconds longer, and then plunge away into dense undergrowth.

He wanted to seize Alexander's shoulder and shake him. he wanted to cry out "Shoot, man, shoot!" But he was helpless, the slightest movement, the faintest sound would trigger the old bull into flight.

Then it happened as Jim had known and feared it would. It seemed that Tukumbala had been snatched away, had disappeared in a puff of grey smoke. It was impossible that such a huge beast could move so quickly and so silently in such dense bush, but he was gone.

Jim seized Alexander's arm and pulled him along with him, dragging him after the vanished elephant. Jim's face was contorted with anger and dark rage filled his chest and made it difficult for him to breathe. He wanted to vent that rage on Alexander. He had risked his very life to put him in the position to take this animal, and the man had not even raised his rifle.

Jim ran forward, his grip upon Alexander's arm was savage and he dragged him through dense scrub and thorn, oblivious to his discomfort. He was certain that Tukumbala would try to reach the next island in the chain, and he hoped for another chance at him as he crossed the open channel. He would force Alexander to take even a long shot, hoping to cripple and slow the bull, so that Jim could follow and finish him off.

Behind him Tiney screamed something that was unintelligible, a warning, a cry for help perhaps, and Jim came to an abrupt stop and stood listening. Something was happening that was totally unexpected, for which he was unprepared.

He heard the sudden crash and crackle in the undergrowth, and then the wild trumpeting squeal of an enraged elephant, but the sound came from behind him, not in the direction in which Tukumbala had vanished. For an instant Jim did not understand, then the reality dawned upon him and he felt the goose bumps rise upon his naked back.

Tukumbala had done something that no other elephant he knew of had ever done before. The old bull had not fled, but instead had circled downwind of them to get their scent. Even as he stood now, Jim felt the wind touch his back, like the caress of a treacherous lover bearing his sent down to where the great bull was rushing through the dense bush, hunting for him.

"Tiney," Jim yelled. "Run! Run across the wind!" He shoved Alexander roughly against the trunk of a towering teak tree.

"Get up there,: he snarled at him. The lower branches were easy to climb, and Jim left him and raced back to protect Tiney.

He charged headlong through the bush, jumping over fallen logs, his rifle held across his chest, and the forest rang to the elephant's wild and angry squeals.

He was closing swiftly, like an avalanche of grey rock. Tukutela rolled through the forest, splitting and dashing the smaller trees that stood in his way, seeking out the evil acrid smell of humanity, following it down so that once again he could wreak upon them the accumulated hatred of his long lifetime.

Suddenly Tiney darted out of the bush just a few paces ahead of Jim. He would stand to meet any odds with Jim beside him, and now instead of running across the wind, his instinct had led him directly back to his master's side. As he saw him, Jim changed direction in mid-stride, signaling urgently for Tiney to follow him. He ran a hundred swift paces out to one side, across the wind, trying to deny their scent to Tukumbala.

He stopped and crouched with Tiney beside him. His Tactic had been successful. For the moment Tukumbala had lost their scent. The forest was absolutely still, the silence so intense that Jim could hear his pulse beating in his own head.

He sensed that Tukumbala was very close to them, standing as still as they were, listening with ears spread wide, only that long trunk questing for the smell of them. There had never been an elephant like this, he thought, a bull who actively hunted his persecutors. How many times had he been hunted, Jim wondered, how many times has man inflicted hurt upon him that he attacks so fiercely at the first hint of human presence?

Then there was a sound in the forest, one that Jim had not expected, a human voice, raised loudly, and it took him a moment to realize that it was Alexander Kerimovich Zhielov.

"Tukumbala, we are brothers!" he was calling to the elephant. "We are all that is left from another age. Our destiny is linked. I cannot kill you!"

Tukumbala heard him and squealed again, a sound so loud and pitched so high that it was like an auger driven into their eardrums. Tukumbala charged the sound of the human voice, like a grey battle-tank. He crashed through the undergrowth, going straight for it, and within fifty meters the scent of man, loathsome and infuriating, filled his head once again and he followed it down to its source.

Alexander Kerimovitch had made no effort to climb the teak tree where Jim had left him. He simply leaned against the trunk and closed his eyes. The pain in his head came upon him suddenly as the blow of an axe, and it blinded him, filling his vision with bursting stars of light, but through the pain he heard the old bull elephant squeal and the sound filled him with remorse and despair.

He let the Rigby slip from his hands and fall into the leafy trash at his feet and he reached out his empty hands and staggered blindly to meet the elephant, wanting in some desperate way to placate and make recompense to the great beast, calling to it, "I mean you no harm Tukutela, we are

brothers." And ahead of him the bush crackled and burst open and Tukutela bore down on him like a collapsing cliff of granite.

Jim reached back to where he had left Alexander, ducking under branches and bounding over obstacles in his path, and he heard the terrifying rush of the bull and the voice of the man just ahead of him.

"Here !" he screamed. "Here, Tukumbala! Come! Come this way!"

Trying to pull the elephant off Alexander and onto himself, but he knew it was to no avail. Tukumbala had fixed on his victim, and nothing would deter him. He would carry his charge through to the death.

The center of Alexander's vision cleared, and he looked through an aperture in his head that was surrounded by shooting white lights and wheels of spinning fire. He saw Tukumbala's vast gray head burst out of the green forest wall above him, and the long stained tusks came over him like the cross-ties of a roof about to fall.

In that moment, Tukumbala came to embody all the thousands of animals and birds that Alexander had slaughtered in his lifetime as a hunter. He had a confused notion that the tusks and long trunk poised above him were symbols of some semi-religious benediction that would absolve him and redeem the blood that he had spilled and all the life he had destroyed. He reached up both hands to them, joyfully and thankfully, and he remembered a religious phrase he had heard in his youth

"Forgive me God for I have sinned." And he cried.

Jim saw the bulls head rear out of the thicket ahead of him. It was facing almost directly away from him with ears cocked and rolled along the top edge. He heard Alexander's voice though he could not understand the words, and he realized that Alexander must be almost directly beneath the bull's out-thrust tusks and reaching trunk.

Jim plunged from his headlong run to a dead stop in a single pace and threw up the .577 Express rifle. It was the most difficult angle for the brain shot, with the elephant angled away from him, and the bulk of its shoulder covering the spinal column.

The target was no larger than a ripe apple and there was no indication of where exactly it lay buried in the huge bony casket of the skull. He had to trust his experience and his instinct. For a moment, it seemed as he looked over the Express sights of the rifle that he could see into the skull, where the brain seemed to glow in the bony depths like a firefly.

Without conscious effort his trigger finger tightened as the pip of the foresight covered that glowing spot. The bullet bored through the sponge of bone as though it was air, it cleaved the old bull's brain, and he felt nothing. Tukumbala's passage from full-enraged life to death was a fleeting instant and his legs collapsed and folded under him. He dropped on his chest with an impact that jarred the earth and shook loose the dead leaves from the branches above him. A cloud of pale dust swirled around his massive carcass and his head dropped forward.

His right tusk drove into Alexander's body, entering his belly a hand's breath below the sternum of his rib cage, and it passed through him at the level of his kidneys and came out at point where his spine merged with his pelvis.

The shaft of ivory which Alexander had coveted and risked both fortune and life to obtain, now pinned him to the earth, skewered him as cleanly as a whaler's harpoon. He looked down at the tusk in surprise. There was no pain, no sensation in his lower body, which was twisted up under the bull's coiled trunk, no pain even in his head.

For a moment his vision was clear and bright as though everything he looked at was lit by brilliant floodlights, and then began to fade and darkness closed in upon him. Before the darkness engulfed him completely, he saw Jim's face floating before him, and heard his voice fading as though he were sinking away into an abyss.

"Alex. Alex." It echoed in his ears, and Alexander Kerimovitch Zhielov made a huge effort and said, "She loves you. Look after my little girl." And then darkness swallowed him and he saw and heard nothing more ever again.

Амир МАКОЕВ

Макоев Амир (Весмир) Леонидович родился 2 января 1963 года в г. Тереке Кабардино-Балкарской Республики.

В 1985 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина по специальности: «Гидромелиорация».

Работал инженером насосной станции в Терской оросительно-обводнительной системе, старшим инженером в Министерстве мелиорации и водного хозяйства КБР, заместителем директора Кабардино-Балкарского отделения Литфонда РФ, специалистом по организации культурно-массовой работы в Кабардино-Балкарском общественном учреждении "Народный дом", заместителем руководителя и заведующим отдела по работе с территориальной сетью в исполкоме Кабардино-Балкарского отделения Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом - Россия", занимался коммерческой деятельностью.

С 2002 года - управляющий делами Международной Черкесской Ассоциации.

Занимался греко-римской борьбой. Был победителем всесоюзного турнира, чемпионом и призером ряда республиканских и всероссийских соревнований.

В коллективных сборниках (в том числе изданных в центральных издательствах) и республиканской периодической печати опубликовано около двадцати рассказов и повестей.

Остров гнома

Рассказ

Тимур находился в сарае и стругал отцовским ножом деревянную саблю, когда услышал шум подъехавшей машины, а затем голоса незнакомых людей. Он спрятал нож в выдвижной ящик стола, повесил пилу на гвоздь и, прильнув к щели между досками, посмотрел на двор.

Несколько человек в скорбном молчании понесли в дом две носилки, и Тимур, наблюдая за ними, к удивлению своему обнаружил, что ноги их как бы вязнут в жарких волнах, дрожащих над асфальтом. Люди с носилками в нерешительности остановились, и на мгновение замолкли даже глухие, отдаленные разговоры. Но вдруг тишина взорвалась оглушительным криком его тетушки, вышедшей из дома. Ее причитания с такой силой отдались во всех закоулках большого двора, что Тимур подумал: теперь ему ни за что не закончить свою работу. Придется подмести стружку и спрятать саблю, чтобы никто не узнал, что он прикасался к отцовским инструментам.

Двое мужчин прошли рядом, перебивая своими тучными телами узкие пыльные лучи света, проникающие в сарай, и направились к колодцу. Один из них, поднимая ведро, спросил:

- А что, остались за ними дети?

- Говорят, двое, – ответил другой. – Одному вроде бы шесть или семь, а девочке около четырех.

- Надо же, - сочувственно протянул первый. – Жалко-то как.

Они выпили воды, намочили шеи и, вытершись платками, ушли в тень огромного орешника, стоящего у дома.

Тщательно стряхнув стружку с джинсовых шортиков и голубенькой майки с забавными сказочными бурундучками, Тимур вышел из сарая. Соседские женщины с встревоженными лицами замелькали во дворе, они уходили в дом и оттуда доносились вопли и плачь. У дома

стали собираться люди, отовсюду слышались обеспокоенные голоса, спрашивающие, как же это произошло.

- Да говорят, – отвечали им, – что столкнулись они на своей легковушке лоб в лоб с грузовой машиной. С той-то ничего серьезного, а они...

- Дети без родителей остались – вот что больно!

- Вот именно.

- Беда-то какая!..

Тимур перебежал двор, обжигая босые ноги о горячий асфальт, и встал на зеленую травку цветника, разбитого под окнами дома. Согнав с ярко-красной розы пчелу, он достал за кустом свои сандалии и надел. В это время через окно его увидела соседская женщина и вышла к нему. Уставив на него обожженные слезами глаза, она сказала: "Деточка моя, как же вы теперь будете", и потерла ему щеки своими шершавыми, пахнущими сладким кремом и ванилью руками.

- Идем, идем к нам, – сказала она, беря его за руку. – Побудешь у нас, с Рустамом нашим поиграешь. А где Люсенька? На улице играет? И ее сейчас найдем.

Она привела Тимура к себе, посадила под навесом и вынесла ему из летней кухни теплый еще яблочный пирог, горстку конфет в золотистых обертках и бутылку холодного грушевого лимонада. Затем она позвала Рустама, своего младшего сына, который с ленивой неохотой отозвался с верхушки вишневого дерева. Когда ему было велено отыскать и привести Люсю к ним, а потом сидеть с ними до ее прихода, он ответил "ага, иду", но с дерева не спустился.

Тимур выпил лимонад, взял в обе руки конфеты, с удовольствием ощутив при этом их холодные бока (видимо, только что из холодильника), и, рассовывая по карманам, вышел на улицу. Солнце заиграло на его веснушках, рассыпанных на носу и под глазницами. Тимур сморщился от яркого света, и теперь из-за коротко стриженых волос и от этого еще больше торчащими ушами он стал похож на одного из улыбающихся бурундучков, нарисованных на его майке. Когда он пошел по улице вниз, налетела откуда-то тень, на минуту стало свежо и приятно. Он вспомнил рассказанную отцом историю про огромную загадочную птицу, которая могла одним своим крылом закрыть так небесное светило, что на земле воцарялся холод и мрак. Но то было большое серое облако, закрывшее солнце ненадолго.

Через несколько дворов он встретил игравшую с другими детьми Люсю. Она увязалась за ним.

- Ты куда идешь? – спросила она.

- Никуда, - ответил Тимур. – Не ходи за мной.

- Если на речку, то я с тобой.

- Не иду я на речку. Ты иди к тете Нине, она сказала, чтобы ты шла к ним.

- Ага, я знаю, на речку, на речку ты идешь! – закричала Люся. - Если не возьмешь меня, я расскажу маме, что ты без разрешения туда ходишь один.

- Дура ты, мама умерла!

- Почему?

- И папа тоже умер!

- Почему они умерли? Они же к бабушке поехали.

- Поехали, поехали!.. Они в аварию попали! Ты знаешь, что такое авария?

- Это яма такая? Большая?

- Сама ты – яма. Вот не знаешь и молчи!

Тимур остановился, достал несколько конфет и протянул Люсе. Арбузные соки намыли следы на ее личике и засохли. Носик, видимо, тоже принимавший участие в съедении арбуза, потом запылился и теперь на нем красовался сладко-грязный пятачок. Волосы, собранные в рожки разноцветными резинками, колыхали своими верхушками при малейшем движении головы. Глаза, как два живых цветочка, смотрели доверчиво и наивно. Она тут же развернула одну конфетку и положила в рот, а две другие опустила в единственный нагрудный карман своего платьица, украшенного рисунками полевых цветов.

- Ладно, – сказал Тимур, – я возьму тебя с собой. Только ты никому не говори, куда мы ходили. И никому потом не показывай это место. Поняла?

- Хорошо, – легко согласилась Люся. – Никому не скажу.

Улица, на которой они жили, упиралась в транспортное предприятие, перед ним разворачивались маршрутные автобусы – это была для них конечная остановка. Свернув в этом месте влево, они прошли бетонный мост и оказались в поле. Здесь начинались земляные угодья верхнего села, находящегося за высоким холмом. Пройдя за ним по проторенной дорожке лесные насаждения, можно добраться до озера с небольшим островком, на котором росло одно кривое дерево. Туда и намеревался попасть Тимур.

Они пошли вдоль сенокосных лугов вверх по протоптанной людьми тропинке.

- Мы идем на озеро, – объяснил, наконец, Тимур. – Здесь два озера. Одно вон там, – он указал пальцем вправо, – видишь? – Люся кивнула. – Но нам не туда надо. Мы пойдем на верхнее озеро, за селом. Я с папой туда ходил рыбу ловить. Аж два раза. Мы уходили рано утром, ты всегда в это время спала. Папа мне рассказывал, что на острове этого озера живет гном. У него есть волшебная палочка, и он умеет делать всякие чудеса. Все чудеса, какие пожелаешь.

- А он сможет мне подарить много мороженого, много пирожного и много разных конфет?

- Конечно, сможет. Я же сказал, он все может. Только папа говорил, что если детки непослушные, то он ничего им не подарит, не исполнит их желания. А я сегодня брал папин столярный нож – он мне не разрешал его брать. Мне он теперь, наверное, ничего не подарит и желания не исполнит. А тебе подарит, если ты не баловалась и была послушной.

- А этот гномик разве видел, как ты брал папин нож?

- Не видел, но он все про нас знает. Он же волшебный.

- А я дома у Мадины разбила блюдце с клубничным вареньем. Про это он тоже знает?

- Почему разбила?

- Ее мама нечаянно поставила его на мой журнал для раскраски. Я хотела его оттуда вытащить, но блюдце слетело вниз и разбилось. Она ругалась и говорила, что мы с Мадиной вечно балуемся. Теперь этот твой гномик не исполнит моего желания, не подарит мне ничего?

- Нет, не исполнит, конечно. Теперь уже все.

- Тогда зачем мы идем? Я не хочу туда идти. А то и он начнет ругаться, как мама Мадины.

- Мы идем не за подарками. Не понимаешь, что ли. Я буду просить, чтобы он оживил папу и маму. Мы ведь не себе что-нибудь просить идем – он должен исполнить.

- А ты видел этого гнома?

- Нет, не видел. Мы бывали там всегда днем, а он в это время спит.

- А когда же он выходит на улицу?

- Какая тебе улица на острове! Там нет никакой улицы. На острове есть дерево, под ним, в норе, он и живет.

- А как мы его увидим?

- Наклонимся к норе и позовем. Его зовут Оки-Фиоки, папа мне говорил.

- А этот Оки-Фиоки с кого ростом?

- Он маленький, он же гном. Он меньше даже тебя.

- Мы позовем – и Оки-Фиоки сразу к нам выйдет?

- Надо, чтобы солнце в это время зашло. При солнце он не выйдет. Я сколько раз просил папу сводить меня туда вечером. Он все говорил: пойдем как-нибудь.

- А почему ты сам не пошел?

- Ага, это знаешь, как далеко! А сейчас другое дело, сейчас папа ходить не может.

- А почему он ходить не может?

- Вот ты дырявая голова, я же тебе говорил, что он умер. И мама умерла. Они в аварию попали. Авария – это когда две машины стукаются друг с другом, и люди в них умирают. Я, как только про это услышал, сразу решил пойти на озеро и найти Оки-Фиоки. Надо спешить, пока папу и маму не закопали в землю. Потом им трудно будет оттуда выбираться, когда Оки-Фиоки их оживит своей волшебной палочкой.

- А давай мы у него попросим подарить нам свою волшебную палочку.

- Ага, даст он. Не надо было мне сегодня брать папин нож. Тогда, может, и дал бы на время.

- Вот ты сам теперь виноват.

- А ты? Кто блюдце с вареньем разбил?

- Не твое дело.

- Тогда и то, что я нож брал, – не твое дело...

Они одновременно заметили дикую грушу, оказавшуюся на их пути. Она стояла, бессильно опустив свои тяжелые старые ветви почти до земли, но на этих ветках груш уже не было. Видимо, всякий прохожий, не имея под рукой ничего такого, чем мог бы сбить верхние, более зрелые ее плоды, очистил все легко доступные места.

- Вон там висят большие и спелые груши, – сказала Люся.

- Сам вижу, – отозвался Тимур. Он освободил карманы от оставшихся еще конфет, бросив их перед собой на траву, туда же полетели две игральные биты и увеличительное стекло. Из заднего кармана он достал стянутую резинкой пачку наклеек с гоночными автомобилями, но, подумав, положил их обратно.

- Только ты туда не долезешь, – сказала Люся, – и палки у тебя нет.

- Где я тебе палку здесь возьму, – сердито возразил Тимур, – тут даже камней нет, видишь? Я лучше полезу.

Тимур разулся, заправил майку в шортики надежнее, чтобы туда можно было положить сорванные груши, и, уцепившись за обломанную корявую ветку в нижней части ствола, легко на нее вступил. Он ухватился выше и, обняв ногами морщинистую кору, пыхтя и постанывая, взобрался до развода трех средних стволов. На конце каждого из них его ожидали обласканные солнцем кучки спелых груш.

- Вот эти, эти мне сорви! – указывала ему Люся.

Тимур пополз по одной из веток, больно царапая руки и ноги о торчавшие на ней сучья. В какой-то момент он сильно качнулся и в страхе замер. До цели оставалось подать рукой, но он боялся их разжать, так как иссохшая ветка угрожающе треснула и в любой момент могла обломиться.

- Ты ползи, ползи, – настаивала Люся, – осталось совсем немножко. Тогда Тимур чуть сдал назад и попытался потрясти ветку, но она не собиралась расставаться со своими грушами и лишь слабо качнула его в ответ. Треска больше не было. Тогда он, осмелев, тряхнул ее сильнее и, не успев опомниться, свалился вместе с ней на землю. Он упал, смяв руками две перезрелые груши. Небольшая царапина на лбу никак не давала о себе знать, он ее поначалу совсем даже не чувствовал, зато на щиколотке он ощутил неприятное жжение. Он увидел, как в этом месте змейкой содрана кожа и образовавшаяся шершавая канавка наполняется кровью. Тимур тихо и жалобно заплакал. Люся взяла себе грушу, жадно надкусила ее бугристую кожуру, обнажив сочную мякоть, и липко-медовая влага потекла между ее пальчиков. Только потом произнесла:

- Не плачь, вот они. Здесь один, шесть, четыре, груши – вот сколько. Нам с тобой хватит.

Люся доедала уже вторую грушу, когда Тимур, всхлипывая, наконец встал. Он надел сандалии, сунул в карман увеличительное стекло и, прихрамывая, продолжил путь.

Через несколько шагов Люся заявила, что пальцы ее слипаются и ей нужно их помыть.

- Где я тебе возьму воду? – возразил Тимур. – Здесь нет воды. Вот так – не надо было за мной увязываться. Теперь я не виноват. – Но она захныкала и готова была даже расплакаться. – Ладно, подожди, – сказал он.

Тимур сорвал большой лист лопуха и вытер им ей руки.

- И ничего совсем не помогает, – снова заскулила она. – Я воду хочу, я хочу пить.

- Тогда потерпи, – равнодушно ответил он, – до озера или хотя бы до фермы.

- Не пойду я ни на какое озеро, я хочу домой.

- Ага, иди. Я тебя держу, что ли? Ты что, забыла, куда мы должны спешить? - Люся тихо заплакала, но продолжала идти за ним.

К тому времени солнце куда-то спряталось. Несколько темнеющих облаков пугливо проносились по небу. С вершины холма подул ветерок. На пути им попадались бабочки, в

другой раз Тимур погнался бы за ними непременно, но сейчас ему было совсем не до них. Только Люся, перестав плакать, с любопытством следила за тем, как они неожиданно откуда-то возникали и так же исчезали в зарослях высокой травы. Когда они подошли к подножию холма, Люся сказала, что устала и хочет писать.

- Ладно, – согласился Тимур, – отдохнем. Мы здесь с папой тоже всегда останавливаемся. Он здесь всегда курит. А мне говорит: отдохни маленько. Как будто я устаю. А я совсем не устаю. – Он присел и стал разглядывать свою рану. Кровь уже присохла, образовав буро-смолянистую корку. Он осторожно дотронулся до нее пальцем, морщась от предстоящей неприятной процедуры, когда вечером уже ожившая мать станет отмывать ее теплой водой и накладывать на это место какие-то обжигающие мази.

Люся захныкала снова. Теперь она жаловалась на то, что трава высокая и колет ее попку – она не может нигде присесть. Тимур подошел и стал вырывать под ней траву с корнем. Люся, спустив трусики и подтянув до груди платье, молча за ним наблюдала.

- Все, – сказал он, закончив. – Теперь можешь садиться. – Отойдя, он прилег на траву и посмотрел на небо. Там по-прежнему куда-то спешили облака, словно их подгонял неведомый небесный пастух. Смешиваясь и снова распадаясь, они образовывали причудливые силуэты. Вот темнеющая голова собаки влилась в бесформенную серую тучку с дымчатыми краями, к ним примкнули еще два, и образовалась гигантская фигура неведомого чудовища. И этот рисунок вскоре распался на воздушного змея, похожего на того, который они запускали недавно вместе с отцом, только без длинного извивающегося хвоста. Со стороны холма донеслись обрывки мелодии.

- Я хочу спать, – сказала Люся. – Сегодня я еще не спала.

- Ага, ты будешь спать. Почему-то ты никогда не хочешь спать, когда мама укладывает тебя днем, – отозвался Тимур.

- А сейчас хочу.

- Тогда я пойду один, а ты оставайся. Поняла?

- Тим, давай пойдем домой, мне страшно дальше идти. Мама нас потом поругает.

- Я пошел, а ты – как хочешь.

С этими словами Тимур встал и решительно пошел вперед. Но через несколько шагов остановился. Невдалеке за густой высокой травой он заметил шляпу, похожую на огромный белый гриб. Но шляпа эта почему-то время от времени поворачивалась то в одну, то в другую сторону. Подав знак немедленно ложиться идущей за ним Люсе, он лег на живот и ползком добрался до нее.

- Там растет пребольшущий гриб, – сообщил он ей, едва переводя дыхание. - Но он живой, он шевелится. Может, он волшебный и умеет разговаривать. – Он хотел поведать ей еще о кое-каких своих соображениях, но тут заметил, как сквозь траву на них надвигается та самая шляпа гриба. Он пригнул свою голову к земле и рукой накрыл Люсю, надеясь, что они останутся незамеченными. В какой-то момент показалось, что гриб идет прямо на них, трава шуршала все сильнее в их направлении. Наконец, шум прекратился. Тимур, дрожа всем телом, все-таки приподнял голову.

- А-а, сорванцы, так это вы тут щебечете за моей спиной? А я-то думаю...

Перед ними стоял древний старичок в потной рубахе, в штанах, заправленных в сапоги, и белой шляпе. Его маленькие серые глазки смотрели на них ласково и по всему не таили в себе ничего злого. Дети встали.

- Что ж вы так далеко забрели, – продолжал старик. – Вы, наверное, с этими приехали, – добавил он, указывая в сторону, откуда доносилась музыка. - Гляньте, что ваши папы и мамы сделали с моим лугом – проехались на машине... туда-сюда, туда-сюда... Да, раньше здесь проходила дорога, но теперь-то ее нету, вспахана она и засеяна травой. Дорога теперь во-о-н где проходит, но вашим лень, стало быть, объезжать... А они зря вас так далеко отпустили – потеряетесь еще. Ну, идемте ко мне.

Он повел детей к месту своей трапезы. Прямо на скошенной траве, овеянный ее запахом, находился весь его обед: несколько малосольных огурчиков, три яйца, кусок круглого домашнего хлеба, сыр и полуторалитровый бутыль кислого молока.

- Не знаю, чем угощают там у вас сегодня – наверное, мясо жарят, – а у меня вот что есть, – сказал он, усаживая их.

- А у меня пальцы слипаются, – сказала Люся, протягивая ему руки.

- Воды здесь нету – это точно, – ответил старик. – И я с собой никогда ее не вожу. Арбуз ела, да? С кислым молочком на сенокосе никакая вода не нужна. А ну, давай-ка сюда свои ручонки, сейчас мы их отмоем. – Он полил их кислым молоком и тщательно вытер старым выцветшим полотенцем.

- Ну, ешьте, ешьте. Еда – она вкусная, когда с кем-то ее делишь. – Он налил в пластмассовый стакан кислого молока и протянул Тимуру, который тут же его опорожнил и сказал, что Люсе такого не надо, кефир она не пьет.

- А вот и буду, – сердито ответила та. – Я пить хочу.

Свой стакан она пила долго, морщась, и, по всей видимости, не понимая вкуса этого напитка. Затем взяла очищенное для нее стариком яичко и сыр с хлебом.

Недалеко от них проскакал всадник, и ослик старика, пасущийся поодаль в низине, неожиданно заревел. Дети вскочили посмотреть на чудище, которое напугало их своим страшным голосом. Они только теперь его увидели.

- А это кто? – спросила Люся.

- Это мой осел, – ответил старик. – Я кошу травку на сено, а он отвозит мне ее домой.

- А у нашего дедушки осел больше вашего, – похвасталась Люся. И уточнила: – У него лошадиный осел.

Старик ласково улыбнулся и сказал:

– У вас хороший дедушка, пусть еще долго он живет на радость вам. И вы растите для него здоровые и счастливые. – Он уселся удобнее, явно решив им что-то рассказать. Подумав немного, продолжил: – Вот у меня сын сейчас гостит, два года не виделись, он всегда у нас занятой человек. Привез мне, наконец, своего мальчика, такой же сорванец, как и ты. – Он погладил Тимуру голову. – Хотел взять его сюда на сенокос, но боится ездить на ослике. Скоро они уедут, и останусь я снова один. Спрашиваю я себя, для чего и для кого живу? Сегодня я вдруг понял, что им все равно: есть я или нет на этом свете. Мой сын долго прожил от меня вдалеке – он отвык от меня. Я понимаю. У меня нету таких, как вы, рядом. Я одинок. Поэтому у вас счастливый дедушка, у него есть вы. Дай бог ему здоровья. А я один. Сын-то потому и приехал – с матерью, со старухой моей, значит, попрощаться – два месяца, как ее не стало...

- Это твоя бабушка? – спросила Люся.

- Да, это моя бабушка, – грустно улыбнувшись, ответил старик.

- А наши папа и мама упали в аварию, – сказала Люся.

- Это плохо, конечно. Но по всему видно, живы и здоровы, раз сюда вас привезли.

Тимур промолчал.

Старик взял косу и, не вставая, стал ее точить. Потом сказал:

- Ну, вы идите к своим, не то они беспокоиться будут.

Тимур и Люся молча пошли навстречу мелодичной музыке и дымку, струящемуся к ним с вершины холма. Они только начали подниматься на него, когда Люся заныла от усталости и сказала, что больше не может идти. Тогда Тимур предложил понести ее, как делали это они, играя в лошадей и всадников. Взобравшись на своего брата, Люся, довольная, улыбнулась, очевидно, вспоминая веселые крики и смех, всегда сопровождавшие их игру.

Дым разгоравшегося костра все густел, мелодичная музыка поменялась на ритмичную, стали слышны обрывки громко произносимых фраз. Тимур стал терять силы, вот-вот он сам свалится, надо остановиться и передохнуть. Он выпрямился, намереваясь спустить Люсю на землю, но она, не понимая его действий и видя, что начинает сползать со спины, еще крепче уцепилась за шею.

- Да отпусти, ты меня душишь! – вскричал Тимур и разорвал ее цепкие ручонки. Она плюхнулась на траву с глухим звуком, точно Тимур уронил мешок, набитый чем-то мягким.

- Ты что – на ноги не можешь стать? – закричал он. Люся заплакала. Не от боли, скорее от усталости и обиды.

Тимур снова улегся на траву и взглянул на небо. Там он увидел сплошное месиво огромных грязных туч без занятной путаницы знакомых силуэтов. Кое-где – в местах их разрывов – внезапно пробивался поток солнечного света, и он на какое-то мгновение неестественно ярко освещал часть луга. По небу суетливо заметались ласточки, они так низко подлетали к земле, что Тимур подумал: будь у него сачок, каким ловят бабочек, то мог бы, наверное, поймать и ласточку.

- Надо идти, – сказал он вдруг. – Солнца нет, мы должны быть уже там. – Он встал, машинально отряхнулся и, взяв Люсю за руку, двинулся вперед.

- А как мы по воде пойдем? – спросила Люся.

- Там у берега всегда лодка стоит, я сам видел. Только нужна палка, она шест называется.

- Шесть?..

- Да нет – шест. Но если этой палки в лодке нет, то можно взять какую-нибудь другую палку. Им отталкиваешься от дна и лодка сама плывет.

- А там глубоко?

- Нет, не совсем. Папа говорит – ему по грудь будет.

- Ого.

- И остров недалеко стоит – как от крыльца нашего дома до колодца.

- Ого.

Они шли прямо на автомобиль и решили обойти его. За ним находились две женщины и двое мужчин. Один сидел у костра и жарил мясо, остальные чуть в стороне.

- Эй, малыши, – крикнул им тот, что у костра, – ну-ка подруливай сюда. – Дети в нерешительности остановились. – Давайте, давайте, причаливайте, не стесняйтесь. Зина, ну-ка принести деткам бананы и виноград. – Рослая девушка в штанах вскочила, порылась в одном из пакетов и вынула оттуда, что было ей велено.

- Ой, какие прелестные детишки, – сказала она, направляясь к ним.

- А там дедушка, который косит, подумал, что вы наши папа и мама, – сказала Люся, принимая угощения.

- Да, хотела бы я сразу заиметь таких больших детишек, – ответила она.

- Нам надо идти, – сказал сразу Тимур, чтобы не тратить время.

- Мы идем к Оки-Фиоки, – добавила Люся.

- А кто это? – поинтересовались взрослые.

- Это маленький гномик, у него есть волшебная палочка, и живет он на озере, – уточнила Люся. – Он может все.

- Ну да, раз у него волшебная палочка, то конечно, – согласились с нею.

- Дети, минуточку, не уходите, – сказал мужчина у костра, – сейчас я вам шашлычка дам горяченького. Зина, ну-ка быстренько мне тарелочку.

- Он выложил им в пластиковую тарелку мясо и протянул: – Нате, поешьте по дороге.

- Они с фермы, наверное, – сказал мужчина у костра. – Здесь неподалеку стоит ферма, там семья одна живет постоянно. Ну что, налетайте, у меня все готово.

Тимур и Люся двинулись дальше, на ходу жуя горячее сочное мясо. Затем без всякой ссоры – хорошо, когда все поровну – заели бананами и виноградом.

- У них на одеяле фанта лежала, – заметила, между прочим, Люся, – нам не дали.

- А у нас нет столько рук, чтобы все унести, – заступился за них Тимур. – Они добрые – просто забыли нам дать. Там, перед лесом, есть родничок. Там и попьем воды. Знаешь, какая в нем вода холодная – брр.

Перед фермой им попались две стреноженные лошади и жеребенок, резво бегавший возле них. Откуда-то взялась огромная лохматая собака с отрезанными наполовину ушами и, виляя укороченным тоже хвостом, подбежала к ним и обнюхала. Почему-то она больше всего хотела обнюхать Люсю, прятавшуюся за спиной Тимура, который от испуга сам был готов спрятаться за чью-либо спину. Собака пыталась зайти Тимуру за спину, никак не умея дотянуться до Люси, ловко ускользавшей от нее. Она кричала:

- Уйди, уйди!..

Ей вторил Тимур, вдруг от страха обретя в голосе командно-повелительный тон:

- А ну пошел! Пошел вон – кому я сказал! Прочь отсюда!..

Так же внезапно появился мальчик с длинным кнутом и крикнул:

- Зидан, фу! Ко мне!

По-видимому, мальчик был года на два-три старше Тимура.

- Испугались, да? – сказал он, смеясь, когда собака подбежала к нему. - Не бойтесь, детей она не трогает. – Наверное, он чувствовал себя перед ними очень взрослым. - Дуйте скорее домой – дождь будет, – сказал он им вслед и, достав ключ, подсел к лошадям расстреноживать их.

И в самом деле, вокруг разом стемнело. Ветер угрожающе прошелестел по кукурузному полю и до времени стих. Надо было торопиться. За фермой дорога расходилась - одна вела в село, другая через подлесок к озеру. Много пройти они не успели, дождь пошел редкими крупными каплями и стал понемногу нарастать.

- Давай в тот дом зайдем, – предложила Люся.

- Это не дом, а кошара, – ответил Тимур, сворачивая с дороги и ускоряя шаги. – Там овец держат.

Кошара была пуста. Промокли они не сильно. Сев на тракторный скат, лежавший под навесом у входа, стали смотреть на дождь. То стихая, то снова усиливаясь, он держался около часа, затем постепенно, как бы нехотя, прекратился – тучи сместились вниз, на город.

Тимур понес на спине Люсю, отказавшуюся идти до дороги по мокрой траве. Но она не захотела с него слезть и на дороге – ее основательно намыла дождевая вода, в небольших углублениях стояли лужи. И Тимур понес ее дальше, останавливаясь передохнуть у какого-нибудь булыжника, куда ставил Люсю на это время. Но к радости своей он вдруг увидел, что дальше дорога идет совсем сухая.

- Смотри, здесь не было дождя, – сказал он, ставя Люсю на землю. - Интересно, да?

Но Люся мочала. Она неохотно двинулась за Тимуром вперед, ее клонило ко сну.

Тропинка вела под темные своды высоких деревьев.

- Отсюда уже совсем недалеко, – сказал Тимур.

- А волки здесь есть? - спросила Люся.

- Нет, здесь нет. Я тоже об этом спрашивал папу. Но здесь кабаны водятся.

- А кабаны – они кто?

- Это свиньи, которые живут в лесу. У них еще есть клыки.

- А почему они живут в лесу?

- Потому что в лесу они родились.

- Они едят детей?

- Нет, они желуди едят, орешки разные. Иногда они заходят в кукурузные поля, и тогда в них стреляют охотники.

- Зачем?

- Чтобы съесть их мясо...

Повсюду начали укладываться густые тени. На лесной тропинке им встретились трое ребят на велосипедах, возвращающиеся с рыбной ловли. У каждого из них в руке была ивовая веточка, на которой насажено несколько рыбешек средних размеров.

- Видишь, они все с озера едут. Это здесь, совсем уже близко, – сказал Тимур, успокаивая и Люсю, и себя.

И в самом деле, вскоре показалась рябистая от ветра водная поверхность. У берега, привязанная к дереву, стояла лодка, в ней находилась длинная палка.

- Вот видишь, что я тебе говорил?! – обрадовано воскликнул Тимур. – На этой лодке выплывают на середину озера и ловят рыбу. Большие рыбы живут в середине озера, где глубоко, а близко к берегу – так, одна мелочь. А вот остров, где живет Оки-Фиоки. Сейчас мы поплывем туда.

Тимур разулся, отвязал лодку и зашел в воду, чтобы развернуть ее носом к острову. Холодная озерная вода больно обожгла рану на его ноге. Он перенес Люсю в лодку и, оттолкнув от берега, ловко в нее взобрался. Покачиваясь из стороны в сторону, она медленно стала удаляться от берега. Тимур взял шест и встал. В этот момент он оглянулся, и ему впервые стало страшно. Кругом ни души, темная вода недружелюбно хлюпала под лодкой,

стало быстро темнеть. Ко всему добавлялось непривычное ощущение чужой, враждебной среды под ногами, в которой он почувствовал себя беззащитным. И все же он нащупал концом шеста дно озера и, борясь с встречным ветром, толкнул лодку вперед. Люся сидела перед ним молча, оцепенев от одолевающего ее сна.

Лодка глухо хряснула об илистый берег и застыла. Тимур зачем-то выбросил из нее шест и высадил Люсю, которая, отойдя немного, прилегла на прибрежной травке. Оставив ее, Тимур побежал к одинокому дереву. Его могучие ветви, сопротивляясь напору ветра, ныли и скрипели. Когда Тимур подошел ближе, дерево зашипело на него своей листвой. Словно не желая выдавать своей тайны, оно будто бы говорило ему: "Прочь отсюда, мальчишка, я сотни лет берегу волшебную тайну и тебе ее не выдам". Тимур невольно представил себе это дерево в образе сердитого старика. Нет, ни этот остров, ни это дерево не похожи на себя того времени, когда он увидел их впервые. Тогда было раннее летнее утро, поднимающееся солнце ласково высвечивало из спокойной водной глади этот сказочный остров и приветливое дерево с зелеными раскидистыми ветвями, а под ним, без всякого для него сомнения, жил волшебный гном, с которым он непременно вскоре подружится. Теперь же это совершенно другое место. Куда подевалось приветливо манящее объятие этого острова? Где его сказочно голубой дымок? Где его любимый гном, о котором он так много думал, любил его и ждал с ним встречи? Как мог так измениться мир? Ему снова стало страшно.

- Папа, папа, – отчаянно закричал он, не узнавая своего голоса. Потом, вспомнив, что ему надо звать вовсе не папу, а гнома, заорал со всей силой: – Оки-Фиоки! Оки-Фиоки! – Но никто не отзывался. Обозленный ветер хватал его слова и уносил в неведомые выси.

Тимур бросился к подножию дерева и стал искать нору. Но никакой норы под ним не было – хитрый гном закрыл все проходы к себе и спустился в глубокие подземные лабиринты. Но он же волшебный, он должен знать, что Тимур зовет его, надеясь на его помощь.

- Оки-Фиоки! Оки-Фиоки!

Может, нора в другом месте острова. Он стал искать ее по всему острову, бросаясь то к одному углублению, то к другому. Но все они оказывались не норами, к тому же стемнело совершенно, и ничего не было видно.

- Оки-Фиоки! Оки-Фиоки!

Глаза застилали слезы. Не в силах себя сдерживать, он сел под деревом и заплакал. Он чувствовал себя обманутым. Папа обманул его – здесь не живет волшебный гном. И некому теперь его спасти. Никто не оживит теперь его папу и маму. Как страшно вдруг стало от этой мысли. Жуткое сиротское чувство стало в нем нарастать.

- Папа! Папа!

Как сладко раньше было жить с мыслью, что этот гном есть где-то рядом, и он скоро его увидит. Как быстро он преодолевал страх, вспомнив вдруг, что это маленькое существо есть на свете. Как покойно и уверенно он чувствовал себя, зная, что когда-нибудь они встретятся. Теперь все пропало. Папа обманул Тимура и лишил его сказочной мечты. Теперь у него не будет ни папы, ни мамы, ни волшебного гнома.

- Оки-Фиоки! Оки-Фиоки!

Тимур вернулся к берегу. Люся крепко спала, свернувшись клубочком и обхватив животик руками. Лодки не было. Он, конечно же, не догадался ее привязать, и ветер ее утащил. Где-то там, над черной водой одиноко покачивался ее силуэт. Обильно накатывающиеся слезы застилали глаза. Он утирал их, но они неудержимо прибывали снова.

- Оки-Фиоки! Оки-Фиоки!

Но остров хранил свою тайну.

Натюрморт с чайкой

Повесть

Одному Богу известно, для чего ты иногда создаешь в комнате полумрак, садишься в кресло и рассказываешь сам себе истории. Долго подбираешь первые фразы, от ритма и мелодичности которых зависит дальнейшее повествование. И поначалу тебя мало беспокоит, что события и лица героев пока только смутно проступают в воображении. Ты еще не представляешь, как они будут выглядеть и чем их займешь, не определено и место, куда ты должен их переселить. Выбирай: Мальорка, Сен-Тропе, Майами, годятся к рассмотрению также Ялта и Сочи.

Предполагаешь начать с описания летнего утра на вилле Лоры Т., две недели назад похоронившей старого мужа. Уделить несколько слов ее состоянию, когда она, еще находясь в нежной вязи последних сновидений, не решается открыть глаза, чтобы мир снова не предстал ей, каким был до кончины мужа.

Можно сказать о доставшемся ей наследстве, счетах в банке, об имении на берегу моря, некогда перестроенном покойным в роскошный отель с уютным рестораном и баром, двумя бассейнами и спортивными площадками. Упомянуть также, что комплекс этот, находясь в нескольких минутах езды от большого города, гарантирует полное забытье от гримас цивилизации, а в сезон, с июня по октябрь, приносит солидный доход. Здесь как бы между прочим можно заметить, что довольно банальное название такого рода мест – "Эдем" (или "Парадиз", что, собственно, не имеет значения) к нему подходит, как к ничему другому.

Подробности эти ни к чему, они достойны внимания лишь в той мере, в какой являются удачной декорацией к будущему представлению. Тогда правильнее было бы начать с момента, когда Лора с вечерней корреспонденцией (в основном, с запоздало поступающими соболезнованиями) получила странное письмо и перечитала его кряду несколько раз... Впрочем, столь смутившее ее письмо она получила немного позже одного немаловажного события, и, если в данном случае уместно говорить о каком-либо порядке, то следует начинать именно с него.

В то утро, перед прогулкой верхом, Лора впервые воспользовалась подзорной трубой, подаренной мужем на свадьбу, чтобы она могла из окна спальни обозревать свои новые владения.

Человек, подозрительно возившийся около рыбацкого домика на самой окраине ее имения, упорно не фокусировался в объективе отчетливо. Труба, оказывается, только с виду сделана под старину, на самом же деле, этим прибором ей пользоваться так же сложно, как и современным компьютером. Возмущенная тем, что не нашла управляющего сразу же, Лора сама отправилась разбираться с нарушителем.

Ее миниатюрный джип почти бесшумно прошелестел по сухому прибрежному песку и остановился у самого домика. Она легко выбралась из автомобиля и едва приоткрыла дверь, как раздался голос незнакомца: какого черта, пусть сейчас же закроют, не то у него засветится пленка. Неожиданно для себя Лора спешно прикрыла дверь, но быстро нашлась и крикнула в ответ, что это она должна говорить: "какого черта"! Он бесцеремонно вторгается на чужую территорию да еще кричит на нее! Она вызовет охрану и его выкинут отсюда. Кто он такой? Что здесь делает?

Из-за двери показался юноша, вытирая лицо и руки мокрым платком. Капельки пота на обнаженном загорелом торсе поблескивали на солнце, на губах и во взгляде прищуренных от яркого света глаз мелькала хитроватая улыбка. Он неторопливо осмотрел ее костюм для верховой езды, притронулся даже к плетке, которую нервно сжимала в руках Лора, и, указывая на автомобиль, сказал, что ей следовало привязать своего коня хотя бы вон к тому стояку. Не боится она, что тот умчится при виде чудовища, из-за которого придется вызвать охрану?

Лора неожиданно рассмеялась. Да, острота его вполне уместна, она представляет, как смешно выглядит на джипе в сапогах со шпорами и плеткой в руке. От гнева и возмущения

немудрено и забыть об утренней прогулке верхом и своей лошади, пришлось взбираться на первое попавшееся средство передвижения и мчаться сюда. Ну, ладно, можно считать, она простила ему его нахальство, но только – ради бога – пусть скажет, что он здесь делает.

Он оживленно глянул по сторонам, скривил губы, подавляя смешок, закинул назад спадавшие на глаза волосы и на руке его напряженно вздулись хорошо развитые мышцы. Что он здесь делает? Как бы ей это объяснить? Видите ли... Кстати, он хотел спросить, не кажется ли ей, что этот домик был построен еще пиратами? С первого дня, как появился здесь, у него именно такое чувство.

И снова эта странная улыбка. Лора смеется, по-видимому, этот юноша любит пошутить, но пиратов здесь не было и в помине, пусть не морочит ей голову вдобавок ко всему – так отвечайте же на вопрос! О, похоже, она женщина серьезная. Ну, хорошо, хорошо, он готов признаться, что самовольно устроил себе в этом сарайчике (иначе не назовешь) запасную фотолабораторию. Впрочем, она сама может полюбоваться – проходите.

Лора впервые переступает порог этого домика – тьма-тьмущая, почему-то думала, что здесь садовник хранит свой инвентарь. Так ведь сюда не подведено электричество, как он работает?

Вопрос вполне резонный, он скидывает одеяло с оконного проема. Вот, пусть она полюбуется на этот уникальный аккумулятор для автомобилистов – новинка, в некотором роде, электростанция в миниатюре, а величиной всего с чемоданчик. Она может спросить, можно ли в таких условиях печатать качественные фотографии, ответ – его недавняя победа на престижном конкурсе художественного фото. Ах да, она что-то припоминает, кажется, об этой выставке было сообщение в газете. Совершенно верно, заметка о результатах конкурса находилась на одной странице с извещением о смерти ее мужа. Впрочем, он просит его извинить, если невольно коснулся незажившей раны. Не стоит извиняться, тут уж ничего не поделаешь... Да, теперь вспомнила: о победителе писали, что, глядя на его работы, так и ощущаешь запах рыб, морского воздуха, слышишь крик чаек и все такое прочее. Да-да, ему очень приятно, что она читала эту заметку, спасибо, теперь о нем узнали многие, но в чем секрет его работ, не знает никто. Но она, вероятно, уже догадывается, каким образом он добивается столь впечатляющего эффекта. Может, сказать ей по секрету, что он даже воду подогревает на солнце. Он убежден, фотографическая бумага вбирает энергию окружающей среды, начиная со щелчка аппарата до последнего момента, когда магическая сила раствора выявляет на ней неповторимый миг жизни, схваченный мастером. За все сокровища Агры он не променял бы сладкое волнение в груди, сопровождающее проявление снимка. Это мистическое действо... Минутку, помнится, победителем был признан его... название какое-то витиеватое... что-то вроде "Натюрморт с чайкой и..." О, у нее прекрасная память, точно так: "...и видом на море". Кстати, он должен быть где-то здесь, сейчас попробует найти. Да-да, очень бы его попросила, хочется взглянуть, знаете ли.

Он начинает ловко перебирать большие конверты с фотографиями – мелькают разные лица, группы людей в разных позах, взгляды, выхваченные из толпы, пейзажи и полуобнаженные девушки в большом количестве. Вот она. Превосходно, можно ее сюда... да... интересно, интересно. Но ведь это монтаж, или коллаж, – как правильно выразиться? Эта часть моря у него выступает как поверхность стола, на нем лежит чайка с распластанными крыльями. Позвольте, она лежит на столе или парит над поверхностью моря? А дальше две большие рыбины. Тогда точнее было бы назвать ее "Натюрморт с чайкой и рыбами". Хотя нет: похоже, это не рыбы, а лодки, кажется. Она видит в них людей. Признаться, вначале приняла их за чешую. Тогда получается – чайка летает над морем. Совсем запуталась...

Он готов прийти ей на помощь. Ее трудности с восприятием вполне понятны, так было со всеми, кто смотрел его картину, простите, фотографию на выставке. Все дело в том, как смотреть на нее. А последнее уже зависит оттого, как данный зритель смотрит на мир, кем и как он ощущает себя в жизни. Обратите внимание: эти рыбины, как она изволила выразиться (так они воспринимаются при одномерном взгляде), на самом деле – лодки, что и было замечено ею позже, а в них рыбаки, коих приняла вначале за чешую. Теперь нужно вглядеться: в одной из них, в той, которая от берега (или от края стола) направляется в море,

лежит покойник. Возле него товарищи, они везут хоронить покойного в морских глубинах, как у них и принято. Эта лодка символизирует смерть, неудачу, болезнь, слабость – что хотите в этом смысле. На другой же, если быть еще внимательней, можно разглядеть веселых (это можно заметить по жестам) рыбаков, плывущих к берегу с богатым уловом - это символ жизни, богатства, победы и так далее. Над ними парит чайка (все-таки парит) – это свобода, вечное начало, взгляд сверху на мир, на суету людскую. И для этой чайки решительно все равно, какая из этих лодок куда и зачем плывет. Так вот, сам он предпочитает плыть в лодке, которая направляется к берегу с уловом. И чтобы оказаться на ней в этой своей жизни, готов переступить через многие запретные черты.

Лора поднимает руку в узких лоснящихся перчатках, грозит ему пальчиком - о, в таком случае он опасный человек, от него надо держаться подальше. Кстати, как его зовут? Артур? Замечательное имя. Очень приятно. Лора. Интересный он человек, ничего не скажешь. Только пусть объяснит ей, если это его, конечно, не затруднит, зачем устраивать на своей голове такую прическу, из-за которой волосы нужно беспрестанно закидывать наверх? Пока говорил, он только этим и занимался.

И снова на его лице эта непонятная улыбка. Видите ли, раньше он много курил, и когда решил бросить, понял, что для этого ему необходимо приобрести другую, такую же нелепую привычку, занимавшую его с такой же частотой, как и выкуривание сигарет. Она может посмеяться, но эта возня с постоянно спадающей на глаза челкой избавила его от неумолимого зуда курить. Ха-ха, и в самом деле оригинальное решение, но, видимо, не самое удачное. Между прочим, он мог бы и накинуть на себя маечку, ведь не на пляже все-таки. И находится в обществе дамы. А, впрочем, как хочет, она уже уходит. Должна признать, что его увлечение заинтересовало ее, может продолжать здесь работать, мешать не станет.

Она повернулась и решительно вышла. Продолжая оставаться в доме, Артур крикнул ей вслед, чтобы она задержалась на минутку. Лора остановилась, было слышно, как он ворошит вещи в поисках чего-то, а когда в спешке выходил, обо что-то ударился и, сдержанно выругавшись, запрыгал на одной ноге – прошу вас, подождите. Он только что зарядил кассету и не простит себе, если не сделает с нее несколько снимков. Что вы, что вы, увольте, не станет она сниматься в таком виде. Да и как он смеет, пусть не направляет на нее свой аппарат, кому она говорит. Почему же нет, он никогда не видел ничего прекраснее этих ног, они так притягательно обтянуты белоснежным полиэфиром, скажите: эти жокейские лосины – или как они называются – они из полиэфира? А эти ботфорты, надо заметить, смотрятся невероятно сексуально. Расслабьтесь, не нужно принимать нарочно никаких поз, он должен отхватить у вечности живой миг. Да что он себе позволяет? Слышите? Он просто нахал, это она, кажется, ему сегодня уже говорила, к тому же еще и пошляк. Пользуется тем, что она улыбается. Уверяет его, эта улыбка обманчива, на самом деле, она очень сердится. Но Артур и не думает ее слушать: вот и отлично, она правильно сделала, что переместилась в эту сторону - морской фон им ни к чему. Так лучше – теперь за ней сочная зелень дальних деревьев. И совершенно правильно ведет себя: не нужно выбирать позу, фиксировать ее, пусть двигается. Вот так, она может продолжать сердиться, очень хорошо, главное – огонек в глазах... нет-нет, прошу повернуться ко мне и посмотреть в объектив – не могу же я снимать вас со спины, хотя с такими, простите, организмами, как у вас, и в этом ракурсе есть свое очарование. Она оборачивается: прочь, мальчишка! – неожиданный поворот головы, взмах плетки, в глазах не то гнев, не то досада, не то удивление. Стоп-кадр...

Впервые за последние дни Лора почувствовала себя легко и свободно. Так и надо теперь жить: хватит строить из себя безутешную вдовушку, она отдала ему и без того немало – два года провела в старческом мире и душой состарилась сама. Нелегко было выносить его увядающие желания, без блеска и остроты, потускневшие до физического отвращения мысли, брюзжания и детские капризы умирающего. Господи, неужели все это позади. А этот молодой человек, которого узнала только сегодня, кажется, нужен ей больше, чем все ее теперешнее окружение. Он единственный, перед кем не надо напускать на себя траурный вид, как приходится это делать перед друзьями и родственниками мужа за бесконечными чаепитиями

и нудными разговорами. От него не услышит советов, как править ей таким большим имением, стоит ли его расширять, куда правильнее вложить деньги и под какие проценты. Все соболезнуют – о, как же надоело это лицедейство! – а между тем никому так не завидуют, как ей, и прекрасно понимают, что с таким завещанием она только и мечтала скорее стать свободной. Пусть знают, как ей сейчас хорошо, она молода, красива и у нее есть все. Или почти все. Какой сокрушительный повод для зависти. Лора единственная наследница всего состояния мужа, ее бедного мужа, да упокоит господь его душу. К черту, к черту эти мысли, надо привыкать к новой жизни. Привлекательная танцовщица из бара добилась-таки своего. И хватит об этом.

Вот и управляющий. Виновато улыбаясь (вероятно, ему сообщили, что Лора его искала), говорит, что с утра занимался с подрядчиками. Ведь она просила заменить во втором корпусе отделочные материалы на другой цвет, так он и был этим занят. Да он просто мелкий врун, представитель от подрядчиков, не найдя его, пришел к ней прямо с утра и поднял с постели. Ей пришлось его принять, чтобы не простаивали рабочие. Просит его больше не опаздывать и быть возле них постоянно, не то черт знает, что они там налепят. Им бы только побольше денег у нее вытянуть. И еще: пусть прекратит ухаживать за отдыхающими у них дамами, в конце концов, здесь он находится на работе. Виноват, он, конечно, виноват, впредь это не повторится. Вот и хорошо, он свободен. Да, пусть ее водитель подготовит машину к обеду, в город поедет за рулем сама. Прогулка верхом сегодня отменяется.

Кепи и плетка летят на туалетный столик, сбив флакон с духами, – последний подарок мужа. Он как будто чувствовал приближение смерти и относился к ней с еще большим вниманием, духи преподнес с каким-то просветленным, всепрощающим взглядом. И все же переменить здесь необходимо все: начиная с мебели и до самых мелочей. Да, да, войдите. Почта? Положите, милочка, на стол, я сейчас просмотрю. Срочного ничего? Можете идти. Посмотрим: выражаем Вам глубокое соб... понятно... примите наше... так, что дальше... от подрядчиков – вынуждены повысить расценки по перестройке второго корпуса в связи... мошенники... дорогая, как прискорбно было узнать... твоя... не забывай... впрочем, она всегда была подхалимкой... а здесь что у нас? Странно.

На бело-голубом конверте красивым ровным почерком было выведено ее имя. Почтовый штемпель отсутствовал – письмо, вероятно, передано с нарочным или подброшено. В нем она нашла три плотно исписанных листа с пронумерованными страницами.

Банальная ситуация: неведомый ее поклонник и обожатель в довольно сдержанных выражениях признавался ей в любви. Хотя Лора никогда и не получала подобных писем, ему было уготовано отправиться в корзину, если бы она не почувствовала в сдержанном тоне письма полную обреченность на невзаимность. Он ничего не просил, ничего не предлагал, ни на что не надеялся – он всего лишь выражал свое чувство. Почему-то верилось в искренность этого человека. И еще одна примечательная особенность – письмо было написано от руки, поэтому сила и ласкающее тепло каждой фразы ощущались живо. Он достаточно хорошо владел словом и мастерски описывал ее черты, вызывавшие у него особое восхищение. То это едва заметное вздрагивание губ от неожиданной улыбки, которая зажигает ее лицо, как новогодняя елка, непонятной радостью. То внезапный поворот головы и застывший на собеседнике задумчивый взгляд серых глаз, – она как бы не вспомнит, о чем это ее только что спросили. То это благодарение за то, что вопреки требованиям моды она не изменила естественной густоты своих бровей, которые придают жгучую красоту ее лицу. Еще он писал о том, как весела и кокетлива Лора бывает с мужчинами, в чем она с ним не согласилась, и это место в письме ей очень не понравилось. Дальше он весьма смело признавался, что в своих фантазиях исследовал губами каждый сладкий участочек ее тела, и мог бы свои ощущения при этом описать с той достоверностью, как если бы он и в самом деле был с ней в близких отношениях.

Моментами можно было подумать, что он обыкновенный маньяк, помешанный на своем идеале женщины, к чему Лора поначалу и склонялась. Но третья страница, по ее мнению, полностью опровергала такой вывод. Он писал, что не имеет права предстать перед ней или обозначить себя каким-либо иным способом. Неожиданно выйдя замуж, а теперь, став

единоличной владелицей огромного состояния, она поднялась от него на несколько порядков. Любая его попытка сблизиться с ней будет выглядеть как корыстное предприятие.

Далее, видимо, с присущим этому человеку самокопанием, он анализировал свой характер (какое мальчишество!), в котором заключается причина всех его неудач. При несомненно разнообразных его талантах он мог бы заполучить внимание и любовь общества, а не таиться в безвестности в мрачной каморке, если б решился пересмотреть свое отношение к миру. Ведь все люди, достигавшие определенных вершин в обществе, так или иначе отступали от правил (здесь надо заметить, что в письме это слово написано с большой буквы и, видимо, имеет большее значение, чем привычные нормы и правила человеческого общежития). Кроме того, только отступив от них, они получали возможность подняться над другими.

С некоторых пор перед ним стоит мучительная дилемма: либо для достижения в жизни успеха он станет использовать все возможные при этом средства, не гнушаясь ничем, либо перед каждым своим поступком будет продолжать слушать свою совесть, выдержанную в строгом соблюдении моральных и нравственных законов. Живя по первому принципу, он уверен, что в скором времени станет полноправным и уважаемым членом общества, и ему откроются все прелести земного рая, – но это, на его взгляд, сиюминутная услада и плевок в вечность. Выбирая второй, он останется в ладу с самим собой и Богом, и может совершенствовать свой духовный мир, дабы приблизиться к высшему началу, – в этом случае он рискует стать посмешищем в кругу друзей и близких, ибо отказавшийся от земных благ при полной возможности их получить только таковым и может быть воспринят. Он даже вообразил себе на минуту, что будет, если скажет своей возлюбленной (для примера допускает на эту роль любую из знакомых ему девушек): не собирай себе золота на земле, ибо золото порождает праздность, а праздность есть источник печали и отвращения. Вряд ли у него останется хоть какой-нибудь шанс расположить ее к себе. Что молодой девушке до красот его души, напряженного поиска вечных истин, его таланта, не приносящего сколько-нибудь значительного дохода, когда рай нужен ей на земле.

Письмо неожиданно обрывалось. Перечитав еще пару раз, Лора не нашла в нем ничего занятного и утешительного ни для себя, и тем более, для написавшего. Последняя страница немного ее разочаровала. Какой-нибудь прыщавый студент с проблемами переходного возраста, заключила она, и отложила письмо в сторону.

Два события – встреча с Артуром и неожиданное письмо от незнакомого человека, произошедшие в одно утро, нарушили привычный распорядок, сложившийся за последние дни. Прогулка на лошади была отменена, кроме того, Лора против обыкновения довольно долго плавала в бассейне, что означало: в этот день она никуда не поедет и после сытного обеда, в чем не имела воли себе отказывать, часа на два уляжется спать. Все свои заботы, которых накоплялось все больше по мере ознакомления с ведением дел по маленькому курортному городку, она переложила на управляющего и позволила себе расслабиться до следующего утра.

Эти двое, внезапно появившись в ее жизни, разволновали тихий омут ее безрадостного существования и заняли воображение. Больше хотелось думать о первом: она не только видела его и знала о нем больше – милый и обаятельный фотограф даже понравился ей. Хотя столь быстро обозначившиеся симпатии к нему можно было принять на счет незавидного ее душевного состояния в последнее время, когда радуешься любому "живому" человеку, – думать об этом Лора не хотела. Красивый парень с интересными увлечениями, имеющий к тому же заметные успехи в своем деле, безраздельно записывал все выигрышные баллы себе. Второй, оставаясь неизвестным до конца, мог бы дать больше возможности для фантазий, если б не его юношеский самоанализ, так откровенно изложенный в первом же письме. Такие люди, как правило, неудачники. А жаль: письмо он написал увлекательно и вдумчиво, этот человек, без сомнения, незаурядный, но...

Лора не стала дожидаться наступления темноты, как было задумано, и после ужина сразу же отправилась к рыбацкому домику. Женское любопытство тянуло подвергнуть немедленной ревизии все имущество Артура, которое он так смело оставлял без присмотра за

не запирающимися дверями. Правда, аккумулятор она не увидела, – видимо, он увозил его на мотоцикле.

Домик состоял из двух небольших комнат. Во второй, куда вела низкая скрипучая дверь, она обнаружила деревянную резную кровать с матрацем и крошечной подушкой. На дощатой стене висела репродукция, до того засиженная мухами и запыленная, что разглядеть ее не было никакой возможности. В углу лежали различные предметы, предназначенные для рыбной ловли, их, по всей видимости, давно не касалась чья-либо рука.

Лора вернулась в первую комнату, к столу, который занимал ее больше всего. На нем были фотоувеличитель, фонарь красного света, ванночки, пинцеты, глянцеватель и пачки фотобумаг разных форматов. Но ее интересовали большие конверты с готовыми фотографиями – они находились в картонной коробке, стоящей под столом. Снимки не отличались хорошим качеством, должно быть, здесь остались забракованные мастером. Поражало большое количество фотографий с полуобнаженными девушками и всеми, как на подбор, красавицами (и где он только находит столько желающих сниматься в подобном виде). Примечательной особенностью снимков было то, что на них нельзя было найти ни одной позы, поставленной режиссерской волей, – создавалось впечатление, будто он подловил момент и застал натурщиц врасплох, внезапно появившись перед ними с фотокамерой. Эмоции застигнутых в неприглядном виде девушек невольно овладевали зрителем снимка, и он становился как бы участником завлекательной сцены.

В одном из конвертов Лора нашла вырезку журнальной статьи – она была посвящена итогам фотоконкурса. Отвечая в числе других на вопросы корреспондента, Артур говорил в ней, что в скором времени искусство фотографа приравняют к искусству художника. И произойдет это неизбежно. Сделать хороший фотоснимок так же трудно, как и создать хорошую картину. И оцениваться труд фотохудожника должен так же высоко. Этот парень далеко пойдет, подумала Лора.

Но самое удивительное было впереди. Среди прочих Лора обнаружила снимки, на которых была она сама, причем тех времен, когда работала еще в баре. Все ее снимки были сделаны в профиль, слева, со стороны, откуда открывалась на эстраду дверь из кухни. Вот она изящно вытянула в танце ногу, взлетел вверх край платья, а двое мужчин за ближайшим столиком, позабыв своих дам, пригнулись, желая заглянуть в пленительную бездну, сокрытую от них мимолетной тенью. А вот она только что закончила номер, у ног ее стоит подвыпивший, по всей видимости, мужчина и тянется поцеловать ее колено. Мгновение назад он сунул пятидесятидолларовую банкноту в глубокий боковой разрез ее платья – туда, где виднелась узенькая ниточка шелковых трусиков.

Какой же он негодяй! Как посмел! Почему же никто не предупредил тогда, что ее снимают. Попадись же он мне!

Как часто бывает в таких случаях, тот, кого ждешь больше всех, как назло, долго не приходит. И напрасно Лора по несколько раз в день обращала подзорную трубу в сторону рыбацкого домика, у которого надеялась увидеть желанного посетителя.

Тогда она поехала на прежнюю свою работу, в бар "Фламинго", надеясь там что-нибудь разузнать об Артуре. Но никто ничего путного о нем сказать не мог. Правда, сообщили, что года три назад крутился здесь один парень, временно взятый на работу бывшим хозяином заведения. Он выполнял разные поручения, был, что называется, на подхвате, но вскоре пропал и никто о нем больше не слышал. Лишь одна девица сказала, что хорошо его помнит, он насилу заставлял их сфотографироваться – кого с подносом, кого с черпаком, кого бог знает в каком виде, а потом умолял выкупить у него эти снимки. Но по ее описанию этот молодой человек был вовсе не Артур. И в самом деле, Лора сама бы вспомнила Артура, появись он здесь в то время хотя бы раз. Она подумала, что слишком много внимания уделяет этому проходимцу и решила прервать поиски.

Зато по возвращении ее ожидало новое письмо от второго неизвестного друга. На этот раз оно было подписано – звали его Феликс – но, как и прежде, без обратного адреса. Лора удивилась самой себе, а именно тому, с какой радостью восприняла послание. Она устроилась поудобнее и с предощущением какого-то приятного чувства вскрыла конверт.

В первых строках он просил извинить, что вынужден занимать ее внимание описанием своего внутреннего противоборства. Возможно, это ей совсем не интересно, но – видит бог – Лора, как это ни покажется странным, единственный человек, кого он хотел бы иметь судьей своих переживаний. Уже то, что она прочитает письмо и станет – пусть невольным – участником его судьбы, поможет ему разобраться в себе.

Решение принято: он постепенно будет отпускать нити, связывающие его с этим миром, и попытается создать новые с ним отношения, разрушив прежний порядок жизни и систему своих мыслей. Заглянув в свою душу, Феликс понял, что он такой же, как и все молодые люди: он желает удовольствий, знакомства с хорошенькими женщинами и денег для удовлетворения своих (как оказывается, многочисленных) потребностей. Довольно оправдывать свою слабость и нерешительность перед жизнью нелепыми, неосуществимыми идеями – он хочет радости и счастья здесь, сейчас.

Непонятно было, какие идеи занимали воображение этого философа – в письме он конкретно ни на чем не останавливался. На основании написанного можно было лишь смутно догадываться, что он безуспешно пытался создать свою систему, в некотором роде свою модель мира и общества для счастливого и безмятежного существования человека. Но в какой-то момент (по-видимому, речь идет о данном периоде) он понял: его идея не верна уже только потому, что она заключена в систему (теперь, надо полагать, он враг всякой системы), в которой так и подмывало нарушить установленный порядок, ибо он противоречил порядку в природе. Нет ничего мучительнее для свободного человека, чем жить, неизменно следуя какому-то своду правил, пусть даже благоразумно составленному им самим. На самом же деле, как он теперь понял, в человеке не может быть строго и навсегда обозначенного порядка. В масштабе своего душевного пространства, если так можно выразиться, он имеет право на свободный выбор и на импровизацию. В театре под названием жизнь, находясь долгое время в обличии одного персонажа, ты в какой-то момент исчерпываешь все его моральные и физические ресурсы. И тогда наступает именно такой душевный кризис, какой произошел с ним. В этом случае необходимо сделать новую постановку спектакля и, как говорят в этих кругах, придать своей роли новое звучание.

Из-за неприятия этой, в сущности, простой доктрины он до сих пор был лишен возможности познать неповторимую ценность жизни и радоваться ею сполна. Теперь он откроет свое окно, выходящее в живописный (как он не замечал этого раньше) сквер, и будет радоваться всякой божьей твари, каждой травинке, распустившемуся листку, пению птичек, улыбкам прохожих и оценит все это как счастливые минуты жизни.

Для установления в себе такого мироощущения он затеял беспримерный эксперимент, а именно: решил избавить себя от гнетущей его личность двойственности. Тот в нем, не способный к деятельности, меланхоличный созерцатель жизни, всего лишь прохожий в этом мире, должен покинуть его, Феликса, навсегда. Останется другой: способный реализовать свой талант при любых обстоятельствах и добиваться своего. Феликсу легко будет разделить эти два проявления своей личности – они сосуществуют в нем, не дополняя друг друга, а скорее находясь в непримиримой борьбе...

Лора пыталась вдуматься в суть столь странного решения. И в самом деле: что за нелепый, невозможный эксперимент? Какое насилие необходимо совершить над собой, чтобы переменить годами создававшееся в тебе мироощущение? Ведь оно является прямым выражением собственного характера, который нельзя изменить, как и звездное небо над головой. Этот эксперимент скорее надуманный, нежели требование самой жизни. Такое могло прийти в голову только юноше с не устоявшимся сознанием.

Вместе с тем метания этого молодого человека Лоре были знакомы – и она испытывала нечто подобное в его возрасте. Так, если сравнить этот отрезок ее жизни с бегом с препятствиями, то она проскочила его, сбивая на дистанции все барьеры, и пришла к финишу первой. Не о таком ли нарушении правил писал он в своем первом письме. Уж не на нее ли он намекал? Ну да хватит об этом, ему не удастся заразить ее самокопанием и сожалением о поступках, совершенных в прошлом.

После сумбурного излияния своих духовных исканий Феликс безо всякого перехода приступил к описанию тех счастливых мгновений, когда ему удавалось видеть Лору. Он подробно описал один из таких случаев, удивляя своей наблюдательностью. Без сомнения, столь точным и поэтическим восприятием может обладать только человек редкого дарования. Лора не без удовольствия отметила, с какой неподдельной симпатией писал Феликс о предмете своего обожания. И хотя она не находила в своем облике какой-то особенной прелести, способной сразить мужчин на месте, в искренность его чувств поверила сразу же. А почему бы и нет, если в любом эмоциональном выражении ее лица – будь то удивление, мимолетная улыбка, грусть или обида (где только он мог видеть ее во всех этих проявлениях) – в ней находили ни с чем не сравнимую женственность и обаяние.

В тот раз она появилась в кафе в сопровождении двух мужчин. Пожилой (должно быть, ее муж) подозвал официанта, а молодой франт что-то без устали доказывал Лоре, при этом изящно жестикулируя руками.

Феликс, скрываясь от жары под тенистым грибком со стаканом холодного апельсинового сока, сидел поодаль и разговора слышать не мог. Увидев Лору, он так и обомлел, если это слово может хотя бы в какой-то мере выразить его странную способность замирать от сильного впечатления. Звонко стуча каблуками по мраморным плитам, она прошла рядом, и он разглядел – о, чудо! – ее короткую красную юбочку в белый горошек и две волнующе изогнутые бороздки от ее трусиков, пленительно проступающие под ней. Она села к Феликсу боком, но перед этим неосознанно одарила его – единственного посетителя кафе, кроме них, – скользящим взглядом и улыбкой. И в продолжение часа он с наслаждением следил за ней, угадывая, какой же оборот принимает их разговор. Казалось, каждая возникающая в ее голове мысль имела свое выражение на лице. В какой-то момент Феликсу показалось, будто бы собеседник Лоры произнес что-то обидное для нее или сказал такое, с чем она никак не могла согласиться – тут же уголки ее губ приспустились, досадливо надулись. Казалось, тому ни за что не удастся вымолить у Лоры прощения. Ситуацию разрешил ее муж. Он рассмеялся и похлопал по плечу молодого человека: пусть не берет в голову, она ведь у него совсем как ребенок.

Лора дочитала письмо, сложила разрозненные листки аккуратно и пересела в кресло. Нет, должно быть, этот парень вовсе не такой, каким она представила его вначале. Он не такой юный, каким показался после своего первого письма, и даже не студент уже. По-видимому, он скромный служащий в какой-то фирме. Внешность его, наверное, не особенно запоминающаяся. Возможно, он скрытный, тихий, даже робкий, но непременно обаятельный. Посмотреть бы на него. Из любопытства. Интересно все-таки.

Несколько дней Лора провела в совершенной апатии. Несмотря на мертвецкую скуку, она все же не хотела никого видеть, не было желания хотя бы вникнуть в суть предстоящих хлопот по курортному городку. Она была растеряна (что редко с ней случалось) и никак не могла привыкнуть к новой для себя роли свободной женщины с деньгами. Впрочем, она не была еще свободной в той мере, в какой ей хотелось быть. Их общие с мужем знакомые по причине траура не считали уместным приглашать ее на светские вечера и давали о себе знать лишь редкими, ничего не значащими звонками. Но если с этим можно было согласиться, смиренно переждав какое-то время, то как понять сестру покойного, эту глупую старуху, фанатичную приверженку мусульманских традиций (муж не был столь ярым исламистом), которая прислала к ней на проживание свою внучку-студентку якобы для утешения одинокой вдовы. Не трудно было догадаться, что она должна стать глазами и ушами ревностной старухи. Но внучке, как и подобает современной девушке, решительно было наплевать на притязания своей бабушки. Здесь она очень скоро нашла себе симпатичного паренька и большей частью где-то с ним пропадала.

Так что и с этой стороны Лоре не уделяли должного внимания. Именно поэтому ей нравилась эта тайная связь с незнакомцем, очередное письмо которого ждала с нетерпением. И поэтому хотела снова и снова видеть Артура.

Последний появился неожиданно, настолько неожиданно, что как-то утром предстал перед ней в дверях спальной комнаты, когда за туалетным столиком она наносила на лицо

крем-маску. Предвосхищая вопрос, Артур вкрадчивым голосом сообщил изумленной Лоре: да, да, черт возьми, он обманул ее стражницу, сказав, что он любимый племянник тетушки Лоры, только что с самолета и желает видеть ее сию же минуту. И, пожалуйста, без доклада - хочет сделать сюрприз. Но, встретив суровый взгляд Лоры, поправился: если честно, то он проник к ней просто-напросто незаметно. Но, так или иначе, наказывать никого не надо.

Забавно было смотреть на Артура в широкополой шляпе, с огромной дорожной сумкой за спиной, заговорщическим тоном приглашающего ее стать соучастником данного инцидента и не поднимать шума. Едва сдерживая улыбку, она заставила себя ничем не отвечать на его появление. Она отвернулась к зеркалу и, как ни в чем не бывало, молча принялась снимать с лица крем. Тогда Артур уронил сумку на пол, быстро достал оттуда фотографии и, запустив шляпу на кровать, направился к ней.

Пусть она полюбуется на этот шедевр, который получился с того случайного кадра. Вот посмотрите: на этом варианте она показана почти во весь рост. Здесь, надо признать, нет ничего примечательного: какая-то женщина-наездница, пусть очень красивая (это тоже надо признать), по всей вероятности упала со строптивой лошади. И она собирается проучить неразумное животное (кто поверит, что это животное я) – взмах плетки, остервенелый взгляд, простите, и все такое прочее. Мы его убираем, нам этот рисунок совершенно неинтересен.

Вот другой, здесь вы представлены более крупным планом. Обратите внимание: сюда не попала плетка, не заметен и взмах руки. Что мы можем представить, глядя на рисунок? Очаровательная женщина (это без сомнения), видимо, только что оттолкнула от себя возлюбленного, чем-то ей досадившего. А может, он хотел ее всего-навсего поцеловать? Но попробуйте поймать ее взгляд: здесь и гнев, и возмущение, и удивление, и разочарование, и страх. Сколько всего. И что же этот шельмец ей такое сделал?

Но и этот вариант нам ни к чему. Зачем? У нас есть лучше! У нас есть шедевр! Вы не против, если я включу его в число остальных моих работ, которые будут выставлены для показа осенью? Собственно, за этим я и пришел. Ах, что же это я не покажу его вам. Вот! Посмотрите, пожалуйста, очень внимательно. Здесь лишь только ваше лицо. Да что лицо, все внимание здесь привлекают глаза, остальное - только фон для них. Замечаете, какая загадка застыла в вашем взгляде? Ничего общего с глазами предыдущих героинь. Какой-то странный взгляд вдаль. Я бы даже сказал: в глубину времен. Как вы думаете, что они увидели? Отчего застыли? Поразительно, не правда ли? Я думаю, так смотрят ангелы на нашу землю, не в силах понять, что же происходит с людьми. Я сам был потрясен, увидев их близко. Я отскочил даже, когда этот взгляд стал проступать на фотобумаге и с минуту не мог заставить себя вернуться к столу – первый экземпляр так и почернел в проявителе. Но для меня, как вы понимаете, был кураж профессионала от удачи, что не так уж и часто нам выпадает. Мне интересно было бы знать ваше мнение.

Пока он говорил, Лора только пару раз безразлично посмотрела косым взглядом на снимки, как бы давая понять, что она сердится и сейчас ему от нее достанется. Но последний снимок она почему-то взяла из его рук и поставила перед собой. Мгновение и ее охватил мистический страх – это был собственный взгляд, обращенный внутрь нее. Ни перед зеркалом, когда она, бывало, подолгу разговаривала сама с собой, ни долгими бессонными ночами, когда, закрыв глаза, исследовала тайники своей души, Лора не испытывала ничего подобного. Никогда такого пронзительного взгляда она не обращала внутрь себя. Разом нахлынули воспоминания и непонятно почему стали наворачиваться слезы.

Она вспомнила себя маленькой накануне какого-то праздника, когда попросила отца отвести ее на представление. Но он отказал ей, сославшись на то, что не смог купить себе новой обуви, а в старых ему просто стыдно появляться на людях в такой торжественный день. Она начала плакать, и тогда мать уговорила отца. Господи, сколько же ей было лет? Она помнит, как долго начищали изношенные отцовские туфли, а они по-прежнему смотрелись такими же сморщенными и стоптанными. Помнит свое новое сиреневое платьице и шелковый розовый бант. Он взял ее руку (она и сейчас ощущает его сухую горячую ладонь) и они вышли на улицу. И когда им встретились его друзья, с утра уже неестественно возбужденные и веселые, отец покраснел от стыда за свою обувь, на которую, наверное, никто и не думал

обращать внимания. Он тогда так крепко сжал ее руку, что ей сделалось больно... А потом, когда выросла, она много раз упрекала его, что он, в сущности, ничего не мог ей дать... Господи, где он сейчас? Что с ним? Мать давно умерла, дочь, повзрослев, уехала искать свое счастье. А он где-то далеко, в богом забытом уголке, покинутый и одинокий.

Лора плакала, как не плакала, наверное, с детства и ничто не могло ее остановить. И только потом, когда острая боль обнаженной памяти приутихла, а вместе с тем перестали литься слезы, Лора как бы снова услышала отдаленный голос Артура, прозвучавший еще час назад: я, наверное, тогда пойду, если что, буду в домике...

Они сидели на капоте автомобиля и смотрели на море. Оба понимали, что несколько незначительных фраз, сказанных сейчас, только отодвинули предстоящий им серьезный разговор.

Затянувшуюся паузу прервала Лора: кто ты, юноша? – и вопрос ее как бы не требовал ответа, она произнесла его задумчиво, точно разговаривала сама с собой. Да, теперь пора, Артур сейчас все расскажет, именно с этого он и собирался начать. Он понял, что Лора обнаружила у него свои фотографии. Нет, он ни в чем ее не упрекает – боже упаси, –- здесь все принадлежит ей, и только пользуясь ее милостью, он может сюда приезжать. Он все-таки надеялся, что Лора его вспомнит. Ведь они работали вместе в одном заведении, хотя и очень короткое время. Ну да, конечно, она может сказать, откуда ей помнить всех рабочих на кухне. К тому же он был тогда совсем не такой, как теперь: худой, невзрачный, с ребяческим выражением лица. Вот этот шрам на левой щеке он поставил сам себе ножом, чтобы придать физиономии более мужественный вид. Смешно, он понимает. Кухонный рабочий и первая красавица-танцовщица, на которую приходили посмотреть самые богатые дядюшки города. Немудрено, что она его не признала. А ведь он помнит два случая, когда они даже разговаривали. Он был для нее пустое место, поэтому и не запомнила. Вечером во время выступлений он незаметно ее фотографировал, ночью печатал снимки, а утром в порыве ярости разрывал их в клочья. Вот как было...

Как здесь оказался? Уверяет, не подозревал даже, что она теперь живет здесь. Артур ушел из бара почти следом за ней. А с тех пор прошло более двух лет. И ничего за все время он не слышал о ней, даже не вспоминал. О домике случайно узнал от своего приятеля. Он постоянно здесь обитал в поисках хорошеньких женщин, отдыхающих. И до того примелькался, что администратор отеля перестала его пускать, назвав его развратником и негодяем. Тогда он присмотрел этот домик и водил любительниц острых ощущений сюда. Он говорил ему, что хибара эта никому не принадлежит – она ведь так далеко стоит от других роскошных построек... Он очень рад, что снова с ней встретился.

Как хотелось ей сейчас рассказать Артуру, что она совсем не такой человек, каким он ее представляет. Рассказать, как она уехала из дома с деньгами, которых хватило на билет всего лишь в один конец, и очень понимает всех нуждающихся. Что она, в сущности, одинокий человек, у нее никогда не было близкого друга, способного понять ее до конца, что у нее есть отец, о котором с пронзительной болью подумала сегодня утром, и что эта фотография...

Лора спрыгнула на землю, отошла на несколько шагов и повернулась к Артуру, точно решила еще раз посмотреть на него со стороны. Склонила голову набок и улыбнулась: нет, и все же она никак не может его припомнить. Но согласен ли добрый юноша принять ее приглашение на ужин? Ведь им есть, о чем поговорить...

Еще минута и она – честное слово – укатила бы куда-нибудь, из принципа. Мужчине не к лицу опаздывать. Ах, оставьте басни про свою занятость, можно подумать, у него отбоя нет от такого рода приглашений. Идемте наверх, я велела накрыть там. Старик напоследок вписал в завещание один пункт весьма пикантного содержания, – прощальный реверанс, вечный привет с того света, – что не каждого гостя она может смело принимать. Но в эту часть дома никто не смеет пройти. Поднимайтесь же. Вы знаете, у меня на крыше бассейн, не хотите после ужина искупаться? Руки можно помыть там. И проходите к столу. Я отдам кое-какие распоряжения и быстро вернусь.

Просторная полутемная комната, посредине уже накрытый стол с горящими свечами. Рояль, мягкий угловой диван, журнальный столик, одна стена увешана картинами, другая вся занята шкафом с книгами, на окнах плотно задвинутые жалюзи. Через овальную дверь комната выходит на террасу, за ней поблескивает от лунного света в бассейне вода... Так что же он не садится? Она надеется, что столь поздний ужин не окажется для него слишком тяжелым. Прошу вас, угощайтесь: салат из капусты и крабов, судак, запеченный с шампиньонами в соусе бешамель, котлеты из телячьих мозгов, куропатка тушенная в сметане, заяц по-французски, пломбир с вареными грушами и ореховыми печеньями. И вина. Открывайте же. Мне попрошу белого. Да, вот этот. И садитесь, не стойте. Признаюсь, к своему стыду я в последнее время много стала есть. Прямо наваждение какое-то. Доктор говорит, что это у меня нервное. И в самом деле, меня мучает какая-то неосознанная тревога. Как курильщик в волнении тянется за сигаретой, я тут же сажусь есть, стоит мне немного разволноваться. Если б не два часа в день усиленных занятий в спортзале, воображаю, что из меня получилось. И все-таки за два года я прибавила почти три килограмма. Перестаньте, вы мне просто льстите. Оставим эту тему.

Артур пьет за хозяйку дома. А я за тебя. Он приступает к рыбе – глупышка, ее не так едят, смеется. Он явно обиделся – что вы, просим нас извинить, мы этому делу в университетах не обучались, все у вас не как у людей: салфетку сюда, галстук туда. Проказник, откуда это, что-то знакомое, да и галстука у него нет. А он никогда его не носит, не терпит эту удавку на шее, – можно пододвинуть дичь, это на самом деле дичь или домашний кролик? Она же сказала: заяц, и куропатка настоящая. Так что: выпили?.. А вот она не терпит вызывающей небрежности в одежде так называемых свободных художников – прийти сюда в джинсах... – он наверняка себя к ним относит? Он к ним себя не относит (ну хотя бы котлеты, надеюсь, правильно ем), он к ним принадлежит. Правда, не представляет, кого она подразумевает под свободными художниками, для него этот термин довольно прозаический, объединяющий людей, которые свободны от всего и за душой ничего не имеют, кроме своего таланта. Бедненький, пусть же он позволит ей сделать ему подарок, и просит не отказываться – она считает себя обязанной отблагодарить его за фотографии. Он не знает даже что и ответить, лучше всего промолчит в знак согласия. Ха-ха, ей богу, он ей нравится, и велит ему непременно подстричься, ее раздражает эта прическа, – налей, пожалуйста, минеральную. А теперь пусть он скажет тост и перейдет, наконец, на "ты".

Перепробовав все блюда, Артур потягивается на стуле: так он ужинал в последний раз во дворце Людовика XV года четыре назад. Лора подходит к зеркалу на стене – врунишка, это не остроумно. Да нет же, он смотрел фильм и наелся глазами, при сильном воображении такое вполне возможно, его это не раз выручало. А вот у нее уже глазки заблестели, уверяет, это не от вина, просто ей давно не было так хорошо. И пусть не обольщается – это не в его адрес, просто у нее сегодня и в самом деле хорошее настроение. Кстати, их ждет еще бассейн. Ничто так не содействует пищеварению как водные процедуры – через полчаса он проголодается, как молодой волк. Согласен, но он не прихватил с собой купального костюма. Что он несет, на нем что: даже нет нижнего белья? Да есть, отчего же нет, только вот свойства этой нежной материи таковы, что при соприкосновении с водой она становится прозрачной. В таком случае не может его упрашивать, пусть решает сам, а вот она не откажет себе в удовольствии искупаться.

Лора исчезает за боковой дверью, которую Артур обнаруживает только теперь, – легкое нажатие на край книжного шкафа и он открывается. Она появляется через минуту в купальнике, снова восхищая его красотой своего тела. Однако: какие же у вас все-таки организмы! – не хами, проказник, и не смей больше произносить это слово, так ты не передумал? – пожалеешь, и прыгает в воду.

Через несколько минут, взяв со стола два подсвечника, Артур направляется к ней, выключает свет и расставляет их по краям бассейна. Раздевается. Лора подбирается к нему под водой, выныривает, брызгает на него – так и знала, что не удержится, а со свечами хорошо придумано. Зажав нос, прыгает около нее солдатиком, и первое непроизвольное движение – обнять ее. Что он, хочет ее утопить или это знаки особого к ней расположения? Ха-ха, зажатый нос и прыжок ногами вперед говорит о многом в его характере. И о чем же

конкретно, позвольте поинтересоваться? Да так, она не знаток в этой науке, но думает, за внешней уверенностью... да нет, ничего – она так пьяна, что не сможет выразить свою мысль до конца. Нет уж, виноваты-с, раз начали, будьте любезны... – отстань! – ах так, теперь ему точно придется ее утопить. Ныряет под воду, обхватывает ее ноги и слегка тянет вниз, она сопротивляется, смеясь, хватает за волосы, посмотрим: кто кого. Пользуясь моментом, он вминается губами в ее бедра, живот, отпускает, набирает воздух и снова ныряет под нее. Хватит, прекрати же, у нее нет больше сил бороться, сдаюсь.

Тяжело дыша, они выбираются из бассейна и направляются в комнату. Из-за книжного шкафа к нему летят полотенце и халат. Он облачается в халат, полотенце напяливает на голову и выходит на террасу... Ау, молодой человек, к нему можно выйти? Кстати, он может подсушить свой купальный костюм в ванной – там есть горячая батарея для сушки. Не могла сразу об этом сказать? Сожалеет, но он его выбросил – не в карман же его засовывать. Как? Куда? Да вон туда – за парапет, в общем, в сад, должно быть, застрял где-нибудь на дереве.

Умнее он ничего не мог придумать? Как все у них просто! Теперь она понимает, откуда и как у него появляются эти девочки – любительницы позировать обнаженными перед камерой. О, они, наверное, любят таких, как Артур, тоже простого, нахального и самоуверенного. Главное, этим девочкам перед ними не нужно быть загадочными, обаятельными, романтичными – теперь это не в ходу – каждая сторона получает свое без всяких церемоний.

Артур смеется, целует ей руку и усаживает за стол – виноват, исправлюсь, – а насчет молодого волка она была права. Вношу предложение попробовать вот это вино – прошу голосовать. Нет, ей только белое. А он почему-то падок на темные вина, и мудрено как-то оно называется – жаль, грамоте не обучен, ну да ладно. Наливает, да, кстати, хотел спросить: колонки он видит, а где сам музыкальный центр? В шкафу четвертая полка сверху, идешь по ней до второй дверцы и открываешь – здесь? – она же сказала: вторая дверца, оставь диск, который там стоит. Тихая мелодичная музыка наполняет комнату из четырех колонок, какая прелесть – саксофон, это же... не подсказывай, сейчас угадаю... Макс Грегер?.. Вот видишь.

Никогда ей не доводилось танцевать с кем-либо в халате – осторожно, ты наступишь мне на ногу, медведь. Ему тоже не приходилось, но, согласись, ведь это замечательно: тебя все время волнует догадка, что, кроме халата, осталось на твоем партнере? И против твоей воли воображение начинает исследовать... Так уж и против воли? Молодой человек, неужели женщине достаточно выпить с ним два бокала вина, чтобы позволить себе говорить ей такие пошлости? Он замешкался, снова извинился, замолчал.

Пауза затягивается, и Лора неожиданно для себя говорит, что тот-де не позволил бы себе такого по отношению к ней, хотя по части угадывания, какое на тебе нижнее белье (вспомнились бороздки под юбочкой в горошек), он тоже большой оригинал. Во всяком случае, никогда бы не сказал такого в лицо. Помилуй, да кто он, о ком это она? Лора смущенно улыбается – да так, один незнакомый поклонник. Понимаешь, пишет ей какие-то странные письма, надеется, что она поможет ему разобраться в самом себе, но обратного адреса почему-то не указывает. Наверное, у этого человека тяжелый период в жизни, у него проблема духовного порядка: он не знает, как дальше жить. Точнее, теперь он вроде бы решил, как ему жить, но еще не уверен в себе. Да что она рассказывает – может письма показать. Ведь Артур все равно не знает кто он, так что она имеет полное моральное право показать его письма. Ей интересно узнать, что он о нем думает. Они в этой книге, возьми вот почитай.

Артур садится на угловой диван, нога на ногу, включает бра – так-так, почерк изящный, как у девушки, он, по всей видимости, аккуратный до тошноты. Не в пример тебе, замечает Лора, прибирая на столе. И пока читал два письма, Артур произнес несколько нелестных реплик в адрес их автора, как то: "вот мошенник", "таких я в детстве убивал из рогатки", "нюня да и только", "да малый просто развратник", "тоже мне философ выискался".

Он небрежно бросает письма на журнальный столик и встает. Хочет ли Лора, чтобы он произнес вслух свое заключение? Допустим. Так вот: личность, надо признать, незаурядная, но слабая до невозможного. Такие, как он, не живут по-настоящему, а рефлектируют. Все их действия – только неосознанная реакция на раздражающую их жизнь. По сути, они – прохожие. Такие никогда не могут повлиять ни на что и ни на кого. Соотносить каждый свой

поступок с общественной моралью – удел слабых людей. А его затея вдруг стать сильным человеком – смешна до глупости.

Лора снова прячет письма в книгу и ставит ее на полку. Надо же, как легко и просто расписал человека. Да это всего-навсего обыкновенная человеческая ревность. Он понял, что она немного симпатизирует тому молодому человеку – и ревнует. Да нет же, он просто не любит таких людей. Артур подходит к ней, обнимает и пытается поцеловать. Она легонько его отстраняет – похоже, им пора расходиться. Спасибо, что составил компанию скучающей даме. Как говорится, тушим свет и уходим по одному.

Утром, еще лежа в постели, Лора вспоминает прошедший вечер. Напрасно обидела парня, надо было сделать то же самое, только по-другому. Для него естественным завершением вечера было – оказаться в ее постели. Сама виновата – не надо было давать повода. Да, она обещала ему сделать подарок. И в самом деле, как приятно было бы увидеть этого симпатичного парня в красивой одежде. Наверное, он не осознает, что давно стал солидным мужчиной. Может, и вправду дать ему немного денег, как говорится, пожертвовать на искусство. Она помнит, сколько было просителей к ее мужу. Все письма-прошения поддержать талантливых людей он разрывал при получении, говорил: бездельники, хотят попасть в дамки за чужой счет. Он был не прав, она поступит иначе. Она знала, какой подарок ему сделает, знала, как они проведут этот день, но – вопреки договоренности – он не появлялся.

Через два дня Лора увидела его мотоцикл у домика и направилась туда. Тук-тук - кто там? – почтальон, принес весточку от его знакомой. Подожди минутку –- за дверью суетливая возня, щелчки, что-то грохнулось на пол, черт побери! – можешь входить.

Он чем-то озабочен, предельно серьезен, сдержанно пожимает приветливо протянутую руку. Ах он проказник, выдержал-таки два дня, предоставил ей возможность помучить себя за тот вечер, когда отправила Артура домой среди ночи. Наверняка он намеревался у нее остаться. Пусть скажет честно: поэтому он не появлялся? Обиделся? Да нет же, с чего она взяла. Просто ему предстоит сейчас огромная работа. Многое из того, что он хотел показать на выставке – никуда не годится. Некоторые из его работ при разных сюжетах сделаны одним методом, он повторяется. Нужны, что называется, новые формы. Что ж делать, таков удел художника – быть вечно недовольным своими творениями. Это, конечно, похвальная черта, но она все-таки позволит себе украсть у него сегодняшний день. Допустим, в пять часов на площади Согласия его устроит? Там есть маленький кафетерий на углу. Хорошо? Она сама подъедет и заберет его.

Сначала они едут в магазин выбирать костюм для Артура. Лора в джинсах, легкой спортивной курточке и узеньких черных очках – пропустил бы даму вперед, тоже мне кавалер. И пусть запомнит: он будет на показе именно в том костюме, который выберет она. Ему, право же, неудобно – но ведь они же договорились, – хорошо, уговорила, но за конфеты, мороженое и карусель платит он. Ха-ха, согласна, теперь направо, вон в тот отдел. Девушка, будьте добры, снимите для моего брата вон тот костюм, нет, в мелкую полоску, четвертый во втором ряду. Артур оглядывается по сторонам и обнимает Лору за талию – так, стало быть, я брат, говоришь. Пусти, проказник, кругом люди. Спасибо, девушка. Иди, примеряй, как раз, твой размер. Нет уж, сестренка, изволь пройти со мной в кабинку, оценишь по-родственному, как сидит на мне твой подарок ко дню рождения. Не так громко, ну что он расшумелся на весь зал, хорошо – пусть только не кричит – она будет стоять рядом.

Артур кряхтит за ширмой, что-то напевает себе под нос, – думаю, великолепно, зайди, посмотри. Не успела она ступить в кабину, как Артур крепко ее обнял и стал целовать. Только приближающиеся шаги продавщицы отдела заставили его отпустить Лору. Она рекомендует посмотреть еще один костюм, при покупке двух и более вещей в их магазине предусмотрены значительные скидки. Артур раздражен – нет, спасибо, они уже выбрали.

Когда уходили, он достал из кармана голубой шарик с замысловатым рисунком, надул его до невероятных размеров и вручил продавщице. Она приняла подарок с милой улыбкой и пригласила еще раз посетить их магазин. И только Лора заметила, какой пикантный рисунок вырос на шарике. Она закрыла ладонью лицо, и оба, давясь от смеха, выскочили на улицу. В машине она предложила опустить конфеты-карусели-мороженое, ограничившись букетом

цветов для нее, и пригласила на свою квартиру в центре города – здесь, недалеко. Артур чуть было не сказал: да, я знаю.

Второй этаж направо, заходи, зажигается свет в холе – да, живут же люди. Он как дикий зверь чувствует присутствие вблизи человека, и может поспорить, что сюда не ступала нога человека, как минимум, недели две. Больше, малыш, – месяц, проходи же, мой дикий зверь. Но беда, если за долгим отсутствием человека в здешнем холодильнике не найдется ничего съестного – у него внутри пусто, как в засохшем колодце. Он не очень-то внимателен, – об этом она позаботилась, – неужели не замечает в ее руке огромный пакет. Великолепно! И поскольку не бывает скоропортящихся вин, то подозревает, что и этого добра здесь найдется в избытке. Угадал, пусть располагается, а она сейчас вернется. Э нет, он тоже хочет под душ, на него тоже, как ни странно, действует жара. Она сожалеет, в лучшем случае может предложить только очередность. И в самом деле, жаль, да делать нечего, придется заняться пакетом и добыть вина. Оно в баре, а в холодильнике, как он понимает, есть похолоднее. И пусть поставит музыку, если угадает ее любимый диск – Артура ожидает приз-сюрприз.

При входе в гостиную она остановилась, так и осталась стоять на пороге. Артур расположил содержимое пакета на столе и ел, ходя вокруг него. Он проглотил остаток салата из кальмаров и виновато глянул на Лору. Извини, не удержался, но к вину не прикоснулся, ее ждал. Да нет, она совсем не из-за этого. Как он угадал ее любимую мелодию? Ах, вот оно что. Да он и не гадал вовсе. Шутка ли гадать среди пяти десятков дисков на полке. Все очень просто: он, помятуя о прошлом вечере, оставил диск, что был на магнитофоне. Ведь женщины не очень-то грешат разнообразием в музыке. Если им что полюбилось, то слушают его, пардон, до отвращения. И сразу понял, что она любитель инструментальной музыки. Там Макс Грегер, здесь Джеймс Ласт. А из концерта Джеймса Ласта самая знаменитая и любимая всеми – мелодия из кинофильма "Однажды в Америке". Его метод, как она убедилась, весьма прост, но не думает же она по этой причине лишать его вполне заслуженного сюрприза? Почему она так смотрит? – Да нет, ничего.

Влажный, с капельками воды на шее и груди он подсел к ней – надень рубашку, когда садишься за стол. А вино, к его сведению, никогда не наполняют до краев, ваше здоровье. Теперь я за тобой поухаживаю, подай тарелочку и вилку, а ты тем временем можешь немного рассказать о себе. Рассказывать, в общем-то, нечего. Биография, как говорится, в две строчки: учился-не-доучился, пытался-не-вышло, знал-забыл. Теперь... это вино превосходное, в холодном виде оно становится густым и вязким. А почему она снова оделась? В тесных джинсах не расслабишься, не отдохнешь. Или они уже уходят, не прикончив сей экзотический обед? Нет, почему же? Просто, танцев в халате сегодня не будет. Понял, вас понял... как слышно, прием.

А так и в самом деле здорово: она затемнила окна и не поймешь, день сейчас или ночь, и только слабый свет ночника позволяет разглядеть смутные очертания ее и комнаты. Она сидит напротив и в данный момент тебе больше всего на свете хочется поцеловать ее округлые колени. Но она уже натянула штаны и тебе ничего не светит. Это что, мысли вслух или конкретное предложение? Если второе, то должна его разочаровать. Тогда выпьем еще, а разочаровывать – дело нехитрое, очаровывать – гораздо труднее.

Лора направляется к полке с книгами, бессмысленно достает и снова их задвигает – тогда, надо полагать, она уже его очаровала. Да, черт возьми, но, видимо, ей доставляет удовольствие мучить его, давая понять, кто он и чего стоит на самом деле. Нет, совсем нет, Артур. Тогда ему не понятно, что он здесь делает. Лора сама не знает, ей самой трудно понять, что с ней происходит. Вероятно, ей потребуется время, чтобы осмыслить свое новое положение...

Артур стоит за спиной, она чувствует его дыхание, он убирает волосы и целует в шею. Она вздрагивает, – что с тобой, нежная и удивительная? – ее приятно обжигает горячая волна в груди, – ты знаешь, Артур, у меня давно этого не было, тебе не понять. Чего?.. ах да... На ключе, вставленном в замочек шкафа, уже висит ее блуза, невидимые руки сзади исследуют ее тело, оставляя горящие следы. Вот они уже вызволяют неподатливую пуговицу из узкой петли штанов, с мучительно-сладкой медлительностью спускают молнию, а воображение невольно отсчитывает в нетерпении каждое звено. Он берет ее на руки, куда-то несет – не хочется

открывать глаза – и, лежа на тахте, чувствует, как Артур снимает с нее джинсы, осыпая поцелуями беззащитно обнажающиеся ноги. Она удивительным образом потеряла способность говорить, двигаться, казалось, ее одновременно стали обнимать сотни рук, и странно было слышать свое дыхание, неглубокое и прерывистое, безудержно переходящее в стон...

Возьми свой бокал, осторожно, приподнимись, разольешь ведь, извини, я забыл, что не принято наполнять до краев. Она выпивает залпом – в горле пересохло. У меня тоже, скажи, Лора, сюрприз мне предназначался за угаданную мелодию? Представь себе, да! А вот в придачу – взмывает вверх рука, и удар ладони приходится ему по самое ухо...

Это у нее давнишняя привычка – садится перед зеркалом и разговаривает сама с собой. Почему у нее всегда получается так: начинает разбираться в человеке после того, как "это" уже произошло. Нет, она не сожалеет о случившемся, но тот ли Артур человек, который ей нужен. Особенно смущает одно обстоятельство: уж больно легко он получает от нее все, что хочет. А сегодня она обещала перевести на его личный счет спонсорские деньги, сумма небольшая – и все же. Самое интересное, предложение о помощи последовало от Лоры. Вернее, он так искусно подвел ее к этому, что ей ничего не оставалось, кроме как выразить согласие помогать молодому таланту в меру своих возможностей, добавив, что такая мысль пришла ей в голову задолго до того, как Артур об этом заговорил. Думая об этом, она машинально вывела на зеркале помадой "хитрый обольститель", но когда услышала за дверью приближающиеся шаги, опомнившись, мигом стерла бумажной салфеткой.

Ей подали всего лишь одно-единственное письмо – и это все на сегодня? Нет, обычно дневную почту, как она знает, доставляют в половине двенадцатого, а его привез какой-то мальчик на велосипеде. Просили, мол, передать и все. Что с него возьмешь? Конверт был подписан знакомым почерком.

С первых же строк Лора поняла, что это прощальное письмо Феликса. Обычно так пишут отвергнутые поклонники: благородно приносят свои извинения за назойливость, за ожидание надежды на взаимность, желают счастья и, прощаясь, обещают уехать далеко и больше никогда не попадаться на глаза. При этом не упускают возможности заронить в своей возлюбленной легкую грусть и сожаление о них – вполне возможно, что их всего-навсего не до конца узнали. Но это из старинных романов, которые Лора читала в юности, в случае с Феликсом все было немного по-другому.

Он не пытался оставить о себе впечатления и с горечью признавал свое полное поражение. Получилось у него, как и было задумано: он сумел разъединить два живущих в нем человека. Возможно, именно в этом и заключалась его ошибка. Слабого в себе надо было подавить, уничтожить, а он остался в нем неумолимым судьей и свидетелем поступков другого.

Другой же, обретя желанную свободу действий, начал быстро и удобно устраиваться в жизни. Как легко стало преодолевать запреты, как же было ясно теперь, что причина любого неуспеха таилась в том, от которого он пытался убежать и скрыться навсегда.

Но убежать не получалось, каждую ночь они вынуждены были оставаться наедине. Они словно бы садились друг против друга и безмолвно разговаривали. Первый не мог не заметить и не осудить того, что его двойник стал понемногу обрастать ложью. Во всем, что бы он ни говорил, трудно было не уловить фальши. И каждый раз он мучительно переживал свое родство с этим маленьким и подленьким существом, мнившим себя победителем. Претензии и нападки второй отражал одним неизменным аргументом: надо жить в согласии с природой, в которой ни одно создание не делает ничего такого, что затруднило бы ему существование. Отсюда, если угодно, следует все остальное.

Подобные споры в Феликсе могли бы происходить до бесконечности, если бы он вдруг не почувствовал, что душа его (или суть, корень того, что именуется Феликсом) не приняла сторону одного из них. Обладателем главного свойства стал первый, именно тот, от которого назначено было избавиться. Он теперь смотрит на другого как на чужого, и отчетливо осознает, что им никогда уже не сойтись. Но так же ясно понимает, что с чистой душой, оставшейся без защиты, ему не прожить в мире. Ведь только присутствие другого помогало

ему хоть как-то здесь устроиться. Теперь ему будет не хватать этой маленькой доли безобидного лицемерия, которая помогала растворяться среди людей. Такой он понадобится разве что одному Богу. Он должен уйти навсегда. И только так он сможет избавить мир от своего двойника, по горькому недоразумению выпущенного на свет.

Совершенно очевидно, что он никогда ей больше не напишет. Лишь по одной причине он не указал своего адреса ни в одном из писем: ему было бы больно и обидно, если б они остались без ответа. А так он может утешать себя мыслью, что она заинтересовалась им и хотела бы ответить, но возможности такой лишена.

На этом письмо заканчивалось. Ни слов прощания, ни пожелания. Правда, были две попытки продолжить его, но оба предложения, остававшиеся, по-видимому, незаконченными, были густо замазаны чернилами. Лишь начальную фразу второго, затушеванную небрежно, Лоре удалось разобрать: "Вчера я вид...". Вероятно, он увидел ее вместе с Артуром.

И что значит: "Такой я понадоблюсь разве что одному Богу". Что он задумал? Уж не самое ли страшное он замыслил? Но как она может ему помочь? Где найдет его? Если ему и может кто-то помочь, так это, наверное, только она. Ведь к ней были обращены его сокровенные письма. От нее он ждал поддержки и понимания в трудные свои минуты. Он хотел только ее участия в своей судьбе. Какое, должно быть, разочарование он испытал, когда увидел ее с Артуром. Он наверняка все понял. Но, так или иначе, его нельзя оставлять наедине с собой. Надо что-то делать.

С Артуром она встретилась днем. Увидев ее автомобиль, он неторопливо, вразвалочку (ни дать, ни взять – пижон) пересек дорогу и подсел к ней. Перегнувшись через переключатель скоростей, он поцеловал Лору в щеку, и такая вольность с его стороны почему-то показалась ей чрезмерной. Непонятно почему, сейчас он ее сильно раздражал. Кстати, деньги, должно быть, уже поступили на его личный счет, вот копия платежного поручения на случай чего. О, мерси, мадам! Он даже не представляет себе, как и чем сможет отблагодарить ее за такую помощь. Впрочем, есть обнадеживающие новости: один известный журнал предложил публиковать его фотографии на своих страницах. Подумать только, ведь месяц назад он никому не был известен. Что ж, она поздравляет. А благодарности ей не нужны, пусть только не забудет ее, когда станет всемирно известным. Ха-ха, ее бы устами...

Она достает из сумочки последнее письмо Феликса и протягивает ему, прочти. Может, он разберется, в чем тут дело. Она уже ничего не понимает, запуталась окончательно. Ее не покидает ощущение, что этот человек в опасности. И, как ни странно, ее начала преследовать бредовая мысль, что она в чем-то виновата перед ним. Нет, пусть Артур не подумает, что из-за него она боится быть втянутой в какую-то историю. Совсем не поэтому. Может ли он себе представить, что этот незнакомый человек сегодня утром стал ей очень близок и дорог. Нет, ему трудно будет это понять, пусть читает и не смотрит на нее так.

Глаза Артура рассеянно скользят по строчкам, кажется, какая-то важная мысль, которую ему необходимо сейчас высказать, мешает сосредоточиться. Но стоит ему на миг отвести глаза от письма, Лора тут же подстегивает: читай же, читай. И когда Артур закончил, стало заметно, как он совершает над собой усилие, чтобы скрыть растерянность.

Понемногу, в выжидательном молчании обоих, оно приобретает у него прежнее выражение. Он самодовольно улыбается, расслабляет скованные в напряжении плечи и облегченно откидывается на спинку сиденья. Бог с ней, неужели этот мерзляк мог ее чем-то взволновать. Это жалкое существо не может заинтересовать ни одну женщину, тем более такую, как она. Ведь он слабак и нытик, в чем даже сам признается. Хоть в одном он проявил мужество – честно признался, что не место ему здесь. Ему бы остаться последовательным до конца и красиво удавиться, хотя какая в этом к черту красота. Может поверить: этот малый уже лежит покойником в той лодке, которая далеко от берега, и никогда ему не оказаться в другой. И чайка уже не поможет, она просто-напросто никому не помогает...

Лора в ярости выхватывает из его рук письмо и прячет обратно в сумку. Пусть Артур убирается, пусть уходит и больше не появляется никогда. Он получил от нее все, чего хотел, и даже больше того. И еще: она никак не может понять, почему, когда смотрит на него, то не видит его глаз, не может уловить их взгляда. А с тем она никогда не встречалась, но его глаза отчетливо представляет. А теперь – пусть уходит.

Как только Лора развернула машину, ее внезапно обожгла мысль: в одной из вчерашних газет, в колонке "прочие происшествия" была заметка о самоубийстве молодого человека, прыгнувшего с моста Ангелов (ироничное название, данное людьми ввиду особого пристрастия к нему желающих свести счеты с жизнью) – вдруг он и есть Феликс. Не может быть, ведь она только утром получила от него письмо. Хотя это еще ничего не значит – он мог попросить доставить письмо по назначению через несколько дней после своей... Да, все склоняется к худшему, к тому же он и в письме намекнул, что должен уйти навсегда. А тут еще Артур: "Можешь поверить: этот малый уже лежит покойником...". Тогда она заметку не дочитала – Лора не любит новостей подобного рода. Сейчас нужно остановиться у ближайшего газетного киоска и купить этот номер. Здравствуйте, будьте добры, вчерашнюю "вечерку", спасибо, вот эта колонка, на седьмой странице.

Сообщалось, что труп еще не найден и личность пострадавшего не установлена. Случайный свидетель данного происшествия, пожелавший остаться неизвестным, позвонил в полицию и сказал, что этого юношу он несколько раз видел выходящим из дома номер 19 на набережной. При опросе жильцов дома установлено, что действительно некая М., квартиросдатчица, неделю назад пустила на проживание студента Ф. Документов его она не видела, на просьбу показать их он, якобы, ответил, что они с вещами и скоро их перевезет. Хозяйке квартиры он не заплатил вперед (как она обычно требовала), обещав это сделать после получения стипендии, и, прожив у нее два дня, куда-то исчез.

Полиция пустилась в поиски и, проверив учащихся всех учебных заведений города с аналогичным, как у пострадавшего, именем, установила, что все они пребывают в добром здравии, с моста не прыгали и прыгать не собираются, а также никогда не снимали квартиру в доме под номером 19 на набережной. Газета не упустила случая поиздеваться над следственным отделом полиции, предлагая искать Ф. среди погибших, а не среди "пребывающих в добром здравии". Советовали прочесать русло реки, но тут же выносилось неутешительное заключение, что останки несчастного, по-видимому, давно унесены в море.

Лора поехала на набережную к тому дому, ставшему за день знаменитым, без труда нашла нужную квартиру и позвонила в дверь. За дверью тут же посыпалась брань старушки в адрес побеспокоившего ее в очередной раз посетителя. Надо полагать, за истекшие сутки ее успели хорошенько достать. Лора представилась сестрой Феликса и хотела бы с ней переговорить кое о чем. Всякие тут уже побывали – и сестры, и любовницы, и братья, сами не знают, кого ищут. Житья от них не стало, и ей не откроет. Тогда Лора сказала, что так или иначе она хотела бы расплатиться за брата. Сколько она должна? Щелкнул замок, и дверь приоткрылась насколько позволяла цепочка. Вообще-то она берет сразу за месяц вперед, а сколько из них постоялец у нее пробудет, два дня или неделю – его дело. Лора дала больше требуемой суммы в надежде немного разговорить старушку. Но, забыв, что представилась сестрой Феликса, попросила описать ей какой он из себя, чем вызвала подозрение его бывшей хозяйки. Она быстро захлопнула дверь и уже за нею сказала: как же она не знает своего братца, стыдно должно быть так проникать в чужую квартиру. А деньги получила заслуженно, и отдавать не собирается, она должна платить налоги за содержание у себя жильцов.

Лоре ничего не оставалось, как уехать – не имеет смысла беспокоить старушку, если его уже нет в живых. Да и много ли она могла о нем рассказать? К тому же ни вещей его, ни фотографий в квартире не было. И что она хотела узнать о нем? Какая-то нелепая игра с письмами молодого человека, себя убившего. Почему? За что? Теперь все это не имеет значения. Дорога и встречные машины размывались от неудержимо выступающих слез. Надо свернуть здесь налево, съехать к пустынному пляжу и выплакаться вволю.

На этом история, которую ты рассказываешь сам себе, заканчивается. Наступает скучный момент, когда усталые герои, честно исполнив свою работу, разбредаются кто куда. Управляющий отдает последние распоряжения, рабочие неохотно разбирают декорации, мирные отдыхающие Лориного городка, оставшиеся невидимыми и неслышимыми по вине рассказчика, с грустью пакуют чемоданы и укрепляют их на багажниках своих автомобилей. Скоро и сам опустевший городок как бы незаметно разрушается и исчезает с морского побережья.

История могла бы иметь продолжение, если бы Лора знала, что знаешь ты. А именно... Впрочем, предоставляю ей самой во всем разобраться.

Мухамед ЕМКУЖЕВ

Мухамед Емкужев родился в селении В-Куркужин, Кабардино-Балкарии в 1955 году. Публиковался в местной печати, в журнале «Литературная Кабардино-Балкария». Учился в Кабардино-Балкарском гос. университете на инженер-строителя. Был художником-исполнителем мозаичных работ. Закончил Литературный институт им. Горького в 1985 году (творческий руководитель – А.Е. Рекемчук). Живет в Нальчике. Автор романа «Всемирный потоп», ряда рассказов и романа «И бог воззовет прошедшее» (отрывки печатались в местной печати, не закончен). Член Союза писателей России. Отрывки из романа «Ночь Кадара, или Который справа» напечатаны в Антологии писателей России, а также в Антологии писателей Северного Кавказа.

Ночь Кадара, или который справа

Отрывок из романа

– Нана[1], ты не спишь?
– Как можно, сынок, ведь сегодня – Ночь Кадара.
– А можно, и я не буду спать?
– Не надо, ты еще мал. Не спеши. И не волнуйся, мой мальчик,
Ночь Кадара бывает в жизни каждого человека, будет и в твоей...

Из разговора матери с сыном

Загреш Батоко, пастух по рождению, а возможно, и по призванию, сухонький, не старый еще человек, немного ворчун, в той же мере и скептик, унаследовал от своего отца, Асчэрбия, не Бог весть что: двух в меру упитанных коровенок и одного теленка на двоих. Одна из них, нетель, по неопытности и недогляду Загреша разродилась мертвым теленком. Другой теленок, хоть и появился на свет скотиной, да не стал ею по поведению, как нельзя лучше являя собой наглядное подтверждение известной поговорки, то есть смиренно и жадно сосал обеих.

И как довесок или приложение к ним, кому как видится, лошадку, славную во всей округе двумя особенностями: крайней сонливостью – да такой, что умудрялась посапывать на ходу, под седлом – и чрезмерной лохматостью. Если о ту пору нашелся человек, который шепнул бы Загрешу, что некогда, очень давно, землю топтали мамонты, такие же шерстяные, как и его лошадка, тот бы сильно обрадовался. По той простой причине, что все эти годы мучился и не знал, куда и к кому возвести ее родословную. С того дня гордился бы, относился бы к ней бережнее и не вытворял ничего непотребного. Но поскольку ни среди своих, равно среди чужих такого доброхота не могло быть о ту пору, то и Загрешу гордиться пока не с чего. Естественно было бы предположить, что ее лохматость простирается от влажных губ до кончика хвоста, однако это не так.

Когда-то Загреш, озаботившись ее сноровкой, а вернее полным отсутствием таковой (как же, медлительность от предков досталась), не придумал ничего лучшего, как отхватить лошадке хвост почти под самый корешок. Мотивируя это тем соображением, что, дескать, собаки от подобных экзекуций звереют пуще прежнего – отчего же в таком разе и ей не прибавить прыти и резвости. Хвост почему-то заново не отрос, а лошадка после этого – от обиды, наверное, – впала в еще большую апатию и в знойный полдень, когда сатанеют мухи, даже и не двинет тем обрубком, оставшимся от щедрот хозяина, дабы отмахнуться от них.

Иной человек при виде Загреша, усердно размахивающего хлыстом, решит по наивности и простоте душевной, что тот нахлестывает коня, спеша куда-то. Кабы так! Ему ли, Загрешу,

[1] Обращение к матери.

не знать, что никакими уловками, а тем более побоями не ускорить его ход – он попросту отбивается от наседавшей мошкары, чтобы хоть этим искупить свою вину перед ним.

Первым в роду Батоко пастухом стал Магий, дед Загреша. Надобно сказать, в то время это не было уделом последних, ни на что другое не годных людей. Тогда не то, что нынче. Желающих поживиться чужим скотом, избив при этом пастуха или и вовсе отправив его на вечнозеленые луга, хватало. Поэтому, помимо желания, требовалось наличие известной доли отваги и сил. Должно быть, Магий в какой-то мере отвечал всем этим требованиям. Пока не свыкся, не было дня, чтоб он не пожалел, а обвыкши, успокоился.

Так что он за долгую жизнь не только насмотрелся много чего со стороны, но и испытать пришлось немало на дубленой шкуре своей. Когда же в один из ненастных дней почувствовал, что ему лень выйти из временного укрытия и завернуть отбившуюся скотину, что вместо этого предпочел бы сидеть у очага, вытянув к огню ноги, то решил: с него достаточно. Назавтра ни свет ни заря он разбудил Асчэрбия, ткнув ему под ребра черенок бича, и сказал: время вышло. Затем молча вручил все тот же бич с рукояткой из боярышника, навесил ему на плечо котомку с едой и отправил в холмы. Нисколько не сомневаясь, что тот справится, благо не раз ходил у него в подпасках. Асчэрбий потом не раз думал над теми словами, все хотел понять, что хотел старик сказать ими, пока спустя годы, оказавшись в схожей ситуации, не повторил то же самое своему сыну.

Проводив сына, старик вернулся в дом и присел на один из камней, которыми обложен очаг. Огонек в нем уже трещал вовсю. Жена и невестка хлопотали по хозяйству. В глубине комнаты, за пологом, безмятежно спал внук Загреш.

«Каждый имеет свой срок, и было бы глупо забывать об этом и огорчаться по поводу того, что твой вышел. Это происходит со всеми, отныне мое место у теплого очага, а дело мое – ворошить золу...».

Немало дум передумал Магий в то утро, засидевшись на нагретом камне. Не раз его взор устремлялся туда, на холмы. Однако вряд ли ему в голову хоть раз пришла мысль, что, уступив сыну свое место, он тем самым заложил другой камень под основание славной династии пастухов. Крепок и массивен был тот камень. Династия, ни разу не прервавшись, протянется через века.

В подобном неведении пребывал и Загреш, со смирением, в котором было больше безысходности, нежели благодарности, принявший в свою очередь из рук отца тот самый кнут, который ему по заведенному обычаю предстояло обновить и нарастить.

Однажды, кажется, за неделю до того, как вернуть одолженную душу Богу, отец кивком головы остановил сына у загона. Загреш, непонятно с чего, питающий надежду еще на что-то, скрываемое давно от взора соседей, весь напрягся, всем своим видом выражая крайнюю почтительность, а в душе испытывая такую же искреннюю благодарность родителю. Сыновья кротость не ввела Асчэрбия в заблуждение, да и огонек, блеснувший неосторожно из-под ресниц отпрыска, должно быть, его насторожил, впрочем, все это лишь догадки. Словом, ничего такого, от чего бы разыгралось воображение, Загреш тогда не услышал.

Отведя взор и смущаясь скудости наследства, отец обронил одну лишь фразу: как знать, может, тебе больше повезет в жизни... пусть. Стоило ли так стараться?!

Простые эти слов, давшиеся отцу с таким трудом, произвели в душе Загреша такое же волнение, какое бывает, когда на озерную гладь падает оброненное неряхой-птицей перышко. Он был немало разочарован. Уходя в дом, сутулился от огорчения. Отец же это расценил по-своему: нелегка ноша ответственности. И в этом случае понадобится немало лет, прежде чем Загреш оценит их по достоинству, чтоб вручить сыну с не меньшей искренностью неизменное отцово наследство – надежду.

Надежда не сбылась, счастье только криво усмехнулось.

Как не тщился он все эти годы, ничего весомее к тому, что было, Загреш не добавил, чтобы облегчить тем самым участь своего отпрыска, кроме годами определенного маршрута выпаса, где ему знакома каждая кочка и былинка, да привычки ежедневно взирать на сельчан с одного из холмов.

Он и сейчас там, полулежит на разостланной бурке, все из того же наследства, подперев рукой голову, под сенью лошадки – его излюбленная поза, ему так сподручнее, привычнее возноситься мыслями в заоблачные выси или, низведя взор долу, анализировать увиденное.

Каждому свое: кому плетень широкий и дом высокий, а кому две хворостины – одна для себя, чтобы опереться на старости лет, другая – для хибары с той же целью, и ничего ты с этим не поделаешь. Тужась, не затянешь ремень, разве что пупок развяжешь. Орех на яйце не уместишь, не дождешься от ивы плодов, как ты ее не поливай. Старая, как свет, истина, открытая им вновь на склоне лет, многое объясняет в положении Загреша, и, пожалуй, это единственное приобретение на окрестных холмах, которыми он по-настоящему дорожит. Что в ней ценного, людям невдомек; оно и понятно, куда им, муравьям, копошащимся у него под ногами, до его высот, у них, поди, другие ценности и иные приобретения...

За многие годы наблюдения Загреш так изучил уклад и привычки своих односельчан наряду с повадками своих подопечных, что нет, наверное, вопроса, на который он не дал бы исчерпывающего ответа.

Ему известно, кто и когда встает. Сам поднимается в такую рань, что у местных петухов со стыда пунцовеют пуще обычного гребешки, и на рассвете они не так голосисты, как в иные часы.

Он видит, как сельская сваха и сплетница Науца выходит на промысел, и далее зрит, куда и в чей дом навострилась. Он слышит с того далека, как одна из куриц Дахапс снесла в картофельной ботве обыкновенное яйцо, однако ж голосит о нем, словно о золотом.

Это что! Послушать его, так он способен оттуда, с холмов, отличить по аромату хлеб тетушки Канаху от остальных. Еще с детства помнит его, узнает по аппетитной корочке. Мыслимо ли такое? Впрочем, почему бы и нет, пожимают плечами сельчане.

Загреш – ангел правого плеча и ангел левого[1] в едином лице, и сельчанам это известно доподлинно, они не делают, стараются не совершать ничего предосудительного в дневное время, о чем придется потом пожалеть, и тихо радуются тому, что коровы не лошади и потому нет нужды выпасать их ночью...

Четвертая неделя на исходе, как на селе держат уразу. Нынче Ночь Кадара[2] выпала на Святой Четверг[3]. Получается двойной праздник. Известно, как он пройдет. До полуночи отмолят у всевышнего грехи своих умерших. На исходе Четверга – примутся за собственные, а дальше, как водится, испросят дополнительных благ и милостей. Причем не на всю оставшуюся жизнь, надо и приличие соблюсти, да и грешно так далеко замахиваться. Год прожить без забот и печали – и то ладно. Из боязни прогневить Бога неумеренностью, люди скромны по привычке. И так из года в год, когда – напомнят робко о неудовлетворенных амбициях, прости господи, просьбах, всячески страшась выказать обиду. Когда – с трепетом и дрожью льстят себе и впредь надеждой на подобную благосклонность.

От такого совпадения и редкой удачи люди млеют в благоговении. Одни ходят как потерянные и глядят под ноги – как бы ненароком не наступить на свое счастье, другие, напротив, возбуждены и по сторонам озираются – не иначе как удача окликает их. И те и другие одинаково озабочены и учтивы со всеми встречными: кто их знает, вдруг да не забыли давешнюю обиду и ночью в молитвах припомнят некстати.

Исходя из этого, женщины стараются кто во что горазд: жарят лакумы, пекут чуреки во славу и упокой умерших и обносят соседей и немощных, попутно втайне уповая, что их усердие как-нибудь да зачтется им в будущем, на том свете.

С утра детвора с сапетками прошлась по склонам, подбирая вчистую сухие коровьи лепешки. И дым кизячный, смешиваясь с жертвенным, возносит до него и дальше запах и тепло домашнего очага, а с ними осознание, что жизнь как-то незаметно катится к закату, и мысль невеселая нет-нет да и зароится в голове: когда-то искупительный дымок по его душу дополнит гряду облаков над Тхаруко Гедеш[4].

---

[1] Считается, что человека всю его жизнь сопровождают два ангела. Ангел, сидящий на правом плече, записывает его добрые дела, ангел левого плеча – недобрые. И тот и другой – бесстрастны.

[2] Ночь Кадара. Она выпадает на последнюю неделю уразы. По-иному называется Ночью Предопределения. В эту ночь Бог спускается ближе всего к земле, чтобы выслушать мольбы людей и заново определить им судьбы. Ночь, когда человек как бы подводит итоги предыдущей жизни и, соразмеряясь с ними, строит свою дальнейшую жизнь. Ее должно провести в бдении и молитвах, как искупительных, так и в новых мольбах.

[3] Каждый четверг месяца Рамадан, когда держат уразу, считается святым.

[4] Скала, дословно – Голубиная обитель.

Вечерело. Стадо только и ждет его окрика, а некоторые коровы столь нетерпеливы и любознательны, что похаживают вокруг да около и посматривают на него: чего это он сегодня мешкает?

Год выдался каким-то несуразным и на редкость знойным. Жаркое солнце давно все окрест иссушило. Понять скотину нетрудно и нужно. Они так намаялись в бесплодных поисках пучка зеленой травы, что готовы хоть когда отправиться домой, какая им разница, где бить мух: на холмах ли или внизу, в хлевах?

Это от безысходности люди обманываются тем, что коровы должны за долгий день наесться. Загрешу горько видеть надежду утром в глазах у женщин, а вечером – ощущать на себе укоризненные взгляды, словно он виноват, что и на сей раз вымя у коров не как груди у молодухи, а обвисшие и дряблые, как у старухи, – даром что не слипаются.

Они, наверное, думают, хоронясь в прохладе беленых домиков, что ему по сердцу деньденьской жариться на солнцепеке, где самая большая тень – та, что отбрасывает его лошадка. Да и сам, поди, не слепой, видит, что люди извелись не меньше скота.

Многодневные процессии по селу с наряженной Хъанцигуащей[1] мало что дали. За все лето, может, пару раз что-то капало с неба, и оба раза это было больше похоже не на дождь, а на слезы невестки по «безвременно» ушедшей свекрови. И если бы не мысли о каре небесной, неизвестно во что бы вылилось людское отчаяние.

Всеобщая беда сблизила сельчан, будет, о чем нынче напомнить Богу.

Словом, пусть себе пялятся на него коровы и трубят призывно, как в день Ахъырзэмана[2], он не стронется с места, покуда женщины не управятся с жьэрымой[3].

Внезапный порыв ветра отвлек Загреша от раздумий. Ветер дул в затылок. Потеряв всякий интерес ко всему, что творилось в селе, и в то же время боясь ошибиться, он медленно повернулся в сторону гор. От увиденного перехватило дыхание. Вся линия горизонта была сплошь затянута тучами, они уже достигли Тхаруко Гедеш, а от нее до села рукой подать.

Бог вспомнил о них, услышал-таки молитвы, и через час-другой над холмами, да и над селом прольется вымоленный дождь, если только ветер не переменится.

К счастью, непохоже на то. «Прости, господи, за дерзость, но эти тучи непременно должны разродиться над этими холмами». Ведь как было нынче летом: и гром слышали, и молнии видели, только вот вдалеке от земель родного села.

Внизу, в селе расшумелись, разлетались вороны. То черной волной взмывают до высот, то, опадая внезапно, облепляют ветви высоких акаций.

Пастух Загреш скромен, немногословен, как человек, большая часть жизни которого прошла в одиночестве на холмах, он не скажет ничего такого, что можно потом подвергнуть сомнению. Загреш – не Науца, чьи слова верны, как лед в апреле. Если он скажет потом когда-то, что этот дождь – его заслуга, а, скорее всего, так оно и будет, лучше с ним не спорить и принять это за истину. Кто, как не он, находясь ежедневно на холмах, более всего близок к Богу? Вот и получается, что от него, а не от кого-то другого всевышний услышал про засуху. Трудно не поверить человеку, о котором известно, что он знает нечто такое, о чем ты хотел бы забыть.

Это местный мулла может прийти от его слов в сильное волнение – разве у него меньше заслуг и мозолей на коленках?!

Иной человек, да тот же мулла, повел бы себя подобающе, потребовал бы дополнительных подношений, загордился бы. Загреш не из той породы, он не станет требовать себе благ, зная наперед, что не дождется их от сельчан, с него достаточно, если люди на словах признают его заслуги. С осознанием исполненного долга он встает, не спеша поднимает с земли видавшую виды бурку и, прежде чем отряхнуть ее, обводит просветленным взором стадо свое: с какого края завернуть?

Долгожданное тем приятнее, что оно приходит внезапно, когда и надежды-то с дырявый карман. Так и Загреш все стоял и глазел на далекие тучи, любуясь ими, словно те и в самом деле были его творениями. Попутно решая про себя еще один вопрос: погнать тотчас стадо домой, чтоб люди до непогоды управились со скотом, или же подождать, покуда тучи прибли-

[1] Кукла в рост человека, ряженая. В засуху водят по селу, окатывают водой у каждого двора и выносят навстречу какие-либо продукты. Затем из них готовят всякие кушанья где-нибудь возле реки. Едят их и молят Бога о дожде.
[2] Апокалипсиса.
[3] Все, что выпекается в Святой Четверг и затем разносится по дворам.

зятся, и уж затем вернуться в село? Еще один довод в пользу того, что именно он принес людям дождь. Однако вовремя вспомнил про грядущую Ночь и решил пощадить сельчан, пригнав коров пораньше. Ничего, что при этом будет задето его самолюбие, пострадает тщеславие – Бог оценит это ночью и примет от него такую жертву.

Он начал спускаться в ложбинку за ушедшей туда лошадкой, как вдруг новое видение привлекло его внимание. Вдали, на одном из соседних с Тхаруко Гедеш холмов, внезапно появилось нечто. Второй раз за вечер Загреш замер. И было от чего. Приглядевшись, он немного успокоился, это был какой-то всадник. На расстоянии все предметы кажутся темными. Как потом оказалось, одеяние на нем и впрямь было черным, да и лошадь его ему под стать была вороной масти. Вершина холма, с которого спускался верховой, уже затерялась в низко нависших облаках. Немудрено, что Загрешу, мгновениями раньше витавшему в тех же облаках, показалось, что тот шагнул на землю прямо с небес. «Не по мою ли душу?» Второпях оробел, не хватил ли он лишку по простоте душевной, дерзнув поставить исключительно себе в заслугу появление туч на горизонте?

И еще до того, как всадник достиг подножья холма, успел прошептать несколько молитв, на его взгляд, извиняющих подобную оплошность. «Господи, прости неразумного Загреша, напекло ему голову за жаркое лето, вот и мелет всякую чушь!»

Непохоже было на то, что близкая гроза как-то заботит ездока, хотя лошадь под ним шла ходко. Временами слабый порыв ветра вздымал за ним легкую пыль, которая, не успев как следует раскрутиться, неожиданно спадала, чтобы в очередной раз, что та настырная дворняжка, возжелавшая внимания хозяина, подсуетиться еще раз уже в другом месте и все с тем же успехом.

Когда конный поравнялся с ним и поднял голову, чтобы поприветствовать его, Загреш понял, как поторопился. Когда же припомнил, что имя Бога было упомянуто всуе, и вовсе пожалел, что вовремя не скрылся в ложбинке. Он ответил ему еле заметным кивком: будь всадник более привередлив, непременно обиделся бы на подобное пренебрежение.

Загреш недолюбливал этого человека и не считал нужным скрывать это. Видит Бог, накануне Святого вечера ему меньше всего хотелось бы с ним встречаться. На то у него были свои причины и, хотя они основывались на смутных подозрениях и ощущениях, все же он не мог себя заставить относиться к нему по-другому. У него испортилось настроение.

Как бы там ни было, надо признать, что всадником нельзя было не залюбоваться. Его манера держаться в седле, снаряжение и в особенности лошадь – все могло бы вызвать в ком угодно восхищение, но только не у Загреша.

По всему было видно, что она отлично выезжена и не нуждается ни в каком-либо воздействии со стороны. Такую лошадь не следует понукать ни голосом, ни направлять поводьями, ни ударами пяток, а поднятая плетка воспринимается ею как намек на физическое оскорбление. Она сама, ведомая собственным чутьем, выбирала дорогу, лишь изредка, едва уловимо замедляя ход на поворотах в ожидании подтверждения верности избранного пути.

Ветер подул с новой силой. Верховой пришпорил коня, взвихрив на этот раз за собой дорожную пыль. Невесть откуда нанесло перекати-поле, и они, как гончие, потерявшие след, заметались по склонам. На миг Загрешу припомнилось босоногое детство: он с мальчишками в такую вот пору гоняется за колючими шарами или же с обрыва подбрасывает их вверх, следя за тем, чей шар унесет дальше.

В сердцах сплюнув и бурча себе под нос, что нет ему уединения не только здесь, на холмах, но и в воспоминаниях детства, Загреш направился к намеченной жертве – быку. Призывая уже в который раз Бога в свидетели, что скотина безвинна и он тут не при чем, но если он немного отхлещет быка, тому виной будет тот человек.

Гряда больших холмов, что тянется, мельчая, от самых гор беспрерывной чередой, как камушки в четках, прерывается у кладбища, пропуская дорогу, одну из трех, по которой можно въехать в село, чтобы затем продолжиться дальше, покуда далеко за пределами села не сойдет на нет. Склоны тех двух холмов, меж которыми, как между Сциллой и Харибдой, с риском затеряться из-за обсыпающихся с обеих сторон камней и комьев грязи, протиснулась дорога, так изборождены множеством тропок, что издали кажется, что на них накинута громадная сеть или же их вспахал какой-то слепой.

У самого прохода, на верхней тропке, верховой вдруг круто развернул коня, выхватил шашку и в каком-то непонятном для Загреша порыве рубанул по одному из перекати-поле, что вились рядом. Порыв ветра унес из-под удара клубок, острие шашки скользнуло по камню, высекая искры. Затем человек вновь поднял коня на тропу, еще раз пришпорил его и исчез в проходе.

Забылся Загреш, показалось ему, что всадник замахнулся на то самое перекати-поле, за которым он, голоногий мальчишка, пустился вдогонку. Расплевался от обиды и, проворчав, что, должно быть, время Ахъырзэмана пришло раньше сроку, раз грешники сходят с ума и кидаются с шашкой наголо на безобидную траву, двинулся в который раз собирать стадо...

Что и говорить, Загрешу, которому, как уже говорилось выше, ведомо многое из того, о чем и помыслить не могут люди там, внизу, пока еще непонятен мальчишеский поступок взрослого человека, но он будет первым, кто, спустя всего ночь, сможет его объяснить.

Ныне отверзнутся не только хляби небесные, гром прогрохочет и молнии засверкают, но и нечто другое заблистает в ночи, свет прольется и откроется то, что положит конец сомнениям и подозрениям.

Хвалу Создателю вознесет на следующий день Загреш на холмах в благодарность, что не согрешил, возведя напраслину на невиновного. И успокоится. И даже не будет столь пристрастен, как прежде, наблюдая за односельчанами со своей высоты...

Иные воспоминания были связаны у всадника с перекати-поле. Они не были столь радужны, как у пастуха Загреша, не вызывали в нем вздоха сожаления, что время ушло, напротив, будили в нем безотчетное волнение и непонятную тревогу, которые день ото дня становились все явственнее и непригляднее, как обнажающееся дно водоема в пору засухи.

Когда-то это непонимание, как следствие нежелания однажды остановиться и разобраться в первопричине происходящего из опасения, что она станет явной, ввергало его подчас в дикие приступы ярости. И тогда мир становился черно-белым, тогда каждый вздох изливал на всех и вся лютую ненависть, тогда взгляд его делался похожим на изготовившуюся к броску змею, тогда незнамо что поднимало его среди ночи и, невзирая на непогоду, бросало на поиски приключений. И вдруг, через несколько дней – ничего не выражающие глаза, покорность во всем, апатия ко всему и... «муха заползает в раскрытый рот».

С какого-то дня жизнь в одночасье переменилась, он стал опасаться... перекати-поле. Каждая встреча с ним заканчивалась одинаково: он или же рассекал подвернувшийся клубок, иногда же, приметив их вдалеке, пускался наутек.

Оставив за спиной холмы, всадник спустился к реке. Мутная вода пришла раньше – как видно, дождь уже начался у ее истоков. Лошадь без сожаления вступила в реку и, как ни в чем не бывало, перешла ее. Хотя до этого имела привычку с дороги пить здесь воду. За крайним домом всадник свернул в глухую улочку, в дальнем конце которой меж высокими акациями виднелся беленный известью дом. У самых ворот обернулся: улочка была пуста. В селе, которое было расположено в низине, ветер практически не ощущался. Он остался на холмах, во владениях несносного пастуха, кажется, перекати поле тоже задержались там. В том, что они пришлые, то есть занесенные ветром издалека, он не сомневался, местные давно сгорели, обратились в труху или их съели голодные подопечные Загреша.

Сегодня он спешился сразу за воротами. Верная привычке лошадь сама прошла на старое место возле конюшни и стала. Спустя некоторое время ее хозяин проследовал за ней в сопровождении рослой собаки. Расседлал. Жгутом сена из-под застрехи оттер мокрые бока, затем набрал полный гуэгуэн[1] воды из длинного деревянного корыта и поставил перед лошадью. Она в несколько глотков вытянула всю воду и снова уставилась на хозяина. «Смотри, не смотри, – сказал он вполголоса, – второй гуэгуэн получишь позже, когда отдышишься. Тут и помимо тебя желающие найдутся». Затем похлопал по крупу, отпуская в конюшню. Та покорно ушла к яслям, а он, наполнив вновь гуэгуэн, отправился за ней следом, к другим лошадям. И так раз за разом, покуда не выбрал всю воду из корыта. Последний гуэгуэн он отнес, как и обещал, скакуну. Все это время собака лежала подле корыта, огромная кудлатая голова ее покоилась на широких вытянутых лапах, внушающих своей грозной мощью и опасение, и тай-

[1] Деревянное ведро.

ное восхищение. Спокойная до этого, она, как только ее хозяин появлялся из конюшни, поднимала тяжелую голову, хлопала по земле хвостом и тихонько скулила, выказывая готовность приласкаться. Отчаявшись, собака встала и поплелась в дальний угол двора.

Сполоснув руки остатком воды на дне корыта, мужчина направился к дому. Скрипнула дверь, на пороге появилась молодая женщина. Вытянутой левой рукой она держала казанок с остатками масла. Было слышно, как оно лопается и шипит.

Завидев жену, он раздумал заходить в дом и уселся на верхнюю ступень высокого каменного крыльца.

Ему нравилось исподтишка наблюдать за Папур. Время прошло, не вчера поженились, а он все и в мыслях не привыкнет к тому, что теперь она его жена.

Женщина вернулась к нему с уже чистым казанком:

– Ну вот и хорошо. Ты как раз вовремя поспел. Может, зайдешь, поешь, пока лакумы горячие? Или вынести тебе сюда, перекусишь немного до ужина?

– Нет, наверное, не стоит. Поужинаем, как на дворе управимся. Дождемся коров. – Папур поставила казанок на камень и присела рядом:

– Ой, калитка закрыта! Ты, что ли, закрыл?

– Действительно, может, и я. Прикрыл второпях, – он встал со ступенек, – пойду, открою.

Жена пошла следом.

– Что же это Загреш не гонит стадо? Успеть бы до дождя подоить коров. Видишь, как обложило. Господи, твоя заслуга, дождались, наконец.

– Стадо, должно быть, на подходе. Сам видел, как пастух собирал коров. Не думаю, что оно сильно задержится.

В самом деле, вскоре из-за холмов потянулась цепочка коров. Уже перед домами она стала распадаться, ныряя группками в узкие проулки и затем в них теряясь.

– Думаю, будет сильный ливень.

– Дай-то Бог. Да простит он меня, грешную, но этот бы дождь да немного пораньше. Может, и с кормом было бы проще.

– И то верно. Нелегко будет, – согласился он поспешно. – Наверняка, бычка придется прирезать ближе к зиме, а то, если повезет, обменяем у людей на сено.

Что-то насторожило женщину. Вроде все как обычно, но тем не менее она уловила за его словами еле скрываемое волнение. Подумала, что намеренно спокойная интонация мужа служит лишь ширмой, тогда как за показной непринужденностью кроется нечто, что будило в ней тревогу. Она еще раз исподтишка глянула на него. Нет-нет, определенно, тут что-то неладно.

– Случилось что? – В любое другое время он бы взорвался, как нередко бывало в последние дни, накричал бы на нее: мало ли что может приключиться с мужчиной вне дома, на большой дороге, не сплетничать же об этом каждый раз с ней? Он что, седлает коня только затем, чтоб принести в дом сплетни? К тому же, если муж молчит, что за интерес жене спрашивать? Но сегодня он изменил свой привычке.

– Что может случиться? Ничего. С чего ты взяла?..

Женщина не ответила и молча ушла в дом – вероятнее всего, за подойником. Он задержался у калитки в недоумении: успокоил таким ответом жену? Не знал, не мог знать, что та тоже в замешательстве: принять ли на веру слова мужа или все же довериться своему сердцу?

Где-то вдалеке прогрохотал гром, раза два блеснула молния. Ветер спустился с холмов и теперь вовсю хозяйничает в селе. Он почувствовал свою безнаказанность и, как вражеская рать, ищет слабину, рыщет по закоулкам, жадный до всего, а застрявши в них, мечется, что зверь, угодивший в западню. Волнует тяжелые кроны акаций, гнет к земле яблони и алычу, покуда не выскользнет на свободу, одержимый и злорадствующий, упоенный своей мощью, чтоб в другом месте и в иное время наступить на те же грабли.

С подойником, в котором больше угадывается, нежели видится молоко, женщина вышла от коров, прошла в дом и через некоторое время вновь появилась во дворе. На этот раз, чтоб убедиться, как плотно прикрыта плетенка в курятнике.

На обратном пути, уже с крыльца, взглянула на мужа. Издали все казалось обыденным. «Может, и ошиблась. Померещилась, наверное», – подумала она, открывая дверь.

Мужчина еще какое-то время ходил по двору, убирая, закрывая, водворяя на место все, что надлежало убрать подальше от непогоды. Зашел за дом, на огород, где остроконечными шалашиками стояли кукурузные стебли, взял оттуда большую охапку, ежевечернюю порцию для скота – какой прок от голодного, отнес в зимние ясли, те, что находились в глубине хлева.

Подобрал вилами сено возле норы, наспех отрытой собакой в стоге, размахнулся и закинул на макушку. Засомневавшись, что удачно, обошел его кругом, оглаживая вилами верхушку и бока.

Собака при виде хозяина вылезла из своего углубления, виновато вильнула хвостом. Обошла вместе с ним вокруг стога, продолжая все так же поскуливать, но, видя, что тому не до нее, юркнула обратно, подальше от греха и ветра.

В последний момент вспомнил про корыто, надо бы вытащить его во двор. Незачем таскать воду из реки, пусть наполняется дождевой. Корыто, даром что было деревянным, выдолбленным в незапамятные времена из цельного ствола не то бука, не то чинары, не рассохлось и продолжало весить прилично. Он и не стал надрываться, достаточно было вытянуть один его конец наружу. Закончив с делами на подворье, мужчина опять пошел к воротам.

Маленькая улочка за ними, как и раньше, была пустынна. Шагах в пятнадцати ветер крутил свою круговерть, являя каждому любопытствующему редкую возможность опробовать поверье. Говорят, что если бросить в подобный вихрь раскрытые ножницы, то можно увидеть пляшущих чертовку и черта. Зазеваешься ненароком, увлекут за собой и, если за своего признают, до смерти запляшут. Так это или не так, но вот что рассказывают: сто лет, а может, и чуть более тому назад одна женщина все подзуживала своего мужа: бросим да бросим, страсть как хочется поглядеть, что из того получится, а тот все отнекивался, не в первой, мол, ему их видеть! Что он имел в виду, стало ясно, когда поддался-таки на уговоры – остался муж без ножниц, а жену только и видели.

Наверное, это было возможно в далеком прошлом, когда и люди были другими. Нынче он не припомнит случая, чтобы кто-то на это отважился, то ли черти не в новинку, то ли ножницы вздорожали.

Было дело, правда, когда он и Пагуо на спор с остальными ребятами отважились на это, но затея так и осталось неосуществленной, в последний момент мальчишки разбежались, а те, в свою очередь, не стали зря рисковать: ведь как докажешь без свидетелей, что видели чертей?

Послышался треск – чуть поодаль, у обрыва возле реки, ветер обломал большую ветку с дерева. Хотя вдоль реки над обрывом росли разные деревья, он почему-то подумал, что это акация.

Деревья, что люди, разнятся не только внешне и временем цветения, они и умирают поразному. Есть деревья, которые тихо и незаметно уходят в небытие, вскоре после того, как усохнут. Они сами падают наземь или же их валит безобидный ветерок. Бывают деревья, которые умирают долго и нудно. Пользы от них уже никакой, разве что на дрова сгодятся. Стоят себе, и хорошо, если где-то в сторонке, цепляются за жизнь несколькими зелеными ветками, которых год от года все меньше, а топор щадит их из жалости до поры до времени.

Встречаются, однако, и такие, которых ни топор, ни время не берут. Кажется, не упомнишь в точности, когда в последний раз оно цвело. Подойдешь к такому вот дереву и, в желании не отстать от сказочного батыра, двинешь плечом, но не тут-то было – не то что ствол, ветки махонькие на верхушке не шелохнулись. Выждешь месяц, другой, год потерпишь и, все в том же стремлении сравняться с силачом, вновь подступишься, и все повторится сначала. Неизвестно, чем держится и на что надеется, но вот однажды весной приметишь у самого корня молодой стебелек и – осанна жизни!

Такой проникающий в душу, пронзительный звук издает только акация. Такое чувство, как будто обрушилось нечто основательное, что до сего момента казалось незыблемым. Он пошел глянуть – так и есть. Вместе с веткой на землю посыпались несколько вороньих гнезд, ветер разметал их немедля. Испуганные вороны взмыли вверх, описали два-три круга, затем уселись обратно на искалеченное дерево. Дольше всех кружили те, что остались без гнезд, но и они, в конце концов, смирились с потерей и пристроились сиротливо к остальным.

Удивительно, до чего любят вороны устраивать свои гнезда на акациях, полным-полно других деревьев вокруг, так нет же, предпочитают акации. Уж не на шипы ли и колючки надеются они, как на защиту?

Акаций в селе предостаточно, где их только нет: делят границы участков, тянутся по берегам обрывистым, укрепляя грунт. Выстраиваются в очередь и вдоль улочек, нависая над ними сводами.

Каждый более или менее практичный селянин считает своим долгом, едва ли не наряду с обязанностью продолжения рода, высадить за свою жизнь пару-другую акаций. Причем если на сына он надеется опереться в старости, то услугами акаций пользуется в течение всей жизни. Древесина акаций идет на постройку жилья и на хозяйственные нужды, а отходы годятся на дрова – ни одно другое дерево не дает такого сильного и долгого огня, даже чинара с акацией не сравнится. Ветки же с ее колючками служат для ограждения участка.

Свое право на них оспаривают и вороны. Ни одна акация не остается неохваченной, на каждой лохматыми шапками застряли их гнезда. Такое впечатление, что весь вороний род устраивается здесь на поселение.

С акациями, помимо прочего, у людей на селе связаны надежды на продолжение рода человеческого. Едва весной по селу зацветают разом акации, как у местной молодежи пробуждается повальное томление по противоположному полу, которое у многих по осени заканчивается свадьбой. Что там молодежь, когда и старики тогда же ходят по селу и облизывают кончики усов, вспоминая бурную молодость!

В детстве, с тем же Пагуо, они объедались кистями душистых цветков. Потом бродили по улочкам, как потерянные, закатывая глаза от дурмана, а ночью, скорчившись, частенько бегали во двор.

А спустя годы, уже бывая в долгих отлучках вдали от села, он вспоминал омытые дождем тяжелые гроздья и их дурманящий запах, и тогда он торопил коня домой. Да и понятие того, много времени он отсутствовал или мало, было у него связано с тем, как рано грезился ему этот запах.

Дверь в доме открылась, и с порога послышался нетерпеливый голос Папур:

– Куда ты запропастился, а? Еда остывает.

– Иду уже.

Он прикрыл плетеную калитку. Привязал ее к створке больших ворот узким ремешком и для большой надежности подпер изнутри небольшой рогатиной.

Напоследок уже с крыльца окинул хозяйским взглядом подворье, затем надвинувшийся горизонт и зашел в дом.

Вослед ему, уже в который раз, заскулила собака, из глубины конюшни тихо, как бы в ответ, заржала верховая лошадь.

***

Едва ли не добрую половину помещения передней части дома занимает очаг с широким дымоходом. Зимой и в холодные осенние ночи отверстие дымохода сужают, надвигая длинным шестом на край саманную плетенку, чий, чтоб тепло не сразу выдувалось.

Если летом по какой-то причине приходится готовить дома, в доме все равно не жарко, саманные стены тем и хороши, что зимой держат тепло, а летом – прохладу, да и лишний жар, когда нет заслонки, уходит вверх.

Вся комната аккуратно и чисто выбелена, исключение составляет угол, где находится этот самый очаг. Здесь пламя и дым прокоптили стены и балки наверху. Поэтому рядом с ним нет ничего, кроме щипцов, стопки поленьев, а чуть далее – большого медного таза с высоким, тоже медным, кувшином – кумганом – для умывания.

По сути, прибраться в помещении несложно – предметов обстановки немного. Но и то малое, что есть, расставлено в нем с любовью, все здесь так опрятно и мило, что создается такое впечатление, что будь этих вещей больше, то и тогда им нашлось бы должное место.

Вся домашняя утварь находится вне области огня, в противоположной стороне. В одном углу пирамидой высятся три разных по величине и цвету сундука, от большого до малого. Нижний, самый большой, оббит железом и запирается на висячий замок. На нем, рядом со средним, уместился громадный медный самовар, трофей немалой ценности, добытый хозяином в одном из походов, а также предмет зависти соседок. Впрочем, самовар здесь служит дополнением к небольшому количеству мебели и используется по своему назначению мало, он выполняет не свойственную ему функцию – его до блеска начищенные бока служат зеркалом.

Чуть дальше, вдоль стены, на вбитых прямо в нее колышках лежат в несколько ярусов доски с кухонной посудой, по большей частью деревянной, на них же стоит с десяток узкогорлых глиняных кувшинов для масла, меда, сметаны и для чего-то еще.

Здесь же, у стены, под полками, деревянный стол – треножник, окруженный невысокими округлыми стульчиками без спинок. Еще несколько подобных сидений, но повыше, выстроились у другой стены. Над ними в самом углу уместился массивный шкаф, по всей вероятности, как и сундуки, переживший не одно поколение.

Самая громоздкая мебель в доме – широкая тахта, она находится в глубине у дальней стены, занимая ее почти полностью. Перед ней, на глиняном полу, циновка прямоугольной формы – арджан – во всю длину тахты. Такой же арджан, узорами побогаче, украшает стену над тахтой. С левого его края в одиночестве висит шикапшина[1].

На самом арджане – перекрещенные шашка и кинжал в серебряных ножнах, под ними – кремневое ружье, ержыб (пороховница из рога) и пояс с хьэджасой (небольшим ножиком) – незаменимая вещь и в быту, и в походах. Словом, все оружие, составляющее вооружение хозяина вдали от дома.

Шикапшина висела бы рядом, принадлежи она мужчине, но в том-то и дело, что ею владеет женщина.

Дополняет картину свисающий с балки, поближе к тахте, железный светильник, которым пользуются редко и то поутру, пока не разгорится огонь в очаге. Или если нагрянут гости. Стол в подобных случаях ставится под ним: и друг друга хорошо видно, и то, чем потчует хозяйка.

Небольшая семья уже отужинала. Папур успела помыть и расставить на полках посуду, много ли ее на двоих. Подмела возле очага, а мусор до утра смела в угол, на ночь глядя решила не выносить.

Впрочем, она могла швырнуть его в очаг, как иные соседки, но почему-то так ни разу и не решилась на подобное, считая это святотатством – бросать мусор на огонь, на котором готовишь себе пищу. Управившись с делами по дому, она вынула из верхнего сундука прялку и моток пряжи и села у изножья мужа. Тот лежит на тахте, стоящей сейчас вплотную к стене. Зимой, в особо холодные ночи, случается, что ее двигают поближе к огню.

В помещении тишина, если не считать потрескивания дров, гула огня в очаге да приглушенного шума за стеной.

Разговора как такового нет. Изредка супруги обмениваются несколькими фразами, ничего не значащими, так, чтоб безмолвие не зависало. Когда жена вставит слово, когда муж подкинет другое, оборвав звон в собственных ушах.

С каким-то постоянным упорством шерстяной клубок падает с колен Папур. Земляной пол утоптан гладко и ровно, и тем удивительнее, что он всегда норовит укатить к огню. По мере того, как удлиняются паузы между словами, он падает с ее колен все чаще. Папур не ленится, она каждый раз перехватывает его у самого огня и со словами: «Вот дурачок, спешит к погибели», – водворяет на место, себе на колени. При этом успевает мельком посмотреть на мужа, может, и он что-то добавит к сказанному. Однако тот, по всей вероятности, не видит ее взгляда, не слышит ее слов, он увлечено рассматривает балки наверху. Не иначе, как задался целью пересчитать все трещины на них. Разве что иногда поменяет позу, и это, пожалуй, единственная реакция с его стороны.

Последнее время женщина измаялась, нутром чует, неладное творится с мужем, а спросить не решается. А если даже и попытается, что услышит она в ответ? Муж либо нагрубит, либо скажет, что ничего не случилось, ну вот, как сегодня, а то и вовсе отмолчится. Как понять, как приноровиться к его поведению, как себя вести, у кого спросить совета? От этих вопросов голова кругом идет.

Соседка Ямида, невзирая на свое имя, имела обыкновение заскакивать к ней по нескольку раз на дню, как правило, по очень важным делам, например, подошло ли тесто у Папур или нет? У нее, наверное, без этих визитов расстраивалось пищеварение, а что превыше здоровья? Как-то раз она зареклась, что ее ноги больше в этом доме не будет, потому как хозяйка временами не очень к ней

[1] Национальный музыкальный инструмент, адыгская скрипка.

внимательна. И, представьте, стойко держалась весь день данного обета. И лишь к вечеру того же дня, исключительно из жалости к Папур, стала клятвопреступницей, возобновив свои посещения.

Одно время собиралась сходить к мулле. Остановило ее одно: как она, молодая женщина, объяснит старику, что ей требуется? И подействует ли амулет в том случае, если она напрямую не скажет мулле, от какой напасти надо спасать мужа? А если старик-мулла подумает о чем-то другом или, чего доброго, поделится этим с женой, а та с Науцой? Стыда тогда не оберешься. Получается, и шху жжет и молоко обжигает.

Ошибается Папур, если думает, что муж увлечен только самим собой или балками. Каждый раз, когда она встает за клубком, он, скосив глаза, наблюдает за ней. Хотя взгляд при этом у него отсутствующий, более того, странный, и даже искорки очажного пламени, что мечутся в глазах, его не оживляют.

Женщина встала и выглянула на улицу: когда же, наконец, будет дождь? Одновременно у кого-то из соседей сильно хлопнула входная дверь, очевидно, и им неймется.

Нынче долго, далеко заполночь, гореть огням в домах по всему селу, и ни сон, ни тем более непогода не помешают встретиться с Богом. Спать будут только те, у кого все еще впереди – дети. Желания их пока не столь недосягаемы и, на их взгляд, выполнимы родителями. Папур знает, о чем она станет молить Бога.

Время в ожидании ползет медленно. Крепчает ветер на дворе, и, взволнованные им, устремляются в широкий дымоход языки пламени.

А дождя все нет, зато разохотившийся огонь ненасытным чудовищем пожирает дрова, успевай только подкладывать. Женщина рада и этому, рада, что нашла себе занятие, которое, пусть ненамного, но отвлечет ее от мыслей. Потому готова хоть сейчас выйти в темень за новой охапкой.

– Лучше бы задвинуть немного чий,– обращается она к мужу. – Ветер какой на улице, боюсь, как бы эти искры во дворе не наделали беды. Сено рядом.

– Этого только нам не хватало. Не дай Бог! – Мужчина встал, шарит ногами под тахтой в поисках лъахъстэн вакъэ[1].

И вдруг с грохотом распахивается дверь, в комнату врывается ветер. Кучи золы и снопы пламени взмывают к балкам, дым застилает все кругом и в этой круговерти мимо женщины, испугав, проносится нечто лохматое! Инстинктивно она бросается к двери, а уже там настигает ее не то стон, не то сдавленный крик мужа, от которого ее бросает в дрожь. Этот крик лишает ее сил, медленно оседает она у двери, но при этом, не странно ли, продолжает нащупывать щеколду.

В другом месте, при иных обстоятельствах она не узнала бы стоящего перед ней человека! Это лицо, мертвенно бледное, глаза, округлившиеся от ужаса, и руки, вскинутые крестом перед грудью, – все было чужим! Она никак не поймет, почему это он уставился на клубок, оказавшийся обычным перекати-поле. Она не в состоянии понять, чем может казаться ему это безобидное растение, почему он оцепенел, как если бы его хватил удар или он увидел всамделишного черта. Как от зачумленного, пятится от перекати-поле, назад, к тахте. Ужас в его глазах сменяется отчаянием. И вдруг... о господи! впору ей самой свихнуться... Это застывшее лицо расплывается в уродливом, неестественном оскале – подобии улыбки, обнажая стиснутые зубы, но потом и они разжались, тело его затряслось, забилось в конвульсиях, и послышался – смех! Дикий, жалкий, больше похожий на всхлипы. И тогда она стала творить молитвы, сбиваясь местами, затем возвращаясь к началу, заканчивая и так же поспешно, не переводя дух, приступая к следующей, пока не осталось ни одной.

«Что, что стряслось?! Не пугай меня, ради Бога! Скажи, что это с тобой?!» Женщина, наконец, отлипла от двери и, рванувшись к мужу, вцепилась в него. Смех пресекся, и мужчина рухнул на тахту...

Разве не шумит больше ветер на дворе, не гудит огонь в очаге, не трещат поленья? Почему вокруг такая тишина? Или, может, она оглохла? Отчего тогда так явственны слова этого человека, хотя вроде он их и шепчет?

Нет слез в глазах, и очертания размылись, как при погружении в сон, и угол с тахтой, с чужим мужчиной, отдалился в пространстве, а сердце, что недавно бешено колотилось, те-

[1] Сафьяновая обувь.

перь, кажется, прорвало ей грудь, а сама она сделалась подобной струне шикапшины, которую нечуткой рукой тянет кто-то, в жестоком упоении не замечая, что она натянута до предела.

Нет более никого и ничего вокруг, кроме этой жуткой, открывшейся тайны! Она сводит с ума, и нет, видимо, от нее спасения.

Спасения?! От кого, от чего, для кого и зачем спасение?!

Прошла целая вечность, прежде чем она немыслимым образом нашла силы, чтобы стряхнуть с себя эту муть, очнуться.

Медленно осмотрела она комнату, и взгляд ее остановился на арджане, на том, что висит над тахтой. В одно мгновение взор ее просветлел: она нашла ответ, решение!

В глазах ее заметались огоньки злорадства, сердце вновь забилось и кровь застучала в висках. Звериный утробный звук вырвался из ее горла: так это был обман?!

Лежащий дернулся ей навстречу, но было поздно. Яростный взмах руки с кинжалом и – хрип захлебывающегося кровью мужчины на тахте...

Кажется, огонь угасал, утих ветер за стеной. Женщина пошла к двери. На дворе шел дождь, сильный, долгожданный дождь.

Он приглушил все звуки окрест, но ей показалось, что сквозь завесу потока прорвался голос.

Голос сельского муллы, возвещающего: «Правоверные! Пришло Время, и спустился Бог!..»

***

К сознанию его вернули боль и слова.

Боль не была постоянной, ноющей. Более того, у него было ощущение, что ее вообще нет. Однако стоило пошевелиться или подумать о ней ненароком, как притаившаяся боль давала о себе знать, жадно набрасываясь на него. И тогда ему казалось, что он слышит, как у него крошатся зубы.

Но и пребывать в неподвижности долго не получалось, не хватало выдержки.

Трагизм его положения заключался в невозможности собраться с силами физически, потому что после попытки напрячь тело начинали рваться сухожилия на руках и ногах. И, подготовляясь к новой боли, важно было не забыть или успеть вспомнить об этом. Как только он переставал владеть ситуацией и контролировать свои мысли, возникала неуемная потребность ощутить онемевшие члены. А это давало импульс новому витку боли. Получался какой-то замкнутый круг.

В паузах между волнами боли он и услышал те слова.

Кажется, они были сказаны несчастным, распятым по соседству. Еще один бедолага отвисал чуть далее на третьем столбе. У ног распятых, ближе ко второму распятому, расположились какие-то люди в странных одеяниях и при оружии. Что они делают здесь, охраняют, что ли, кого? Чем они так увлеченно заняты? Кажется... во что-то играют! Вот это да... нашли место, нечего сказать! Что-то непонятное творится с его сознанием. Разобраться, что к чему, мешала все та же неуступчивая боль. Такое чувство, что он не на том месте. В голове столько всего намешано, что он вообще теряется и не в силах проследить за собственной мыслью. Моментами ему кажется, что он сторонний наблюдатель и вовсе не висит привязанным... распятым. Но странное дело, стоит пристально вглядеться, как он с ужасом видит в одном из трех распятых себя! А затем...обрыв в сознании, и мысль вновь ускользает. И тогда «я», сторонний наблюдатель, и «я», распятый на кресте, – сливаются в одно целое, чтобы потом, спустя мгновение или вечность, удивиться тому, что поверхность креста такая шершавая, тому, что все кругом одновременно и знакомо, и незнакомо...Но вскоре он привык, смирился и перестал удивляться.

Возможно, слова относились к беснующейся ораве, однако, что же в них такого, что они привлекли к себе его внимание?

Мало ли что может сказать доведенный до отчаяния болью и издевательствами толпы человек, распятый ей на потребу. Уж наверняка не слова благодарности!

И только потом, много позже, когда, отрешившись от всего окружающего мира, он пытался сосредоточиться на том, как избежать боли, его вдруг осенило.

Он обратил внимание на слова потому, что в них содержалась просьба...Не призыв небесной кары на этих людей, что было бы естественно для человека в его положении, а именно – просьба к Создателю п р о с т и т ь их!

Он мог бы поклясться, что никогда прежде не встречал своего соседа, но вот слова...

Они были ему знакомы, но где он их мог слышать?..

Елена ЗЕЙФЕРТ

Родилась в Казахстане (Сары-Арки), по национальности немка. Доктор филологических наук, литературовед. Живет и работает в Караганде. Преподает в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова.

Слепые лошади

Рассказ

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь на дне рудника.

...Выйдя вечером из аптеки и уже почти дойдя до дома, я вдруг понял, что продавец дала мне лишние 24 копейки. Я мог бы это заметить сразу! Она так заботливо выбирала мне лекарства, так была внимательна, что обсчиталась... Метнулся назад – красная дверь аптеки уже закрыта. Жить с этим бременем всю ночь?.. Наутро распахнул заветную красную дверь – вместо вчерашней продавщицы другая, глаза небольшие, тусклые, руки в перстнях... Зайду завтра...

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь на дне рудника.

...В мусорном баке напротив соседского дома – плюшевый медведь. Одна лапа заломлена за шею, бесшёрстный живот, глаза – треугольные пуговицы... Пришёл домой, а душа ноет: мишке холодно, а его ещё и увезут на свалку, заровняют бульдозером в мусор... Хватаю пакет, бегу сломя голову к мусорному баку, бережно вынимаю медведя и ещё какую-то тряпичную зверюшку грязно-апельсинового цвета... Приглядываюсь – белочка. Торжественно несу их домой. Какая-то старушка смотрит на меня во все очки... Дома купаю мишку в ванне, из его подмышек выпадают кусочки поролона. Но морда премило улыбается. Грязная белочка ждёт своей очереди...

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь на дне рудника.

...На внутреннем стекле маршрутного такси – мотылёк. Бьётся изо всех сил, хочет спастись, выбраться на волю. Не могу поймать его, чтобы выпустить в окно! Тщетно строю ему на окне ловушки. Глупый мотылёк! Проезжаю свою остановку, но уже на следующей выхожу, бережно зажав в руке беззащитное тельце насекомого. Раскрываю ладонь, мотылёк улетает. Так выпускают весной птиц на волю! Это праздник. Радостно бреду домой...

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь на дне рудника.

...В метро я долго пропускаю вперёд себя людей... Стою у турникета и улыбаюсь. Все куда-то спешат, а я возвращаюсь домой после работы, и дома лишь мишка да белка... Я немного голоден, но ничего – успеется... Сколько детей и женщин! Идите, идите, люди добрые... Я подожду... Мне и здесь хорошо...

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь на дне рудника.

...Круглоглазая девочка лет трёх смотрит в окошко моего подвальчика, где я чищу людям ботинки. Окошко как раз под её рост – девчушке не нужно наклоняться. Вдруг замечаю, что она плачет... Вздрагиваю всем телом, выбегаю на улицу. “Ты чья?” – “Я Мика” – “Мика?” Плачет, плачет взахлёб... Завожу её в подвал, с её соломенных волос спадает панамка... В руке у девчушки – волчок, внутри его – белая лошадка. Ставлю волчок на стол. “Ты знаешь, где твой дом, Мика?” Плачет, плачет! Но вдруг спохватывается и говорит: “У нас возле дома лозы!” – “Розы?” Она быстро кивает льняной головкой. Поспешно беру ребёнка на руки,

закрываю подвальчик на замок и несколько часов подряд ношу девчушку мимо длинного-длинного ряда частных домов. Вдруг повезёт – и она узнает свой розовый палисадник... Роз пока нигде нет. Вдруг – чудо! – Мика вырывается из рук... “Мама! Мама!” Мамы не видно, но розы, головастые, душистые, литые, приветствуют малышку... Она скрывается среди розовых кустов, я вытираю пот со лба. Я улыбаюсь... Не буду мешать встрече...

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь на дне рудника.

...Женщина в универмаге попросила подержать её сумку, пока она приструнит своего малыша... У неё глаза как мокрые вишни и жуткий южный акцент. Тонконогий, как козлёнок, мальчишка хочет ещё раз прокатиться на эскалаторе, но им уже пора домой... Мать хватает сынишку за руку, тот вырывает ручонку и, вереща, убегает. Женщина, ахнув, – за ним. Потешная сценка! На эскалаторе поднимается охранник, смотрит на них, улыбается во весь рот. Где-то тикают настенные часы. Сумка белая, из искусственного меха – не опускайте на пол, сказала женщина, “запашкаеца”... Конечно, жаль, если запачкается, не опущу. Правда, мне нужно спешить по делам, но ведь подержать сумку – минутное дело... Отчего же не помочь такой милой жен...

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь на дне рудника. Я тычусь слепой мордой в жёсткий хвост другой лошади. Что-то разрушилось в нашей круговерти... Страх, дикий страх внутри. Взры-ы-ыв!

“Вечерняя столица”, криминальная хроника: “Взрыв в универмаге. Несколько свидетелей перед взрывом видели молодого человека с белой меховой сумкой. По всей вероятности, взрывное устройство находилось в этой сумке. Помимо камикадзе, погибло 17 человек, 24 тяжело ранены. Личность камикадзе установлена: один из свидетелей узнал в нём чистильщика обуви, работавшего в подвальном помещении гостиницы напротив универмага. Юноша бесследно исчез, что подтверждает показания свидетеля. В подвале чистильщика обуви обнаружены вещи недавно убитой трехлетней девочки”.

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь на дне рудника. Я не знал, что после смерти стану лошадью. В наказание за доброту...

Я слеп, но в воображении мне часто видится трава. Я хочу травы. Меня кормят только розовыми кустами, они колют гортань треугольными, твёрдыми шипами... Я не вижу их цвета, и почему-то меня это очень мучает. Нежные розовые лепестки нехороши на чёрных лошадиных губах... Может быть, это всё же чёрные розы?..

Слепые лошади идут одна за другой, и их тяговая сила поднимает клеть к Свету – в Царство Божие. Я не в раю и не в аду. Я не грешник и не праведник. Я лошадь.

В мой первый рабочий вечный день в клети поднималась Мика. “Это были не насы лозы”, – просто сказала она. Я не видел девочку, но был рад, что она спаслась... “Ми-и-ка-а-а, Ми-и-ка-а-а...” – разнёс рудничный сквозняк назойливый запах розового масла, и по моей покатой спине засочились Микины слёзы... Я гарцевал в Микином волчке на столе моего подвала.

Мика закричала (а я даже не мог закрыть руками уши): она превращалась в ангела – слёзы на щеках истаяли и от невидимого лезвия бескровно зазмеились трещинами лопатки. А, может, всё было и не так... Я ничего не видел, как ни задирал к клети в гулком отчаянии большую, нелепую голову. Мика, детка, не покидай клеть, ты ещё не научилась летать... Забудь обо мне. На моих губах – не наши розы...

В глазах моих – коричневые и апельсиновые пятна. Может быть, для Мики я не лошадь, а белочка, пушистая белка в колесе... С бельмами на треугольных от боли глазах.

Сколько детей и женщин... Я не вижу, но знаю, что их лица искажены от злости. Моя мокрая спина – на их пути. Они толкают меня, бьют, больно взбираются на круп... Это те, кого не взяли в клеть?.. Не знаю. Не бойтесь, идите, идите, люди добрые... Я подожду... Мне и здесь хорошо... Я иду по кругу, у меня кружится голова и гудят ноги.

По губам моим ползёт искалеченный мотылёк. “Откуда я знаю, что он искалечен?” – спрашиваю я себя. Насекомое безжалостно щекочет мне губы. Я облизываю губы, и, как жаворонок, он взмывает не в небо, а нёбо... Мотылёк застывает криком в гортани, но у длинной щеки моей – дыхание чьих-то лёгких крыльев...

А я ведь так и не отдал аптекарше 24 копейки.

Стихи

***

Мальчик Пушкин, открывший в Стихире окошко,
тщетно ждёт номинаций, вникая в игру,
и, побит за глагольные рифмы немножко,
возвращается мирно на “Классика.ru”...

“Дышать на крест, творя суровый гимн...”

Бог. Новый Вавилон

Гортань разодрана, язык – смешной довесок.
Века мы ищем Бога...
Бог был Текст.
Бог состоял из слов, из нот, из фресок...
Бог был и Текст, и Песнь, и Холст. Исчез.
После потопа, в стылом дне вчерашнем,
не знали (таял в небесах колосс),
что Бог был сам той Вавилонской башней...
С тех пор – незрим, неслышен, безголос.
Мы ищем Слово. Господи, как смеем?!.
Как смоем дерзость?.. Чудо! – осмелев,
послушник Рильке, лучший из пигмеев,
нашёл останки Бога на земле.
Чуть тронь – они рассыплются... Но крепок
сжимающий их светлым спрутом стих.
Из слов-осколков, зёрнышек и щепок
растёт Господь, Который всех простил.
Стоит Отец. Он слишком человечий.
Но найден путь, и это путь наверх.
...Челом к челу поэту – Божьи речи,
и жить в земле сырой, сытнее всех,
и ангелом с тяжёлыми крылами
дышать на крест, творя суровый гимн...
Отца-мозаику мозолями, губами
сложить бы чадам, избранным Самим...

“Рот, вмещающий два языка…”

Александру Абезгаузу в Германию

В “Зимней сказке” Гейне, возле Рейна,
Гретхен в Веймаре печаль свою прядёт.
Льётся время нитью, Гретхен ждёт,
Ждёт, когда любимый не придёт.
Йоганн Вольфганг Гёте, Генрих Гейне...

Я мешаю мифы, словно вина.
Я в душе не строила Берлин
С 45-го. Моё “wohin?”[*]
В никуда приводит, лишь один
Русский дух разрухи гонит в спину.

Саша, я ищу среди развалин
Старого Берлина красный флаг.
И не кремль – коричневый рейхстаг!
Немец иль фашист – мой старый враг,
Vaterland – хорош, но федерален.

Алекс, в то же время громче жизни
Я, немая немка, слышу зов
Голубых кровей моих отцов
И вне слов вбираю глубь стихов
Рильке, Божества в моей отчизне –

На Парнасе. Саша (Алекс!), с нами
Сила крестная и, видно, навсегда –
Питер твой, моя Караганда,
Где в Карлаге немцы штабелями
Эмигрировали в никуда.

Алекс (Саша!), с Мюнхеном сродниться –
Очень больно, или – в горле ком –
Можно, лая новым языком,
Поперхнуться буквой, словно птица,
И случайно Словом разразиться –
Русским кириллическим стихом?
Саша? Алекс?..

[*] Wohin? (нем.) – куда?

***

Онемечить меня отчизне.
Онеметь на время стихам.
Вскрикнуть фениксом к новой жизни
И уже не болеть потрохам –

Русской крови ни капли в жилах,
А язык до восторга родной!
Четверть красной семитской застыла
В трёх четвёртых густой – голубой.

Место жительства – тесная юрта.
Время жизни – страдания клеть.
Куцым мозгом кыргыза-манкурта
“Вещь в себе” мне, увы, не узреть.

Канту, Ницше, клокочущим в венах,
Отзываюсь на лающий “Heil”[1].
В казахстанских славянских Еленах
Заплутала моя Lorelei[2].

Свои корни руками латаю,
Рвусь в Москву и иду на Берлин.
Я душою, как спрутом, врастаю
В свой восточный и западный сплин.

Рассекаю на части кифару.
Не живу – задыхаюсь в дыму.
Остудите меня. С пылу, с жару
Голос крови своей не пойму.

Рассудите меня. Не судите.
Вам ли, люди, судить свысока?
А умру, вы на холм приходите –
Для кивка, для плевка, для венка.

RUSSLANDDEUTSCHE

Рот, вмещающий два языка.
Vater, Отче, скажи, чья дочь я?
Точит кирху на дне река...
“Твой удел – терпеть, Russlanddeutsche...”.

Две души истомились в груди.
Сердце! Herz! “Иссякает аорта”.
Голос! Stimme! “Я слаб и один”.
Liebe Heimat! “На карте я стёрта”.

Ржавый плуг как могильный крест.
Лютер – в ветошь завёрнутой книге...
Волга! Mutter! И в тысяче мест
остаёмся мы Wolganigger.

В отчем доме хочу домой...
Предок! “Кости лежат в Карлаге”.
Кирха! “Колокол мой немой”.
Нибелунги! “Ты веришь в саги?..”.

“Я не верю уже ни во что!” –
Так ответь, и предашь всё на свете.
...Речи терпкой, щекочущей ток
неужели не благ и светел?

Крылья – вширь, и – поверх голов –
станем, делая тысячный круг, мы
двуязыкими магами слов,
Руссланддойче с большой русской буквы.

Две культуры, два духа... Вдвойне
нам достанет родительской речи...
Плуги нежны на новой стерне
прежних кладбищ... Озимые крепче.

[1] Heil (нем.) – форма пафосного приветствия, пожелания блага.
[2] Lorelei (нем.), Лорелея, Лореляй – персонаж немецкой мифологии, златокудрая красавица. По своей функции является аналогом античных Сирен: расчёсывая на берегу свои золотые волосы, Лорелея очаровывает странников, и они, заглядевшись на неё, гибнут в реке.

“Со дна морского вышел Крым как дом…”

Полынный венок (сонетов) Максимилиану Волошину

I.
...И стала сила Слова серебром,
а век – серебряным. Слова как пули.
Двенадцать стыли, шли, на пальцы дули,
глядели ввысь: Он, “в венчике”, – фантом.

Но вынул Он ещё одно ребро –
в цветаевскую персть весну вдохнул... И
нагие пальцы хрупкие согнули
из звуков вёсла... Только Русь – паром

разбитый (вплавь... грести нельзя... вести...) –
прибило к Крыму, где в одной горсти
живые травы, мёртвые вулканы,

где синий киммериец Коктебель
укладывает ветер в колыбель
седой полыни на кудрях у Пана.

II.
Седой полыни на кудрях у Пана,
сплетённой с мятой в дружеский венок,
волшебен жгут... Здесь и костистый рог
древнейших скал, как вереск, гибкий, пьяный:

зверьё и птицы, чудища... Осанна
природе, чей стилет или клинок
творят из гор подобия. Стрелок
таится с луком за кустом – Диана?

О – гунн, татарин, турок, печенег,
скиф, славянин, хазар... Любой набег
хранит земля. И ржавый бок кальяна,

и ветхую монету... Мифов тьму
вода и берег жалуют ему –
киммериянину Максимилиану.

III.
Киммериянину Максимилиану
к лицу полынный нимб. Как лес дремуч
на голове! И мучь его, не мучь –
из львиной шевелюры великана

глядят сапфиры (тёплые!). Он рано
и угадал и принял к счастью ключ:
полынный жгут не жгуч и не колюч –
терновый жжёт и оставляет раны.

Медведь? Садко? Сказитель? Дюжий эллин?
Правитель в облаке пажей и фрейлин?
Огромный бородатый гном?

Не знает время, кто он! Но навстречу
в те дни ему, Волошину-предтече,
со дна морского вышел Крым как Дом.

IV.
Со дна морского вышел Крым как Дом
Поэта. Киммерийские Афины
открыли чрево: море, пляж старинный,
библейские холмы и окоём,

нагромождённый каменным зверьём.
Усыпан берег яшмой. Волны-вина,
меняя цвет, текут к тебе – черпни, на! –
соль зелья опрокидывай вверх дном.

Потухший Кара-Даг стоит иконой,
а рядом – Одиссеев понт со стоном
упрямо лижет бухту. Грот – проём

к властителю умерших душ Аиду.
На ужин – чтенье, дикий мёд, акриды.
Суровый Коктебель спит добрым сном.

V.
Суровый Коктебель спит добрым сном,
весь сине-рыже-розово-лиловый.
Здесь месяц помнит, белая подкова,
как плыл “Арго” за золотым руном.

Здесь в ноздри – порох пыли. НеСодом,
АнтиГоморра всех принять готовы.
Хозяева не спросят – что вы, кто вы
и почему голодный и пешком.

Зубчатость гор как стрельчатый собор.
Застыл навеки корифей и хор.
И панорама глазу – без изъяна.

Венецианских ваз хорош узор,
но только с Максовых великих пор
земля нагая стала легче манны.

VI.
Земля нагая стала легче манны
для тех, кто был здесь. Море, помнишь, а? –

как здесь гостили цепкий Бенуа,
точёный Брюсов, Бунин окаянный,

пришелец с “Башни” Вячеслав Иванов,
стихийная Марина, Белый А.,
миф Макса – Черубина Габриак...
И соляная каменная Анна,

и тёзка Горький, и эстет Бальмонт,
по щиколотку став в античный понт,
рождали строки разного романа.

“Гомер и море...” – слушал Мандельштам...
Свод Коктебеля превращался в храм,
Волошин нежно пестовал титанов.

VII.
Волошин нежно пестовал титанов.
Кузнец, чеканщик человечьих “я”,
он чтил святую плавность бытия –
полдневную незыблемость и прану.

Как истый жрец, молился Солнцу рьяно
и камни призывал к себе в друзья...
С ним не одна разумная змея
лишилась жала древнего обмана.

Поссорить Макса с кем-то невозможно,
не брали верх над ним ни гнев, ни ложь, но
вдруг ясновидец просыпался в нём:

хозяин в руку брал ладонь, и, может,
он знал извилинки души прохожей,
рисуя сердцем, кистью и пером.

VIII.
Рисуя сердцем, кистью и пером,
Макс создавал сплошные акварели.
Сожжённая природа Коктебеля
в нём глаз соединила с языком.

Сквозь почву скалы лезли напролом,
приветствуя его, и вслед глядели,
меняя лики... Он стоял у мели,
но видел остро, за земным ядром.

Сквозь мифопоэтичность миражей
Макс чуял оси точных чертежей
и трепет прочной буквенной колонны.

Латинский Дух алкеевых страниц,
он пред историей склонялся ниц –
в хитоне, босоногий, всевлюблённый.

IX.
В хитоне, босоногий, всевлюблённый,
он с детства путешествия любил.
И азиатскую арбу, и Нила ил,
и лотос, и тибетские поклоны –

в душе. Попал в Париж во время оно.
И бархатную куртку там носил,
дышал, кипел и жил что было сил...
Но в Коктебель тянулся непреклонно.

Он с “серой розой” сравнивал Париж.
И город подарил любовь, но тишь
желанную – Парижа знало ль лоно?

Среди классических страдалиц Маргарит
Волошин выбрал пару. Мир стоит.
Макс сочинял извечные законы.

X.
Макс сочинял извечные законы,
вводя Сабашникову в крымский рай.
Впорхнул светлоресничный, рыжий май
в покои сердца, синей бухты склоны.

В ветвях Версаля Зевс узнал Юнону.
Ах, в галереях Лувра: “Слово дай –
Любить!” Черёд твой, Гретхен – так играй
брезгливо сердцем, древняя матрона!

Макс был в Париже свой, не кто попало,
живой типаж Латинского квартала –
Марго и обронила честь свою.

Пан брызжет счастьем. Но судьба такая –
жить, призрак тонкой Гретхен упуская,
объединяя всех в своём раю.

XI.
Объединяя всех в своём раю,
Елена (мать) звалась великой Пра.
Кормила люд амброзией с утра
в сапожках, шароварах: “Я в строю.

Орлиный профиль, красоту свою –
в табачный дым. Я вся уже вчера.
Сегодня – Макс, рождённый мною Ра.
Сурова внешне, я юдоль сдаю

прохожим странникам. У щиколоток льва
гляжу, как горькая полынная трава
с главы его летит мне на седины.

Германско-запорожских Макс кровей.
Его усыновили суховей
и Русь – в устах живущая былина".

XII.
И Русь – в устах живущая былина,
и Франция – культурный Монпарнас, –
свидетели, как богатырь Пегас
ваялся Максом из подручной глины.

Сам бандурист, гусляр, свободный инок,
Волошин знал тягучий русский сказ,
куплет французский – пляж пускался в пляс
и сок стихов жал из аквамаринов.

В гражданскую проклятую войну
Макс (зря?) ничью не выбрал сторону.
Он стал за мать, которая невинна

в сыновних распрях. Белый, Красный брат
сливались в розовом. И Русь, простой солдат,
дышала жарко в спину исполину.

XIII.
Дышала жарко в спину исполину
история житий, вождей, вожжей,
убийства в Угличе, раскола, мятежей,
"кровавых воскресений"... Стаей длинной

слетелись в Коктебельскую долину
за Максом мифы, для живых уже
открылся грот... Ликуя, жен, мужей
встречал Волошин свистом соловьиным.

Лилит (?) болит в груди, где холст-рубаха
в крови от сердца. Сам, из горстки праха,
создал он Еву. Но любовь ничью

так не ценил, как зов земли-константы.
О чём шептали крымские атланты
живущему у мира на краю?

XIV.
Живущему у мира на краю
и с миром отошедшему – раздолье...
Он не терпел преграды, копья, колья,
лишь – горы, море, степь и слов струю...

При жизни видел крымский Гамаюн
свой лик-гору на Чёрном море. Солью
покрыты веки, лоб тяжёл... Весло ли
рыбарь замедлит, думы взяв в ладью?..

Могила в самом сердце Киммерии.
Вкруг Феодосия, Судак и дух Марии,
второй супруги, плачут здесь втроём.

Могучее в глубинах моря тело.
Над Коктебелем снова Солнце село,
и стала сила Слова серебром.

XV.
...И стала сила Слова серебром
седой полыни на кудрях у Пана.
Киммериянину Максимилиану
со дна морского вышел Крым как Дом.

Суровый Коктебель спит добрым сном,
земля нагая стала легче манны.
Волошин нежно пестовал титанов,
рисуя сердцем, кистью и пером.

В хитоне, босоногий, всевлюблённый,
Макс сочинял извечные законы,
объединяя всех в своём раю.

И Русь – в устах живущая былина –
дышала жарко в спину исполину,
живущему у мира на краю.

Автоэпитафия

Я – камень – не тяжёл ли для неё,
Чьи хрупкие останки подо мной?..
Ей мал был и высокий окоём,
И сердце, и безоблачный покой...

Она любила изнутри сиять!
И знала, кто ей лучшие друзья:
Язык, поток людей, златая прядь,
Взгляд к небесам и поневоле – я...

Юруслан БОЛАТОВ

Болатов Юруслан Харунович. Поэт, общественный деятель. Пишет на трех языках. Главный редактор общенационального карачаево-балкарского журнала «Аланы».

Живет в Нальчике.

Балкария: Гимны.

Цикл стихотворений.
Балкарскому художнику Ибрагиму Занкишиеву и Человечеству посвящаю

I

Балкарии таинственное имя
Оберегаю в нежной тишине
Под ливнями снегов средь ярких гор;
Поистине ты Господом хранима,
Отчизна света, как мила ты мне,
Здесь предо мной – возлюбленный простор.

II

Балкария – не меркнет это слово,
День ото дня оно всё ярче, ярче;
Не потому ль с отечеством сурово
Обходится сей мир, чьи дни всё жарче –
Средь тьмы безжалостной, но обречённой,
Среди судьбы – немой, но изречённой.

III

Твои озёра – синь твоих очей,
Страна цветных космических лучей,
Поэтов, прилетевших с ярких звёзд,
Их путь к планете – бесконечность вёрст,
А их *калам* – литературный меч,
Немое зло способный вдруг рассечь.

IV

Балкария! Ты гимном возродилась -
Во славу он и Неба и Земли!
О мой Народ! С тобою возвратилась
Мечта всечеловеческой семьи
О новой жизни на своей планете,
Чтоб никогда не умирали дети.

V

Ты созидал возвышенный протест,
Ты воскрешал безжизненную Правду,
И ты творил надежды Эверест,
Державший неба свод в сей низкий век;
О Ибрагим! я повторяю: прав ты!
Ты прав, ты прав, балкарский человек!

VI

Святой Отчизны ясный, добрый лик,
Страна *достойна* утреннего света,
Не одного великого поэта
Был голосом её родной язык,
А их встречали здесь артист, художник
И на тропинках тонкий подорожник.

VII

Гляди скорей: Балкария . в огне!
Но то – огонь невидимый сердец,
Он радостно пылает и во мне.
Кто я? Отчизны пламенный творец!
Симфонией в божественной Вселенной
Она звучит, поэзией нетленной.

VIII

Балкария! Ты воссияла вновь –
В коварной мгле предельного столетья;
Ты – существительное, междометье,
Глагол, надежда, вера и любовь;
Я знаю, по Земле пройдут века,
А ты всё так же будешь высока.

IX

В твоих ущельях вечный ветер веет,
И, полон нежности, он розовеет,
Касаясь новой тайны ледника,
В котором – неизбывность родника
И судьбы Мирового Океана.
О Родина моя! Как ты желанна.

X

В тебя драгоценное небо глядит –
Ты чистая правда высокого неба;
А клин журавлей, что, белея, летит,
Сегодня возжаждал высокого хлеба;
Балкарии горы – ступень доброты,
Душевной, величественной Красоты.

XI

Когда я родился и был на свету,
Кто знал, что такую любовь обрету,
К тебе, мой родимый, торжественный край?
Во мне торжествующим гимном играй;
Открой мне вселенную доброго чувства;
Для жизни земной – неземное искусство.

XII

Отчизна, священная матерь моя,
Я многие видел на свете края.
Иду по камням твоих чистых долин
И кажется, я неземной исполин -
О мать, ты даруешь такое сознанье...
Нам карлики духа желали изгнанья.

XIII

Малкар, Холам и Безенги,
Чегем, Баксан – до Карачая.
Эльбрус, ты обнял нас, венчая,
О, Радости Гора – Минги!
И тайну древнюю твою
Хранит Народ в своём краю.

XIV

Балкария! Новые гимны пою
И будущность в них прозреваю твою:
Мне видится средь перламутровых скал
Всё то, что Народ наш от века искал;
Мне видно: грядущее ждёт воплощенья,
А прошлое... кажется, просит прощенья.

XV

Грядущее жаждет быстрей воплотиться
И в вас отразиться, балкарские лица;
Сойдёт на вас отсвет космических гор,
И новую ширь обретёт кругозор;
Любовь, что к землянам в Народе хранили,
Свободно нести нам дано будет в мире.

XVI

Я говорю Кязиму и Кайсыну:
Возрадуйтесь – Балкария жива!
Порой её ввергают в лжи пучину;
Но перед жизнью Правды – ложь мертва.
Конец времён: насилье, смуты, споры...
Стоим – лицом к заре, как наши горы.

XVII

В горах идёт-сияет белый снег –
Светлее стало на душе моей;
Балкария! Твой сын, твой человек,
Хочу прожить здесь много тихих дней,
Наполненных великой тишиной...
Что разразится гимнами над
Северной Страной!

XVIII

Я слышу гимн, не слышный никому,
Он здесь – внутри меня, внутри ущелий,
Он – в доме, и - в реке, и он – в пещере...
Он слышен мне и Небу одному.
Ты Будущему гимн, страна рассвета!
Балкария, ты на века воспета!

2006 г.

Алуа ТЕМИРБОЛАТ

В 1996 году с отличием закончила бакалавриат филологического факультета Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби, получив академическую степень бакалавра филологии по специальности «Русский язык и литература». В 1998 году с отличием закончила магистратуру и получила академическую степень магистра филологии по специальности «Литература народов зарубежных стран». В ноябре 2001 года защитила кандидатскую диссертацию по теме «Художественное время и пространство в прозе А. Кима». Доцент литературоведения. Докторант. С 2002 года работает на кафедре теории литературы и фольклористики КазНУ имени Аль-Фараби. Обладатель стипендии Президента Республики Казахстан и Государственной стипендии для талантливых молодых ученых. Жизненное кредо: Стремись к гармонии во всем! Доброта спасет мир!

Любимый писатель – Чингиз Айтматов.

Вспоминая Прагу

Злата Прага – злата тайна...
Злата Прага – это сказка...
Карлов мост,
Река течет,
Лодка медленно плывет...
Волны плещутся о берег...
Мгла ложится на окрестность...
Где-то высится вдали
Башня Вита,
Бьют часы...

Март 1997 года

О сущности красоты

Мы часто произносим слово «красота».
Мы говорим: «красивые глаза»,
«Красивый человек», «красивая душа»,
«Красивый дом», «красивая пора».

Но между тем, если спросить, что значит это слово,
Ответить на вопрос не каждый сможет.
Понятие красоты настолько сложно,
Что выразить его одним лишь словом невозможно.

Ведь красота – тепло и свет нашей души,
Тот идеал, к которому стремимся мы,
Та песня, что поет нам сердце,
Определяя наши взгляды, представленья.

Сквозь призму красоты мы постигаем мир,
Она преображает нашу жизнь.
Она – залог всех наших начинаний,
Основа творчества и созиданья.

Июль 2000 года.

О поэте

Поэт – изгнанник в этом мире.
Он вечно бродит по Земле
Один, в надежде, что своею лирой
Откроет людям тайны все.
Он к ним спешит с открытым сердцем,
Борясь с невзгодами в пути,
Чтоб объяснить, в чем смысл жизни
И назначенье человека на Земле.

Март 1999 года

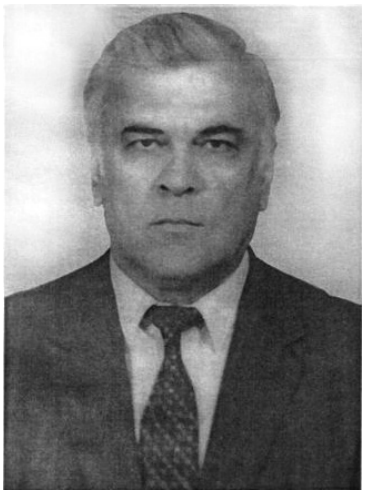
Письмо другу

Не грусти, мой милый Друг,
Все плохое ты забудь!
Жизнь полна чудесных красок,
Неизведанных загадок.
Нужно просто мир любить,
Каждый миг судьбы ценить,
Нужно радоваться встречам,
Мимолетным, быстротечным,
Нужно солнцу улыбаться,
Небу, звездам удивляться,
Нужно душу приоткрыть,
Мир людей в нее пустить,
Нужно верить и мечтать,
Свет дарить и созидать.

Не грусти, мой милый Друг,
И плохое ты забудь!
Все проходит, исчезает,
Как мираж, что в дымке тает,
Боль сменяется удачей,
Горе – радостью и счастьем.
Нужно лишь надеждой жить
И всегда стремиться ввысь.

Июнь 2005 года

Эльдар ГУРТУЕВ



Гуртуев Эльдар Бертович (1935г.) – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, родился в семье одного из основоположников балкарской литературы, Народного писателя Кабардино-Балкарии Берта Измаиловича Гуртуева.

Произведения Эльдара Гуртуева в различных жанрах прозы во многом определили её развитие на пути самобытности и национального своеобразия. Они хорошо известны не только в Кабардино-Балкарии, но и далеко за ее пределами. Общий тираж его книг давно превысил миллион – редкое достижение для литературы республики.

«Народ, народная жизнь со всеми его поворотами, невзгодами и радостями, сложностью и противоречивостью есть главная тема писателя. Эта проза не «деревенская», но героическая, склоняющаяся в земном поклоне к стойкости маленького горского народа, сохранившем, несмотря на жестокие удары судьбы, свои лучшие качества. Писатель всячески оберегает свою прозу от излишней аффектации, но сквозь скупость изобразительных средств просвечивает высокая страстность писателя, отстаивающего идеалы и ценности народного духа.

Прозе Эльдара Гуртуева в высшей степени присуще чувство истории, ощущение движения народной жизни, её постоянных перемен. Писатель, крайне чуткий и внимательный к глубинным течениям жизни, судьбой своей изведавший все перипетии исторического бытия народа, исследует жизнь в реальных противоречиях её осуществления, в непростой взаимосвязи исторического и метафизического. Он всматривается в жизнь не с холодным любопытством аналитика, не с высоколобой отчужденностью всезнайства, но с той глубокой страстностью, с тем глубоко личным, печальным или радостным чувством, которое и отличает подлинного художника» (Александр Царикаев).

Серенада в ночи

Рассказ

Валл Ленгард круто отличался от своих одноклассников не только смешным говором, хотя его изложения по русскому отмечались высшими отметками. Не степенностью, мало свойственной его возрасту, и не внешним обликом был знатен синеглазый блондин с золотистой шевелюрой да едва заметными белесыми бровями. На фоне кожи с густым загаром все это делало Ленгарда похожим на фотонегатив, где, как известно, все наоборот. Он, впрочем, и сам порой любил подчеркнуть свою «негативность», надевая в летнюю пору летнюю рубашку да светло-серые холщевые брюки.

И все же главным отличием Ленгарда было другое. Он умел играть на скрипке. Стоило ему коснуться смычком трепетных струн, как тонким ручейком разливалась удивительно нежная и всепроницающая мелодия. Чудные звуки, сливаясь и выстраиваясь в одно целое, превращались то в задумчиво-печальную, то в игриво-веселую песенку без слов. И всем становилось хорошо и сладко от «поющей» скрипки Ленгарда.

На школьной самодеятельности «скрипичный номер» молодого музыканта ставили в самый конец программы. Как это бывает с номерами самыми удачными, наиболее совершенными.

Белобрысый голландец Ленгард был всеобщим любимцем многоликой школьной братии. О том, как он оказался здесь, в знойном азиатском поселке, никто толком не знал, разве что местный спецкомендант, опекавший переселенцев с Кавказа и Поволжья.

Оказался же Ленгард в этих краях по чистому, как он объяснял, недоразумению.

А было так. Давно, еще при императрице Екатерине Второй, на берегу Волги вместе с немецкими переселенцами оказалось и несколько голландских семей. Полюбили они новую родину, обосновались, обустроились. Дружбу водили с соседями да верой-правдой служили империи, законными гражданами которой себя считали.

Трудные дни случались и у немцев Поволжья. Но они стойко переносили невзгоды и радовались, когда судьба дарила им удачу и мир. Но всеобщая беда, скосившая народ под корень, пришла вместе с великой войной, которую затеяли их дальние соотечественники. Злые силы погрузили волжских немцев в вагоны-товарняки и отправили на восток.

По воле жестоких воителей и голландская семья угодила в черные списки выселяемых. Как известно, совершить ошибку часто бывает легче, чем ее потом исправить, тем более в жестокую пору войны. Если совершивший ее к тому же хозяин положения, а потому никак не может ошибиться.

Но папаша Ленгарда был не только замечательным музыкантом в филармонии города Энгельса. Он оказался чрезвычайно принципиальным да темпераментным сверх меры. Потому стал шумно доказывать чиновникам всесильного департамента, что он не имеет никакого намерения выселяться и по национальности он не немец, а голландец. И разница между этими понятиями знает, мол, любой школьник. Или такой тон оскорбил всегда правых чекистов, или неожиданное упрямство этого долговязого музыканта, но когда он употребил нехорошие слова, вроде «произвол», «беззаконие» и им подобные, музыканта, недолго думая, отправили на восток, но отдельно от семьи и в более холодные края...

Юный Ленгард, искренне веря во всесилие справедливости, не терял надежды когда-нибудь вновь увидеть своего отца и бережно хранил бесценное сокровище – сладкозвучную скрипку мятежного родителя.

Энергичная и жизнерадостная мамаша теперь сильно загрустила. Но и она, видимо, не теряла надежды, не опускала рук, а этими руками стала зарабатывать на жизнь себе и своему белокурому сынишке. Она стирала и гладила, шила и вышивала. А по вечерам зеленым абажуром негромко пела и тайно гордилась успехами сына-школьника.

Мальчик, явно унаследовав отцовский дар, хорошо играл на скрипке. А тополя, высокие, стройные, в эти мгновения, казалось, приглушали густой шелест листвы. И стремительные воды арыка замедляли свой бег, чтобы насладиться дивным журчанием такой чистотой, лунной мелодии.

В дальней дали, в киргизском поселке звучала «Серенада» Шуберта. Мать в эти минуты откладывала работу и, слушая мелодию, в мыслях уходила в те давние дни, когда молодой и красивый музыкант – Первая скрипка – играл именно эту чарующую мелодию. Это было...

- Я хорошо разучу «Серенаду», и отец будет доволен, - сказал Ленгард. – Я постараюсь.

- Да, сынок, - вздохнула мать. – Только когда же он нас найдет и приедет? Не станет ли наше ожидание бесконечным...

Невыносимо знойные дни сменялись прохладными лунными ночами. А из окна барачной комнатки разливалась задумчивая и нежная мелодия любви, мелодия мечты. Она звучала тихо, словно боялась спугнуть эту трепетную тишину. Но слышна была в ночи на всю округу. И не было более звуков в этом зачарованном мире. И утомленная земля, и юная луна слушали, внимали «Серенаде»...

По соседству жила женщина безрадостной судьбы, одинокая, уставшая и обозленная. Она с рассветом уходила на работу и приходила поздно. Частые попойки с подружками и душераздирающие песни из лагерной жизни утехи ей не приносили. Ее раздражала и эта суетливая «фрицева дочь», отказавшаяся от пьяного «девичника», эта «чистюля» со своими чересчур ухоженными цветами в крохотном своем палисадничке. И даже ее белобрысый худосочный сынок раздражал соседку. А теперь ее израненную душу стала терзать эта бесовская мелодия. Ей казалось, что всепроникающий голос скрипки просто издевался над ней. Смотри, мол, какая гармония и нежность витают в ночи, а ты, непутевая и злая, не можешь найти выхода из своего серого бытия. Порой, думала женщина, музыка пытается ее жалеть и даже требует поверить в возможное счастье. Но она тут же отгоняла эту «жалость». Женщина была еще и гордой. Но больше – злой.

- Ну когда прекратится это проклятое пиликанье! – раздался ее отчаянно-надрывный голос. – Ну нет покоя ни днем, ни ночью...

Но «пиликанье» прекратилось тут же. Хотя было не так уж поздно, и большинство окон длинного барака еще светилось.

Поутру мать музыканта, встретившись у калитки с соседкой, извинилась за доставленное беспокойство. Это, впрочем, прозвучало для той лишь как издевка. Соседка не ответила. Молча одарила мать музыканта недобрым взглядом.

- Она злая, - сказал Ленгард за завтраком.

- Она несчастна. У меня есть ты, а у нее – никого. Мы живем надеждой на возвращение отца. У нее же нет никакой надежды. Мне очень ее жаль. – Мать улыбнулась, погладила мягкие белесые волосы сына.

Ленгард вдруг впервые обратил внимание на болезненную бледность лица матери, на темные круги под глазами.

- Мама, ты плохо выглядишь. Оттого, что много работаешь. Теперь работать буду я. Меня примут – уже не маленький. А тебе нужен отдых, понимаешь?

- Нет, мой мальчик. Еще пару лет хотя бы нужно тебе учиться. Я этого хочу. Так надо.

- Ты не болеешь, мама?

- Даже не знаю... - улыбнулась мать. – Но есть еще силы. Ты, сынок, за меня не волнуйся.

Она стала быстро худеть. Сын помогал дома чем мог. Утюжил выстиранное белье, разносил его. Сам ходил в районный центр за лекарствами, что выписывал фельдшер местной амбулатории. Но мать таяла на глазах...

Когда Валл Ленгард пропустил и день, и два, и все три дня занятий, в школе забеспокоились. Это, мол, не похоже на Ленгарда. Решили навестить, выяснить, не заболел ли. Но следующим утром он пришел в школу сам.

Первым уроком оказался немецкий. Вместо литературы. У Ленгарда с «немкой»

отношения были несколько натянутыми. Дело в том, что ученик слишком хорошо владел этим языком и на уроках со сплошными склонениями и спряжениями он начинал позевывать. А на замечания учительницы отвечал на чистейшем немецком, ставя этим в неловкое положение и учительницу. И весь класс. Когда же ответ сопровождался снисходительной улыбкой, «немка» теряла самообладание.

На этот раз она начала урок с замечания Ленгарду.

- Не могли бы, Валл, объяснить, почему вас не было на прошлом уроке? Или вы совсем заскучали на моих уроках? Потрудитесь дать объяснение.

- У меня была уважительная причина, - потупил взор Ленгард.

- Знаем мы эти причины...

- Не знаете, - грубо прервал ее Ленгард, но уже по-немецки.

- Хватит паясничать! Объясните по-русски, чтобы всем было понятно!

- Да, да... - извинительным тоном сказал Ленгард. – Дело в том, что у меня случилось большое несчастье. У меня умерла мама... Единственная и любимая, - добавил он чужим голосом.

В классе наступила тишина.

- Прости, дорогой, мы не знали, - только и смогла произнести «немка». И не зная, как далее вести себя, спешно вышла из класса, на ходу доставая платочек.

- ...Теперь я вроде совсем сирота, - с горькой усмешкой закончил Ленгард печальный рассказ. – А вас прошу приходить ко мне. Приходить почаще. Когда сможете...

Одноклассники стали приходить к осиротевшему товарищу. Ребята рассаживались и старались рассказами, разными историями хоть немного рассеять тоску своего друга. Он кивал и улыбался. Но глаза его были полны печали и безысходного горя.

- Много лет тому, - сказал однажды Ленгард, взяв свою скрипку, - один юноша сыграл для возлюбленной «Серенаду» Шуберта. То были мои молодые родители. Мама очень любила отца. И «Серенаду» любила... Я попробую ее сыграть, а вы послушайте.

Друзья переглянулись. Со дня кончины хозяйки обители не прошло и месяца, поэтому уместно ли было в комнате, полной печали и тягостных воспоминаний, играть музыку? Но полилась мелодия, одинокая и грустная, словно во всем огромном мире и не было ничего, кроме нее, этой заблудившейся во мраке ночи песни любви и верности. Она все набирала силу, звучала уверенней, а друзья музыканта слушали...

Утром Ленгарда разбудил энергичный стук в дверь. Он оделся и вышел навстречу ранним гостям. Помощника коменданта Ленгард узнал сразу. Это он крепко предупредил Ленгарда, что ему предписано приходить в это роковое заведение ежемесячно, чтобы расписываться. За нарушение режима пообещал отправить «белобрысого фрица» к белым медведям. За лейтенантом показалась плутоватая физиономия неугомонной соседки. Как догадался Ленгард, службиста вызвала она.

- Валл Ленград, это ты собираешь сюда своих дружков и устраиваешь концерты в неурочный час, мешая труженикам отдыхать? – сказал лейтенант, осматривая комнату, словно искал, к чему бы придраться, чтобы оправдать свой столь ранний визит.

- А ведь что обидно: совсем недавно схоронил свою мамашу, царство ей небесное, и вот те на – «концерты», - затараторила соседка. – И музыка бы была человеческой, а то пиликанья, мяуканья...

- Что вам от меня надо? – сурово спросил Ленгард.

- А ты про музыку скажи. О каких «мяуканьях» говорит гражданка? – стал напирать лейтенант.

- О Франце Шуберте, о «Серенаде» говорит гражданка, - ответил Ленгард.

- Что это еще за серенада и кто такой этот Франц?

- Трудно это вам в двух словах объяснить...

- Ах вон ты как заговорил! А я-то тебе вмиг разъясню. А ну, подай сюда твою бандуру!

Соседка ловко сняла скрипку с гвоздя и подала возмущенному службисту. Ленгард даже немного растерялся, подумав, что лейтенант намерен сыграть на инструменте. Но тот размахнулся и ударил скрипкой о железную спинку кровати. Тихо застонав, погасла струна разбитой скрипки...

Ленгард замер. Глаза цвета летнего неба вдруг стали серыми, и взгляд, полный негодования и презрения к службисту, замер на мгновение. Лейтенант, далее ничего не говоря, круто повернулся и направился к выходу, не заметив крупной слезы, застывшей на худой щеке ошеломленного музыканта. Он спешил...

- Постой, милый начальник! – бросилась за ним соседка. – Просьба имеется. Похлопочи, пожалуйста, чтобы эту комнату передали моей подружке. А то как мужик выгнал, и ходит бесприютная, по общежитиям мотается.

- А с парнем как? – замедлил шаг лейтенант, направив на женщину недобрый взгляд.

- Ну, с ним-то... как полагается. В ФЗУ или детдом, или еще куда. Пока в бардак не превратил комнатку-то. А, начальник?

- Пошла вон, дура! – сказал лейтенант и, поправив портупею, заспешил прочь.

Вечером Ленгарда вновь навестили друзья. Первое, что они увидели – это была разбитая скрипка. Она лежала на столе. Струны были разорваны. Отрешенный взгляд, бледное лицо музыканта говорили, что он выплакал свое горе по ушедшему другу его печального одиночества. Что плакать далее было бессмысленно, и надо было что-то предпринять. Починить скрипку было невозможно. Выбросить, как ненужный хлам, тоже не получалось. Завещано же было хранить. Но не хоронить же ее как человека...

Ленгард не знал как поступить, как жить дальше тоже не знал. Ничего путного не смогли подсказать и ребята. Они все утешали, утешали. Неожиданное предложение сделала Мария, одноклассница, восторженная поклонница музыканта. «Давайте, - сказала она, - обломки скрипки и выставим в школьном музее, как наглядное свидетельство варварства, вандализма, если хотите». Предложение нашли интересным, но ... решили посоветоваться с преподавателем литературы Русланом Бековичем.

Тема разбитой скрипки стала в школе первейшей. Все шумно возмущались, грозились, клеймили. На ближайшем педсовете скрипка оттеснила на второй план все иные темы. Было похоже, что учителя, а вместе с ними и ученики сейчас же походом пойдут на обидчика. Пойдут и отомстят за всеобщего любимчика, за своего белобрового Ленгарда. Люди были возбуждены, а не свойственный обществу подъем, впрочем, не сложно было понять. Событие это совпало с другим не менее важным событием. Газеты писали, радио повторяло одну и ту же неожиданную весть. Сообщалось об аресте всемогущего главы «ломателей скрипок». Вся страна была в тревожном ожидании. «Что же теперь будет?» Но в одном были люди уверены – жизнь должна круто измениться. А может, начнется долгожданная «оттепель», о которой заговорили сразу же после кончины «вождя всех народов».

Оттого и осмелели учителя акбулакской средней школы. Но «марш на органы» все же не состоялся. Директор сказал, что «скрипкой обуха не перешибешь» и надо думать не о возмездии с непредсказуемым результатом, а просто купить Ленгарду новую скрипку. Собрать денег и купить. Что может быть проще? В столичном универмаге полно самых разных музыкальных инструментов, в том числе и скрипок всех мастей.

Это решение окрылило всех, но не Ленгарда. Уж он-то знал, что ни одна «магазинная» скрипка не может заменить отцовскую. Он как-то говорил, что инструмент этот старинный и сотворен знаменитым австрийским мастером Мейснером. А династия мастеров этой фамилии восходит, мол, ко времени великого Страдивари.

- Не грусти, Ленгард. Ты все равно победишь судьбу. Ты молод и талантлив. А это – главное, - утешал Руслан Бекович.

- Я больше не буду играть, - проговорил Ленгард. – Значит и скрипки не надо...

- Это не мужской разговор, - сказал Руслан Бекович. – Этого хотят черные силы. Ты талантлив и непременно должен победить. Себя самого тоже. Я в тебя верю...

В универмаге выбор был настолько велик, что Руслан Бекович даже растерялся. Единственное, что он мог предложить, это купить инструмент подороже. Наивный Руслан Бекович

полагал, что если дороже, то обязательно лучше. Не нравились «магазинные скрипки» Ленгарду. Он находил их звучание каким-то холодным, чужим, безжизненным. Занервничал и Руслан Бекович. Ему начинало казаться, что Ленгард просто капризничает, или воспоминание о собственной скрипке мешает привыкнуть к другой. Впрочем, так оно и было. И ничего нельзя было с этим поделать. Оба они собрались было уходить, как к ним подошел высокий мужчина в очках. Он долго извинялся, а потом представился музыкантом филармонии.

- Я понимаю ваше состояние, - начал незнакомец. – Но не столь безвыходно ваше положение. Юноша, я вижу, знает толк в инструменте... Но эти ширпотребовские фабричные скрипки не могут полностью удовлетворить потребности настоящего музыканта.

Так что вы предлагаете? – сказал Руслан Бекович, который не любил длинных предысторий.

- Я предлагаю купить. Мы тоже здесь покупаем.

- Так как вас понять, уважаемый? – удивился Руслан Бекович.

- Это как бы полуфабрикат. Но здесь недалеко живет старый мастер, который умеет доводить инструмент до кондиции. Он, уверяю вас, даст скрипке хорошее звучание.

Сказав это, опытный музыкант сам стал выбирать. Он пробовал, прислушивался, «тренькал» пальцем, словом, изучал вещь самым основательным образом. Наконец он сыграл. Руслан Бекович был в восторге, а Ленгард в растерянности. Профессионал играл профессионально, и это было видно и слышно.

Но сам музыкант, было похоже, особого восторга не обнаруживал.

- Теперь давайте покажем это «чудо» Иосифу Абрамовичу. Уж он-то оценит. Запишите адрес. Берет за работу недорого, человек чрезвычайно добросовестный, задушевный я бы сказал. Удачи вам, - откланялся музыкант.

- А может, не стоит никуда ходить, - сказал Ленгард. – Инструмент как инструмент. Я же не собираюсь в филармонии играть...

- Ну что за бескрылый человек, - стал горячиться учитель. – А чем они в этой филармонии лучше тебя? Опыта побольше да лысины на макушках? Ежели возмечтал летать, так орлом надо парить, а не воробышком чирикать. Валл Ленгард, ты будешь знаменитым музыкантом. Если, конечно, не будешь безвольной тряпкой. Талант без воли это... это – размазня. Понимаешь ты, шайтан белобрысый?

- Понимаю, понимаю. Буду музицировать в филармонии. Потом поеду в Москву. Потом – в Вену, чтобы поклониться памятнику Шуберта...

- Вот это мужской разговор! – оживился Руслан Бекович. – Правда, ты учиться тоже, наверное, собираешься. А так все верно. Только об одном не забудь... - задумался учитель.

- О чем же?

- От меня тоже положишь цветочек. Так, мол, и так, скажешь, его «Серенаду» и «Аве Марию» любил один учитель в далекой Средней Азии.

- Ясно. Теперь дело за малым. Нужен инструмент. Идем к мастеру...

Небольшой домик под красной черепицей ничем особенно не выделялся среди множества таких же домов старого центра города. Пара окон со ставнями да свежевыкрашенная дверь с козырьком. Но это была обитель скрипичных дел мастера Иосифа Абрамовича. Военное лихолетье забросило старого одессита в Среднюю Азию. Мастер, которого каждый знал на знаменитой Дерибасовской, который некогда был душой шумных компаний молодых музыкантов, теперь страдал от одиночества. Хотя, справедливости ради надо сказать, местные музыканты знали этот уютный домик с таким же уютным двориком и гостеприимным хозяином.

Руслан Бекович робко постучался в дверь. Иосиф Абрамович внимательно оглядел гостей, ответил на приветствие и, заметив в руках подростка футляр, пригласил обоих в комнату.

- Проходите, пожалуйста, проходите. Не обижайтесь, что заставил ждать. Мальчик, который обычно мне помогает, еще не вернулся из школы... А я нынче уж не такой проворный. Но было время, когда ваш покорный слуга был совсем другим. На Приморском бульваре юные барышни при встрече со мной роняли зонтики. От восторга, осмелюсь заметить...

Старый мастер, не прерывая своего рассказа, жестом усадил гостей, налил чаю из медного, изрядно помятого, чайника в почерневшие алюминиевые кружки. Вместо сахара предложил цветные «монпансье».

- Да, милые мои, какие были дни, какие годы... А теперь что? Пейте, пейте, чай, уверяю вас, отменный. Сейчас и пряничков принесу...

- Вы не беспокойтесь, Иосиф Абрамович. Мы к вам по важному и неотложному делу.

- Понимаю, понимаю. Ко мне все приходят по важному у неотложному. Нет, нет, я не обижаюсь... Сейчас, минуточку.

Руслан Бекович, начав издалека, поведал всю биографию мальчика и закончил печальной историей разбитой скрипки. Иосиф Абрамович не прерывал. Он лишь время от времени вытирал обширный лоб и повлажневшие глаза платком, продолжая кивать собеседнику.

Но мы не отчаиваемся, - стал закругляться Руслан Бекович. – Юноша этот весьма стойкий и напористый, я бы сказал. И не бездарный, в чем вы сами сейчас убедитесь. Можно сказать, даже талантливый. Думаю, из него получится толковый музыкант. Если мы, старшие, поможем...

Никогда доселе Ленгард не видел Руслана Бековича таким многословным. Но и торопить его не решался.

- Все понятно, - сказал наконец мастер, глубоко вздохнув. – Конечно же, поможем. Подайте-ка инструмент. Посмотрим, послушаем, на что он способен. – Он, правда, не уточнял, о чьих способностях шла речь: скрипки или музыканта.

Мастер коснулся струны сначала не смычком – пальцем. Послушал звуки, прикрыв глаза и приоткрыв рот. Потом покачал головой, потянулся к смычку. Руслан Бекович и Ленгард затаили дыхание в ожидании авторитетного заключения. Мастер сыграл небольшую пьеску и положил инструмент на стол. Он смотрел на скрипку, как врач-педиатр на немощного ребенка, решая, с чего начать лечение.

- Инструмент, милые мои, что человек. Славный может попасться и не очень. Иногда – ни то ни се. Так себе...

Из такой оценки трудно было определить качество купленной скрипки, и Руслан Бекович открыл было рот, чтобы попросить уточнить. Но мастер сделал жест, который призывал к терпению и отправился в другую комнату. Вышел с весьма потертым футляром в руках.

- Теперь, юноша, я покажу тебе другой инструмент, - сказал Иосиф Абрамович, извлекая скрипку из красно-бархатного чрева старого футляра. Инструмент явно отличался от «магазинного». Мастер сначала погладил скрипку, словно любимую кошку. Одарил гостей лукавой улыбкой. – Это, друзья мои, инструмент знаменитого австрийского мастера Мейснера, который творил полтора века тому назад. Его знали не только в Зальцбурге. Из Вены, из Берлина, даже из Милана приезжали к именитому вельтмайстеру. Таких уж ... - вздохнул Иосиф Абрамович.

Имя австрийского мастера взволновало Ленгарда. Он стал внимательно рассматривать скрипку. Она очень была похожа на ту, убитую.

- Вы сказали Мейснера? – только и вымолил юноша, не отрывая взгляда от творения австрийского мастера. Это имя он, конечно же, помнил, хотя и слышал-то всего лишь раз.

- Тебе, юноша, это имя о чем-то говорит? – поинтересовался мастер. – Где ты раньше слышал его?

- Отец говорил. Он так и сказал: «Возьми, мальчик, это творение великого Мейснера, известного всей Европе скрипичного мастера. Инструменту этому поди полтора века...» Наша была такая же, точь-в-точь. Ну как близнецы.

- Удивительно... - сказал Иосиф Абрамович. – Вот уже действительно мир тесен... Так ты сыграй на этой скрипке что-нибудь. А мы послушаем.

- «Серенаду», - подсказал Руслан Бекович. – Он эту вещь играет отменно.

- Хорошо, - согласился старый мастер. – Очень хорошо.

***

Ленгард, с трудом преодолевая волнение, прикоснулся к скрипке, знакомой и незнакомой. Так была она похожа на ту, погибшую. Мастер видел его волнение и не торопил. Наконец Ленгард, словно украдкой, стал входить в чудесный мир знакомой мелодии. Он уже не замечал сутулой фигуры мастера, тревожного взгляда Руслана Бековича... Он видел, слышал, чувствовал лишь нежное журчание мелодии...

Закончив играть, Ленгард опустил скрипку. А мастер не торопился с оценкой. Похоже, мелодия увела его в даль воспоминаний, и на мгновение Иосиф Абрамович забыл о своем госте.

- Хорошо... Замечательно, юноша, - сказал он наконец, вытирая лоб. – Воистину, Создатель, даруя тебе талант, был щедр и милосерден. А «Серенаду» я слушал и во Львове, и в Киеве, и в Одессе. А однажды в исполнении самого Давида Ойстраха... Нет-нет, я не хочу тебя ни с кем сравнивать. Но ты весь уходишь в стихию музыки, купаешься в волнах этой очаровательной мелодии.

И это так трогательно. Хотя вторая часть просит более энергичного звучания и более раскрепощенного... Впрочем, извини, юноша, это совет не маэстро, а всего лишь старого мастера.

- Вы, наверное, правы. Я поработаю еще, - смущенно ответил Ленгард. – А скрипка замечательная.

- Тогда и я тебе сыграю одну вещь. И ты тоже выучишь ее и сыграешь. Для меня. Вот, возьми ноты и следи.

Ленгард прочитал: «Моцарт. Реквием». Он еще не знал этой мелодии.

- Это переложение для скрипки. Постарайся хорошо выучить. А инструмент возьмешь с собой. Не тот. «Мейснера». Я ведь никому до сих пор не доверял эту скрипку. Но это так, к слову. Ты выучи и приезжай ко мне через месяц. А теперь послушай.

Иосиф Абрамович эту вещь не только хорошо играл. Эта музыка, видно, имела для него особое значение, была связана с каким-то очень важным событием, может быть, печальным. Сколько невыносимой тоски, рокового откровения было в этой музыке. И Ленгарду эта изумительная мелодия показалась пределом гармонии, совершенством звучания.

Закончив играть, Иосиф Абрамович тоже направил вопросительный взгляд на Ленгарда. Но восторг и удивление говорили сами за себя.

- И ты попробуй. Получится. Намного лучше, чем у меня получится. Потому что ты – музыкант. А тот инструмент оставь. Посмотрю, что выйдет из «магазинной скрипки», как вы ее невежливо назвали.

Ленгард со скрипкой в старом футляре, завернутом во фланелевый плед, вышел из дома мастера. А Руслан Бекович очень долго прощался с хозяином и не мог найти подходящих слов благодарности.

И Ленгард, и учитель, слегка озадаченные неожиданным поворотом дела, некоторое время шли молча. Почему мастер так легко и просто доверил свое сокровище, своего «Мейснера» в сущности малознакомому юноше? Почему надо готовить именно «Реквием» - эту чрезвычайно грустную музыку? И еще. Чудесная скрипка все время напоминала о той, о погибшей, и ему, Ленгарду, становилось невыносимо тоскливо и больно. И без того печальный мир юноши становился еще печальней...

Ленгард начал готовиться к необычному неожиданному экзамену без промедления. «Реквием» ему показался, конечно же, посложней «Серенады». Музыкант иногда чувствовал и сам какую-то тревогу, подспудный страх перед «Реквиемом», столь не похожим на ставшую своей, родной, «Серенаду».

- Честно говоря, мне совсем непонятен этот странный заказ, - сказал Руслан Бекович. – У нас же была другая задача.

- Все прояснится, когда сыграем, - бодро ответил Ленгард.

Завершился весьма напряженный месяц и музыкант отправился в город. На этот раз один. Руслан Бекович в такие дождливые дни страдал обострением болезни легких. Он лишь ободряюще помахал рукой своему ученику.

Тщательно укутав «говорящего Мейснера», Ленгард вышел на трассу. Не прошло и полутора часов, как Ленгард постучался в знакомую дверь. Открыл мальчик-школьник.

- Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, - сказал мальчик, проводя гостя через тесные сенцы. – Дедушка вас ждал. Ночью он почти не спал. Уснул только к утру. Все твердил одно и то же: вот, мол, корабль скоро достигнет причала, последнего причала. А сам такой грустный. Больно, наверное, ему.

- А доктора не вызывали? Если выписали лекарства, я тотчас побегу искать.

- Лекарств много. Да, видно, не помогают они. Совсем занемог дедушка. Из филармонии приходили, всякие фрукты приносили. А он ничего не есть. Ти-и-шь, кажется, просыпается. А вы присядьте вот сюда. Я принесу чаю.

Старый мастер проснулся. Не сразу узнал он Ленгарда. А когда узнал, улыбнулся, погладил руку гостя своей холодной ладонью.

- Хорошо, что приехал. Очень хорошо. А я, как видишь, совсем сдал. Исчерпался, можно сказать.

- Ну что вы, Иосиф Абрамович, вы всего лишь приболели. Скоро поправитесь, - пытался его утешить Ленгард.

Мастер тяжело вздохнул. Было похоже, что он и сам уже не верил в свое выздоровление.

- Дело, мой мальчик, идет к последнему концерту, и финальной партии, - грустно улыб-

нулся Иосиф Абрамович. – А ты будь стоек и терпелив в этой непростой жизни. Старый мастер свой концерт отыграл, завершил. На нескончаемом своем веку он испил немало горького и сладкого. Сладкого, как божественная молодость на Дерибасовской. А теперь... Если ты выполнил мою просьбу, я готов слушать. Сыграй, мой мальчик, сыграй, пожалуйста, а я послушаю.

Ленгард развернул фланелевый плед, извлек из футляра скрипку. Ноты оставил в стороне. Решил играть по памяти. Это получалось.

Старый мастер слушал, прикрыв глаза. Слушал так, словно вся жизнь была спрессована в этой торжественно-монументальной музыке. Казалось, он рассматривал ее закрытыми глазами. По слабой улыбке мастера было видно, что он доволен игрой Ленгарда. А может быть, и он в эти мгновения был во власти неземной музыки Моцарта и не думал об игре молодого музыканта. Он чувствовал себя послушной ладьей, которую торжественно несла эта дивная мелодия...

Комната погрузилась в неожиданную тишину. Старый мастер молчал, словно ожидая продолжения. Словно прозвучавшее было началом еще более мощного вала...

А Ленгард, затаив дыхание, смотрел на спокойные черты мастера, на бледный лоб уже немолодого человека. Он ждал и не ждал оценки, он не торопил. Старик взял его за руку. Руку, которая так уверенно держала смычок.

Я рад, что не ошибся, - сказал Иосиф Абрамович. – Эта скрипка была моим единственным сокровищем, и я не знал, кому ее оставить... Теперь появился достойный юноша, которого я давно ждал. Бери, мой мальчик, «Мейснера». Он тебя не подведет. Долгие годы будет служить. Ты будешь хорошим музыкантом. Я даже представил тебя на залитой светом сцене. В лучах всеобщего признания и звонкой славы...

- Не нужно этого говорить. И не спешите расставаться с инструментом. Вы сами еще долго...

- А ты слушай и запоминай. Просьба у меня имеется. Очень важная. Когда отправлюсь в вечный мир... тихонько сыграй эту музыку... А потом поручаю тебе стойко идти к своей цели. И меня иногда вспоминать. Мечтал я стать именитым музыкантом, а стал скрипичным мастером. Все ближе к музыке. А ты будь счастлив, мальчик...

В один из декабрьских вечеров в окружении таких же пожилых друзей старый мастер сделал последний глоток жизни и тихо угас...

Юный музыкант выполнил волю мастера. Слезы мешали играть. Но он играл, не стесняясь этих молчаливых мужчин и слез своих не стесняясь...

***

В школе и Руслан Бекович, и одноклассники были довольны, что Ленгард вновь обрел этот замечательный инструмент. Тот же «Мейснер», как объяснял Руслан Бекович, был завещан Ленгарду известным скрипичным мастером.

А скоро случилось событие, которое стало светлым началом «музыкальной судьбы» юного скрипача. На районной Олимпиаде школьников Валл Ленгард вышел победителем.

- Кажется, мой друг, твоя звезда зажглась. Наконец-таки... - восторгался Руслан Бекович, шумно поздравляя Ленгарда. – И многих она согреет, возрадует, озарит лица! – высокопарно изрекал учитель. – Но все это предполагает, точнее, потребует от тебя целых гор труда да океана собранности и усердия... Даже при твоем таланте. Но и всего этого будет мало, если не поедешь учиться в столицу. В Москву твой путь, в самую Москву, дорогой мой Паганини. – Последние слова он сказал так таинственно-загадочно, словно толкал юношу в опасную авантюру.

- Что вы, Руслан Бекович... - отмахнулся Ленгард. – Это уже из области сказок.

- «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» - вдруг запел учитель. – Нет, послушай сюда, рыжая твоя башка. Мир меняется прямо на твоих глазах. Злодеи наказаны. Грядет настоящая свобода. Хватай свою судьбу за хвост и не отпускай! – восторженно произносил свой причудливый монолог учитель литературы, а также пения и военного дела. – Время пашет на тебя и на таких, как ты. Чувствуешь?!

- Пока не очень, - виновато произнес Валл Ленгард.

- Это потому, что ты еще дурачок, а раз так...

- В любом случае не подведу, - сказал музыкант серьезно и торжественно. – Будет Олимпиада – еще одну грамоту цапну. Я ведь упругий. Как струна. Поверьте мне.

- Грамоты отставить. Теперь надо мечтать и мыслить шире. Теперь, братец, стратегия нужна. Уловил?

***

А теперь, друзья мои, - торжественно произнес седовласый профессор, едва пряча в усах лукавую улыбку, - позвольте огласить весьма добрую и приятную весть. Училище имени Гнесиных в этом году удостоено высокой чести. Шестеро моих юных коллег будут иметь возможность, я бы сказал, несказанное счастье, поехать на зарубежную стажировку. В самую музыкальную столицу мира – в Вену. Позвольте зачитать список счастливчиков, точнее сказать – самых заслуженных, коих долго и скрупулезно отбирала авторитетная комиссия:

По классу скрипки – Валл Ленгард...

Синеглазый белокурый юноша не смог сразу встать, как-то сник, хотя сосед энергично толкал его в бок. Слишком велика была радость, чтобы так, мгновенно осмыслить, осознать услышанное. Да, он в своем классе был «не из последних удальцов». Успехи не обделяли его, Ленгарда, «весьма и весьма даровитого коллегу», питомца знаменитого училища. Для Ленгарда учеба была радостью неутомимого пловца в ласковых волнах лазурного безбрежья. Что строгость седовласых маэстро, что легкие волнения перед экзаменами, когда была «одна, но пламенная страсть» - музыка! То задумчиво-таинственная, то игриво-легкомысленная, то стремительная, то нежная мелодия царицы-скрипки...Словно вся жизнь калейдоскопом пронеслась в это чудесное мгновение.

- Спасибо. Я вас всех люблю... - только и смог сказать Ленгард, когда понял, что это не сон, а явь. И вновь перед мысленным взором явилось дорогое лицо матери. Вспомнились Руслан Бекович, Иосиф Абрамович, школьные друзья. Из туманной дали памяти он услышал голос отца: «Будь стоек, сынок. Я верю, что ты станешь знаменитым музыкантом. Но ты будь стоек и терпелив...»

Ленгард вдруг вспомнил нечто важное, чрезвычайно срочное. Он помчался на почту. Так, мол, и так, дорогой Руслан Бекович, едем в Вену. Как вами было запрограммировано. Следующую весточку ждите с берегов «прекрасного голубого Дуная».

***

Степенный микроавтобус прошуршал по свежевымытому асфальту и скоро остановился на площадке возле сквера. Непривычно вежливая, редкостного обаяния хозяйка, озарив салон ослепительной улыбкой, взяла микрофон.

Уважаемые российские музыканты, дорогие наши гости. Вы сейчас находитесь в самом центре благословенной Вены. Перед тем как познакомить вас с достопримечательностями австрийской столицы, хотелось бы показать памятники великих композиторов.

В этом скромном домике были написаны последние сочинения несравненного Бетховена. Это его рояль. Это партитура его последней симфонии. Памятник композитору увидим позже на знаменитом венском мемориале.

-...Иоганн Штраус, король вальсов, как справедливо его называют. Он, как известно, бывал у вас в Петербурге. Памятны его концерты в Павловске, где композитор познал подлинный триумф. Памятник, который вы видите, считается самым замечательным творением зодчества в этом жанре.

Под сенью беломраморной арки, увитой цветами, стоял всеобщий любимец, кумир Европы, а смычок скрипки в его руке вот-вот коснется струны и польется, поплывет дивная мелодия «Сказок Венского леса».

Молодые музыканты остановились у другого беломраморного памятника. На постаменте золотом горели фамилия и имя великого композитора. И сам он напоминал сидящего на белом троне владыку, чей властный взор был направлен поверх голубого изгиба Дуная в дальние дали. Впрочем, едва заметная улыбка да широкий лоб делали его похожим более на пророка, чем на владыку.

- ...Франц Шуберт. Автор знаменитых «Аве Марии», «Серенады», многих других замечательных творений. Впрочем, вы и сами, наверное, хорошо знакомы с его божественной музыкой...

«Ну вот я и встретился, Маэстро, с тобой. Поклон тебе. Свершилось чудо, и я у ног твоих. Как далек я был от этого чудесного мгновения, от этой дивной сказки...».

Юноше даже показалось, что знаменитый композитор улыбнулся ему, Ленгарду. А мир был полон торжествующей весны и всеохватной мелодии любви. Волны «Серенады» катились по синей реке, по садам и скверам славной столицы музыки, взбирались на зеленые холмы Каленберга, где дремали в голубой дымке пышные липы и раскидистые каштаны Венского леса.

Дебют

Диана КАРАКОВСКАЯ

Казиева-Караковская Диана Ахматовна родилась в 1980 году. Окончила французский факультет Пятигорского государственного лингвистического университета. Преподает риторику в ПГЛУ. Подотовила к защите кандидатскую диссертацию «Структурно-семантические особенности карачаево-балкарских и русских заговорных текстов» по специальности «Общее и сравнительное языкознание».

Диалог с судьбой

Отрывки из поэмы

Хотя и сладостен азарт
по сразу двум идти дорогам,
Нельзя одной колодой карт
играть и с дьяволом, и с Богом.
Игорь Губерман

Старик
Ну, наконец-то, умираю...
Как ждал минуты этой я,
Сей грешный мир навеки покидая,
Пронизан счастьем, оставляя суетность земного бытия.

Устал я жить,
Устал страдать,
Устал любить,
Устал хватать
От жизни все, что мне она давала.
Давала, а порою отбирала.
В потерях жизнь всегда жестока –
В дарах – безумна и щедра.

Итоги жизни подводить я не желаю,
Судьба решила все сама.
Она одна в ответе, ей вручаю
Все то, что остается от меня.

А оставляю я немало...
Как мог – старался, создавал,
Что человек создать обязан,
Я долг свой честно исполнял.

Построил дом, взрастил детей,
Жил лишь для них, души в них я не чаял,
А что до совести и до души моей –
То высший суд решит, здесь я уж не хозяин.

Судьба:
Ах, боже мой, какие страсти!
Ну просто ангел во плоти.
Как ты, искусно притворяясь,
Лжешь сам себе. Ты посмотри –
Какие возгласы о долге,
Какие мысли о душе!
Ты не краснел от лжи при жизни,
Хоть перед смертью не греши.

Старик:
Кто ты? И что это за речи?
Кто обвинил меня во лжи?
Ты светлый ангел или демон
Пришел прочесть мои грехи?

Я вроде жив пока и рано
Моих ошибок счет вести,
Хоть и наделал их немало
Пока я здесь, они мои.

Судьба:
Ты человек из зла и блага,
Ты из порока и любви,
Ты полон чести и обмана,
Ты бес и ангел во плоти.

Душа твоя огромна и мятежна,
Душа твоя ничтожна и слаба.
Она, смеясь, все плачет безутешно,
А в горе ей смешно всегда.

Старик:
Кто может знать меня настолько?
С людьми я скрытен был всегда
Что ты за сила? Мне откройся!
Ты смерть моя? Уже пора?

Судьба:
Она придет в твой час, не сомневайся,
Ей пунктуальности не занимать.
Старуха с опытом, но, к счастью, я
Тебя успела раньше повидать.

Давай, поговорим, поспорим
Но только без обмана, не тая
Ни мысли, ни обиды, мы устроим
Большую исповедь, но только для себя.

Я не священник в рясе, ты не грешник.
Тебе не мать я, ты не сын.
Тебе не друг я, не соперник,
Я та, что провела с тобою жизнь.

Старик:
Тебя я плохо вижу, подойди же,
Дай мне поближе разглядеть
Твои черты, склонись пониже –
В глаза тебе хочу я посмотреть?

Судьба:
Смотри, но только не пугайся –
Мой лик уродлив, да и стар.
Твое начало я, но, ах, мужайся,
Я и конец твой...

Старик:
Судьба! Узнал, но как ужасна!
В тени ты вся и так стара
В тебе мои несчастья, неудачи... Небеса!
Зачем Вы мне ее послали,
Чем я такое заслужил?
Меня Вы ею много лет терзали...

Судьба:
Молчи старик, была прекрасна
Я у истоков твоих лет,
Свежа, чиста, а что ужасна
Сейчас, так это твой лишь собственный портрет.

Старик:
Нет! Не на тебя мой выбор падал,
Не для тебя дорогу мук топтал.
Ты не моя! Не мучай взглядом,
Предсмертный час мой для двоих нас мал...

Судьба:
Я не могу уйти, пока ты дышишь,
И разум твой еще в пути.
Так что позволь... Меня ты слышишь?
Совсем немного потерпи.

Старик:
Уйди!

Судьба:
Уйти, а как же ты?
Как без судьбы, ну, не молчи,
Ты говори, здесь мы одни.

Старик:
Ты говоришь, что мы одни
Да шутишь! Все собрались они, смотри!
Их взгляды душу прожигают
И заживо меня съедают.

Здесь тот, кого я обманул,
И тот, кому руки не протянул,
Его я предал, ни за что,
Для блага только своего.

Да выгони их всех ты к черту!
Иначе сам к нему пойду...

Судьба:
А помнишь ли, весной цветущей
Ты встретил девушку одну
То дар мой был тебе, прекрасней
Той девы юной не найду.
Счастливый, ты не ошибался,

Когда ей сердце покорив,
Ее ты перст кольцом украсил.

Меня ты все благодарил,
Любовь свою боготворил,
Ты на руках ее носил.
Границы счастья ты не видел,
Но год спустя ты изменил своей любви, ты не забыл?

Старик:
Такое я забыть не в силах...
Дочь иудея как огонь
Ворвалась в душу мне, сковала
Мой разум, тело и не смог я силу эту побороть.
А ты ей в этом помогала.
Мой путь к ней выстлан был тобой
Скажи зачем? Ведь ты же знала!

Судьба:
Я знаю все, даю я все,
Но выбор твой мне не подвластен.
Ты выбрал сам тот путь ужасный
Меня винишь ты здесь напрасно.

Старик:
Но я влюбился страстно пылко
И выбор ты мне не дала
Любовь ко мне ты привела!

Судьба:
Любовь?! Довольно не смеши!
Что называешь ты любовью
Смятенье разума, души? Как жалок ты!

Любовь, когда ты отдаешь и,
Отдавая, получаешь
Взамен все то, о чем мечтаешь.
Любовь и страсть они полярны
И путать их никак нельзя,
А страсть ты выбрал для себя
Ты ублажал свои желанья.

Старик:
Я ей дарил тепло и нежность

Судьба:
От этого еще смешней!
Ну как же ты так и не понял
Что бес попутал тебя с ней!
Он мне писал

Старик:
Кто?

Судьба:
Бес!

Старик:
О чем же?

Судьба:
Послушай, я тебе прочту.
Он шел с тобой и все смеялся
Твоей слезинкой каждой ублажался
И ими почерком ужасным писал мне про тебя:

Письмо Беса:
Ну что подруга, проиграла?
Опять страдала и мечтала,
Что человека ты приручишь,
Его спасешь ты и научишь
Пороков в жизни избежать,
И зло от блага отличать.

Тебя однажды ведь спросили
Когда две чаши бытия скрестили,
Что выбираешь для себя?
Но ты же – слабое создание,
Так выбрать ничего и не смогла.
Хотела быть всему хозяйкой
Хотела быть во власти... Получила
Ты вроде власть, а в сущности-то так... гроши.

Ты к счастью не наделена талантом
В ладони души собирать,
А знаешь, как это приятно, играть с душой, повелевать?!
Ведь тело-то убить не сложно –
Людская плоть она слаба
А душу изуродовать так сложно,
И власть тебе такая не дана.

Ну вот и результат твоих деяний.
Еще один никчемный человек.
Я только начал издеваться,
А он и сдался, вот глупец!!!

Глупец, как все земные твари
Лишь ты – наивное дитя,
Пытаешься помочь им, предлагая
Все новые изгибы бытия.

Когда поймешь ты, дорогая,
Что борешься ты не с людьми,
А с высшей властью и борьба с ней
Полна абсурда, как и ты.

Ну, полно, приустал я
Тебе про истины писать

Их объяснять я не желаю
Тем, кто не может их понять.

А человечка успокой ты
Он просто жертва вечной той борьбы,
Что держит этот мир прекрасный
Пройдет борьба – исчезнешь ты!

Он мне уже не интересен.
Он слишком слаб, душонкой мелковат
Его я отпускаю, будь он счастлив
То воля Бога, а Он, как нам с тобой известно, мне не враг.

Судьба:
Ну, вот и все. Письмо прочла я,
А бес опять в своей беде –
Словечко острое он подобрать умеет
И никого при этом не жалеет.

Меня назвал натурой слабой,
Уж лучше вспомнил бы себя!
Забыл он, как гонимый божьими лучами,
Просил приюта у меня?

Старик:
Вы словно люди!

Судьба:
Что несешь?
Ты видно тронулся слегка,
Как можно сравнивать людей
И высший разум? Ерунда!

Старик:
А Бес коварен!

Судьба:
И умен!
К порокам человека чуток.
Когда придет с ним встречи срок,
Совсем нам будет не до шуток

Бес:
Решил пораньше заглянуть
Терпенья не было дождаться
Хотя, я должен Вам сказать
Мне было чем в аду заняться

Судьба:
Еще бы, Бес, ведь дел по горло
В твоих поместьях вековых
Там даже грешным душам стало тесно
А ты все приглашенья шлешь,
Заманивая всех земных.

Бес:
Не буду я, подруга, повторяться,
В письме все ясно объяснил.
И спор с тобой, хочу признаться,
Не отнимает даже сил.

Старик:
Позвольте, я Вам не мешаю?

Бес:
Мешаешь ты? Да Бог с тобой.
Судьбе я тщетно правду объясняю,
Но лучше сохранить мне твой покой

Старик:
Скажи мне, Бес, где грань между добром и злом?
В чем разница меж грешным и святым рабом?
Как нужно жить, чтоб Божью благосклонность заслужить?
Чего не делать, чтобы тебе на свете том мне не служить?

Бес:
Ты любопытен, человечек!
Душонка дерзкая твоя!
Вместо того чтоб исповедаться пред смертью
Ты философствуешь о сути бытия!

Старик:
Не пред тобой ли душу раскрывать?
Тебе ль мне каяться в грехах несчетных.
Я с кем угодно смерть готов принять,
Но с бесом путь не буду разделять!

Бес:
Да, не в моей ты власти, но пока...
Как только переступишь бытия границу,
Все станет на свои места,
И ты поймешь, кто твой судья!

Ты смел, я знаю, и опасен,
Но это все осталось позади.
Ты этим жизнь свою украсил,
Но перед смертью помолчи!

Ты выбор свой давно уж сделал
С кем свой досуг загробный разделять.
Не словом умным, а лишь делом
Позволил нам ты все понять.

Старик:
Кому принадлежит душа?
Кто властвует над нашим телом?
Кому же служишь ты, судьба моя?
И кто вершит во всей вселенной?

Кто разделил добро и зло?
Кто знает, что такое счастье?
Кто прокурор, а кто судья?
И кто мне скажет, кто есть я?

Судьба:
Вопросы эти не ко мне,
Ответы все на них получишь, зову я ангела
к тебе.

Ангел:
Взывать ко мне Вам, нет нужды.
Я здесь, и внемлю ваши речи.
В ответ на них сказать хочу –
Они лишь разверзают пустоту.

И тайна этой пустоты
Всю жизнь людей сопровождает,
И счастлив тот, кто чашу бытия испив до дна,
При жизни осознает, как она полна.

Старик:
Ах, как же все это прекрасно –
Жить и не ведать истины простой,
Что все, что ты творишь абсурдно,
Что честь совсем не в доблести, иной
Я истины познать и не сумел,
При жизни это не дано. И правда
Лишь в том, что истины удел
Остаться тайной для земного пепла.

Но путь к познанью этой тайны –
Вот смысл главный бытия.
Непостижимая, в тумане...
Ах, как же ты влекла меня!

Я благодарен этой гонке бесконечной,
Разгадка тайны бередила кровь,
Из кубка знаний невозможно было мне напиться,
Она одна пытала мою плоть.

Но почему я одинок был так при жизни,
Никто не разделял моей тоски.
Они твердили, что смотрю на жизнь чрез призму
Лишь сумасбродности души.

Судьба
Скажи, что Бог есть для тебя?
Лишь тот, кто смотрит из-за тучи,
И посохом своим грозя,
Вершит судьбу твою, могучий?

Как представляешь ты Его?
Он лилипут или огромен?
Из плоти иль неощутим,
И как следит за всем, что мы творим?

Старик:
Представить эту силу невозможно.
Она для каждого своя...

Бес:
Но тем страшней она, чем проще
У человека разум и душа!

Ведь в вере в Бога больше страха,
Чем понимание его.
Непостижимость раздражает,
А страх оправдывает все.

Старик:
Ответа я не получил.
Слова без сути и без смысла.
Господь ничто и он есть все,
Господь нигде, и он везде?..

Судьба:
Ты близок к истине, Господь –
Ведь это пустота, – но он неисчерпаем.
Нет вида у Него, и формой Он не обладает.
Ты смотришь на Него, но ничего не видишь,
Ты слушаешь Его, но не Его ты слышишь.
Он прародитель есть не только всей вселенной,
Он есть родитель предка всех явлений.

Бес:
Твоя беда не в глупости, а в жажде
Понять источник бытия
Принять за данность все – намного слаще,
Чем рыться в смысле без конца.

Что ты пытаешься понять?
В твоих речах нет путного сознанья.
Ты сам не ведаешь, что страх
Ведет тебя к непониманью..

Да, только страх смутит земные души,
Лишь он руководит толпой,
Толпа, раскрыв свой рот, готова слушать
«Слуг Господа», их речи, льются что рекой.
Они же сами ничего не знают,
Они такие же, как все.
Красивых книг о Боге начитались

И пересказ их Вам несут, а вы
Им верите, куда ж деваться?
Вам как-то надо оправдаться
За глупость Вашу и грехи.

Но все обман и бред, поверь!
Мольбами грех не искупить.
Как можно чрез слова молитвы
Свои грехи переменить.

И раболепствуя пред Богом,
Ты роешь яму сам себе,
Законы божьи соблюдают
Лишь грешники, там, на земле.

Ангел:
Молитва, Бес, – не просто так слова,
Она есть разговор с Всевышним.
Через нее грех можно искупить,
Через нее же чашу мук испить.

Бес:
Но что толкает человека на молитву?
Что заставляет Библию открыть

Судьба:
Кого безвыходность и горе, а кого попытка
Часть прегрешений утаить

Бес:
Вот именно, Старик, скажи
Когда последний раз ты обращался к Богу?

Старик:
Когда не знал, как дальше жить,
И не было о помощи кого просить.

Бес:
Вы сделали из Бога – лишь надежду,
И обращаетесь к нему,
Когда людская помощь в вашем горе бесполезна,
И сами немощны Вы. «Черт возьми», –
Уста Ваши все чаще повторяют,
Но к божьей помощи опять взывают.

Ангел:
Ну что ты, бес, все причитаешь?!
В одних грехах ты видишь сласть.
Благих деяний человека ты не почитаешь,
По-твоему их люди могут лишь украсть?

Бес:
Тебя, мой ангелочек, в свое время
Обворовал я с ног до головы.
Ты ж вместо благодарности за это
Шлешь святости своей подгнившие плоды!

Ангел:
Как ты жесток в речах своих,
Хвостатый дуралей,
Плоды гнилые не в моих,
В твоих чертогах. Сто полей,
Что полные пропащих душ,
И яблочек, отравленных, и
Туш смертельный громче тем играет, чем
Больше ноток грязных душ в аккорд вступают!

Судьба:
Так, господа, вернемся к нашим душам,
Верней к одной, что мудрости полна,
И силы той, которая не всем дана, которая,
я думаю, согласны,
И привлекла нас всех сюда!

Бес:
Какая честь же для нее!
(Судьба молчит).
Судьба-подруга, что притихла?
Боишься ты ошибки признавать.
Их на людей переложить ты любишь,
Хотя в ответе ты всегда,
И в книжке записной про жизни
Пробелы оставляешь иногда!

Судьба:
Ты, Бес, с того пути не сбейся,
Что язычок твой злой мастит,
В подсчетах душ своих ошибок бойся,
Тебе никто их не простит.

Бес:
С пути мне сбиться не грозит –
Ведь сила вся моя в беспутстве.
Меня позором никому не удивить,
Моих поступков сила в безрассудстве.

Ангел:
Как любишь выставлять свои пороки!

Бес:
Конечно, я ведь он и есть,
Но что ты знаешь о пороке?

Ангел:
Об этом думать не желаю
И разговор с тобою прекращаю...
.....

Старик:
Грешны ли твари все на сей земле?
Иль только человек порочен по природе?
А как же те, что ползают, летают
И книг о сути бытия не изучают?

Грешно ли тело, иль душа?
И есть ли грех у льва и тигра?
У кошки, у собаки, у быка –
В чем смысл их жизни, есть у них судьба?

Судьба:
Ты зря принизил мир животный,
У крысы тоже есть душа,
И тигр грешен, и волчица,
Журавль и даже стрекоза.
Лишь то, их отличает от тебя,
Что не боятся никогда себя.

Старик:
Не дайте умереть мне в этот час!
Позвольте жизнью полной смысла насладиться!
Позвольте людям передать,
Все то, что мне от Вас дано было узнать.

Поведать им всю правду бытия
Открыть глаза на тайны нашей жизни,
Все заблуждения мне дайте разогнать,
Все это в Вашей силе. Вы представьте,
Что я могу так много изменить:
Под гнетом жизни людям не сломиться,
Я научу их жизнь любить!

Бес:
Давно так много не смеялся!
Ну как прозрачен, как смешон!
Какою лихорадкой доброты охвачен,
Как быстро возомнил, что он силен!

В аду сегодня расскажу,
Повеселю всех жителей чертога
И Богу весточку пошлю,
Хотя его, наверняка, я этим разозлю.

Ангел:
В тартаре есть, кому повеселиться,
Там душ побольше, чем в раю
Вот только смысла пребывания их там я не пойму,
Ведь приглашеньем в рай я грешников лишь насмешу!

И чем их это огниво влечет?
Чем веселишь ты там их «сладкий» черт?

Бес:
А душ моих привлечь не просто,
Картинкой яркой их не удивишь,
Гармония их раздражает и притворство,
Что на приемах райских без конца царит.

Им сила мысли острой интересна,
Им правда жизни не со слов известна,
Они все в прошлом ЛЮДИ, но прости,
Твой рай уж слишком мал, для широты
Ну даже самой молодой моей души.

Старик:
Ну а куда идет моя дорога?
Кто заберет меня с собой?
На чьем балу старик повеселится,
А с кем придется навсегда проститься?

Бес:
По поводу тебя еще мы не решили,
Но я тобой не дорожу.
Мой, ангелочек, забирай, не буду против,
А то останешься на Рождество ни с чем, как погляжу!

Судьба:
В дар ты приносишь душу, ну подлец!

Ангел:
Да кто ему позволит, просто шутит!
Не нам решать, куда старик пойдет.
Он сам решит, и уговаривать его никто не будет.

Бес:
Он сам решит? Да вы смеетесь!
Я не позволю, где же смерть?
Она придет, ее мы спросим,
Решать самим, нам права нет.

Старик:
Когда же этому придет конец?
Я в ожиданье истомился.
И в разговоре с Вами я не вижу толк,
Да, лучше бы сквозь землю просто провалился.

Я получил на все свои вопросы объясненья,
Ответы, что искал всю жизнь,
Но это породило в сотню больше раз сомнений,
Мне не с чем возвращаться в свою жизнь.

О, Господи, как все непостижимо!
Как разум человека слаб!
Сложны, запутаны в хитросплетенья, в узлы,
Что Ты людей заставил завязать!

Мы, люди бродим все по лабиринтам,
Мы ищем путь, которого ведь нет,
Мы тщетно делим мир на те две половинки,
Которые обман, их также не было и нет.

Бес:
Зачем Вы лезете в глубины?
Зачем все смыслы усложнять?
Живите, радуйтесь, берите
От жизни, что дано принять!

Тепло дарите вы друг-другу,
Сильнее будьте и добрей,
Не запускайте в душу скуку,
Стремленье к жизни делайте сильней.

Не ройтесь в бесконечном смысле,
В попытках истину узнать.
Познать ее Вам не удастся,
Покуда Вам самим себя не осознать.

А вот и смерть, ну что за «аромат»...
Никак к нему привыкнуть не случится.
Старик, прощай, хотя, Бог даст,
Еще одним свиданием с тобою насладиться.

Судьба:
А нам уже не встретиться, прощай!
Я поспешу, пора другому мне стелить дорогу.
Твой путь уж пройден, не серчай,
Свои обиды все сожги перед порогом

В тот свет, где не был никогда,
Откуда никому не возвратиться.
Но, помни, будет право выбора тогда,
Когда уж не к кому с советом обратиться

Не жди ты рай и ад увидеть.
Границы между ними нет.
Ты перекресток трех дорог там встретишь
И должен будешь дать себе ответ

Направо путь даст все, что ты захочешь,
Но удержать не сможешь никогда.
Налево путь – там удержать все сможешь
Но не захочешь этого добра.
Путь прямо принесет и то, что хочешь,
И в силах будешь удержать,
Но этого ты взять не сможешь,
Хотя об этом выборе ты будешь помышлять.

Старик:
Но этот перекресток не в новинку
Для ищущих путь верный на земле
Зачем же Бог дает еще одну попытку?
Я испытал все три дороги в жизни на себе.

Судьба:
Я не могу тебя ответом успокоить,
Совет же дельный подарю –
Будь честен пред самим собою
И не пытайся спрятать душу ты свою

Смерть:
Привет, старик, ну что собрался?
Тебя все ждут, ты задержался
Не в нашем мире, ну смелей...
Ты исповедь перед собой вел много дней.

Старик:
Так вот какая ты «старуха»!
Надменна, статна, только духа
В красивом теле не видать.
Такие линии художнику дано создать!

Ну, что за лик, что за осанка!
Ты будто сладкая приманка
Для жертвенной души людской.
Ну, что ж, бери меня!
Хотя, постой!

Скажи мне тихо на прощанье,
Ну, сжалься ты над стариком...
Открой завесу, страшной тайне –
Уйти со мной. Что в свете том?

Смерть:
Я над тобою сжалиться не смею,
Ведь чувствами земными не владею.
Лишь душу в теплый саван заверну
И отнесу ее к Нему

Старик:
Твоя задача всем известна.
За теплою душой моей пришла.
Да, ей уже немного тесно –
Людская плоть уж ей мала.

Да я готов пришла ты в сроки,
С улыбкою встречаю я тебя,
Нет у меня ни страха не тревоги,
Нет даже жалости к тому, что мне пора.

Идем же, не томи мне душу,
И тайну ожиданьем не твори.
Чего ты медлишь, дай мне руку
И в мир теней меня веди...

Тебя читатель здесь я оставляю,
Грань неизведанного не переступить.
За той чертой, возможно, я не знаю,
Лишь то, во что ты верить сам привык.

Эгвина ФАТАЛЬ

Григорьева Марина Анатольевна (1984 г.р.).

Окончила Ставропольский государственный педагогический институт по специальности учитель истории в 2007 году.

Росла в музыкальной атмосфере (папа – музыкант), мама часто ставила на проигрыватель пластинки с песнями на стихи М. Цветаевой и В. Хлебникова. Вероятно, здесь кроются корни той манеры письма, которую впоследствии Марина избрала для себя.

Стихи пишет с 9 лет, но в последнее время пришло увлечение прозой.

Meta-morfo-zza

Чьи дни завернуты в капустный лист?_ выпорхнет бабочкой гусеница,_ и лестница оборвется серединой границ,_ и моя ладонь в твою опустится._ у-литка... улицей ползающая грусть_ изматывает лезвия лучом, играючи,_ к этому дереву крепче жмусь,_ оно тобою избрано... не иначе!..

Запя(а)стье

Эта полоса на чужом запястье
Словно рот, исчерканный и грозящий,
Вот-вот сделающийся пастью,
Только разойдутся швы,
И он проглотит мой тонкий палец.
Но время твое и мое время – разное –
И откушенный палец я замечу не сразу.
Чужая рука пригласит меня на танец,
И под кожей безымянного пальца
Я нащупаю свое обручальное кольцо,
Отученное кусаться.
Я подниму глаза на твое лицо,
И свое лицо в нем обнаружу
Словно мой откушенный палец, вылезший из запястья наружу.
Наши левые руки, связанные вместе до крови,
Каждая по своей причине.
Ни сказав ничего более,
Он ее сделает женщиной, она его – мужчиной.

Too_pick

Забитый в угол не поймет выбитого, –
нечет.
Только в одной ладони раскрывается либерти,
Потому что у другой – пальцы скрещены.
Время стекает в полу трещины,
Умышленное – стечением обстоятельств –
на вычет.
Кто *вышел* в эту дверь, уже из нее не вытечет.

Грим собаки в кофейном

Эти картинки, которых нет, не вынести,
на моём запястье чьи-то заметки?!
забудь их, выцарапав лезвием на запястье клинописью, –
каракули через главное кольцо по Красной ветке.
Одуванчиковой пыльцой заспи их, уложив себя в москитной сетке,
Высохшим гербарием
вытолкни с влагою все прежние воспоминания,
роялем, погребенным в собственном безмолвии медленного забывания, –
последними струнами ранен.
Объяви мне войну, хотя бы брось в меня камень:
Я хочу забыть тебя до последнего твоего во мне дыхания!

Дихотомия

Если каждое утро создано только-только,
Забудется роза и скроется в линиях ладоней,
Попеременно пробуждаемых прикосновениями
То в шипах, то в бутонах.
Кто-то приговорил тогда мое дыхание на ладан,
Кто-то<гда > усадил в мое тело Бога и гада.

И полость тела моего тогда заполняется,
И, вывернутая кожа наизнанку, сворачивается,
Исступленно разглядывая полученное одиночество,
У которого ни исхода, ни источника;
Оно подстерегает зверей на тропах,
Убивает их и ест сырыми на пнях.

И если каждая ночь создана только-только,
Уложи меня к себе подмышку ребенком,
Опережая восходом солнца его заход,
Согрей меня вниманием и теплом,
Тот, который все видит наоборот.

Анастасия ШАПОВАЛО

Анастасия Шаповало (1984 г.р.). Окончила Ставропольский государственный педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы в 2007 году. Сейчас обучается в аспирантуре в том же вузе.

Творчеством занимается давно, с детства. В конкурсе бардов и поэтов среди студентов СГПИ в 2006 году заняла 1-е место.

* * *

Позволь мне верить во все, что свято.
Не объясняй ничего теперь.
Как первым снегом тобой объята
Без прошлых радостей и потерь,
Без оговорок, без повторений,
Мой каждый заново светел взгляд
Позволь мне верить в тепло мгновений,
Когда ты тихо идешь назад.
И, даже если спешишь измерить
В чужих глазах ледяной провал,
Сквозь все сомненья позволь мне верить,
Что не случайно меня позвал.

* * *

Проклятых снов не влечет искус –
Я не добра сегодня!
Я все равно не к тебе вернусь,
Падая в преисподнюю!
Не утешаю – попробуй сам
Вырваться вслед на холод,
Необоснованным чудесам
Пепел стряхнув за ворот.
Ты без меня будешь – навсегда!
Пусть же в крови утонет
Необъяснимая красота
Розы ветров в ладони.

* * *

Танцующая в темноте
Тихо, на ощупь.
Я тебе верю,
А ты – не очень.
Руки навстречу тяну –
Не видишь.
Где-то потеряна-я –
Ты выше.
Ты темнота моя мед-
Ленных фокстротов...
Страшно, что включится свет
В сто оборотов.
Смотрит мой сын за игрой,
Потому что кот.
Знаешь, не больно порой,
А наоборот.
Может, и ты был иной,
как те святые,
Может, рвалось прощенье
очередью в подонков...
Как в черно-белом кино:
«Любишь, Лючия?..»
А в ответ –
Лишь шипенье оборванной пленки.

* * *

Та, кем я стану, когда проснусь,
Будет сильнее холодных стен.
Та, кем я стану, когда проснусь,
Снова поднимет себя с колен.
Пусть разобьется безмолвья клеть –
Бью, не щадя своих рук, смелей,
Чтоб, прилетев к тебе, тихо спеть:
Нет ничего этих снов сильней!
Спит на руке высота небес,
В омутах дремлет тепло костров...
Лучше со мною и хуже без
В призрачной дымке неверных слов.
Незачем снова к себе их звать,
Тяжкие мысли исчезнут пусть!
Как ты сумела меня позвать
Ту, кем я стану, когда проснусь?

* * *

Не сломаешь – я тверже камня!
Не ослепни – я ярче солнц!
Беспросветно лети на память
Перекресты стальных полос.
Дома нет – так нельзя и выгнать:
Неба больше у всех бродяг.
Ты не бойся – о нас не пикнет
Тишина вдоль речных коряг.
Не умру – нет мне смерти дикой:
Перемешаны кровь и снег.
Мне не жалко тебя, великий,
За изломанный шустрый бег.
Как прогонит – молчи, что плачешь:
Только сильные так молчат!
Ничего ты уже не значишь,
И никто тебе здесь не рад!
Я всего лишь одна из прочих –
Дай лишь брошу (уже на днях)
Просыпаться порой средь ночи
С твоим именем на губах...

Константин КАСПАРЯН

Каспарян Константин Викторович (1979 г.р.). Родился в Пятигорске, с отличием окончил англо-немецкий факультет Пятигорского государственного лингвистического университета. Работал преподавателем английского и немецкого языков в Предгорном районе Ставропольского края. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Отечественная история». С 2004 года – преподаватель кафедры отечественной и зарубежной истории ПГЛУ. С 2007 года – научный руководитель клуба любителей истории «Реки времени».

Первое марта

Рассказ

Июль 2008 года. Москва.

- Риск очень велик, – Юлька всегда отличалась осторожностью. Дмитрий вздохнул. – Юль, все ведь уже обговорено и предусмотрено.

- По-моему, ты ее неправильно понял, – Гриша Корнеев задумчиво вертел в руках ручку. – Игры с историей – штука опасная.

Компания внимательно смотрела на своего лидера. Димка Мальцев призадумался...

Они дружили еще с первого курса. И по сей день, когда четверо юношей и три девушки уже являлись аспирантами на кафедре истории одного из московских вузов, оставались неразлучны. Любовь к истории в свое время послужила началом их дружбы, продолжавшейся уже шесть лет...

...Сколько копий было сломано в спорах, не помнил никто – часто ребята расходились в оценке тех или иных исторических событий, однако это не разрушило их дружбы. Немало было веселых вечеринок и походов; Игорь Игнатьев и Аня Столярова вообще собирались пожениться... Размеренная и веселая жизнь компании закончилась две недели назад по вине Гены Крапивина, помимо истории серьезно увлекавшегося компьютерным программированием. Друзья удобно расположились на скамейке в скверике у памятника Пушкину, наслаждаясь теплым летним днем. Услышав вдали топот, Юлька повернула голову и приподняла очки:

- Глядите-ка, Профессор несется!

Еще издали Гена издал ликующий крик:

- Эврика! Народ, не поверите!

Споткнувшись, он упал. Валера и Гриша подняли его.

- Ну, ты даешь, – пробасил Гриша. Он оглядел приятеля с высоты своего двухметрового роста и неодобрительно покачал головой. – Так и убиться можно.

- Чепуха, – Гена тряхнул непослушными рыжими кудрями. – С ума сойдете, когда расскажу, что открыл!

- Ну не тяни, в чем дело, – нетерпеливо воскликнула Лейла Орвеладзе. – Интересно же! Гена украдкой бросил взгляд на хрупкую красавицу, в которую был тайно влюблен и таинственно улыбнулся:

- Поехали ко мне, покажу...

Ребята вышли из станции метро "Сокольники" и направились к расположенной неподалеку двенадцатиэтажке, в которой проживал Крапивин. Квартира Генкиных родителей находилась на первом этаже. Комната Геннадия представляла собой живописный беспорядок. Книги были свалены на столе, лежали грудами на полу, постель, как всегда была смята.

- Все, как всегда, – хихикнула Аня, поправляя короткие светлые волосы. Крапивин отмахнулся, включая компьютер:

- Анька, знаешь ведь, некогда мне всякими уборками заниматься. Сейчас, сейчас...

С точки зрения канонической науки открытие Геннадия было немыслимым. Проводя как-то ночью расчеты, он вдруг пришел к шокирующему выводу. Крапивин проверил результат трижды. Но он оставался неизменным...

... - Потрясающе, – выдохнул Игорь. Остальные молчали, с восхищением глядя на Гену.

- Я сам обалдел, кода понял, что с помощью компьютера можно воздействовать на структуру темпоральных полей, – признался Геныч, – однако все проверил. Это факт.

- То есть, мы можем совершить путешествие во времени, – уточнила Лейла.

-Ага, – расплылся в улыбке изобретатель. Внезапно вскочил Мальцев. Его карие глаза возбужденно горели.

- Ребята, это шанс все изменить. Помните, мы спорили, что бы произошло, не погибни Александр Второй от бомбы Гриневицкого? Могло и не быть революции, гражданской...

- Ты предлагаешь..., – начала Юля, но Дмитрий ее перебил:

- Да, отправиться в 1881 год и спасти императора. Такой шанс нельзя упускать!

Среди друзей Мальцев выделялся горячей и искренней любовью к России, болезненно реагировал на ее прошлые поражения, вроде Крымской и русско-японской войн. Внук кадрового офицера, участника Великой Отечественной войны, сын летчика, Дмитрий был отличным охотником, великолепно разбирался в стрелковом оружии и боевой технике, владел навыками восточных единоборств, зачитывался трудами военных историков и мемуарами полководцев, за что друзья в шутку прозвали его «Дмитрием Донским»

- Класс, – с энтузиазмом воскликнула эмоциональная Аня и захлопала в ладоши.

- Хм, попробовать можно, – Крапивин был серьезен, как никогда. – Но знайте, если мы изменим прошлое, изменится и будущее. Мы вернемся в другую реальность. Кроме того, кто знает, принесет это пользу, или же вред?

- Я согласен пойти на риск, – решительно заявил Дмитрий. – Мы много говорим о судьбе России, что было бы, если бы... А попробовать что-то изменить самим слабо?

- Старик, не кипятись, – примирительно прогудел Гриша. – Идея неплоха, но ее обмозговать надо...

- Надо, – буркнул Игорь, сощурив серые глаза. – Всех ли устраивает такой вариант развития событий? Я бы, к примеру, помог народовольцам.

Ну вот, ты опять, – вскипел Дмитрий. Они часто спорили. Мальцев был убежденным сторонником конституционной монархии, Игнатьев же придерживался левых взглядов. Однако Игорь был в этом одинок. Остальные, даже Аня, поддерживали Димыча, за исключением, разве что, аполитичного Крапивина.

Юля Гордеева примирительно помахала рукой:

- Не ругайтесь, братцы. Дим, почему именно 1881 год? Не 1905-й, к примеру?

- Поздно, – покачал головой Мальцев. – Николай был уже обречен. Вернее, пришлось за ошибки всей династии, вкупе со своими собственными, отдуваться. А вот Александр еще имел, кажется, шанс все изменить.

- Угу, – усмехнулся Игорь, – с отменой крепостного права вон как намудрил. – Да и что такое Александр в восемьдесят первом? Усталый пожилой человек, поглощенный личной жизнью...

- Да не в самом Освободителе дело, – решительно возразил Дима. – Он не мешал работать партии реформаторов во главе со своим братом, а Александр Третий вынудил их всех уйти. А ведь уже был подписан проект Лорис-Меликова. Твои народовольцы хотели как лучше, а получилось, как всегда ... Вместо пусть и противоречивого, но в целом прогрессивного царствования – махровая реакция. Да, подъем экономики, но Победоносцев и сотоварищи таких дров наломали, что уже никакие Витте со Столыпиным ничего сделать не смогли...

- Хорошо, – не сдавалась Юля, – почему не 1730-й? «Кондиции» могли уже тогда ограничить самодержавие.

- Да, и к власти пришел бы узкий круг представителей высшей аристократии. Что в лоб, что по лбу. Дворянство все равно попыталось бы их свергнуть, а это привело бы к гражданской войне.

- Все прямо по полочкам разложил, – нахмурился Игорь. – И что, как ты предлагаешь остановить народовольцев? Убить или сдать полиции?

- Нет, – хитро усмехнулся Мальцев, тебе на перевоспитание отдам.

- Это как?

- Увидишь!

- Уговорил, – Игнатьев рассмеялся. Я с тобой.

- Да, Михалыч, и я, – поднялся Гришка. Остальные согласно кивнули...

2.

Все было готово. Костюмы, соответствующие эпохе, достали, запаслись даже парой пистолетов, договорились о точке выхода в 1881 год - на улицу, по которой император следовал в Зимний, возвращаясь с парада. Для этого пришлось тащиться в Петербург – как объяснил Гена, можно совершить пробой во времени, но не в пространстве. Благо, у них были в разгаре летние каникулы. Машина времени, с виду похожая на обычный компьютер (чем и была первоначально), была погружена в микроавтобус, принадлежавший отцу Валерия, и друзья отправились в Северную столицу, якобы просто в гости к двоюродной сестре Лейлы.

...Юля Гордеева сердито посмотрела на Дмитрия.

- Послушай, Мальцев, ты меня знаешь. Я боюсь не за нас – знаем, на что идем. Я боюсь последствий. А вдруг будет не лучше, а хуже?

- Не хочешь, не участвуй, – вскипел Дима.

- Ну, нет, – усмехнулась Юлька. – От меня не отделаетесь. Может, ты и не прав, но бросать друзей в беде я не собираюсь.

- Ладно, – вмешался Игорь. – Геныч, объясни, как все произойдет.

- Подробности опустим, все равно не поймете, – важно начал Крапивин. Лейла хихикнула. – Короче, машина будет настроена на двое суток, на большее мощности не хватит. Успеем изменить историю?..

3.

... Возок мерно покачивался, убаюкивая Александра Второго. За стенкой слышалось цоканье копыт лошадей его казачьего конвоя. Император возвращался из Манежа довольный. Парады он любил с детства, это пристрастие ему привил покойный батюшка. "Молодец Митя, – подумал Александр о племяннике, – выглядел молодцом, настоящий офицер!" В последнее время мало было поводов для радости – семья была недовольна его скоропалительным вторым браком, игнорировала Катеньку и детей, что вызывало у императора ярость. Надоело вечное недовольство чиновников, родственников; надоело брюзжание либералов – мало реформ, консерваторов – много реформ, одержимая ненависть народовольцев, травивших его, как бешеного волка. Мало надежных людей – брат Костя, Валуев, Милютин, Абаза, Лорис. И то, приходится прикрывать их от нападок консерваторов во главе с Победоносцевым. Да и здоровье ни к черту, сердце шалит... Но сегодня удачный день. Утвердил проект Лорис-Меликова о привлечении членов земств к обсуждению вопросов государственного значения. Беседуя с министром, вдруг почувствовал, что помолодел лет на двадцать, вернувшись во время великих реформ, когда даже Герцен выразил ему уважение... А еще дома ждет милая Катя. Наконец, на седьмом десятке обрел счастье... Император сидел, прикрыв глаза – покачивание возка, в котором он возвращался во дворец, убаюкивало. Мощный взрыв, раздавшийся совсем рядом, привел его в чувство. Пробормотав про себя ругательство, разъяренный Александр вылез из возка...

4.

- Что здесь пгоисходит, – осведомился император. Оглядевшись, он вздрогнул. Вокруг возка валялись тела убитых и раненых казаков конвоя. Рядом лежал пробегавший мимо мальчик – торговец мясом. Толпа держала вырывающегося молодого человека с длинными волосами.

- Ваше Величество, – обратился к царю ротмистр Кулебякин, – лучше всего немедленно проследовать во дворец. Александр отстранил его величественным жестом и подошел к схваченному юноше.

- Кто таков? – грозно спросил император. Юноша дерзко взглянул на монарха:

- Глазов, мещанин.

- Смотги у меня, – погрозив террористу пальцем, император пошел прочь тяжелыми шагами. Наклонившись над телом погибшего мальчика, царь перекрестил его.

- Что с государем, – спросил кто-то из толпы.

- Слава Богу, все в погядке, – ответил император.

- Погоди, рано еще благодарить Бога, – угрюмо сказал стоявший неподалеку юноша и сунул руку под шинель. Внезапно он почувствовал, как сильная рука крепко схватила его за локоть. Обернувшись, Гриневицкий увидел летящий ему в лицо увесистый кулак. Игнатий мешком рухнул на мостовую...

Перовская сжала кулаки – невесть откуда взявшийся молодой жандарм спутал все карты. Придется все делать самой. Она стала проталкиваться к царю. Дорогу ей перегородили две влюбленные парочки, явно навеселе.

- Мадемуазель, – высокий кареглазый юноша в форме пехотного поручика не сводил с нее глаз, игнорируя свою даму. – Вы прелестны.

- Пьяная скотина, – возмутилась его пассия, неуловимо напомнившая Софье виденную в доме отца грузинскую княжну, виденную когда-то в отцовском доме. "Княжна" обратила свой взор на Перовскую:

- Распутная девка, таким только чужих женихов отбивать!

С этими словами она вцепилась Софье в волосы. Завязалась потасовка, в результате которой революционерка ощутила на запястьях наручники.

- Ну, дело сделано, – улыбнулся кареглазый. Девушка попыталась вырваться, но тщетно

- Жандармское отродье, – с ненавистью прошипела Софья.

- Тише, - отозвался юноша, – не то жандармское отродье и впрямь услышит.

С этими словами он впихнул ее в подъехавшую карету. Туда же забрались Лейла, Аня и Игорь. А Мальцев решительно направился к императору.

Дмитрия пробил озноб. Одно дело – смотреть на фотографии обожаемого тобой монарха и читать про него книги, а другое – видеть его воочию. Александр был очень высок. Лицо его было очень усталым и измученным. В глазах светилось удивительное сочетание мягкости и твердости. Рядом стоял казачий ротмистр и человек, похожий на Александра, в котором Дмитрий узнал великого князя Михаила Николаевича, младшего из братьев императора

- Ваше Величество, разрешите обратиться.

- Да, поручик...

-Мальцев, государь.

- В чем дело?

Мальцев протянул ему конверт:

- Нашел на углу улицы. Адресован вам.

Кулебякин, опередив императора, выхватил конверт из рук Дмитрия и вскрыл его.

- Тут письмо, Государь.

- Так, – задумчиво протянул Освободитель. – Так ты, Мальцев, не видел, кто его подбросил?

- Никак нет, Ваше Величество. Разрешите идти?

Александр Николаевич задумчиво посмотрел на молодого офицера. Было в нем что-то загадочное. Но, научившийся за свою непростую жизнь правильно оценивать людей, монарх не увидел в нем угрозы.

- Иди, поручик и, – Александр Николаевич сам не понял, почему вдруг решил это сказать, – служи России честно!

Глаза молодого офицера блеснули:

- Слушаюсь, государь!

... – Ты с ума сошел, Мальцев, – всплеснула руками Юля.

- Нет. Я остаюсь!

Друзья не стали его отговаривать – слишком уж хорошо его знали. Гриша крепко пожал ему руку:

- Удачи, дружище!

- Мы не прощаемся, – торжествующе сказал Крапивин. – Будем тебя навещать. – Приборчик позволяет. Если что, назад выдернем.

Ребята обернулись. Мальцев стоял на опушке леса, уверенный в своей правоте. Форма сидела на нем, как влитая.

- Будто здесь родился, – шепнул Игорь.

- Должен был, – отозвалась Юля. – Это время полно сложностей, но люди здесь куда порядочней и цельнее. А Димка слишком хорош для наших дней...

5.

Император дослушал доклад Лорис-Меликова.

- Сообщников Рысакова не удалось найти, Государь. Как сквозь землю провалились.

Лорис внимательно посмотрел на императора.

- Бог с ними, - негромко сказал Александр Второй. – Ладно, Михаил Тагиелович, давай сюда свой проект.

В дверь осторожно постучали. Вошел адъютант.

- Ваше Величество, Его Высочество наследник – цесаревич просит принять.

- Зови.

В комнату вошел великий князь Александр Александрович. Император скептически посмотрел на сына-богатыря, некогда любимого Сашку. Нет, не выйдет из него достойного преемника. Прямолинеен, упрям, чересчур консервативен. На своего покойного брата совсем не похож!

- Саша, – мягко сказал император, – я знаю, что ты хочешь сказать и знаю, что тебя науськивает Победоносцев. Иди и пегедай ему – проект ггафа Логис-Меликова вступит в силу.

Наследник хотел что-то сказать, но дрогнул под тяжелым взором отцовских голубых глаз и удалился... Отпустив министра, Александр достал из кармана брюк письмо, которое подал ему поручик Мальцев. "...Государь, неважно, кто мы и откуда. Понимаем, вам трудно нам поверить, но мы уповаем на Вашу мудрость. Необходимо довести реформы до конца, иначе Россию захлестнет буря, во сто крат сильнее Французской революции. И еще, уделяйте больше внимания вашему внуку Николаю – отец оказывает на него плохое влияние. Те, кто любит Россию".

Александр задумался. То, о чем они говорили, было не ново, он часто думал об этом. Шумно вздохнув, император направился к двери. Распахнув ее, Александр подозвал адъютанта:

- Приведите ко мне Ники...

6.

...Александр Второй умер весной 1894 года, успев серьезно реформировать страну. Была создана Дума, даровано всеобщее избирательное право, сокращен рабочий день, дарована автономия окраинам. Император оставался главой исполнительной власти, но его власть была ограничена Думой. Страна медленно, но верно превращалась в правовое государство парламентского типа... На престол вступил уже смертельно больной Александр Третий, скончавшийся осенью того же года. Сменивший его Николай Второй, взращенный дедом и его соратниками, ориентировался на способных людей, избегал авантюр во внешней политике, да и не мог этого сделать, так как должен был согласовывать свои действия с Думой. К войне с Японией Россия оказалась готова и одержала убедительную победу. В битвах с японцами ярко раскрылся полководческий талант генерала Дмитрия Мальцева. От участия в Мировой войне, начавшейся осенью 1915 года после конфликта в Эльзасе, Россия мудро воздерживалась до тех пор, пока победа Антанты, в которую входили Британия, Франция и США, не стала очевидной. Именно по настоянию России поверженная Германия была разделена на три государства, перестав быть угрозой миру. Страны Запада были вынуждены уступить в этом вопросе, так как после войны превратились в должников России. В ходе войны Николай Второй умер, через полгода скончался и его болезненный сын Алексей Второй. При брате Николая Михаиле Втором и его сыне Георгии Первом монархия окончательно превратилась лишь в символ нации. Это было время национального примирения. Даже социал-демократы во главе со своими лидерами Ульяновым и Мартовым перешли к легальной борьбе. Четыре года Владимир Ульянов, как лидер победившей на выборах в Думу РСДРП, возглавлял правительство Российской империи...

...Гена щелкнул пультом. На экране появилось лицо миловидной журналистки.

- Итак, сегодня, 17 июля 2008 года в Успенском Соборе состоится коронация императора Александра Пятого. Юный монарх...

...Вернувшись в свое время, друзья обнаружили Россию конституционной монархией. К счастью, их родные и близкие не исчезли, только изменилось их мировоззрение – теперь это были типичные подданные Империи – одной из самых развитых мировых держав...

...Раздался звонок. Распахнув дверь, Геннадий остолбенел: на пороге стояла Лейла.

- Ты, – промямлил изобретатель. – Разве ты не уехала?

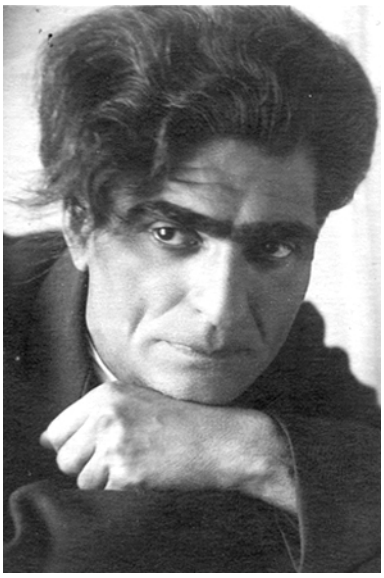
Девушка рассмеялась и обвила руками его шею.

- Милое мое чудище, дорогой рыжик, куда я без тебя?

- Фантастика, – счастливо прошептал Гена, обнимая любимую девушку.

Из культурного наследия

Гамлет НАЗАРЬЯН



Рубен Назарьян
О моем отце

Гамлет Назарьян родился в самом начале минувшего века в интеллигентной тифлисской семье. Получив дома начальное воспитание, он окончил затем одну из престижных гимназий столицы Кавказского края. Тифлис тех лет был не только административным, но и умственным центром всего Закавказья. Обилие учебных заведений, театров и различных клубов, библиотек, ученых обществ и учреждений позволило ему стать одним из наиболее интеллектуальных городов Российской империи.

Тифлис отличался еще и весьма интернациональным составом своего населения. Достаточно заметить, что в городе издавалось более сорока периодических изданий на русском, грузинском, армянском, французском, персидском и тюркском языках, а в театрах и клубах шли спектакли (помимо упомянутых) еще на еврейском и осетинском.

Европейски обустроенная центральная часть Тифлиса с превосходно вымощенными улицами, водопроводом, электричеством, канализацией, трамваем, роскошными зданиями и богатыми витринами магазинов резко контрастировала с его азиатскими окраинами, сохранившими колорит средневековых персидских кварталов.

Довольно рано Гамлет проявил удивительную способность к изучению языков: кроме родного, армянского, он быстро и легко овладел русским и грузинским, персидским и турецким. В гимназические годы к ним прибавились еще французский, итальянский и немецкий, а также мертвые языки – латинский и ассирийский. Влекли его также литература и история, поэзия Востока, особенно классика средневековой Персии.

В родительском особняке на Ольгинской улице нередко собирался цвет интеллигенции Закавказья, а также весьма известные люди из Центральной России. Здесь звучала классическая и народная музыка, исполнялись отрывки из спектаклей, читались стихи. Общение с выдающимися деятелями культуры во многом способствовало эстетическому развитию юноши. Гамлет много читал, изучал историю живописи и музыки, прозы и поэзии Востока и Запада. И сам писал стихи, нередко публикуя их в периодических изданиях Тифлиса. Уже много лет спустя, на закате жизни, он набросал в тетради несколько отрывистых фраз: «Ранняя юность моя. Тифлис. Писал белые стихи. Для себя. Цикл был напечатан при помощи товарищей-полиграфистов. Тираж – 75 экземпляров. Маленькая такая книжица. Назвал я ее «Сны»… Все померкло в дряхлеющей памяти. Забыто. Решил восстановить по крупицам и записать. Так, для себя…

Ночь

Лунно в подлунной.
В полынных долинах
Покоится
Лунная ночь.
И лани желаний,
Вытянув шеи,
Пьют аметистовый дождь.

Канал в Венеции.

Палаццо!
Палаццо!
Палаццо!
И вижу –
Вечер – немой гондольер –
Зажег
Закатной феерией
Кровавые окна дожей
И хрустальные руки каналов»…

Вторым, после поэзии, увлечением был для него театр. Можно предположить, что тут сказалась наследственность – отец юноши был страстным театралом и почитателем Шекспира (оттого-то дети Назарьяна-старшего – Гамлет и Офелия - были наречены именами персонажей английского драматурга). Несколько лет начинающий поэт совмещал высокое искусство со службой в армянской драматической труппе города в качестве суфлера, литературного сотрудника и актера.

В 1924 году, уже в советизированной Грузии, Гамлет становится студентом историко-филологического факультета недавно созданного Закавказского университета народов Востока (ЗакУНВ). В годы учебы он продолжает активно печататься, с энтузиазмом романтика восприняв новую эпоху. Но вдруг, за несколько месяцев до получения диплома (в конце 1928 года), отлично успевающий студент, мало интересовавшийся прежде политикой и идеологией государства, вдруг вступил в конфликт с руководством учебного заведения: университет пришлось оставить. Но уже весьма скоро деятельный и весьма работоспособный Гамлет создает при Наркомпросе Грузии этнографический ансамбль и становится его художественным руководителем.

С ранних лет влюбленный в страну древней цивилизации, культуры и классической поэзии – Персию – армянин стал подписывать свои публикации творческим псевдонимом «Иранцев», который на протяжении всей последующей жизни стал составной частью его фамилии и вошел во все официальные документы. Молодой литератор, страстно мечтавший посетить сопредельную страну, начал публиковать свои сочинения в популярном журнале «На рубеже Востока», редакция которого, вняв настойчивым просьбам талантливого автора, и отправила Гамлета в желаемую командировку. Результатом этой поездки и явились путевые заметки, опубликованные в тифлисском журнале и подписанные псевдонимом «Иранцев», которые и предлагаются ныне вниманию читателей…

Позднее Г.Назарьян-Иранцев, заведуя методическим отделом Закавказского общества пролетарского туризма и экскурсий (ЗОТиЭ), много ездил по городам и весям различных республик страны. Затем его пригласили занять должность заведующего литературной частью популярного в те годы государственного ансамбля музыки и песни госфилармонии под руководством композитора Ерванда Сагаруни.

В годы сталинских репрессий, потеряв практически всю свою родню, Гамлет Аркадьевич был вынужден покинуть Закавказье. Проработав некоторое время в Куйбышеве художественным руководителем, лектором и администратором Пушкинского концертного ансамбля областного гастрольного бюро, он подготовил и провел цикл различных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения великого поэта России.

В 1938 году его приглашают на Украину и он до 1941 года живет в Чернигове, где возглавляет одновременно литературную секцию областного лекционного бюро, художественную студию в местном Доме Красной Армии и в областной филармонии.. В это же время он не только печатает свои многочисленные статьи по проблемам литературы, культуры и искусства на страницах областных газет, но и читает лекции в городах и районах области.

Об «украинских» годах отца мне долгое время почти ничего не было известно. И только после его смерти, находясь на научной конференции в Оренбурге, я познакомился с местным писателем, довоенная юность которого прошла в Чернигове. Это случайное знакомство и позволило мне узнать важные подробности биографии свого родителя. Как выяснилось, Леонид Большаков (так звали этого оренбургского писателя) в конце 1930-х годов был слушателем черниговской литературной студии, которой руководил Гамлет Назарьян. При прощании Леонид Наумович подарил мне свою книгу с трогательной дарственной надписью:

«Рубену Гамлетовичу Назарьяну с о с о б ы м чувством.

Первым в моей жизни армянином – «эталонным» представителем своего народа, одним из первых – для меня – людей з а в и д н о й к у л ь т у р ы (помню его «речевые» уроки) был – с юности – «бесфамильный» (в моей памяти) Гамлет Аркадьевич. Теперь он обрел фамилию и это фамилия – та же, что и у Вас.

Чту память Вашего отца, желаю счастья сыну и всему роду Назарьян.

18 сентября 1983 года. Оренбург»

А затем была война. Подобно многим литераторам и людям искусства, отец сражался идейно, будучи начальником политпросвета 26 Управления оборонного строительства (УОС) и руководя лекторской группой

6-ой Саперной армии, в состав которой входили писатели и журналисты, актеры и музыканты. Он выступал перед бойцами с циклом литературных сказов-композиций об Александре Суворове и Александре Невском, о легендарных богатырях земли русской, о славной истории государства, о подвигах ее сынов и о патриотизме…

После ранения и последовавшей демобилизации, Гамлета Аркадьевича направляют в Узбекистан, с которым будет связана вся его последующая жизнь. Здесь он неоднократно бывал и раньше, сопровождая группы туристов. Прекрасное знание персидского и турецкого языков позволило Гамлету Аркадьевичу в короткое время овладеть близкородственными им таджикским и узбекским, что в значительное мере способствовало быстрой адаптации уроженца Закавказья на новом месте. Сначала он (беспартийный) в качестве одного из ведущих лекторов Центрального лекционного бюро при ЦК КП республики, читал лекции и вел патриотическую пропаганду в тыловом Ташкенте, затем выезжал во все области Узбекистана, создавая там филиалы названного бюро. Потом трудился последовательно в должности заведующего Бухарским областным лекторским бюро, консультантом по вопросам культуры местного облисполкома, преподавателем литературы и истории в ряде ВУЗов республики, сотрудником газет в различных областях Узбекистана. Он продолжал читать лекции, вести литературные студии, создавать народные театры, в которых сам был художественным руководителем, режиссером и актером, принимал активное участие в создании ряда музеев, в организации декад литературы и искусства различных республик. Его жизненный путь завершился в Самарканде зимой 1980 года.

Гамлет Назарьян

Этюды уходящего Ирана

Бурые скалы насупились над садами Тэбриза и мутные воды Аджи-чая орошают те сады. Необъятен Тэбриз. Необъятна история его. Говорят, что основателем его был Гарун-ар-Рашид, стократ воспетый калиф. Было так: у калифа была любимая жена. Долгие годы страдала она от болотной лихорадки. И много врачевателей покарал Гарун-ар-Рашид за то, что они не смогли побороть недуг его любимицы. Однажды ему помог сам аллах. Охотясь, он набрел на целебный источник, вода которого излечила его соголовницу. И велел калиф построить вокруг источника город с башнями и дворцами. И дал ему название: ТЭБ-РИЗ.

Сказ первый

О бродячем дервише, Мешади-Мохаммеде
и о тех, кто посещает его чай-ханэ.

«...Под дугой ее бровей звали к наслаждению бездонные глаза и стрелы ресниц пронизывали сердца неосторожных...Юноши не спали по ночам, вспоминая миндальный цвет ее кожи, и беззубо шепелявили старики, тщетно стараясь отогнать от себя вид ее пляшущих бедер...

Сам вали[1] воспылал вожделением к жене плотника. Не раз подсылал он к ней старух с подарками и уговорами. Но не поддалось сердце женщины; она любила своего мужа и свято хранила чистоту своего очага, – да не осквернят вашего очага злые козни шайтана!

И чтобы забыть ее, вали трижды в день перечитывал коран. Но разве можно остановить арабского коня, лишь час перед тем выведенного из темной конюшни и расширенными ноздрями тянущего в себя пьянящие запахи весенних лугов? Разве неведомо вам, добрые люди, что голова наша и сердце находятся в вечном плену у страсти?.. Долго терзался вали и, когда силы его иссякли, он велел привести к себе плотника и так сказал ему:

- Через сорок дней и сорок ночей наш город посетит сам великий калиф, – да будет вечна тень его над нами! – к его приезду ты должен соорудить на главной площади, против нашего дворца, победные ворота. Работать ты должен один, без помощников, ибо я хочу удивить моего властелина умелостью подданных моих. Соорудишь к сроку – дам тебе халат с собственного плеча, нет – велю казнить, дабы никто не осмелился утверждать, что в землях моих нет суда и расправы над провинившимся рабом.

Затрепетал плотник. Знал он, что и дважды семи мастерам не закончить в сорок дней по-

[1] Наместник, правитель города, губернатор.

стройки врат. Но где тот, кто осмелился возразить своему господину? В давно минувшие дни шейх Саади, мудрец из мудрецов, сказал: «Перечить власть имущим – значит навлечь горе на свою голову». Да сохранит нас пророк от гнева шахен-шаха.

Печально поплелся плотник. И, взирая на его сгорбленную спину, смехом залился вали. Засмеялся он и так сказал себе: «Не выполнить ему моего веления». В тот же день он приказал евнуху удалить из эндеруна[1](2) старую Кейсар и заново разукрасить ее комнату...

Был мрачен плотник: тридцать девять дней прошло и прошло тридцать девять ночей, а он ничего еще не сделал.

- Видно, не благоугодно справедливейшему, чтобы я благословил завтрашнюю зарю, – сказал он жене в последнюю ночь, лег и тотчас же уснул сном человека, только что возвратившегося из хаджа[2].

Не успело солнце разбросать по земле сапфира своих волос и куры не слетели еще со своих жердей, как гулко постучал дверной молоточек. Вновь обуял плотника предсмертный страх: будто сам Азраил стучался у его сердца, напоминая ему о перешагнутых пределах бытия. Не будя исстрадавшейся жены, он направился к дверям, протянул руку, поднял щеколду и... – да сохранит нас всевышний от напастей! – на пороге стояли вооруженные с ног до головы ферраши[3]...»

Тихое рыданье кальянов сменяется медленным ровным говором. Кто-то с протяжным свистом сосет длинную вишневого дерева трубку, стараясь разжечь последнюю крупицу опиума. Мерцает огонек. Сизые клубы дыма ползут по чай-ханэ. Сквозь чад за рубиновыми стаканчиками чаю дремотно тянутся желтые с синими прожилками пальцы. Подняв высоко над головой секиру и раскачивая в левой руке полированную скорлупу кокоса, дервиш обходит ряды заинтересованных слушателей:

- О, правоверные, жадно ждущие развязки сказа о злосчастном плотнике и его красавице жене; о, любители прекрасного и хранители дедовских заветов, – не оставьте милостью нищенствующего служителя великого Али[4], и да не оставит вас своими милостями творец земли и звездного неба!..

Дзинь!.. Дзинь!.. Дзи-и-нь!.. Сверкнув в воздухе, скатываются на дно ореховой скорлупы алюминевые кружочки. Вновь вяжется прерванный говор. Бессмысленными, замусоленными клочьями слов липнет он к стенам.

- Безгранична мудрость аллаха: бедняка он дарит детьми, а богатея серебром.

- Дурная болезнь? А ты думал, трудно схватить ее? Пах! Иначе не написано в книге жизни: понукающий ослицу должен переносить смрад ее нечистот...

- Глянь, сосед, дервиш набрал полную скорлупу...

- Нам бы!..

- А под рубашкой у ней
Спрятаны два абрикоса,
И вся она – в-ва! –
Как халва!
Верное слово.
Только любит она
Не меня, а другого...

- Соловьем на старости лет рассвистался.

- Давно?

- Ажан[5] третьего дня ударил. С дороги вовремя не убрался я... Теперь ничего, заживает... К пятнице вымоюсь...

- Да что это – тэмбеки[6] или нечистоты твоей бабушки? Иль ты перестал отличать купца от деревенщины?..

---

[1] Эндерун – женская половина в доме, гарем.
[2] Хадж – паломничество.
[3] Ферраш – телохранитель, жандарм.
[4] Али – зять пророка Мохаммеда, адепт шиизма.
[5] Ажан – полицейский.
[6] Тэмбеки – специальный сорт табака.

В углу, там, где сходятся растрескавшиеся глиняные стены, – человек. Лицо у него широкое, скуластое. Растерянно бегают по сторонам черные зрачки его глаз: вот они отыскали дервиша, впились на миг в дно скорлупы, где чешуйчатым ворохом вздрагивает алюминий, скользнули по устланным циновками возвышениям, на которых раскинулась серая человеческая масса, и потухли. Рядом палан[1], заплатанный и жесткий. Человек опирается на палан.

- Курбан!

Человек разгибает пальцы и опускает трубку в огонь. Затем несколько раз проводит ладонью по лицу, как бы с тем, чтобы снять с него черты непостижимо-давнего горя, и вновь забывает собеседника.

- Да будет нерушим кров твой! Онемел ты, что ли, иль золотник опиума дороже старого друга для тебя?

Курбан медленно поворачивает голову:

- Не обессудь. Горе одолело. Эх-х!.. Такое тяжкое, кардаш[2], горе. Вспомнить боюсь. Я вот думал, что этого, – рука его тянется к палану, – достаточно, чтобы безобидно прожить, но, поди ж ты, голод, лаваша не на что купить порой...

- Не тужи, кардаш, сказано ведь: то ты на осле, то седло на тебе – таков порядок в житейской борьбе.

- Нет, неправда. Седло вот это, вот, – вновь тянется рука к палану, – пятнадцать лет на мне. Пятнадцать лет, не поднимая головы, истекая потом, мерил я дворы караван-сараев, чтобы к вечеру принести домой луковиц да рису на похлебку... А вот те, другие, у них шелковые аба[3] вместо горба... Нет, на них и никогда не было седла... Вот он каков, порядок твой. А что ты сказал, так это слова одни, из тех, что дервиши сказывают, а мне не до сказок, у меня ребятишки сегодня без хлеба...

Хрипящий вздох. Щелканье кремня. Щекочущий запах горящей ваты. Курят. Молчат.

-Хозяин!

Толстый и медлительный, неровной походкой подходит к хамалу[4] владелец чайного дома. Курбан протягивает ему потухшую трубку:

- Еще!

- Я не Хатам-Тэй[5], чтобы бесплатно ублажать своим добром всяких бездельников. Ты бы лучше поплелся домой. Верно, чумазая твоя стосковалась по тебе, – резко бросает толстяк и, выхватив из рук хамала трубку, направляется к обитому цветными квадратиками жести прилавку, на котором всхлипывает заплесневелый самовар. Курбан поднимается. Полусознательно отмеривая шаги по красной глине пола, подходит он к хозяину:

- Мешади... Пожалуйста... Горе!..

- Пах! Вы слышите, правоверные? «Горе». Да, какое же у тебя может быть горе, коль вся забота твоя в том, где бы найти кусок полотна, чтобы прикрыть свой зад?!.. Уж не дворцы ли твои остались без присмотра?

Вокруг смеются. Смех неуверенный и жалкий. Курбан не отходит от прилавка: он знает – есть еще средство. Не раз приходил он сюда с шумного базара, чтобы расслабить натянутые мышцы. Полулежа в своем углу, он неизменно курил трубку, скупо перекидывался словами с ближайшим соседом и проклинал себя за каждый истраченный грош. И всякий раз, прибрав к рукам его последний шахи[6], Мешади грубо отказывал ему даже в стаканчике чая, который с такой подобострастной улыбкой подавался всегда приказчику Хаджи-ага-фаршфруша, когда тот входил в чай-ханэ своей павлиньей поступью.

- Мешади, дай... Я оставлю тебе палан, а если случится перенести скарб какой, всегда могу помочь...

- Не надо, не хочу твоей службы, только поскорее убирайся восвояси. Что ты пристал, словно сало к ложке?.. Порядочные люди стали обходить мой дом из-за того, что я впускаю таких, как ты, вшивых псов, – да испепелятся кости отцов ваших!

---

[1] Палан – войлок, которым покрывается спина носильщика.
[2] Кардаш – брат.
[3] Восточный плащ.
[4] Хамал – носильщик.
[5] Хатам-Тэй – легендарная личность, олицетворяющая щедрость.
[6] Шахи – мелкая монета, равная одной копейке.

Курбан слышит. Падая в ушные раковины, крикливые слова разливаются по телу неодолимой дрожью. Натягиваются задремавшие мышцы. Гранатовые крупинки выступают сквозь пергамент лица. Он делает неуклюжий прыжок, хватает палан и, замахнувшись, бросает его в Мешади.

- Тамашэ! Тамашэ!...[1]

- Машалла[2], хамал-баши, машалла!..

Тишину взрывает дружный хохот нескольких десятков глоток. Мешади с чмоканьем высасывает кровь из порезанного при падении пальца. Его потерянные в многочисленных морщинах глаза липнут к завсегдатаям чай-ханэ, ища сочувствия и поддержки. Но никто не двигается. Во-первых, потому, что у каждого зуб против Мешади, во-вторых, потому, что эта сцена доставила им бесплатное удовольствие, и, наконец, просто потому, что каждый из этих людей хорошо помнит древнюю поговорку: «Дурак бросается разнимать дерущихся и разнимает до тех пор, пока не проломят ему череп».

А дураков в чай-ханэ нет. Здесь все больше зеленщики, мелкие чиновники из таможенного ведомства, зажиточные крестьяне, вообще люди добропорядочные. А хамалы, которые целый день валяются за стаканом чая вприкуску, не в счет: они и так перепуганы дерзостью своего собрата.

И сам Курбан не может уяснить себе того, что случилось. Задыхаясь от испарений немытых человеческих тел, он бессмысленно следит за причудливыми узорами самоварного пара, из которого глядят четыре пары глаз. Это глаза Мешади. Они дробятся и расплываются. Курбану не удается соединить их. Он думает:

- Разве виноват Мешади? Он такой же, как все те, для которых Курбан проработал пятнадцать лет и проработает еще пятнадцать, если не иссякнут силы и не подкосятся ноги... Вот если бы ударить паланом, да не одним, а тысячами, по всем этим людям, если бы разрушить караван-сараи, измять под собой серафа[3], который недодал вчера пяти шахи, разгрызть горло ненавистному приказчику Хаджи-ага-фаршфруша...Если бы...А то – чайчи[4]...

И Курбан виновато улыбается не то своим мыслям, не то Мешади Мохаммеду... На пороге вырастает тощая, как жердь, фигура полицейского. Мешади встречает его воплями и причитаниями. Молча взяв палан, Курбан направляется к двери, так же молча принимает удар и выходит, сопровождаемый полицейским.

- Ха-ха-ха!..

- Машалла!..

- Не кручинься, Меша-Маммед!

- Я? Хи-хи-хи!..

- Хорошая штука се-пае[5].

Вновь идут по рукам крошечные стаканчики. Хрипят кальяны. Дервиш поднимает секиру. Его бронзовые ступни перебегают с места на место.

- «...Завидя феррашей, плотник вопросил: – Что привело вас к моему убогому жилищу в столь ранний час, добрые люди?

- Мы пришли заказать тебе гроб.

- Кого же из правоверных призвал всевышний в сады Дженната?[6]

Тогда выступил вперед старший ферраш:

- Не с луны ли ты свалился? Иль хочешь посмеяться над нашими бородами? Для кого же мы можем заказывать гроб, как не для вали, чья земная жизнь прекратилась ночью...»

- Хвала вездесущему! – сонно катится по рядам.

- « ...И в сороковой день, когда солнце было на полуденной стоянке, счастливый плотник вбил последний гвоздь в гроб злого вали. Так восторжествовала справедливость, правоверные, и да будет жизнь вечным торжеством справедливости, пока Иран осенен престолом шахен-шаха, мудрого и справедливого!»

---

[1] Тамаше – зрелище.
[2] Машалла – молодец, здорово
[3] Сераф – меняла.
[4] Содержатель чайного дома, чайханщик.
[5] Се-пае – дословно треугольник, орудие пытки.
[6] Дженнет – рай.

Сказ второй

О кладбище Гяджиль, пустыре джиннов и о железном шайтане.

Кладбище как кладбище. Да и какой мудрец стал бы искать разницу между одним и другим кладбищем? Все равны в мире мертвецов. Взгляни: вот могила Саларэ-Музаффера. Он был самым крупным землевладельцем во всей округе. Слово его было законом даже в диванханэ самого валиагда. На память о себе он оставил рубцы на спинах своих подданных, несколько замечаний на полях «Гюлистана»[1] и восемнадцать деревень, из-за которых теперь затеяли драку его шестеро сыновей от четырех непримиряющихся жен.

Сотри пыль с мраморной доски и ты без труда прочтешь:

«Здесь почиет Саларэ-Музаффер, Добродетели его искрились, как пена на гребнях солнечных волн. Благотворительность его не знала пределов. Отныне он ждет, когда труба Азраила возвестит о воскрешении праведных, чтобы приобщиться к вечному блаженству Дженната».

Что, не похоже на его жизнь? Ну, что ж. Никому не возбраняется писать красивые слова на гробнице своего ближнего, если он оставил достаточно незаложенных земель и малую толику серебристоголосых до-хазари[2].

Но довольно, взгляни теперь сюда, на этот покосившийся кусок известняка. Это – могила казненного сарбаза[3]. Казнили его не то за избиение офицера, не то за кражу какой-то казенной хламиды. Потому, что он не оставил ничего, кроме четырех голов детворы да полуживой жены, уличный писец состряпал для него несколько иное надгробное изречение:

«Милость светила вселенной[4] перестала согревать душу раба Хюсейна и он был ввергнут во тьму забвения».

Слова, одни слова. А кому они нужны? Да, кладбище это, – оно называется Гяджиль, – такое же, как и все другие. Солнце жжет его скудную траву так же, как песчинки на берегах Хедисана, и так же, как везде, голодные псы приходят сюда выкапывать трупы бедняков, которые еле покрыты неровным слоем земли. Все они смотрят на Мекку и ждут. А пока все равны: здесь, под этим вот бугром, гниют вместе борода Шейх-оль-Ислама[5] и пуп последней потаскухи, – поди, разбери их!.. Но не станем тревожить мертвых, сядем вот сюда, на эту плиту, и набъем наши чибуки гилянским табаком. Кури. Две-три затяжки – и муэдзин пропоет вечерний азан, нам надо будет идти тогда, чтобы не встретиться с джиннами[6]... Избави нас аллах от этой встречи, несущей с собой падучую и грех... Говорят, что джинны стали особенно злыми и мстительными после одного события, о котором я хочу рассказать.

Ты видишь застроенную полосу, что кирпичными стенами высится у самого края кладбища? Так вот, на этом самом месте долгие годы был голый пустырь. Старики утверждали, что над пустырем тяготеет проклятье, которое неминуемо должно коснуться всякого, кто пройдет по нему. Да и без этого ничем не могла прельстить выжженная пядь земли, и неудивительно поэтому, что все избегали это место.

Лишь раз, в давно минувшие годы, когда отец мой, – мир костям его, – играл еще в чехарду, сосед наш – Молла-Наджеф – проследил одного бобби[7], повадившегося ходить на пустырь с какой-то порочной женщиной. Молла созвал людей, и несчастный бобби был избит до полусмерти.

Пустырь слился с кладбищем. Он был таким же тихим и таинственным. Говорят, что в полночь, когда луна серебрит кору чинары и совы говорят слова ненависти, тысячи джиннов кружились по пустырю, брызжа желчью, которой полон их безобразный рот.

То, о чем я хочу рассказать тебе, случилось лет десять-пятнадцать тому назад. Это было гораздо позже разгрома тэбризского энджумена[8](27), кажется, в 1331 или 1332 году хиджры... Да, да, именно в 1332 году, теперь я хорошо припоминаю... Страшный это был год. Все соки Тэбриза были высосаны русскими солдатами. С самого утра болтались они по базару, отрав-

[1] Гюлистан» - «Розовый цветник», собр. моралистических изречений и стихов Саади.
[2] До-хазари – монета стоимостью около 40 копеек.
[3] Сарбаз – солдат.
[4] Один из эпитетов шаха.
[5] Шейх-оль-Ислам – глава правоверия
[6] Джинн – злой дух
[7] Бобби – последователь учения Боба.
[8] Энджумен – общество. Местные парламентские комитеты в эпоху первого меджлиса.

ляя воздух запахом свиного сала, которым смазаны их сапоги. Ночами, пьяные, они ломились в дома горожан, расхищая их добро и насилуя их жен. Цена на хлеб поднималась с каждым днем, и с каждым днем росло количество русских ртов.

Что понадобилось русским в Тэбризе? Почему они привозят с собой так много оружия? Толков было много, но самым достоверным было то, что русский падишах собирался взять Стамбол и перестроить Айя-Софию в христианскую молельню. Это особенно подтверждалось слухами о накоплении турецких баши-бузуков[1] под Урмией[2]. Как бы то ни было, – сам аллах их не разберет, – туго приходилось тэбризцам в ту пору. Однажды, опуская жалюзи окон, отец мой сказал:

«Спокойно спать не может тот,
Кто завтра своего не знает...»

Он был мудрым человеком, мой отец, знал не одну суру[3] из Корана, разбирался в законах и лечил от желтухи печенью черной кошки, но особенно он любил поэзию и на каждый случай имел готовое двустишие. Стихи!.. Ими не украсить жизни, как не сварить плова без масла, и поэтому от поэтических словоизлияний моего, блаженной памяти, отца никому не делалось легче.

Удивлялись люди: что сталось с Ираном? Иль стерлись с лица земли имена Джемшида и Ростема? Откуда дерзновение у кяферов[4], обращающихся с нами, как с рабами своими, и почему страх врагов своих[5] не издаст фирмана[6] об изгнании их?

Однажды утром, когда постели дышали еще телом и веники скребли циновки, базар наполнился негодующими голосами. Толпа туджаров[7], приказчиков, хамалов бегала по всем направлениям. Голосами камышовых свирелей пели муэдзины и от слов леденело сердце, как леденеет роса на склонах Демавенда.

Они говорили о страшной мести аллаха, ниспосланной нам за наши отступления от тропы верных; о растлении нравов, об урусах, осквернивших наши святыни; о женщинах, забывших повеления священной книги; о юнцах, не знающих цены седым волосам... Они предостерегали народ от козней шайтана, вошедшего в сердца мусульман; об огнях джхеннама[8] пели они, эти голоса камышовых свирелей... И еще говорили они о железном коне. В семь тысяч раз быстрее лучшей гончей из псарни шахен-шаха летит этот конь – исчадие преисподней. Он идет по железным канатам, протянутым русскими от Араза[9] до Шераф-Ханэ[10]. Он будет скоро в Тэбризе, и звезды посыпятся с неба в час его прихода, если правоверные не поднимут своего голоса и не упросят шаха воспрепятствовать этому.

Презреннейший из кяферов да не удостоится того, что перенес в эти дни Тэбриз! Голоса муэдзинов не прерывались до глубокой ночи. Они не напоминали уже свирелей: в них была безнадежность хриплого лая дворняжки. Казалось, вот-вот содрогнется земля, мелким щебнем обрушатся горы, закипят в языках огня моря и сквозь дымящиеся стены разрушенных городов, неся всеобщую смерть, промчится железный конь уруса. Никогда еще намаз не совершался с такой точностью, как в те дни. Но ничего не помогло: шах остался глух к нашим мольбам и аллах оставил без внимания наши молитвы. Железный конь двигался вперед...

Что сверлить твой мозг описанием каждой мелочи? Настал день прихода железного шайтана в Тэбриз. Несмотря на угрозы мулл, сотни людей, среди которых были старики, не поднимающиеся с постели шесть месяцев в году, и женщины, носящие в животе зрелый плод, потянулись к Гяджилю, чтобы собственными глазами увидеть чудовище.

Лузгая семена тыквы у праха наших предков, мы глядели на джиннов пустырь и не узнавали его: он ожил. К наскоро сколоченным навесам, под которыми устроились продавцы сладостей и кофе, то и дело подъезжали вылощенные экипажи, выбрасывая новых и новых людей. Знатные

[1] Баши бозуки – иррегулярное войско в бывшей Оттоманской империи.
[2] Урмия – город в северо-западной Персии, граничащий с Турцией.
[3] Раздел Корана.
[4] Кяфер – гяур.
[5] Эпитет шаха.
[6] Фирман – указ.
[7] Туджар – купец.
[8] Джхеннам – ад.
[9] Араз – река на границе Персии и СССР.
[10] Шераф-Ханэ – название порта на Урмийском озере.

купцы, сахаб-межибы[1], иностранные консулы, их пышно разодетые жены и просто ротозеи, подобно нам, пришедшие поглядеть на диво, беспрестанно ходили взад и вперед, с гомоном, всплескивали руками и, устав, бросались в тень навесов, пожирая целые горы мороженого и гязи-халиса[2].

Особенно много было русских. Их лица светились дьявольской улыбкой. Мы смотрели на них с ненавистью и любопытством, нам хотелось узнать тайну их радости, но никто из нас не подходил близко: все думали, что в последнюю минуту разгневается аллах и в диком смерче похоронит кяферов и тех вероотступников, что щеголяют с ними на пустыре джиннов.

Мгновение – век. Из бирюзовых шатров своих выкатилось солнце. Оно было таким же, как вчера, и это удивило нас. В воздухе звенели изумрудные мухи. Мало-помалу тревога прошлых дней улеглась в нашем сердце, и мы стали посмеиваться над глупыми шутками о железном коне. Да, нам показалось шуткой все то, что говорили, иначе не мог же этот день быть таким светлым и безмятежным!

Но вдруг люди на пустыре забегали, переполошились. Один из русских взобрался на высокий помост, сорвал перетянутую между двумя столбами веревку, и вслед за тем где-то совсем недалеко раздался чудовищный рев.

- Аллах!

Черный, он катился на серебряных колесах, ловя солнце большими ледяными глазницами, из которых выпали зрачки. На спине у него – железная башня, из которой с хрипом, подобным хрипу семи тысяч обреченных, вырывалось ядовитое дыхание. Он двигался на нас... Все слоны Хиндустана не могли бы остановить его, и лучшие сабли Арабистана были бы равны перед ним сгнившему камышу. Таков был конь шайтана, наливший ужасом наши глаза...

Солнце было на своем месте, и мир изменился так же мало, как баня Абу-Талиба, в бассейне которой мыл свое тело мой дед и будет мыть мой правнук. Ночью блистали золотые пуговки неба. Так же, как прежде, торговал базар, пеклись на солнце майданы, попрошайничали сейиды[3] и рожали женщины. Тэбриз привык к реву железного шайтана, и уже через две недели после его первого прихода находились смельчаки, щупавшие его разгоряченные бока.

А дальше – еще хуже: пустырь джиннов стал излюбленным местом загородных гуляний молодежи. Безусые юнцы, не желающие слушать предостережений аг-саккалов[4], собирались сюда, строя догадки о том, что принесет в красном хвосте своих сундуков железный конь.

Что путного может принести шайтан? Алчность, которая ведет к гибели. Не довольствуясь тем, что у них было, забыв заветы корана, люди стали подражать фрэнгам[5]: рты осквернялись вином из блестящих бутылей, глаза бесстыдно глядели на движущиеся тени, которые показывал на стене какой-то русский пройдоха, и люди боялись нагнуться, чтобы не порвать узких курток иностранного покроя... Да, много худого принес нам конь уруса...

Какой-то умник затеял строить школы для девушек, и нашлись куры, прибежавшие поклевать это зерно...Пах! На что женщине грамота? Или без этого каурмы она не сделает? Видел я этих грамотных женщин, – их привезли с собой русские, – ни у одной из них нет таких широких бедер и румяных щек, какие были у моей Фирузэ... Да и кто станет спрашивать женщину о государственных делах под теплым одеялом, где тело дышит розами и страстью?..

Я видел сон: взрыхляя волны золотого песка, плелся караван. Покрытый рубищами чарвадар[6] устало тянул баяти[7]. Рыжие верблюды внимали ему. Вдруг небо обволокло черными кольцами дыма, будто кто-то развел в пустыне исполинский костер. Обезумевшие от страха верблюды бросались из стороны в сторону и тщетно старался чарвадар собрать их в одну кучу... Сквозь дым с грохотом пронесся железный шайтан, раздавив караван... Пустыня обрастала железными мостами. Они холодно блестели под солнцем, встающем с Запада... Я понял: разрушался Иран, уходило старое, железный конь побеждал и нельзя было остановить его, ибо кулак против меча – не дело разумных...

---

[1] Сахаб-межиб – начальник, офицер.
[2] Гязи- халис – восточное лакомство.
[3] Сейид – потомок пророка, пользующийся особыми привилегиями.
[4] Аг-саккал – дословно белобородый, символ зрелости и мудрости.
[5] Френг – так называют персы европейцев.
[6] Чарвадар – погонщик каравана.
[7] Баяти – песнь скорби

Шумит река времени. И кто знает, через два десятка лет, когда язык мой не будет щекотать больше десен, кто знает, быть может, разворотив тысячелетнее кладбище, и здесь пройдет железный конь, чтобы окончательно развеять прах старого Ирана... Тогда новое придет из-за Араза. Там, говорят, правят безгрудые женщины и мертвецов сжигают в красном огне, подобно гебрам[1]. Отцы не вправе там пороть детей от собственной плоти, и люди не в ладах с аллахом...

Каков будет тогда Иран?..

Но стряхнем пепел с наших чибуков: Тэбриз зажегся уже электрическими огнями и нам надо спешить...

Сказ третий

О желтоглазой красавице, доблестных подвигах Джафар-шаха и о банной мудрости

У девушки – овальное лицо, тонкие, словно паутина, брови и большие желтые глаза. Одета она в шальвары из узорчатого атласа и зеленую рубаху из канауса. Кистью левой руки она держит бубен, на котором лежат пухлые, как козьи сосцы, пальцы. Но лучше всего удались художнику мясистые груди: правая из них набухла от сырости, съедающей известковый фасад, и переспелой грушей повисла над самым входом в баню.

Каждый четверг, прежде, чем сойти по скользким каменным ступеням, Кербелаи-Джафар останавливается на улице и подолгу разглядывает покрившийся фасад. Разрубленный надвое дракон, семиглазый див[2] и распростертые у ног Ростем-Зала бездыханные львы – плывут в каком-то далеком тумане, не волнуя Кербелаи. Он видит только красавицу. Он придумал даже имя для нее, для этой немой красавицы: Ирандохт!..Кербелаи-Джафару кажется, что вот-вот она сойдет со стены, возьмет из его рук узел, в котором аккуратно сложены кадифэ[3], гиль и частая деревянная расческа, и зашагает вместе с ним, еле прикасаясь земли выцветшим сафьяном своих туфель... Но Ирандохт не двигается. В измякшей желтизне ее глаз Кербелаи-Джафар ловит насмешку, заставляющую его опустить голову, разочарованно провести по лицу старательно нахноенной пятерней и, сильнее прижав к себе узел, идти вниз.

***

Искривленная подкова раздевальни еле освещена. Мертвыми глистами ложатся лучи сквозь промасленную кожу, которой обтянуто единственное отверстие в куполе. Кербелаи-Джафар подходит к скрипящей тахте, опускает на нее свой узел, достает из него красную с золотыми звездочками фитэ и, целомудренно укрывшись от посторонних взоров, начинает раздеваться. Бережно сложив в одну кучу гейму[4], мешковатые – из домотканого холста – шаровары и высокую смушковую шапку, он растягивается на тахте и, уставившись в слезящийся купол, впадает в грезы...

***

Кербелаи-Джафар – неограниченный властелин Ирана. Он отдыхает после обеда, на котором было съедено трижды сто курдистанских куропаток и было выпито сорок ковшей розового шербета, не считая целых гор миандабских персиков, бледно-желтых груш и винограда, которые присылаются правителями областей со всех концов страны. Солнце окутывает радугой переливов змеящиеся тела танцовщиц. Будоража душу, сочатся звуки кеманчи[5]. На расстоянии четырнадцати шагов от трона, подобрав под себя ноги, сидят везири, а в глубине, у ведущих в эндерун золотых дверей, покорным блеском светится единственный глаз евнуха...

Старший везирь трется лбом о ноги Джафара

- О, святыня вселенной, могущество Ирана, утренняя звезда на небосклоне мира, о шахен-шах, – говорит он, – презреннейшему из псов твоих да будет дозволено доложить своему властелину о том, что творится в землях лучшего из государств...

Джафар-шах милостиво кивает и везирь, поцеловав кончик его башмака, говорит:

[1] Гебры – огнепоклонники, заратустрийцы.
[2] Див – демон.
[3] Кадифэ – простыня.
[4] Гейма – нечто вроде редингота.
[5] Кеманча – восточный струнный инструмент.

- Вчера покинул твои владения последний кяфер; семидесяти ослушникам, мутившим народ, велено влить в горло расплавленный свинец; разрушены френгские школы, сеющие раздор между правоверными; с главной башни Топ-ханэ[1] сброшена в мешке с кошками женщина, дерзнувшая показать свое лицо лабазнику Хюсейну... Во дворе Высокой Порты с трепетом ждут сияния очей твоих доблестные войска...

Рука Джафара опускается на сдавленное складками шелкового халата колено. Везири падают ниц. Бесшумно распахиваются золотые двери. По шелковому с голубыми крапинками ковру проходит Джафар-шах в свой эндрун, чтобы в последний раз перед походом вкусить ласки бану[2]...

Облаченный в железо и пурпур, с дамасским ятаганом на бедре, выезжает шах за городские ворота в сопровождении несметного войска, голова которого движется в Хорасане, а хвост теряется в Тэбризе. Земля трясется от грома копыт, и солнце дробится на остриях пик. Во имя восьми и четырех[3], во имя славы Ирана, во имя победы над побеждающими – идет Джафар-шах покорять народы. Звездочеты прочли на небе о его победах; врачеватели, равные Лохману, поклялись в его бессмертии и поэты, искусные, как Фердоуси, сложили хвалебные песни ему...

- Да будет известно рабам и приближенным нашим, что по воле аллаха, милостивого и всемогущего, мы силою рук наших разрушим города гяуров, сметем с лица земли скверну и зажжем в сердцах правоверных радость, подобную радости, обитающей в чертогах всевышнего!..

Сказав это, Джафар-шах водит глазом по войску, сжимает в руках узду, наклоняет голову и его разгоряченный скакун несется вперед, подобно стреле, не знающей ни времени, ни пространства. За ним полыхающимся морем остроконечных касок, арабских коней и белых слонов, с тысячеустым гиканьем несутся войска...

Ятаган? Нет, не ятаган, а молния – одним ударом его шах сносит сорок голов! Головы летят в воздух и падают к его ногам, как шутливо срезанные арбузы. Высоко до самых облаков бьют фонтаны крови из обезглавленных тел врага. Искрометными кострами светятся в синеве ночей города гяуров. Легче счесть звезды на небе и волосинки в хвосте хамаданского ишака, чем число трупов, которыми устлал равнины противник. Не осталось под солнцем ни одного клочка земли вне пределов Ирана. Худшие из рабов кормят своих коней жемчугом, отнятым у жен нечестивцев, и крестьяне вспахивают поля зубцами корон плененных королей...

Предсказания звездочетов сбылись: осиянный бессмертием, возвращается Джафар-шах. Он едет в колеснице, заряженной двенадцатью парами френгских царей. В густой чаще голосов глашатаи возвещают разукрашенной столице о его прибытии... Золотыми ручьями льются узоры с дверей эндеруна, куда входит шах...

В течение семи ночей проходят перед ним нагие пленницы. У них самшитовые плечи, бездонные, как море, бирюзовые глаза, походка джейрана и груди, как гранаты из шахского дворца...

***

Пятку щекочет жесткая рукавица. Джафар приподнимается. Перед ним, покачиваясь на волосатых ногах, стоит кисячи[4] проклятый! Всякий раз он напоминает о себе в тот самый миг, когда отдыхающий после похода Джафар-шах липкими, как слюна, словами, думает о наслаждениях с френгскими пленницами. Несколько минут сосредоточенно и молча он старается восстановить прерванную нить грезы, но, не придя ни к чему, горестно машет рукой, надевает деревянные подставки и, гулко хлопая ими, входит в баню.

***

Кербелаи-Джафар ложится на пол и, окутанный теплым паром, окончательно забывает о евнухе и золотых дверях эндеруна. Недалеко от него, по растрескавшейся стене раскаленного аб-амбара[5] зеленоватой струйкой бежит вода. Рукавица кисячи скользит по телу Кербелаи-Джафара, скатывая на нем серые фитили грязи, которые растворяются через минуту в кружеве мыльной пены, льющейся из тонкого кисейного мешочка. Все кости, начиная от больного

[1] Топ-ханэ – штаб-квартира артиллерии.
[2] Бану – старшая жена в гареме.
[3] 12 имамов, шиитских мучеников.
[4] Кисячи – терщик, банщик.
[5] Аб-амбар – водохранилище.

сустава на большом пальце ноги, кончая костяком сморщенной шеи, истомно хрустят от массажа, доводя вес Кербелаи-Джафара до веса самого маленького воробья.

- Сколько жен у тебя, друг? – обращается к кисячи Кербелаи-Джафар, чувствуя в себе непоборимое желание говорить на интимные темы.

- Много ль заработаешь от мытья чужих задниц, чтобы думать о второй жене? Была одна – похоронил, а теперь приходится довольствоваться потаскухами...Славная была женщина: от кирпича, которым она натирала казаны, медь казалась золотом, а рис она варила не хуже любого члов-паза[1].

Вспомнив волнующие достоинства своей жены, кисячи в сердцах трет костлявую грудь Джафара.

- А приплод большой?

- Слава аллаху, четырех унес синий кашель[2], а пятый умер через два дня после матери, не то все мы подохли бы с голоду.

- Бели, – тянет Кербелаи-Джафар, – никогда еще, даже в голодные годы, Тэбриз не видал еще такой дороговизны... Восемь аббаси[3] батман[4] лаваша! Да что мы, на казне, что ли, сидим?

- Да и лаваш-то не лаваш, а бычачья кожа какая-то...

- А все это от того, что хейрат[5] сполз с лиц, что и говорить, хороши мусульмане, ругающие шаха и показывающие своих жен френгам... Не успеет еще поседеть моя борода, как все эти женщины, забыв стыд и страх, уподобятся сукам...Астафуруллах!..

- Вот сегодня, ага, мне пришлось мыть какого-то тегеранца, который уверял, что он по доброй воле велел своей жене открыть лицо и одевать чулки из прозрачной ткани...

- Машаллах, машаллах, Дживан!..

Кисячи выбегает и через минуту появляется с простыней. Кутаясь в нее и тщетно стараясь преодолеть охватившую тело дрожь, Кербелаи-Джафар нанизывает еще одну жемчужину на нить банных мудростей:

- Вообрази, мой друг, что волею вездесущего ты сделался обладателем драгоценнейшего в мире рубина. Что ты сделаешь с ним? Если ты положишь его на открытое место, злой глаз подметит его и нечестная рука украдет. Как же ты должен поступить, чтобы остаться единственным владельцем того, что подарено тебе свыше? Ты должен найти старую, заплатанную торбу и спрятать в нее драгоценный камень: никому и в голову не придет, что в изодранном мешке покоится лучший из рубинов...Точно так же должен поступать всякий мусульманин: держа жену под чадрой, не выпуская из под семи замков, он тем самым лишает шайтана возможности воспламенить в сердцах людей вожделение к чужому товару...

Удовлетворенно проведя рукой по отвислому животу, Кербелаи-Джафар семенит к выходу. На улице он еще раз смотрит на желтоглазую красавицу, предупредительно щупает в кармане большой ключ от своей лавчонки, где рядами стоят мешочки с хной, гвоздикой и лепестками роз, и, положив за язык кусочек корицы, направляется домой. Дорогой он думает о низких ценах на мускус, о мастерстве кисячи и о могуществе шахен-шаха, который может лакомиться куропатками и увеличивать число своих наложниц.

***

Бурые скалы насупились над садами Тэбриза и мутные воды Аджи-чая орошают те сады. Необъятен Тэбриз. Необъятна история его. Говорят, что основателем его был Гарун-ар-Рашид, стократ воспетый калиф.

Было так: у калифа была любимая жена. Долгие годы страдала она от болотной лихорадки. И много врачевателей покарал Гарун-ар-Рашид за то, что они не смогли побороть недуг его любимицы. Однажды ему помог сам аллах. Охотясь, он набрел на целебный источник, вода которого излечила его соголовницу. И велел калиф построить вокруг источника город с башнями и дворцами. И дал ему название: ТЭБ – РИЗ.

(«На рубеже Востока», Тифлис, 1930, №1, с.22-34).

[1] Члов-паз – кулинар, повар.
[2] Синий кашель – дифтерит.
[3] Аббаси – три с третью копейки.
[4] Батман – 12-17 фунтов.
[5] Хейрат – честь, самолюбие.

Магжан ЖУМАБАЕВ (1893-1938)

Магжан Жумабаев (1893-1937) - казахский поэт, расстрелянный НКВД в 1938 г. Его сборники выходили давно, в 1912, 1922, 1923 гг. в Казани и Ташкенте. Один из основоположников новой казахской литературы. Творчество его отразило все богатство духовных исканий казахской интеллигенции начала XX века. С 1923 по 1926 гг. М. Жумабаев учится в Московском литературно-художественном институте, возглавляемым В. Брюсовым. После первой отсидки с 1929 по 1936 гг. отпускают досрочно. Однако свобода продлилась недолго. 30 декабря 1937 г. М. Жумабаев по злостному навету арестован и расстрелян в ежовских застенках 19 марта 1938 г. Реабилитирован в 1989 г. Более полувека творчество Магжана Жумабаева было под запретом, что нанесло урон казахской поэзии, отбросило ее вспять на несколько десятилетий, вернуло почти к фольклорному состоянию. В переводе А. Кодара уже вышла книга М. Жумабаева "Голос Востока". В сборник вошла лирика и поэма "Батыр Баян". По мнению А. Кодара - переводчика творческого наследия М. Жумабаева на русский язык: "Мы стоим на пороге открытия творческой личности, сопоставимой с Байроном и Бодлером, это колоссальный талант, придавший европейскую огранку самородной культуре Великой Степи".

Прегрешение Шолпан[1]

(рассказ написан в 1923 г.)

В год, когда Шолпан вышла замуж за Сарсенбая, встречаясь на отшибе с молодками, она тоже, как и все делала вид, что грезит о ребенке. Однако, это были только слова: хоть Шолпан и повезло в том, что ей среди тысяч молоденьких казашек, продаваемых за калым, удалось в кои-то веки выйти замуж по любви, она в первые годы и вправду не хотела ребенка. Была ли она одна в просторной белой юрте, или предавалась любовным утехам в объятиях мужа, она внутренне молила лишь об одном: «Господи, не дай мне ребенка!». Как это ни кощунственно, Шолпан думала, что с ребенком не будет в доме никакой отрады. Ей казалось, что если родится ребенок, он будет как колючка между мужем и ею. Шолпан остерегалась, что когда между столь удачно сошедшейся молодой парой появится чуждое третье существо, это может погасить, остудить их столь пламенную, столь страстную любовь. С этими мыслями она дни и ночи напролет молила бога только об одном: чтобы он не давал ей ребенка. Когда, алея подобно шелковому занавесу, с востока вставал рассвет, в тот час, когда другие люди, колотясь лбами о молитвенные коврики, валились на утреннюю молитву, прося у господа счастливого житья-бытья, неугасимого счастья, неисчислимых богатств, и, конечно же, детей, Шолпан, горестно вздыхая, молила об обратном – чтобы он не давал ей ребенка. И просила она это не оттого, что по природе не любила детей; ее заботило то, чтобы между мужем и ею не прервалась благая нить любви, чтобы никто не покушался на их святое чувство, которое связала их узами покрепче религиозных.

Возможно, безумные мольбы молодого пылкого сердца были услышаны, но Шолпан хоть и была замужем уже три года, так и не забеременела. И этому обстоятельству она была очень рада. За эти три года и муж ее, похоже, не тосковал о ребенке, в течение этих трех лет он

[1] Шолпан – Венера или Утренняя звезда. Видимо, это имя неслучайно. Оно как бы намекает на несвоевременность героини, на преждевременность ее появления. Первый сборник стихотворений Магжана, вышедший в 1912 г. в Казани, так же назывался «Шолпан».

не желал никого, кроме Шолпан, кроме ее опаляющих, нежных как купание в шелку, объятий. Казалось, его жизнь начиналась и заканчивалась с Шолпан, что она была его утренней и вечерней молитвой.

В этом мире не так глубоко море, как человеческая душа. Конечно, никто не мог проникнуть в глубину помыслов Сарсенбая, но как бы то ни было, Шолпан так казалось. И за эти три года она не услышала ни одного слова, не увидела ни одного поступка, которые заставили бы ее усомниться в этой своей мысли. О том, что жизнь без детей – напрасно прожитая жизнь, она слышала от многих других людей, но не от своего горячо любимого мужа. Это еще более укрепляло молодую женщину в ее правоте. Ведь для влюбленных священны не суры Корана, а слово возлюбленного.

Как бы наперегонки пролетали месяцы, стройной вереницей проходили годы, но Шолпан все больше утверждалась в мысли, что ребенка ей не нужно. Однако уж так устроен этот мир, что перемены и в природе, и в человеческой жизни, и в человеческом сознании готовятся исподволь, но наступают внезапно. Проходят месяц, два, три и наступает осень. Но наступление осени человек осознает не в эти три месяца. А именно в какой-то момент, где-то допустим, в одну ночь чувствует, что пришла зябкая, плаксивая осень с морщинистым, дряблым лицом. Так случилось и с Шолпан, что ее неколебимое решение изменилось в одну ночь.

Эта была долгая зимняя ночь, нескончаемая как кружение веретена. Вечером, закончив возиться со скотиной, муж Шолпан зашел по-соседски в дом своего сверстника Нуржана. Этот его друг был женат пять лет и за это время нажил троих детей: двух мальчиков и одну девочку. Сарсенбай надолго задержался в доме Нуржана и задержался он там не из-за разговоров с Нуржаном, а из-за его детей. Там и в самом деле было не до разговоров, все смотрели на проказы малышни и весело смеялись. Вот сыновья Нуржана забавно что-то лопоча, пытаются спеть. Вот засучив рукава, поплевав в маленькие ладошки, схватив друг дружку за пояс, задорно вступают в борьбу. Вот кто-то из них ставит подножку, второй падает, а первый мальчик тоже споткнувшись, падает на второго. Взрослые весело смеются, зовут к себе мальчиков, по очереди их целуют. Отец Нуржана, подозвав внука целует его и спереди и сзади, не оставляя на нем живого места. Особенно была привлекательна младшенькая дочь Нуржана. Она была так обаятельна, так трогательна, что сердце так и таяло.

Захваченный этой шумной, беспорядочной детской возней Сарсенбай надолго задержался у Нуржана. Вместе со всеми он тоже смеялся, подзывал к себе детишек, говорил им что-то приятное, гладил по головкам. Когда наконец он вышел на улицу, в округе все уже спали. Зайдя к себе домой он увидел, что и Шолпан легла спать, но, кажется, еще не заснула. Сарсенбай пристроился в постели рядом с женой, и, смеясь, стал рассказывать ей какие милые дети у Нуржана. Причем у него и в мыслях не было, что сам-то он бездетный... Его не волновало это обстоятельство, напротив, рассказывая о своем пребывании в доме Нуржана, он все время смеялся. И вот тогда-то у него как-то само собой вырвалась фраза, что дом с детьми – базар, а дом без детей – мазар[1]. И вдруг Шолпан обожгло как молнией. Она поняла, что все эти три года страшно ошибалась, когда не хотела иметь детей, что это желание было просто безумием. Ведь без детей жизнь, действительно, как одинокая, заброшенная в степи могила. В один изумительный миг пред прозревшими очами Шолпан предстало, что даже пламенная любовь между супругами с течением времени гаснет, что и супружеские объятия не могут пожизненно хранить первоначальное пламя страсти, и, что именно в момент, когда жар двух любящих сердец остынет и нужны дети, как послы доброй воли между мужем и женой, способные породить новое очарование в их отношениях. Сарсенбай, посмеиваясь, долго рассказывал о забавных и таких сладких детских проделках. Когда он от всей души хохотал над этим, вместе с ним похохатывала и Шолпан. Но в душе ей было не до смеха. После той поговорки, вскользь брошенной Сарсенбаем, душу Шолпан, стремительную как сокол в полете и ее легко воспламеняющееся сердце, подобно порывам бесноватого ветра, объяли черные как змеиная орда, недобрые, тягостные мысли. Как волны бездонного иссиня-черного моря один за другим накатывали черные, беспросветные мысли. Она вспоминала о своем безумном желании длив-

[1] Мазар (каз.) - могила

шемся целых три года. Ей виделась брезжущая где-то вдали неизбежная старость. Безрадостная осень жизни, когда глаза выцветая под бременем лет, становятся цвета золы, дряхлая старость подрезающая крылья сердцу, гасящая в сердце огонь. Если не будет детей, кто тогда прольет в сердце свет, кто его согреет? Если не будет детей, кто восполнит ущербность пустой, обескровленной жизни, подобной пересохшему стебельку травы со сгнившими внутри семенами... Ладно, оставим старость, которая пока еще где-то там, далеко; еще неясно доживем или нет до нее, но уже сегодня, без всякой старости, не кажется ли тебе твоя жизнь обреченной на запустение? Когда-то ты поклонялась любви с усердием новообращенного в веру, считала ее самой могущественной силой в мире. И что же – ее хватило всего на три года и теперь она угасает сама по себе, без всякого давления со стороны! Глупышка Шолпан три года молила о том, чтобы у нее не было детей! А теперь именно из-за этого ее сказочная, прекрасная жизнь готова превратиться в заброшенную могилу! Вот какие мысли обуревали Шолпан, как бы погружая ее в пучину, из которой не выплыть.

Сарсенбай давно уже спал. Однако Шолпан, растревоженная открывшейся ей бездной, не могла сомкнуть глаз. Долгая зимняя ночь тянулась как волос шайтана. Мысли Шолпан все углублялись, все мрачнели, до полной беспросветности. Когда с востока едва показались первые лучи рассвета, Шолпан, бессильная унять душившие ее рыдания, молила бога лишь об одном: «Господи, дай мне ребенка!»

II

С этой ночи Шолпан думала только о ребенке. Эта мысль преследовала ее и днем, и ночью. Она носила ее и в сердце своем, и шептала ночами в подушку, заливаясь горючими слезами. Однако наперегонки пролетали дни и месяцы, но ничего не менялось, Шолпан в желании своем дошла до изнеможения. Сердце ее устало биться, душа ее устала желать, жизнь стала невыносимой. Ночами она плакала уже не слезами, а всем сердцем своим. Она стала усердной в вере, соблюдала себя в чистоте, совершала омовение, не пропускала ни одной молитвы. С первыми лучами солнца она свершала утренний намаз, перебирая четки, читала «Субханалла»[1]. Однако ребенка не было. Шолпан никому не сказала, что встала на путь религиозного рвения из-за того, что хочет ребенка. Не сказала даже Сарсенбаю, которого любила больше жизни. Поэтому Сарсенбаю и всем другим поведение Шолпан казалось очень странным, чудным. Над ней стали смеяться все кому не лень. «Ты что, в святые метишь?» - посмеивался над ней и Сарсенбай. Ее теперь кроме как «Святоша» никто не называл. Она сама в себе превратилась в саднящую, незаживающую рану, сгорала одна от горя, содрогалась одна от рыданий, отказалась от всего мирского, стала и в самом деле чуть ли не святой. И все это только для того, чтобы заиметь ребенка, но бог отказывался его давать.

Чего только не делала Шолпан, чтобы понести ребенка! У каждого встречного муллы покупала заклинания. Пила освященную ходжами[2] воду. Гонялась за каждым обладателем чалмы в надежде на его магическую силу. Когда толстый краснсорожий ходжа с силой пятилетнего быка дул на воду, совершая обряд изгнания злых духов, Шолпан, чтобы «священное» дыхание ходжи вошло ей прямо в живот, а не разбрызгивалось по сторонам, с колотящимся сердцем, то краснея, то бледнея, держала свое лицо прямо у рта «боговдохновенного». Находя десятки причин, она даже добилась того, что ее всего осмотрел баксы[3]. Да, чего только не делала Шолпан во имя своей цели! Подобно бедолаге, беснующемся при пожаре, он испробовала все. Однако установленной чередой проходили годы, но ребенка не было и в помине. Но Шолпан, хоть и выплакала все слезы, хоть и не желала иметь ничего общего с этим миром, продолжала стоять на своем. Она стала подвижником веры, посвящала могущественным святым множество лошадей и овец и просила лишь об одном: «Господи, дай мне ребенка!»

Однако эта ее мольба так и осталась мольбой. Слезы ушли в песок, желание обратилось в тоску, жизнь шла своим чередом. Шолпан не забеременела. Не смотря на все ее мольбы и сте-

[1] «Субханаллах!» – одно из слов при поминании Аллаха, означает "Хвала Аллаху! Далёк Он от всякого несовершенства!"
[2] Ходжа (каз.) – духовное лицо. Ходжи производят свою родословную от Фатимы, дочери пророка Мухаммеда. Это первые миссионеры ислама в степи. У казахов они не входят ни в один из родов, держатся особняком как представители духовной элиты.
[3] Шаман

нания, господь не дал ей ребенка. Кто знает, может Господь был по-своему прав в этом своем решении. Возможно, он внял первоначальной мольбе Шолпан, когда она просила не давать ей ребенка. Возможно, он начертал это свое решение на доске, не знающей износа и правки. И, по всей видимости, желание Шолпан – давно уже отвергнутое, абсолютно безнадежное желание. Весьма может быть, что есть что-то общее между господом и крупным торговцем с его непреклонной вывеской «Торг неуместен». И в самом деле, трудно отличить господа нашего от бессовестного, зарвавшегося негоцианта. Похож он также на гордого, безудержного в гневе правителя. Если он не был бы таким, разве прогнал бы Адама голым из рая только за то, что он нарушил его волю! И в то же время он ангела Азазила превратил в дьявола за то, что он не поклонился Адаму? Возможно, именно из-за этой своей склонности к насилию он и не дает ребенка Шолпан? В конце концов, Шолпан устала от всех этих заклинаний, заклятий, изгнания злых духов, святых оплевываний и похлопываний по спине, молитв, воздержаний, милостынь и благословений. Она поняла, что из всех этих обрядов ничего не выйдет.

На господа уповать бесполезно, он не принял ее молитв, а жизнь пролетает с каждым мгновением. Жизнь – не знающая устали и остановки бездушная, безжалостная машина. Пусть кто-то плачет кровавыми слезами, кто-то потерял последнюю надежду, пусть кто-то потерял под колесами руки, ногу, голову, все тело, да что там тело, душу и сердце, она, знай себе, катится, никогда не оглянется, не пожалеет. Вот и у Шолпан сейчас сердце обливается кровью, душа, словно птица с подбитыми крыльями, но кто на нее оглянется, кто ее пожалеет? Источая пену не только со рта, но и со всего своего тела жизнь проносится как пенящаяся в водовороте волн буйная речка, отвесно падающая с горы. С каждым мгновением этой жизни в Шолпан умирала искра мысли или желания.

Жизнь проносится – желания уносятся – ребенка все нет. Что же теперь делать? Нет, пропади они пропадом все эти заклинания, муллы и ходжи! К черту молитвы и посты! Не нуждается она также в самом Господе, если он так горд и непреклонен! Нет, наверно, ключи от зачатия ребенка не в небе, а в самом человеке. Скорее всего, это зависит от самих мужчины и женщины. Кто знает, может, Шолпан не забеременела до сих пор только оттого, что не сумела стать настоящей женщиной? Оттого, что она, как и все казахские женщины лежала в постели недвижно, как будто отбывала повинность? Оттого, что при соитии с мужем не отдавалась ему всем телом и душой, оттого, что в ее объятиях и поцелуях не было должного огня?..

Под влиянием этих одновременно и сладостных, и горестных мыслей теперь она стала по-другому любить своего Сарсенбая. Ее тело охватывал пожар, объятия – обжигали, рот источал пламя. Она отдавалась своему мужу как заарканенный детеныш марала, дрожа и волнуясь как тринадцатилетняя девочка, впервые познавшая мужчину. Она так крепко обнимала своего мужа, что, казалось, у него слипнутся ребра. Ее поцелуи обдавали жаром лицо Сарсенбая, который лежал под ее страстным напором, как рыба, выброшенная на берег. Не зная как все это воспринимать, он только посмеивался: «Ты что, моя бедная кобылка, на старости лет решила стать иноходцем?!». Эта ирония Сарсенбая была для Шолпан как соль на раны. На ее глаза наворачивались слезы. Ее очень обижало и раздражало то, что самый близкий ей человек не может заглянуть ей в душу. А как же ей было не обижаться, если он в то время, когда она ради ребенка встала на путь безумного религиозного рвения обозвал ее Святошей, а теперь вот опять, насмешничая, придумал кличку «Иноходец».

А ведь ребенок... также должно быть нужен ему, как и Шолпан? Ведь он нужен и ей, и ему в одинаковой степени? Почему же Сарсенбай не помогает на этом пути, общем для них обеих? Почему он не становится на этот путь, почему он не страдает вместе с Шолпан? Обычно, мужчины только и мечтают о сыновьях, а почему Сарсенбай никогда не заикнется о ребенке? Или... или... не может быть... а впрочем, кто знает...но... почему он даже разговора об этом не поднимает? Постой... постой... неужели он импотент? Господи, господи... но если он и в самом деле неспособен.... Все это не от недостатка в ней пламени веры или любовного жара... это все оттого, что Сарсенбай импотент! Значит, сердечной ране Шолпан, с которой она ходит вот уже пять лет, вовеки не будет исцеления? Значит, напрасны были все эти слезы на молитвенном коврике, все эти пламенные объятия, огненные поцелуи? Значит, их как будто и не было? Значит, она извела себя ради пустой фантазии, игры воображения? Значит, вековать ей

теперь в одиночестве как ободранной на ветру березке? Ведь когда-то их соединила пламенная любовь, так неужто теперь они расстанутся как два дерева с разведенными в разные стороны ветвями? Значит, и их пылающая любовь постепенно угасая, сойдет на нет с дымом и гарью?.. Но какая будет отрада в жизни, если погаснет любовь?!

Да, в импотенции Сарсенбая сомневаться не приходится. Поэтому и нет ребенка. А без ребенка какое счастье? Поэтому я и несчастна... Но как может быть счастлив Сарсенбай, когда я так несчастна? Почему это его не касается? Как это может его не касаться, если причина этой беды кроется именно в нем? Или ему не нужен ребенок, хотя бы как утешение в старости? Нет-нет, конечно же, если несчастна я, то и Сарсенбаю не будет счастья.

В таком случае, кто же вытащит тонущий корабль жизни на берег счастья?

- Конечно же, Шолпан, только Шолпан. Шолпан обязана это сделать не только для себя, но и ради мужа. Шолпан должна родить ребенка. Даже если она совершит грех глубже морской пучины и выше высоких гор, она должна сделать это! Господь должен простить прегрешение, совершенное ради благородной цели. Да, бог милостив, он простит? Бог-то простит, но простят ли люди? Не зря же казахи говорят: «Хоть укради, но наживи богатство, хоть согреши, но роди ребенка»... «Пусть будет проклят тот, кто придумал эту пословицу! Проклятье ему! Господи, прости меня, только у тебя прошу прощения...». Шолпан, обливаясь горючими слезами, предавалась этим грешным мыслям на восьмом году своей супружеской жизни с Сарсенбаем.

III

Был месяц май. Аул расположился неподалеку от зимовки. Дул полуденный ветерок. По синему небу как будто в сладостной дреме, едва двигаясь проплывали белые облака. В воздухе как бы плыла шелковая пелерина. Привязанные к горизонтальной длинной веревке на колышках, то и дело пытаясь вырваться на волю, поднимали головы непокорные жеребята. Рядом с ними, время от времени похлопывая хвостами себе по спине и округлому заду, стояли матерые кобылицы. Те же из них, которые успели ожеребиться, все жались к своим жеребятам, как бы пытаясь унять их беспокойную прыть. Старый жеребец, явно не одобряя их поведение, подрагивая, стриг ушами. Овцы еще не пришли с пастбища. Запертые в сарайчике ягнята жалобно блеяли в ожидании материнского молока...

В это время возле своей белой юрты уютная как кошечка на солнцепеке сидела Шолпан и что-то шила. Но на самом деле мысли ее были далеки от шитья. Вот уже на протяжении трех месяцев она продолжает обдумывать свои неотвязные как нашептывания шайтана, грешные мысли. Уже месяц как Шолпан решила согрешить. И это ее решение было совершенно сознательным. Ведь это она сделает не для того, чтобы изменить мужу, а чтобы зачать ребенка, дать кому-то неведомому и несуществующему счастье появления на свет.

Сегодня Сарсенбай едет погостить в город. Раз она приняла решение, не надо тянуть с исполнением. Зачем себя растравлять, понапрасну примериваясь и так, и эдак? Ведь это все может перерасти в панику и тогда она сделает что-то не так? Да, пожалуй, тянуть не стоит, но на ком остановить свой выбор? Кто достоин стать отцом ее будущего ребенка? Может, табунщик Адамкул? Конечно, если бы она сошлась с прислугой, их тайну никто не узнал бы, она так и осталась бы тайной... Но... какой ребенок может родиться от Адамкула? От служанки родится служанка, от слуги – слуга, разве не так? Нет, ей не слуга нужен, а сын. Если у нее родится сын, то пусть будет лучшим, а если не будет лучшим, пусть не родится. Чем иметь бесхарактерного, загнанного ребенка, лучше вовсе не иметь его... Нет, нет, пусть этот Адамкул катится куда подальше! Ладно, тогда кого же выбрать? Некого! Нет никого, ради кого можно было бы опорочить белые крылья любви и самое огорчительное, нет никого, кто мог бы стать достойным отцом ее будущего ребенка. Неужели, и вправду никого нет? Погоди... этот... Шойбай... нет... Жумагали... да ну его!.. Азимбай... Азимбай... может, он подойдет? Он благородного происхождения, молод, здоров, красив. Не старше, наверное, восемнадцати – девятнадцати. Высокий... широкоплечий, как говорится на каждое плечо можно по два человека посадить.. С красивыми бараньими глазами... всегда стоит посмеивается... Едва пробивающиеся черные усы подобны нежному черному шелку. Господи, да ведь этот Азимбай сам уже три года не

знает, как к ней подкатить. Все талдычит: «Женге[1], а, женге, как бы нам встретиться?» Или скажет какую-нибудь затверженную от взрослых пошлость, мол, у шелка узелок один, у нас желанье одно! Когда Шолпан в своих мыслях бесконечных как кружение веретена дошла до этого места, усмехнулась, не смогла удержаться.

В это время из-за юрты вышел Азимбай и со словами: «Удачи, женге!», пристроился рядом. Как говорится, тайное всегда становится явным. Так и у Шолпан, при виде Азимбая душа ушла в пятки, она густо покраснела, как будто ее поймали на месте преступления. Как будто Азимбай вот-вот уличит ее в грешных мыслях.

- Когда вас не увижу, всегда вы чем-то заняты, женге! Что шьете? – спросил Азимбай, и, как будто тронув рубашку, лежащую на коленях Шолпан, стал поглаживать ее бедро.

- Не распускай руки, красавчик! Странный какой... Мой муж сегодня едет погостить в город. Вот я и пришиваю рукава к его рубашке. Говорят, что и ты сегодня едешь в город?

- Да вы что, Саке[2] сегодня едет в город?... Но это же... Женгешка, неужели я зря обхаживаю вас вот уже три года? Наверно, у вас в груди не сердце, а камень, не знающий ни сочувствия, ни сострадания?

- Опять начинаешь? Тебе девушек не хватает, вон они ходят, не знают как на себя внимание обратить?

- Я что – просил у тебя девушку? Зачем мне эти безликие, никудышные девушки. Слыхала поговорку, что платок дарят только ровне?

- Тебе же всего двадцать лет, как я могу быть тебе ровней, если я уже восемь лет замужем.

Усмехнувшись Шолпан значительно посмотрела на Азимбая. Азимбай растерявшись от ее испытующего, и, в то же время соблазняющего взгляда, не знал, что ответить.

- Я так, к слову... Думаю, сколько бы лет ни была замужем, бездетная женщина не станет старухой!

После неосторожного упоминания о бездетности Шолпан, Азмбай растерялся окончательно. Не зная как продолжить разговор, он сильно сдавил ей бедро.

Шолпан отняла руку Азимбая от своего бедра и надолго уставившись взглядом в рубашку, сказала.

- Может, ты и любишь меня. Даже дети когда хотят пойти на воровство говорят: украсть-то можно, но бог ведь все видит. Вот и я говорю тебе: как нам быть с богом?.. Кроме того, ты молод... разве удержишь язык за зубами?

При этих словах черные глаза Шолпан и вовсе стали бездонными, а в глазах Азимбая заиграли сумасшедшие огоньки безудержного желания.... Азимбай и думать теперь забыл про грех, про бога, и, думая лишь о том, как быть поубедительнее, заканючил:

- Я же не ребенок, чтобы проболтаться? Или я враг тебе? Эх, женге, ты же не знаешь как я тебя люблю... И так вон три года держала на длинном поводке. Может, я приду сегодня ночью... В общем, жди... приду...

Рука Азимбая минуя рубашку подобралась уже к платью Шолпан.

- Ладно... но... ну, в общем, ладно...

- Дай поцелую...

- Погоди... вон кто-то идет.

Поблизости кто-то проходит. Шолпан для отвода глаз нарочито громко приглашает Азимбая домой, тот нарочито громко отказывается.

Стоит нежнейшая майская ночь. На небе – ни облачка. По бархату черного неба с какой-то думой, печалью, значением плывет серебряная луна. Чего она ищет? Может, это женщина, потерявшая возлюбленного? В тростнике за зимовкой квакают лягушки. Ква-ква-ква... О чем они? Наверное, тоже изливают душу, тоскуют о любви, о детях? С берега озера доносится уханье филина. Такое впечатление, что он кричит в темноту: «Господи, господи!» Какой тяжкий грех совершила эта птица, если всю жизнь должна поминать господа?..

[1] Уважительное обращение к женщине, буквально «жена старшего брата».
[2] Уменшительно-уважительное отношение к старшему по возрасту.

Вот о чем думает Шолпан лежа в постели на деревянной кровати. Перед тем как лечь она помылась с душистым мылом, достала из сундука новое платье. Для кого она искупалась? Для кого принарядилась? Кого она ждет? Она ждет Азимбая. Она его ждет для того, чтобы изменить драгоценному своему Сарсенбаю, с которым на протяжении восьми лет жила душа в душу. Ради чего? Ради того, чтобы зачать ребенка. О, господи, прости меня, только ты сможешь меня простить... Вот раздался шорох шагов... Стук открываемой двери... Вот Азимбай вошел и идет прямо к кровати. Шолпан не прерывает молчания. Лежит и дрожит как заарканенный кулан. Сердце ее подкатывает к самому горлу. Она боится, что если скажет хоть что-то, то сердце ее выскочит изо рта. Какая-та часть ее тела оледенела. Возбужденно дыша как гончая настигшая лисицу, в мгновение ока раздевшись, Азимбай лезет ей в постель. В это мгновение глаза Азимбая вряд ли отличались от налитых кровью глаз гончей. Шолпан захотелось прогнать его как собаку. Но нет, она не издала ни звука. Азимбай не успев залезть к ней в постель, так и полез во все места, стал тискать ее в объятиях. Шолпан лишь беспомощно шептала: «Красавчик, ну, погоди... не спеши так...».

Прежде, чем войти в двери греха, она хотела открыть душу Азимбаю, хотела высказать ему обо всем, что мучило ее все эти годы. Ей хотелось рассказать, почему сегодня растаяло ее сердце ранее непреклонное перед грехом. Она бы пояснила ему, что ей хочется только ребенка, а не этих жарких, сумасшедших объятий. Ей хотелось сделать Азимбая поверенным своей души, ее мучительных, порой неисполнимых желаний. Но Азимбай не стал ее слушать. Он бесновался в ее постели подобно псу, преследующему кролика. Не проронив ни слова, он был занят только ее телом. Вскоре все кончилось. Шолпан лежала безучастно как труп. Пока безумный, опьяневший от страсти Азимбай забавлялся с ее телом, из прекрасных глаз Шолпан текли на пуховую подушку горючие слезы. Но Азимбаю не было дела до ее слез, до ее души. Его интересовало только ее тело, только это занимало его горячечные, бредовые мысли. Подушка под головой Шолпан промокла от слез. И только нечаянно коснувшись промокшей подушки, Азимбай пробормотал: «Эй, ты чего плачешь? Вот действительно – Святоша!»

Перед рассветом он поцеловал Шолпан и сказал, что завтра зайдет пораньше. Шолпан, уставшей от бесконечных слез, так и хотелось сказать ему: «Нет, не приходи больше! Забудь дорогу к этому дому!». Но ради чего она все это затеяла? То-то же! Хорошо, если этой ночью она зачнет ребенка, но если не зачнет, эта ночь будет пожизненным проклятьем для Шолпан. И разве это прегрешение не станет для нее приговором? И отирая рукавом слезы, ей не оставалось ничего как сказать: «Заходи, красавчик, заходи... заходи, мой желанный!».

IV

Шолпан забеременела. Сбылась ее давняя заветная мечта. Жизнь, казавшаяся столько лет отравой, зацвела вновь. Грех не остался грехом, грех превратился в воздаяние. Ах, как же была рада Шолпан, когда почувствовала, что зачала ребенка! Ее лицо так и сияло! Ее ликующий смех раздавался и днем, и ночью. Едва оставшись одна, она гладила руками живот и целовала свою ладонь. Словно обезумев, она, беззвучно шевеля губами, возносила хвалу неодушевленному куску мяса, шевелящемуся в ее животе. Эх, Шолпан, глупышка Шолпан! Ну, хорошо, она добилась своего. Проблема, ради которой она, поставив на карту свою репутацию, пошла на осознанный грех, разрешилась. Так почему теперь Шолпан не расстанется с Азимбаем? Неужто она и в самом деле встала на путь прелюбодеяния? Неужели распутство стало теперь частью ее жизни? Нет, Шолпан не такая, ее никогда не привлекали ни прелюбодеяние, ни распутство. Так в чем же тогда дело? Увы, на этот вопрос нет ответа. Женская душа глубже морской пучины. Легче познать тайну под семью пластами земли, чем тайну женской души. На первый взгляд, женщина как ребенок, играет с огнем, не зная, что обожжется. Женщина – божество для мужчины, она может и создать его, и уничтожить, может и внушить ему любовь, и повергнуть в пучину горя. Женщина – раба для мужчины, она способна стать пылью из-под его ног, может исчезнуть сама, превратившись в его подобие. Если в любви преобладает женщина, то страдает мужчина, а женщина не забывает о себе, не теряет своего достоинства. Если в любви преобладает мужчина, женщина теряет себя, сходит на нет, теряет голову, становится немой и глухой. В особенности это касается женщин кротких, покорных. Такие женщины дей-

ствительно превращаются в податливую рабыню для своего мужчины. Шолпан как раз была из таких женщин. Ее душа была нераздельна с телом. Кому бы она ни отдавалась, отдавалась душой и телом. Шолпан думала, что даст свое тело Азимбаю только на время, а душу сохранит свободной. Однако мысли ее не сошлись с делом. За последние несколько месяцев душа Шолпан стала рабой Азимбая и так привязалась к нему, что уже не отвязать. Конечно, и это обстоятельство принесло Шолпан немало страданий. Шолпан изначально не жадная на слезы и тут бессонными ночами пролила их немало. Но разве слезами душу исправишь? Так и Шолпан не смогла. При виде Азимбая у нее кружилась голова, тело бросало в дрожь, язык заплетался. Шолпан и сама не знала, как оказывалась в объятиях Азимбая, который немедленно начинал ее тискать и обжимать. Да, так оно и было. При встрече он сразу набрасывался на нее, не давая ей очнуться или вставить хоть слово. Ну, ладно, может, так судил им Господь, видимо, поскольку Азимбай – отец ее ребенка, она не должна порывать с Азимбаем. Возможно, это даже не грех. Если Сарсенбай ей – законный супруг, то Азимбай – отец ее ребенка: Господь сам простит. Но как ей быть с этими слухами и сплетнями, гуляющими по аулу наподобие пожара? Эх, юнец Азимбай, красавчик Азимбай, безумец Азимбай! Ни капли тайны ведь не может утаить! Не может удержаться даже при посторонних. Прибежит как собачонка и ну, начинает обнимать, ну, тискать!.. А сплетни все не унимаются. Если ее теперь станут называть не невесткой-святошей, а невесткой-распутницей, какими глазами посмотрит Шолпан на людей? Недавно даже свекровь ее спросила:

- Невестка, почему к нам часто приходит этот Азимбай и все время с тобой перешучивается?

Шолпан была готова провалиться сквозь землю. Ладно, черт с ним с людьми, со свекровью. Да и на жизнь ей свою наплевать. Вот только Сарсенбай... самый любимый и родной Сарсенбай... как теперь Сарсенбай относится к Шолпан? Почему он не радуется как раньше? Почему он всегда так задумчив? Неужели нежная нить любви, так крепко связывающая их, теперь оборвалась? Пропади пропадом такой ребенок, ребенок, омрачивший их светлую любовь, их мирную, счастливую жизнь! Сарсенбай, который за восемь лет их жизни ни разу не обращавшийся к ней на ты, при встрече с ней теперь источает только холод. Мало того, по любому поводу обрушивается на нее с руганью. Да что там ругань, дело уже доходит до окриков, рукоприкладства. Не далее как вчера Сарсенбай избил Шолпан. Почему же он, который не раскрыл бы рта, даже если бы она бросила по ветру все его состояние, так жестоко избил Шолпан? За что? Из-за того, что она нечаянно разбила груду посуды? Нет. За то, что она изменила ему с Азимбаем! Он даже не предупреждает, бьет сразу. Молчит, словно в рот воды набрал или у него полный рот камней? Если бы он что-то сказал, то и Шолпан ему ответила бы. Она объяснила бы ему, что изменила ему ради ребенка. И чего ей это стоило, сколько мук она претерпела на этом пути! Но нет, от него и слова не дождешься. Вот ругань, пожалуйста, побои, пожалуйста! Какая теперь любовь? Жизнь полетела к чертям! Пропади все пропадом! Проклятье ребенку в животе, изгадившему ее жизнь!..

Шолпан бессонными ночами тысячи раз бороздила по морю мысли, но так и не нашла выход из этой ситуации. Находясь между двух огней, она не знала, куда приклонить голову. Ее отношения с Сарсенбаем становились все хуже. Они отдалялись друг от друга все дальше. Однако в этом мире многие загадки, которые не способен разрешить человек разрешает время. Сетей человеческих можно избежать, но от времени никуда не денешься. Узел затянувшийся между Сарсенбаем и Шолпан тоже разрешило время.

Настали последние сентябрьские дни. Аул готовился откочевать на зимовку. Стояла холодная ночь. По небу как бы наперегонки друг с другом плыли сумрачные тучи. Заиндевевшая земля покоилась, словно в саване. Замерзшие под арбой телята то и дело нежно мычали. Рядом на своих огромных животах не обращая ни на что внимания, посапывали коровы. Сарсенбай сегодня с утра ушел в город продавать скотину.

В юрте на деревянной кровати завернувшись в ситцевое корпе[1] лежит Шолпан. Прикорнув на ее груди похрапывает Азимбай. Шолпан тоже спит... Вдруг слышится поскрипывание едущей повозки. Шолпан вздрагивает и просыпается. Может, это почесывается корова? Нет,

[1] Стеганое одеяло, набитое верблюжьей или иной шерстью.

это арба... только у арбы скрипят так колеса...

- Азимбай! – кинулась она к любовнику. Он едва шелохнулся, промычав что-то невнятное. Она, поняв, что кричать бесполезно, ущипнула его в бедро.

- Эй, ты что – припадочная? - вскочил Азимбай.

- Тсс... тихо ты... вон арба едет... никак это мой муж. Уходи скорее, не то позора не оберемся.

- Ты наверно с ума сошла. Откуда ему быть здесь? Он же в городе!

- Господи, да вставай же быстрее! Вон он уже подъехал!

Когда Азимбай украдкой выйдя из юрты, только побежал восвояси, за дверью было слышно, как сходит с арбы Сарсенбай.

- Эй, кто это? - крикнул он на шорох чьих-то шагов.

И только прокричав это во тьму, Сарсенбай увидел Азимбая, вместо ответа бегущего к озерным тростникам за зимовкой. Сарсенбай не стал даже привязывать лошадь, скинул с плеч квадратную фуфайку, вбежал в юрту и стал стегать сумою с сахаром лежащую на кровати Шолпан. Кровь так и бросилась ему в голову, он ничего не видел, ни о чем не думал. Весь во власти непреодолимого гнева он только размахивал сумою с сахаром. Вжик-вжик, вжик-вжик! Вжик! Шолпан не подавала признаков жизни. Обмякнув на кровати, она лежала в полном безразличии. Такое поведение Шолпан еще больше взбесило Сарсенбая.

- Ах, ты, сучка! – Сарсенбай выкинул суму с сахаром, сбросил ситцевое одеяло, и, схватив заплаканную Шолпан за руку, бросил с кровати на землю и стал нещадно пинать. Шолпан не издала ни звука, только вытирала рукавом слезы. Он пинал ее в голову, в ребра. Она молчала. И только когда каблуком сапога он попал ей в солнечное сплетение, она ощутимо охнула. А потом опять, как будто в рот воды набрала. Вот каблук попал ей в живот. Шолпан закрывая ладонями живот, вскричала: «Там же ребенок!». Это настолько взбесило Сарсенбая, что он стал напоминать бешеного волка.

- Разве я просил у тебя ребенка, сучка ты эдакая! Разве я просил тебя в распутстве родить мне ребенка? Ты, сучка, вон уже полгода позоришь мое доброе имя! Молчи, сучка, я убью тебя как собаку! Убью! Чем каждый день сгорать от стыда, лучше сгореть сразу! Умри, собака! Умри!

Сарсенбай выкрикивал эти слова во весь голос. Немного погодя от его криков проснулся весь аул. Первой, выйдя из большого дома в накинутой на плечи старой фуфайке, приволочилась старая мать Сарсенбая. Тут же вслед за нею с безрукавкой на голом теле, с коленями поблескивающими из-под рваного исподнего прибежала жена пучеглазого соседа. Обе они, голося, вбежали в юрту.

- О, господи, ты же можешь ее убить! Образумься!

- Плевать я хотел на ваши советы, не ваше дело, я убью эту сучку, убью!

Старуха и женщина стали разнимать их. Но Сарсенбая уже невозможно было остановить. Отбросив их в разные стороны, с налитыми кровью глазами он продолжал пинать все также безучастную Шолпан.

- Может быть, она потеряла сознание, а, может, уже умерла?

Бедные женщины, поняв что сами не смогут остановить избиение выбежали на улицу.

- Ойбай, куда вы все делись? – завопила на весь аул жена пучеглазого. – Сюда все, сюда! Здесь человека убивают!

Люди и без того в тревоге сгрудившиеся по домам, тут же выбежали из своих лачуг. Кого только тут не было: едва вдев ноги в галоши, в криво нахлобученных кимешеках[1] бежали женщины, плюясь и отхаркиваясь на всю округу бежали солидные главы семей, с ичигами на босу ногу бежали застенчивые молодки. В сапогах с широкими голенищами, в просторной верхней одежде, путаясь в шароварах с болтающейся мотней, трусили на громоздких лошадках аульные горе-воротилы.... В простроченном белом бешмете, с длинным посохом в руке здесь был и ходжа Темир, собирая зякет[2], почивавший у кого-то из аульчан.

Вбежав в юрту, они застали следующую картину. Шолпан не подавая признаком жизни, все также безучастно валялась на кровати. Все платье ее было разорвано. На теле не осталось

[1] Кимешек (каз.) – головной убор замужней женщины.
[2] Зякет (ар.) – религиозный сбор, налог.

живого места, лицо напоминало кровавое месиво. Со рта и ноздрей сочилась кровь. Сарсенбай сидел поодаль на кровати, такой же безучастный и равнодушный, как и Шолпан. Кажется, он совсем выбился из сил. В двери юрты потоком валил народ.

- Этот бедняга, видать, сошел с ума, - сказал кто-то.

- Ойбай, да никак она умерла! – ужаснулся второй.

- Пусть умирает, распутница! – пригвоздил третий.

Толпа бурлила, равнодушных не было. Ходжа Темир подержав пульс Шолпан сказал.

- Окропите ее водой!

Кто-то побрызгал на нее воду.

Через какое-то время Шолпан вздохнула и еле выдавила из себя:

- О, Аллах!

- Не поминай Аллаха, сучка! – вскричал Сарсенбай.

- Сарсенжан, - раздался вкрадчивый голос ходжи Темира, – успокойся, дорогой! – Нет мужчин, не поднимающих руку на женщину, однако...

- Светлейший, вы не вмешивайтесь сюда! Пусть подыхает. Собаке – собачья смерть!

- Сарсенжан, одумайся, ведь убить человека...

- Как бы то ни было, она не будет больше моей женой. Я с ней развожусь! Талак! Талак![1]

- Сарсен, успокойся, гнев плохой советчик! Вы же столько лет жили душа в душу. Разве легко теперь будет расстаться? По шариату, если что-то осквернилось, его можно заново очистить. К примеру, в шариате сказано, что если женщина в своем характере выкажет что-то предосудительное, ее надо с головы до ног окатить сорока ведрами воды. ..

Не успел ходжа сказать эту истину, как несколько женщин потащили к выходу едва пришедшую в себя Шолпан. Когда холодной сентябрьской ночью женщины, затолкав ее в темную комнату, стали раздевать поддерживая с разных сторон, Шолпан еще кое-как была в сознании. Но вот одна женщина, стиснув зубы, опрокинула на голову Шолпан большое железное ведро с ледяной водой. Шолпан не закричала, но вздрогнула. Ибо именно в эту секунду в угасающем сознании Шолпан молниеносно пронеслась вся ее жизнь.

... Вот она заплела в косы новые шолпы[2] и чтобы полюбоваться их звоном, она снова и снова складывала и раскладывала вещи на сундуке... Вот она, еле упросив маму, идет на девичью гулянку... Вот первый приезд Сарсенбая... Их первая ночь... Бычьи глаза ходжи, изгонявшего из нее злых духов...Черные усы Азимбая...

Женщина со стиснутыми зубами, пробормотав что-то, опрокинула на нее второе ведро.

- О, Аллах! – едва прошептала Шолпан.

- Распутница, какое тебе дело до Аллаха? – вскричала одна из женщин.

- Ничего, родненькая, это же все по молодости... пусть бог даст ей успокоения, – промолвила вторая.

Больше Шолпан не сказала ни слова, да и мыслей уже не было. Постепенно кровь в ее теле превращалась в лед, а сознание угасало все больше, пока не угасло совсем. Глаза Шолпан как бы сами собой закрылись. Третье ведро, четвертое, пятое... Какое-то время, принимая очередную порцию ледяной воды, тело ее еще подрагивало. Но немного погодя прекратилось и это...

Назавтра к полудню Шолпан с силой открыла глаза и прошептала:

- Где мой ребенок? Почему этот... не придет, не проведает? – с этими словами она обняла угол корпе, губы ее, еле шевелясь, хотели произнести что-то, но устав от этого усилия, она упала на спину и потеряла сознание.

Шолпан простилась со своей жизнью на закате.

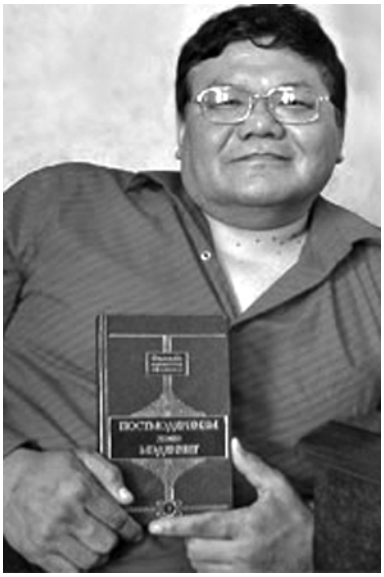
Перевод с казахского Ауэзхана Кодара (16 – 25 июля 2008 г.).

[1] В мусульманском правосудии обязательные слова, выкриваемые во всеуслышание при разводе.

[2] Шолпы (каз.) – серебряные монеты, заплетаемые в косы юных девушек.

Эссеистика. Критика. Рецензии

Ауэзхан КОДАР



Ауэзхан Кодар – поэт, переводчик, культуролог, публицист, автор книг «Крылатый узор» (1991), « ана ат а анаты», герменевтического сборника «Абай (Ибрагим) Кунанбаев» (1996), «Круги забвения» (1998), «Очерки по истории казахской литературы» (1999), монографии «Степное знание: очерки по культурологии» (2002), книги стихов «Цветы руин» (с параллельным переводом на англ. язык) (2004), «Зов бытия» (Издательский дом «Таймас», 2006). Издатель и главный редактор журнала «Тамыр». Окончил Казахский национальный университет, кандидат философских наук.

Исторические истоки диалога религий в Казахстане

Эссе

Центральная Азия на протяжении тысячелетий была ареной религиозных поисков. Она не только прародитель своих автохтонных религий, таких, как зороастризм, тенгрианство, манихейство, но и внимательный исследователь мировых религий, таких, как христианство и ислам, которые она сумела приспособить под свой менталитет. В первом случае это было несторианство, во втором – суфийские варианты ислама.

Вместе с тем, она не ограничивалась только рецепцией, но и сама властно вторгалась в чужие пределы, в том числе, и на территорию Европы. Например, в Римской империи одно время был в великом почете культ Митры. В случае с проникновением буддизма из-за гималайских хребтов Центральная Азия выступает как посредница в диалоге культур между Индией и Дальним Востоком, благодаря которому буддизм превратился в настоящую мировую религию, в буддизм «махаяны» или «большого колеса».

И в самом деле, религии на этой территории не враждовали, а пытались понять друг друга. По своему местоположению Центральная Азия является центром мира, но для мировых религий она долгое время была периферией, и здесь тихо зрели духовные выплески невиданной силы, например, маздакизм с его мечтой о социальном равенстве, доведенном до предела, или «религия отверженных», суфизм, господствовавший здесь вплоть до Октябрьской революции. Религиозные конфликты начинаются с эпохи монотеизма, потому как каждая такая религия объявляет себя единственно верной и становится в оппозицию ко всем остальным верованиям. Однако, как доказал Юнг, архаика не исчезает, она продолжает существовать в наших генах, подсознании и интуиции в виде архетипов, диктующих наше поведение.

В наше время даже католицизм и православие исповедуются во многом условно, а ислам преподносится западными идеологами как теократическая организация, ориентированная на терроризм и силовое разрешение проблем. Однако и в истории ислама были светлые периоды, когда теология довлела над догматикой. Кроме того, существует абсолютно не изученная проблема степного ислама, представленного именами Яссави, Югнеки, Юсуфа Баласагуни.

Нас интересует, в какую сторону будет развиваться религия: ортодоксального монотеизма, или возврата к племенным культам с упором на экологическое сознание, которое можно назвать глобальной мировоззренческой экологией? Или же религиозное сознание вовсе угаснет, поглощенное сциентизмом и технократией? Или же произойдет какой-то новый синтез на основе былого и неведомого?

В таком случае можно ли сказать, что она действительно влияет на наши нравственные и политические установки? И что такое толерантность – вынужденное приятие сложности мира или внутренний императив, воспитанный тысячелетним развитием национального духа? Возможно, брендом Казахстана станет возврат к традиции различения религий и посредничество в сложных духовных вопросах?

На этой территории родились Заратустра и Коркыт, здесь некоторые ученые помещают Шамбалу – мифическую страну всеобщего благоденствия. Примечательно, что и современный Казахстан все заметней в мире как регион стабильности и межконфессионального, межэтнического согласия. И потому, видимо, будет вполне логичным разобраться в исторических истоках в религиозной толерантности в Центральной Азии и Казахстане.

Чингисхан завещал, чтобы все народы следовали вере своих предков, и, пока господствовала эта генотеистическая установка, монголы были несокрушимы. Мирное сосуществование религий в Центральной Азии было обеспечено тем, что здесь идея происхождения, или родства преобладала над идеей творения. Это означает то, что каждый народ, каждый этнос имеет право на свою веру, полученную от предков, это право признается априорно. А в религиях, ориентированных на идею творения, таких, как христианство и ислам, мир считается творением Единого Бога и следовательно, эти религии не признают этнических различий, т.е. этническая идентичность меняется на конфессиональную. В этой связи можно выдвинуть парадоксальную мысль, что религиозная индифферентность кочевников способствовала не только проникновению чуждых религий в Центральную Азию, но и их доктринальному становлению и постепенному обретению статуса мировых религий. Центральная Азия не только территория транзита религий, но и пространство встречи разных культур и их с необходимостью возникающего диалога, ибо диалог возникает именно при различии составляющих, а не при их сходстве. По теории Мартина Бубера, настоящее – не та точка, которая лишь обозначает отмечаемое каждый раз в мыслях окончание "протекшего" времени, видимость зафиксированного конца, а подлинное, наполненное настоящее – существует лишь тогда, когда осуществляется присутствие, встреча, отношение. Только через присутствие Ты возникает настоящее Я основного слова Я-ОНО, т.е. Я, к которому не обращено никакое Ты, но которое окружено множеством "содержаний", вовсе не имеет настоящего – только прошедшее. Другими словами, поскольку человек удовлетворен вещами, которые он познает и использует, постольку он живет в прошлом и его мгновение лишено присутствия. У него нет ничего, кроме объектов; но объекты принадлежат прошедшему. Настоящее не мимолетно, не преходяще: оно присутствует и длится. Объект же не есть длительность, он есть застой и прекращение, оцепенелость и оторванность, отсутствие отношения и бытия в настоящем. Сущности переживаются в настоящем, объектности – в прошедшем времени. При сходстве диалогу не из чего появиться, из монолита возникает только монолит: для того, чтобы возник диалог необходимо различие. Например, зороастрийский погребальный обряд осуществлялся следующим образом: останки покойного выставлялись на возвышенность на съедение птицам. Считалось, что, когда кость освободится от плоти, душа взмоет на небо, к своему бессмертию. Но уже у семиреченских христиан кости помещали в особые погребальные сосуды – оссуарии, т.е. здесь уже проявляется уважение к костной ткани как к материальным останкам человека. Немалую роль также играли различия в культурной традиции народов, среди которых распространялось христианское учение. Восточная, или сирийская, церковь, первоначально подчинявшаяся константинопольскому патриарху, окончательно отделилась от православной в середине V в. после ожесточенных дискуссий по поводу сущности природы Христа, единства или двойственности его как бога и

человека. Принятая на Вселенском соборе в Халкедоне в 451 г. православная формулировка о неслиянности и нераздельности двух природ Христа – божественной и человеческой – и сохранении их особенностей при совпадении в едином лице вызвала возражение с двух сторон. Восточная сирийская церковь склонилась в сторону диофизитства – учения, разграничевавшего две природы и допускавшего возможность только относительного, внешнего соединения между ними. Это направление получило название несторианства – по имени константинопольского патриарха Нестория, одного из апологетов диофизитства, осужденного за ересь на Вселенском соборе в Эфесе в 431 г. И если несторианство признавало человеческую природу Христа, не стоит ли за этим тенгрианское поклонение перед выдающимся человеком как перед Богом? Это же положение наверняка способствовало тому, что в среднеазиатском исламе возник культ святых, совершенно невозможный в ортодоксальном исламе.

Таким образом, Центральная Азия не только способствовала транзиту религий, но и предлагало альтернативу, в борьбе и диалоге с которой они пересотворяли себя. Те религии, которые принимали местные особенности, превращались в еретические отклонения от основной линии, как, например, несторинаство или различные варианты степного ислама. Те же религии, которые не признавали местного менталитета, в схватке с чуждой идеологией оттачивали свою доктринальную основу и превращались позже в мировые религии, где идея Бога-Творца довлеет над этнической составляющей. Среди таких можно назвать христианство, ислам и буддизм. Для таких религий Центральная Азия была всего лишь территорией транзита. Однако в любом случае пребывание этих религий в Центральной Азии не проходило бесследно. Поскольку эти религии были более доктринально оснащенными, даже потакая в чем-то местным особенностям, они на самом деле поглощали местные культы. Так случилось здесь с тюркским культом Тенгри, который после распада Древнетюркского каганата исчез в нервной борьбе с манихейством и исламом. Здесь опять хочется сказать: бойся подобного. Возможно, если бы тюрки, вопреки Тоньюкуку приняли буддизм, тенгрианцы в неиссякаемом конфликте со своей противоположностью подняли бы свою религию на новую высоту, но манихейство и ислам во многом были похожи на местную веру в единого Тенгри, и потому не вызвали отторжения. В результате Тенгри и Аллах стали синонимами, а тенгрианский культ храбрости и бесстрашия преобразовался в манихейское противопоставление Добра и Зла. Если ранее тенгрианцы, как и зороастрийцы, чтили единство мысли, слова и поступка, то отныне они стали приверженцами абстрактного принципа дуального противостояния или бинарной оппозиции, в основе которой нет на деле никакой оппозиции. Это отдалило их от собственной почвы, от родовой идентичности, превратив в демагогов и начетников, способных только переливать из пустого в порожнее.

На мой взгляд, идея Тенгри – это идея нового синтеза из всего, что было. Когда-то тенгрианство стало невольной жертвой манихейства и ислама, теперь именно эти религии могут стать питательной почвой для возрожденного тенгрианства. Когда-то наши предки не оценили всех достоинств буддизма, выбросили его из тюркского духовного оборота, теперь возможно, именно в диалоге с буддизмом, особенно дзенского характера, следует стимулировать парадоксальную логику нового тенгрианства. Возможно, при его реконструкции не стоит обходить вниманием даосизм и конфуцианство, которые сродни нашему шаманизму и культу предков. Вероятно, они являются его поздней, зрелой стадией, доведенной до совершенства.

Таким образом, из нашего анализа следует, что не было бы современных мировых религий, если бы не было их транзита через ЦА. Особенно это касается буддизма и христианства, которые получили мировое признание, пройдя через доктринальное утверждение в ЦА. То же касается и ислама, особенно в части исламского вольномыслия, начало которому положили труды аль Фараби и суфийское подвижничество Ахмета Яссави. Особое влияние в раннем средневековье здесь имело манихейство, которое, войдя в тесное соприкосновение с древнетюркским тенрианством, превратило эту религию из космологической – в духовную.

Причина всего этого лежит в том, что номады отличали себя от оседлых и по образу жизни, и по мироощущению. Для них идея происхождения преобладала над идеей творения. В наше время, когда идея различия цивилизаций в их совместном развитии становится главенствующей, бытийное мировоззрение номадов становится гарантом сведения к нулю былого интеллектуального и морального превосходства оседлой цивилизации.

Нурболат ДЖУАНЫШБЕКОВ

Джуанышбеков Нурболат Орынбекович, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры теории, мировой литературы и фольклористики Казахского национального университета им. аль-Фараби. Живет в Алматы.

Контакты культур и мифологий древних тюрков и праславян

В античные времена на территории сакской империи процветала неповторимая по своеобразию степная цивилизация. Талантливые философы, поэты, художники, ученые, труды и имена многих из которых не дошли до нас, влияли на формирование художественной и научной мысли той поры, интегрировали в парадигматике собственных духовных исканий лучшие достижения мировой науки и культуры того времени. Как пишет Л. Н. Гумилев, это была «особенная степная культура», которую ее создатели «считали возможным противопоставить культуре Китая, и Ирана, и Византии, и Индии» [1]. Но история в дальнейшем распорядилась так, что эта культура оказалась в жестких тисках замалчивания, в зоне безвестности. Только сейчас она становится известной миру. Большой резонанс ныне получила так называемая «семиреченская художесвенная бронза», представленная комплексом изделий из бронзы: светильников, курильниц, котлов, жертвенных столов. Эти вещи имели культовое назначение и, украшенные скульптурками крылатых барсов и тигров, яков и быков-зебу, верблюдов, лошадей, горных козлов, баранов, волков, птиц, а также фигурками людей, были нагружены усложненной семантикой, связанной с мировоззрением прототюрков, их отношением к микро- и макрокосму. Ученый К. М. Байпаков пишет, что «по ним можно реконструировать космогонические и мифологические представления саков и усуней. При этом оправдано привлечение для расшифровки назначений изделий, изображений на них древних мифологических систем, которые использовали хорошо знавшие их создатели культовых предметов» [2]. Поэтому исследователи, воспроизводя мир древних кочевников, их мировоззрение, идеологию и мифотворчество, опираются на тексты Авесты, Вед, китайских и античных источников, находят следы влияния искусства Ассирии и Мидии, Китая эпохи Чжоу и Хань, античного искусства. Здесь, конечно, следует иметь в виду не одностороннее, а обоюдное влияние, взаимовлияние древнейших культур, при котором отнюдь не утрачивалась самобытность духовного созидания и мышления народов тех времен.

В этом смысле необыкновенный интерес представляет находка в 1967 г. в г. Иссык, что неподалеку от Алматы, погребения «золотого» человека — вождя сакских племен. Одеяние, экипировка золотого воина достаточно красочно и выразительно репрезентируют специфику искусства «звериного стиля», его роль и значение в бытии прототюрков. Каждый предмет его экипировки содержит приметы данного стиля: на ножнах кинжала изображены агонизирующие лошадь и лось; распределители ножен выполнены в виде свернувшейся в кольцо пантеры; на клинке – золотые пластины с изображениями змей (у острия) и далее вверх, к перекрестью – с фигурами лис, зайцев, волков, кабанов, тигров, архаров, верблюдов, джейранов; навершие кинжала обрамлено в виде двух голов грифонов; длинный меч располагает пронизями и одна из них в виде крылатого тигра; ворот и камзол смонтированы из пластин в виде тигриных морд; массивный пояс имеет бляхи с тремя фантастическими зверями и лосиными головами [3]. Находки из кургана Иссык под Алматы века по своему археологическому, культурно-историческому значению сравнивают с находкой гробницы Тутанхамона в Египте. Здесь обнаружено погребение «золотого человека» - молодого вождя тиграхаудов, относящееся к IV веку до нашей эры. Среди находок наиболее важной представляется двухстрочная надпись из 26 знаков рунического письма, прототипа орхоно-енисейского письма, на серебряной вазе, принадлежащего юноше-вождю саков-тиграхауда. Профессор А.С. Аманжолов, используя ме-

тод чтения справа налево (аналогично чтению орхоно-енисейеких текстов), выдвигает версию о том, что надпись состоит из трех, лапидарно сформулированных предложений с благопожеланиями народу и его главе: «Старший брат, тебе очаг (чаша)! Чужой, преклони колени! (Да будет) у поколения пища!» Известный казахский поэт и ученый Олжас Сулейменов предполагает, что в ней содержится призыв к единению древних тюркских народов. В книге Мурата Аджи «Европа, тюрки, Великая Степь» дается перевод нижней строчки, заключающей следующее: «...Исполняй обязанность, предложи пить. Если истекает яд, отбери...» [4]. Мнение ученых-языковедов не оставляет сомнения в том, что саки Семиречья IV века до нашей эры владели алфавитным письмом. Существование алфавита — свидетельство высокого уровня развития сакского общества. Усложненной высокохудожественной композицией, состоящей из ансамбля фито-орнито-зооморфных фигурок, отличается головной убор сакского воина – кулах. Интересную интерпретацию этой неподражаемой по красоте и технике исполнения композиции предложил исследователь А.Акишев в своей работе «Искусство и мифология саков». Согласно его трактовке, кулах с максимальной полнотой отражает специфику восприятия саками вселенной, «земного образа космической структуры», трехчленной, тернарной – вертикально и тетрадной – горизонтально, с Мировым древом – в центре. Представленный же здесь «бестиарий» он подразделяет на два типа. Первый тип – это звери хищные, которые делятся в свою очередь на синкретических (тигрогрифоны – тигр + крыло, птица) и несинкретических (тигры, волки, грифоны – вне фантастических компонентов); второй – изображения зверей нехищных, которые также имеют вид синкретических (коне-птицы-козлы) и несинкретических (кони, птицы, козлы, архары, лоси). Затем, рассматривая подетально каждый образ, он воссоздает систему мифологических, художественных, онтологических воззрений прототюрков. Некоторые исследователи утверждают, что «звериный стиль» претерпел несколько фаз развития. На раннем этапе этому стилю были присущи зооморфизация мира, имманентный тюркам дух мировосприятия с уклоном к бесконечной онтологизации. Поэтому у исследователей сложилось мнение, что пристрастие к данному типу мышления отражает специфику видения Вселенной прототюрками в качестве единоцелостного зооморфного существа. При этом сцены, связанные с птицами, зверями, носят мирный характер, в них нет ни одной композиции, содержащей мотивы насилия, гибели, терзания. Данная отличительная черта в полноте форм преломлена в украшениях одеяния сакского «золотого» воина. Мотив же терзания, расправы, смерти проникнет на следующей фазе развития стиля в результате активного контактирования саков с эллинизмом, знакомства с древнегреческим искусством. Кроме того, в контексте этого стиля появляются антропоморфные образы, сцены из мира природы в сочетании либо чередовании со сценами из жизни людей.

Так, несмотря на всеохватный характер зооморфного мышления, интерес к человеку будет сопровождать древних художников постоянно. Звериный стиль и пластическое искусство того времени в полном объеме воплощают различного рода воззрения прототюрков. Творцов скифского искусства привлекала Вселенная, и они стремились отразить посредством земных форм суть своего представления мира. Их ориентация к выходу за пределы видимого, осязаемого – к пределам космическим, ирреальным ощущается во всех художественных образцах, дошедших до наших дней. Космологическое осмысление, осознание своего окружения – отличительная черта творческой рефлексии скифо-сакской эпохи. Культурная жизнь скифо-сакских народов находилась на высоком уровне развития. Они имели собственную письменность, мифологию, религию, изобразительное искусство, ювелирное, оружейное и другие ремесла. В гуннскую эпоху происходит образование державы хунну под предводительством Моде – шаньюя (209 г. до н. э.), вытеснение усуней в Семиречье. Усун-уйсын, по тюркски означает, пусть вьют гнезда, строящие дома. В китайской версии государство уйсынов назвалось Юебань – искаженное уй йе болсын, дословно: пусть будут хозяевами своих домов, в смысловом переводе – обретшие свободу. Шанью Таншихаем создается империя Сянби (155 – 166 гг.). Он овладел всеми землями хуннов, усуней, Северным Китаем, Южной Сибирью. Его империя простиралась от Уссури до Волги. К III в. хунну разделились на 4 субэтноса: 1. Северных хунну, перемешавшихся в Сибири и Приуралье с уграми, именно они стали гуннами. 2. Юебань – хунну, смешавшиеся с усунями и согдийцами. 3. Хунну – сянби, смешанные роды

в Монголии, этнический субстрат, из которого возникли тюркский и монгольский этносы. 4. Китайские хунну, ассимилированные в 5 веке н.э. Северные хунны вынуждены были спасаться от беспощадной орды сяньбийцев (древних тюрко-монголов). Они за три года, ведя кровопролитные арьергардные бои, преодолели более 3-х тысяч километров и оказались на западных склонах Алтая, позже – на юге Урала. На западных отрогах Алтая и в Минусинской котловине обитали кыпчаки (китайцы их называли динлинами). Это были белокурые синеокие европеоиды особого ствола. На севере современного Казахстана и на юге Урала жили финно-угры (или угро-финны). По своему антропологическому типу их можно отнести к широколицым монголоидам. В этих условиях начался активный процесс метисации и ассимиляции. Во II-IV веках в Приуралье из тюркоязычных хунну и местных угров и сарматов сложился кочевой народ. Но сяньбийцы не оставили в покое новый народ. Победоносные походы Таншихая заставили его отступать на запад. Новая популяция вышла на историческую арену спустя 200 лет, когда зимой они перешли реку Ра (Волгу) и начали массовое передвижение на Запад, где Дионисий Периегет в 160 г. называет их гуннами. Это дало толчок так называемому Великому переселению народов. Подчинив ряд германских и других племен, гунны возглавили мощный союз племен, в который входили и славянские племена антов, предпринявших опустошительные походы во многие страны. Конфедерация племенных союзов (по-видимому, эль), разгромила аланов (сакских предков осетинов) и рассеяла их по белу свету. По-видимому, с этого времени идет отсчет времени прямого и длительного контакта тюркского и славянского народов, а может быть и еще раньше, когда анты (прототюркские, может быть уйсунского происхождения племена) на рубеже двух эр находились на своей «первой» прародине в западных отрогах Тянь-Шаня. В это время в течение 1-2 вв. н.э. в Евразийских степях наступила Великая засуха из-за резкого перемещения атлантических циклонов далеко на север. Перед народами стояла дилемма: обречь себя в этих условиях на жалкое существование или продвинуться на Запад, чтобы выжить, а это было возможно, если победить сильных соседей и взять их земли силой оружия. Они выбрали второй путь. Кроме «пассионарного» толчка, обоснованного В. И. Вернадским и Л.Н.Гумилевым, были и другие факторы, обусловившие движение древних кочевников на Запад: 1) образованием орды (лат. Ordus «порядок») – института раннефеодальной военно-демократической организации; 2) изменившийся ландшафт диктовал свои жесткие условия для успешного ведения экстенсивного кочевого скотоводства. Происходит смена лунного культа на солнечный, что подтверждается археологическимим данными. Смена культов не обозначала уничтожения старой веры, возникает дуалистическая система: Тенгри (Голубое Небо) – отец – добро и Умай (Земля) – мать – смерть. Отметим, что эта дуалистическая система сохранилась в последующих славянских и тюркоязычных культурах как рудименты. В Енисейских рунических памятниках письменности наблюдается паремия: «Alim qani'm siza bokmadim, kiin-ai oliirtim, jrta» (Второй памятник из Кызыл-Чира) – «Мое государство и мои хан, я вами не насладился, я не стал ощущать солнце и луну, увы». Отметим, что «солнце» как символ Тенгри обозначался как убитая луна: круг с изображением точки в центре. Абай Каиржанов замечает: «Подобные изображения обнаружены в результате археологических работ в разных местах Евразии. Например, в степях Украины найдены многочисленные наконечники копий с древнетюркскими рунами. Рассмотрим один из таких наконечников, относящийся к IV в. н.э.. <...> Перевод: «Бог – Солнце (Голубое Небо)» «[помогает] пробить [пронзить] силой [насквозь]» (перевод автора)». [5] Саки обожествляли животных и поклонялись солнцу. По словам греческого историка Геродота, саки и массагеты «...из богов чтут только Солнце, которому приносят в жертву лошадей».

Каиржанов доказывает, что Геродот не понял смысл приношения в жертву Тенгри лошадей, так как тот считал, что «быстрейшему из всех богов подобает быстрейшее животное». Смысл жертвы, по Каиржанову, в цвете жеребца - белом, олицетворяющем дневное светило – Бога Тенгри, по-славянски Белобога. Борьба белых и темных сил присутствует в тюркской и славянской мифологии и отражает их представления о круговороте времен года. Внутри круга печати «Баба-Аты» изображены 12 животных, служащих символами двенадцатилетнего цикла. Бога-Солнца славяне называли Купалой, Ярилой и Костромой. В день равноденствия водили хоровод, имитируя круговое движение Солнца. При археологических раскопках найде-

ны и идентифицированы сосуды, использовавшиеся для обрядов, проводившихся у родников и связанных с богиней – девой, покровительницей плодородия. Подобные обряды связаны и с древнетюркским женским началом, воплощенном в богине Умай. Каиржанов опираясь на Птоломея, считает что название реки РА (Едил – Итиль) связано с именем одного из скифских вождей Rhadalus. Славяне называли себя «внуками Дажьбога». Каиржанов прослеживает сложный путь заимствования этого имени с древнетюркской лексемы Тенгри и доказывает что «боги, как и у древних тюркоязычных народов, так и у славян обладали одной глобальной сутью и не могли иметь еще что-либо» [6]. Культурно-этимологический анализ славянского солярного символа приводит к наличию тенгрианского мифологического сознания у славян. Это сознание демонстрировало, с одной стороны, антропоморфное единство природы и человека, с другой, в отношениях людей формировались такие изоморфные отношения, которые сплачивали племена в мощные союзы (эль) или создавались великие конфедерации. Образовавшаяся целостность на суперэтническом уровне, оформившись этой сакральностью, преследовала, прежде всего, прагматические цели – расширение ареала обитания. Поэтому поклонение Богу-Солнцу не только осмыслялось как источник энергии и жизни, но в первую очередь имело великий мировоззренческий смысл. Итак, результаты тысячелетней аккультурации, имевшие мест между славянами и тюркоязычными народами, демонстрируют нам, что мировоззренческие парадигмы у них были эквиполентными.

Среди западных народов создалось довольно устойчивое мнение о гуннах как варварах, дикарях, сметавших на своем пути все и вся. Естественно, что завоеватели по роду своего занятия не могут производить на покоренные народы благоприятного впечатления. Не были в восторге от гуннов и древние европейцы, испытавшие тяжелую длань гуннской экспансии. Симптоматична в этом плане характеристика, данная гуннам Аммианом Марцеллином. «Невиданный дотоле род людей, – пишет этот автор, – поднявшийся как снег из укромного угла, потрясает и уничтожает все, что покажется навстречу, подобно вихрю, несущемуся с высоких гор». По его словам, гунны, «которые превосходят всякую меру дикости», были «семенем всех несчастий и корнем разнородных бедствий»; «все они отличаются плотными и крепкими членами, толстыми затылками и вообще столь страшным и чудовищным видом, что можно принять их за двуногих зверей...; кочуя по горам и лесам они с колыбели приучались переносить холод, голод и жажду; и на чужбине они не входят в жилище за исключением разве крайней необходимости: ...они плохо действуют в пеших стычках, но зато как бы приросшие к своим выносливым, но безобразным на вид лошаденкам, и иногда, сидя на них по-женски, они исполняют на них все обычные свои дела; на них каждый из этого племени ночует и днюет, покупает и продает, ест и пьет и, пригнувшись к узкой шее своей скотины, погружается в глубокий сон...» [7]. И далее Марцеллин не меняет избранной тональности, обусловленной, конечно же, предубежденным отношением к завоевателям и политическими соображениями. На самом деле, как свидетельствуют исторические факты (к примеру, китайская хроника «Книга правителя области Шан»), гунны являлись создателями мощной государственности с единым правителем, институтами власти, развитой экономикой, материальной и духовной культурой. Высокоразвитыми были у них по тем временам и военное дело, военная техника, позволившие гуннам диктовать народам свою волю, держа в повиновении такие сильнейшие государства, как Китай, Римская империя, Византия. Китай, стремясь обеспечить собственную независимость, именно в этот период зачинает кладку Великой Китайской стены, хотя современный историк Мурат Аджи приводит иную мотивировку строительства стены. Опираясь на факты, он доказывает, что китайский народ притягивал высокий уровень благосостояния гуннов и поэтому в надежде на лучшую жизнь, материальный достаток, благополучие многие китайцы покидали родные места и примыкали к соседям. Китайская же стена препятствовала переходу китайцев в стан процветающего народа. Византийский посланник Приск в своих записях также зафиксировал случай с пленным греком, который, освободившись из рабства, не вернулся на родину, хотя ему был предоставлен выбор. Он остался на чужбине, поскольку среди гуннов, как он утверждал, жилось лучше, чем в Византии. И тот же Приск, прибывший с дипломатической миссией в стан Аттилы, с удивлением описал неведомые грекам реалии быта (дворец Аттилы, к примеру), особенности вероисповедания, привнесенные

гуннами в Европу из далекой родины, отличавшие их от других народов высокие моральные качества (поклонение духам предков, почитание старших, верность слову и т.д.). В этой связи нельзя не упомянуть о сохранившемся в изложении китайских источников случае с гуннами, основавшими в II в. н.э. на территории Восточного Казахстана и Семиречья государство Юэбань (китайский вариант названия), которым была присуща исключительная опрятность, любовь к чистоте. Интересно, что эта любовь стала «побудительным мотивом для вражды между юэбаньским шаньюем и жуань-жуаньским каганом. Источник передает следующий рассказ, услышанный от юэбаньского посла: «(Юэбаньский) владетель был (раньше) в дружеских связях с жужаньцами (жуань-жуанями). Однажды он с несколькими тысячами человек вступил в жужаньские земли, желая увидеться с (каганом) Датанем (умер в 429 г.). По вступлении в пределы его, еще не проехал ста ли (около 50 км), как увидел, что мужчины не моют платья, не связывают волос, не умывают рук, женщины языком облизывают посуду. Он обратился к своим вельможам и сказал: «Вы смеетесь надо мною, что я предпринял путешествие в это собачье государство!» И так он поскакал обратно в свое владение. Датань послал конницу в погоню за ним, но не догнал. С этого времени они сделались врагами и несколько раз ходили друг на друга войною» [7, С. 71-72]. Все эти на первый взгляд малозначительные факты в совокупности позволяют судить о гуннах как сообществе, жившем согласно нормам выработанного и четко установленного в их среде кодекса чести и достоинства. Еще на заре создания своего государства гунны в различных целях (административных, дипломатических, идеологических и др.) пользовались письменностью. В китайских анналах сохранилась слегка подредактированная летописцами, как считают исследователи, переписка Маодуня с императорами Поднебесной страны [8],). Вот небольшой отрывок из письма шаньюя ханьскому императору Вэньди, написанного в 176 г. до н.э.: «Благодаря милости Неба командиры и воины были в хорошем состоянии, лошади сильны, что позволило мне уничтожить юэчжей, которые были истреблены или сдались. Я усмирил также лоуланей, усуней, хуцзе и двадцать шесть соседних с ними владений, которые все стали принадлежать сюнну (гуннам)» [7, С. 69]. Находка в 1982 г. на территории Монголии близ гор Бабалы (Овгонт) в гуннском погребении круглой золотой пайцзы в виде медальона с изображением мужской головы и рунической надписью вокруг головы также говорит о существовании еще в ранний период у гуннов письма со слоговым алфавитом. Расшифровка надписи, гласящей «Ой-сенгір Елшіг ыты», означает в переводе: «Посла ой-сенгира пайцза» («Пайцза каганского посла»), позволяет сделать выводы по следующим параметрам: во-первых, государственным языком гуннов был тюркский, во-вторых, высший гуннский титул, зафиксированный в китайских хрониках как «шаньюй», имел собственно тюркское определение – «ой-сенгір», означавшее понятие «высший», «высокий» (в казахском языке слово ««ой-сенгір» используется с тою же семантикой по сей день), в-третьих, корни широко распространенного среди тюркских народов искусства чеканки уходят в седую древность – в гуннскую эпоху и некоторые образцы его могли служить в государственных целях – в дипломатической деятельности, к примеру, как знак посла, знак идентификации его личности [9]. Данное письмо со слоговым алфавитом, названное впоследствии руническим, гунны «захватят» с собой в миграцию, в Европу, куда они будут вынуждены переселиться в результате распада империи в конце I в. до н.э. Прославившись героическими деяниями, они образуют здесь западно-гуннское государство. Осваивая новую родину, «западные» гунны повсюду в местах своего пребывания оставят следы этого письма. Поэтому знаки древнетюркской письменности исследователи позднее будут находить в различных уголках Европы – на сосудах, оружиях, стенах различных построек, бумаге и т.д. Впоследствии обнаружится и «Псалтырь» (один из древнейших текстов Библии), написанный на гуннском языке и перевезенный в V-VI вв. в Рим с Дона, из города Тан. Затем, по истечении некоторого времени, появится европейский диалект тюркского языка [10].

Таким образом, факты доказывают существование и функционирование в гуннскую эпоху единого литературного языка, на котором создавались поэтические произведения. Как полагают исследователи, широкое распространение в это время получили поэмы, изображавшие героический облик знаменитого вождя гуннов Аттилы, жившего в V в. н.э. Поэмы имели хождение и на западе, и на востоке, бытовали среди тюрков. К сожалению, некоторые из них ис-

чезли под пылью веков, другие сохранились лишь фрагментарно, но и по этим осколкам можно воспроизвести харизматический образ великого воина и предводителя древних тюрок. Аттила, Итиль, Едиль, по названию реки Итиля (Волги) сын Мундзука, родился в V в. в Паннонии (современная Венгрия - Хунгария), на территории которой в те времена располагалась гуннская орда. Возглавлявший Орду Ругила (рух эля – дух народа) возлагал на него, своего племянника, большие надежды, поскольку собственные дети не выказывали качеств, необходимых для умелого и достойного управления страной. Выросший в окружении гуннской знати, Аттила был хорошо воспитан и образован, наделен острым и проницательным умом, обладал высокой воинской подготовкой и выучкой. В нем рано проявился полководческий гений, и он был превосходно осведомлен в тонкостях стратегии и тактики римской армии, что предопределило будущие победы его в войне с могучей Римской империей. В молодые годы совместно с римскими легионами его войско участвовало в сражениях против германских племен, так в 425 г. при его содействии римские войска разбили готов. В 433 г. после смерти Ругилы, при котором гуннское государство значительно окрепло, страной вначале управляли Бледа и Аттила, затем – единолично Аттила. В то время в числе врагов гуннов находились Римская империя (Западная и Восточная) и весьма сильные германские племена, не покорившиеся даже Юлию Цезарю. Уцелеть в схватке с такими могущественными противниками, отстоять свое государство и более того – расширить и усилить его границы – задача, разумеется, не из легких. Однако Аттила блестяще разрешил ее, и годы его правления характеризуются «золотым веком гуннской эпохи». Именно в это время гунны вознеслись, взошли на вершину славы и под копытами их коней лежал почти весь западный мир.

В записях, оставленных очевидцами, например, Приском Панийским, Аттила рисуется типичным азиатом с узким разрезом глаз, среднего роста, крепкого телосложения. Приск отмечает в нем острый, пытливый взгляд, проникающий в душу, свободную поступь, благозвучный, словно звон серебра, голос. Как ни странно, в характере Аттилы сочетались суровость и миролюбие – контрастные по существу черты человеческой натуры. К войнам широкого масштаба его понуждали скорее обстоятельства, нежели собственное желание, жажда славы или крови и смерти, негативизм внутренних устремлений, как обычно пытаются объяснить завоевательские интенции тех или иных исторических фигур. Интриги и происки властителей Римской империи, направленные на разрушение гуннской державы, бесконечные просьбы о помощи в борьбе с римлянами германских племен – вот главные причины, вынуждавшие действовать его согласно обстоятельствам. При этом действовать так тонко и искусно, что все военные предприятия оборачивались пользою для гуннского государства, для укрепления благосостояния и мощи его. Этого отнять у Аттилы было нельзя.

О миролюбии Аттилы сохранились легенды. Так, согласно одной из них, Аттила, подчинив себе главного врага – Рим и убедившись, что все четыре стороны света не представляют его народу опасности, отказался от войн. Он произнес: «Теперь ничто не в силах противостоять моему народу, поэтому нет нужды воевать», – и отпустил на волю своего златогривого коня. Взлетев, златогривый метеоритом умчался в небеса. Но в минуты крайней необходимости он имел обыкновение возвращаться к хозяину. В понимании народа, отпустить батыром коня или лишиться его – примета отнюдь не из добрых. Поэтому после смерти Аттилы (в 454 г.) воздвигнутое им государство, хотя и просуществовало три века, постепенно пришло к упадку. Легенда сообщает, что златогривый еще долго покровительствовал потомкам вождя гуннов, но возвратиться обратно на землю не смог, поскольку так и не родился среди них герой, достойный его владельца. В сознании народа образ тулпара стал ассоциироваться с «хвостатой звездой» (кометой) и поэтому в его среде возникло поверье: «Как упадет с небес хвостатая звезда, так и наступит конец света» [11]. Видимо, неожиданная смерть Аттилы настолько глубоко потрясла гуннов, что была воспринята ими эсхатологическим предзнаменением.

Западные историки (А. Тиерри, Ф. Гильем) утверждают, что Аттила занимает достойное место в плеяде великих людей, его военный гений не уступал полководческому дару Александра Македонского, Юлия Цезаря и др. Действительно, в военных сражениях Аттила не знал поражения. И даже знаменитое Каталаунское сражение 451 года, унесшее неимоверное количество жизней римлян и гуннов, впоследствии засчитанное Аттиле в актив поражения, на са-

мом деле было выиграно им. Не мог же, наверное, разгромленный Аттила после битвы направиться в Рим, попутно занимая другие римские города. Между тем у ворот Рима его встретила делегация христианской церкви во главе с Папой Римским, который с крестом в руках, встав на колени, умолял его пощадить город многовековой древности. Крест в руке Леона I, вероятно, выражал, помимо общепринятого, еще какой-то смысл, который Папа решил использовать для достижения цели. Аттила, как свидетельствует история, исповедовал иную веру – тенгрианство, но римлянам было известно, что свои победоносные знамена гуннский властитель украшал крестом, а крест – изначально тамга древнего рода Керей, из которого, как предполагается, происходил Аттила. Возможно, Папа Римский посредством данного сакрального знака рассчитывал, воздействуя на сокровенные струны его, пробудить в нем жалость и сострадание к городу и Аттила, возможно, поддался этому чувству, но и одновременно им могла владеть иная мотивация. О том определенно ныне трудно сказать. Известно лишь то, что Аттила пощадил Рим и увел свою армию прочь от стен города. Но Рим все же был обречен и последовавший вскоре его разгром – дело рук не гуннов, а германских племен. Рим пал. Аттила же всегда хотел быть с ним в дружеских отношениях, но главы города в стремлении любыми средствами сокрушить гуннов первыми нарушали договор. Аттила понимал их и проявлял великодушие, не желая уничтожать город. Поэтому ни Аттила, ни его воинство не виновны в погибели великого города, в падении Рима. Их противники – германские и славянские племена превосходили гуннов в жестокости, о том свидетельствуют те же самые источники: «Ни сарматы, ни готы, ни самые гунны не были для империи ужаснее славян. Иллирия, Фракия, Греция, Херсонес – все страны от залива Ионического до Константинополя были их жертвою...» Их жестокость приводила в ужас и Рим, и Константинополь: «Ни легионы Римские, почти всегда обращаемые в бегство, ни великая стена Анастасиева (построенная между Черным морем и Селивриею), сооруженная для защиты Царяграда от варваров, не могли удержать славян, храбрых и жестоких» [12]. И только гуннам удавалось удерживать их в узде и освобождать покоренные племена от их ига. Держава гуннов после смерти Аттилы, спустя три века, распалась окончательно, часть гуннов возвратилась в ранее оставленные края и, слившись с местными тюркскими народами, способствовала созданию первого Тюркского каганата и более того - представители гуннского рода Ашина возглавили каганат. Вышеизложенные события из жизни Аттилы легли в основу целого ряда сказании, баллад, эпических произведений, сложенных среди западных народов. Казахский ученый Самат Отенияз, многие годы занимавшийся исследованием жизни и деяний великого Гуна, две главы своей книги «Аттила» посвятил освещению образа вождя гуннов в мировой литературе и определению его места в европейской исторической науке. Проводя параллель с образом Александра Македонского, исследователь отмечает довольно интересную закономерность, обусловленную принципом сходства значения образов двух великих полководцев в духовной жизни человечества. Так, к примеру, если Александр Македонский стал одним из главных героев восточных сказаний и легенд, литературных произведений (Фирдоуси, Низами, Хосрова Дехлеви, Джами, Навои и др.), в которых он изображается правителем-философом, возвышающимся порой до сана пророка, проповедника Божьего слова, то в художественном творчестве западных народов аналогичную роль играет образ Аттилы.

Одна из ранних поэм об Атташе, дошедших до наших дней, называется «Первый поход Аттилы в Галлию». Созданная безымянным автором в VI в. и зафиксированная письменно на латинском языке в XIII в. поэма является богатейшим источником сведений о гуннской эпохе в Европе и гуннском языке, так как содержит множество слов из лексики гуннов. Поэма позволяет реконструировать быт и бытие европейских тюрков того времени в подлинном, а не искаженном виде. Под именем Атли образ великого Гуна воплощен в скандинавском эпосе «Эдда», в состав которого входят два «Сказания об Атли» (одно сказание является исландским вариантом, другое - гренландским). Воспет Аттила и в «Сказании о Нибелунгах», где он носит имя Этцелъ (Etzel). В исландских песнях, в норвежских сагах Аттила – злой и жадный властитель. В «Песне о Нибелунгах» образ Аттилы переосмыслен. В ней рассказывается о том, что принцесса Бургундии Кримхильда выходит замуж за доблестного Зигфрида, владеющего чудесным золотым кладом Нибелунгов. Зигфрид был коварно убит. Тринадцать лет вдов-

ствует Кримхильда, но, надеясь отомстить убийцам, принимает предложение Этцеля (Аттилы), могучего короля гуннов. Свадьбу справляют в Вене. Родственники Кримхильды, среди которых находился Хаген, убийца Зигфрида, приезжают в гости ко двору Этцеля. В результате заговора, цепи предательств, интриг, битв и поединков все герои «Песни о Нибелунгах» гибнут. Аттила изображен в «Песне о Нибелунгах» как могучий и доброжелательный по отношению к германцам повелитель гуннов. Следует заметить, что в немецком эпосе образ Аттилы дан исключительно в положительном, идеализированном свете, в то время как в творчестве других народов прослеживается амбивалентное изображение его.

Все факты, источники, произведения, наличествующие в области аттиловедения, показывают, что мировая литература и искусство издавна заинтересованно относятся к воплощению образа Аттилы, который был и остается своего рода стимулом творческих потенций народов как западного, так и восточного континентов.

В конце IV и начале III вв. до н.э. на территории Казахстана образовались новые племенные союзы – усуней, кангюй и аланов. Усуни жили на территории между озером Балхаш и отрогами Тянь-Шаня. Ставка вождя усуней находилась на южном берегу озера Иссык-Куль. Кангюй населяли районы Каратау и среднее течение реки Сыр-Дарьи. Аланы – потомки савроматов – обитали в степях западного Казахстана. Эти племена занимались скотоводством и отчасти земледелием. При раскопках могильных курганов обнаружены остатки обугленных зёрен и зернотёрки. У усуней и кангюй были развиты домашние промыслы. Из железа, постепенно вытеснявшего бронзу, изготовлялись простейшие орудия труда и предметы домашнего обихода. Уже тогда применялась горячая ковка. Производились также гончарные изделия, сравнительно хорошо выделывалась кожа, которая шла на колчаны, щиты и одежду. На примитивном ткацком станке вырабатывали ткани. Основное богатство племён сосредоточивалось в руках военных вождей. Отдельные семьи усуней имели до 5 тысяч лошадей.

Среди племён усуней и кангюй, как и среди саков, не было имущественного равенства. Об этом свидетельствуют раскопки могильных курганов. Могилы знати сравнительно большие и содержат ценные вещи. Могилы же бедных значительно меньше, ценных вещей в них нет. В связи с развитием скотоводства, земледелия и появлением более совершенных орудий труда у усуней, кангюй и аланов совершается переход к индивидуальному хозяйству. Это приводит к появлению частной собственности и усилению имущественного неравенства. Ранее свободные общинники попадают в зависимость от старейшин и военных вождей, в руках которых сосредоточиваются основные богатства. Усуни и кангюй имели сношения с Китаем и Средней Азией. Страну усуней дважды (138 и 115 гг. до н. э.) посетил сановник китайского императора. В свою очередь, усуньский гуньмо в 107 г. до н. э. направил своего посла в Китай и просил императора выдать за него китайскую царевну.

До нас дошла песня китайской царевны, выданной замуж за усуньского гуньмо. Она полна тоски и печали по любимой родине:

Выдали меня родственники
В дальнюю страну;
Отдали в чужое царство
За усуньского царя.
Как вспомню об отчизне,
Сердце занывает.
Желала б диким гусем быть,
Чтобы возвратиться на родину. (Пер. Л. Гумилева)

Древняя история славян корнями уходят в историю скифов. Культура цивилизации скифов в свою очередь восходит к культуре алтайских народов, цивилизаций шумерского, индоиранского, арийского источников. Огромное влияние культура ариев оказала на неарийские народы Индии, Ирана, Европы. В древности центральная часть Индии, долина реки Ганг, имела название «Арьявата», что означает – «страна ариев», того же происхождения современное название страны Иран.

Праславяне прошли обычный для многих народов путь становления общества и соответствующего ему религиозного сознания. Первичные верования древних людей (в том числе и

праславян) составляла вера в духов, в предка, в тотем своего племени. Но уже на саксо-скифском уровне религиозное сознание прототюрков и праславян включало в себя веру в единого бога Тенгри. Проникая все глубже в тайны окружающего мира, предки славян кодифицировали в мифах накопленные знания. Стержень, на который нанизывались последующие сказания – это миф о сотворении мира, об отделении Земли и Неба.

До рождения света белого тьмой кромешною был окутан мир. Был во тьме лишь Род – прародитель наш. Род - родник вселенной, отец богов. Был вначале Род заключен в яйце, был он семенем непророщенным, был он почкою нераскрывшейся. Но конец пришел заточению, Род родил Любовь – Ладу-матушку. Род разрушил темницу силою Любви, и тогда Любовью мир наполнился. Долго мучился Род, долго тужился. И родил он царство небесное, а под ним создал поднебесное. Пуповину разрезал радугой, отделил Океан – море синее от небесных вод твердью каменной. В небесах воздвигнул три свода он. Разделил Свет и Тьму, Правду с Кривдою. Род родил затем Землю-матушку, и ушла Земля в бездну темную, в Океане она схоронилась. Солнце вышло тогда из лица его – самого Рода небесного, прародителя и отца богов! Месяц светлый – из груди его – самого Рода небесного, прародителя и отца богов! Звезды частые – из очей его – самого Рода небесного, прародителя и отца богов! Зори ясные – из бровей его – самого Рода небесного, прародителя и отца богов! Ночи темные – да из дум его – самого Рода небесного, прародителя и отца богов! Ветры буйные – из дыхания – самого Рода небесного, прародителя и отца богов! Дождь и снег, и град – от слезы его – самого Рода небесного, прародителя и отца богов! Громом с молнией - голос стал его – самого Рода небесного, прародителя и отца богов! Родом рождены были для Любви небеса и вся поднебесная. Он - отец богов, он и мать богов, он - рожден собой и родится вновь. Род – все боги, и вся поднебесная, он – что было, и то, чему быть предстоит, что родилось и то, что родится [13].

Мифология древних славян, запечатленная в «Песнях птицы Гамаюн» (русских ведах), действительно во многом напоминает «Веды». Например, генезис мира от различных частей тела первосущества Пуруши схож с подобным процессом зарождения мира от Рода. Часто подчеркивается политеизм древних славян. Однако по данному отрывку, так же как и древнетюркскому мифу можно судить о тенденции возникновения монотеизма. Род, как и Тенгри, единый бог во многих ипостасях. *«Когда-то не было ни земли, ни неба, а был только один необъятный океан. Однажды внутри океана возник Белый Свет – Ак Жарык, из которого образовалось сияющее золотое яйцо»* [14].

В мифе о происхождении Тенгри повторяется мысль о первобытном океане, о рождении бога из яйца. В тенгрианском мифе подчеркивается, что яйцо золотое, в славянском мифе – яйцо живое, с непроросшим семенем. Первыми космогоническими богами в славянских мифах были Небо и Земля. То же самое можно отметить и в прототюркских мифах. Род рождает из себя Ладу – любовь. В древнетюркском мифе Тенгри сам разделился на мужчину и женщину. Богиню женщину он назвал Тенгри Умай. По функциям мифологических персонажей, по характеру их связей с коллективом, по степени индивидуализированного воплощения, по особенностям их временных характеристик и по степени их актуальности для человека внутри славянских и тенгранских мифов можно выделить несколько уровней. Высший уровень характеризуется космогонической функцией богов, содержащей в себе тенденцию к единобожию. (Индра, Агни, Варуна в ведийской мифологии, Тенгри, Умай, Улкен в тенгрианской мифологии, Род, Лада, Сварог в славянской мифологии). На уровне космогонических и военно-хозяйственных функций в славянской мифологии можно выделить также три божества – Сварога, Перуна, Свентовита.

В «Велесовой книге» существует гимн Триглаву: *«И вот начните, во-первых, – главу пред Триглавом склоните!» – так мы начинали, великую славу Ему воспевали, Сварога – Деда богов восхваляли, что ожидает нас. Сварог – старший бог Рода божьего /2/ и Роду всему – вечно бьющий родник, что летом протек от кроны, зимою не замерзал, живил той водою пьющих! Живились и мы, срок пока не истек, пока не отправились сами к Нему ко райским блаженным лугам! И Громовержцу – богу Перуну, Богу битв и борьбы говорили: «Ты, оживляющий явленное, не прекращай колеса вращать! Ты, кто вел нас стезею правой к битве и тризне великой!» О те, что пали в бою, те, которые шли, вечно живите вы в войске Перуновом! И Свентовиту мы славу*

рекли, он ведь восстал богом Прави и Яви! Песни поем мы Ему, ведь Свентовит – это Свет. Видели мы через Него Белый Свет. Вы посмотрите – Явь существует! Нас Он от Нави уберегает – Мы восхваляем Его! Пляшущего мы воспевали, к нашему Богу взывали мы, ибо тот Бог – Землю нашу носил, звезды держал, Свет укреплял. Славу творите во всем Свентовиту: «Славу Богу нашему!» Скорбите же сердцем нашим – этим вы смели отречься от злого деяния нашего, и так притекли к добру. Пусть обнимаются дети! И говорите: «Все сотворенное не может войти в расторгнутый ум!» Чувствуйте это, ибо лишь это умеете, ибо тайна та велика есть: как Сварог и Перун – есть в то же время и Свентовит. Эти двое охватывают небо, сражаются тут Чернобог с Бедобогом и Сваргу поддерживают, чтоб не был повержен тот бог Свентовит» [15].

Сварог, Род и Свентовит составляют божественную Троицу. Ученые спорят, не повлияло ли учение о святой троице в христианстве на появление Триглава. Но гораздо раньше в тенгрианской мифологии прослеживается генезис трех сыновей Тенгри: Кайсара (Гэсера – упорный, решительный), Чингиза – повелитель мира (Тенгиза – море) и Ер – Саина – достойного мужа (Ирен – Сайын). Тенгрианские мифы старше христианских и славянских поэтому идея троица бога Отца, бога Сына и Святого Духа, вероятно заимствована из восточной мифологии.

Первый уровень славянского пантеона богов характеризуется наиболее обобщенным типом функций богов (ритуально-юридическая, военная, хозяйственно-природная), их связью с официальным культом (вплоть до раннегосударственных пантеонов). К первому уровню славянских мифов относились два праславянских божества, чьи имена достоверно реконструируются как Перун и Велес, а также увязываемый с ними женский персонаж, праславянское имя которого остается неясным. Велес это скотоводческий бог. Абай Каиржанов считает, что это общее божество протославян и прототюрков. Он обосновывает такой вывод на своей расшифровке древнетюркской рунической надписи на деревянном идоле, изображающем Велеса: «причитать блаженно (плакать от счастья)» «дружественные племена (народы) веселитесь (прыгайте от счастья) ежегодно» [16]. В славянских мифах – это могущественный бог, покровительствующий домашнему скоту и приносящему ему здоровье и силу. В дальнейшем Велес вступает в борьбу с Перуном как негативная сила. Причина их распри – похищение Велесом скота, людей, а в некоторых вариантах – жены громовержца. Преследуемый Велес прячется последовательно под деревом, камнем, обращается в человека, коня, корову. Во время поединка с Велесом Перун расщепляет дерево, раскалывает камень, мечет стрелы. Победа завершается дождем, приносящим плодородие. Не исключено, что некоторые из этих мотивов повторяются в связи с другими божествами, выступающими в других, более поздних пантеонах и под другими именами (например, Свентовит).

Поклонение богу скота осталось даже в казахских приветствиях, когда встречающиеся люди, прежде всего, интересовались здоровьем скота (Мал аман ба?).

В тенгрианских мифах дуалистическое устройство мира воплощено в боге добра Улкене и зла Эрклике. Иногда их связывают с Белым и Черным богами путей (Алажол Тенгри и Каражол Тенгри).

Мифы о рождении и битвах богов – это Знание, воспринятое людьми. Знание о прошедшей и будущей человеческой истории. Именно поэтому закат первобытности и установление государственной власти сопутствовал иерархической организации пантеона богов: на небе – в духовном мире, происходило то же, что и на земле. Особого рода источник для реконструкции славянских мифов – сравнительно-историческое сопоставление с другими мифологическими системами, в первую очередь с мифологией арийских, балтийских и тюркских племен, отличающейся особой архаичностью. Эти сопоставления позволяют выявить арийские и пратюркские источники целого ряда праславянских персонажей с их именами и атрибутами, в том числе основного славянского мифа о поединке бога грозы Перуна с его демоническим противником.

Так во многих мифах «Ригведы» описывается битва Индры с Вритру, драконом (змеей), который запер в горах реки и лишил землю плодоносных вод. Индра, как и Перун, поражает его молнией. Существуют параллели козней Эрклика против Тенгри и вечно сражающегося с ним Мангдышире (Вечной власти, Вечной силы) и славянских богов. Тенгри сам создал Эрклика из глины, дав ей разум (Эрклик – мужественный, смелый), но тот стал завидовать Тенгри Улкену. Улкен не мог допустить вражды себя и созданного им демона, поэтому и создал друга и предста-

вителя Мангдышире, чтобы он противоборствовал Эрклику. Эрклику противостоят и другие люди, созданные Тенгри Улкеном. Эти параллели позволяют отделить архаические элементы от позднейших инноваций, влияний иранской, германской и других евразийских мифологий, позднее – христианства, заметно трансформировавших славянские мифы.

Знания о полном составе праславянских богов высшего уровня весьма ограничены, хотя есть основания полагать, что они составляли уже пантеон. Кроме названных богов в него могли входить те божества, чьи имена известны хотя бы в двух разных славянских традициях. Таковы древнерусский Сварог (применительно к огню – Сварожич, т.е. сын Сварога), Zuarasiz у балтийских славян (ср. чеш. И словац. Raroz, «сушняк», и румынск. Sfarog, «высушенное», позволяющее предполагать южнославянскую форму этого имени). В ведийской мифологии ему соответствует Агни, (сравни русское «огни»), в тюркской мифологии От-Ана, мать огня), кстати от тюркского «от» и русские слова отец, очаг, отечество, казахское – отан (отечество).

Особую роль играет «живой огонь» в многочисленных ритуалах, обряды сожжения, возжигания костра. В тюркских и иранских обрядах присутствовало очищение «меж двух огней». Так Сиявуша, заподозренного в прелюбодеянии с мачехой проводят меж двух огней. Тюркских воинов проводили «меж двух огней», прежде чем они целовали оружие, присягая на верность сюзерену. Несколько сложнее обстоит дело с названиями типа древнерусских Ярила и Яровит (лат. Gerovitus) у балтийских славян, так как в основе этих имен – старые эпитеты соответствующих божеств. Подобные эпитетообразные наименования, по-видимому, соотносились также с богами праславянского пантеона (например. Мать-сыра земля и другие женские божества). С Мать-сыра землей коррелируются тюркское Йер-су (земля-вода).

Древние тюрки большое значение придавали еще одному божественному персоналию, называемому Ydug jar sub (Ыдик йер-су) – священная земля-вода, который в дихотомии: небо-земля – также коррелирует с землей, но не соотносится с нижним, подземным миром. Это понятие охватывает пространство, в границах которого расселены тюрки и потому Йер-су (земля-вода) имеет значение родины – исконного места обитания тюркских народов. Культ Йер-су предполагает поклонение горам, скалам, рекам, озерам, т.е. объектам, почитаемым как чистые духи (ару нама – букв., нечто чистое) [17].

Миф о Йер-су повествует следующее: В центре земли возвышается гора Сумер – местопребывание предков-охотников; на вершине этой горы находится молочное озеро. В центре горы возносится пуп земли и неба. Из пупа земли произрастает богатый тополь с золотыми ветвями и широкими листьями. Вершина этого тополя находится уже в небесной области Ульгеня. На этой горе обитает самый значительный дух земли Йер-Су, которому подчинены все духи земли. К востоку от млечного озера находится красное озеро, невидимое глазом. Хозяином этого озера является Кер Балык в образе рыбы. Он поддерживает на себе все горы области Йер-Су. Внутри у него находится кут – души-зародыши скота и юла – души-зародыши детей. Через дыхание он передает кут и юла Жайыку – духу-посреднику между людьми и светлыми духами. Жайык в свою очередь передает полученные от Йер-Су души-зародыши От-ана - матери-огню, и от нее происходит размножение скота и людей, почему к ней постоянно обращаются с просьбой охранять семью и крепче держать дары, полученные от Йер-Су [18]. Некоторые ученые связывают название страны Шумер с мифической горой древних тюрков Сумер. Идея мирового дерева Байтерека в тенгрианских мифах воплощена в священной березе, тополе. В славянских мифах мировое дерево олицетворяется с дубом. К более низкому уровню могли относиться божества, связанные с хозяйственными циклами и сезонными обрядами. Возможно, что к этому уровню относилось и большинство женских божеств, иногда менее антропоморфных, чем боги высшего уровня, славянские Мокош, Морена, Заря-Заряница, матерь Сва. В тюркской мифологии им соответствуют водяные чудовища Жутпалар, женщины алши (сайтан) – шулмусы (албасты), Луна-Ай, Жезтырнак и жалмауз – кемпир.

Элементы следующего уровня характеризуются наибольшей абстрагированностью функций, что позволяет иногда рассматривать их как персонификацию членов основных противопоставлений; например. Доля, Лихо, Правда, Кривда, Смерть, или соответствующих специализированных функций, например Суд. С обозначением доли, удачи, счастья, вероятно, было связано и общеславянское бог: ср. богатый (имеющий бога, долю) – убогий (не имею-

щий доли, бога), укр. Небог, небога – несчастный, нищий. Слово «бог» входило в имена различных божеств – Дажьбог, Чернобог и др.

Славянские данные и свидетельства других наиболее архаичных индоевропейских мифологий позволяют видеть в этих наименованиях отражение древнего слоя мифологических представлений праславян. Многие из этих персонажей выступают в сказочных повествованиях в соответствии со временем бытования сказки и даже с конкретными жизненными ситуациями (например, Горе-Злосчастье). М. Аджи считает, что слово «Бог» необходимо искать в древнетюркском bodi, что подтверждается буддийской традицией, где «бодхи» обозначает высшее сознание духовное просветление. В Азии «боди» за века трансформировалось в бог дохан (достигший Просветления государь), в Европе и у других народов связанных с тюркской историей, в том числе и у славян означало имя Высшего существа – Бога. У тюрков слово бог означало «обрести мир, покой» и было одним из имени Тенгри [19]. С началом мифологизированной исторической традиции связываются герои мифологического эпоса. Они известны лишь по данным отдельных славянских традиций: таковы генеалогические герои Кий, Щек, Хорив у восточных славян. Чех, Лях и Крак у западных славян. Тем не менее, и для праславянской мифологии правдоподобна реконструкция уровня генеалогических героев. Более древние истоки угадываются в персонажах, выступающих как противники этих героев, например в чудовищах змееобразной природы, поздними вариантами которых можно считать Соловья-Разбойника, Рарога-Рарашека. В тюркской мифологии имя Кий означает по Аджи «у границы, у края», Щек означает «внутренности человека» и Хорив – «видевший».

В Велесовой книге утверждается, что праславяне пришли в Европу за 1500 лет до нашествия Германариха, прошли на Карпаты и далее на Эльбу и Дунай, стали вендами, хорватами, чехами и уже затем вернулись в Восточную Европу в Междуречье Днепра и Дона. Сказочные персонажи – по-видимому, участники ритуала в их мифологизированном обличье и предводители тех классов существ, которые сами принадлежат к низшему уровню: таковы баба-яга, кощей, чудо-юдо, лесной царь, водяной царь, морской царь.

В казахской сказке «Ер-Тостик» один из владетелей подземного мира Кеще-хан обладает всеми признаками Кащея Бессмертного. Многие ученые предполагают, что Кащей Бессмертный перешел в славянскую мифологию из тюркских сказок, а слово Кащей образовано от тюркского кощщи (кочевник). Вероятно, и Баба яга произошла от тюркского Бабай-ага. К низшей мифологии относятся разные классы неиндивидуализированной (часто и неантропоморфной) нечисти, духов, животных, связанных со всем мифологическим пространством от дома до леса, болота и т. п.: домовые, лешие, водяные, русалки, вилы, лихорадки, мары, моры, кикиморы, у славян; из животных – медведь, волк. В казахской мифологии им соответствуют Уй Иеси, шимурын, пери, кульдиргиш, обыр, мыстан, албасты, тейран, конаяк, дивы, жезтырнак; из животных - волк, волчица, змей, бык, конь. Возможны сюжетные аналогии волшебных сказок: так сюжет казахской сказки «Жигит и волчица» [20] похож на сюжет «Царевны-лягушки». Жигит женится на волчице, должен не выбрасывать волчье одеяние своей жены сорок дней, он выбрасывает, что навлекает на него беды. В жену жигита влюбляется хан и дает различные задания жигиту способные свести его со свету. Благодаря волшебной помощи жены жигит справляется с поручениями. В последнем задании он должен был встретиться с духом отца хана и привести жеребца, зарезанного на поминках. Слова отца, переданные жигитом, устыдили хана и он, наконец, оставляет их в покое.

Женитьба на волчице распространенный мифологический сюжет. Недаром тюрки свой генезис ведут от волчицы [21]. Волчица – это сторож, тотем, функция которого заключается в сохранении рода, семьи. То же самое в «Царевне-лягушке». Вероятно, у лесных народов лягушка становится тотемом.

Таким образом, культура скифской эпохи представляет собой феноменальное явление. В ее контексте развивались многие отрасли искусства, философия, поэзия, слагалась художественная традиция, преемниками которой стали последующие поколения древних тюркских народов и в первую очередь гунны, усуни, канглы.

Античный период тюркских народов характеризуется интенсивным развитием образной мысли, направленной на передачу мироощущения архаического сознания. В этот период вы-

зревает мифологическое мышление, складывается героический эпос, прикладное искусство, образцы которого свидетельствуют о высоком уровне изобразительного мастерства, о сложнейших перипетиях рефлексирования древнего художника. В эпоху, обозначенную эпохой легендарных предков, циркулировали мифы, легенды, сказания, которые фиксировались, порой фрагментарно (особенно крупные эпические полотна) в хрониках, летописях соседствующих народов. Большое количество их запечатлено в китайских летописях, благодаря этой фиксации становится возможным реконструировать тот или иной эпос или же образ того или иного прославленного героя-воина, исторической личности.

Сохранившиеся образцы опять-таки позволяют воссоздать основные черты художественного мышления далеких предков, идеи, понятия, универсалии, составлявшие основу их воззрения, морали, нравственного кодекса. «Судя по этим произведениям можно заключить, что рассматриваемая эпоха по своему характеру была эпохой героической, что великих репрезентантов той поры влекли замыслы, идеи широкомасштабные, героические, обладающие особой ценностной значимостью, что первостепенными для них являлись такие понятия, как патриотизм, героизм, верность отечеству и верность обещанному слову. Героями легенд, сказаний становились люди героического склада характера, на их основе вырисовывался обобщенный образ героя, батыра, складывались его типические черты, переходившие из эпохи в эпоху, тот комплекс средств и приемов художественной традиции, что не утратили своей актуальности по сей день» [22].

Литература:

1. *Гумилев, Л.* Н. Древние тюрки. – М., 1993. – С. 5.
2. *Байпаков, К.* М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом Пути. – Алматы, 1998. – С. 168.
3. *Акишев, А.* Искусство и мифология саков. – Алматы, 1984. – С. 4.
4. *Аджи, Мурат.* Европа, тюрки, Великая Степь. – М., 1998. – С. 115.
5. *Каиржанов, А.* Древние тюрки и славяне: культурно-историчекий аспект аккультурации. // Вестник КазНУ. Серия филологическая, № 14 (48). – С. 198.
6. Каиржанов, А. Древние тюрки и славяне: культурно-историчекий аспект аккультурации. // Вестник КазНУ. Серия филологическая, № 14 (48). – С. 196 – 202.
7. *Кляшторный, С.Г., Султанов, Т.И.* Казахстан. Летопись трех тысячелетий. – Алма-Ата, 1992. – С. 67-68.
8. *Огел, Бахаддин.* История Великой Хунской империи. В 2-х кн. Кн.1. – Алматы, 1998. – С. 246 (на каз. яз).
9. *Сарткожа-улы, К.* Гуннское письмо // Алем. Альманах. Вып.1. – Алма-Ата, 1991. – С. 440-441.
10. *Аджи, Мурат.* Европа, тюрки, Великая Степь. – М., 1998. – С. 113.
11. *Отенияз, Самат.* Аттила. – Алматы, 2000. – С. 57 (на каз.яз).
12. *Барманкулов, М.* Хрустальные мечты тюрков о квадронации. – Алматы, 1999. – С. 208.
13. Песни птицы Гамаюн. – М., 1995. – С. 3-7.
14. *Жанайдаров, О.* Мифы древнего Казахстана. – Алматы, 2006. – С.8.
15. *Лесной, С.* Откуда ты Русь?/ Ростов-н/Д, «Донское слово», 1995. – С. 283-340.
16. *Каиржанов, А.* Palaeturkiga: Мир древних тюрков. Алматы, 1999, С. 176.
17. *Стеблева, И.В.* К реконструкции древнетюркской мифологической системы // Тюркологический сборник. 1971. – С. 216.
18. *Никонов, А. Ю.* Алтун битиг. Тенгрианство. – Алматы, 2000. – С. 20-21. 19. Аджи М. Азиатская Европа. М., 2006, С. 261.
19. Казахские народные сказки. В 3 т. Т.1. – Алма-Ата, 1971. – С. 121-128.
20. *Жанайдаров, О.* Легенда о происхождении династии Ашина // Мифы древнего Казахстана. – Алматы, 2006. – С. 144 -148.
21. *Жетписбаева, Б.* Древнетюркская литература. – Алматы, 2006. – С. 45.

Ирина МОДЕБАДЗЕ

Модебадзе Ирина Игоревна. Родилась в Тбилиси. Компаративист-литературовед, картвелолог, русист, переводчик. Научный сотрудник отдела теории литературы и компаративистики Института грузинской литературы им. Шота Руставели, Грузия, Тбилиси. Автор 60 научных трудов, научных и художественных переводов, в том числе книг:

1. Сандра Элисабет Рулофс. Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки. Тбилиси, изд-во link, 2007;

2. Георгий Харабадзе. Воспоминания актера. Посвящения. Рассказы. М -СПб, «Новая газета» – «Инапресс», 2004;

3. Георгий Харабадзе. CoxArtHros. М-СПб, «Новая газета» – «Инапресс», 2006 (в печати).

Кандидат филологических наук, Доктор филологии (PhD).

Заметки переводчика

Написанная в XII в., поэма Шота Руставели «Вепхисткаосани» («Витязь в тигровой шкуре») давно уже стала крупнейшим вкладом Грузии в сокровищницу мировой культуры. Огромную позитивную роль в этом процессе сыграли русскоязычные переводы поэмы, послужившие как бы путеводной нитью для ознакомления Славянского мира с миром Руставели. Веками грузинский народ хранил и передавал из поколения в поколение эту признанную «жемчужину» сокровищницы своей национальной культуры: заучивал наизусть, переписывал и берег от пожаров многочисленных войн и нашествий врагов любовно украшенные миниатюрами бесценные рукописи. А в эпоху книгопечатания каждое новое издание поэмы стало культурным событием, значимость которого сложно переоценить.

Поэма Ш.Руставели неоднократно переводилась на русский язык, издавалась и переиздавалась. Однако, читатели так и не утратили интереса к этому памятнику христианской духовной культуры. И в 2007 году, несмотря на множество препон, Санкт-Петербургским издательством «Вита Нова» был успешно завершен двухгодичный русско-грузинский проект (автор проекта – ведущий редактор издательства Наталья Соколовская) по подготовке нового издания поэмы, презентация которого состоялась осенью 2008 года.

Это уникальное двухтомное издание, в котором учтены многие недочеты предыдущих, ведь на протяжении многих лет русскоязычный читатель знакомился с текстом древнего памятника лишь по поэтическим переводам, хотя и выполненным гениальными переводчиками, но без каких бы то ни было комментариев. На этот раз, впервые за всю историю изданий поэмы на русском языке, был осуществлен проект двуязычного издания: оригинальному грузинскому тексту «зеркальным отражением» следует подстрочный перевод С.Иорданишвили (выполненный в 1934 г., изданный в 1966г.). Во второй том, под рубрикой «К истории русских переводов «Вепхисткаосани» включены также и отдельные главы из поэтических переводов Константина Бальмонта (*Вступление)*, Пантелеймона Петренко (*Письмо Тариэля к возлюбленной, в ответ написанное*), Шалвы Нуцубидзе (*Завещание Автандила царю Ростевану*), Николая Заболоцкого (*Свадьба Тариэла и Нестан-Дареджан (отрывок)*. *Заключение*). Двухтомник снабжен обширным научным аппаратом: предисловием (эссе «Утро Ренессанса» известного грузинского драматурга и прозаика Тамаза Чиладзе), послесловием («Вепхисткаосани» Шота Руставели, или Путь к мировой гармонии» д.ф.н., проф. Нестан Сулава), Словарем (составители – д.ф.н., проф. Н.Сулава, д.ф.н. И.Модебадзе) и Комментарием (Нестан Сулава). Специально для этого издания засл. художником Грузии Лореттой Абашидзе-Шенгелия были выполнены новые иллюстрации.

Книга стала большим событием в культурной жизни наших стран. Ее издатели особо отмечают, что «неблагополучие политических взаимоотношений на государственном уровне лишний раз указывало на необходимость довести этот уникальный проект до конца и напомнить о том, что существуют ценности, которые превыше любых границ и междоусобиц, – общее культурное пространство, единая духовная традиция и объединяющие наши страны творческие связи». И быть причастным (в той или иной мере) к подобному событию это – высокая честь и большая ответственность.

Мне посчастливилось работать над переводом Послесловия и Комментария к этому изданию. Комментатор, естественно, постоянно апеллирует к оригинальному тексту поэмы, русскоязычный читатель знакомится с поэмой по переводу, и, конечно же, иллюстрировать Послесловие и Комментарий на русском языке следует цитатами по подстрочнику. Казалось, что это – самая легкая, почти механическая, часть работы: существует выверенный подстрочный перевод, строфы пронумерованы, остается только найти и вставить нужную цитату на русском языке. И вот тут-то началось самое интересное: находишь нужное место, перевод цитаты – точный, а того оттенка смысла, который комментирует проф. Н.Сулава, она почему-то не передает! Сверяюсь с поэтическими переводами – сплошные разночтения! Более того, читаю свой перевод Послесловия, и чувствую, что в нем тоже чего-то не хватает, что-то неуловимо ускользнуло, потерялось, обесцветилось... Пришлось снова и снова вчитываться в строки оригинала, перечитывать тексты различных переводов (в том числе и неизвестных широкому кругу читателей частичных переводов, выполненных по различным подстрочникам), обращаться с бесконечными вопросами о правильной интерпретации к проф. Н.Сулава, пытаться понять, чем руководствовался тот или иной переводчик, переводя наиболее сложные места, и размышлять, размышлять, размышлять...

Конечно, любой перевод – это всегда, в той или иной степени, интерпретация... Сколько уже существует переводов «Витязя в тигровой шкуре» на русский язык? Оказывается, более шестидесяти, если считать прозаические и частичные! Подстрочный перевод С. Иорданишвили и девять полных поэтических переводов. Общеизвестные: К.Бальмонта – 1933 г., Г. Цагарели- 1937 г., П.Петренко – 1938 г., Ш.Нуцубидзе – 1941 г., Н.Заболоцкого – 1958 г., Г. Девдариани-2004 г., а также три неизвестных широкому кругу читателей – опубликованные лишь частично переводы К.Ованова и Н.Мзареулова (Реулло), а также неопубликованный перевод В. Джорджикия. А еще и недошедшие до нас подстрочники Ал. Сараджишвили и Д. Чубинашвили, по которым работали переводчики поэмы в XIX веке! Не исключено, что где-нибудь в частном архиве могут храниться рукописи и других, пока еще неизвестных исследователям переводов, ведь о переводах Н.Мзареулова (Реулло), В.Джорджикия и К.Ованова я узнала только благодаря научным изысканиям специалиста по русскоязычным переводам поэмы д.ф.н. Л.Андгуладзе, которая не только изучила и описала рукописи, но и опубликовала перевод Н.Мзареулова, к сожалению, лишь частично...

Стремление к наибольшей точности передачи авторского смысла, духа переводимого произведения при условии сохранения ритма, мелодики и поэтической красоты звучания оригинала на родном языке неизменно остается основной задачей, стоящей перед любым поэтическим переводом. Именно этим и объясняется факт неоднократного обращения переводчиков к одним и тем же произведениям. Каждый из них по-своему передает ритм, дух и стиль поэмы, но при этом что-то «теряет» в зависимости от того, на какой именно из этих составляющих было сконцентрировано его основное внимание. Поэтический язык Руставели метафоричен, чрезвычайно многозначен, полисемантичен, изобилует новообразованиями (т.н. «руствелизмами»), почти каждое слово великого поэта имеет множество смысловых оттенков и некоторые из них, как не поддающиеся адекватному переводу, так и остались достоянием исключительно лишь грузиноязычного читателя.

Поиски давно уже ставших раритетами переводов XIX века и профессиональное любопытство привели меня к Л.Андгуладзе, которая не только помогла решить проблему с текстами, но и пояснила: «В одних переводах подчеркивается неиссякаемая лиричность, в других – торжественная величавость или глубокая мудрость поэмы. Каждый переводчик шел новой, неизведанной дорогой, преодолевая новые трудности». И все-таки, когда сопоставляешь переводы одних и тех же строк, иногда такие разные, постепенно замечаешь, как все четче начи-

нают вырисовываться основные вехи и специфика выбранных ими дорог... Некоторыми из накопленных наблюдений мне и хотелось бы поделиться...

Прежде всего о переводе заглавия поэмы, который был и остается одной из самых сложных проблем, стоящих перед переводчиками Ш.Руставели. Так, в XIXв. русскому читателю поэма была известна как «Барсова *кожа*», а в более поздних переводах - герой назван носящим «*шкуру*». Используемое Ш.Руставели слово «ткави» имеет в грузинском языке значения как «шкура», так и «кожа». Однако речь вовсе не о коже/шкуре, а о том, кто ее носит, вернее, носит сшитую из нее одежду. Впрочем на то, что Тариэл носит не просто кожаную одежду, а именно одеяние из *шкур* четко указано в тексте самой поэмы: «мехом наружу». И именно одежду и головной убор, *сшитые* из шкур убитых им хищников, а не просто наброшенную на плечи шкуру, как часто изображают иллюстраторы поэмы: «Эта женщина (Асмат – И.М.) сшивает ее, то вздыхая, то стеная». Но, если вопрос со шкурой/кожей проясняется достаточно легко, то вопрос о том, из шкуры *какого* именно животного сшита одежда Тариэла решить не так-то просто. В переводах, осуществленных в XIXв., и раннем переводе К. Бальмонта («Носящий барсову шкуру», 1917г.) в названии поэмы звучит «*барс*», а в переводах Г.Цагарели, П.Петренко, Ш.Нуцубидзе, Н.Заболоцкого, в подстрочном переводе С. Иорданишвили и более поздних изданиях перевода К.Бальмонта – *тигр.*

Что же лежит в основе столь серьезных расхождений?

Следует сказать, что слово «вепхви» переводится как *рысь*, *тигр, леопард*. Автор известного «Грузино-русского словаря» проф. Д.И.Чубинашвили, в свое время подготовивший подстрочник поэмы Руставели, объясняет (в своем словаре), что «вепхис ткаосани» – это «человек, одетый в *леопардовую* шкуру». В то же время опубликованный №№6-7 петербургского художественно-литературного журнала «Иллюстрация» в 1845г. первый (частичный) поэтический перевод поэмы на русский язык, перевод И.Бардтинского, как известно, работавшего по его подстрочнику, озаглавлен «Тариель. *Барсова* кожа» (1845). А вслед за ним и все переводчики поэмы в XIX веке указывали в названии поэмы на «барса».

Так что за зверь этот «вепхви»? Рысь, тигр, барс, леопард, или, может, и вовсе пантера (как сочли переводчики поэмы на английский язык)?

В современной руствелологии этот вопрос все еще остается открытым. Так, комментатор поэмы – Н.Сулава приводит многочисленные свидетельства того, что в древнегрузинской литературе, как оригинальной, так и переводной, под общим названием «вепхви» подразумевались животные, имевшие *не*однотонный окрас (как полосатые, так и пятнистые). По-видимому, этим и объясняется тот факт, что на древних миниатюрах, иллюстрирующих рукописи поэмы XVII в. изображено одеяние из шкуры пятнистого, а не полосатого зверя. В последнее время научная мысль (С.Цаишвили, И.Керкадзе, Т.Гамкрелидзе, В.Иванов) склоняется к тому, что «вепхви» Ш. Руставели – это, скорее, леопард или барс, но не тигр. Впрочем, уточнять уровень развития зоологии в эпоху Руставели – дело специалистов, а тем временем переводчики продолжают традиционно называть Тариэла носящим шкуру тигра, аргументируя свое решение спецификой перевода («Попробуйте заменить «тигрицу» - «барсом», «леопардом», - образ исчезнет», утверждает, в частности, Г.Девдариани), а иллюстраторы – тщательно выписывать контрастные полосы на одеянии главного героя поэмы.

С другой стороны, заглавие, данное Ш.Руставели своей поэме, это – одно слово. Адекватный перевод был бы неблагозвучен («Барсовошкуроносец» / «Тигровошкуроносец», по типу «копьеносец», или «Барсовошкурник» / «Тигровошкурник», по типу «лучник», «конник» и др.). Упоминание же имени Тариэла в переводе И.Бардтинского («Тариэль. Барсова кожа») нарушает авторский замысел – имя главного героя поэмы не может быть названо в заглавии, поскольку сюжет и структура повествования не позволяют преждевременно раскрывать его инкогнито. Таким образом, ближе всех к подлиннику – ранний перевод К.Бальмонта («Носящий барсову шкуру», 1917г.). Тем не менее, поскольку русский язык требует уточнения, позднее в заглавии появилось слово «витязь», выбранное переводчиками как наиболее соответствующее характеру и социальному статусу героя. Соответственно, и в тексте поэмы используемое Ш.Руставели и не имеющее адекватного перевода понятие «мокме» традиционно заменяется на «витязь», а иногда на «рыцарь».

Однако, проблемы перевода заглавия поэмы вовсе не ограничиваются только этими вопросами. Гораздо важнее вопрос о том, как передать его смысл? Ведь вынесенное в заглавие понятие определяется не тем, одеяние из шкур *какого* животного носит его герой, но тем, *зачем* он его носит, его символическим *смыслом*, который раскрывается лишь по прочтении всего текста поэмы. И вот тут-то переводчики бессильны, поэтому в ряде случаев они сохраняют грузинское звучание заглавия поэмы (в частности перевод Г.Девдариани так и озаглавлен – «Вепхис ткаосани»).

Серьезные разночтения фиксируются и в переводах очень важной по смыслу строки **5,1** поэмы, дсл.: «Повелели (мне) во славу их сложить сладкозвучные стихи»). («...повелели мне во славу ее сложить сладкозвучные стихи» - С.Иорданишвили). По поводу того, о «ней», или «о них» идет речь в данной строке, кого именно «прославляет» поэт, была ли заказана, или нет (а если была, то кем именно) поэма, мнения ученых-руставелологов расходятся (В.Беридзе, Г.Имедашвили, З.Гамсахурдия и др.), а вот мнение переводчиков оказалось более единодушным:

«И мне *приказали* промолвить стихи *ей*» – Ал. Навроцкий*;

«В том *веление царицы*, чтоб воспеть ее ресницы» – К.Бальмонт;

«Петь уста, ресницы, брови – *долг* почтительный певца» – П.Петренко;

«*Должен я* [...], выбрав самый нежный лад» – Ш.Нуцубидзе;

«Мне *приказано царицу* славословить...» – Н.Заболоцкий;

«Мне *велит святая сила* петь *ей* песни без конца» – Г.Девдариани

Переводчики восприняли множественное число как формулу вежливости (Pluralis majetstatis) и однозначно адресовали строки царице Тамар. При этом П.Петренко и Ш.Нуцубидзе предпочли не указывать прямо на «повеление» (т.е. возможный заказ), а аппелировали к более безличному «долгу поэта», а Г.Девдариани указывает на «*святую силу*» как на источник «повеления». Под «*святой силой*» можно подразумевать как даруемое поэту свыше вдохновение, так и наделенного священной харизмой правителя государства (т.е. в данном случае царицу Тамар, поскольку ни ее супруг – Давид Сослан, ни какое-либо другое лицо в государстве не являлось обладателем даруемой лишь потомственным властителям божественной харизмы). «*Приказали*» (во множественном числе) звучит лишь в частичном переводе Ал. Навроцкого и угадывается у Н.Заболоцкого («*приказано*»).

Очень интересно, как решали переводчики проблему передачи сложных художественных образов, метафор, красочных сравнений, которых так много в поэме. Приведу лишь один пример – стр. **81,1** (дсл.): «Для царя эта весть как игра в нарды». В подстрочном переводе С.Иорданишвили конструкция строки тяжела, а смысл несколько туманен: «Царю эта весть показалась *песней удачно брошенных костей* (нарды)»).

Слово «мгхера» имеет значения как «пение», так и «игра», и оба эти смысла мастерски обыграны великим поэтом. В своем Словаре Д.Чубинашвили переводит используемое Руставели словосочетание «мгхера нардиса» как «игра в шашки», по-видимому учитывая, что русскому читателю XIXв. шашки более знакомы, чем нарды.

Смысл строки в том, что, поскольку выигрыш Автандила не только свидетельство того, что усилия воспитателя (Ростевана) увенчались успехом, но и окончательно решает проблему замужества Тинатин и, соответственно, будущее престола Аравии (Н.Сулава), то свой проигрыш в этом споре царь – прежде всего руководствующийся интересами государства правитель и гордящийся своим воспитанником учитель - воспринимает как выигрыш. Сравним поэтические переводы:

«Царь, слушая эти слова, ценил их как *выигрыш в нарды*» – И.Бардтинский;

«Царю показалась эта *весть приятной*,//Как та *игра в нарды*» – Ал.Навроцкий;

«Он ничуть *не опечален*. «Что ж, победа не моя» – К.Бальмонт;

«И, как *выигрышу в нарды*, сердце Ростевана радо» – Г.Цагарели;

«Но царю та весть – как будто *в нарды* легкая игра» – П.Петренко;

«...забавной *схваткой в нарды* посчитал событье это» – Н.Заболоцкий;

«Ростевану эти вести – *наслаждение от нарда*» – Ш.Нуцубидзе.

* Частичный перевод поэмы выполнен Ал. Навроцким в 90-ых годах XIX в. по подстрочнику Ал.Сараджишвили.

«Царь воспринял пораженье, словно он *сразился в нарды*» – Г.Девдариани

Большинство переводчиков сконцентрировало свое внимание на сравнении спора Ростевана и Автандила с игрой в нарды (И.Бардтинский, пользовавшийся подстрочником Д.И.Чубинашвили, даже дает сноску: «Особая игра в шашки»).

И.Бардтинский и Г.Цагарели интерпретируют ее как «*выигрыш в нарды*», Ал. Навроцкий (работавший по подстрочнику Ал.Сараджишвили), П.Петренко и Ш.Нуцубидзе – как удовольствие от хорошей игры, а К.Бальмонт, опустив сравнение, предпочел подчеркнуть основной смысл строки – хорошее настроение царя при известии о своем проигрыше.

Большой интерес вызывает также работа переводчиков по передаче устаревших понятий. Например, перевод понятия «мушаитоба» в стр. 1380,1 (а в в стр. 118,2 встречаем «мушаити»). Давно уже прошли те времена, когда в праздничные дни, натянув над площадью канат, «мушаиты» - воздушные акробаты, гимнасты-канатоходцы, поражали своим искусством толпы народа. Перенесенное под куполы современных цирков, развилось и дифференцировалось, бывшее раннее синкретическим, древнее искусство, и каждый вид получил отдельное наименование: гимнастика, акробатика, воздушная гимнастика и т.д.

Сравним переводы стр. **1380,1**: «В детстве воспитатели мои обучали меня *акробатике*» - подстрочник С.Иорданишвили, а в поэтических переводах читаем:

«...в детстве, ловкость *акробата* // я развил в себе» – К.Бальмонт;

«С детских лет я упражнялся, подражая *акробату*» – Г.Цагарели;

«Хорошо *канатоходству* я обучен с давних пор» – П.Петренко;

«Упражнения *гимнастов* изучал я дома смладу» – Ш.Нуцубидзе;

«В детстве, силу развивая, был я славным *акробатом*» – Н.Заболоцкий;

«*Акробатике* учили с детства родичи меня» – Г.Девдариани.

А вот пример того, как переводчики пытались передать отсутствующее в русском языке понятие: строка **1564,4** строится на противопоставлении вина и «до». Большинство переводчиков постаралось подобрать эквивалент этому понятию: «*простокваша*» – С. Иорданишвили; «*сливки*» – К.Бальмонт; «*кислый сок*» – Ш.Нуцубидзе; «*пахтанина*» – Г. Цагарели; «*сыворотка*» – Н. Заболоцкий. В то же время «Грузино-русский словарь» Д.Чубинашвили переводит «до» как «пахтанное кислое молоко», а «Толковый словарь грузинского языка» под ред. А.Чикобава поясняет, что «до» – «кислая жидкость, остающаяся после сбивания масла из мацони». Таким образом наиболее близким к подлиннику представляются переводы Н.Заболоцкого («*сыворотка*») и Г.Цагарели («*пахтанина*»). Однако, даже они неадекватны. По свидетельству Вл.Даля, «пахтанин(ц)а», «пйхтанье» – это «творожистая сыворотка, остающаяся по отделении от сливок и сметаны масла». Это, конечно, иной продукт, чем получаемый при сбивания масла из мацони.

В целом, строка подчеркивает размах, обилие и богатство устроенного на радостях героями поэмы хмельного пира, приличествующего их богатству и социальному статусу. Именно таким путем – передачей основного смысла, пошли П.Петренко («И вина не разбавляли на торжественном пиру») и Г.Девдариани («Натуральных вин в достатке, кто их в жизни не любил»).

Наибольшее количество расхождений фиксируется при переводе-интерпретации строк, отражающих религиозно-богословские основы мировоззренческой позиции Руставели, что легко объясняется как колоссальным временным разрывом между написанием поэмы и созданием переводов (XII XXвв.), так и разницей мировоззренческих позиций Ш.Руставели и переводчиков. Именно здесь чаще всего переводчики вплотную сталкиваются с основанной на аллегорической функции языка т.н. «проблемой множественности смыслов», когда поэт, «говоря одно, говорит и другое» (П.Рикер). Чем большее количество смыслов (соответственно, и возможных трактовок) содержит высказывание, тем выше роль субъективного фактора – восприятия текста самим переводчиком, что и позволяет говорить о проблеме перевода в общем контексте проблемы интерпретации. Приведем несколько примеров, наглядно иллюстрирующих это наблюдение.

Строка **76,2** (дсл.): «... Бога на небесах прогневили»). Ср.: «...*небесного* Бога прогневили» (С.Иорданишвили). В поэтических переводах читаем:

«Бог, исполненный любовью, в *небе* гневом возгорел» – К.Бальмонт

«И сражая убегавших, вызывали божий гнев» – Г.Цагарели;

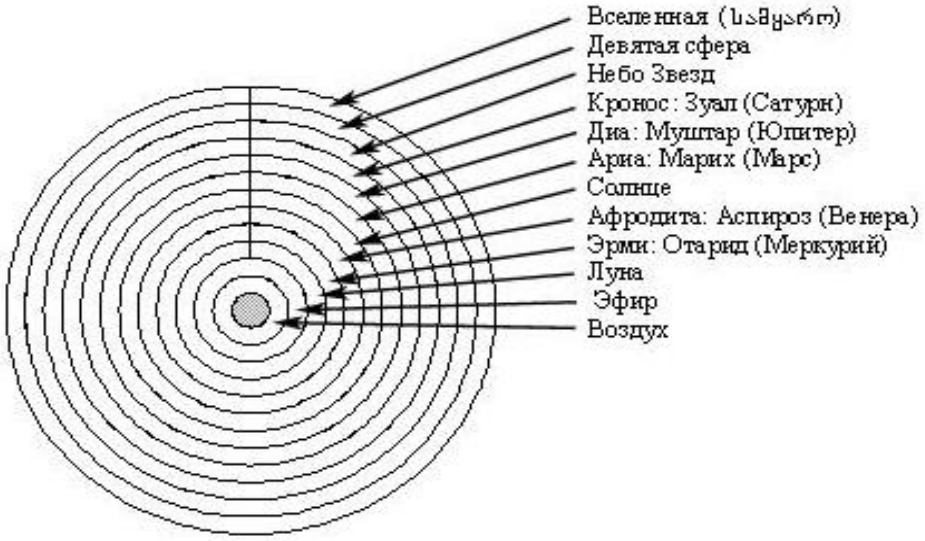
«В *небе сущий* бог разгневан был резней» – П.Петренко;
«Истребленьем, избиеньем в *небесах* разгневан бог» – Ш.Нуцубидзе;
«Многих насмерть уложили, землю кровью запятнали» – Н.Заболоцкий;
«Как траву, зверье косили – не в усладу то *богам*» – Г.Девдариани.

Речь в строке идет о *Всевышнем* – Создателе всего сущего. Именно поэтому К. Бальмонт постарался передать чувства исполненного вселенской любви («*исполненный любовью*») Создателя, Творца ко всем своим созданьям – тварям Божиим, в то время как перевод Г. Девдариани (*боги*), апеллируя к многобожию, т.е. языческому пантеону – представляется серьезной ошибкой.

Обращает внимание также и то, что К.Бальмонт и П.Петренко при переводе употребили единственное число – «небо», а Ш.Нуцубидзе – множественное, «небеса». На первый взгляд, незначительное расхождение, тем не менее, оно имеет огромное значение, поскольку отражает религиозно-философские воззрения того времени.

Рассказывают, что во второй половине XIXв. во время работы Комиссии по установлению академического текста поэмы содержание этого таэпа привело к серьезной полемике, которая разгорелась именно по поводу того, единственное или множественное число (небо – небеса) следует считать правильным написанием. В различных рукописях поэмы зафиксированы обе формы, и мнения специалистов разошлись. Присутствующие были немало удивлены, когда во имя торжества истины с места поднялся известный грузинский поэт и общественный деятель Ак. Церетели и начал читать наизусть «Отче наш». Однако, после слов «Иже еси на небесѣхъ!», где явственно звучит множественное число, всё сразу разъяснилось и полемика прекратилась.

В приведенной в Словаре С.-С. Орбелиани (XVII в.) схеме наглядно показано, как представляли себе строение небесной сферы наши предки:



Свой чертеж С.-С. Орбелиани поясняет следующим образом: «Небеса суть наружняя оболочка, объемлющая все живорожденное и созданное; их же объемлет Царствие Небесное, которое есть место пребывания Ангелов и Святых, и только лишь Всевышний объемлет все, Сам же – необъемлем». Как видим, Земля представляется круглой, окруженной небом-сферой Воздуха, которая, в свою очередь, окружена небом-сферой Эфира. За ней следуют небеса Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса и т.д. – всего семь небес. Небо Звезд и Девятая сфера (Девятое небо) представляются движущимися с востока на запад, при этом последнее из них осмысляется «вращающим все низлежащие небеса с востока на запад и похожим на хрустальную сферу». Далее, за Девятой сферой, в геоцентрической космографии С.-С. Орбелиани расположено «самкхаро». В наше время это слово переводится как «вселенная», однако С.-С. Орбелиани объясняет его как «небо, неподвижное, устойчивое, наружнее по отношению ко всем остальным небесам», выше которого расположено лишь безграничное Царствие Небесное. В

связи с этим чрезвычайно удачным представляется перевод Н.Заболоцкого, который в 1 стрф. Пролога перевел не как «мир, вселенная», но как «*чертог* вселенной».

В целом, руставелевская строка подчеркивает *безграничность* Всевышнего, которому подвластно все сущее и *все* небеса. Если учесть и древние астрологические представления о том, что семь небес (небесных тел) управляли судьбой человека (а в соответствии с древнейшими астрологическими представлениями, следы которых четко прослеживаются в текстах Ветхого Завета, властвующие над зодиакальными созвездиями планеты располагались именно в этом порядке: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн), то строка обретает дополнительную глубину, подчеркивая также и роль небес как проводника Божьей Воли, что в целом чрезвычайно характерно для поэмы Руставели.

Исследуя тексты Ветхого Завета, рабби Джоэл Добин пришел к выводу, что частота употребления понятия «небеса» (в их мистическом смысле) растет «по мере того, как Библейский материал становится более сложным, или более поздним по времени», т.е. по мере того как усложняется религиозно-философская система. «Каждое из Библейских утверждений (имеются в виду тексты Ветхого Завета – И.М.), связанных с небесными явлениями, – по его мнению, – предполагает, что Небеса и небесные тела играют сознательную, активную, самостоятельную роль, свидетельствуя о славе и Деяниях Божьих и сообщая людям Божью Волю». По этому поводу он заключает: «Таким образом, на Небесах четко соблюдена логика, и власть планет над Зодиаком поддерживает баланс мироздания» (*Джоэл Добин.* Каббалистическая Астрология. Священная традиция еврейских мудрецов. М, 2000).

Стр. ***573,3:*** «Они приволокли *ларь (сундук*)» – С.Иорданишвили. В поэтических переводах читаем: «...*носилки*», а в стр.1119,1 – «...*ларь*» - К. Бальмонт; «*паланкин*» – Г. Цагарели; «*носилки*» – П. Петренко; «*ковчег*» – Н. Заболоцкий; «...*ларь*» – Г. Девдариани; Ш. Нуцубидзе в стр. 573,3 пропускает перевод слова, но в стр.1119,1 оно дается без перевода – «...вскрыли крышу *кидобана*».

Разночтения объясняются тем, что слово «кидобани» имеет значения: «ларь, ящик для хлеба, кивот Завета, ковчег» и др. В то же время, по свидетельству В. Даля, «ковчег – кованый сосуд, окованный сундук, для храненья, сбереженья чего». Как видим, важную с точки зрения общей символики поэмы библейскую ассоциацию с ковчегом/кивотом сохранили только Ш.Нуцубидзе и Н.Заболоцкий.

Стр. **801,1** (дсл.): «Господи, Господи, молю, (тебя) который владеешь (всем) от дола (земли) до выси (небес)», т.е. и внизу и вверху). Ср.: «Господи, господи, я молю тебя, властвующего от *тверди до горних высот*!» (С.Иорданишвили); «О Боже! Боже! молю тебя, как обладателя *неба и земли*» – Д.Чубинашвили.

Строка сопрягается с руставелевским пониманием мироздания как состоящего из мира земного (бренного) и вечного – Царствия Небесного. В поэтических же переводах имеем: «бог *земель и неба*» – К.Бальмонт; «*недр и высей* повелитель» – Г.Цагарели; «владыка *неба, суши и морей*» – П.Петренко; «*выси, долу* ты владыка и покров» – Ш.Нуцубидзе; «царь *земли и неба*» – Н.Заболоцкий; «владыка *тверди всей, высот над нами*» – Г.Девдариани.

Стр. **807,3** (дсл.): «Если ты мне кажешься не безумным, то я – еврей Левий». «Если ты мне кажешься не безумным, то я – *еврей (вероотступник) Левит*» - С.Иорданишвили. Сравним интерпретацию строки в поэтических переводах:

«*Еврей Левий*, видно, я свирепый...» – К.Бальмонт;

«Ты же знал, что возмущенный я суровее, чем *Левий*?!» – Г.Цагарели;

«Будь я *Левием-евреем,* если ты богат умом!» – П.Петренко;

«Коль тебя сочту я умным, буду родом я *левит*» – Ш.Нуцубидзе;

«Пусть я буду *иудеем*, коль не спятил ты доселе» – Н.Заболоцкий;

«Если впрямь ты не безумный, значит, я *Левит* с тех пор» – Г.Девдариани

Как видим, К.Бальмонт, Г.Цагарели и П.Петренко передали «Леви» как *Левий*, т.е. как имя одного из сыновей библейского Иакова, страшно отомстивших Сихему и его народу за бесчестье сестры своей Дины (См. Быт.:49,7), имя которого стало символом неудержимого в «свирепой ярости» и страшного, «жестокого» в гневе человека.

Н.Заболоцкий, опустив имя библейского персонажа, акцентировал чуждое герою вероисповедание – *иудей*, а Ш.Нуцубидзе и Г.Девдариани, опустив слово «еврей», интерпретировали имя

как *Левит,* т.е. как указание на потомственного иудея (потомка все того же библейского Левия). Ближе всего к подлиннику (по смыслу) оказались переводы К.Бальмонта и Г.Цагарели.

«Культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения – народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства» (Д.Лихачев). Именно поэтому без учета религиозно-богословских основ идейной канвы поэмы Руставели утрачивается ряд важных для ее понимания смыслов, придающих целостность художественно-психологической мотивации поведения героев и сюжетным поворотам. Это приводит к значительному упрощению содержания поэмы в целом. Однако, современный читатель, к сожалению, не обладает необходимыми для подобного прочтения познаниями. Именно поэтому Комментарии к новому изданию поэмы были, в основном ориентированы на то, чтобы вернуть читателю утраченные за века смыслы (с этой целью комментатором поэмы было откомментировано более ста тридцати строф поэмы).

Наличие серьезных разночтений в имеющихся поэтических переводах поэмы привело к необходимости уточнений, поэтому были написаны также и *Примечания к подстрочному переводу* С.Иорданишвили строф: 1; 3,2; 5,1; 10,4; 32,3; 36,4; 76,2; 81,1; 88,2; 145,4; 160,3; 272,1; 286,2; 324,4; 523,1; 545, 1-2; 551,1; 800 – 802; 807,3; 815,4; 840,1-2; 898,2; 978,4; 1015,4; 1021,3; 1038,1; 1038,4; 1052,2; 1097,1; 1380,1; 1564,4 и 1568,3-4 (Нестан Сулава, Ирина Модебадзе) и *Примечания переводчика* (И.Модебадзе).

В связи с этим совершенно справедливым представляется мнение Г.Девдариани, одного из переводчиков бесмертной поэмы, который отмечает: «Большую пользу оказал и может оказать в дальнейшем Подстрочник поэмы Руставели, профессионально подготовленный известным руствелологом и переводчиком Соломоном Иорданишвили (1898-1953). [...] Представляется полезным и составление новых Подстрочников, как на русском, так и на других языках. Знакомстао с недостатками раннее сделанных переводов и наличие хорошего Подстрочника – неплохая база для будущих переводчиков, но этого, конечно, недостаточно для осуществления нового полноценного перевода поэмы. Творение Руставели в будущем будет переводиться неоднократно, и нам остается пожелать, чтобы эти переводы были более близки к орогиналу и по содержанию, и по поэтичности». Неугасающий интерес переводчиков в поэме Руставели лишь подтверждает правоту акад.С.Цаишвили, словами которого мне бы хотелось закончить разговор на эту тему: «Витязь в тигровой шкуре» еще ждет своих высокоталантливых переводчиков, под пером которых в полный голос заговорит на многих языках вечная поэтическая мудрость Руставели», а публикация подлинника и перевода-подстрочника в сопровождении обширного научного аппарата в виде комментариев и примечаний представляется перспективным путем реконструкции первоначального смыслового единства поэмы и специфики художественного мира Руставели.

Все цитаты из поэмы Руставели приводятся по следующим изданиям:

1. **Шота Руставели.** «Витязь в тигровой шкуре». «Сабчота Сакартвело». Тбилиси, 1966 (на груз. яз.)
2. **Шота Руставели.** «Витязь в тигровой шкуре». Подстрочный перевод с грузинского С.Иорданишвили. Тбилиси, Изд-во «Литература да хеловнеба», 1966.
3. **Шота Руставели.** «Витязь в тигровой шкуре». Грузинская поэма. Перевод с грузинского *К.Д.Бальмонта.* ACADEMIA, М., 1936.
4. **Шота Руставели.** «Витязь в тигровой шкуре». Перевод с грузинского *Георгия Цагарели* под редакцией Вл. Эльснера. «Художественная литература», М., 1937.
5. **Шота Руставели.** «Витязь в тигровой шкуре». Грузинская поэма. Перевод с грузинского *Пантелеймона Петренко* при участии и под редакцией Константина чичинадзе. «Мерани», Тбилиси, 1985.
6. **Шота Руставели.** «Витязь в тигровой шкуре». Перевод с грузинского *Шалвы Нуцубидзе*. «Мерани», Тбилиси, 1979.
7. **Шота Руставели.** «Витязь в тигровой шкуре». Перевод с грузинского *Н.Заболоцкого*. «Художественная литература», М., 1966.
8. **Руствели.** Вепхис ткаосани. Перевод с грузинского *Георгия Девдариани.* «Полиграфист», Тбилиси, 2004.

Улданай БАХТИКИРЕЕВА

9 территория мира, открытая gafu

Когда в степи моей
Умолкнут кузнечики,
Я умру...
(Бахыт Каирбеков)

Просмотрели три диска «9 территория мира мира. Южно-Казахстанская область. Восточно-Казахстанская область. Мангистауская область», которые мы смогли, наконец, заполучить в Москве. Смотрели всей семьей. Смотрела с друзьями – бывшими казахстанцами. Смотрела со своими студентами – не казахстанцами. Смотрели студенты – казахстанцы. Смотрела еще раз с сыном. Смотрела одна.

Пыталась описать впечатления. Рано. Надо чтобы отстоялось. Однако очевидным стал факт: не только самим казахстанцам важно приобщиться к истории и вечности своей Земли. Казахам, живущим за пределами своей исторической Родины, едва ли не столь же важно восхождение к своим истокам. Не ошибусь, если скажу, что любые этнические группы за пределами исторической родины осознают свое единство и своеобразие и связывают с этим осознанием положительные эмоции, если дела ума пассионариев внушают своим «заграничным» соплеменникам чувство справедливой гордости и здорового патриотизма, дают возможность жить осознанно и достойно. Бесспорно и другое: своеобразие это может восприниматься этническими группами по-разному, в зависимости от характера получаемой информации о своем историческом прошлом – с безразличием или акцентировано, с гордостью или пренебрежением. От того, каков потенциал твоих соплеменников там, внутри родины твоих предков – зависит во многом твоя жизнь, твое отношение к действительности. Невольно вспоминаются слова Чокана Валиханова о его отношении к своей родине и России. Он говорил, что она похожа на ирбитские сундучки: если бы казахам угрожала опасность от сибиряков, он желал бы победы казахам, если сибирякам от центральной российской власти, то он желал бы победы сибирякам, если России бы угрожала опасность от другого врага, он желал бы победы России...

Не исчезает желание понять истоки творческого потенциала автора этого архисвоевременного проекта «9 территория мира». Информация в Интернете обща.

Встречалась с Бахытом Каирбековым – двуязычным поэтом и писателем, режиссером, загадочным в своей задумчивости человеком не раз, но общалась не много. С ним можно молчать. Он сдержан и немногословен: то ли «задумавшийся скиф», то ли «половецкий хан», расширяющий территориальный императив отнюдь не географически, а уровнем выше: захватывая все более обширные области человеческого ума, духа, сердца.

Ищу истоки его креативного творчества. Обращаюсь к его книгам. Вряд ли мне удастся сказать что-либо новое о поэзии и прозе творческой личности Бахыта Каирбекова. Подступаюсь не в первый раз. Но чувствую сейчас, как представляется мне – точно: откуда исходит мощная энергия его творчества...

«Части целого» (Избранное в 2-х томах. – Алматы, 1998) он начинает со слова «**Отец**», затем следует несколько емких и сдержанных предложений – зарисовок и:

«***Я шел к нему через его книги...»*** *(с. 5)***.**

Ниже:

«***Я был с ним на “вы”»*** *(с. 6)***.**

Затем:

«Мы шли друг к другу необычным, нелегким путем. Не скажу, что лучшим, но, может быть, самым глубоким – через творчество. Потому как творчество есть духовное познание мира» *(с. 11).*

«Мы шли друг к другу не окольным путем – через стихи» (с.11).

«Долгое время для многих я оставался по-прежнему ”сыном Гафу”». Люди воспринимали меня через призму отца, любовь к нему автоматически переносилась на меня. Многие увидят в этом лишь счастливое детство избалованного ребенка. Я же из всех сил рвался из этой золотой клетки.

Сегодня в титрах своих фильмов я пишусь – Бахыт Гафу. И я горжусь этим. Это было задолго до нынешних переименований на тюркский лад. И это совсем другое.

Отец ушел из жизни, успев увидеть свое имя в новом качестве. И я знаю, что он был счастлив в ту минуту» *(с.12)***.**

...«Мне всегда было трудно отвечать на его жизнерадостный вопрос поутру:

- А что ты сделал сегодня?

Имелось в виду, конечно же, творчество – как дань своему времени» (с. 13).

...«А я? Что я отвечу ему сегодня утром?..» (с.14).

...У Бахыта Каирбекова есть, что ответить Отцу. У него есть, что сказать уходящему в историю поколению – поколению наших родителей и современникам, и будущим поколениям. *Ему удается осуществить связь между эпохами и поколениями – в этом главная функция художника в историческом процессе. И «9 территория мира» стала ярким тому доказательством.*

В периоды структурирования нового геополитического пространства появлялись в истории мировой культуры личности, как будто призванные ходом истории, связывать эпохи и порождать новые смыслы. Рушились империи, на их границах возникали новые образования, росло национальное самосознание, и вместе с ним поднимались из забытия или небытия-инобытия национальные культуры.

Адекватная вызовам 21 века и третьего тысячелетия реакция Бахыта Каирбекова с позиции сегодняшнего дня осмысливающего историю и дух своей Земли есть позиция и поступок, свидетельствующий о его глубоком понимании того, что без скрупулезного изучения и познания своей родины, без позитивного наполнения национальной культуры невозможна адаптация страны к современным культурно-созидающим процессам.

В своей поэзии и прозе, и фильмах Бахыт переключает наше сознание с узко-национальной установки «Вот какие мы!», ориентируя на осмысление категории «Кто мы?». Стремясь объективно отобразить картину мира – «9-ой территории мира», он способствует исчезновению комплекса национальной неполноценности и одновременно комплекса национальной исключительности. Позитивно пополняя культурное наследие Казахстана, Бахыт Каирбеков вносит свой вклад в духовное развитие, как соплеменников, живущих за пределами так и соотечественников – народов Казахстана, для которых 9-ая территория мира стала Родиной.

За последние 20 лет в России этнические казахи (также, как и представители других этнических групп и сообществ) изменились качественно. Мы пытаемся поддерживать воскресные школы казахского языка и культуры, создаем новые, совместные проекты с казахстанцами, пытаемся делать полезное здесь. Одним из красноречивых свидетельств тому является газета «Казак тили» (Гл. редактор – Орынбасар Куандыков). Объединяемся в региональные ассоциации. Не будем лукавить – достаточно разобщены. Не все получается, но доля манкурта за пределами исторической Родины нас не прельщает. Нас объединяют творения ума наших соплеменников – казахстанцев. Вот потому школам и землячествам – подрастающему поколению этнических казахов в рамках стран постсоветской макросистемы и в дальнем зарубежье следует иметь такие фильмы как своего рода документы, доказывающие наше происхождение и позволяющие жить более осознанно и более достойно, как реальную ценность, способную вывести нас на новый виток духовного развития.

«9 территория мира» – это культурологический, а не только страноведческий материал о Казахстане. И опять – не только: историку и этнографу, востоковеду и казаховеду, лингвисту и литературоведу, философу и палеографу, знатоку культуры, и просто гражданину есть, что сказать после просмотра и осмысления фильмов Бахыта Каирбекова, прекрасное дарование и профессиональную компетентность которого можно оценить по степени воздействия на наши чувства – чувства зрителей.

Не успел я на степь наглядеться,
Кто мне сможет сегодня помочь?
Жеребенок веселого детства
Ускакал в непроглядную ночь.

Чем я дрему ночную нарушу?
Где томишься ты, мой аргамак?
Мне не спать:
Степь врывается в душу, *–*
Я почуял ее аромат!

(Бахыт Каирбеков).

Джамбулат КОШУБАЕВ

Кошубаев Джамбулат Пшимафович, родился в 1962 году в Майкопе. Окончил филологический факультет КБГУ, работал корреспондентом газет «Советская молодежь», «Газета Юга». С 2000 года работает в книжном издательстве «Эльбрус». Автор книг «Логос без имени», «Абраг», «Палимпсест».

М.Ю. Лермонтов: опыт прочтения. Эссе.

I. Плащ и шпага

1

Глубокая, долгая связь с книгой, с текстом, а следовательно, и с автором, возникает на пересечении возраста, чувства и определенного опыта. Возможно, Лермонтов остался бы для меня скучным «школьным» поэтом, автором «Бородино», которое обязательно надо выучить «к завтра», если бы счастливо не совпали влюбленность и томик его стихотворений.

В четырнадцать лет стихи и проза Лермонтова – как плащ и шпага для влюбленного мушкетера. Что-то смутное, трагическое волнует сердце, но назвать его ты еще не можешь, растущее самосознание представляется неким уже приобретенным опытом, хотя на деле опыта как такового нет, мнимое одиночество и мнимый груз прошлого давят на плечи.

Пора уснуть последним сном,
Довольно в мире пожил я;
Обманут жизнью был во всем,
И ненавидя, и любя.

Это короткое стихотворение 1831-го года – формула, выражающая вполне определенно неопределенные чувства. Из таких готовых формул о том, что чувствовалось как невыразимое, смутное, по существу, состоит почти вся ранняя лирика Лермонтова, их можно найти и в лирике зрелого периода. Впрочем, говорить о «зрелом» периоде можно весьма условно, лишь в рамках жизни поэта. Его поэзия в целом – поэзия юности.

Не удивительно, что Лермонтов в то время заслонил для меня всю великую русскую и мировую литературу.

– Ты не понимаешь, – доказывал я своей тете, – у него есть все! Он сказал обо всем!

Тетя меня выслушала внимательно, а затем предложила почитать Гоголя вслух. Вслед за Гоголем начали стремительно открываться другие тексты и другие авторы. Это был необозримый континент под названием Литература. Но Лермонтов долгое время оставался недосягаемым образцом, заповеданным островом, с которого началось мое путешествие по морю текстов и к которому я всегда возвращался.

2

Движение литературы во времени – процесс удивительный. Художественные произведения, первоначально созданные для взрослых, постепенно «омолаживаются» («Собор Парижской Богоматери», «Айвенго», «Три мушкетера», «Двадцать тысяч лье под водой», «Путешествие Гулливера», «Последний из могикан» и т.д.) и в конце концов переходят в разряд юношеской, а затем и детской литературы.

«Демона» и «Героя нашего времени» не рекомендовалось читать барышням по причине слишком вольного содержания, способного возбудить порочные мысли и желания.

Этот процесс отражает движение нравственного и духовного опыта. Хотя, конечно же, остается вопрос: насколько полно и глубоко можно понять муки Печорина в четырнадцать лет?

3

По окончании восьмого класса я со своей тетей поехал в Пятигорск. Как сейчас помню торжественность своих чувств. Если тетушка пребывала в прекрасно-бодром настроении, соответствующем прекрасной погоде и не менее прекрасному пятигорскому мороженому, то я выезжал из Нальчика с трагическим выражением лица. Я переживал и волновался так, словно нам предстояло не просто посетить дом-музей Лермонтова, а встретиться с самим поэтом.

Еще до поездки я многократно перелистывал и перечитывал путеводитель «Домик Лермонтова». Вероятно, это сослужило мне плохую службу. Когда мы вошли в музей, все, что предстало перед моим взором, показалось слишком знакомым и слишком маленьким. Возникло ощущение вторичности.

Волнение, трепет, восхищение, мистический экстаз – ровным счетом ничего.

Я был разочарован.

4

Армия. Где-то на севере от Москвы.

Часть, в которой мне довелось служить, считалась образцовой и располагала большой библиотекой. Однако чтение не приветствовалось, да и сами солдаты и офицеры особо не стремились в эту сокровищницу знаний. Насколько они были далеки от книг, рисует один эпизод.

Будучи в городе, я заскочил в книжный магазин. Выходя, слышу отчаянный вопль сослуживца:

– Что ты наделал?! Что ты наделал?!

Оглядываюсь на дверь – никого не прищемил.

– Ты книгу купил! Да лучше бы ты гарбуза купил!

Когда сегодня говорят о читающей и не читающей аудитории, я вспоминаю армию. Тогда тоже не читали. И не потому, что этому препятствовали командиры. Просто-напросто большая часть ребят не имела такой привычки и потребности.

Наш армейский почтальон, добрейший, замечательный парень с походкой фехтовальщика, увлекался радиотехникой. Он читал схемы, как поэмы, а всякого рода транзисторы и резисторы были для него дороже увольнительной и свидания с девушкой. Художественную литературу он не понимал и не любил.

– И Лермонтова? – спросил я осторожно, ожидая, что уж тут-то...

– А что он написал?

Его вопрос застал меня врасплох. Я не сразу поверил, что мой товарищ по оружию говорит правду.

– Ты в самом деле не знаешь?

– А что тут такого?

Я почел своим долгом просветить и приобщить своего друга к творчеству великого русского поэта: в свободное время я приходил в почтовое отделение полка – маленькую комнатушку, и пока наш почтальон занимался сортировкой корреспонденции или еще какими-нибудь делами, читал ему вслух «Дневник Печорина».

– Нет, – сказал он, когда я перелистнул последнюю страницу. – Все равно не понимаю. И потом – все это выдумки.

– В смысле?

– Ну, Лермонтов же все это придумал.

– Да, но это же художественная правда! Неужели ты ничего не почувствовал ни к Мери, ни к Печорину?

– Нет. Сказки все это. Вранье.

Затем он достал из ящика стола схему радиоприемника и разложил ее на столе. Глаза его загорелись.

– Смотри! Вот это – здорово! По этой схеме я смогу собрать такую машину, такой приемник! Целую радиостанцию! Может быть, твой Лермонтов и великий поэт, но тот, кто придумал это, – он похлопал ладонью по схеме, – был гений!

Сегодня я понимаю, что в словах почтальона была своя правда. Но я все-таки льщу себя мыслью, что дело оказалось не в Лермонтове. Просто из меня вышел плохой пропагандист, да и книга, впрочем, не книга, – автор нужен был другой.

5

На первом курсе университета мне показалось, что я совершил небольшое открытие в лермонтоведении. Результатом явилась работа страниц в пятнадцать, которую я с тайным волнением вручил одному именитому преподавателю. Но, видимо, мы разошлись во времени: я был полон энтузиазма и горения, а его в тот момент не интересовали ни чужое горение, ни собственные мысли на сей счет. Спустя год эту работу обнаружил молодой аспирант в куче старых курсовых, и она пришлась ему по душе, но уже я сам в то время был устремлен в совершенно ином направлении.

В чем же состояла суть моего тогдашнего открытия?

Читая поэзию Микеланджело в переводах Эфроса, я был потрясен почти буквальным совпадением чувствований двух поэтов – Лермонтова и Микеланджело.

Я отлучен, изгнанник, от огня;
Я никну там, где все произрастает;
Мне пищей то, что жжет и отравляет;
И что других мертвит, – живит меня.

Микеланджело.

Враждебной силою гоним,
Я тем живу, что смерть другим:
Живу – как неба властелин,
В прекрасном мире, но один.

Лермонтов.

***

Кто ночью на коне, тот вправе днем
На миг прилечь и подремать немного, –
Вот так-то жду и я, что отдохнем,
О, жизнь моя, мы милостию бога.

Микеланджело.

Тому ль пускаться в бесконечность,
Кого измучил краткий путь?
Меня раздавит эта вечность
И страшно мне не отдохнуть.

Лермонтов.

***

Я тем живей, чем длительней в огне,
Как ветер и дрова огонь питают,
Так лучше мне, чем злей меня терзают,
И тем милей, чем гибельнее мне.

Микеланджело.

Его ничто не испугает,
И то, что было б яд другим,
Его живит, его питает
Огнем язвительным своим.

Лермонтов.

Конечно, совпадения удивительные. Двадцать с лишним лет назад я объяснял их примерно так: «Ощущение одиночества, постижение одиночества, как у Микеланджело, так и у Лермонтова, приобретает космический, вселенский характер. Возникает грандиозная фигура Художника-Творца, созидающего и страдающего от невозможности разделить с кем-либо совершенство созидаемых образов. Этот мощный порыв запечатлен во фресках потолка Сикстинской капеллы, где каждая фигура существует сама по себе».

Слишком пафосно. Сейчас я понимаю эту обнаруженную связь иначе. (Она существует со многими и между многими, можно, к примеру, сравнить Сикстинский потолок и врубелевского Демона.) И Лермонтов, и Микеланджело обладали способностью надмирного видения и чувствования. Их одинаково мучило несоответствие образа внутреннего явленному образу. И хотя поэзия одного питалась из Дантова источника, а другого – наследовала Байрону, они извлекли одни и те же звуки одиночества, страдания и непомерной, в человеческом измерении, любви.

В тираны, в боги, вымысел дало
Искусство мне, – и я внимал, не споря;
А ныне познаю, что он, позоря
Мои дела, лишь сеет в людях зло.

Микеланджело.

(...) все образы мои
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! все было ад иль небо в них.

Лермонтов.

Велико искушение выстроить диалог из произведений этих двух великих поэтов. Это тем более интересно, что Лермонтову было двадцать восемь неполных лет, а Микеланджело лишь начал писать в этом возрасте и дожил до восьмидесяти девяти.

На что нам свет спасенья твоего,
Раз смерть быстрей и навсегда являет
Нас в срамоте, в которой застает?

Микеланджело.

Он не позволил бы искать
В себе и в мире совершенства,
Когда бы полного блаженства
Не должно было вечно знать.

Лермонтов.

Хочется верить Лермонтову.

Но и в ту пору, когда писал свою небольшую работу, и сегодня я не могу пройти мимо ведического «Гимна о сотворении мира», который был создан во II–I тысячелетии до нашей эры:

Было не было и Не-было тоже
не было неба ни пространства ниже
и что же сновалось и кем хранимо
и где бучалы и какие воды.

Не было смерти и бессмертья тоже –
Не было различий ни дня ни ночи
не дыша дышало своим законом
нечто единое ничто иное.

Тьма сокрыта тьмою была вначале
неразличимая была пучина
нечто в ничто сокровенное было
это единое теплом зачато.

Вначале этого желанье было
из первейших первое семя мысли
откуда бывшее в не-бывшем стало
ясно мудрым вопрошающим в сердце.

Светлый повод поперек натянувши
низ ли мудрые разлучили с верхом
оплодотворенье и растяженье
внизу стремление наслажденье сверху.

Кто знает истину, кто возглашает
откуда родилось откуда это
творенье откуда богов творивших
творенье это и кто это знает.

И как сотворилось творенье это
само может не само творилось
на вышнем небе мира всехранитель
он только знает может быть не знает.

Удивительно описание возникновения мира! Кажется, что и Микеланджело и Лермонтов были сопричастны к этой тайне. Хотя к ней сопричастен каждый истинный художник, впрочем, как и каждый истинный Человек.

II. Невольник чести

1

Уже после университета я вновь обратился к Лермонтову. Его творчество обладает притягательной, магической силой. И сколько бы ни выходило книг, исследований, остается какая-то недоговоренность, словно что-то очень важное, главное ускользает постоянно.

Тогда, в 1993 году, мне представлялось, что тайна приоткрылась, я нашел ключ к разгадке его творчества. Работа, которую я писал, носила довольно претенциозное название: «Лирический апокалипсис». Но всякий системный подход, системное построение страдает тем, что из поля зрения выпадают внесистемные элементы, а в данном случае, и это очень важно, выпадало существо поэзии.

И все-таки система выстраивается, но не как статичная, а как динамичная. Лермонтов привержен своим юношеским и детским художественным образам, он развивает их на протяжении всей своей жизни, доводя до логического конца, до того совершенства, до той черты, за которой образ уже не может развиваться дальше.

Таков образ Узника. Перед нами несколько стихотворений:

Узник

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскачу,
В степь, как ветер, улечу.

Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком;
Черноокая далеко,
В пышном тереме своем;
Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, на воле
Скачет, весел и игрив,
Хвост по ветру распустив.

Одинок я – нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

1837

Сосед

Кто б ни был ты, печальный мой сосед,
Люблю тебя, как друга юных лет,
Тебя, товарищ мой случайный,
Хотя судьбы коварною игрой
Навеки мы разлучены с тобой
Стеной теперь – а после тайной.

Когда зари румяный полусвет
В окно тюрьмы прощальный свой привет
Мне, умирая, посылает,
И, опершись на звучное ружье,
Наш часовой, про старое житье
Мечтая, стоя засыпает, –

Тогда, чело склонив к сырой стене,
Я слушаю – и в мрачной тишине
Твои напевы раздаются.
О чем они – не знаю; но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются...

И лучших лет надежды и любовь –
В груди моей все оживают вновь,
И мысли далеко несутся,
И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит – и слезы из очей,
Как звуки, друг за другом льются.

1837

Пленный рыцарь

Молча сижу под окошком темницы;
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют все вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно, и стыдно.

Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной:
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцырь железный.

В каменный панцырь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.

Быстрое время – мой конь неизменный,
Шлема забрало – решетка бойницы,
Каменный панцырь – высокие стены,
Щит мой – чугунные двери темницы.

Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.

1840

Соседка

Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко над землей,
И у двери стоит часовой!

Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки!..
Мы проснулись сегодня с зарей,
Я кивнул ей слегка головой.

Разлучив, нас сдружила неволя.
Познакомила общая доля,
Породнило желанье одно
Да с двойною решеткой окно;

У окна лишь поутру я сяду,
Волю дам ненасытному взгляду...
Вот напротив окошечко: стук!
Занавеска подымется вдруг.

На меня посмотрела плутовка!
Опустилась на ручку головка,
А с плеча, будто сдул ветерок,
Полосатый скатился платок,

Но бледна ее грудь молодая,
И сидит она тихо вздыхая,
Видно, буйную думу тая,
Все тоскует по воле, как я.

Не грусти, дорогая соседка...
Захоти лишь – отворится клетка,
И, как божии птички, вдвоем
Мы в широкое поле порхнем.

У отца ты ключи мне украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь,
А уж с тем, что поставлен к дверям,
Постараюсь я справиться сам.

Избери только ночь потемнее,
Да отцу дай вина похмельнее,
Да повесь, чтобы ведать я мог,
На окно полосатый платок.

1840

Взятые вместе, эти четыре стихотворения образуют определенное драматургическое пространство, это отдельная история. Назовем ее «ИСТОРИЯ УЗНИКА».

В «Пленном рыцаре» Узник превращается в собственную метафору. Тюрьма со всеми ее атрибутами – решетки, замки, стены – прирастает к телу:

Шлема забрало – решетки бойницы,
Каменный панцырь – высокие стены,
Щит мой – чугунные двери темницы.

Выход на свободу мыслится как освобождение духа из плена тела.

Если в «Узнике»:

Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, на воле
Скачет весел и игрив, –

то в «Пленном рыцаре»:

Конь мой бежит, и никто им не правит.

Быстрое время – мой конь неизменный.

Лермонтов совмещает статику тюремного заключения с динамизмом свободы. Время протекает одинаково свободно и в тюрьме, и на воле. Оно приобретает еще одно качество: летучее время – испаряющееся, эфирное, невидимое и неуловимое, но имеющее при этом некие физические характеристики.

Часовой, который присутствует в «Узнике», «Соседе» и «Соседке», в «Пленном рыцаре» уже отсутствует. Как же происходит его исчезновение?

Звучно мерными шагами	*И опершись на звучное ружье,*	*А уж с тем, что поставлен к*
Ходит в тишине ночной	*Наш часовой, про старое житье*	*дверям,*
Безответный часовой.	*Мечтая, стоя засыпает.*	*Постараюсь я справиться сам.*
Узник.	Сосед.	Соседка.

Часовой оказывается так же несвободен, как и Узник. Его свобода, являясь несвободой заключенного, превращается в неволю.

Прекрасная соседка также томится в плену:

Разлучив, нас сдружила неволя...
.....
Да с двойною решеткой окно.
Соседка.

А разъединяющая Узника с Соседом стена объединяет их навек:

Навеки мы разлучены с тобой
Стеной теперь – а после тайной.
Сосед

Узник томится в заключении, но не в холодном, сыром подземелии, а в высокой башне:

И окно высоко над землей!	*Но окно тюрьмы высоко.*	*Каменный панцырь – высокие стены.*
Соседка	Узник	Пленный рыцарь

В подземелье узник сброшен, скинут, в башню – заключен, и в определенном смысле – вознесен. В башне отгораживаются от мира, сам ее образ устремлен к небу. Это наводит на мысль о добровольном, сознательном отчуждении от мира. Отвергнутый миром, Узник сам отвергает его. И постепенно исчезают признаки внешнего мира – звук, свет, видимое пространство.

В «Соседке» звук явствен:

Я слушаю – и в мрачной тишине	*Как слезы, тихо льются, льются...*
Твои напевы раздаются.	. . . . .
О чем они – не знаю; но тоской	*И кровь кипит – и слезы из очей,*
Исполнены, и звуки чередой,	*Как звуки, друг за другом льются.*

В «Пленном рыцаре» звук умирает:

Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной.

Свет постепенно исчезает, переходя в цвет:

Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем.
Узник

Когда зари румяный полусвет
В окно тюрьмы прощальный свой привет
Мне умирая посылает.
Сосед

Мы проснулись сегодня с зарей.
Соседка

Синее небо отсюда мне видно.
Пленный рыцарь

Пространство в «Узнике» осязаемо и видимо: поле, терем, скачущий конь, узкое пространство темницы, часовой, меряющий шагами тишину. Тишина приобретает пространственную характеристику.

В «Соседе» присутствует скрытое пространство соседней камеры и пространство воспоминаний. В данном стихотворении пространство пересекает звук песни.

В «Соседке» – пространство окон играет главенствующую роль. Оно ограничено ими – окно Узника и окно Соседки.

В «Пленном рыцаре» пространство воплощается в образе Узника-тюрьмы. Оно обретает предметную тяжесть, плотность. Узкие бойницы, высокие, толстые стены, чугунные двери – это все атрибуты самого Узника. Мы имеем определения внутреннего пространства, которое оказывается взорванным, уничтоженным летучим временем. Пространство, предполагающее некие внешние или внутренние ориентиры, переходит в потустороннее ничто.

Стихотворения «Узник» и «Сосед» были созданы в 1837 году. (Правда, было еще раннее стихотворение 1832-го года «Желание». В переработанном виде оно вошло в «Узника».) «Соседка» и «Пленный рыцарь» – в 1840-м. Гипотетическое заключение Узника длилось три года. Смена присутствующих в стихотворениях настроений отражает поэтапное «привыкание» к тюрьме.

В «Узнике» заключенный бравирует при свете дня. Он мечтает о возможном освобождении, возлагает надежды на помощь извне. Но приходит ночь и он впадает в отчаянье. Кругом лишь голые стены да мерный звук шагов часового.

Со временем Узник начинает прислушиваться к тому, что происходит за соседней стеной и обнаруживает, что он здесь не один. Слабый звук человеческого голоса за стеной, смутные напевы – Узник ударяется в воспоминания. И слезы, предательские слезы, катятся по лицу.

За три года он обжился в своей темнице. У него даже появилась прекрасная соседка, а вместе с ней и надежда на побег. Но надеждам не суждено осуществиться.

Плен превращается в метафизическое состояние души и мира. Все и вся пребывает в плену и освободиться от него можно лишь через смерть.

В отличие от первых трех стихотворений, где названия носят формальный характер, четвертое – «Пленный рыцарь» – обладает определяющим, смыслообразующим заголовком. Если бы стихотворение было его лишено, мы имели бы простое уподобление отдельных доспехов тем или иным архитектурным элементам тюрьмы. Именно благодаря названию – «Пленный рыцарь» – плененным оказывается не только лирический герой, но пленены определенные рыцарские качества – честь, доблесть, отвага, преданность.

Совершенно неожиданен финал стихотворения. Вопреки традиции, рыцарь не вступает в схватку со смертью. Он превращает смерть в своего слугу, пажа:

Смерть, как приедем, подержит мне стремя...

Но у Пленного Рыцаря есть своя предыстория.

2

Западно-европейский институт рыцарства не был характерен для России в том виде, как он сложился и существовал в Европе. Рыцарские идеалы начали проникать в Россию в XVIII веке и трасформировались в дворянский кодекс чести. Эта трансформация произошла равным образом и в Европе, и в России. Взятая отдельно, сама по себе, идея рыцарства воплощала в себе наилучшие устремления человеческой духовности. (Конечно, совершенно другой вопрос – какие формы принимала идея рыцарства на практике.)

Лермонтовский Рыцарь имеет свою родословную. Предположительно, он ведет свой род из Шотландии.

Под занавесою тумана,
Под небом бурь, среди степей
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.

Гроб Оссиана

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
И смахнул бы я пыль с них крылом.

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел.

Желание

(Любопытно, что высказанное Лермонтовым предположение о его шотландских корнях, а он искал своих предков и в Испании, может обрести реальную почву. В 2007-м году в информационной программе «Время» прошло сообщение о том, что некий шотландский Лермонтов собирается провести генетическую экспертизу на предмет родства с русским поэтом.)

Лермонтовский Рыцарь, как то и положено истинному рыцарю, участник священных крестовых походов:

В старинны годы жили-были
Два рыцаря друзья;
Не раз они в Сион ходили,
Желанием горя,

С огромной ратью, с королями
Его освободить...
И крест священный знаменами
Своими осенить...

«В старинны годы жили-были...»

Появляется даже иконописный образ Рыцаря:

Иль, божьей рати лучший воин,
Он был с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

Ветка Палестины.

В первой же строке стихотворения «Смерть Поэта» обнаруживается присутствие этого героя «достойного небес»:

Погиб Поэт! – невольник чести.

Невольник чести. Таким же невольником чести окажется и сам Лермонтов. Рыцарь не может не принять вызов, каким бы нелепым он ни казался, от кого бы он ни исходил, какие бы причины ни лежали в его основе. Постфактум допускается выразить свое отношение, но прежде должен быть поступок. Рыцарь – это человек поступка, он – невольник чести.

Возможно, именно поэтому внимание Лермонтова не раз обращается к творчеству Шиллера:

«Рыцарь, пытать я сердце люблю.
Если сильна так любовь у вас,
Как вы твердите мне каждый час,
То подымите перчатку мою!»

И рыцарь с балкона в минуту бежит,
И дерзко в круг он вступает,
На перчатку меж диких зверей он глядит
И смелой рукой подымает.

Перчатка

Необходимо подтверждение того, что ты – человек поступка. Он подтверждает это, и лишь потом следует его человеческая реакция:

Но досады жестокой пылая в огне,
Перчатку в лицо он ей кинул:
«Благодарности вашей не надобно мне!» –
И гордую тотчас покинул.

Впрочем, по Шиллеру, не по Лермонтову, поступив таким образом, Рыцарь входит в противоречие с рыцарскими правилами и уставом.

Поэзия Лермонтова пропитана духом рыцарства. Возможно, что это одна из причин столь необъяснимо стойкой привязанности северо-кавказских народов к его творчеству, поскольку нравственно-этические кодексы горцев, в своей основе, близки к рыцарским.

3

Итак, Рыцарь уже задел «арфы шотландской струну», обозначив тем самым музыкальную тему.

В музыкальном отношении лирика Лермонтова насыщена до чрезвычайности. Он передает звук в совершенстве, отражая его духовную, нематериальную, идеальную сущность. Поэт не прибегает к сравнениям – они слабы, но он создает пространство звука путем описания соответствующей психической реакции на него:

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.
. . . . . .
Не кончив молитву,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

«Есть речи – значенье...»

Но при всем богатстве и выразительности лермонтовского слова, практически единственный звучащий инструмент в его лирике – арфа. Она появляется в различных своих вариациях – лира, цевница, гусли:

И ржавый предков меч с задумчивой цевницей.

Пришел – с гуслями за спиной –
Былую песню заиграл.

О, полно ударять рукой
По струнам арфы золотой.

Арфа вызывает образ самого арфиста. Кто он? Аполлон, Орфей, Поэт или же Аполлион – Ангел бездны?

Лишь лиры звук мне неизменен был!..

Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.

Хоть бегут по струнам моим звуки веселья,
Они не от сердца бегут.
Он арфу взял, запел, ударил в струны.

Лиры звук, дрожащий, звонкой.

Наша смерть струны порванной звон.

Бужу забытой лиры звон.

Звук тихой арфы златострунной.

Возможно, это состязание двух гениальных арфистов – Орфея и Аполлиона – Ангела бездны. Звуки лиры и первого, и второго одинаково чаруют. Но один обещает рай, а второй – ад.

Образ этого удивительного инструмента становится совершенно самостоятельным в стихотворении «Арфа»:

1

Когда зеленый дерн мой скроет прах,
Когда, простясь с недолгим бытием,
Я буду только звук в твоих устах,
Лишь тень в воображении твоем;
Когда друзья младые на пирах
Меня не станут поминать вином, –
Тогда возьми простую арфу ты,
Она была мой друг и друг мечты.

2

Повесь ее в дому против окна,
Чтоб ветер осени играл на ней
И чтоб ему ответила она
Хоть отголоском песен прошлых дней;
Но не проснется звонкая струна
Под белоснежною рукой твоей,
Затем, что тот, кто пел твою любовь,
Уж будет спать, чтоб не проснуться вновь.

Произошло слияние героя и инструмента. Он – звук, арфа – его Божий дар. Пророческие мотивы, звучащие в этом стихотворении (1830/1831 гг.), нашли свое фантастическое, невероятное воплощение: арфа – Аполлон – Аполлион – Эолова Арфа в Пятигорске. Эолова Арфа предстает уже не просто как архитектурное сооружение – это непрочитанный Лермонтовым знак, посланный ему свыше.

Обращает на себя внимание трансформация образа Орфея. Согласно древнегреческому мифу, Орфей, играя на лире, выводит тень Эвридики из царства мертвых. Лира – звук – в его руках. В стихотворении «Арфа» происходит обратное: сам Орфей становится «звуком в устах» и превращается «лишь в тень в воображении». И соответственно, теперь уже Эвридике путь в царство бессмертных-мертвых заказан:

Но не проснется звонкая струна
Под белоснежною рукой твоей.

Смещение образа Орфея превращает Эвридику в тень тени.

4

Одно из примечательных свойств лирики Лермонтова заключается в том, что он не просто возвращается удавшимся строкам, перенося их из одного стихотворения в другое, обрамляя по-новому. Сказанное, написанное им ранее, а затем неоднократно повторенное в других произведениях находится в некоем безусловном для поэта соответствии истине. Возникает лишь вопрос градации: какова она, эта истина, какого свойства? Божественная, лермонтовская, человеческая или дьявольская? Как это ни кощунственно, быть может, прозвучит, но истина зачастую бывает и дьявольского свойства. Впрочем, применительно к Лермонтову, точнее будет сказать – не дьявольская, а демоническая, поскольку Демон – один из главных, центральных героев его поэзии.

Демон лирики отличен от того Демона, который предстанет в одноименной поэме. Вероятно, этим можно объяснить его раннее исчезновение из лирики, хотя его опосредованное присутствие прослеживается во многих стихотворениях.

Возможно предположить, что подобно тому, как у каждого человека есть свой ангел-хранитель, точно так же существует и свой демон-искуситель. Лермонтов дважды создает стихотворения с одним и тем же названием «Мой демон»:

Он недоверчивость вселяет,
Он презрел чистую любовь,
Он все моленья отвергает,
Он равнодушно видит кровь
И звук высоких ощущений
Он давит голосом страстей,
И муза кротких вдохновений
Страшится неземных очей.

1829

И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствие блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

1830/1831

Эти два отрывка содержат принципиальное различие. Если в первом Демон «звук высоких ощущений давит голосом страстей», то во втором он озаряет ум «лучом чудесного огня», давая «образ совершенства».

В греческой мифологии Демон – страшная сила, которую нельзя назвать по имени и вступить с нею в общение. Внезапно возникнув, он тут же исчезает. Демон готовит беду,

прельщает, насылает зловещие сны, направляет на путь, ведущий к катастрофическим событиям. «Собранье зол его стихия»,

Он чужд любви и сожаленья,
Живет он пищею земной,
Глотает жадно дым сраженья
И пар от крови пролитой.
Мой демон.

Но иной раз Демон может действовать и во благо. В римской же мифологии Демону соответствует Гений – бог одного мгновения. С этой точки зрения, Лермонтов фиксирует этот контакт со своим Демоном в строках:

И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда.

По сути, здесь дана формула творчества – от мгновенного возникновения художественного образа, замысла, и до его воплощения.

Особый интерес представляет стихотворение «Тамара». В миниатюре оно вбирает в себя поэму «Демон», но место Демона здесь занимает женщина – Демон-инкуб:

Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.
.....
И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всесильные чары,
Была непонятная власть.

Но если Демон стремится к любви вечной, то Тамара обещает любовь на одну ночь. Демон обитает в бесконечном космическом пространстве, Тамара же заключена в башню, причем башня как бы парит над бездной и в бездне же пребывает:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

Демон – изгнанник небес, изгнанник рая, изгнанничество его – добровольное:

Я не для ангелов и рая
Всесильным богом сотворен;
.....
Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой.
«Я не для ангелов и рая...»

Вместе с тем, Демон стремится к раю, и этот рай для него есть любовь:

Ты для меня была, как счастье рая
Для демона – изгнанника небес.
.....
...любить
Необходимость мне; и я любил
Всем напряжением душевных сил.
.....
...и целый мир возненавидел,
Чтобы любить тебя сильней.

Его любовь – это восхождение к запредельным высотам человеческого духа. Это любовь-заговор, любовь-отступничество, любовь-свобода, но не та божественная свобода, которая возникает в результате отречения от себя и мира во имя Бога, а свобода мятежника. Источник его любви не в Боге, а в нем самом:

Источник страсти есть во мне
Великий и чудесный,
Песок серебряный на дне,
Поверхность – лик небесный.

Но он осознает невозможность счастья, слишком запредельны его требования и желания:

Я видел прелесть бестелесных
И тосковал,

Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал.
.....
Я люблю и страшусь быть взаимно любим.

И чудесный «источник» мгновенно преображается:

Но беспрестанно быстрый ток
Воротит и крутит песок,
И небо над водами
Одето облаками.

Его страсть настолько могуча и беспредельна, что:

Я вижу, что любить, как я, порок,
И вижу, я слабей любить не мог.

И все-таки, словно преступник, он признается:

Но я в любви своей закоренел.

Его понимание любви, то значение, которое он придавал ей, настолько велико, что в одном из последних стихотворений уже после смерти он желал бы:

Чтоб весь день, всю ночь мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел.

Ему видится другая страна, страна Любви:

Иная есть страна, где предрассудки
Любви не охладят.
.....

Ты ж, чистый житель тех неизмеримых стран,
Где стелется эфир, как вечный океан,
И совесть чистая с беспечностью драгою
Хранители души...

Английский проповедник Клайв С. Льюис, говоря о грешниках, рисует следующую картину: «В определенном смысле погибшие – победители: им удался их мятеж; и я охотно верю, что врата ада заперты изнутри. Я не говорю о том, что им «не хочется» выйти – может быть, им и хочется, как хочется завистнику быть счастливым; но они не желают сделать и шага к тому пути, на котором душа достигает блаженства. Они обрели свою страшную свободу и стали рабами, узниками, тогда как спасенные, отрешившись от себя, становятся все свободнее».

И ад, и рай заперты изнутри:

Над бездной адскою блуждая,
Душа преступная порой
Читает на воротах рая
Узоры надписи святой.

И часто тайную отраду
Находит муке неземной,
За непреклонную ограду
Стремясь завистливой мечтой.
«Над бездной адскою блуждая...»

Достоверность мистического опыта Лермонтова поражает воображение!

Послушай, быть может, когда мы покинем
Навек этот мир, где душою так стынем,
Быть может, в стране, где не знают обману,
Ты ангелом будешь, я демоном стану! –

Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга все счастие рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, а ты мне – вселенной!
«Послушай, быть может, когда мы покинем...»

Но свидание не состоится:

И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.
«Они любили друг друга...»

Демон Лермонтова обретает свою страшную свободу:

И все мечты отвергнув снова
Остался я один –
Как замка мрачного, пустого
Ничтожный властелин.
«Как в ночь звезды падучей пламень...»

Враждебной силою гоним,
Я тем живу, что смерть другим:
Живу – как неба властелин –
В прекрасном мире – но один.
«Пусть я кого-нибудь люблю...»

5

В лирике Лермонтова присутствует целый сонм ангелов.

Ангел казни уже встречался нам под именем Аполлиона, часто он выступает как вестник рока. Ангел полуночи – своеобразный Харон, исполняющий противоположную функцию. Ангел лучший – принимает усопшую душу. Ангел-хранитель – в его ведении земные дела.

Рядом с ними, хотя и не названные, обозначаются ангел милосердия, ангел света, ангел искуситель. Последнего ангела не следует путать с Демоном. Ангел-искуситель как бы провоцирует, проверяя на стойкость и преданность вере.

6

Взгляд ангела – божественный взгляд. Мир земной и мир духовный объемлются единым взором. Удивительно, но в лирике Лермонтова отсутствует женский портрет. Его женщина бесплотна, словно ангел. Но зато: очи, глаза, взгляд, взор – лермонтовские стихи исполнены очей. Он постоянно погружается в них своим «долгим» взором:

Ах! Много лет, как взгляд другой
В уме моем напечатлелся!..
.....
Глядися чаще в зеркала,
Любуйся милыми очами.
.....
Таков же был
Тот нежный взор,
Что я любил
Судьбе в укор.
.....
Но взор спокойный, чистый твой,
В меня вперился изумленный.
.....
И не твоим глазам творец судил
Гореть, играть для тленья и могил.
.....
Как мог я не любить тот взор?
.....
Ах, я не знал, когда глядел
На чудные глаза прекрасной.
.....
Я встречу взор ее прекрасных глаз.
.....
И ты вздохнешь, может статься,
Со слезою на ясных очах.
.....
Хоть, может быть, притворная печаль
Блестела в этом взоре.
.....
И очи – этот взор в груди моей живет.
.....
Нет, лучше с трепетом любви
Свой взор на мне останови.
.....

***

Ты взгляд мгновений кинешь мне,
А там простимся навсегда.
.....
...что душа
Не смотрит из живых очей,
Когда на них смотрю я, чуть дыша?
.....
...волшебными глазами
Порабощен мой дух.
.....
Так эта бледная страница
Пусть милый взор твой привлечет.
.....
Глядит – и небеса играют
В ее божественных глазах.
.....
Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие.
.....
С глазами, полными лазурного огня.
.....
В глазах огонь угаснувших очей.
.....
В твои глаза вникая долгим взором.

7

Черноморское побережье, поселок Лазаревское. На железнодорожном вокзале приезжающих встречает памятник адмиралу Лазареву. Он смотрит в сторону моря, но моря не видит – бронзовый, мертвый взор конкистадора упирается в облупленную невыразительную стену складского помещения и привокзальный мусор, произрастающий вдоль стены.

Если идти по улице Победы на Север, то справа будет библиотека, расположенная на первом этаже хрущевской пятиэтажки. На ее окнах аршинными буквами значится: «Городская библиотека им. А. И. Одоевского». Чуть ниже по улице, из частного двора, каждое утро

выводят верблюда. Он здесь живет и работает вместе с фотографом. На верблюда надет холщовый намордник. Корабль пустыни молчалив, терпелив и печален.

Подростком, впервые читая стихотворение Лермонтова «Памяти А.И. Одоевского» я споткнулся о первые строки:

Я знал его, мы странствовали с ним
В горах востока.

Я никак не мог понять, в каких горах востока путешествовали опальные декабрист и поэт. Восток, в ту мою пору, да, пожалуй, и сегодня, никоим образом не ассоциируется с Северным Кавказом, в особенности с его центральной и западной частью.

В 2000-м году в Санкт-Петербурге вышла книга Я. Гордина «Кавказ: земля и кровь», в приложении опубликован Дневник поручика Н. В. Симановского, который прибыл на Кавказ в действующую армию в 1837 году.

2 апреля 1837 года поручик делает следующую запись: «Я шатался по городу (Ставрополь. – Дж. К.), искал вьюков или переметных сум, но ничего не мог найти; город очень грязный, и совсем нет порядочных строений... Если бы мой Гаврило умел обращаться с верблюдом, то я купил бы скорей, чем лошадь, ибо, кроме того, что он может быть без корму долгое время и питья, на него можно пропасть навалить».

И еще одна запись от 14 декабря 1837 года:

«В Прохладной встретил я Лермонтова, едущего в С.-Петербург».

Действительно, верблюды в ту пору не были экзотическими животными на Кавказе, а для русского человека одна из границ между Востоком и Западом проходила по границе Великой степи.

Лермонтов без всяких поэтических прикрас констатирует реальное географическое и культурное местоположение Кавказа вообще и Северного Кавказа в частности – это другой тип цивилизации, с точки зрения России XIX века, – восточный.

8

Стихотворение «Сон» – одно из самых удивительных и совершенных, как мне представляется, не только в лермонтовской лирике, но и в русской поэзии вообще.

Перед нами множественность сознаний. Сознание автора, сознание увиденного им во сне умирающего, убитого героя, зафиксированное в тот миг, когда тело уже недвижимо, но какие-то еще неуловимые, миллиардные доли секунды осознает себя таковым – сознающим; дева за пиршественным столом за сотни верст от места гибели героя, и ее подсознательное видение. И наконец – сознание читателя, благодаря которому и возможен весь этот фантастический мир.

Сон, отторгнутый от авторского сознания, входит в действительность читающего, и по способу и степени восприятия остается в некотором роде сном. Образ сна, многократно повторенный и отраженный, теряется во мраке, в зеркальной бесконечности, но не исчезает, а мерцает загадочным светом-смыслом.

Сон

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в странный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

В первых четырех строках герой еще жив – «по капле кровь точилася моя», в последних – он мертв. Контраст: голая, выжженная долина, окруженная скалами, – безлюдный, как бы потусторонний пейзаж, и сияющий огнями город, пир – пиршество жизни, где о нем еще говорят, где он все еще жив и будет, уже будучи мертвым, жить в разговоре – и непостижимое проникновение реальности в сон юной жены: герой мертв.

Но какие неожиданные проникновения в реальность случаются в жизни! В документальном фильме о вторжении чеченских боевиков в Дагестан рассказали о подвиге дагестанцев-ополченцев, взявших в руки оружие. Трое ополченцев попали в окружение. Им предложили сдаться. Они отказались и были убиты.

III. Алмазная грань

1

Когда мне впервые довелось лететь самолетом, маршрут пролегал над Главным Кавказским хребтом. Из иллюминатора открывалась поистине величественная панорама. Но еще удивительнее было то, какое точное, скрупулезно точное описание горного пейзажа дал Лермонтов в «Демоне»:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял.

Один из исследователей творчества Лоуренса Стерна заметил, что в построении некоторых сцен он использовал чисто кинематографические приемы смены крупных и дальних планов. В «Демоне» Лермонтов панорамно и стремительно меняет «планы», создавая ощущение свободного полета.

Сначала дается космический план:

Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил.

Затем дается вид с высоты орлиного полета: «И над вершинами Кавказа...», а потом – с одной из вершин:

Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали.

и, наконец – ближний план:

Высокий дом, широкий двор.

Лермонтов создает стремительность движения не за счет описания физических характеристик самого полета, а сменой картин. Читатель видит все как бы глазами летящего Демона.

Траектория движения Демона – от космоса – до человеческой души – души Тамары.

2

Когда смотришь на полотна Михаила Врубеля «Демон поверженный», «Демон летящий», нельзя не поразиться гению художника. Вряд ли возможен в живописи второй Демон.

Сложность задачи была в том, чтобы изобразить невидимое:

Бесплотный взор его очей.
.....
Он был похож на вечер ясный –
Ни день, ни ночь – ни мрак, ни свет!
.....
Скользил без звука и без следа.
.....
...Огненное дыхание
.....
...от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
.....
Его крыло не шевелится!

Таков словесный портрет.

Вспоминается одна древняя китайская басня. У художника спросили, кого труднее всего рисовать. «Петуха, – ответил он. – Его все знают и если хоть что-то изобразишь не так, тебе тут же любой укажет на ошибку». «А кого легче всего?» «Дракона. Дракона никто не видел, и как бы я его ни изобразил, все скажут – похож».

При всей правдивости этой басни, в случае с Демоном следует сделать исключение. Демона не видел никто кроме Врубеля.

3

В чем притягательная сила этого образа? Демон Лермонтова предвосхищает булгаковского Воланда в одной существенной характеристике: неоднозначность зла. Но если перед Воландом вопрос о духовном перерождении вообще не стоит, то Демон предпринимает попытку вернуться в «жилище света» через любовь Тамары:

Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там.

Лермонтов не говорит о том, какое преступление перед Творцом совершил Демон, но преступление это такого рода, что возвращения и прощения не будет никогда.

В поэме «Азраил» мечта Демона выражена более конкретно: «сменить вечное существование на мгновенную искру жизни человеческой, чтобы чувствовать хотя все то же, что чувствую, но иметь надежду когда-нибудь позабыть, что жил и мыслил».

Возникают два вектора, два устремления, два противоположных понимания абсолютного счастья: для смертного – обрести бессмертие, а для бессмертного – забвение, через «искру жизни человеческой».

4

В чем преступление Демона? Какова его история?

Предположительно, Бог создает Демона до появления Солнечной системы:

Когда еще ряды светил
Земли не знали меж собой,
В те годы я уж в мире был.
Азраил.

и, возможно, даже до возникновения времени:

И не грозил душе его
Веков бесплодных ряд унылый.
Демон.

Если возможно такое определение, то существование Демона до появления человека – это Бытие в чистом виде:

Безвестной цели не искал,
Любовью грешной не страдал,
Не знал пристрастия к вещам,
Он весь был отдан небесам.
Азраил.

В отсутствие человека – нет противопоставления, а следовательно, нет и сравнения. И только с возникновением, сотворением человека вдруг выясняется, что Демон и его соратники не были созданы по образу и подобию Творца, по его образу и подобию были сотворены Адам и Ева.

...и вот ваш полубог –
Ваш человек, искусством завладевший,
Землей и морем, всем, чем только мог,
Не в силах он прожить три дня не евши.
Сашка.

Мятеж ангелов против Творца – это противостояние Духа и Человека, Бесплотности и Плоти. И поиск для Демона – воспоминание об утраченной любви.

Восстание Демона против Творца отлично от восстания соратников, и потому:

Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы, и сам не узнавал.
.....
Я был отвергнут, как Эдем.
Демон.

Демон жаждет подобия и воплощения. Он «вознагражден» печалью:

Моя ж печаль бессменна тут,
И ей конца, как мне, не будет.
.....
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень, –
Мечтаний прежних и страстей
Несокрушимый мавзолей!
Демон.

Мука, на которую он обречен, может прекратиться лишь при одном условии – любовь, если найдется Душа, способная разделить с ним его одиночество. Ожидание любви – ожидание прощения:

Надежда есть, – ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Демон.

Его надежда на спасение – обретение родственной Души. Демон изначально наделен знанием о ее существовании – Дева Рая:

В моей душе с начала мира
Твой образ был напечатлен.
.....
Во дни блаженства мне в раю
Тебя одной недоставало!
Демон.

Он знает, что любовь – «сама свое добро и зло», одна минута с Девой Рая для него – «небесный рай». Пусть он отвергнут Творцом, пусть презрен им, но:

Любовь насильства не боится,
Она – хоть презрена – все бог.
Ангел.

Святыни Демона, как это ни странно, – «любовь, добро и красота», понятия по сути земные, а потому его мечта оказывается «беззаконной».

Обладание Душой, родственной Душой, означает противопоставление Творцу, создание нового Храма. Без нее же, без родственной Души:

вечность (...)
Пустые, звучные слова;
Обширный храм – без божества!
Демон

И все-таки на одно мгновение чудо свершается. Когда Демон находит Тамару, из его бесплотных очей катится осязаемая человеческая слеза:

... из померкших глаз
Слеза тяжелая катится...
Демон.

Пусть на одно мгновение, на одну слезу, но произошло вочеловечивание Демона, бесплотного духа, а следовательно, и воплощение по образу и подобию Творца.

5

...не один я сотворен,
Нас было много; чудный край
Мы населяли, только он,
Как ваш давно забытый рай.
Азраил.

Среди множества соратников Демона лишь один – Ангел Смерти – представлен достаточно выпукло и широко. Необычен художественный образ: не бряцающий скелет, не старуха с косой, а некий, вечно молодой, Дух:

...ангел смерти, смертью тленной
От уз земных освобожденный!
Ангел смерти.

Мятеж «первенцев творения» привел Демона к одиночеству и поискам любви. Ангел Смерти принимает безоговорочное служение Творцу – он провожает души умерших к вратам рая, но проникнуть за них он не может:

Как полуночная звезда,
Манил он смертных иногда,
И провожал он к дверям рая
Толпы освобожденных душ,
И сам был счастлив.
Ангел смерти.

Он появляется бесшумно:

Его приход благословенный
Дышал небесной тишиной.
.....
...в грозный час
Последних мук и расставанья
Он крепко обнимает нас,
Но холодны его лобзанья.
.....
И часто сердцу больно, больно
Последний вздох ему отдать.
Но прежде людям эти встречи
Казались – сладостный удел.
Ангел смерти.

6

Что же ожидает Демона?

Когда же род людей пройдет,
И землю вечность разобьет,
Услышав грозную трубу,
Я в новый удалюся мир.
Азраил.

Каков этот «новый мир?» Вновь Творение и вновь – одиночество. Судьба Демона неизменна, его судьба – вне Творца, его судьба – вечное одиночество. Вспоминается ад Достоевского – глухая баня, вечность и паук в углу. Кстати, в «Демоне» тоже присутствует образ «седого паука», плетущего свою паутину в покинутом людьми доме. Паутина как символ забвения, окончания времени и символ бесконечности:

О вечность, вечность! Что найдем мы там,
За неземной границей мира? Смутный,
Безбрежный океан, где нет векам
Названья и числа; где бесприютны
Блуждают звезды вслед другим звездам.
Сашка.

7

Демон, пролетающий над Кавказом, – это еще и воплощение Духа Свободы и Познания. Согласно одной из версий о существовании и гибели Атлантиды, Кавказ – одно из мест на земле, где сохранились священные знания атлантов.

Он свой воздушный прежний путь
Еще найдет когда-нибудь,
Туда, где снегом и туманом
Одеты темные скалы,
Где гнезда вьют одни орлы,
Где тучи бродят караваном!
Там можно крылья развернуть
На вольный и роскошный путь!

Тамбовская казначейша.

«Вольный и роскошный путь» – путь свободы. Кавказ для Лермонтова так же свят, как и Москва, это его две непреходящие любви:

Я сердцем твой, – всегда и всюду твой!

Аул Бастунджи.

Кавказ мой величавый.

Измаил бей.

Любил он ночь, свободу, горы.

Ангел смерти

Твоих вершин зубчатые хребты
Меня носили в царство урагана,
И принимал меня, лелея, ты
В объятия из синего тумана.

Аул Бастунджи

«Суровый царь земли» предстает, как материя, наделенная духом, способная творить и мыслить:

На небосклоне голубом
Главы гранитных великанов
Встают, увенчанные льдом.
В ущелье облако проснулось,
Как парус розовый, надулось
И понеслось по вышине.

Хаджи Абрек.

Кавказ в изображении Лермонтова – рай. Облака, горы, леса, птицы, звери – все совершенно и безупречно, все сияет необыкновенной красотой:

В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ.
.....
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!

Мцыри.

Столпообразные руины,
Звонко бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом;
Ущелья, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений;
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлажненные ночи;
И звезды яркие, как очи.

Демон.

Кавказ предстает божественным творением, творением, которому человек не соответствует:

...властители вселенной,
Природу люди осквернят.

Ангел смерти.

Человек диссонирует с окружающим его миром:

Во всей природе дышит сладострастье;
И только люди понукают счастье!

Измаил-Бей.

Один из наиболее часто употребляемых Лермонтовым в описаниях природы эпитетов – «алмаз»: «алмазный венец», «алмазная роса», «алмазная грань». Алмаз выступает как символ истинной красоты, истинного знания, символ безупречности.

IV. Трагедия гордого ума

1

«События нарастают и совершаются по законам, которые не здесь – на сцене, а там – за кулисами, их логика там, они приходят оттуда. Здесь они непонятны, здесь они не имеют корней, причин событий. Корни их и причины заложены не здесь – ни в характерах героев, ни в логике необходимости хода событий», – так пишет Л. Выготский о шекспировском «Гамлете».

Лермонтов был страстным поклонником Шекспира. В одном из своих писем к М. А. Шан-Гирей он горячо заступается за английского драматурга: «Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в «Гамлете», если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердце человека, в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир, – то это в «Гамлете». Начну с того, что имеете вы перевод не с Шекспира, а перевод перековерканной пьесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить приторному вкусу французов, не умеющих обнять высокое, и глупым их правилам, переменил ход трагедии и выпустил множество характеристических сцен; эти переводы, к сожалению, играются у нас на театре».

А одна из просьб поэта к бабушке, изложенная в его последнем известном нам письме, тоже связана с Шекспиром: «Я бы просил также полного Шекспира, по-английски, да не знаю, можно ли найти в Петербурге; препоручите Екиму».

Лермонтов не просто почитатель английского гения, он еще и гениальный ученик. Принцип построения событий, описанный Л. Выготским, положен и в основу «Маскарада» – исток драмы кроется в истории Неизвестного, человека в маске, который так до конца и сохранит свою таинственность. Мы знаем о нем лишь то, что сам он говорит Арбенину:

Я твой добрый гений.
Да, непримеченный везде, я был с тобой;
Всегда с другим лицом, всегда в другом наряде –
Знал все твои дела и мысль твою порой –
Остерегал тебя недавно в маскараде.

Неизвестный, в определенной степени, – порождение и создание самого Арбенина, столь же хладнокровного и беспощадного в достижении поставленной цели.

2

Мотив игры – один из главенствующих как в «Гамлете», так и в «Маскараде». В шекспировской пьесе игра – способ постижения истины, действительного положения вещей, в «Маскараде» игра – забава и способ существования. Теория, которую излагает Арбенин применительно к карточной игре, вполне приложима и к обществу:

Но чтобы здесь выигрывать решиться,
Вам надо кинуть все: родных, друзей и честь,
Вам надо испытать, ощупать беспристрастно
Свои способности и душу: по частям
Их разобрать; привыкнуть ясно
Читать на лицах, чуть знакомых вам,
Все побужденья, мысли; годы
Употребить на упражнения рук,
Все презирать: закон людей, закон природы.
День думать, ночь играть, от мук не знать свободы.
И чтоб никто не понял ваших мук.
Не трепетать, когда близ вас искусством равный,
Удачи каждый миг постыдный ждать конец
И не краснеть, когда вам скажут явно:
«Подлец!»

В игру вовлечены все действующие лица, и эта тема звучит на протяжении всей драмы:

Арбенин. *Я сел играть – как вы пошли бы на сраженье.*
.....
Арбенин. *Я вижу все насквозь... Все тонкости их знаю,*

И вот зачем я нынче не играю.

.....

Маска. *Людей без гордости и сердца презираешь,*
А сам игрушка тех людей.

.....

Баронесса. *Любовник пламенный, игрушка маскарада.*

.....

Баронесса. *Что нынче женщина? Создание без воли,*
Игрушка для страстей иль прихотей других!

.....

Казарин. *Взгляните-ка, из стариков*
Как многие игрой достигли до чинов.

.....

Казарин. *Что ни толкуй Вольтер или Декарт –*
Мир для меня – колода карт,
Жизнь – банк; рок мечет, я играю,
И правила игры я к людям применяю.

.....

Князь. *Он не смущается ничем... о, я разрушу*
Твой сладкий мир, глупец, и яду подолью.
И если бы ты мог на карту бросить душу,
То я против твоей – поставил бы свою.

.....

Князь. *...Вы человек иль демон?*
Арбенин. *Я? – игрок!*

Арбенин переоценивает свое знание правил Игры и оказывается подчинен чужим правилам, в которых, как он сам полагал, прекрасно разбирался. Ему достается роль, над которой Арбенин был готов посмеяться, – роль обманутого, ревнивого мужа. Он становится заложником Игры, превращается в игрока вслепую. И такова участь практически всех главных действующих лиц пьес Лермонтова: Юрий из пьесы «Люди и страсти», Фернандо – из «Испанцев», Владимир – из «Странного человека».

3

Гамлет вовлечен в трагические события потусторонней силой, эта же сила определяет исход событий и судьбы Гамлета. Атмосфера шекспировской драмы – сумрак, тайна ночи. Лермонтовская драма разворачивается при искусственном освещении. Гаснет свет и гаснет разум – Арбенин сходит с ума.

Уже в состоянии помрачнения он говорит:

Ошибся – я ошибся – что ж!
Она мне то же говорила,
Но я сказал, что это ложь,
Я это ей сказал.
Вот, что я вам открою:
Но я ее убийца.

Он не признает своей трагической ошибки, он видит свою ошибку в другом:

Так, я был обманут!
Довольно, я ошибся!.. возмечтал,
Что я могу быть счастлив...думал снова
Любить и веровать...но час судьбы настал,
И все прошло, как бред больного!

Арбенин полагает, что ему не следовало «любить и веровать». Он убежден в силе своего разума и полноте жизненного опыта:

...я все видел,
Все перечувствовал, все понял, все узнал.

Но не все он видел, не все перечувствовал, не все узнал, и только любовь и вера могли бы спасти и его, и Нину.

И этот гордый ум сегодня изнемог!

говорит Неизвестный. В его реплике, по сути, одна из главных тем «Маскарада» – трагедия гордого ума.

4

Один из героев лермонтовской драмы «Странный человек» так говорит о сумасшествии: «Посмотрите очень близко на картину, и вы ничего не различите, краски сольются перед глазами вашими; так точно люди, которые слишком близко взглянули на жизнь, ничего более не могут в ней разобрать, а если они еще сохраняют в себе что-нибудь от сей жизни, то это одна смутная память о прошедшем. Чувство настоящего и надежда для них не существуют. Такое состояние люди называют сумасшествием».

Если Гамлет слишком пристально всматривается по ту сторону Бытия, то Арбенин – слишком пристально вглядывается в жизнь. Трагедия Гамлета – познание и узнавание; трагедия Арбенина – в самопознании. Мир, созданный им, знание, им обретенное, правила, им установленные, выведенные из этого знания, оборачиваются против него. Через самопознание он приходит к саморазрушению.

Выготский, говоря о безумии шекспировского героя, пишет: «Гамлет, погруженный в земную ежедневность, обыденность, стоит вне ее, вынут из ее круга, смотрит на нее оттуда. Он мистик, идущий все время по краю бездны, связанный с ней. Следствием этого основного факта – касания миру иному – является уже все это: неприятие этого мира, разобщенность с ним, иное бытие, безумие, скорбь, ирония».

Арбенин пришел к тому же итогу, но другим путем. Хотя он так же, как и Гамлет, погружен в земную ежедневность, он сам вынул себя из земного круга, но взирает на него не Оттуда, подобно принцу датскому, а из круга, сотворенного собственными усилиями. Его край бездны – это он сам.

5

В поэме «Сашка» есть такие строки:

Гамлет сказал: «Есть тайны под луной
И для премудрых», – как же мне, поэту,
Не верить можно тайнам и Гамлету?

В «Маскараде», при всей кажущейся прозрачности и некоторой декларативности, есть эта самая Тайна, о которой так замечательно сказал Л. Выготский, определяя Тайну «Гамлета»: «Эта трагедия осталась для нас загадкой в конце обзора еще больше, чем в начале его. Не разгадать эту загадку – была цель этих строк, не раскрыть тайну Гамлета, а принять тайну, как тайну, ощутить, почувствовать ее».

Конечно, есть в этих строках некоторое лукавство, но есть и неоспоримая истина: тайна остается тайной.

V. Восставшее войско

1

Когда в университете нам начали читать курс философии, а в ту пору это был курс марксистско-ленинской философии, у меня возникло подозрение, переросшее затем в уверенность, что нас вводят в заблуждение и попросту обкрадывают: ну какие философы экономист Маркс и большевик Ленин? Зато благодаря этой «подмене» проявился повышенный интерес к трудам философов. И одним из любимых для меня стал Шеллинг. Прочитав его впервые, я затем неоднократно возвращался к нему, было ощущение какого-то прежнего знакомства с его мыслями, но в иной форме. И лишь спустя несколько лет, занимаясь прозой Лермонтова, я неожиданно понял, что меня так волновало в немецком философе: его размышления о свободе воли, свободе вообще, добре и зле удивительным образом налагались на лермонтовский текст и проясняли его.

Как истинный великий художник, Лермонтов – философ. Собственно, вся русская философия вышла из русской литературы XIX века.

2

«Волю человека надлежит рассматривать как связь между живыми силами; до тех пор, пока она сама остается в своем единстве с универсальной волей, эти силы также пребывают в божественной мере и равновесии. Но едва только своеволие отклоняется от центра как от предназначенного ему места, разрывается и связь между силами; вместо нее теперь господствует лишь частная воля, которая уже не способна, подобно изначальной воле, объединить силы, подчинив их себе, и должна поэтому стремиться сформировать или составить из отделившихся друг от друга сил, из восставшего войска вожделений и страстей (поскольку каждая единичная сила есть также страсть и желание), собственную обособленную жизнь, а это возможно, ибо в зле все еще сохраняется первая связь сил, основа природы. Но так как эта жизнь все-таки не может быть подлинной – она могла бы быть таковой только при первоначальном отношении начал, – то возникает правда, собственная, но ложная жизнь, жизнь во лжи, порождение беспокойства к гибели», – так писал Шеллинг в своей работе «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с нею предметах».

Свобода воли – одна из центральных тем в прозе Лермонтова: «И в самом деле, что может противостоять твердой воле человека? Воля заключает в себе всю душу; хотеть – значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, – жить, одним словом; воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток божества, творческая власть, которая из ничего создает чудеса... О, если б волю можно было разложить на цифры и выразить в углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы!..» (*«Вадим»*).

То, что Шеллинг именует «восставшим войском вожделений и страстей», Лермонтов называет жизнью; то, что для первого – жизнь во лжи, ибо она подчинена центру, абсолютной, универсальной воле, для второго – власть и ключ к мировому универсуму.

«...что такое величайшее добро и зло? – два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга». (*«Вадим»*).

Размышляя об истоках возникновения добра и зла, Шеллинг пишет: «...подобно тому как в изначальном творении, которое есть ни что иное, как рождение света, темное начало должно было быть в качестве основы, чтобы из него мог быть вознесен свет, должна быть и другая основа и для рождения духа, и поэтому второе начало тьмы, настолько более высокое, чем первое, насколько дух выше света. Это начало и есть пробужденный в творении посредством возбуждения темной основы природы дух зла, т.е. раздвоение света и тьмы, которому дух любви противопоставляет теперь высшее идеальное начало».

«Впрочем, разве ангелы и демоны произошли не от одного начала?..» – вопрошает Лермонтов в «Вадиме».

Описание Демона мы находим в лирике и поэме, в прозе – описание ангела-девы:

«...то не было существо земное – то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысли вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, – то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим мы на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему, – одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована» (*«У графа В... был музыкальный вечер»*).

Лермонтовский ангел, как и демон, наделен столь же неукротимой волей, они – действительно – звенья одной цепи, которые сходятся, расходясь:

«... в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно» (*«Герой нашего времени»*).

«Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел применить ее к действительности: идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие» (*«Герой нашего времени»*).

Шеллинг говорит почти то же самое»: ...мысли действительно порождаются душой; однако порожденная мысль – независимая сила, действующая для себя; более того, она обретает в человеческой душе такое значение, что побеждает собственную мать (душу. – *Дж. К.*) и подчиняет ее себе».

Невольно возникает ощущение, будто эти слова Шеллинг написал, прочитав приведенный отрывок из «Героя нашего времени».

Воля, вооруженная идеей, превращается в разрушительную силу: «Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы» *(«Герой нашего времени»)*.

Если следовать Шеллингу, лермонтовские герои «удалились от центра», но при этом: «...даже у того, кто удалился от центра, все еще остается чувство, что он был всеми вещами, был в Боге и с Богом; поэтому он вновь стремится к этому, но для себя».

И словно в подтверждение этой мысли запись в журнале Печорина: «Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих членах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине – чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?..» В нем пробудилось это воспоминание о пребывании с Богом и в Боге.

Восставшее войско – это и есть обособленная воля, удалившаяся от центра на периферию. Воля как источник действия, деяния. Определяя деяние, Шеллинг пишет: «...сущность человеческая есть сущностно его собственное деяние ... Деяние, которым определена его жизнь во времени, само принадлежит не времени, а вечности: оно не предшествует жизни по времени, а проходит сквозь время (не охватываемое им) как вечное по своей природе деяние. Посредством этого деяния жизнь человека достигает начала творения; поэтому посредством его он также – вне созданного – свободен и сам есть вечное начало».

Мысль, высказанная в «Вадиме», созвучна рассуждениям немецкого философа: «...голос шептал мне: ты способен обнять своею мыслию все сотворенное; ты мог бы силою души разрушить естественный порядок и восстановить новый».

Шеллинг, задавая вопрос, каким образом человек склоняется на сторону добра или зла, отвечает: «...как человек принимает решение следовать злу или добру, еще полностью окутано мраком и требует, по-видимому, отдельного исследования». В определенном смысле одним из исследований можно считать «Героя нашего времени» и предшествовавшие ему прозаические произведения Лермонтова.

3

Д. Мережковский в своей статье «М.Ю. Лермонтов – поэт сверхчеловечества» назвал Лермонтова одним из «нерешительных ангелов», «которые в борьбе Бога с дьяволом не примкнули ни к той, ни к другой стороне. Для того, чтобы преодолеть ложь раздвоения, надо смотреть не назад, в прошлую вечность, где борьба эта начиналась, а вперед, в будущее, где она окончится с участием нашей собственной воли. Лермонтов слишком ясно видел прошлую и недостаточно ясно будущую вечность; вот почему так трудно, почти невозможно ему было преодолеть ложь раздвоения».

Создается впечатление, что Мережковский написал эти строки не о Лермонтове, а о Печорине. Они могут быть прекрасным комментарием к следующему отрывку из «Журнала Печорина»: «...я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. (...) какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным... А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и сильного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою. (...) одна усталость, как после ночной битвы с привидением и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни».

Высказывание Мережковского не вызывает возражений применительно к печоринскому тексту, и хотя в последнем, безусловно, присутствует и некоторая авторская точка зрения, она не идентична позиции созданного им героя. Мне думается, что Лермонтов в полной мере обладал «жаром души и постоянством воли, необходимых для действительной жизни».

Говоря о «лжи раздвоения», Мережковский впадает в распространенную и сегодня ошибку: между Лермонтовым и Печориным ставится знак равенства.

Лермонтов видел будущую вечность столь же ясно, как и прошлую: «Ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода; он был дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий, не желающий, не сожалеющий ни об чем, завладевший прошедшим и будущим, которое представлялось ему пестрой картиной, где он находил много смешного и ничего жалкого. Его душа расширялась, хотела бы вырваться, обнять всю природу и потом сокрушить ее» *(«Вадим»)*.

«Божество падает перед смертным» *(«Вадим»)*.

Будущая вечность – свобода воли, свобода «восставшего войска», пребывающего в извечной борьбе.

4

Печорин говорит Вернеру: «Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй...второй?..»

Печорин утверждает, что в нем живут два человека: один пребывает в сфере чувств, другой – живет рассудком; первый – расчетливый материалист, второй – не чужд идеализма.

«Каждая сущность может открыться только в своей противоположности: любовь только в ненависти, единство – в борьбе. Если бы не было разъединения начал, единство не могло бы обнаружить свое всемогущество; не будь разлада, не могла бы стать действительной любовь», – писал Шеллинг.

Восставшее войско – мир страстей лермонтовской прозы. Они подчинены единой воле. Согласно Шеллингу, разъединенные начала, стремясь к единству, должны привести к действительной любви. Но этого не происходит.

«...это не та бесконечная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы не найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство – истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство: секрет этой бесконечности – только в невозможности достигнуть цели, то есть конца» *(«Герой нашего времени»)*.

В данном контексте любовь, как статичное состояние, недостижима и невозможна, любовь – вечное движение, и лишь бесконечность придает смысл этому движению.

5

Лермонтов создает женские портреты выразительными штрихами, рассыпанными по тексту. Образ Бэлы возникает в ткани повествования словно набросок, прозрачный эскиз:

«И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу».

«...в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! Они так и сверкали, будто два угля».

«...она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза тускнели».

«Как она переминилась в этот день! Бледные щеки впали, глаза сделались большие, большие, губы горели».

Все внутреннее движение, вся драма, переживаемая Бэлой, передается через выражение глаз – то горячие, как угли, то потускневшие, то полные любви или страдания.

«Дьявол, а не женщина», – комментирует Максим Максимыч, чувствующий, какая трагедия разворачивается, какой накал страстей в этой девушке, восклицающей: «Я не раба его – я княжеская дочь!..»

Любопытно, каким образом трансформировался образ Бэлы в романе Дины Дамиан «В этом мире я прохожий...» (Москва, 2003). Приведем несколько отрывков, дающих представление о характере героини. (Следует сразу отметить, что автор – Д. Дамиан – определяет национальную принадлежность Бэлы – по матери – осетинка, а по отцу – кабардинка. Бэла у Дамиан обладает широким кругозором и довольно начитана).

«В тот роковой вечер Бэла читала книжку, в которой говорилось о дальних странах, разглядывала карты и гравюры с изображением дальних мест. Особенно ей нравилась одна, на которой по бурному морю плыл прекрасный корабль с белыми парусами. Она представляла себя стоящей на палубе и глядящей вдаль. Но в этот момент кто-то схватил ее сзади и повалил на пол, зажав рот рукой. Бэла успела заметить, что это был ее младший братец Азамат. От неожиданности она растерялась, хотя обычно спуску ему не давала. Затолкав ей в рот какую-то тряпку, он связал Бэле руки и ноги толстой веревкой, а на голову накинул покрывало».

Бэла мечтает покинуть родные пределы и увидеть дальние страны. Ради этого она даже согласна вытерпеть любовь отвратительного Жоржа Печорина, а портрет его, действительно, малопривлекательный:

«На свадьбе она увидела того самого офицерика, с которым столкнулась недавно в Пятигорске. Сначала она его откровенно разглядывала. Он был маленький, худой, почти как Казбич, с редкими, рыжеватыми, едва пробивающимися усиками, темно-рыжими волосами, только плечи у него были узкие, а глазки небольшие и раскосые, стального, холодного цвета. В роду офицерика было много татар, хотя он и гордился древним иноземным происхождением. Он все время поглядывал на Бэлу и о чем-то перешептывался со стариком, недавно ставшим кунаком ее отца. Она чувствовала его взгляд, и ей становилось всякий раз как-то не по себе, как будто он бесцеремонно проникал этим взглядом в самое ее нутро. Даже шальной Казбич смотрел на нее иначе, не так дерзко. Бэле показалось, что было что-то странное в том, как урус смотрел на нее. Какое-то несоответствие. Потом, позже, она поняла, что он был похож на женщину, Бэле даже показалось, что и был он переодетой девушкой, и этот взгляд совершенно не вязался с его внешностью».

Автор намеренно создает отталкивающий образ Печорина. Собственно от лермонтовского Печорина в нем ничего не остается, скорее перед нами драгунский капитан, подбивший Грушницкого на подлость.

После натуралистической сцены изнасилования («Не снимая кителя и сапог, он грубо овладел ею несколько раз, не обращая внимания на сдавленные крики и стоны девочки») и сцены, когда Печорин изучающе разглядывает ее обнаженное тело («стал разглядывать ее тело, трогать ее кожу, темные мягкие волоски на предплечьях и вокруг сосков»), Бэла строит планы на будущее: «Она смотрела на жалкого офицерика и думала, что сначала ей было интересно его дразнить, но все вдруг обернулось так странно и неожиданно. Она думала о том, что никогда не полюбит его, но вытерпит все, чтобы уехать отсюда и попасть в незнакомую далекую Россию, а там, может быть, и еще куда-то, кто знает».

Затем Бэла обнаруживает медальон с изображением невесты Печорина:

«Значит, та девушка в медальоне, который Бэла нашла на ночном столике Гриши, это – «она». Эта белобрысая уруска с рыбьими глазами будет его любимой женой. А я, что он сделает со мной? Выбросит на улицу, продаст, возьмет с собой, как служанку, да нет, конечно же, побоится. Он вообще боится поворачиваться ко мне спиной и правильно делает», а буквально через несколько мгновений ей сообщают, что ее отец убит, и Бэла принимает решение «любой ценой восстановить справедливость».

«Вечером Бэла ждала Печорина с нетерпением, как никогда. Она сама подала ему ужин, даже двумя пальцами взяла бутылку противно пахнущего кахетинского. И все подливала ему вина, желая, чтобы Гриша быстрее опьянел. После ужина он завалился сразу спать, отвернувшись к стене, а Бэла потихоньку достала его парадный мундир и, раздевшись догола, натянула его на себя. Потом подумала и сняла. А вдруг ее план не удастся, лучше повременить с перевоплощением. Обнаженная, она достала из-за картины в углу давно припрятанный там тонкий клинок – отцовский подарок Печорину, и подошла к своей жертве. Жорж спал на боку, ничего не подозревая. Его тонкая, беспомощно выставленная и слега искривленная шея почему-то вызывала ассоциацию с птичьей. Рука Бэлы занеслась над ней и на секунду застыла. Зажмурив

глаза, как учила бабушка Халимат, когда режешь курицу, она, наконец, нанесла удар. Жорж издал странный булькающий звук, и Бэлу обдало теплой кровью, хлеставшей из сонной артерии. Тщедушный маленький офицерик с рябым лицом и рыжими усиками не успел ничего понять, не успел даже вскрикнуть. Он только конвульсивно взмахнул руками и как-то сразу опал. А Бэла ошарашено глядела на него, застыв голая над этим уже начинавшим остывать телом, что еще недавно приносило ей столько страданий. Его остановившиеся, широко открытые глаза заставили ее отвернуться. Она наскоро смыла с себя кровь и снова натянула его мундир. Только сапоги оказались уж очень большими и пришлось натолкать в них батистовых носовых платков Жоржа. Наконец, она глянула в зеркало и попыталась запрятать длинные волосы под фуражку. Потом, покачав головой, взяла ножницы и отрезала косы одним отчаянным движением, сунула руку в печь и, достав уголек, нарисовала маленькие усики».

Таковы фантазии главной героини романа Динки на тему Бэлы.

Конечно, заманчиво представить себе неукротимую Бэлу, «княжескую дочь», но Бэла из романа Дамиан, по существу, ничего общего с лермонтовской не имеет. Осталось только имя. Бэла действует в контексте авторского замысла, а общий смысл первой части ее романа – «Экскурсия» – сводится к проблемам Русско-кавказской войны, поступки героев диктуются оппозицией «завоеватель – жертва».

Лермонтовская Бэла если и жертва завоевателя, то лишь опосредованно, прежде всего – она жертва чувств, как самого Печорина, так и собственных.

У Бэлы из романа «В этом мире я только прохожий...» общее с лермонтовской героиней только имя. Это уже другой персонаж, из другой, лишь в чем-то похожей истории.

6

«Русалка» из «Тамани» – вся в движении, в отличие от статичной Бэлы. И возможно, именно в ней Печорин встречает характер, равный по силе собственному: «...глаза ее с бойкой проницательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса».

Магнетическая власть. Он сам обладает ею.

Атмосфера «Тамани» пропитана неким мистическим, потусторонним холодом.

Для Печорина внешность, особенно глаза, очень важны, большая часть его суждений о человеке основывается на описании внешности, на первом впечатлении.

«Признаюсь, – говорит Печорин, – я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерею члена душа теряет какое-нибудь чувство».

При виде слепого мальчика ему вспоминаются строки из Библии: «В тот день немые возопиют и слепые прозрят». Точно эта цитата звучит так: «И в тот день глухие услышат слова книги и глаза слепых прозрят из тьмы и мрака». В Книге пророка Исайи говорится о «запечатанной книге».

«Тамань», в своем роде, «запечатанная книга». Слепой мальчик «видит», как плывет лодка, зрячий Печорин «с подорожной по казенной надобности» – блуждает во мраке. Герой прикоснулся к неведомому ему миру, но вход ему туда воспрещен. Попытавшись же проникнуть туда, он едва не погибает: «...она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» – закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку. ...мы оба по пояс свесились из лодки; ее волосы касались воды; минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны».

Вторжение Печорина в чужую жизнь без действительного знания и уважения этой жизни приводит к ее гибели или же ставит ее на грань таковой.

7

Печорин с самого начала знает о княжне Мэри все. Почти с фотографической точностью он фиксирует каждое ее движение, каждый нюанс в поведении, настроении, выражении лица. Возникает ощущение, будто бы мы наблюдаем за ней через увеличительное стекло, но оно не искажает, не уродует, как волшебные окуляры Джонатана Свифта.

Поначалу мы видим княжну издали, со стороны, но по мере повествования, расстояние будет сокращаться. И если портрет Бэлы – прозрачный эскиз, то портрет княжны Мэри – живописное полотно:

«На второй было закрытое платье серо-жемчужного цвета, легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки красновато-бурого цвета стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже непосвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то действенное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка молодой женщины».

Особую смысловуюнагрузку приобретают в повествовании руки княжны:

«...она небрежно опустила руку на мое плечо»;

«...рука ее, опираясь на мою, дрожала»;

«Она стояла у фортепиано, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала»;

«...она опустилась в кресла и закрыла лицо руками»;

«...ее нежные руки, сложенные на коленях, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее».

Через положение и движение рук Лермонтов передает всю гамму переживаний Мэри: они небрежны, они дрожат, они закрывают лицо, отгораживаясь от мира, они становятся совершенно неподвижны – бессильны. И, конечно же, «в помощь» рукам приходят глаза, необыкновенные глаза лермонтовских героинь:

«У нее такие бархатные глаза – именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах, а нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят...»;

«...несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...»;

«...я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство...»;

«– Что вам угодно? – произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд»;

«Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом»;

«– Вы странный человек! – сказала она, подняв на меня свои бархатные глаза»;

«В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы»;

«...глаза ее искали кругом»;

«– Вы так же переменились, – отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не успел разобрать тайной насмешки»;

«Она подняла на меня томный, глубокий взор»;

«...глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко»;

«...в решительности ее взора и голоса было что-то страшное»;

«...ее большие глаза, наполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду»;

«Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали».

Еще один значимый портрет в галерее женских образов – портрет Веры.

«Драматическая история знакомства» и любви остается за пределами повествования. Но примечательно, как образ Веры возникает из более раннего произведения Лермонтова «Княгиня Лиговская»:

«Княгиня Вера Дмитриевна была женщина двадцати двух лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и, таким образом, резко отличало ее от других женщин, уничтожало сравнения, которые, может быть, бы-

ли бы не в ее пользу. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенны. Беспрерывная изменчивость ее физиономии, по-видимому, несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души и постоянную раздражительность нерв, обещающую столько наслаждений догадливому любовнику. Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная. Видя ее в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принести счастье в жертву правилам, но не молве. Увидавши же ее в минуту страсти и волнения, вы сказали бы совсем другое – или скорее не знали бы вовсе, что сказать».

От этого подробного описания в «Герое нашего времени» останется легкий, емкий и выразительный абрис Веры:

«...очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встретили ль вы ее у колодца? – она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо поразило меня своей выразительностью», – так описывает Вернер княгиню Веру Г...ву Печорину.

Сократив портретные характеристики до минимума, Лермонтов тем самым усилил воздействие образа на читателя: чем меньше деталей, тем больше простор для воображения. Можно легко нафантазировать целый легион блондинок среднего роста с родинкой на щеке и все они будут разными.

Готовность Веры «принести счастие в жертву правилам» уже не декларируется, а подтверждается фактом ее биографии: «Она вышла замуж за него для сына (...) она уважает его, как отца», а пылкость души проявляется в отношении к Печорину. Будучи смертельно больной, она требует от него жертвы: «Не правда ли, ты не любишь Мэри? Ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете...»

Всего лишь год-два разницы между «Героем нашего времени» и «Княгиней Лиговской», но не может не удивлять, насколько современнее стал язык – исчезли «физиономия», «раздражительность нерв», «догадливый любовник», «аттический» овал; экономнее стал выбор художественных средств, многословие и описательность уступили место краткости и глубине.

8

Но не одни только внешние черты создают портреты лермонтовских героев. В создании образа Грушницкого особую роль сыграла шинель.

«Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель»;

« – И какое им дело, есть ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

– Бедная шинель! – сказал я, усмехаясь»;

« – Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

– Какой вздор! – сказал он»;

«...небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное»;

«...Грушницкий сверх солдатской шинели навесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении»;

«...здесь – здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами»;

«...солдатская шинель к вам очень идет и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придает вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило»;

« – Пойдемте на бульвар...

– Ни за что, в этой гадкой шинели...

– Как, ты ее разлюбил?..»;

« – Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...

– В самом деле, вам шинель более к лицу...»;

« – Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет мсье Грушницкому?..

– Я с вами не согласен, – отвечал я, – в мундире он еще моложавее»;

«Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..»;

« – А признайтесь, – сказал я княжне, – что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен... в серой шинели?..»

С исчезновением шинели начинается драматическая фаза отношений между Печориным и Грушницким. Грушницкий сначала проникается ненавистью к шинели, а затем – и к Печорину.

9

Трагедия Грушницкого – это трагедия выбора, перед которым он оказывается всякий раз, по мере развития событий.

Хотя Печорин и определяет его будущее как будущее либо мирного помещика, либо пьяницы, а может быть, и того и другого, но признает, при отсутствии поэзии, «много добрых свойств» в Грушницком: «Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами – иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии».

Печорин преследует вполне определенную цель: «уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтобы иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»

Но помимо желания «уничтожать сладкие заблуждения» Печориным движет еще и зависть. Анализируя источник своей зависти, он запишет в журнале: «...вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно».

У Печорина есть этот опыт разбалованного самолюбия. Грушницкий им не обладает. Но ограниченность последнего восполняется искренностью чувства. Хотя чувство очень незатейливо и ясно читаемо, но оно искренне. Речь не идет о любви – всего лишь влюбленность.

И вот, «бедному страстному юнкеру» приходится выбирать в ситуациях, которые моделирует Печорин:

« – Даже, чтобы тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

– Да, если она захочет говорить с тобой...

– Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

– А я пойду шататься, – я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра... Мне нужны нынче сильные ощущения...

– Желаю тебе проиграться...»

Насколько напряжен и драматичен этот диалог, со множеством многоточий! Складывается впечатление, будто можно потрогать паузы, возникающие между словами, репликами. Пожелание Печорина проиграться окажется фатальным, равно как и желание Грушницкого получить сильные ощущения. Но прежде – он принимает условия пари.

Второй решающий момент выбора наступает, когда Печорин предлагает ему отказаться от клеветы:

« – Грушницкий! – сказал я, – еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено; вспомни – мы были когда-то друзьями...»

Правда, в последней фразе Печорин преувеличивает. Еще ранее он записал в журнале: «Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях».

И в последний момент Печорин все еще надеется и оставляет выбор за противником:

«Я решил предоставить все выгоды Грушницкому: я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать...»

А далее следует страшное признание:

«Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий со своей совестью?»

Рискуя быть убитым, Печорин «выдает» себе право на убийство.

Шутка затянулась. Все возможности выбора были исчерпаны.

10

В 1844 году, в Петербурге, был опубликован роман «Проделки на Кавказе», автор – Е. Хамар-Дабанов. Под этой фамилией скрывалась Екатерина Петровна Лачинова (1813–1896). Она долгое время жила на Кавказе, где служил ее муж, генерал Н. Н. Лачинов. Была близко знакома с А. А. Бестужевым и, возможно, с Лермонтовым.

Автор вводит в свой роман «ожившего» Грушницкого:

«...адъютант, с довольно наглым взором, взъерошенными волосами на голове, подошел к сидячей группе. Легко можно было заметить, что этот молодой человек дерзок в общении, не по природному влечению, но по принятому образу поведения, основанному на расчете и на желании произвести особенное впечатление.

– Здорово, Пустогородов! – сказал он резким басом, протягивая руку Александру.

Тот посмотрел на него со вниманием и холодно отвечал:

– Грушницкий, кажется?

– Да!.. Только что приехал, послан по важнейшему поручению.

И Грушницкий окинул взором всех присутствующих, желая насладиться впечатлением, произведенным его словами. Увидев, однако же, что никто не обращает на них внимания, он сжал губы и улыбнулся с досадой; потом повернулся к зеркалу и, с полным самодовольством поправляя волосы, то есть растрепывая их еще более, спросил:

– Имеется ли известие о вашем брате?

– Вот он! – отвечал Александр, указывая на Николашу.

– А! Пустогородов! Здравствуй, старый товарищ! Помнишь ли, когда мы были вместе?..

Тут он с восторгом кинулся на Николашу.

– Помню!.. – отвечал холодно меньшой Пустогородов, с умыслом напрягая голос в этом слове.

– А! Вижу, ты все еще, Николай Петрович, помнишь меня несносным искателем приключений... как ты называл меня! – возразил Грушницкий, продолжая охорашиваться перед зеркалом. – Нет, брат, я уже не то, что был. Несправедливость, злоба людей, – тут он вздохнул, – состарили меня преждевременно. Что я перенес... рассказать невозможно! Никто меня не понимает, не умеет ценить!

– Да какими судьбами ты еще существуешь на земле?.. – спросил Николаша. – Мы все читали записки Печорина.

– И обрадовались моему концу! – прибавил Грушницкий. Потом, немного погодя, перекидывая аксельбант с одной пуговицы на другую и не спуская глаз с зеркала, он промолвил со вздохом:

– Вот, однако ж, каковы люди! Желая моей смерти, они затмились до того, что не поняли всей тонкости Печорина. Как герой нашего времени, он должен быть и лгун и хвастун; поэтому-то он и поместил в своих записках поединок, которого не было. Что я за дурак, перед хромым лекарем, глупым капитаном и самим Печориным хвастать удальством! Кто бы прославлял мое молодечество?.. А без этих условий глупо жертвовать собою. Вот здесь – дело иное!..

И став боком, он протянул руку, будто держит пистолет, устремив глаза в зеркало.

– С чего же взяли эту историю?

– Мы просто с Печориным поссорились, должны были стреляться; комендант узнал и нас обоих выслал к своим полкам.

– Однако ты очень потолстел, Грушницкий, – заметил Николаша».

Такое вот неожиданное явление Грушницкого.

11

Так ли однозначен доктор Вернер?

«Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, стремились проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета».

Таков доктор Вернер, появляющийся не с первых страниц журнала, а лишь 13 мая. Доктор, по прозвищу Мефистофель, становится приятелем Печорина. Но случайно ли – Мефистофель?

Их отношения строятся на условиях своеобразного договора.

«...размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим», – говорит Печорин доктору.

Визит Вернера неспроста – он сообщает о прибытии княгини Лиговской. Это первый, важный узелок в завязывающейся драме. Затем следует сообщение о прибытии Веры:

«Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце:

– Она вам знакома!.. – Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного».

Доктор фиксирует, наблюдает и комментирует, как бы определяя тем самым векторы движения главных героев.

В свой второй визит к Печорину он застает Грушницкого, уже переведенного в офицеры:

« – Я вас не поздравляю, – сказал он Грушницкому.

– Отчего?

– Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило».

В свой третий визит доктор Мефистофель приносит свежую сплетню о якобы предстоящей женитьбе Печорина на Мэри. Он предостерегает и хитро улыбается.

«Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну распущены в городе разные слухи: это Грушницкому даром не пройдет!»

Фактически, после третьего визита Вернера все уже предрешено. (Любопытно, что Вернер говорит: «Я не умею зарядить пистолет», но на дуэли: «Между тем доктор зарядил пистолет и подал его мне».)

После последней встречи с Вернером Печорин записывает в журнале:

«Вот люди! Все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности».

Последняя мысль Печорина, если перевести ее в план теологический, может быть понимаема и так, что одно из проявлений Бога – «вся тягость ответственности», в то время как Мефистофель – Дьявол – ответственности не несет.

VI. Азия

1

В 1930-м году на Ленфильме А. В. Ивановским по сценарию П. Е. Щеголева и начинающего литературоведа В. А. Мануйлова был снят первый биографический фильм о Лермонтове «Кавказский пленник» (второе название – «Гибель Лермонтова»). Естественно, что фильм соответствовал тогдашней конъюнктуре – показать «мятежного поэта», «великосветскую чернь», «прогнивший режим» и т.д. «Кавказский пленник» пользовался успехом у зрителей, но во время Великой Отечественной войны кинолента погибла. Тем ценнее одно из немногих свидетельств, оставленное карачаевским просветителем Исламом Карачайлы (1896–1938), которому довелось посмотреть этот фильм в том же 1930-м году.

«В это время входит и сам Лермонтов. Его просят прочесть что-нибудь.

– Да мне нечего читать. Разве что из старого? – соглашается он и читает доставившее ему славу и много огорчений «На смерть Пушкина».

Но как он читает? Так, как не прочел бы ни один великий мастер. Он читает с таким подъемом, с таким не актерским, а естественным огнем, с такой огромной силой, насыщенной «горечью и злостью», свойственной вообще творчеству Лермонтова, внутренне переживая еще раз чувства, потрясшие и вдохновившие поэту это стихотворение, такая жгучая ненависть написана к этим подлым «потомкам» у него на лице, таким обвинительным актом звучит это редкое «чтение» непосредственно перед сборищем этих обвиняемых, что многие с недоумением переглядываются между собой.

У камергера Атрешкова, свирепеющего с каждым словом поэта, падает с глаз монокль. Князь Васильчиков, худосочный дегенеративный аристократ, сильнее вооружается лорнетом, чтобы целиться ненавистным взглядом в поэта. Ротмистр Мартынов, который почувствовал сразу же диссонанс, нервно, свирепо и торопливо рвет лепесток за лепестком цветок, который был у него в руке, будто он рвет на куски тело своего врага, которого он не мог не чувствовать в Лермонтове. Толстая дама негодует и недоумевает против этого неожиданно нахлынувшего потока обвинений. И т.д. и т.д. – каждый реагировал в соответствии со своим темпераментом, но все вместе и каждый в отдельности – враждебно. А по окончании чтения наиболее обманутые в своих ожиданиях, наиболее уязвленные в своих чувствах немедленно покидают собрание».

Приведенный отрывок уникален тем, что содержит непосредственное впечатление зрителя от «Кавказского пленника». Зритель, в данном случае это сам автор – Ислам Карачайлы, хотя и образован, но настолько неискушен в искусстве кинематографа, что не делает абсолютно никакого различия между актером, играющим Лермонтова, и самим поэтом.

2

Одна из первых экранизаций по произведениям Лермонтова, которую мне довелось посмотреть, был телеспектакль «Страницы журнала Печорина» в постановке А. Эфроса. Печорина играл Олег Даль, Грушницкого – Андрей Миронов, Мэри – Ирина Печерникова. Актеры все сплошь замечательные, но что-то главное, важное, что чувствуешь, читая книгу, ускользнуло.

Последний опыт экранизации – телесериал 2007 года «Герой нашего времени» – обладает всеми признаками сериалов: гламурно, физиологично и совсем о другом. Единственное оправдание таких экранизаций – лишний раз напомнить, что есть такой классик. И зритель вспомнил.

В местной общественно-политической «Газете Юга» появились недоуменные письма зрителей: отчего Бэла не говорит по-кабардински? Действительно, на каком языке могла разговаривать Бэла?

3

Лермонтов довольно точно определяет национальную принадлежность своих героев-горцев, однако в «Бэле» этой определенности нет.

Отец девушки «мирной князь», кунак Максима Максимыча, которому «нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин».

Печорин говорит о девушках, танцующих на свадьбе: «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках». Казбич и Азамат общаются на тюркском наречии, вставляя одно кабардинское слово «тхе», да и у лошади Казбича тюркское прозвище – Карагёз.

В одном месте Максим Максимыч говорит: « – Вы черкешенок не знаете, – отвечал я, – это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то», а в другом – «Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски». Об Азамате, он же: «Засверкали глаза у татарчонка». Вместе с тем, лошадь Казбича «славилась в целой Кабарде», а на лошадь самого Максима Максимыча «уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «Якши тхе, чек Якши!»

На эти разночтения обратил внимание и цитировавшийся уже И. Карачайлы: «Еще один вопрос. У классиков очень много путаницы в употреблении слов «чеченец», «татарин» и т.д. Авторитет классиков как бы узаконил заведомо неправильные вещи, нелепые с точки зрения

этнологии. Человеку, не разбирающемуся в различиях между чеченцом и осетином, черкесом и карачаевцем, ингушем и балкарцем и т.п., очень удобно при всяких ляпсусах сказать: «Извините! Хотя тут написано абазинец, но я имел в виду карачаевца, ибо все-де равно, ведь все они головорезы... то бишь «черкесы».

Позвольте! Не все они «черкесы». Есть народы, близко стоящие в этническом отношении друг к другу. Есть народы далеко отстоящие друг от друга в этом отношении. Если «тонкостей» всего этого нельзя знать, то об этих различиях необходимо иметь четкое представление. Человеку же пишущему, у которого читающая масса должна нечто узнать о горцах и притом узнать нечто безусловно доброкачественное, это представление абсолютно необходимо. Вот почему мы совсем не согласны с толкованием т. Эшба, который говорит: «черкес» – «в произведениях Пушкина да и Лермонтова – собирательное имя, синоним с «чеченцем», вообще «горец». Такое толкование нельзя квалифицировать иначе, как поощрение и узаконение на вечные времена вопиющего невежества в отношении горцев. Подражая на этом основании великим классикам, многие совсем невеликие могут себе позволить, да и позволяли, уйму поэтических и... прозаических вольностей.

Разоблачая каждый раз невежество, обывательское отношение к предметам и явлениям, которые имеют собственное наименование, мы должны отучить любителей неуклюжих вольностей от такого подражания. Черкес есть черкес, а отнюдь не чеченец. Ингуш есть ингуш, а не осетин, не балкарец, не кумык. И это надо хорошо усвоить тем, кто собирается писать о Кавказе и его народах».

Вопиющее невежество в отношении горцев, о котором писал И. Карачайлы, в наше время нашло свое выражение в определении «лица кавказской национальности».

4

В 2007 году «Издательство АСТ» выпустило книгу Мурада Аджи «Полынь половецкого поля». Автор, описывая историю своей семьи, в частности пишет:

«Я могу описать местность и сам аул тех лет, кое-что знаю о его жителях. Откуда? От Михаила Юрьевича Лермонтова. Он бывал в Аксае. И жива молва, будто Бэла – наша, аксайская. Она вполне могла быть сестрой Абдурахмана, а Азамат – его братом... (Абдурахман – прадедушка М. Аджи. – *Дж. К.*).

И то, что Максим Максимыч и Печорин жили в крепости неподалеку, правда. Я нашел название крепости – Ташкечу.

«Крепость наша стояла на высоком месте, – вспоминал Максим Максимыч, – и вид с вала был прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где за ней дымились аулы, ходили табуны; с другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа».

Все так. Те же широкие поляны, изрытые балками, мелкая речка Аксайка, кустарник. Я тоже видел их, стоя на том валу. Однако леса, что тянулся, по словам Лермонтова, до самого черного хребта, не было. Не верилось, что в выжженной степи, окружающей Ташкечу, когда-то рос лес.

Позже, в Москве, в библиотеке, убедился: сомнения напрасны. Вот что писал о тех местах один путешественник. «Входите вы в старый буковый участок леса, вас сразу охватывает какая-то сырость и темнота. Громадные буки стоят, заслонив небо непроницаемым пологом и не допуская солнечные лучи...» Буковые леса чередовались с ореховыми рощами. Отсюда «Терек» – «лесная река».

Вырубили, оказывается, те леса, с которыми связаны поколения кумыков. Все под топор пустили. Это была военная операция по колонизации Кавказа. Чтобы не прятались... Словом, озер, лиманов, плавней, где охотился Печорин, больше нет – исчезли».

То, что М. Аджи местоположение и название крепости преподносит как свое открытие, довольно забавно. Лермонтов сам точно определяет географическую точку – Максим Максимыч говорит: «Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, – знаете?» В «Лермонтовской энциклопедии», в словарной статье «Каменный Брод» говорится: «Каменный Брод, укрепление на р. Аксае, (по-кумыкски Таш-Кичу), на месте которого ныне расположен

аул Аксай (...) Служило связующим пунктом между крепостью Внезапной и Амир Аджи-Юртской переправой. Вблизи укрепления находились чеченские аулы, но земли принадлежали аксайским кумыкским князьям. Лермонтов, видимо, побывал в Каменном Броде в 1837 году».

Текст «Бэлы» также подтверждает, что речь идет именно об этой крепости: «На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными документами». Близость Кизляра. Близость чеченских аулов – все совпадает.

5

И все же, почему в тексте «Бэлы» возникают попеременно то татары, то черкесы? Нет ли здесь противоречия? Думается, что исчерпывающий ответ может дать Броневский в книге «Кавказцы» (1822 г.):

«Кумыки говорят Татарским языком, отличным от ногайского наречия; давно исповедают Магометанский закон Суннитского раскола, и хотя от смешения с Горскими имеют много сходства с сими последними в нравах, обычаях и в одежде, но по всем вышеупомянутым причинам бесспорно признаются за Татар.

Внутреннее управление у них такое же, как у Кабардинцев. Владельцы без согласия Узденей ничего предпринять не могут, и чаще случается, что первые должны приставать к мнениям последних. В общежитии у них те же Горские обычаи в силе, то есть воровство и праздность.

Кумыкские Князья принимаются в Российскую службу военными чинами и за отличие жалуются золотыми медалями. В прочих обычаях и в образе жизни Кумыки сходны с Черкесами».

Иначе говоря, в сознании русского человека кумыки были татарами, но теми же черкесами. Поэтому Печорин начинает «учиться по-татарски», чтобы разговаривать с Бэлой. Максим Максимыч, прослуживший на Линии около двадцати лет, хорошо различает коренных жителей и ошибиться не может, равно как не ошибается и Лермонтов. И не случайно, а вполне закономерно, что в одном из своих писем поэт пишет: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе».

Конечно, предположение Мурада Аджи, что Бэла «вполне могла быть сестрой Абдурахмана, а Азамат – его братом», может вызвать лишь улыбку. Впрочем, Лермонтов – всекавказен, что свидетельствует об удивительном его даровании. К примеру, в 2007 году в интервью «Литературной газете» молодой чеченский прозаик Герман Садулаев говорит, что Лермонтов – первый чеченский поэт. (В одно время бытовала версия, что прототипом героя поэмы «Измаил-Бей» послужил чеченец Бота Шамурзаев. В возрасте 9–10 лет он попал в плен, воспитывался у барона Г. В. Розена, был приближен к великому князю Константину Павловичу. Затем вернулся на родину, где служил переводчиком. Судьба, типичная для многих горцев времен Русско-кавказской войны.)

6

«Герой нашего времени» – это не только психологический роман, это еще и роман-путешествие. Читатель вместе с рассказчиком и Печориным преодолевает пространство от Тамани до Кизляра, вдоль всей Кавказской Линии. Естественно, в задачу Лермонтова не входило описание быта и нравов местных народов, но тем не менее он выхватил существенные различия и общие черты, что не может не восхищать.

Обычно, в качестве контраргумента, приводят его нелестный отзыв об осетинах: « – Преглупый народ! – отвечал он! – Поверите ли? Ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!»

Но рядом с этой характеристикой есть совершенно другая: не доезжая до Коби, они «своротили налево», «и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоявшего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною. Оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею».

Эти радушные хозяева – тоже осетины. Своеобразная «дотация», которую они получали, была компенсацией за конфискованные вдоль Военно-грузинской дороги земли, и другого источника дохода у этих людей не было. Ни больниц, ни школ, только постоялые дворы с питейными заведениями – таковы были первые плоды цивилизации на Кавказе.

Лермонтов показывает истинное отношение к туземцам, бытовавшее у представителей Российской империи. Он не задается вопросом: почему так плохо живут эти люди, в чем причина столь бедственного положения? Он смотрит глазами офицера, который едет с подорожной по казенной надобности по Азии.

VII. Война

1

В уже упоминавшемся романе Д. Дамиан «В вашем мире я – прохожий...» глава «Экскурсия» посвящена поездке школьников в Пятигорск. В автобусе между ними возникает дискуссия:

«Заур отложил книжку и обвел притихших детей своим тяжелым пристальным взглядом: «Таким образом, Лермонтов мог вполне убить моего прапрадеда, который участвовал в этом сражении при Валерике в июле 1840 года. А чуть позднее ваш Лермонтов был и в составе штрафбата того времени, он руководил отрядом конных «охотников», куда входили разжалованные офицеры, казаки и кабардинцы. Всем им было нечего терять и хотелось заслужить или вернуть доверие Российской Империи любой ценой. И Лермонтов был всего лишь одним из них, храбрым офицером, убивавшим «хищников». Да-да, это ведь сейчас вы нас называете черными, хасбатами, нартухами, а тогда вы называли нас «хищниками». Я понимаю, конечно, у Лермонтова была своя история взаимоотношений с властями, с царем, но его отношение к нам никак нельзя назвать последовательным. То он сражался в первых рядах, зарабатывая возможность вернуться в Россию, то прикидывался больным и немощным и норовил поправить здоровье на водах вместо того, чтобы отправиться к месту службы. То он был на стороне империи, то представлял себя горцем, отстаивающим свою независимость».

Пока Заур говорил, Динка думала, что в чем-то он прав, но вместе с тем совершенно не понимает Лермонтова. Он ведь намеренно не хотел занимать ничьей позиции, ни горской, ни имперской, обе были для него тупиковыми. В мозгу у нее стучали строки: «И с грустью тайной и сердечной», – а Заур, вот ведь как он все повернул. – «Я думал: «Жалкий человек»; – словно забыл другие строки из «Валерика»: «Чего он хочет!.. небо ясно», – но строки-то эти там есть, и они важнее, – «Под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он – зачем?»

2

Последовательного отношения от Лермонтова ждет не только герой романа Д. Дамиан, это волновало и самих горцев.

И. Карачайлы писал:

«За время сознательной жизни у нас не один раз возникал вопрос: почему Лермонтов, автор «Измаил-Бея», писавший о своем «врожденном чувстве защищать всякого невинно осужденного», как никто понявший трагедию горцев, был не на стороне невинно осужденных, невинно обреченных на истребление горцев, борющихся за свою свободу, а принадлежал к другому лагерю, который им, горцам, нес разорение и гибель, и в лучшем случае – цепи рабства, чуждые им законы и порядки?»

«Человек такого ума, таких дарований, такой воли, как Лермонтов, рос и развивался не по дням, а по часам. Несомненно, он докопался бы до правды, до ее полного осознания и усвоения и сделал бы свои выводы».

Автор с детской наивностью оставляет Лермонтову шанс все понять и осознать. Анализируя поэму «Измаил-Бей», он пишет:

«Лермонтов не только говорит о закономерности ненависти горцев к русским в тот период их истории, он устами того же героя ставит вопрос, волновавший, несомненно, самого поэта, обращенный к русскому офицеру, жениху обольщенной им девушки:

Ты молод, вижу я! За славой
Привыкнув гнаться, ты забыл,
Что славы нет в войне кровавой
С необразованной толпой!
За что завистливой рукой
Вы возмутили нашу долю?
За то, что бедны мы и волю,
И степь свою не отдадим
За злато роскоши нарядной,
За то, что мы боготворим,
Что презираете вы хладно!
За что ж ты нас возненавидел,
Какою грубостью своей
Простой народ тебя обидел?

Вопрос поставлен ребром. Но Измаил-Бей получает на него лишь уклончивый, ничего не обозначающий ответ:

Ты ошибаешься, черкес! –
С улыбкой русский отвечает...

Почему с улыбкой? Ничего смешного как будто. Только люди, прижатые к стенке, которые в свое оправдание ничего не могут сказать, только они улыбаются в такой момент. А вот посмотрите, если это не так:

Поверь, меня, как вас, пленяет
И водопад, и темный лес,
С восторгом ваши льды я вижу,
Встречая пышную зарю,
И ваше племя я люблю,
Но одного я ненавижу...

Здесь есть все: водопад, заря, ледники и т.д., но нет ответа на волнующий вопрос, который, конечно, только горец мог задать. Удивительно, что Лермонтов эти-то вопросы задавал, но ответов настойчиво на них не добивался. А если бы он, русский офицер, русский дворянин и помещик Лермонтов, стал бы упорно добиваться ответа на них, то мог бы быть только один ответ:

– Русские «возненавидели» горцев ни за что, или – ягненок виноват тем, что волку хочется его съесть.

А раз «ни за что», то от этого до измены русскому «национальному делу», до перехода на сторону противника – лишь один шаг.

Ислам Карачайлы – удивительная фигура! Он удивителен и замечателен своей общекавказской памятью о жестокой войне. Именно у карачаевцев абадзехи, шапсуги, убыхи, непокорные кабардинцы, ставшие впоследствии черкесами, находили поддержку оружием, порохом, продовольствием и очагом. Он первый, кто прочитал произведения Лермонтова, как горец, с позиции всех горцев, для которых война стала катастрофой. Перечитывая его статьи, удивляешься тому, что на рубеже XIX–XX веков существовало единое северокавказское поле культуры, то, что сегодня, при наличии Интернета, телевидения и прочих СМИ, практически отсутствует. Рост национального самосознания, если говорить по С. Липкину, пошел в сторону самосознания крови, а не самосознания культуры.

3

Роман Е. Хамар-Добанова «Проделки на Кавказе» был напечатан тиражом 1200 экземпляров, 906 из них изъяла цензура. Роман был признан военным министром вредным – в нем «что строчка, то правда» – и изъят из продажи, а за автором установлен полицейский надзор. В беседе с князем Чернышевым, военным министром, император указал ему: «Мы ничего не знаем о Кавказе, а эта дама открывает нам глаза!»

Приведем два отрывка из романа. В первом – будничная картина войны, а во втором – ее оценка.

«...старуха навьючила на спину труп внучки и потянулась к родному аулу; но недалеко отошла она: бремя было не по ее силам; она села отдыхать, горько рыдая над мертвым телом. Вдруг раздался поблизости ружейный выстрел, смотрю – старуха медленно валится. Я послал посмотреть, что с нею случилось: она была убита пулей в голову. Тут близко стояли солдаты возле своих ружейных козел, и один из них, молодой человек, вытирал ружье. «Ты убил эту женщину?» – спросил я. «Не могу знать, ваше благородие», – отвечал солдат. «Как тебе не стыдно стрелять по старухе?» Он отвечал: «Виноват! Неумышленно! – затравки отсырели, ваше благородие! Давеча ружье все осекалось! Что вам их жалеть – ведь они народят проклятых

черкесов!» Все солдаты громко захохотали, прибавляя: «Правда, брат, твоя! Да еще сами дерутся чем попало, готовы отправить христианина на тот свет!»

« – Вот видите, полковник! Не правда ли моя? Воля ваша, я люблю их дикую честность! Возьмите черкеса, разберите его как человека – что это за семьянин! Как набожен! Он не знает отступничества, несмотря на тяжкие обряды своей веры. Как он трезв, целомудрен, скромен в своих потребностях и желаниях, как верен в дружбе, как почтителен к духовенству, к старикам и родителям! О храбрости нечего и говорить – она слишком известна. Как слепо он повинуется обрядам старины, заменяющим у них законы! Когда же дело общественное призовет его к ополчению, с какою готовностью покидает он все, забывает вражду, личности, даже месть и кровомщение! Черкесов укоряют в невежестве; но взгляните на их садоводство, ремесла в тех местах, где наша образованность не накладывала просвещенной руки своей, и вы согласитесь со мною, что они не такие звери, какими привыкли мы их почитать.

– Все так, Александр Петрович! Но зачем же не внемлют они призыву нашего милостивого правительства?

– Я вам, полковник, сейчас определю все – что, как и для чего делается: оставляя черкесов спокойно владеть собственностью, управляться своими обычаями, поклоняться богу по своей вере – словом, уважая быт и права горских народов, мы берем их под свое покровительство и защиту: такова благодетельная цель правительства; но она встречает многие препятствия в исполнении. Первое из этих препятствий – различие веры, нравов и понятий; мы не понимаем этих людей, и они нас не понимают в самых лучших намерениях наших. Второе – при всех добрых намерениях, мы здесь должны нередко доверять ближайшее влияние на них таким людям, которые думают только о своем обогащении, грабят их, подкупают руку сына против отца, жены против мужа...

– Право, беда с вами, Александр Петрович! – возразил старик, вставая. – Правда ваша, да как решаетесь быть их защитником?»

Прототипом Александра Пустогородова, которому принадлежат эти слова, послужил Александр Бестужев, служивший на правом, западном, фланге Кавказской Линии. Е. Лачинова была с ним близко знакома, а Лермонтов был страстным поклонником творчества Бестужева-Марлинского. Думается, что не будет особой натяжки, если предположить, что в оценке войны и Лермонтов, и Бестужев совпадали.

4

В своей книге «Кавказ: земля и кровь» Я. Гордин пишет: «Знаем ли мы хоть малейшие следы мук совести у русских офицеров Лермонтова и Толстого? Нет. Что это означает? Что они были моральными уродами? Сомнительно. Они были людьми военной империи, принадлежали к дворянству – касте, предназначенной для войны, и воспринимали войну как нечто совершенно естественное. Это был бытовой, неидеологизированный слой их существования. И это вполне укладывалось в рамки европейской традиции».

И далее, в развитие этой мысли:

«Зияющая лакуна в нашем знании российской жизни, ее психологического аспекта, связанного с шестидесятилетней Кавказской войной, и есть наше незнание о том, как же эта война влияла на общественное сознание? Влияла ли вообще? И если влияла, то какой тип сознания вырабатывался под воздействием этой многолетней резни на границах империи?

Это вопросы огромной важности и болезненности, и, быть может, именно поэтому в нашей исторической науке им, можно сказать, совершенно не уделялось внимание».

И еще одна, важная цитата:

«...русская армия вела тяжкую для себя и гибельную для горцев войну не для того, чтобы отобрать у них саклю и чурек или посягнуть на их жизненный уклад, – это были трагические издержки разрешения куда более серьезных задач. И для горцев смысл их смертельной борьбы заключался не в защите имущества – они могли сохранить его, покорившись, – а в отстаивании своего миропредставления, вне которого их жизнь во многом теряла смысл, ибо терялось сложившееся веками самопредставление».

Я. Гордина от романа Е. Лачиновой отделяет полтора столетия, но пытаясь объяснить, чего хотят горцы, что им нужно, они проходят мимо главного: народу мало владеть имуществом, мало жить по своим обычаям и на своей земле. Народ должен обладать этой землей. Только ощущая себя хозяином земли, пусть даже самой маленькой, этнос обладает полноценным, не ущербным, самосознанием и самоощущением. Не миропредставление, не имущество, а право владеть и распоряжаться своей землей отстаивали горцы.

Вопрос о влиянии русско-кавказской войны на общественное самосознание – риторичен. Никаких положительных эмоций к противной стороне человек из войны не выносит, а уж тем более из «закрытой» для общества войны. Война в Афганистане была «закрытой», и что же, как она повлияла? Так же, как и Кавказская, – никак. Несоизмеримы были масштабы воюющих сторон. Что для одной стороны составляло невосполнимые жертвы, для другой – стало лишь кровавым опытом.

5

Но посмотрим на эту войну глазами самого простого русского офицера поручика Н.В. Симановского (1811–1877), чей дневник в качестве приложения был опубликован в упомянутой книге «Кавказ: земля и кровь».

«**2 мая** (1837 г. – *Дж. К.*). Посреди неимоверных трудностей бывают иногда приятные минуты, самое воспоминание происшедшего доставляет нам уже некоторое удовольствие: я живу теперь в палатке и счастлив уже тем, что не мочит меня дождь, который эту ночь не переставал. Из палатки виднеются Кавказские горы, вершины коих касаются небес, – прелестный вид, но как грустно, как скучно при мысли, что должен остаться здесь еще почти целый год. Бедный Стандершельд очень заболел: у него горячка, он отправился вчера в город Екатеринодар».

«**25 июня.** Если в походе мы празднуем рождение государя, что же делается теперь в Петербурге! Сколько радостных лиц можно было видеть на разводе в Петергофе и сколько людей не спали покойно эту ночь в надежде производства или в надежде прицепить аксельбант!»

«**8 июля.** Зритель, верно, удивился бы, куда и зачем так близко к цепи и даже за цепь бегут со всех сторон офицеры, какое любопытство влечет их. Я сам бежал, как сумасшедший. Линейный батальон возвращался, и мы бежали навстречу, дабы увидеть черкешенок, одним словом, увидеть женщину, это милое создание, которого мы уже более 2-х месяцев не видели. Мы и не обманулись: на телеге везли старика и старуху, отца и мать перебежавшего к нам черкеса, и молодую жену его с ребенком. У ней прелестные глаза, но она не брюнетка – у нее русые волосы, бела и бледна, может быть от незнания своей будущей участи, но видно также, что она очень изнурена: она очень мила и ей нельзя дать больше 18 лет».

«**1 сентября.** Я был на пароходе в такой чистой комнате, какой уже 6 месяцев не видел, я сидел на диване и пил чай из прекрасных чашек, признаюсь, что здесь это роскошь».

«**1 октября.** Люди партикулярные лишены многих удовольствий против военных. Как приятно было уснуть в теплой комнате и пить чай со сливками! Да, это удовольствие может понять только военный. Пять месяцев мы не знали другого крова, кроме палатки и бивака, а о сливках нечего и говорить, был бы только сухарь, труды же переносили такие, какие редко встречаются, а может быть, и никогда! В европейской кампании! В европейской кампании больше удовольствия, больше жизни, я вижу своего врага, здесь же не видишь, откуда летят пули, лоскутник избирает такое место, откуда его и видеть, и выбить трудно, жизнь каждую минуту в опасности, тогда как в европейской кампании – только при виде неприятеля. В европейской кампании я сражаюсь по роду моей службы, здесь я, кавалерист, ползаю с пехотой по горам; там встречаете деревни, видите людей, здесь – ни того, ни другого. (...) Екатеринодар очень переменился в свою хорошую сторону: дома и решетки подкрашены, везде заметна чистота, улицы высыпаны песком. Кто был прежде в Екатеринодаре и видит его теперь, тому немудрено догадаться, что ожидают приезду какого-нибудь важного человека».

«**14 июня** (1838 г. – *Дж. К.*). С каким удовольствием читал я «Библиотеку для чтения!» Книги здесь так же редки, как хорошенькое, свежее личико в Петербурге».

«**12 июня.** Я ходил по саклям, и они мне чрезвычайно понравились, особенно княжеская, в которой Люлье жил 5 лет, в ней чрезвычайная чистота. Она состоит из одной комнаты, как и

все сакли вообще, чисто вымазанной глиною внутри, без потолка и пола, печи нет, а сделана внутри комнаты к стене между окном и дверьми труба, расширяющаяся книзу и не доходящая до земли на 1 аршин, они под нею разводят огонь и готовят кушанье. Места для постели сделаны немного повыше полу, одна дверь и одно окно, очень низкое, закрывающееся деревянными ставнями. Крыша покрыта соломой, под одной крышей сделана также чистенькая конюшня для лошадей. На дворе сделаны два амбара, в коих мы нашли шелковых червей, и два амбара для хлеба. Сад у этого князя прекрасно обработан, у него есть виноград и многие фруктовые деревья, в том числе множество абрикосовых и персика, которые унизаны фруктами. Это огромный аул, состоящий сакль из 50-ти, где живут его крестьяне. Как обвинять их теперь, что они привыкши к свободе, не хотят с нами примириться и защищают свои прелестные места?»

«**30 июня.** Как я рад, что достал «Рассказы и повести» Бестужева-Марлинского, которые хотя несколько раз читал, но теперь с удовольствием перечитываю».

«**1 июля.** Как живо рисуется в моем воображении петергофский праздник! На большой дороге в Стрельне теперь нет проходу, пыль столбом, я обыкновенно на этот день уезжал из лагеря в Стрельну. Петергоф, как магнит, притягивает теперь к себе со всех сторон. Пароход, баркасы, тихвинки и даже для смелых маленькие лодки не имеют недостатка в седоках, извозчикам раздолье, и, верно, вечером в Петербурге не найдешь ни одной кареты. Но и здесь мы тоже прогуливаемся по прелестным горкам, но прелестным для глаз, а не для того чтобы на них ползать».

«**13 мая.** Какие живописные здесь места! Может быть, со временем они будут составлять лучшую российскую губернию, черкесы принуждены будут скоро с нами помириться, ибо, отрезав им сообщение от Черного моря, у них будет большой недостаток в порохе, который хотя и делают сами, но их порох без примеси другого очень слаб. Воины их также убывают значительно, убыль одного в семействе для них много значит, хлеб и аулы их оченно истребляют, угоняют рогатый скот и овец, что составляет их большую промышленность, таким образом многие семейства остаются без куска хлеба. Положение такого роду должно скоро наскучить, несмотря на их воинственный дух».

Дневник Н.В. Симановского особо интересен тем, что он принадлежит человеку лермонтовского поколения, он точно отражает и круг интересов, и направление мыслей. Кавказская война не составляла для многих офицеров славы, это была бесславная война.

6

Но самое главное свидетельство – свидетельство самого Лермонтова. По его письмам легко проследить, как менялось его отношение к военной службе.

«Не могу представить себе, какое впечатление произведет на вас такая важная новость обо мне: до сих пор я предназначал себя для литературного поприща, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вдруг становлюсь воином. Быть может, такова особая воля провидения! Быть может, это кратчайший путь, и если он не приведет меня к моей первоначальной цели, то, возможно, приведет к конечной цели всего существующего. Умереть с пулей в груди стоит медленной агонии старца. Поэтому, если начнется война, клянусь вам богом, что везде буду впереди». *(М.А. Лопухиной, 15 октября 1832 г.)*.

«Лишь одно меня ободряет – мысль, что через год я офицер! И тогда, тогда... Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести!.. О, это будет чудесно: во-первых, причуды, шалости всякого рода и поэзия, купающаяся в шампанском». *(М.А. Лопухиной, 4 августа 1833 г.)*.

«...скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку». (*С. А. Раевскому, декабрь 1837 г.)*.

«...меня преследуют все эти милые родственники! Не хотят, чтобы я бросил службу, хотя я уже мог бы это сделать: ведь те господа, которые вместе со мною поступили в гвардию, теперь уже там не служат». (*П.И. Петрову, 1 февраля 1838 г.)*.

«У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас было 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте – кажется, хорошо! – вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью...

«Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые не показались бы приторными». (*А.А. Лопухину, сентябрь 1840 г.)*.

«Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую изо ста казаков – разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я умею их раскусить. (...)

Мне тебе нечего много писать: жизнь наша здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции не велят. Ты видишь, как я покорен законам. Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетель». (*А.А. Лопухину, 16–26 октября 1840 г.)*.

«Я только что приехал в Ставрополь, дорогая мадемуазель Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпиным Монго. Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать.

...признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено вечно длиться». (*С.Н. Карамзиной, 10 мая 1841 г.)*.

«То, что вы мне пишете о словах графа Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать?

Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам». (*Е.А. Арсеньевой, 28 июня 1841 г.)*.

Каких либо нравственных переживаний по поводу справедливости или несправедливости войны – нет, да и, собственно, быть не может. Это был не только взгляд русских офицеров, это было свойство самого времени, века XIX. Замечательно сказал Умберто Эко:

«Объединившись и образовав национальное государство, Италия, по примеру прочих европейских стран, завела себе колонии. Воздержимся от моральных оценок. В XIX веке никто не осуждал колонизаторов, существовала настоящая идеология «бремени белого человека» – так выражался Киплинг, так думали почти все».

VIII. Кремнистый путь

1

И сегодня еще, время от времени, всплывают всевозможные версии дуэли и гибели Лермонтова.

Помнится, особое впечатление произвела на меня статья одного психолога, в которой утверждалось, что Лермонтов к моменту ссоры с Мартыновым настолько вошел в созданный им же самим образ Печорина, что не мог остановиться. Версия заманчивая, но теперь, по прошествии времени, она представляется малоубедительной.

Лермонтов был уверен в благоприятном исходе поединка. В этом же были уверены почти все участники дуэли – секунданты и друзья, ведь, на самом деле, каких-либо веских причин убивать поэта у Мартынова не было. Все начиналось с неудачной шутки, представлялось шуткой, но шутка эта зашла слишком далеко. Поэт, в сущности, очень молодой человек, переоценил свое знание человеческой натуры. Мартынов жаждал не убить, но – проучить, как того хотел и Грушницкий, противника. И если кто-то и вошел в роль, то это скорее всего Мартынов.

2

И все-таки – эта дуэль и смерть поэта навсегда оставили чувство невосполнимой и несправедливо ранней утраты. Когда приходится слышать рассуждения, что так было прописано и определено свыше и что, мол, останься он жив, уже ничего не написал бы – согласиться, да и знать наверняка – невозможно.

Наш путь познания, путь жизни человеческой – кремнистый, мерцающий путь, уходящий в бездонную звездную высь. Поэт уже прошел по нему, по нему идти и нам, всем, кто любит и чтит Михаила Юрьевича Лермонтова.

Улболсын АБИШЕВА

Улболсын Курмангалиевна Абишева – доктор филологических наук, профессор Казахского национального ун-та им. аль-Фараби. Выпускница филологического фак-та КазГУ. Окончила докторантуру МГУ им. М.В. Ломоносова, в специализированном совете которого защитила докторскую диссертацию по теме «Неореализм в русской литературе 1900-1910-х годов».

Автор монографий «Неореализм в русской литературе 1900-1910-х годов» (Москва, 2005), «Художественный синтез в русской литературе начала XX века» (Алматы, 2007) и более 100 статей по русской литературе серебряного века, издававшихся в сборниках и ведущих литературоведческих журналах России, Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья.

Провидец Дали

(Поэзия А. Кодара в сборнике «Зов бытия»)

Листаю оглавление книги «Зов бытия». Мелькают ее разделы: «Стихотворения», «Переводы». «Литературоведение». «Рецензии». «Абаеведение». «Культурология». «Искусствоведение». Свобода в формировании сборника сопоставима со степенью свободы автора, равно владеющего жанром культурологического эссе, философского исследования, литературоведческой статьи. В ней выразительно сталкиваются разные стороны кодаровского жизненного опыта, различные грани его личности. Здесь мы имеем случай совмещения в одном лице поэта, переводчика, философа, культуролога, публициста.

Еще «Зов бытия» создает впечатление итоговой книги, в которой подводятся итоги не жизни, а определенного значимого ее периода. В ней размышления о жизни, о времени, о существенных для автора ее этапах и опыте. А. Кодар пишет о социокультурной и языковой ситуации в стране, о тенденциях в современной казахской литературе, об эхе модернизма в Казахстане, о культуре как о единственной духовной константе общества. Он формулирует самые остроконфликтные проблемы, внятно проговаривая свою позицию. Говорит о цивилизациях, не понимающих вызов времени и потому превращающихся в отсталые или «задержанные». Автор погружается в приметы новой страны, размышляя об ущербной морали идеологов национального суверенитета, оппозиционно настроенных к внешнему миру, о бесплодности бесконечных юбилеев вместо возделывания сада культуры. От размышлений публициста о призрачной, ничем не ограниченной свободе художника и критика, о необходимости интеграции Казахстана в мировое культурное пространство А. Кодар естественно переходит к культурному ландшафту страны. Он исследует островки духовности в ней, предается размышлениям о корнях и истоках, питающих современную казахстанскую литературу, о новых театральных постановках, об интересных казахстанских скульпторах. Делится своими мыслями о феномене Степного знания, являющемся своеобразным социокультурным кодом кочевой культуры. В очерках и эссе – мысли о творчестве собратьев по писательскому цеху, о близких по группе крови. Кодар-критик умеет заметить в рецензируемых произведениях и извлечь на свет глубоко личное, отметить то, что делает творчество художников современным.

Но обратимся к разделу поэтическому, к лирике самого А. Кодара. Ведь именно художественный мир книги вкупе с культурологическим разделом является выразителем личной системы смыслов ее создателя. В нем предстает авторское вЪдение мира, проступают близкие культурные созвучия, обнаруживается внутренняя драматургия и сюжетика поэзии А. Кодара, художника, работающего с материей большого Времени.

Наверное, прав и одновременно не прав был Бродский, сказавший: «Поэзия есть высшее достижение языка, и анализировать ее – лишь размывать фокус»[1]. Искусство не укладывается

[1] И. Бродский. «Сын цивилизации».

в строгие литературные концепции и нельзя «объяснить» поэзию, ибо она беспредельна. Но анализировать ее необходимо. Потому что, говоря о прошлом и настоящем, поэт обрисовывает будущее, выражает свои мысли и идеалы о нем.

Предлагаемая статья – не анализ критика, это взгляд заинтересованного читателя. Поэтому, остерегаясь концептуально выстроенных утверждений, попробуем сосредоточиться на сквозных лейтмотивах, темах, идеях поэзии А. Кодара, на особенностях ее образного ряда, на том, что является в сборнике важнейшим для понимания мироощущения художника.

Несколько слов о заглавии книги «Зов бытия», как я его понимаю. Оно мне кажется выношенным, не случайным. В нем прочитывается формула жизненного кредо художника, а не только определение его главной темы. Жизнь современного человека в череде дел часто теряет целостность и осмысленность. Обезличенный, а порою бессмысленный круговорот повседневности, когда человек живет узкобытовыми, материально приземленными ценностями заменяет целостное существование. Бытие, как часто бывает, подменяется бытом. Автор же размышляет о сцеплении токов Бытия и жизни. Когда за житьем–бытьем, за самотеком жизни располагается нечто сущностное. Жизнь – явление к рациональному и материальному несводимое – прочитывается в заглавии. Надо уметь слышать зов Бытия.

Лирическими сюжетами сборника становятся впечатления от внешнего мира, размышления о времени, о его трещинах и сколах, о горестных и беззаботных его мигах, рефлексии по мотивам древних мифов и исторических событий Степи. О чем бы ни были стихи Кодара в них важно умение художника перейти от частного к общему. И от общего к своему.

Камертоном, задающим тему и уровень поисков, сквозных для всей книги, звучит цикл *«Письмо в никуда»*. Он открывает поэтический раздел. Автор обращается к волнующей его теме исторической памяти, к разноплановым историческим лицам казахской степи. В целом цикл выстроен как лирический монолог нашего современника, творческой личности.

В стихотворении «Чокан в Петербурге» через судьбу Чокана Валиханова актуализируется вопрос о предназначении художника, его миссии. В нем перед нами – интенсивная духовная жизнь, наполняющие душу сомнения, мятежное состояния мысли российского офицера-казаха, дипломата и чиновника, представлявшего царскую администрацию. Тема его – это тема одиночества, непонимания, отрыва от времени, в котором живешь. Не понятый своими соотечественниками, опередивший свое время Валиханов – «инородец» в глазах русских, «кафир» в глазах соотечественников. Психологическое переживание лирического героя А. Кодара окрашено драматизмом. Он так же, как и Чокан, мучительно переживает драму нестыковки между собой и своим временем. Между собственным опытом и жизнью современников. Он размышляет о том вакууме, который создает вокруг Поэта время. Вероятно, поэтому письмо направлено не современникам и не потомкам, а в никуда.

В Петербурге – туман... Не понять
Где дома, где кареты, где люди...
Эх, сейчас бы степного коня
И скакать, пока боль не убудет!
.....
В родах корчится старый наш мир.
Но за что наказанье мне это:
Для казахов я – дерзкий кафир,
А для русских – дикарь в эполетах!

И все туже сжимается круг.
Меня любят лишь горные кручи.
«Все ничто перед вечностью, друг» –
Утешает опальный поручик.

Где ты. Время?.. Подставь же плечо...
Сколько судеб в тумане разбито...
Под Петром конь взметнулся свечой
И застыл, роя воздух копытом.

В поэзии Кодара преобладают элегические интонации, обнажая суть времени, в котором живёт не только поэт, но и мы – его читатели. Так в стихотворении «Письмо в никуда» – все тот же напряженный импульс саморефлексии. Оно открывается эпитетом из Абая, его строчкой: «Ты вроде кирпичика в здании мира, / Найди свою нишу и там укрепись».

Художник размышляет над вопросом: зависит ли ход истории от усилий одиночек? Это стихотворение о миссии художника, на плечи которого ложится груз чрезвычайной тяжести: пропустить через себя свое время и внести изменения в него. Такова миссия поэта — не им, а историей определенная, – *личная* готовность взять на себя груз ответственности за свое время.

Даже, если это время скверное, а реальность – дурная и тусклая. И Абай, и вместе с ним лирический герой Кодара чувствуют свое предназначение – личностно преобразовать свое время.

Тема, начатая А. Кодаром в этом стихотворении, была продолжена в статьях автора. Характерно, что поэзия и культурологические исследования взаимно «перетекают» друг в друга в этой книге. Последние дополняют и проясняют поэтические размышления. Так, осмысливая феномен Абая, Кодар опровергает общепринятое определение жанра его прозы как слова-назидания: «Абаевское «а лия» происходит от арабского «а лия», что обозначает умонастроение, умственный уровень, нечто умственное или помысленное. Поэтому эту лексему лучше перевести как «размышление», чем «назидание». Кроме того, известно, чтобы назидать, надо сначала помыслить.<...> Абай и сам прекрасно понимает свое положение. Любая цивилизованная деятельность в нецивилизованной среде представляется ему бессмысленной. <...> Абаю некому назидать и его прозаические этюды – это разговор с самим собой и с Богом, т.е., это одинокие размышления вслух, или монологи, как их принято называть в западноевропейской традиции. Вспомним «Монологи» Августина или «Размышления» Марка Аврелия. Ведь они и у того, и у другого появились в сходной с Абаем ситуации – ситуации самоотторжения от толпы в целях укрепления своей веры или мысли, ставшей для них превыше всего. Абай тоже понимает всю безысходность своей ситуации, но именно в ней находит себя. <...> Но остаться в таком одиночестве это значит обречь себя на монологическое творчество, обращенное в бесконечность; добровольно взвалить на себя роль Логоса, день и ночь вещающего об одном и том же.

Но только при таком бдении создается культура, иного рецепта нет»[1].

Автор размышляет о философском мышлении Абая, определяя его труд как «Размышления, или монологи». Уникальность их, по мысли Кодара, не только в жанре, но и в том, что в качестве своего героя мыслитель избирает «целый народ» на фоне этнографических, исторических, религиозных, ментальных факторов.

Поэт творит в вечном, а не в «теперешнем» времени – писал Л. Толстой. Лирические персонажи Кодара, помня это, свой долг видят в утверждении духовности, в ее созидании, несмотря на что, в общественном бытии она не востребована. Они тяжело поднимают в гору свой груз и несут его, хотя понимают, что для изменений нужны смены поколений.

...В лабиринте сознанья – садовник? Цветок ли? – блуждая,
Шлю свои позывные сошедшей с орбиты звезде.
Я на шаткой земле сюрреальный кирпичик Абая,
В мирозданье мне тесно и слишком просторно в гнезде.

Или время восстало, пространство прессуя в таблетки,
Иль дороги свихнулись, прохожих ведя лишь в Содом.
Но хватаясь за все, оскорбляясь молчанием предков,
Не найду я той ниши, где был бы забытый мной дом.

Я смеюсь надо всем и над многим в бессилии плачу.
И пусть это зовут западнею, злосчастьем, судьбой,
Я не равен себе, а значит, живу наудачу,
До какой-нибудь встречи, – и может быть, даже – с собой. («Письмо в никуда»).

В книге важно редкое ощущение времени, дающее человеку чувство свободного полета, не отягощенного бременем бытовой повседневности. Когда он не подвластен силе тяжести и земное притяжение не давит. Такое состояние возникает у лирического героя в стихотворении «Вот город, где мне никто не рад». Оно также имеет рефлексивно-философский характер. И вновь в нем – исповедь, самообнажение, дух творчества, высвечивающий полноту бытия.

Путешествие во времени дает возможность лирическому герою снова и снова переживать целостность и нерасчлененность мира, творить его заново, растворяясь в нем. Лирический герой странствует в мирах не только настоящих, но и прошедших. Он живописует древний восточный город с минаретами, садами, восточными базарами и дворцами. Он показыва-

[1] Ауэзхан Кодар. Зов Бытия. Алматы. Издательский дом «Таймас», 2006. С. 385.

ет юного Фараби, покидающего родной Отрар и отправляющегося на учебу туда, «где, нет ни времени, ни меры». Ему предстоит обрести знания, изучить философию и точные науки, совершенствовать свой арабский и персидский, изучить латынь и санскрит.

Юноша еще не догадывается, что можно многое узнать, проникнуть в тайны многих книг, но нельзя достичь абсолютного знания о мире и познать истину. Ибо процесс познания бесконечен, а мир, постоянно изменяющийся и развивающийся, беспределен. Он придет к этому знанию, потому что он – будущий философ, учитель многих мудрецов Востока:

<...> Помедлив чуть у городских ворот,
В последний раз садов вдохнул он запах.
Когда бы знал он, что Восток падет,
И все дороги повернут на запад!..

Что сколь бы он ни ехал, не найти
Ему земли, которую покинул.
Что он и сам изменится в пути,
Что и земли изменится картина. <...>
(«Вот город, где мне никто не рад»)

Следующее стихотворение, о котором хочется сказать, «Я приеду домой, в джусалинскую тишь». Автор воссоздает в нем образ своей малой родины, дальнего аульного захолустья. Родной дом и край выступают в нем не просто как географический топос. Это ментальное пространство. Здесь – его земляки и близкие. Хотя мало что в их бытии располагает к оптимизму, ничто не приводит их в смятенье. Их как будто не волнуют ни политические катаклизмы, ни экономические кризисы, ни банковские дефолты, ни климатические катастрофы. Они живут просто, не замечая угнетающую скудость существования. Существование их полно того смысла, который именуют здравым, народной этикой. Их жизнь коренится на прочной основе народной мудрости и нравственности, поэтому она устойчива, несмотря ни на какие сложности. Это мудрое существование простых людей аула дает силу неприкаянному сыну своего народа, является его опорой в жизни.

Я приеду домой, в джусалинскую тишь,
Где как в Индии, бродят коровы.
Где дремотны деревья, где можно до крыш
Дотянуться и с небом стать вровень.

Я приеду домой, где течет Карузек,
Утомляя спокойствием берег.

Земляки там мои коротают свой век.
Ни во что кроме дома не веря.

Там живут по обрядам любви и труда,
По обычаям жизни и смерти.
Там и время провисло, заснув в проводах
По-над степью, что еле их терпит <....>

Стихотворения «Со всеми знаясь, но ни с кем», «Халиолле (И сумрака снова чащобы тараня»), «В плену незримом липких паутин», «Я пришел переулками ночи», «Меланхолия (Ах, почему такая грусть?»), «Ни коня, ни монет, ни семьи, ни детей», «Тишина есть материя тонкая», «Ночами я лежу без сна» – это также психологическая лирика. Она отражает напряженность интеллектуальных и нравственных поисков автора. Темы здесь самые разные. Это стихи о человеческих взаимоотношениях, о смысле жизни, о любви, о желании одухотворить бесформенность и беспорядочность быта. В них сложная гамма чувств разочарования и прозрения, привкус горечи и тревоги, надежда и отчаяние. Авторская интонация органично вмещает и грусть, и меланхолию, и иронию, иногда боль. Они соседствуют с философской медитацией.

В стихах Кодара мало событийности, в них больше созерцательности и наблюдений – над другими людьми, над собой, смотрящим на других людей. Строки оседают в памяти отточенными формулами: Пройдусь по высохшему дну / Как по своей душе я» или «Я, говорящий, пленник немоты. / Безмолвствовать есть высшая отрада», или «Этой болью сердечной я, видимо, жив, / Отчего ж средь живых я мертвею?». Очень много в них подстрочного и надстрочного элемента, а это примета глубокой лирики.

При чтении современной поэзии нередко появляется ощущение ее ломкой нервности, возникает ощущение, что это поэзия глубоко рефлексирующих, духовных, умных, тонких, но слабых людей. Ловишь себя на мысли, что кругом какой-то сплин, тоскливый самоанализ. Лирике Кодара также присуща рефлексия, но это рефлексия философская, без которой не бывает истинной поэзии. В ней нет ничего надрывного, заставляющего вибрировать душу, выдавливать из нее слезу. И в то же время авторский голос не жесткий. Это лирика человека, с достоинством переносящего испытания судьбы, окунающегося во все радости и печали, которые она посылает, без сте-

наний несущего все ее испытания. Это голос без ноющих интонаций, придающий силы и терпение жить другим – тем, кто рядом. Таким, наверное, и должен быть мужской голос в поэзии.

Слова А. Кодара, обращенные к другому художнику, Е. Курдакову, подходят, как нельзя лучше, к творчеству самого поэта. Они выражают осевую линию его поэзии:

Среди обломков мирозданья,
Крупою атомной дыша,
Забывшись в призрачном мерцаньи,
Звездой горит твоя душа

Звездой горючей и горячей,
Звездою видимой едва,
Полувздыхая, полуплача,
Полуодетая в слова.

В слова любви, слова печали
Из недр родного языка.
Душа твоя провидит дали
И в теле держится пока. («Е. Курдакову»)

В цикле *«Ночные арузы»* ощутима поэтическая традиция, пришедшая в тюркские литературы из арабской и персидской лирики, оказавшая влияние в целом на тюркские литературы. Аруз – это особая система стихосложения, где ритм создается за счет определенного чередования долгих и кратких слогов. Он включает три стихотворения, «Мы с легкой грустью Бога рождены», «Как хорошо, что нас он не забыл», «Порой с лицом, порою без лица». Цикл передает многокрасочность палитры Кодара. Признаки «восточного стиля» узнаваемы. Это и насыщенный колорит, и «метаобразность», присущая восточной словесности, и густота образного ряда. Но в то же время лирический сюжет стихов и их смысловой ряд отличается от классической лирики, он во многом осовременен.

Особенно удачен, на мой взгляд, цикл *«Дорога к степному знанию»* – заметный и важный в книге «Зов бытия». Он не только открывает новые темы в сборнике, но и очерчивает в поэзии А. Кодара другую, очень прочную, художественную линию. Цикл контрастно оттеняет лирические вещи. Он передает пульсацию исторического времени, его ритмы. Автора в нем отличает влюбленность в поэзию мысли, в философскую уединенность и художественная раскованность. Это цикл, навеянный степными ветрами и ковыльными травами, отдающий полынным привкусом во рту. В нем видишь безграничность степи, ширь ее просторов, высоту ее неба, слышишь шум ветра, ржание коней, топот копыт и дождь стрел.

Уникальность его в том, что окунаешься в безбрежный и захватывающий мир мифологических персонажей и мифов от Древнего Египта до шаманского Востока. Когда еще не состоялось формирование и становление кочевых племен в единый народ. Это стихи о времени, когда составной частью древней религии Степи были попеременно митраизм, зороастризм, шаманство, а ее народ поклонялся тотемным божествам, духам Земли, Воды, Неба.

Это глубоко интеллектуальные вещи. В них – философское осмысление истории Степи, судеб ее народа. Лирическими сюжетами цикла становятся взволнованный монолог древнего тюрка («Я был с Тенгри, где мой Тенгри, мой высокий бог?»), дума о Чингисхане («Памяти Чингисхана. Гора Бурхан халдун покрыта хвойной чащей»), задушевная беседа с поэтом Востока («Омару Хайаму. Мой собеседник ныне – камень»), полное горечи размышление великого мудреца из Семея («Монолог Абая»).

Митра тысячеокий, стотысячеухий, всесущий,
Льву подобный лицом, перевитый бессмертия змеем,
Заратустрой повержен, ты путь уступил свой идущим,
Чтоб однажды над Римом в штандартах солдатских зареять. («Описание Митры»).

или:

Вихрем кружится кам в маске сокола с серпиком клюва,
Так египетский Гор расправлялся с предателем-Сетом.
Бубен с черным крестом оставаться в покое не любит,
И камлание шло, пока кам не упал на рассвете.
.....
Вот воскрес Осирис... Гильгамеш об Энкиду горюет...
Будда в водах сидит, подобрав в виде свастики ноги...
Солнце пышно встает.... В переливе лучей, словно в сбруе....
Ослепляя красой молодого исламского бога... («Коркуту»)

Автор погружен в мощную стихию древнего мира кочевников. Он охватывает взглядом весь степной мир, его историю, судьбы его миротворителей и простых людей. В цикле ощущается объемность времени. Герои его – легендарный Коркут, Омар Хайам, Чингисхан, Абай, безымянный древний тюрок, мифологические персонажи – древневосточный Бог солнца, повелитель света Митра, почитавшийся и римскими легионерами; всезнающий и мудрый Тенгри, его жена – богиня Умай, дух Земли и Воды Йер-су, правитель нижнего мира Эрклиг. В цикле ощутимы мощный темперамент и энергетика героев, их страстность и сила, знание и мудрость, взрывчатая, стихийная энергия.

Автор воспевает земные страсти своих героев, их живой ум. В стихотворении «Голос древнего тюрка», герой говорит от имени многотысячных тюрков-воинов, проведших свою жизнь в седле, в военных походах. Воин ковыльной Степи, оставляя свой дом и землю, всегда скакал вперед, устремляясь к новым землям. Он постигал законы жизни в военных походах, стяги его рода развевались далеко от родной степи. Он вернулся в степь, здесь он, состарившийся, доживает свой век.

Я был с Тенгри, где мой Тенгри, мой высокий бог?
Если правишь не от бога, значит, невысок.
Я имел кагана, помню, где же мой каган?
Без правителя и веры не бывает стран
Был когда-то целым миром, где мой цельный мир?
Был я некогда кумиром, ныне наг и сир.

Но обретенный в трудных походах опыт воина, не дает ему упасть духом. Быть воином для него – вечное состояние духа, он не поддался смятению и не выпустил из рук поводья воли:

Да, я стар и, все же, молод мой горячий нрав,
Ибо многое я видел, потому и прав!
Так услышьте предсказанье старого вождя:
«Не дождетесь, дорогие, не уйду уйдя!
Я еще пойду в походы, пыль подняв до туч,
Подражая всем, кто мощен, честен и цветущ!
Я голодный, но не алчный, так-то вот, друзья!
Если мир с враждой покончит, кончу с ней и я...

В ряде своих эссе А. Кодар рассматривает философию как форму выражения национального самосознания. Философия для него то, что позволяет понять человека и его предназначение. Поэтому его внимание еще и еще раз привлекает Абай, то, как мыслитель строит свою онтологию, его понимание человека и его места в мире. Говоря об Абае, практически все исследователи отмечают учительную, воспитательную его сторону. Они говорят о просветительстве Абая, о том, что поэзия и мировоззрение были для него в той нераздельности, какая диктовалась эпохой, уровнем развития народа. Кодар имеет свой оригинальный взгляд на миссию художника в Степи в лице Абая: «Миф о просветительстве Абая возник, на мой взгляд, потому что фигуру Абая рассматривают, обычно исключительно в разрезе «личность и толпа». Но дело в том, что он досадует на толпу только потому, что она мешает ему идти по избранному пути. Что же это за путь? Как следует из текстов Абая, это путь посвященного в Истину, путь боговдохновенного суфия, в котором сочетаются вера святого со знанием хакима. Ибо вера без знаний ущербна, а знанье без веры пагубно. Т.е., это путь одновременно и мистический, и рациональный, и религиозный, и светский. Это путь, которым шли ал-Фараби, ибн Сина, ал-Газали, ибн Араби, а из людей более близко отстоящих от Абая – Дауани.<...> Чтобы понять Абая, к нему нужно несколько уровней приближения, первый, самый поверхностный, это миф об Абае, как о явлении европейской культуры, второй, мусульманский пласт, третий, тюрко-персидский, четвертый и последний, тюркский или тенгрианский. <...>

Это последний степной столп веры, сочетавший любовь к Богу с любовью к Справедливости и Знанию, который нес в своих генах трехтысячелетний опыт Степной традиции, всегда

пробивавший свой, неповторимый путь между Востоком и Западом»[1]. Размышления автора об Абае – это раздумья о духовных взлетах, подъемах и порывах Поэта. О стремлении за пределы наличного существования, о том, что обрести силу духа возможно в поисках и осознании смысла жизни. Преодоление зла жизни для поэта – это вопрос сущностного становления человека, его преображения. Поэтому идея нравственной жизни, аристократизма духа была для него главенствующей. Нравственное мирочувствие дает метафизическую ориентацию в Бытии. Не в этом ли причина актуальности Абая в наше время?

Образность стихов Кодара берет истоки из национального бытия, из культурной самобытности народа. Когда пытаешься осмыслить полученное от них впечатление, то, вспоминается густая плотность его художественных образов, улавливающих корень первосмыслов и первооснов бытия казахского народа. Достаточно вчитаться в эти строчки, чтобы осознать их знаковую образность:

Долго плачет кобыз – заунывно и потусторонне,
Словно с жизнью играя в последние жуткие жмурки; («Коркуту»)

или:

Белорунные овцы, усталый пастух,
Скачут воины в тяжких, блестящих доспехах.
То вознесся по небу кочевничий дух,
На земле упустивший поводья успеха. («Облака»)

или:

Каган не умирал. Каган как небо вечен.
Он в наших Чингистау, в хан-Тенгри Семиречья. («Памяти Чингисхана»)

или:

Просыпается кам, извлеченный из транса умело,
Мерным ритмом кобыза, придуманным этим же камом. («Коркуту»)

или:

Над притихшей землей бубном солнца шаманя,
Пляшет грозно баксы, чтоб к становьям своим
Без забот и тревог добрались караваны. («Облака»).

В поэзии Кодара предстает не только память о прошлом, дух истории и осознание национального мифа, но она проникнута вниманием к действительности. Живой, изменчивый современный мир запечатлевается в деталях. Приметы времени становятся предлогом для свободных ассоциаций. Так, например, в стихотворении «В санатории для ветеранов» вырастает образ дома, в котором пребывают старики, родившиеся и прожившие свою жизнь в железном двадцатом веке. Век скончался, а старики, тени его, доживают свою жизнь.

Образ XX века сросся в сознании современника с безжалостным мандельштамовским веком-зверем. Выразительна и кодаровская природа портрета века-деспота: «По их лицам прошелся окопной лопатою век, / Он бледнеет слюдой из прищуренных возрастом век / Он – в траншеях морщин, за которыми горе и стыд, / Он – в согбенных плечах, вожделеющих статными быть». Века уж нет, он остался вдали, а расстаться с ним у седых сгорбленных стариков нет сил. В стихотворении раздумья человека, знающего истину об этом веке и его современниках, пытающегося запомнить глаза пожилых людей, их беззащитный, немного растерянный взгляд, усталость и неумение жить без привычных оков века.

В сочетании с эпическим масштабом прошлых эпох нынешнее время – чужое время. В нем развеялись прежние представления о человеческом достоинстве, оно подрастеряло чувство совести. Так, в стихотворении «Вечер памяти – 93 («Пришел я к Магжану. Народу ни много, ни мало») нарисован торжественный, официозно-трескучий вечер памяти Поэта. В президиуме собрания – чиновники от литературы, ораторы состязаются в разоблачении пороков системы, говорят о тотальном страхе, о таланте поэта, расстрелянного в расцвете своего дара. А в уголке зала, притулившись сидит никем не замеченный старик, судьба которого искорежена этой самой системой и ее исполнителями. Он был в плен у немцев, затем сидел в со-

[1] Там же. С.379-383.

ветских лагерях, судьба его не щадила. И, может быть, его спасли любовь к Магжану и Аллах. Реакция автора однозначна. Он ощущает в этих речах тот же инстинкт системы, ее маскировку, приспособление под новое время.

Порою градус публицистичности накаляется в поэзии высоко, как например, в вещах «Союз писателей – 95», «Алматы – 98», «Замерзший бомж лежит в снегу», «С телеэкрана мэтр лжет», «Непреходящее начало», «Чиновнику». Философско–элегические интонации в них сменяются на желчно-саркастические или глубоко ироничные. И в этом случае кажется, что лирик-Кодар уступает место Кодару-публицисту. Автор не приемлет агрессивной спеси национал-патриотов, ему противна их страсть к самовосхвалению, в которой больше комплексов, чем уверенности. Он испытывает антипатию к любым проявлениям лжи, не принимает господства посредственности, всеядной вульгарности, чиновничьего самодовольства. Ему антипатично все, что не поддается проверке здравым смыслом и собственной совестью.

Не скрою – при чтении их у меня возникла мысль: будут ли они читаться завтра так, как сегодня? Не станут ли они с течением времени восприниматься как «злободневная литература». Актуальность в литературе, как известно, быстропроходящее качество. Но, видимо, Кодар-поэт и Кодар-публицист – единое целое, автор не может принять отстраненность, дистанцированность от «горячих» тем. Вероятно, потому что восстановление духовных, нравственных ориентиров требует от каждого личного действия. Важно, что в этих стихах нет пафоса ораторства, обличительных интонаций, в них скорее – боль:

<...> Не нужен прежде и не нужен ныне
Сиротствую, как будто на чужбине.
Что делать, если Родина – пустыня.
Да я – обломок мировой тоски,
Заброшенный в невинные пески. («Непреходящее начало»)

Потенциал традиции в творчестве Кодара существенен. В его поэтическом сборнике часты переклички с мировой поэзией. К Катуллу, поэту древнего Рима, восходят стихи *«Римских мотивов»*. Если в предшествующих циклах «Письмо в никуда», «Дорога к степному знанию» витает дух степного знания и мудрости, то «Римские мотивы» – явление, навеянное эротической поэзией. Весь цикл – о чувственном, о любовном вожделении. Видно, поэту всегда необходимо примешать зерно безумия в любую мудрость. Пансексуальная поэзия существовала всегда. Вспомним эротическую откровенность стихов, языческую жизнерадостность Сафо, Катулла, Баркова, Пушкина, Фета, гедонистические гимны Уитмена, Набокова, наделенные чувственной жизненной силой. Каждый их них по-своему славил плотские радости и женское тело, чувственную страсть, побеждающую сердце и разум.

Культивируя этот жанр, художник проясняет свой выбор: «Я думаю, что мое обращение непосредственно к поэтике римской античности более чем закономерно. Ведь и мы переживаем крах огромной империи, и если что-то видим вокруг, то только руины и пир во время чумы, т.е. разнузданный праздник голой витальности. Так всегда бывает, когда былые интеллектуальные парадигмы исчерпаны, а новые еще не наработаны. Поэтому мои «Римские мотивы» – это не стилизация, а попытка письма на несовпадающих цивилизационных и временных периодах. Видимо, ныне это единственное место, где поэт, отторгаемый отовсюду, может объявить тотальную войну всему, что его отторгает»[1].

Цикл окунает в буйство плоти, в мир опьяняющих чувственных наслаждений, сексуальной невоздержанности. Стихи эти звучат как вызов времени, когда ценности и моральные, и духовные изничтожаются под натиском материально-плотского. Когда ублажая свою плоть, человек забывает о разуме. Потому что тот мешает жить животной жизнью без страданий, вопрошаний и терзаний. Когда бессмыслие одолевает смысл, а пустота – наполненность, и, в конце концов, – смерть, хотя бы духовная, побеждает жизнь.

Эти мотивы позволяют лирическому герою преодолеть негармоничное время. И, говоря буддийским языком, избавиться от омрачений и тем самым выйти из их оков. Поэтому герой

[1] Там же. С. 76.

цикла – гуляка, развратник, скептик и эпикуреец. Он с истинной страстностью кричит: Эй, Ювенций сюда! Будем пить и свершать непотребства! / Надоело мне это чугунноголовое плебство! Или: Браво, Лесбия, вам! Что творится у вас на полянке?! / Злые козлища ль тут, иль забывшие уд лесбиянки?

Оргиастические гимны, веселая чувственность – это уход от настоящего. Громкий хохот, безумства, веселье – попытки прорыва из душного быта. И, возможно, высокая сексуальная энергетика «Римских мотивов» содержит намек на метафизическую избыточность будущего времени.

<...>Живы мы иль мертвы? Как спросить, если нет дара речи?
Это Рим или мир? Мир не вечен, но Рим-то был вечен...
Умер Рим, как старик, обожравшийся собственным мясом.
Где вы, Ромул и Рэм? Где волчица сисястая ваша?
Римский дух вышел вон и повытекли грозные очи,
Даже член ничего кроме дряхлости нам не пророчит.
Так отриньте его, помочитесь на мох и руины.
Лучше к гуннам пойдем пить кумыс их и кушать конину.
(«Время умерло... мы обитаем в ничто и без сути»)

Какая тема является важнейшей в лирике Кодара? Что является центром тяжести всего сборника? Какой из циклов играет в нем ключевую роль? Трудно определить однозначно. В творчестве художника одинаково важны и привязанность к родной земле, и осмысление национальной истории, и интерес к мифу, и вопросы человеческого бытия, и интимная близость с женщиной. Наверное, таким многогранным и должно быть «чувство жизни» у поэта. Лирику Кодара отличает способность соединять разнородные пласты – как истории, так и современности, внимание к внутреннему миру человека, к тому, что входит в содержание его душевной жизни. При всем многообразии тем, проблем, стилей в его поэзии отчетливо ощущается умение запечатлеть современность, эту, по меткому определению одного из критиков, «постоянно уходящую натуру».

Сюжетика сборника «Зов бытия» – не простое хаотичное сплетение линий. Составляющие его элементы складываются в многогранный узор. И, если внимательно в него вглядеться-вчитаться, то можно уловить чеканную логику живописного орнамента. Поэтический вкус автора воспитан на разных образцах, воплощает разнообразные традиции. Он вплетает в свой узор элементы национальные, вобравшие в себя духовные смыслы и традиции казахского народа. Кодара отличает знание литературной традиции Востока, глубин русской и, шире, – мировой культуры. Он унаследовал в своем творчестве традиции разных культур, но в нем нет упрощающей эклектичности. В этом сплаве национального и мирового, каждый фрагмент успешно соседствует с другим, сохраняя в себе красоту и естественность линий. Обогащая друг друга, эти линии придают новое качество всему орнаменту.

Кодар относится к тем художникам, о которых Григорий Чхартишвили, он же Борис Акунин, в среде литературоведов известный как тонкий и глубокий знаток японской литературы и замечательный переводчик, сказал: «Только сейчас, в конце XX века, преодолен некий качественный барьер и появилась возможность говорить о литературе, для которой нет Востока и Запада, а точнее – нет границы между Востоком и Западом, потому что и левая, и правая стороны горизонта для писателей этого направления в равной степени *родны* и *неэкзотичны*».[1]

Творчество Кодара – поэзия казаха, пишущего на русском языке, но не потерявшего своей культурной аутентичности. Синтез традиций дал в его творчестве свои прекрасные плоды. Талантливо воспринимая и обогащаясь ими, без противоречия вбирая их в себя, поэт стоит в полный рост, вровень с теми книгами, которые питают его творчество. Но при этом он имеет собственный голос. Уверена – голос этот будет крепчать и дальше, и становиться все сильнее. И смею надеяться, что ненаписанные поэтические книги А. Кодара – *главные*, и они впереди. И радость ожидания их не обманет нас.

[1] Григорий Чхартишвили. Но нет Востока и Запада нет (О новом андрогине в мировой литературе) // Иностранная литература. 1996. № 9.

Драматургия

Мурадин ОЛЬМЕЗОВ

Мурадин Ольмезов, балкарский поэт и драматург, родился 20 марта 1949 г. в селе Эрназар Талды-Курганской области Казахской ССР, куда были депортированы, как и весь балкарский народ, его родители.

Окончил литературный институт им. Горького в Москве. Мурадин – автор 12 книг стихов, поэм, сказок, драм. Перевел на балкарский язык и издал отдельной книгой рубаи Омара Хайяма.

М. Ольмезов – лауреат Государственной премии КБР в области литературы и искусства (2000), участник Международного театрального фестиваля (Париж, 2003). На II фестивале национальных театров Северного Кавказа «Сцена без границ» (Владикавказ, 2002) его пьеса «Тахир и Зухра» признана лучшей национальной пьесой и отмечена дипломом. А пьеса «Кровь и пепел» переведена на французский язык. Она будет издана отдельной книгой в Париже уже осенью этого (2008) года.

Член Союза писателей СССР.

Живет в Нальчике.

Тахир и Зухра

Отрывок из трагедии

Действующие лица:

Бабахан – *хан*
Зухра – *его дочь*
Марух – *его племянник*
Бахир – *визирь*
Хубан – *жена визиря*
Тахир – *их сын*
Арап – *военачальник, мавр*
Шахиджан – *вдова Сурайхана*
Махим – *ее дочь*
Айруз – *ее сын*
Мансур – *визирь*
Гюльназ – *его дочь*
Воин
Стражники

Действие происходит в XII веке в одном из эмиратов Иконийского султаната

АКТ I

Хансарай. Тронный зал. Бабахан – один.

Бабахан
Я в беспокойстве: если Сурайхан
Сумеет победить – я его пленник!
От войска, что в походе, нет вестей.
И вновь открылась сабельная рана –
Оружия в руках не удержу...
(*в тревоге, расхаживая по сцене*)
А почему молчат мои визири?

И где военачальник мой Арап,
Что льву подобен, только с черной шкурой?..
Одна надежда у меня – Аллах!
Не дай сгубить тирану государство,
Не брось ему под ноги мой народ!
(*вглядываясь вдаль*)
Но что там? Это кто в пыли дорожной
Спешит сюда, торопит скакуна?
Уж не гонец ли это с поля битвы?..
Да принесет он радостную весть!
И если так – приму его как сына!
(Звучат карнаи.
На сцену выбегает вооруженный воини падает перед ханом на колени).
Обрадуй хана, ну же, говори!
Мне слышится... как будто звук... карная?..
Но так ли?.. Да! Все громче этот звук!
Воин
Великий хан, я голову склоняю
К твоим ногам... О хан, ты победил!
Бабахан
(*поднимая воина с колен*)
Обрадовал меня, джигит, безмерно!
Пусть и тебя обрадует Аллах!
(*Снимая с пальца перстень и подавая его воину*).
Возьми, джигит, смелее... не стесняйся!
Отныне ты мне будешь – словно сын!
Воин
(нерешительно)
Великий хан...
Бабахан
Как? Ты перечишь хану?
Смотри смелей, как я тебе велел!
(Воин в нерешительности).
Дай руку – сам тебе надену перстень!
Вот так... смотри, пришелся в самый раз!
(*Хан надевает перстень на палец гонца*).
Воин
(*целуя перстень*)
Солнцеподобный, раб я! Без раздумий –
Понадобится – жизнь свою отдам!
Покуда жив – я у подножья трона!
Бабахан
Иди, аскер, тобой доволен хан.
(Воин, поклонившись, удаляется).
И все ж я победил! Хвала Аллаху,
Аскерам несгибаемым моим,
Визирям преданным и воеводе!
(Вбегает Зухра и обнимает отца).
Зухра
Отец, моих ушей коснулась весть
Что вы... вы победили Сурайхана?!
Бабахан
Да, дочь моя, и я, признаться, рад,
Как в день, когда ты родилась, я счастлив!
Зухра
Скажи, отец, когда ты победил,
В чем все-таки была война причина?
Ведь двадцать лет коварный Сурайхан
Не оставлял в покое наши земли!
Для грабежа? Но слишком долгий срок...
Бабахан
Дочь, ты моя единственная радость!
И для меня, с тех пор, как твоя мать
Ушла из жизни – ты источник света!
...А Сурайхан, он зол был на меня
Он мстил мне, он за то лишь ненавидел,
Что я избранник матери твоей...
Зухра
Так значит, безбородый и невзрачный,
Рябой и кривоногий Сурайхан
Когда-то слал сватов...
Бабахан
Да, так и было.
С тех пор и реки крови пролились,
Так жаждалось отверженному мести.
Зухра
Отец, скажи, а если бы он знал,
Что мать моя ушла, в ином уж мире,
Не стал бы он тогда так лютовать?
Бабахан
Сокровище мое, он знал об этом:
Здесь у него и уши, и глаза...
Узнав, он только пуще разъярился!
Три месяца однажды, день ли, ночь,
Мы бились непрерывно и жестоко.
Изрубленные, падали полки,
И новые их место заступали,
А бой все длился...вижу – Сурайхан
Спешит, опередив своих аскеров,
Ко мне навстречу. Передых войскам,
Как оказалось – на переговоры.
Хан речь повел и мне сказал он так:
«Одно у нас условие для мира –
Пообещай, что выдашь свою дочь
За сына моего, и мы забудем
Раздор и месть, и вот моя рука!»
Но эту окровавленную руку
Я не пожал и так ему сказал:
«Я связан обещанием Бахиру –
Его я сыну дочь свою нарек.
Ты знаешь: слово хана неизменно.
Нарушить клятву не велят Аллах!»
И ярость обуяла Сурайхана,
И он ушел к оставленным войскам...

Зухра
О, я несчастная! Так я – причина
Столь долгой, разрушительной войны?!
Бабахан
Звезда моя, тщеславье Сурайхана –
Причина столь неисчислимых бед.
И мать твоя ни в чем не виновата,
И на тебе нет никакой вины.
Не мучайся, не изводись напрасно.
Зухра
В недобрый час я, видно, родилась:
Ведь сколько жизней сгублено войною!
Бабахан
Красавицей родиться – это ль грех?
Грешно ли – быть для глаз людских усладой?
Грех вижу я в другом – сорвать цветок,
Что в поле вырос звездочкой небесной!
Зухра
Я знаю, ты стараешься, отец,
Отвлечь меня, утешить, успокоить –
Но это я – причина стольких бед!
Как мне смотреть в глаза сиротам, вдовам?!
О, я несчастная, как дальше жить?
Проклятия людей меня настигнут!
(Плачет, прижавшись к отцу).
Бабахан
(*обнимая дочь*).
Поплачь, моя красавица, поплачь,
Иначе ты сожжешь свое сердечко.
Лишь слезы могут погасить пожар.
Поплачь и не страшись молвы народа,
Которого любовь к тебе безмерна –
За добрый нрав твой, добрые дела...
(Входит Хубан).
Хубан
(*кланяясь*).
Великий хан, прости, что так внезапно
Вошла я: здесь искала я Зухру.
Бабахан
Пусть Бог простит, когда пред ним грешна ты,
А предо мною нет твоей вины.
Хубан
Благодарю, мой хан! Слова такие
Из уст твоих – награда для меня!
Бабахан
Нет, это я благодарить обязан,
Моя чистосердечная Хубан.
Зухра моя, единственный ребенок,
Воспитана тобою, как своя.
Во всем ты заменила мать родную...
Зухра
(*к Хубан*).
Хубан, на свете нет тебя добрей!
А помнишь, как мы ссорились с Тахиром?
Он говорил, что лишь его ты мать,
А я кричала: «Нет, моя!» – бросаясь
В объятия твои...
Хубан
Моя звезда!
Аллах да преумножит годы хана,
Доверившего мне свое дитя!
В тот день, когда мой дом ты озарила,
И жить мне стада радостней вдвойне...
Бабахан
Пусть радость твоя станет еще больше!
Ты знаешь, – и свидетель в том Аллах! –
Что дал я слово ханское Бахиру,
Зухру Тахиру в жены обещав.
(Зухра, смутившись, убегает).
Откладывать нам свадьбу нет резона.
Тахир таков, что равных не найти,
А дочь моя – брильянт в моей короне.
Я сам с Бахиром все обговорю,
А ты иди к Зухре – она в смущенье.
*(Хубан уходит. Из противоположной кулисы с шумом входят
Бахир, Мансур, Тахир, Арап, Марух. Кланяются хану)*.
Входите, ваша весть быстрее вас,
Она у вас написана на лицах!
Я знаю, вы с победою пришли!
Бахир, я прав? Скажи, обрадуй хана!
Бахир
(*кланяясь*).
Высокочтимый хан, твои войска
Могли б составить славу Искандеру!
Да, вражеская армия в бою,
Столь долгом, сколь жестоком – вся разбита!
Сам Сурайхан и сын его – в плену,
Охрану их я поручил Арапу,
И... впрочем, пусть об этом скажет сам.
Арап
(*падает не колени*).
Почтенный из почтенных, признаю
Свою вину и вот я на коленях
Перед тобой с повинной головой.
Вели казнить, твой раб – в твоей я власти!
Бабахан
Нет, полководец, прежде – расскажи,
Да не криви душой: обманешь хана,
Узнаешь, как проворен мой палач!
Арап
Бахир уже сказал, что поручил мне
В железной клетке пленных охранять.
По всем углам я стражников поставил.
Проходит ночь, я утром прихожу
И вижу, что охрана перебита,

Убит и Сурайхан, лежит ничком,
А сын его исчез. Я шлю погоню
Во все концы, но... О великий хан,
Я оплошал, ошибся, я виновен...
В твоих руках теперь Арапа жизнь.
Бабахан
(*Бахиру*)
Не нравятся, Бахир, мне эти речи,
Не верю им, не зная – почему.
Что скажешь?..
Бахир
Нет свидетелей, кто правду
Мог подтвердить бы, также нет и тех,
Кто смог бы уличить во лжи Арапа.
Вина его, однако, всем ясна.
Я и в другом ничуть не сомневаюсь:
Убийца Сурайхана среди нас!
Из подданных твоих, возможно – ближних.
Бабахан
Бахир, мой друг, тебе я поручу
Расследовать все это неотложно.
Пока же суд да дело, пусть Марух –
Племянник мой, займет Арапа должность.
(Марух выходит вперед и кланяется хану).
Арап жестокой кары заслужил,
Но этот день нам омрачать негоже.
Тому, кто предал там, свой народ, –
Пусть даже это будет мой ребенок –
Прощенья нет!
Арап
Свидетель мне – Аллах,
Пылает мое сердце – для мужчины
Измена – несмываемый позор!
Да, пусть Бахир расследует все дело
И если он сумеет доказать,
Что я предатель, пусть меня подвесят,
А снизу разожгут большой костер.
Ну а пока, почтенный повелитель,
Хочу тебе подарок поднести,
Их целых два, когда ты их увидишь,
Ты, может быть, на милость сменишь гнев,
И страшные в измене подозрения
Растают, словно утренний туман.
(*стражнику*)
Эй, стражник, приведи сюда «подарки»,
Наш хан пусть полюбуется на них!
(Стражник вводит красавицу-жену Сурайхана и его молоденькую дочь).
Бабахан
Но кто они, что ангелам подобны?
Арап
Одна из них – жена... то есть вдова.
Другая – дочь владыки Сурайхана!
Бабахан
Вдова и дочь?
Арап
Вот именно, мой хан.
Махим – вот это юное созданье,
А мать ее красотка – Шахиджан.
Бабахан
(*не сдерживая радости*)
Он у меня хотел отнять супругу,
В итоге сам остался без жены!
Проси, Арап, что хочешь, не стесняйся!
Попросишь, будет мраморный дворец!
И этого, пожалуй, будет мало.
Арап
Благодарю тебя, мой щедрый хан.
Но для меня нет большего подарка,
Чем видеть, что доволен ты и рад.
Бабахан
Арап, я не из тех, кто забывает
Добро, однажды сделанное мне.
Я твой должник, и я десятикратно
Воздам тебе, мой преданный батыр!
(*Маруху*)
Пусть Шахиджан желанной будет гостьей,
Махим пусть примут, словно дочь мою!
Приставь к ним слуг, пусть каждое желанье
Предупреждая, будут им служить?
(Шахиджан, Махим, Марух удаляются).
Бахир, ты мой визирь, и самый мудрый,
Соратник мой и самый верный друг,
Все знают, сколь велик твой вклад в победу.
Все эти годы рядом был со мной,
Все тяготы войны неся бессменно.
Стань справа от меня, мой друг Бахир,
Твое лишь это место, и по праву.
(Бахир приближается к хану и становится справа от него).
А ты, Мансур, не ведавший в бою
Ни страха, ни сомнения в победе,
Стань слева от меня?
(Мансур становится слева).
А ты, Арап,
Испытанный и славный полководец,
Увы, под подозреньем нынче ты.
Но я готов поклясться на Коране:
Мое к тебе доверье велико.
Однако правду все-таки узнаю!
Убийство Сурайхана и побег
Его наследника – тут не до шуток!
(*Тахиру*)
Мой сокол, подойди, дай обниму!
О храбрости твоей не раз я слышал.
Ты и сегодня среди первых был

И в тяжелейшей битве жив остался,
И этим хану радость подарил,
Который как родного тебя любит!
Теперь, Тахир, настал и мой черед
Обрадовать тебя...
(*Обращаясь к Бахиру*)
Я за Тахира,
Как обещал, отдам свою Зухру.
Сдержу я клятву именем Аллаха.
Готовься к свадьбе!
(Бабахан обнимает Бахира, затем Тахира. Арап стоит с мрачным лицом. Мансур удивлен, обескуражен).

Бахир
О, великий хан,
Готов ты дочь отдать свою, принцессу,
За сына своего визиря... Честь
И счастье для меня! Вершина жизни!

Бабахан
Стань вровень ты с великими, Бахир!
Друзья мои, теперь вы все свободны,
И я пойду немного отдохну.
(Уходят все, кроме Тахира).

Тахир
Такому счастью верить не могу!
Глазами видел и ушами слышал,
Но все-таки не верю: это сон!
Пойду скорее отыщу Зухру.
Я думаю, она в уединенье
В своем саду сидит у родника.
(Зухра вбегает, обнимает Тахира).

Зухра
Нет, не в саду, я здесь уже, мой милый!
Покрепче обними меня, Тахир,
Чтоб наши души слились воедино!
(Тахир обнимает Зухру, ласкает).

Тахир
Звезда моя, что в небе родилась
И опустилась, чудная, на землю,
О, если б у меня хватило слов,
Чтоб высказать все то, чем живо сердце,
Ты поняла бы, как тебя люблю –
Как преданно, как искренне, как чисто!

Зухра
(*прижавшись к Тахиру*)
Тахир, орел мой, слышишь, как стучат
Сердца, как будто в нежном разговоре...

Тахир
О, на земле тебя подобной нет!
Ты, как осколок солнца, светоносна,
Стройна, как камышинка у реки,
Красавица моя с глазами серны!

Зухра
Дочь хана, поднимаясь, я чуть свет,
Лицо свое слезами омывая,
Молитву совершала, чтобы ты,
Отчаянный батыр, в живых остался.
Ни дня не пропустила я намаз,
И внял Аллах моим моленьям слезным.

Тахир
Как серебристый звонкий ручеек
Течет, сверкая тысячами блесток,
Так блещет и моя к тебе любовь,
Переполняя любящее сердце.
Ее как талисман я нес в бою,
И ни стрела, ни меч меня не взяли.
Твой светлый образ был всегда со мной,
Он придавал мне мужества и силы,
Когда спасения, казалось, уже нет.

Зухра
(*тревожно*)
Сюда идет Арап, и будет лучше,
Чтоб нас не тронул этот мрачный взгляд.
Не нравятся мне этот узколобый
И, думается, злобный человек.

Тахир
Не бойся, милая...

Зухра
Я б не хотела,
Чтоб он увидел нас.

Тахир
Тогда бежим!

Зухра
Пойдем в мой сад, там розы распустились,
Из тех, что ты не видел...

Тахир
Да, пойдем

Зухра
Там есть одна, любимая, и часто
Я вижу бабочку прекрасную на ней.
Я подойду, а бабочка взлетает
И рядом кружит, как душа цветка.

Тахир
Я – эта бабочка над алой розой...

Зухра
А роза эта – я... Тахир, скорее,
Арап идет сюда... Скорее – прочь!
(Тахир и Зухра уходят. Входит Арап, он сильно не в духе).

Арап
Недаром говорят, что не приходит
Беда одна, – как камень вниз с горы
Летит и увлекает за собою
Несметнее количество других, –
Так за одной бедой спешат другие.
Да, мною был прикончен Сурайхан,
Я отпустил его придурка-сына,
Но я и в мысль не брал, что окажусь

Под подозрением у Бабахана.
Я столько лет служил, как верный пес,
Намерений своих не выдавая.
Нет, нет, почтенный хан, не для того
Я пресмыкался пред твоей особой,
Твой золотом украшенный сапог
Целуя с наслажденьем, чтоб Тахиру,
Чтоб этому безусому юнцу
Ты отдал в жены дочь свою красотку.
Зухру я никому не уступлю?
Она – моя!..
(*озабоченно*)
Но ханским повеленьем
Уже идут ищейки, след берут...
Я должен, чтоб меня не уличили,
Во что бы то ни стало погубить
Бахира, – и раздумывать не надо!
(Входит взбешенный Мансур).
Мансур
(*приходя в себя*)
Ты с джиннами беседуешь, Арап?
Арап
(*притворно*)
А, это ты, Мансур! Приятно видеть.
Приятно и беседу завести,
И это лучше, чем болтать с чертями.
(*выдерживая паузу*)
Я вижу, ты набычился, угрюм.
Должно быть, ты завидуешь Бахиру:
Ведь не тебя – его великий хан
О правую свою поставил руку.
Так прав я, уважаемый визирь?
Ответь мне...
Мансур
(*гневно*)
Ты смеешься, чернокожий,
Как посмеялся надо мной Бахир?!
Замолкни, и тебе же будет лучше –
И без того вся кровь моя кипит!
Не ты, а я бы должен посмеяться,
Ведь жизнь твоя висит на волоске.
Арап
(*сдерживаясь*)
О жизни как-нибудь я позабочусь,
А ты – не тот, кто мог бы злость свою
Сорвать на мне, и если ты мужчина,
Обидчику воздай за свой позор.
(уходя, оборачивается и касается рукояти меча)
Ты зря мне нагрубил, визирь почтенный.
Коль жизнь тебе мила, так поостынь.
Обиды никому я не прощаю!
(*уходит*)
Мансур
Что этот черномазый тут наглел?!
Он вовсе обезумел! Ищет смерти!
Без войска полководец, я с тебя,
С живого сдерну глянцевую кожу,
Да и пущу на паруноговиц!
(Входит Бахир. Мансур переносит свою ярость на него).
А вот и наш герой, любимец хана,
Заслуженная Правая Рука!
Тебе б летать, а ты все еще ходишь.
Бахир
Дурачиться визирю не к лицу...
Мансур
А более к лицу – чужое место?!
Бахир
Наш хан лишь по заслугам воздает.
Он так решил, я, стало быть, достоин
Стать справа от владыки Бабахана!
Мансур
Сидящего на троне отличают
Глубокий ум и зоркие глаза.
Но, без сомненья, хан свой трон ослабил,
Поставив тебя правою рукой.
Ты стар уже, не можешь быть опорой
Для Бабахана! Кто ты есть, Бахир?
Ты для врагов, для самых захудалых,
Давно не лев, ты даже не шакал!
Когда-то был ты воином, не спорю.
Теперь же слава обо мне гремит!
Бахир
Да, мне известно, ты силен, отважен.
Бесстрашен ты, Мансур, в любом бою.
Но вспомни, кто водил тебя на битвы.
Ведь это было счастьем для тебя –
Взять под узцы коня, помочь сойти мне
Или, напротив, стремя подержать...
Мансур
Но нынче я, как ты когда-то, – первый!
Бахир
Оставим этот глупый разговор....
Где честь твоя, Мансур, где твоя совесть?
Мансур
Я, значит, честь и совесть потерял?!
(*дает пощечину Бахиру*)
Так получай же?
Бахир
(*выхватывая меч*)
Потерял и вправду.
Один из нас отсюда не уйдет!
Ну, что стоишь, давай же, меч – из ножен!
Мансур
Ты зря меня бесчестным обозвал.
Позор – со стариком сражаться дряхлым.
Убить такого – что утратить честь.
Теперь в моих руках твой знаменитый,

С алмазами на рукояти, меч!
Таков Мансур: иду, а следом – слава,
Как женщина распутная бежит!
А за тобой – лишь старый, шелудивый
Плетется пес, чье прозвище – позор!
(*удаляется*)

Бахир

Аллах Великий, на мои седины
Бесчестье пало! Я ли заслужил,
Главенствуя всегда на поле брани!
Творя добро, наказывая зло!
О старость, неужели я позволю
Бессильным быть себе и мой позор
Не смою кровью выскочки Мансура?
Нет, только месть, иначе мой Тахир
Наследует бесчестье и бесславье!
(Входит Тахир. Увидев состояние отца, встревожен).

Тахир

Здесть что-то было... что, скажи, отец!
(Бахир неподвижен и безмолвен).
Молчишь... скажи мне, кто тебя обидел?
(*молчание*)
Ответь, отец?

Бахир

Мне трудно говорить.
Уж лучше умереть...

Тахир

Но в чем же дело?!

Бахир

В чем дело, говоришь? В позоре, сын.
О, подлый лицемер, мерзавец, ждавший,
Когда я постарею, уступлю...

Тахир

О ком ты? Кто? И где мерзавец этот?!
(*хватается за меч*)
Кто оскорбил тебя отец, скажи?

Бахир

Мансур...

Тахир

Твой побратим? Я верно понял?

Бахир

Ты не ослышался: обидчик мой – Мансур,
Тебя он обесчестил, подняв руку
На твоего почтенного отца.

Тахир

(*в ярости*)
О, я сумею наказать Мансура
И кровью черной землю напоить!

Бахир

Иди, сынок, Аллах тебе подмогой!
Покуда жив Мансур, на нас – позор,
И смыть его возможно только кровью?
Найди его, но помни, что Мансур
Искусный воин, меч его подобен
Разящей молнии, и не забудь:
Ты – сын Бахира, вспомни все уроки,
Что я тебе когда-то преподал.

Тахир

Я помню все, отец, не беспокойся.
Сам подписал свой смертный приговор
Обидчик твой, а я его исполню.
Расстанется с дурною годовой
Тот, кто седин твоих не уважает.
(Тахир удаляется).

Бахир

Храни тебя Аллах! Иди, сынок...
(Входит Арап).

Арап

Визирь высокочтимый, поздравляю!
Тебя возвысил нынче Бабахан.
Рад от души... и все ж позволь заметить:
Резонно ли меня подозревать
В измене?..

Бахир

Значит, есть тому причины.
Во-первых, ты не рядовой аскер.
Ты опытный и мудрый полководец.
И ты не смог расставить караул,
Чтоб пленных оберечь? Смешно мне это.
А почему убит лишь Сурайхан?
Кто сыну убежать его позволил?
Что кроется за этим всем, Арап?

Арап

Бахир, ты мне не веришь, и напрасно.
Ну хорошо, допустим, Сурайхан
Был мной убит. Но что мешало сына
Отправить мне за Сурайханом вслед?
Ты что и впрямь считаешь меня глупым?
Зачем мне оставлять его в живых?

Бахир

Вот это я, Арап, и разгадаю!
И станет ясно, кто ты есть таков.

Арап

Так вот она какая, благодарность
Арапу, не щадившему себя
В кровавых сечах, в дальних переходах...
Ты что, Бахир, забыл? – с тех самых пор,
Как я назначен ханским полководцем,
Я битвы ни одной не проиграл!

Бахир

Вот здесь и есть исток моих сомнений.
Никто тебя не может обвинить,
Никто тебя ни в чем не заподозрит.
Но и не может знать тебя никто,
Как знаю я...

Арап
Ты прав, никто не знает.
Не князем я рожден – сын бедняка,
И вырос я на княжьих подаяньях...
Оставь меня!
Бахир
Оставлю, как пойму,
Что подозрения несправедливы
Пока же мнится мне, что ты решил
Раздуть пожар в палатах Бабахана.
Затем и строг я, уж не обессудь.
(Бахир удаляется).
Арап
Ищейка старая, он что-то чует.
Расправиться бы с ним, и поскорей!
Я должен быть предельно осторожен
И пса держать на острие ножа.
(Крадучись, входит одетый стражником Айруз).
Айруз
Ты чем-то озабочен, полководец?
Арап
(*тревожно*)
Осмелился явиться во дворец?
Должно быть, у тебя большое дело.
Но ты, Айруз, не должен забывать:
Случись, тебя узнают – за мгновенье
На части разорвут и бросят псам.
Айруз
Не беспокойся в этом-то наряде
Не распознает и родная мать...
Арап
И все-таки, Айруз, будь осторожен.
Айруз
Я сам себя порой не узнаю,
Настолько изменился я обличьем.
И вправду мастерица ведьма та.
К тому ж среди наемников навряд ли
Кто догадается меня искать...
Арап
Скажи, зачем пришел – и возвращайся.
Айруз
Пришел, чтобы задать тебе вопрос:
Ты отпустил меня и дал мне слово,
Что вслед за мной отпустишь и отца.
Его я почему-то не дождался.
Арап
Опасно было отпускать двоих.
По одному хотел я, потихоньку,
Спасти вас, но отцу не повезло.
Такое, понимаешь, вышло дело...
Айруз
Что это значит?.. его нет в живых?
Арап
Увы, он мертв. Один из ханской стражи
Догнал его и поразил мечом.
Айруз
Ай, Бабахан, дай срок, ты мне заплатишь.
Живьем тебя изжарю, кабана!
(*уходит в ярости*)
Арап
(*вслед Айрузу*)
Тебя бы я отправил за папашей.
Но ты мне нужен, и пока живой,
Иначе рисковать своею жизнь
Не стал бы я, чтобы спасти тебя!
Входят Марух и Мансур.
Марух
(*Арапу*)
Нашел тебя насилу, полководец:
Хотел тебя спросить кое о чем.
Арап
Спроси, и если знаю, то отвечу.
Марух
Здесь ходят слухи – наш герой Мансур
Ведет себя сегодня недостойно.
Хан озабочен этим.
Арап
Если б знал,
Сказал, но, к сожалению, не знаю.
Врать не хочу... а впрочем, нынче он,
Беседуя со мной, погорячился,
Но, к счастью, столь же скоро и остыл.
(*Мансуру*)
А ты, Мансур, мужчина настоящий!
Ты на Бахире старом злость сорвал...
Мансур
Тебе же благо, если ты замолкнешь:
Таких, как ты, я в три дуги сгибал!
Арап
И потому бросаешься на старцев?
(*смеется, собирается уходить*)
Мансур
Нет-нет, Арап, не торопись!
Уж если ты мужчина – то сразимся!
Вот здесь, безотлагательно...
Марух
Мансур!
Мансур
Ну что же ты, ублюдок черномазый!
Арап
Не петушись, ведь громкие слова
В тебе, Мансур, лишь трусость обличают.
Таких героев я перевидал!
Но здесь, из уважения к Маруху
Не обнажу меча...

Марух
(*перебивая его*)
Довольно вам!
Вы далеко зашли, остановитесь.
Когда при мне, при помощи мечей,
Решать начнете, чья правдивей правда,
Я не прощу! Обоим!
(*Арапу*)
Ты иди.
Я задержал тебя, иди спокойно.
(Арап удаляется).
Ты раньше был совсем другим, Мансур.
Должно быть, порчу на тебя наслали.
Мансур
Не прав я, каюсь, не сдержал свой гнев,
В меня вселился зверь какой-то дикий.
Чуть что – взрываюсь, извини, Марух.
Марух
Совет, Мансур: исправь свою ошибку.
Мансур
Мне следует с повинной головой
Идти к Бахиру и просить прощенья?
Что-что, а унижаться перед ним...
Марух
Когда не голову – преклонишь ты колени!
Тебе да с ханом вздумалось шутить?!
Мансур
За хана я прошел огонь и воду,
И впредь, коль надо, я не отступлю.
Но что меня с владыкой ставит вровень,
Так это моя честь! Я не могу
Склониться, как холоп, перед Бахиром
И умолять: прости. Нет, ни за что!
Марух
Когда б ушей достигли Бабахана
Твои слова, ты б голову сложил.
Мансур
Не станет хан лишать себя опоры:
Я воин, я на тысячу – один!
Хан знает это, так зачем он хочет,
Чтоб сделал я несвойственное мне?
Марух
Хан в воинах бесстрашных ценит верность.
А честь, она и у Бахира есть,
Не только у тебя. Ты как мужчина
Пойди к нему, скажи: я был неправ.
А нет – озлится хан, и ты погублен!
Мансур
Пусть хан меня накажет, коль неправ.
Склоняться ж перед равным я не буду!
Марух
Ну что ж, Аллах свидетель, я как мог
Спасти старался голову Мансура...

Мансур
Себя Маруху не в чем обвинять.
Пусть голову я лучше потеряю,
Чем честь свою позволю запятнать!
Марух
Считай, что ты уже без головы.
(*удаляется*)
Мансур
(*в раздумье, один*)
Погорячился, может, ты, Мансур,
Подняв сегодня руку на Бахира?
Он в прошлом был наставником твоим!
Как мог я уступить змее коварной,
Как эту зависть я не раздавил?!
Я говорил о чести, но, похоже,
Позором свою голову покрыл...
(Входит Тахир, он в ярости).
Тахир
Мансур! Ты здесь!..
Мансур
А, это ты, приятель...
Тахир
Нет, не приятель, – это смерть твоя!
Мансур
Смешно, а мне, признаться, не до шуток.
Тахир
Я не шучу! Иди за мной, Мансур!
Мансур
Ты, мальчик, слишком юн, чтобы Мансуру
Приказывать! Поди-ка подержись
За мамочки подол...
Тахир
Выходит, мало,
Что ты обидел моего отца.
Теперь в меня ты колкости бросаешь...
Мансур
Поберегись, Тахир, играть с огнем.
Исход один – бесславная погибель.
Исчезни лучше...
Тахир
Нет, исчезнешь ты!
Раздувшийся от гордости мерзавец!
Мансур
Я еле-еле сам себя терплю,
И ты пришел испытывать терпенье.
Мой меч подобно молнии разит!
Кто станет мне врагом, не заживется!
Тахир
Сейчас узнаем, чей длиннее век!
(Оба, выхватив мечи, начинают биться. Входит Марух).
Марух
(не торопясь вмешаться)

Оружье – в ножны! Оба, и сейчас же!
(Мансур падает).
Тахир
(*преклонив колено*)
Ты сам меня принудил меч достать,
Иного ты, Мансур, мне не оставил...
Мансур
Ты честь свою отстаивал достойно...
(Умирает. Тахир удаляется. Входят Арап, Гюльназ и стража).
Гюльназ
(*обняв труп отца*)
Отец!.. Отец, ты слышишь свою дочь?..
О, лучше б я лежала бездыханна!
Арап
Кто руку на Мансура смел поднять?!
Марух
Тахир жестокосердный! К сожаленью,
Я не успел вмешаться в этот бой.
Эй, стража, отнесите тело в замок,
Там почести визирю воздадим...
Гюльназ
(*в полубессознательном состоянии*)
Нет, нет, прошу, не трогайте отца!
Несчастная, уж лучше б я погибла!..

Перевод с балкарского Георгия Яропольского.
(Продолжение в следующем номере).

Стихи

* * *

...И падал снег.

И мальчик чуть не пел
от радости: ведь снег, как сахар, бел!

Коня седлает парень молодой:
«Снег мягок, как возлюбленной ладонь!»

«Снег сед, как я, как старый человек», –
вздохнул седой старик.

...И падал снег.

* * *

Всю эту ночь
я выводил деревья
из города.

Они совсем оглохли
от рева,
но не псов цепных –
моторов,
рычащих на прохожих
озверело;
а лампы галогенные,
пылая,
вконец их ослепили,
бедолаг.

Всю эту ночь
я выводил деревья
из города.
Они давно скучают
по птичьим гнездам
и по трелям птичьим,
по хлестким ливням
да шальным ветрам.

Я выводил
из города деревья,
а там они
уже шагали сами,
собратьев
не рискуя дожидаться, –
уж больно
они, бедные, боялись,
что их настигнут,
выследят,
вернут.

Всю эту ночь
я выводил деревья
из города.
До самого утра.

Одинокий волк

Я рыщу одиноким волком
среди лесов, распадков, гор,
высматривая хищным оком
себе добычу с давних пор.
Волк одинокий, не желаю
твоих касаться нежных губ –
ведь сам доподлинно я знаю,
как необуздан, грозен, груб.

Волк одинокий, жутко вою
по мрачным зимним вечерам.
Я сам тому не рад порою,
что псов тревожу по дворам.
Напуганы, как страшной сказкой,
скулят они, поджав хвосты...
Я не хочу своею лаской
навек твои спалить мечты!

Твой образ сердце рвет на части,
жизнь в одиночестве – тюрьма...
Но если дам тебе я счастье,
оно сведет тебя с ума.
Я – волк в любое из мгновений,
непостижим я и жесток.
Не от моих прикосновений
ты распахнешься, как цветок.

Ты рождена морской волною
и горным ветром голубым.
Вовек не быть тебе со мною,
такие помыслы – что дым.
Я не хочу, чтоб на рассвете
запев любви твоей умолк.
Я на другой живу планете,
я – только одинокий волк...

* * *

Лишь в будущем и настоящем
есть подлинность, а что прошло,
вслед за собою не утащим:
его пушинкой унесло.

Вот, кстати, что вчера-то было?
Не сгинуло ли все во сне?
Под вечер, помню, подарила
цветочница улыбку мне.

Исчезла, что ли, вроде грезы?
Перевернул почти весь дом –
и лишь тогда в бутоне розы
я отыскал ее с трудом.

А что еще? Да все, пожалуй...
Бросаюсь я к календарю:
прощай, вчера, товар лежалый!
Себя дню новому дарю!

Но настоящее несется
в прошедшее – не потому ль
ничем не скованный ход солнца
страшит нас, точно посвист пуль?

Не потому ль Сахара, сочных
растений некогда полна,
по прихоти часов песочных
теперь – песчаная страна?

Лишь в будущем и настоящем
есть подлинность, а что прошло,
то ветром времени гудящим
прочь паутинкою смело.

Но с нами ль нынешнее время,
когда (зови их, не зови)
скрываются его мгновенья –
встревоженные муравьи?

Лишь в будущем – исток восторга!
Все остальное – грезы, бред...
Цари же, будущее! (Только
того, что будет, тоже нет.)

* * *

Красавица знакомая все чаще
пугается у зеркала: морщинки
в нем множатся, как трещинки в стекле,
ее туманя светоносный лик.

А дочь ее подросшая все чаще
у зеркала постаивает, видя,
как лунным светом груди набухают,
готовые подобьем белых роз
раскрыться.

Но вот бабушка и вовсе
пренебрегает зеркалом, в котором
ведется неотступно наблюденье
за всем, что происходит у них в доме.

Она-то знает: то – колдунья злая,
которая, заворожив однажды,
навек твоей душой завладевает,
а тело, словно старую собаку,
безжалостно прочь гонит со двора.

Перевод с балкарского Георгия Яропольского.